This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

EX LIBRIS

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer

Saltykov, M.E.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА].

ИЗДАНІЕ ПЯТОЕ.

Съ «Матеріалами для біографіи М. Е. Салтыкова», К. К. Арсеньева, и съ двумя портретами М. Е. Салтыкова.

ТОМЪ ВОСЬМОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1906 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1906.

891.73
S171
ad.5
v.8

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

ЗА РУБЕЖОМЪ.

(1880—1881 гг.).

Глава I.

Есть множество средствъ сдѣлать человѣческое существованіе постылымъ, но едва ли не самое вѣрное изъ всѣхъ—это заставить человѣка посвятить себя культу самосохраненія. Рѣшившись на такой подвигъ, надлежитъ побѣдить въ себѣ всякое буйство духа и признать свою жизнь низведенною на степень безцѣльнаго мельканія на все то время, покуда будетъ длиться искусъ животолюбія.

Но, во-первыхъ, чтобы выполнить такую задачу вполнѣ добросовѣстно, необходимо прежде всего быть свободнымъ отъ какихъ бы то ни было обязательствъ. И не только отъ такихъ, которыя обусловливаются апелляціонными и кассаціонными сроками, но и отъ другихъ, болѣе деликатнаго свойства. Или, говоря короче, нужно сознать себя и безотвѣтственнымъ, и вдобавокъ совсѣмъ празднымъ человѣкомъ. Ибо во время процесса самосохраненія всякая забота, всякое напоминовеніе о покинутомъ дѣлѣ и даже «мышленіе» вообще—считаются не kurgemaess и препятствуютъ солямъ и щелочамъ успѣшно всасываться въ кровь.

Среди женщинъ субъекты, способные всецѣло отдаваться праздности, встрѣчаются довольно часто (культурно-интернаціональныя дамочки, кокотки, бонапартистки и проч.). Всякая дамочка самимъ Богомъ какъ бы цѣликомъ предназначена для заботъ о самосохраненіи. Въ прошломъ у нея—декольтѐ, въ будущемъ—тоже декольтѐ. Ни о какихъ обязательствахъ не можетъ быть тутъ рѣчи, кромѣ обязательства содержать въ чистотѣ бюстъ и шею. Поэтому всякая дамочка не только съ готовностью, но и съ наслажденіемъ устремляется къ курортамъ, зная, что тутъ дѣло совсѣмъ не въ томъ, въ какомъ положеніи находятся легкія или почки, а въ томъ, чтобъ имѣть законный поводъ

по пяти разъ въ день одѣваться и раздѣваться. Самая плохая дамочка, если Богъ наградилъ ее хоть какою-нибудь частью тѣла, на которой безъ ожесточенія можетъ остановиться взоръ мужчины,—и та заранѣе разочтетъ, какое положеніе ей слѣдуетъ принять во время питья Kraenchen, чтобъ именно эту часть тѣла отрекомендовать въ наиболѣе выгодномъ свѣтѣ. Я знаю даже старушекъ, у которыхъ, подобно старымъ ассигнаціямъ, оба нумера давно потеряны, да и портретъ поврежденъ, но которыя тѣмъ не менѣе подчиняли себя всѣмъ огорченіямъ курсового леченія, потому что нигдѣ, кромѣ курортовъ, нельзя встрѣтить такую массу мужскихъ панталонъ и, стало-быть, нигдѣ нельзя такъ цѣлесообразно освѣжить потухающее воображеніе. Словомъ сказать, «дамочки»—статья особая, которую вообще ни здѣсь, ни въ другомъ какомъ человѣческомъ дѣлѣ въ разсчетъ принимать не надлежитъ.

Но въ средѣ мужчинъ подобныя оглашенныя личности встрѣчаются лишь какъ исключеніе. У всякаго мужчины (ежели онъ, впрочемъ, не бонапартистъ и не отставной русскій сановникъ, мечтающій въ виду Юнгфрау о коловратностяхъ міра подачекъ) есть родина, и въ этой родинѣ есть какой-нибудь кровный интересъ, въ соприкосновеніи съ которымъ онъ чувствуетъ себя семьяниномъ, гражданиномъ, человѣкомъ. Развязаться съ этимъ чувствомъ, даже временно, ужасно тяжело; и я положительно убѣжденъ, что самый культъ самосохраненія долженъ отъ этого пострадать. Легко сказать: позабудь, что въ Петербургѣ существуетъ цензурное вѣдомство, и затѣмъ возьми одръ твой и гряди; но выполнить этотъ совѣтъ на практикѣ, право, не легко.

Недавно, проѣзжая черезъ Берлинъ, я заѣхалъ въ зоологическій садъ и посѣтилъ заключеннаго тамъ чимпандзе. При случаѣ совѣтую и вамъ, читатель, послѣдовать моему примѣру. Вы увидите бѣдное дрожащее существо, до того угнетенное тоской по родинѣ, что даже предполагаемое въ изобиліи молоко не утѣшаетъ его. Скорчившись, сидитъ злосчастный плѣнникъ подъ теплымъ одѣяломъ на соломенномъ одрѣ и, закрывши глаза, дремлетъ предсмертною дремотой. Замѣчательно, что тутъ же, за рѣшеткой, у самаго изголовья стараго чимпандзе, заключенъ маленькій чимпандзе, родившійся нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, уже въ Берлинѣ. Этотъ ребенокъ стоитъ, ухватившись передними лапами за рѣшетку, и положительно глазъ не сво-

дить съ умирающаго старика. Какіе сны снятся старику— этого, конечно, нельзя угадать, но, судя по тоскливымъ вздохамъ, ясно, что передъ умственнымъ его взоромъ мелькаетъ нѣчто необыкновенно заманчивое и дорогое. Быть-можетъ, тамъ, въ родныхъ лѣсахъ, онъ былъ исправникомъ, а можетъ-быть, даже министромъ. Въ первомъ случаѣ онъ предупреждалъ и пресѣкалъ; во второмъ—принималъ въ назначенные часы доклады о предупрежденіи и пресѣченіи. Безъ сомнѣнія, это были доклады не особенно мудрые, но вѣдь для чимпандзе по части мудрости не особенно много и требуется. И вотъ теперь онъ умираетъ, не понимая, зачѣмъ понадобилось оторвать его отъ дорогихъ сердцу интересовъ родины и посадить за рѣшеткой въ берлинскомъ зоологическомъ саду. Умираетъ въ горькомъ сознаніи, что ему не позволили даже подать прошеніе объ отставкѣ (просто поймали, посадили въ клѣтку и увезли), и вслѣдствіе этого тамъ, на родинѣ, за нимъ числится тридцать тысячъ неисполненныхъ начальственныхъ предписаній и девяносто тысячъ (по числу населяющихъ его округъ чимпандзе) непроизведенныхъ обысковъ! Не знаю, какъ подѣйствуетъ это скорбное зрѣлище на васъ, читатель, но на меня оно произвело по истинѣ удручающее впечатлѣніе.

Во-вторыхъ, мнѣ кажется, что люди науки, осуждающіе своихъ кліентовъ выдерживать курсы леченія, упускаютъ изъ виду, что эти курсы влекутъ за собой обязательное цыганское житье, среди безпорядка, въ тѣснотѣ, внѣ возможности отыскать хоть минуту укромнаго и самостоятельнаго существованія. Изъ привычной атмосферы, въ которой вы такъ или иначе обдержались, васъ насильственно переносятъ въ атмосферу чуждую, насыщенную иными нравами, иными привычками, инымъ говоромъ и даже инымъ разумомъ. Передъ глазами у васъ снуетъ взадъ и впередъ пестрая толпа; въ ушахъ гудитъ разноязычный говоръ, и все это сопровождается такимъ однообразіемъ формъ (вѣчный праздникъ со стороны наѣзжихъ и вѣчная лакейская бѣготня—со стороны туземцевъ), что подъ конецъ утрачивается даже ясное сознаніе временъ дня. Это однообразіе маятнаго движенія досаждаетъ, волнуетъ, вызываетъ ежеминутный ропотъ. Нѣтъ ничего изнурительнѣе, какъ не понимать и не быть понимаемымъ. Я говорю это не въ смыслѣ разности въ языкѣ—для культурнаго человѣка это неудобство легко устранимое,—но трудно, почти невыносимо въ молчаніи снѣдать боль сердца, ту щемящую боль, ко-

торая зародилась гдѣ-нибудь на берегахъ Иловли и по пятамъ пришла за вами къ самой подошвѣ Мальберга *). Тамъ, въ долинѣ Иловли, эта боль напоминала вамъ о живучести въ васъ человѣческаго естества; здѣсь, въ долинѣ Лана, она ровно ни о чемъ не напоминаетъ, ибо ее давно уже пережили (можетъ-быть, за нѣсколько поколѣній назадъ) да и на бобахъ развели. Мало того, эта боль становится признакомъ неблаговоспитанности и съ вашей стороны, потому что неприлично вздыхать и роптать среди людей, которымъ, въ качествѣ возстановляющаго средства, прописано непремѣнно душевное спокойствіе. Не ясно ли, что тѣ катарральныя улучшенія, которыя достигаются глотаніемъ и вдыханіемъ подлежащихъ щелочей, должны въ значительной мѣрѣ ослабляться полнымъ отсутствіемъ условій, составляющихъ обычную принадлежность той жизни, съ которою вы по крайней мѣрѣ лично привыкли соединять представленіе объ осѣдлости.

Въ-третьихъ, наконецъ, культъ самосохраненія заключаетъ въ себѣ нѣчто, свидѣтельствующее не только о чрезмѣрномъ, но, быть-можетъ, и о незаслуженномъ животолюбіи. Русская пословица гласитъ такъ: «жить живи, однако и честь знай». И замѣтьте, что, какъ всѣ народныя пословицы, она имѣетъ въ виду не празднолюбца, а человѣка, до истощенія силъ тянувшаго выпавшее на его долю жизненное тягло. Если даже ему, истомленному человѣку тягла, надо «честь знать», то что же сказать о празднолюбцѣ, о бонапартистѣ, у котораго ни назади, ни впереди нѣтъ ничего, кромѣ умственнаго и нравственнаго декольтѐ? Клянусь, надо знать честь, господа! Подумайте! милліоны людей изнемогаютъ, прикованные къ землѣ и къ труду, не справляясь ни о почкахъ, ни о легкихъ и зная только одно: что они повинны работѣ, — и вдругъ изъ этого безпредѣльнаго кабальнаго моря выдѣляется горсть праздно-любцевъ, которые самовластно декретируютъ, что для кого-то и для чего-то нужно, чтобъ почки дѣйствовали у нихъ въ исправности! Ахъ, господа, господа!

Все это я отлично понималъ, и всѣ эти возраженія были у меня на языкѣ прошлой весной, когда рѣшался вопросъ о доставленіи мнѣ возможности прожить «аридовы вѣки». Но — странное дѣло! — когда люди науки высказались въ томъ смыслѣ, что я мѣсяца на три обязываюсь позабыть

*) Гора, командующая надъ Бадъ-Эмсомъ.

прошлое, настоящее и будущее, для того, чтобъ всецѣло посвятить себя нагуливанію животовъ, то я не только ничего не возразилъ, но сдѣлалъ видъ, что много доволенъ. Я зналъ, что, ради возстановленія силъ, я долженъ буду растратить свои послѣднія силы,—и промолчалъ. Я очень хорошо провидѣлъ, что процессъ самосохраненія окончательно разоритъ мой и безъ того разоренный организмъ,—и сказалъ: помилуйте! куда угодно, хоть въ тартарары! Я — человѣкъ дисциплины по преимуществу и твердо вѣрую, что всякое «распоряженіе» клонится къ моему благу.

Словомъ сказать, я сѣлъ въ вагонъ и поѣхалъ.

Но такъ какъ фактъ совершился, и нелегкая принесла уже меня на берега вонючаго Лана, то я считаю себя въ правѣ подѣлиться съ читателями вынесенными мною впечатлѣніями. Пишу не для дамочекъ и не для бонапартистовъ, а для тѣхъ, кои, сидя на берегахъ Лопани, Вороны и Хопра, не ослабляючи вздыхаютъ надъ вопросами объ акклиматизаціи саранчи, колорадскаго жучка и гессенской мухи. Пусть дойдетъ до нихъ мой голосъ и скажетъ имъ, что даже здѣсь, въ виду башни, въ которой, по преданію, Карлъ Великій замуровалъ свою дочь (здѣсь всѣ башни таковы, что въ каждой кто-нибудь кого-нибудь замучилъ или убилъ, а у насъ башенъ нѣтъ), ни на минуту не покидало меня представленіе о саранчѣ, опустошавшей благословенныя чембарскія пажити. И пусть засвидѣтельствуетъ этотъ голосъ, что, покуда человѣкъ не развяжется съ представленіемъ о саранчѣ и другихъ расхитителяхъ народнаго достоянія, до тѣхъ поръ никакіе Kraenchen и Kesselbrunnen «аридовыхъ вѣковъ» ему не дадутъ.

Но если бы и дѣйствительно глотаніе Kraenchen, въ соединеніи съ ослинымъ молокомъ, способно было дать безсмертіе, то и такая перспектива едва ли бы соблазнила меня. Во-первыхъ, мнѣ кажется, что безсмертіе, посвященное непрерывному наблюденію, дабы въ организмѣ не переставаючи совершался обмѣнъ веществъ, было бы отчасти дурацкое; а во-вторыхъ, я настолько совѣстливъ, что не могу воздержаться, чтобъ не спросить себя: ежели всѣ мы, культурные люди, сдѣлаемся безсмертными, то при чемъ же останутся попы и гробовщики?

Въ заключеніе настоящаго введенія, еще одно слово. Выраженіе «бонапартисты», съ которымъ читателю не разъ придется встрѣтиться въ предлежащихъ эскизахъ, отнюдь не слѣдуетъ понимать буквально. Подъ «бонапартистомъ»

я разумѣю вообще всякаго, кто смѣшиваетъ выраженіе: «отечество» съ выраженіемъ: «ваше превосходительство» и даже отдаетъ предпочтеніе послѣднему передъ первымъ. Такихъ людей во всѣхъ странахъ множество, а у насъ до того довольно, что хоть лопатами огребай.

Въ одно прекрасное утро, часовъ около одиннадцати, всѣхъ насъ, «отпущенныхъ по пачпорту», въ Вержболовѣ обыскали и, по сдѣланіи надлежащихъ отмѣтокъ, переправили, какъ въ старину пѣвалось, «въ гости къ братьямъ-пруссакамъ». Но нынѣшніе братья-пруссаки уже не тѣ, что прежде были, и приняли насъ не какъ «гостей», а какъ данниковъ. Прежде всего они удостовѣрились, что у насъ нѣтъ ни чумы, ни иныхъ тѣлесныхъ озлобленій (за это удостовѣреніе насъ заставляютъ уплачивать въ петербургскомъ германскомъ консульствѣ по 75 копеекъ съ паспорта, чѣмъ крайне оскорбляются выѣзжающіе изъ Россіи иностранцы, а намъ оскорбляться не предоставлено), а потомъ сказали милостивое слово: der Kurs 213 пф., т. е. русскій рубль слишкомъ на марку стоитъ дешевле противъ нормальной цѣны. Въ заключеніе, обыскавъ наши багажи (весьма, впрочемъ, деликатно) и удостовѣрившись по нашимъ простодушнымъ физіономіямъ, что отнынѣ всѣ марки и пфениги, сколько бы таковыхъ у насъ ни оказалось, мы не только за страхъ, но и за совѣсть обязываемся сполна расходовать на пользу германскаго отечества, объявили насъ отъ митирогнозіи свободными.

Странное дѣло! покуда мы пробирались къ Вержболову (нѣмцы ужъ называютъ его Wirballen), никому изъ насъ не приходило въ голову выглядывать въ окна и любопытствовать, какой изъ нихъ открывается пейзажъ. Какъ-то само собой предполагалось, что все извѣстно и переизвѣстно. «Мокрое мѣсто, по которому растетъ ненастоящій лѣсъ»— вотъ картина, которую ожидалъ встрѣтить взоръ и во избѣжаніе которой всякій старался убить время независимо отъ впечатлѣній родной природы. Одни не разгибая спины «винтили». Другіе во всеуслышаніе роптали, что никакой «заграницы» не нужно, и что всю эту «заграницу» выдумали ихъ дамочки, которыя, подъ предлогомъ исправленія супружескихъ почекъ и легкихъ, собрались ловить по курзаламъ бонапартистовъ всѣхъ наименованій. Третьи всеминутно тосковали: «какимъ-то насъ курсомъ батюшка-Берлинъ наградитъ».

— Кажется, мы нынче смирно сидимъ... Ни румыновъ, ни грековъ, ни сербовъ, ни болгаръ—ничего за нами нѣтъ! Пора бы ужъ и намъ милостивое слово сказать!—слышалось въ одномъ углу.

— Ну, батенька, и за саранчу тоже не похвалятъ!—гдѣ-то по сосѣдству раздавалось въ отвѣтъ.

Даже два старца (съ претензіей на государственность), ѣхавшіе вмѣстѣ съ нами,—и тѣ не интересовались своимъ отечествомъ, но считали его лишь мѣстомъ для полученія присвоенныхъ по штатамъ окладовъ. Повидимому, они ничего не ждали, ни на что не роптали и даже ничего не мыслили, но въ государственномъ безмолвіи сидѣли другъ противъ друга, спѣсиво хлопая глазами на прочихъ пассажировъ и какъ бы говоря: мы на счетъ казны нагуливать животы ѣдемъ!

Живя въ Петербургѣ, я зналъ объ этихъ старцахъ по слухамъ; но эти слухи имѣли такой опредѣленный характеръ, что, признаюсь, до самаго Эйдткунена я съ величайшимъ безпокойствомъ взиралъ на нихъ. Я такъ и ждалъ, что они вынутъ казенныя подорожныя и скажутъ: а ну-те, предъявляйте свои сердца! И тогда прощай, Эмсъ! прощайте, Баденъ-Баденъ, Интерлакенъ, Парижъ! Одинъ былъ малаго роста, сложенъ кряжемъ и назывался по фамиліи Дыба; другой былъ длиненъ, сухощавъ, извивался и сокращался, словно змѣй, и назывался по фамиліи Удавъ. Оба состояли въ чинѣ безшабашнаго совѣтника, и у каждаго было по трещинѣ вдоль черепа. Одинъ прошелъ школу графа Михаила Николаевича въ качествѣ чиновника для преступленій; другой прошелъ школу графа Алексѣя Андреевича, въ качествѣ чиновника для чтенія въ сердцахъ. Оба служатъ представителями новой департаментско-курьерской аристократіи. У одного въ гербѣ была изображена, въ червленомъ полѣ, рука, держащая серебряную урну, съ надписью: *не пролей!* у другого—на серебряномъ полѣ—рука, держащая золотую урну съ надписью: *содержи въ опрятности!* Изъ чего дозволялось заключать, что оба происходятъ не отъ Рюрика. Оба въ юныхъ лѣтахъ думали скончать жизнь въ столоначальническихъ должностяхъ, но, благодаря беззавѣтной свирѣпости при исполненіи начальственныхъ предписаній, были замѣчены, понравились и удостоены повышенія въ чинахъ и должностяхъ. И въ довершеніе всего, у обоихъ, по смерти, вмѣсто монументовъ, будетъ воткнуто на могилахъ по осиновому колу. Спраши-

вается, въ виду столь жестоковыйныхъ идоловъ можно ли было не трепетать, пока Эйдткуненъ не предсталъ передъ нами въ качествѣ несомнѣнной дѣйствительности?

И въ самомъ дѣлѣ, въ Эйдткуненѣ картина измѣнилась какъ бы волшебствомъ. Винтившіе бросили русскія карты и на первыхъ порахъ какъ бы совѣстились продолжать винтъ въ нѣмецкомъ вагонѣ. Пассажиры, роптавшіе на женъ, смирились, а тѣ, которые ожидали милости отъ «батюшки-Берлина», прочитавши: der Kurs 213, окончательно убѣдились, что за саранчу не похвалятъ. Что же касается до государственныхъ старцевъ, то я просто ихъ не узналъ. Какъ только съ нихъ сняли въ Эйдткуненѣ чины, такъ они тотчасъ же отлучились и, выпустивъ угнетавшую ихъ государственность, всѣмъ безъ разбора начали подмигивать. И шафнеру нѣмецкаго вагона, и француженкѣ, ѣхавшей въ Парижъ за товаромъ, и даже мнѣ... И всѣмъ, казалось, говорили: не таите помышленій вашихъ, ибо нынче у насъ въ Петербургѣ... вольно!

И вотъ, едва мы размѣстились въ новомъ вагонѣ (мнѣ пришлось сѣсть въ одномъ спальномъ отдѣленіи съ безшабашными совѣтниками), какъ тотчасъ же бросились къ окнамъ и начали смотрѣть.

Природа, которая открылась передъ нами, мало чѣмъ отличалась отъ только-что оставленной нами природы русско-чухонскаго поморья, въ пескахъ котораго ютилось знакомое читателю Монрепо. Та же низменная равнина, тѣ же рудожелтые пески вперемежку съ торфяными низинками. Но ни кочкарника, ни мховъ, ни лѣзущаго отовсюду лозняка, ни еле дышащей, одиноко стоящей и во всѣ стороны гнетущейся березки—и въ поминѣ нѣтъ. И справа и слѣва тянутся засѣянныя поля, къ которымъ гораздо болѣе идетъ эпитетъ «необозримыхъ», нежели, напримѣръ, къ полямъ Тверской или Ярославской губерній и вообще средней полосы Россіи. Я видалъ такія обширныя полевыя пространства въ южной половинѣ Пензенской губерніи, но, подъ опасеніемъ возбудить въ читателѣ недовѣріе, утверждаю, что репутація производства такъ-называемыхъ «буйныхъ» хлѣбовъ гораздо съ бо́льшимъ правомъ можетъ быть примѣнена къ обиженному природой прусскому поморью, нежели къ чембарскимъ благословеннымъ пажитямъ, гдѣ, какъ разсказываютъ, глубина черноземнаго слоя достигаетъ двухъ аршинъ. Въ Чембарѣ такъ долго и легкомысленно разсчитывали на безконечную способность почвы производить

буйные хлѣба, что и не видали, какъ поля выпахались и хлѣба присмирѣли. Здѣсь же, очевидно, ни на какія великія и богатыя милости не разсчитывали, а напротивъ, и денно и нощно только одну думу думали: какъ бы среди песковъ да болотъ съ голоду не подохнуть. Въ Чембарѣ говорили: «а въ случаѣ ежели Богъ дождичка не пошлетъ такъ намъ, братцы, и помирать не въ диковину!» а въ Эйдткуненѣ говорили: «тамъ какъ будетъ угодно насчетъ дождичка распорядиться, а мы помирать не согласны!»

Почему на берегахъ Вороны говорили одно, а на берегахъ Прегеля другое — это я рѣшить не берусь, но положительно утверждаю, что никогда въ чембарскихъ палестинахъ я не видалъ такихъ *буйныхъ* хлѣбовъ, какіе мнѣ удалось видѣть нынѣшнимъ лѣтомъ между Вержболовомъ и Кёнигсбергомъ и въ особенности дальше, къ Эльбингу. Это было до такой степени неожиданно (мы всѣ заранѣе зарядились мыслью, что у нѣмца хоть шаромъ покати, и что безъ нашего хлѣба нѣмецъ подохнетъ), что нѣкто изъ ѣхавшихъ рискнулъ даже замѣтить:

— Вотъ увидите, что скоро отсюда къ намъ хлѣбъ возить станутъ!

На что другой ѣхавшій патріотически-задумчиво пробормоталъ:

— Ну, это ужъ, кажется, не тово... Этакъ, братъ-колбаса, ты, пожалуй, и вовсе насъ въ полонъ заберешь!

Но этого мало, что хлѣба у нѣмца на пескахъ родятся буйные,—у него и коровамъ не житье, а рай, благодаря изобилію луговъ. При тѣхъ же самыхъ условіяхъ (тотъ же горфъ) выйдешь, бывало, въ Монрепо посмотрѣть, какъ оно тамъ произрастаетъ,—и разомъ дѣлается какъ-то нестерпимо скучно. Кажется, все было сдѣлано: и канавы въ прошломъ году по осени чистили, и золото изъ Кронштадта цѣлую зиму возили и по полянкамъ разбрасывали, а все проку нѣтъ. Куда ни глянешь—либо мохъ сплошной, либо какая-то бурная болячка, либо цѣлая щетка молоденькихъ березокъ выскочила, и только гдѣ-гдѣ занялась настоящая трава. Ну, разумѣется, сейчасъ слѣдствіе.

— Иванъ! да точно ли вы золото изъ Кронштадта здѣсь валили?

— Помилуйте! вотъ и бумажки-съ!

— Ну, стало-быть, канавы осенью не прочистили какъ слѣдуетъ?

— И канавы нельзя лучше чистили, только въ нихъ вода, вишь, стоитъ...

— Отчего же она не стекаетъ?

— Да стёку ей нѣтъ—оттого. Еще спервоначалу Иванъ Павлычъ (прежній вотчинникъ), какъ только эти самые луга затѣялъ—все стёку искалъ. Сыщетъ, анъ на слѣдующую вёсну его пескомъ затянетъ, — давай песокъ разгребать. До воли мужикъ-отъ дешевъ былъ, разгребутъ стёкъ, канавы наново вычистятъ, — трава-то и уродится; а какъ подошла воля, разгребать-то некѣмъ стало. По канавкамъ лознякъ пошелъ, по полянкамъ мохъ выскочилъ, затягиваетъ каждый годъ да и шабашъ. Ну, Иванъ Павлычъ-то видитъ, что ежели тутъ хозяйствовать, такъ послѣдніе штаны съ себя снять придется, — осердился, плюнулъ и продалъ всю Палестину. «Пропадайте, говоритъ, вы прòпадомъ, а я на теплыя воды ѣздить стану!»

И точно, какъ ни безнадежно заключеніе Ивана Павлыча, но нельзя не согласиться, что ѣздить на теплыя воды все-таки удобнѣе, нежели пропадать прòпадомъ въ Петергофскомъ уѣздѣ. Есть люди, у которыхъ такъ и въ гербахъ значится: пропадайте вы прòпадомъ,—пускай они и пропадаютъ. А намъ съ Иваномъ Павлычемъ это не съ руки. Мы лучше въ Эмсъ поѣдемъ да легкія пообчистимъ, а на зиму опять вернемся въ отечество: неужто, молъ, петергофскіе-то еще не пропали?

— Послушай однако-жъ, Иванъ! какъ же мужики-то? у нихъ вѣдь надѣлъ... обезпеченіе, братецъ, вѣдь это! Неужто-жъ и они стёку не могутъ сыскать?

— И мужики тоже бьются. Никто здѣсь на землю не надѣется, всѣ отъ нея бѣгутъ да около кое-чего побираются. Вонъ она, мельница-то наша, который ужъ мѣсяцъ пустая стоитъ! Кругомъ на двадцать верстъ другой мельницы нѣтъ, а для нашей врядъ до Филиппова заговѣнья помолу достанетъ. Вотъ хлѣба-то здѣсь каковы!

Таковы порядки въ Монрепò. А здѣсь, подъ Инстербургомъ, сумѣли и стёкъ отыскать, и луга расчистить, и коровье житье устроить. Вездѣ канавы чистыя, безъ лозняка, и вездѣ вынутый изъ канавъ торфъ сформованъ и сложенъ въ стòпки. Этимъ торфомъ и отапливаются, и сдабриваютъ поля. Даже лѣсъ—и тотъ совсѣмъ не такъ безнадежно здѣсь смотритъ, какъ привыкли думать мы, отапливающіе кизякомъ и гречневой шелухой наши жилища на берегахъ Лопани и Ворсклы. Съ чего-то мы вообразили себѣ (должно-

быть, Печорскіе лѣса слишкомъ часто намъ во снѣ снятся), что какъ только перевалишь за Вержболово, такъ тотчасъ же представится глазамъ голое пространство, лишенное всякой лѣсной растительности. «Кабы не мы, нѣмцу протопиться бы нечѣмъ»—эта фраза пользуется у насъ почти такою же популярностью, какъ и та, которая удостовѣряетъ, что безъ нашего хлѣба нѣмцу пришлось бы съ голоду подохнуть. Въ дѣйствительности же всѣ горы Германіи покрыты отличнѣйшимъ лѣсомъ, да и въ Балтійскомъ поморьѣ недостатка въ немъ нѣтъ. Вотъ подъ Москвой, такъ точно что нѣтъ лѣсовъ, и та цѣна, которую здѣсь, въ виду Куришгафа, платятъ за дрова (до 28 марокъ за клафтеръ, около $1^1/_2$ саж. нашего швырка), была бы для Москвы истинною благодатью, а для береговъ Лопани, пожалуй, даже баснословіемъ. И замѣтьте, что если цѣна на топливо здѣсь все-таки достаточно высока, то это только потому, что Германія вообще скупа на тѣ произведенія природы, которыя возобновляются лишь въ продолжительный періодъ времени. А припустите-ка сюда похозяйничать русскаго лѣсничаго съ двумя-тремя русскими лѣсопромышленничками—они разомъ всѣ рынки запрудятъ такой массой дровъ, что послѣднія немедленно подешевѣютъ на половину...

Мнѣ скажутъ, можетъ-быть, что прусское правительство изстари производило въ восточной Пруссіи опыты разработки земли въ обширныхъ размѣрахъ и тратило на это громадныя суммы, безъ всякой надежды на ихъ возвратъ... Что-жъ! противъ этого я, конечно, ничего возразить не имѣю.

Между тѣмъ нашъ поѣздъ на всѣхъ парахъ несся къ Кёнигсбергу; въ глазахъ мелькали разноцвѣтныя поля, луга, лѣса и деревни. Физіономія крестьянскаго двора тоже значительно видоизмѣнилась противъ до-вержболовской. Изба съ выбѣленными стѣнами и черепичной крышей глядѣла веселѣе, довольнѣе, нежели до-вержболовскій почернѣвшій срубъ съ всклокоченной соломенной крышей. Это было *жилище*, а не изба въ той формѣ, въ какой мы, русскіе, привыкли себѣ ее представлять.

Я смотрѣлъ вмѣстѣ съ прочими на эту картину и невольно задумывался. Я не скажу, чтобъ сравненія, которыя при этомъ сами собой возникали, были обидны для моего самолюбія (у меня на этотъ случай есть въ запасѣ прекрасная поговорка: моя изба съ краю), но не могу

скрыть, что чувствовалась какая-то непобѣдимая неловкость. Передо мной воочію метался тотъ «повинный работѣ» человѣкъ, который, выбиваясь изъ силъ, надрываясь и проливая кровавый потъ, въ награду за свою вѣчную страду получитъ кусокъ мякиннаго хлѣба. Есть что-то мучительно загадочное въ этомъ сопоставленіи мякиннаго хлѣба и вѣчной страды. Какимъ образомъ выработалось это сопоставленіе и почему оно вылилось въ такую неподвижную форму, что скорѣе можно разбить себѣ лобъ, чѣмъ видоизмѣнить ее? Ужели на этотъ вопросъ никогда не будетъ другого отвѣта, кромѣ: не твое дѣло?

Пусть читатель не думаетъ однако-жъ, что я считаю прусскіе порядки совершенными и прусскаго человѣка счастливѣйшимъ изъ смертныхъ. Я очень хорошо понимаю, что среди этихъ отлично воздѣланныхъ полей рѣчь идетъ совсѣмъ не о распредѣленіи богатствъ, а исключительно о накопленіи ихъ; что эти поля, луга и выбѣленныя жилища принадлежатъ такимъ же толстосумамъ-буржуà, какимъ въ городахъ принадлежатъ домà и лавки, и что за каждымъ изъ этихъ толстосумовъ стоятъ десятки кнехтовъ, въ пользу которыхъ выпадаетъ очень ограниченная часть этого красиваго довольства.

Я нимало не сомнѣваюсь, что въ званіи кнехта очень мало лестнаго; но развѣ кнехты родятся только начиная съ Эйдткунена? Развѣ политико-экономическія основанія, которыя практикуются подъ Инстербургомъ, не совершенно равносильны тѣмъ, которыя практикуются и подъ Петергофомъ? Увы! я совершенно искренно убѣжденъ, что въ этомъ отношеніи обѣ мѣстности могутъ аттестовать себя равно способными и достойными, и что инстербургскій толстосумъ едва ли даже не менѣе жаденъ, нежели, напримѣръ, купецъ Колупаевъ, который разостлалъ паутину кругомъ Монрепò. Я знаю, что многіе думаютъ такъ: мы бѣдны, но зато у насъ на первомъ планѣ распредѣленіе богатствъ; однако-жъ, по мнѣнію моему, это только одни слова. Повѣрьте, что въ Петергофскомъ уѣздѣ распредѣленіе богатствъ гораздо въ бóльшей степени зависитъ отъ господина Колупаева, нежели въ Инстербургскомъ уѣздѣ отъ господина Гехта (Hecht—щука). И я убѣжденъ, что если бы Колупаеву даже во снѣ приснилось распредѣленіе, то онъ скорѣе самъ на себя донесъ бы исправнику, нежели допустилъ бы подобную пропаганду на практикѣ. Стало-быть, никакого «распредѣленія богатствъ» у насъ нѣтъ,

да, сверхъ того, нѣтъ и накопленія богатствъ. А есть простое и наглое расхищеніе.

И еще говорятъ: въ Россіи не можетъ быть пролетаріата, ибо у насъ каждый бѣднякъ есть членъ общины и надѣленъ участкомъ земли. Но говорящіе такимъ образомъ, прежде всего, забываютъ, что существуетъ громадная масса мѣщанъ, которая изстари не имѣетъ иныхъ средствъ существованія, кромѣ личнаго труда, и что, съ упраздненіемъ крѣпостного права, къ мѣщанамъ присоединилась еще цѣлая масса бывшихъ дворовыхъ людей, которые еще менѣе обезпечены, нежели мѣщане. А кромѣ того забываютъ еще и то, что около каждаго «обезпеченнаго надѣломъ» выскочилъ Колупаевъ, который высоко держитъ знамя кровопійства и ежели не зоветъ еще «обезпеченныхъ» кнехтами, то уже довольно откровенно отзывается объ мужикѣ, что «въ ёмъ только тогда и прокъ будетъ, коли ежели его съ утра до ночи на работѣ морить».

Вмѣсто того, чтобъ увѣрять всуе, что вопросъ о распредѣленіи уже разрѣшенъ нами на практикѣ, мнѣ кажется—приличнѣе было бы взглянуть въ глаза Колупаевымъ и Разуваевымъ и разоблачить детали того кровопивственнаго процесса, которому они предаются безъ всякой опаски, при свѣтѣ дня. Cur? quomodo? и въ особенности—quibus auxiliis? Вотъ если это quibus auxiliis? какъ слѣдуетъ выяснить, тогда самъ собою разрѣшится и другой вопросъ: что такое современная русская община и кого она наиначе обезпечиваетъ—общинниковъ или Колупаевыхъ?

А то выдумали: нечего намъ у нѣмцевъ заимствоваться; покуда-де они надъ «накопленіемъ» корпятъ, мы, того глядя, и политическую-то экономію совсѣмъ упразднимъ. Такъ и упразднили... упразднители! Вотъ ужо прослышитъ объ вашемъ самохвальствѣ купецъ Колупаевъ, да *quibus auxiliis* и спроситъ: «а знаете ли вы, робята, какъ кузькину сестрицу зовутъ?» И придется вамъ на этотъ вопросъ по сущей совѣсти отвѣтъ держать.

Вообще я полагаю, что у насъ практически заниматься вопросомъ о «распредѣленіи богатствъ» могутъ только Политковскіе да Юханцевы. Эти не церемонятся: придутъ, распредѣлятъ, и никто ихъ ни потрясателями основъ, ни сѣятелями превратныхъ толкованій не назоветъ, потому что они воры, а не сѣятели. Да и теоретически заняться этимъ вопросомъ, то-есть разговаривать или писать объ немъ—тоже дѣло неподходящее, потому что для этого

нужно выполнить множество подготовительныхъ работъ по вопросамъ о кузькиной сестрѣ, о бараньемъ рогѣ, о Макарѣ телятъ не гоняющемъ, объ истинномъ значеніи слова: «фюить» и т. п. Спрашивается: много ли найдется людей, которымъ такой трудъ по силамъ? Напротивъ того, въ Инстербургѣ подготовительныя работы этого рода уже упразднены, такъ что теоретической разработкой вопроса о распредѣленіи можно заниматься и безъ нихъ. Ибо это вопросъ человѣческій, а здѣсь съ давнихъ поръ повелось, что человѣку о всѣхъ до человѣка относящихся вопросахъ и говорить, и разсуждать, и писать свойственно. У насъ же свойственно говорить, разсуждать и писать: ура!

Итакъ, въ Эйдткуненѣ кнехты и въ Вержболовѣ кнехты; въ Эйдткуненѣ—господинъ Гехтъ, въ Вержболовѣ—господинъ Колупаевъ; въ Эйдткуненѣ нѣтъ распредѣленія, но есть накопленіе; въ Вержболовѣ тоже нѣтъ распредѣленія, но нѣтъ и накопленія. Вотъ въ какомъ положеніи находятся дѣла. Однако-жъ я былъ бы неправъ, если бы скрылъ, что на сторонѣ Эйдткунена есть одно важное преимущество, а именно: общее признаніе, что человѣку свойственно человѣческое. Допустимъ, что признаніе это еще робкое и неполное, и что господинъ Гехтъ, конечно, употребитъ все отъ него зависящее, чтобъ не допустить его чрезмѣрнаго распространенія, но несомнѣнно, что просвѣтъ уже существуетъ, и что кнехтамъ отъ этого хоть капельку да веселѣе.

Мнѣ кажется, что это признаніе есть начало всего, и что изъ него должно вытечь все то разумное и благое, на чемъ зиждется прочное устройство обществъ. Только тогда, когда это признаніе сдѣлается совершившимся фактомъ, смягчатся нравы, укротится людская дикость, исчезнутъ расхитители, процвѣтутъ науки и искусства, и даже начнутъ родиться «буйные» хлѣба. И ежели разъ общество добилось этого признанія, то нужно, чтобъ оно держалось за него крѣпко и помнило всеминутно, что чѣмъ шире прольется въ жизнь струя «человѣческаго», тѣмъ свѣтлѣе, счастливѣе, благодатнѣе будетъ литься существованіе самого общества. Но во всякомъ случаѣ достиженіе этого признанія должно быть первою и главнѣйшею цѣлью всего общества, и худо рекомендуетъ себя та страна, гдѣ сейчасъ слышится: отнынѣ вы можете открыто выражать ваши мысли и желанія, а слѣдомъ затѣмъ: а ну-те, посмотримъ, какъ-то вы будете открыто выражать ваши мысли и жела-

нія! Или: отнынѣ вы будете сами свои дѣла вѣдать, а слѣдомъ затѣмъ: а ну-те, попробуйте и т. д. Такому обществу ничего другого не остается, какъ дать подписку, что члены его всѣ до единаго, отъ мала до велика, во всякое время помирать согласны.

Надо сказать правду, въ Россіи въ наше время очень рѣдко можно встрѣтить довольнаго человѣка (конечно, я разумѣю исключительно культурный классъ, такъ какъ некультурнымъ людямъ нѣтъ времени быть недовольными). Кого ни послушаешь, всѣ на что-то негодуютъ, жалуются, вопіютъ. Одинъ говоритъ, что слишкомъ мало свободъ даютъ,—другой, что слишкомъ много; одинъ ропщетъ на то, что власть бездѣйствуетъ, другой—на то, что власть черезчуръ достаточно дѣйствуетъ; одни находятъ, что глупости насъ одолѣла, другіе—что слишкомъ мы умны стали; третьи, наконецъ, участвуютъ во всѣхъ пакостяхъ и, хохоча, приговариваютъ: ну, гдѣ такое безобразіе видано?! Даже расхитители казеннаго имущества—и тѣ недовольны, что скоро нечего расхищать будетъ. И всякій требуетъ лично для себя конституціи: мнѣ, говоритъ, подай конституцію, а прочіе пусть попрежнему довольствуются ранами и скорпіонами.

Эта всеобщность недовольства, сопряженная съ пожеланіемъ самыхъ пріятныхъ проектовъ лично для себя и съ полнѣйшимъ равнодушіемъ относительно жизненной обстановки сосѣда, представляется для меня фактомъ тѣмъ болѣе замѣчательнымъ, что фрондерство, повидимому, заползаетъ въ сердце самыхъ твердынь. И вдобавокъ фрондерство до того разношерстное, что уловить оттѣнки его (а стало-быть, и удовлетворить капризныя требованія этихъ оттѣнковъ) нѣтъ никакой возможности. За примѣрами ходить недалеко. Когда дѣлили между чиновниками сначала западныя губерніи, а впослѣдствіи Уфимскую, то мы были свидѣтелями явленій поистинѣ поразительныхъ. Казалось бы, ужъ на что̀ лучше: урвалъ кусокъ казеннаго пирога—и проваливай. Такъ нѣтъ же, тутъ-то именно и разыгрались во всей силѣ свара, ненависть, глумленіе и всякое безстыжество, главною мишенью для которыхъ—увы!—послужила именно та самая неоскудѣвающая рука, которая и дѣлежку-то съ тою спеціальною цѣлью предприняла, чтобъ угобзить господъ чиновниковъ и, само собой разумѣется, въ то же время положить начало корпораціи до-

вольныхъ. Пускай, молъ, хоть малый прыщъ вначалѣ вскочитъ, а потомъ, не торопясь да Богу помолясь, и большого волдыря дождемся...

А между тѣмъ вышло совсѣмъ-совсѣмъ напротивъ.

Я помню, иду я, въ разгаръ одного изъ такихъ дѣлежей, по Невскому и думаю: непремѣнно встрѣчу кого-нибудь изъ знакомыхъ, который хоть что-нибудь да утащилъ. Узнаю, какъ и что, да тутъ же ужъ кстати и поздравлю съ благополучнымъ похищеніемъ. И точно, едва я успѣлъ сойти съ Аничкина моста, смотрю—его превосходительство Петръ Петровичъ идетъ.

— Урвали?—спрашиваю.

— Помилуйте! на что похоже! выбросили кусокъ да еще ограничиваютъ! Говорятъ: пользуйся такъ-то и такъ-то: лѣсу не руби, травы не мни, рыбы не лови! А главное, не смѣй продавать, а эксплоатируй постепенно самъ! Вѣдь только у насъ могутъ *проходить даромъ* подобныя нелѣпости.

— Сс!.. да вѣдь, я думаю, это больше на бумагѣ, а на дѣлѣ, вѣроятно...

— Еще бы! Поймите, развѣ естественно, чтобъ человѣкъ самъ себѣ зложелательствовалъ! Лѣсу не руби! ахъ, чортъ побери! Да я и сейчасъ весь лѣсъ на срубъ продалъ... ха-ха!

Пройдя еще нѣсколько шаговъ, встрѣчаю его превосходительство Ивана Иваныча.

— Урвали?

— Получилъ, между прочимъ, и я; да, кажется, только грѣхъ одинъ. Помилуйте! плѣшь какую-то отвалили! Ни рѣки, ни лѣсу—ничего! «Черноземъ», говорятъ. Да чорта ли мнѣ въ вашемъ «черноземѣ», коли цѣна ему—грошъ! А коллегѣ моему Ивану Семенычу—оба вѣдь подъ одной державой, кажется, служимъ—тому такое же количество лѣса на подборъ дерево къ дереву отвели! да при рѣкѣ, да въ семи верстахъ отъ пристани! Нѣтъ, батенька, не доросли мы! Ой-ой, какъ еще не доросли! Оттого у насъ подобныя дѣла и могутъ *проходить даромъ!*

— Ваше превосходительство! да вы бы на мѣсто съѣздили, осмотрѣлись бы, посовѣтовались бы, да и тово... Въ старину говаривали: по нуждѣ и закону премѣна бываетъ; а нынче то же изреченіе только въ другой редакціи выразить—смотришь, и выйдетъ: по нуждѣ и черноземупремѣна бываетъ! И будетъ у васъ вмѣсто плѣши густорастущій лѣсъ!

— А что вы думаете, вѣдь это идея! съѣздить развѣ въ самомъ дѣлѣ... ха-ха! Вѣдь у насъ... Право, отличная штука выйдетъ! Все была плѣшь, и вдругъ на ней строевой лѣсъ выросъ... ха-ха! Вѣдь у насъ волшебства-то эти.. ха-ха! Благодарю, что надоумили! Съѣзжу, непремѣнно съѣзжу... ха-ха!

Еще нѣсколько шаговъ—идетъ навстрѣчу его превосходительство Терентій Терентьичъ. Этотъ даже вопроса не выжидаетъ, прямо заливается-хохочетъ.

— Ха-ха! вѣдь и меня надѣлили! Какъ же! заполучилъ-таки тысячки двѣ черноземцу! Вотъ такъ потѣха была! Хотите?—говорятъ. Ну, какъ, молъ, не хотѣть! съ моимъ, говорю, удовольствіемъ! А! какова потѣха! Да, батенька, только у насъ такія дѣла могутъ *даромъ проходить!* Да-съ, только у насъ-съ. Общественнаго мнѣнія нѣтъ, печать безмолвствуетъ—валяй по всѣмъ по тремъ! Ха-ха!

Вотъ какіе результаты произвелъ фактъ, который въ принципѣ долженъ былъ пролить миръ и благоволеніе въ сердцахъ получателей. Судите по этимъ образчикамъ, насколько наивны должны быть люди, которые мечтаютъ, что есть какая-нибудь возможность удовлетворить человѣка, который урываетъ кусокъ пирога и тутъ же выдаетъ головой и самого себя и своихъ благотворителей?

Но ежели такое смѣшливое настроеніе обнаруживаютъ даже люди, получившіе посильное угобженіе, то съ какими же чувствами должны относиться къ дирижирующей современности тѣ, которые не только ничего не урвали, но и въ будущемъ никакой надежды на угобженіе не имѣютъ? Ясно, что они должны представлять собою сплошную массу волнуемыхъ завистью людей.

— Сказываютъ, что въ Вятской губерніи еще полезные лѣсочки втунѣ лежатъ?—говорилъ мнѣ на-дняхъ одинъ безшабашный совѣтникъ, о которомъ при дѣлежкахъ почему-то не вспомнили.

Передъ этимъ онъ только-что сквернословилъ, ропталъ и вопилъ. Разсказывалъ расхитительные анекдоты, цитировалъ свой формулярный списокъ, перечислялъ по пальцамъ свои формулярныя преступленія и доказывалъ какъ дважды-два, что преступленія, совершенныя тѣми, которымъ судьба поблагопріятствовала при дѣлежкѣ, ничто въ сравненіи съ тѣми, которыя выпали на долю его, обдѣленнаго безшабашнаго совѣтника. И вдругъ, въ самомъ разгарѣ сквернословія, вспомнилъ, что остается еще въ

резервѣ Вятская губернія, и умилился. Ласковыми глазами глянулъ онъ мнѣ въ глаза, какъ бы ища въ нихъ подтвержденія, что Вятская губернія еще не ушла. Глядѣлъ и какъ-то покорно ждалъ. Однако-жъ я, по совѣсти, не могъ доставить ему искомаго утѣшенія. Во-первыхъ, я долженъ былъ указать ему, что нынѣ начальство строгое и никакихъ территоріальныхъ усовершенствованій ради него, безшабашнаго совѣтника, въ Вятской губерніи не допуститъ; во-вторыхъ, я вынужденъ былъ объяснить, что хотя и дѣйствительно слыхивалъ о полезныхъ лѣсочкахъ въ Вятской губерніи, но это было ужъ очень давно, такъ что теперь отъ этихъ лѣсочковъ остались одни пеньки.

— Ну вотъ!—воскликнулъ онъ горестно:—не говорилъ ли я вамъ! Гдѣ это видано! гдѣ допустили бы такое расхищеніе! давно ли такая, можно сказать, непроходимость была—и вдругъ налицо одни пеньки!

И вновь во всю мочь принялся сквернословить, роптать на начальство и вопіять объ отмщеніи.

Вообще было бы и любопытно и поучительно изучать современную культурную Россію съ точки зрѣнія сквернословія. Разсмотрѣть въ подробности этихъ алчущихъ наживы, вѣчно хватающихъ и все-таки живущихъ со дня на день людей; опредѣлить резонъ, на основаніи котораго они находятъ возможнымъ существовать, а затѣмъ въ этой безшабашной массѣ отыскать, если возможно, и человѣка, который имѣетъ понятіе о «собственныхъ средствахъ», который помнитъ свой вчерашній день и знаетъ навѣрное, что у него будетъ и завтрашній день. Увы! я вполнѣ искренно убѣжденъ, что работа будетъ трудная, такъ какъ люди второй категоріи составляютъ положительную диковину.

Петербургъ полонъ наглыми, мечущимися людьми, которые хватаютъ и тутъ же сыплютъ нахватаннымъ, которые вѣчно глотаютъ и никогда не насыщаются, и вдобавокъ даже не даютъ себѣ труда воздерживаться отъ циническаго хохота, который возбуждаетъ въ нихъ самихъ ихъ безнаказанность. Могутъ ли эти люди сознавать себя довольными? Могутъ ли они не скрежетать зубами, видя, что жизнь, несмотря на то, что они всячески стараются овладѣть ею, все-таки не представляетъ вполнѣ обезпеченнаго завтрашняго дня?—Нѣтъ, по совѣсти, не могутъ. Ибо самое безпорядочное положеніе вещей — и то не въ состояніи удовлетворить той безпредѣльной жажды стяжа-

нія, суеты и безпорядочности, которыя въ ихъ глазахъ составляютъ истинный идеалъ безпечальнаго житія. Вѣчный праздникъ, вѣчное скитаніе на чужой счетъ — очевидно, что никакое начальство, какъ бы оно ни было всемогуще, не можетъ безсрочно обезпечить подобное существованіе.

Что же касается до провинцій, то, по моему мнѣнію, масса ропщущихъ и вопіющихъ должна быть въ нихъ еще компактнѣе, хотя причины, обусловливающія недовольство, имѣютъ здѣсь совершенно иной характеръ. Все здѣсь соединилось, чтобъ изъ безконечнаго нытья сдѣлать обычный провинціальный modus vivendi. И голодное житье, и неспособность приспособиться къ новымъ условіямъ жизни, и насильственная праздность, и удаленность отъ пирога, и отсутствіе правильныхъ устоевъ жизни — все идетъ навстрѣчу провинціалу, все ставитъ ему непреодолимыя препоны на пути, все запутываетъ, заставляетъ останавливаться въ недоумѣніи. Выкупныя ссуды проѣдены или прожиты такъ, что почти, можно сказать, спущены въ ватерклозетъ. Желѣзнодорожными концессіями воспользовались немногіе шустрые, которые украли и удрали въ Петербургъ. Правда, остаются еще мировые суды и земства, около которыхъ можно бы кой-какъ пощечиться, но, во-первыхъ, ни тѣ, ни другія не въ силахъ пріютить въ своихъ нѣдрахъ всѣхъ изувѣченныхъ жизнью, а, во-вторыхъ, развѣ «благородному человѣку» можно остаться довольнымъ какими-нибудь полуторами-двумя тысячами рублей, которыя предоставляетъ нищенское земство? Мнѣ скажутъ, можетъ-быть, что и въ провинціи уже успѣло образоваться довольно компактное сословіе «кровопивцевъ», которые не имѣютъ причинъ причислять себя къ лику недовольныхъ; но вѣдь это именно тѣ самые люди, о которыхъ уже говорено выше и которые, въ одно и то же время, и пирогъ зубами рвутъ, и глумятся надъ рукою, имъ благодѣющею.

— Ну, ужъ времячко!—говоритъ купецъ Колупаевъ сосѣду своему купцу Разуваеву, удивляясь, что оба они сидятъ на волѣ, а не въ острогѣ.

— Такое время, Иванъ Прокофьичъ, что только не зѣвай!—поясняетъ купецъ Разуваевъ.

— Такъ-то такъ, а только... И откуда только онѣ берутся, эти деньги, прахъ ихъ побери!

И оба уходятъ, каждый подъ свою смоковницу, оба продолжаютъ кровопивствовать, и каждый въ глубинѣ души

говоритъ: «Ну, гдѣ-жъ это видано? у какихъ такихъ народовъ слыхано... ахъ, прахъ-те побери!»

Нѣтъ, даже Колупаевъ съ Разуваевымъ — и тѣ недовольны. Они, конечно, понимаютъ, что «жить нонѣ очень неспособно», но въ то же время не могутъ не тревожиться, что есть тутъ что-то «необнаковенное», чудное, что, идя по этой покатости, можно, того гляди, и голову свернуть. И оба начинаютъ просить «конституціевъ»... Намъ чтобъ «конституціевъ» дали, а толокòнниковъ чтобъ къ намъ подъ началъ опредѣлили, да чтобъ за печатью: и нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.

. . . . . .

Натурально, я понималъ, что около меня цѣлый вагонъ кишитъ фрондёрами, и только ожидалъ отвала изъ Эйдткунена, чтобъ увидѣть цвѣтеніе этого фрондёрства въ самомъ его разгарѣ. Но, признаюсь, всего болѣе меня интересовали въ этомъ отношеніи безшабашные совѣтники. Наравнѣ съ другими они любознательно вглядывались въ разстилавшуюся по обѣимъ сторонамъ дороги долину, и почему-то мнѣ казалось, что они дѣлаютъ это не спроста. «Навѣрное,—думалось мнѣ:—они смотрятъ и въ то же время какое-нибудь мѣропріятіе выдумываютъ. Не въ родѣ тѣхъ, какія у насъ, «въ прекрасномъ далекѣ», черезъ часъ по ложкѣ прописываютъ, а такое, чтобъ сразу совсѣмъ тошно сдѣлалось. Ужò, за границей, на досугѣ выдумаютъ, а домой пріѣдутъ—изложатъ. Сколько смѣху-то будетъ!»

Говоря по совѣсти, безшабашные совѣтники не только мнѣ не претятъ, но я чувствую къ нимъ почти непозволительную слабость. Все въ нихъ мнѣ нравится: и неожиданность сужденій, и безыскусственная несвязность рѣчей, и простодушная готовность во всякое время совершить какое угодно мѣропріятіе. Даже трещина въ черепѣ, которая постепенно, по мѣрѣ утолщенія формулярнаго списка, у каждаго изъ нихъ образовывается, — и та не представляется мнѣ зазорною, ибо я знаю, что она установлена для того, чтобъ предписанія начальства быстрѣе доходили по назначенію. Бояться безшабашныхъ совѣтниковъ я, конечно, считаю своею прирожденною обязанностью, но боюсь не потому, чтобъ они представлялись мнѣ преисполненными злобы, а потолику, поколику они являются вмѣстителями казеннаго интереса. По казенной надобности они воспламеняются и свирѣпѣютъ съ изумительной легкостью, но въ домашнемъ быту, и въ особенности на

водахъ за границею, они такіе же люди, какъ и прочіе. У большинства ихъ есть семейства, въ которыхъ они являются нѣжными супругами и любящими отцами, а у нѣкоторыхъ, сверхъ того, имѣются и француженки, которыхъ они, разумѣется, содержатъ на казенный счетъ. Въ качествѣ партикулярныхъ людей многіе изъ нихъ не прочь почитать и даже «писнуть» что-нибудь въ карамзинско-державинскомъ родѣ. Затѣмъ всѣ вообще любятъ получать хорошія содержанія и аренды. Словомъ сказать, это обыкновенные «русскіе люди», у которыхъ брюхо болитъ, если гдѣ плохо лежитъ. Разумѣется однако-жъ, если бы меня спросили, могу ли я хоть на одинъ часъ поручиться, чтобъ такой-то безшабашный совѣтникъ, будучи предоставленъ самому себѣ, чего-нибудь не накуралесилъ, то я отвѣтилъ бы: нѣтъ, не могу! Но такъ какъ никто объ этомъ меня не спрашиваетъ, то я ограничиваюсь тѣмъ, что озираюсь по сторонамъ и шепчу: твори, Господи, волю свою! И затѣмъ, когда встрѣчаюсь съ безшабашнымъ совѣтникомъ лицомъ къ лицу, то стоитъ только мнѣ представить себѣ, что я иду мимо монумента, который, того гляди, на меня упадетъ,—и я спокоенъ. Ну, упадетъ, ну, раздавитъ—только и всего. А можетъ-быть, и не на меня упадетъ, а на другого, или и совсѣмъ ни на кого не упадетъ, а просто останется стоять на страхъ врагамъ. Ибо, повторяю, тутъ все зависитъ отъ того, какая въ данную минуту казенная надобность на очереди состоитъ.

Вообще я весьма неохотно завиняю людей и знаю очень мало такихъ, которые были бы съ ногъ до головы противоестественны. Но не могу умолчать, что дѣятельность большинства встрѣчаемыхъ нами нѣжныхъ супруговъ и любящихъ отцовъ очень мало мнѣ симпатична. Есть между ними такіе, которые представляютъ собой какъ бы неистощимый сосудъ вреднѣйшихъ мѣропріятій, и есть другіе, которые хотя самостоятельно мѣропріятій не выдумываютъ, но имѣютъ спеціальностью усугублять вредоносную сущность чужихъ выдумокъ. Бываютъ даже такія личности, которыя, покуда одѣты въ партикулярное платье, перелагаютъ Давидовы псалмы, а какъ только надѣнутъ вицъ-мундиръ, такъ тотчасъ же начинаютъ читать въ сердцахъ постороннихъ людей, хотя бы послѣдніе совсѣмъ ихъ объ этомъ не просили. Вотъ почему я не со всякимъ встрѣчнымъ связываюсь и предпочитаю быть осторожнымъ съ людьми, не помнящими родства. Однажды со мной, по не-

опытности, ужаснѣйшій случай былъ. Ходилъ я въ Эмсѣ вокругъ курзала и по обыкновенію «жалѣлъ» объ отечествѣ. И вдругъ подходитъ ко мнѣ простодушнѣйшій мужчина, въ тепломъ картузѣ съ козырькомъ, точно вотъ сейчасъ изъ-подъ Гадяча выскочилъ. Словомъ сказать, одинъ изъ тѣхъ, о которыхъ въ пѣснѣ поется:

У огороди—бузина,
У Кыеви—дядя,
Я за то тебе люблю,
Що у тебе перстень...

Такъ вотъ этотъ самый «кіевскій дядя» подходитъ и голосомъ, исполненнымъ умиленія, говоритъ:

— Такъ и вы нашу Россію жалѣете? Ахъ, какъ пріятно! Признаюсь, я на здѣшней чужбинѣ только тѣмъ и утѣшаюсь, что вмѣстѣ съ великимъ Ломоносовымъ восклицаю:

О, ты, что въ горести напрасно
На Бога ропщешь человѣкъ...

Не успѣлъ я опомниться, какъ онъ уже держалъ мою руку въ своихъ и крѣпко ее жалъ. И очень возможно, что такъ бы и привелъ онъ меня за эту руку въ мѣста не столь отдаленныя, если бы изъ-за угла не налетѣлъ на насъ другой соотечественникъ и не закричалъ на меня:

— Вы это что дѣлаете? вы кому руку-то жмете? вѣдь это...

И онъ назвалъ его «постоянное занятіе»...

Какъ я уже сказалъ выше, мнѣ пришлось помѣститься въ одномъ спальномъ отдѣленіи съ безшабашными совѣтниками. Натурально, мы нѣкоторое время дичились другъ друга. Старики вполголоса переговаривались между собой и, тихо воркуя, сквернословили. Оба были недовольны, оба ссылались на графа Михаила Николаевича и на графа Алексѣя Андреича, оба сѣтовали не то на произволъ власти, не то на умаленіе ея,—не поймешь, на что именно. Но что меня всего больше огорчило—оба искали спасенія... въ конституціи!!

— Такую намъ конституцію надо, — либеральничалъ Удавъ:—чтобы лбы затрещали!

А Дыба, съ своей стороны, присовокуплялъ.

— Покойный графъ Михаилъ Николаевичъ эту конституцію еще когда провидѣлъ! Сколько разъ, бывало, при мнѣ самолично говаривалъ: «я имъ ужо пропишу... конституцію!»

И въ заключеніе, не входя въ дальнѣйшія разъясненія, оба порѣшили, что «какъ тамъ ни вертись, а не минешь что-нибудь предпринять, чтобъ «лбы затрещали». А затѣмъ, грозя очами по направленію къ Вержболову, перешли къ вопросу о «кушахъ». Какъ извѣстно, «конституція» и «куши» составляютъ больное мѣсто русской современности; но «конституцію» понимаютъ смутно и каждый по-своему, а «куши» всѣми понимаются ясно и одинаково. Такъ было и тутъ. Какъ только зашла рѣчь о «кушахъ», безшабашные совѣтники почувствовали себя какъ рыба въ водѣ и сразу насытили воздухъ вагона разсказами самаго игриваго свойства. Съ одной стороны приводились безчисленные примѣры благополучнаго казнокрадства; съ другой— произносились имена, насчитывались суммы, указывались лазейки. Безъ утайки, нараспашку. Однимъ словомъ, повѣствовалось что-то до такой степени необъятное и неслыханное, что меня чуть не бросило въ лихорадку. И въ заключеніе опять:

— Именно конституцію прописать надо! такую конституцію, чтобъ небу было жарко!

Наконецъ, наговорившись и нахохотавшись досыта между собой, безшабашные совѣтники нашли своевременнымъ и меня привлечь къ интимному сквернословію.

— Вотъ здѣсь хлѣба-то каковы!—сказалъ Дыба, подмигивая мнѣ:—и у насъ бы, по расписанію, не хуже должны быть, анъ вмѣсто того саранча... Ишь вѣдь! саранчу ухитрились акклиматизировать! Вы какъ объ этомъ полагаете... а?

Къ счастію, я вспомнилъ про «кіевскаго дядю» и его «постоянное занятіе» и потому отвѣчалъ твердо, хотя и почтительно:

— Я такъ полагаю, ваши превосходительства, что ежели у насъ жукъ и саранча даже весь хлѣбъ поѣдятъ, то и тогда нѣмецъ безъ насъ съ голоду подохнетъ!

Дыба съ недоумѣніемъ взглянулъ на меня.

— Гм!.. да,—произнесъ онъ, какъ бы понявъ:—это ежели съ точки зрѣнія «предостереженій» и розничной продажи... Но согласитесь сами, что здѣсь, подъ Инстербургомъ, подобнаго рода опасенія...

— И съ розничной продажей, и безъ розничной продажи, одинаково утверждаю: подохнетъ нѣмецъ безъ насъ!— воскликнулъ я еще съ большею настойчивостью.

Столь любезно-вѣрная непреоборимость была до того не-

обыкновенна, что Удавъ, по старой привычкѣ, собрался было почитать у меня въ сердцѣ; но такъ какъ онъ умѣлъ читать только на пространствѣ отъ Восточнаго океана до Вержболова, то, разумѣется, подъ Эйдткуненомъ ничего прочесть не сумѣлъ.

— Но для чего же вы непремѣнно настаиваете, чтобъ нѣмецъ подохъ?—спросилъ онъ въ недоумѣніи.

— Собственно говоря, я никому напрасной смерти не желаю, и если сейчасъ высказался не въ пользу нѣмца, то лишь потому, что полагалъ, что таковы требованія современной внутренней политики. Но если вашимъ превосходительствамъ, по обстоятельствамъ службы, представляется болѣе удобнымъ, чтобъ подохъ русскій, а нѣмецъ торжествовалъ, то я противодѣйствовать предначертаніямъ начальства даже въ семъ крайнемъ случаѣ не считаю себя въ правѣ.

— Но почему же? почему?

— А потому, ваши превосходительства, что, во-первыхъ, я ничего не знаю. Можетъ-быть, для пользы службы необходимо, чтобъ русскій подохъ или, по малой мѣрѣ, обмеръ? Конечно, если бы онъ весь подохъ, безъ остатка—это было бы для меня лично прискорбно; но вѣдь мое личное воззрѣніе никому не нужно, а сверхъ того я убѣжденъ, что поголовнаго умертвія все-таки не будетъ, и что ваши превосходительства хоть сколько-нибудь на разводъ да оставите. А во-вторыхъ, я отлично понимаю, что противодѣйствіе властямъ, даже въ формѣ простого мнѣнія, у насъ не похваляется; а такъ какъ лѣта мои уже преклонныя, то было бы въ высшей степени непріятно, если бы въ ушахъ моихъ неожиданно раздалось... фюить!

— Что такъ? новыхъ-то впечатлѣній, стало-быть, ужъ не ищете?—любезно осклабился Дыба.

— Довольствуюсь старыми, ваши превосходительства. Люблю свое отечество, но подробно изучать его статистику предпочитаю изъ устныхъ и печатныхъ разсказовъ мѣстныхъ изслѣдователей.

— Гм!.. да... А вѣдь истинному патріоту не такъ подобаетъ... Покойный графъ Михаилъ Николаевичъ недаромъ говаривалъ: путешествія въ мѣста не столь отдаленныя не токмо не вредны, но даже не безъ пользы для молодыхъ людей могутъ быть допускаемы, ибо они формируютъ характеры, обогащаютъ умы понятіями, а сверхъ того разжигаютъ въ сердцахъ благородный пламень любви къ отечеству! Вотъ-съ.

— Знаю я это, ваши превосходительства,—отвѣтилъ я коротко:—но думаю, что и независимо отъ путешествій люблю свое отечество самымъ настоящимъ манеромъ. А именно: люблю ваши превосходительства и считаю священнѣйшею обязанностью исполнять всѣ ваши предначертанія. Знаю, что вамъ наверху виднѣе, и потому думаю лишь о томъ, чтобъ снискать ваше расположеніе. Ежели я въ этомъ успѣю, то у меня будетъ избыточествовать и преизбыточествовать; если же не успѣю, то у меня отнимется и послѣднее. Вотъ въ какомъ смыслѣ я понимаю любовь къ отечеству, а всѣ прочіе сорты таковой отвергаю, яко мечтательные. Полагаю, что этого достаточно?

— Гм!.. Однако-жъ въ литературѣ не часто приходится читать подобныя благоразумныя мнѣнія,—пріятно огрызнулся Дыба.

— Ваши превосходительства! позвольте вамъ доложить! Я самъ былъ много въ этомъ отношеніи виноватъ и даже готовъ за вину свою пострадать, хотя, конечно, не до безчувствія... Долгое время я думалъ, что любовь къ отечеству выше даже любви къ начальственнымъ предписаніямъ; но съ тѣхъ поръ, какъ прочиталъ брошюры г. Цитовича, то вполнѣ убѣдился, что это совсѣмъ не любовь къ отечеству, а фанатизмъ, и, разумѣется, поспѣшилъ исправиться отъ своихъ заблужденій.

Это было высказано съ такою горячею искренностью, что и Дыба и Удавъ—оба были тронуты.

— Можетъ-быть! можетъ-быть! — задумчиво молвилъ Дыба:—мнѣ самому по временамъ кажется, что иногда мы считаемъ человѣка заблуждающимся, а онъ между тѣмъ давно уже во всемъ принесъ оправданіе и ожидаетъ лишь случая, дабы запечатлѣть... Какъ вы полагаете, ваше превосходительство?—обратился онъ къ Удаву.

— На этотъ случай я могу разсказать вашему превосходительству слѣдующее истинное происшествіе, о которомъ мнѣ передавалъ мой духовникъ,—отвѣчалъ Удавъ.—Жили въ одномъ селеніи двѣ Анны, и насталъ часъ одной изъ нихъ умирать. Только послалъ Богъ къ ней по душу своего ангела, а ангелъ-то и ошибись: вмѣсто того, чтобъ взять душу у подлежащей Анны, взялъ ее у другой. Хорошо-съ. Та ли Анна, другая ли Анна—все равно приходится попамъ хоронить. И что-жъ! только что стали новопреставленную Анну на литіи поминать, какъ вдругъ сверху голосъ: «Анна, да не та!» Такъ точно, думается

мнѣ, и въ настоящемъ случаѣ: часто мы себѣ человѣка нераскаяннымъ представляемъ, а онъ между тѣмъ за раскаяніе давно ужъ въ титулярные совѣтники произведенъ. Ѳедоть, да не тотъ.

Высказавшись такимъ образомъ, мы подивились премудрости и на минуту смолкли.

— А впрочемъ, по нынѣшнему времени и мудренаго мало, что нѣкоторые впадаютъ въ заблужденія,—задорливо началъ Дыба:—нельзя! Посмотрите, что кругомъ дѣлается? Гдѣ власть? гдѣ, спрашиваю васъ, власть? Намеднись прихожу за справкой въ департаментъ расхищеній и раздачъ—былъ ужъ второй часъ—спрашиваю: начальникъ отдѣленія такой-то здѣсь? «Они, говорятъ, въ три часа приходятъ».—А столоначальникъ здѣсь?—«И они, говорятъ, раньше какъ черезъ часъ не придутъ».—Кто же, спрашиваю, у васъ дѣла-то дѣлаетъ?—Такъ, повѣрите ли, даже сторожа смѣются!

— И послѣ этого жалуются, что авторитеты попраны, основы потрясены!

— Нѣтъ, хорошо, что литература хоть изрѣдка да подбадриваетъ... Помилуйте! личной обезпеченности—и той нѣтъ! Сегодня—здѣсь, а завтра—фюить!

Сказавши это, Удавъ совсѣмъ было-пристроился, чтобъ непремѣнно что-нибудь въ моемъ сердцѣ прочитать. И съ этою цѣлью даже предложилъ вопросъ:

— Ну, а вы... какъ вы насчетъ этой личной обезпеченности?.. Въ газетахъ нынче что-то сильно о ней поговариваютъ...

— И на этотъ счетъ могу вашимъ превосходительствамъ доложить,—отвѣтилъ я:—личная обезпеченность—это такое дѣло, что ежели я сижу смирно, то и личность моя обезпечена; а ежели я начну фыркать да фордыбачить, то, разумѣется, никто за это меня не похвалитъ. Сейчасъ за ушко да на солнышко—не прогнѣвайся!

— Не прогнѣвайся!—словно эхо, хотя вполнѣ машинально, повторили Дыба и Удавъ.

— Потому что, по мнѣнію моему, только то общество можно назвать благоустроеннымъ, гдѣ всякій къ своему дѣлу опредѣленъ. Такъ, напримѣръ: ежели въ расписаніи сказано, что такой-то долженъ получать дани,—тотъ пусть и получаетъ; а ежели про кого сказано, что такой-то обязывается уплачивать дани,—тотъ пусть и уплачиваетъ. А не наоборотъ.

— А не наоборотъ!—повторили безшабашные совѣтники, дивясь моему разуму.

— Если же мы станемъ фордыбачить да не захотимъ по расписанію жить, то насъ за это—въ кутузку!

— Въ кутузку!—повторило эхо.

Но, испустивъ это восклицаніе, безшабашные совѣтники спохватились, что, по выѣздѣ изъ Эйдткунена, даже по расписанію полюжено либеральничать, и потому поспѣшили поправиться.

— Но по суду или безъ суда?—почти испуганно спросилъ меня Дыба.

— И по суду и безъ суда—это какъ будетъ вашимъ превосходительствамъ угодно. Но что касается до меня, то я думаю, что безъ суда, просто по расписанію, лучше.

— Од-на-ко!?

— Я знаю, вашимъ превосходительствамъ угодно, вѣроятно, сказать, что въ послѣднее время русская печать въ особенности настаивала на томъ, чтобъ всѣхъ русскихъ жарили по суду. Но я—не настаиваю. Прежде, грѣшный человѣкъ, и я думалъ, что по суду крѣпче, а теперь вижу, что крѣпко и безъ суда. Вмѣсто того, чтобъ судиться да по мытарствамъ ходить, я лучше прямо къ вашимъ превосходительствамъ приду: виноватъ! Вы меня въ одну минуту разсудите. Ежели я не очень виноватъ—сейчасъ меня мѣрами кротости доймете, а ежели виноватъ кругомъ—фюить! По пословицѣ: любишь кататься. люби и саночки возить... не прогнѣвайся!

— Не прогнѣвайся!—цыркнулъ-было Дыба, но опять спохватился и продолжалъ: — позвольте однако-жъ! если бы мы одни на всемъ земномъ шарѣ жили, конечно, тогда все равно... Но вѣдь намъ и безъ того въ Европу стыдно носъ показать... надо же принять это въ разсчетъ... Неловко.

— А если неловко, то надо такой судъ устроить, чтобъ онъ и былъ, и все равно какъ бы его не было!

— Вотъ... это отлично!

— И все это я говорю передъ вашими превосходительствами по сущей совѣсти, такъ точно, какъ въ томъ отвѣтъ передъ вышнимъ начальствомъ дать надлежитъ!

Какъ ни лестно было для безшабашныхъ совѣтниковъ это признаніе, однако-жъ они сидѣли другъ противъ друга и недовѣрчиво покачивали головами.

— Послушайте однако-жъ!—сказалъ Удавъ:—а какъ же

вы насчетъ этихъ расхищеній полагаете? Ужели же и это можно... простить?

Онъ даже не договорилъ отъ волненія (очевидно, онъ принадлежалъ къ числу «позабытыхъ»), и въ глазахъ его сверкнула слеза любостяжанія.

— Расхищеній не одобряю,—твердо отвѣтилъ я:—но, съ другой стороны, не могу не принять въ соображеніе, что всякому человѣку сладенькаго хочется.

Послѣ такого категорическаго отвѣта Удаву осталось только щелкнуть языкомъ и замолчать. Но Дыба все еще не считалъ тему либерализма исчерпанною.

— Вотъ вы бы все это напечатали,—сказалъ онъ не то иронически, не то серьезно:—въ томъ самомъ видѣ, какъ мы сейчасъ говорили... Вѣроятно, со стороны начальства препятствій не будетъ?

— У насъ, ваши превосходительства, для выраженія похвальныхъ чувствъ никогда препятствій не бываетъ. Вотъ ежели бы кто непохвальныя чувства захотѣлъ выражать—ну, разумѣется, тогда не прогнѣвайся!

— Не прогнѣвайся!—подтвердилъ Дыба.

— Такъ вы, значитъ, думаете, что и свобода книгопечатанія у насъ существуетъ?—попытался подловить меня Удавъ.

— У насъ все существуетъ, ваши превосходительства, только намъ не всегда это извѣстно. Я знаю, что многіе отрицаютъ существованіе свободы печати, но я—не отрицаю.

— Да... да! Чего бы, кажется: суды—дали, печать—дали, земства—дали, а между тѣмъ посмотрите кругомъ—много ли найдете довольныхъ?

— А я, ваши превосходительства, такъ даже по-горло доволенъ!

— Вотъ хоть бы земство,—молвилъ Дыба:—ну, развѣ это... мечта?!

— И насчетъ земства, ваши превосходительства, скажу: многіе сомнѣваются въ его существованіи, а я—не сомнѣваюсь!

— И полагаете, что оно процвѣтетъ?

— Непремѣнно, ваши превосходительства, процвѣтетъ. Вообще я полагаю, что мы переживаемъ очень интересное время. Такое интересное, такое интересное, что, кажется, никогда ни въ одной странѣ такого не бывало... Ахъ, ваши превосходительства!

— Ну, дай Богъ, дай Богъ!

Безшабашные совѣтники набожно перекрестились, и тонкія, обезцвѣченныя губы ихъ машинально шептали: «дай Богъ, дай Богъ!»

— Но чѣмъ же вы объясните,—встрепенулся Дыба:—отчего здѣсь на пескѣ такой отличный хлѣбъ растетъ, а у насъ и на черноземѣ—то дождичка нѣтъ, то черезчуръ его много? И молебны, кажется, служатъ, а все хлѣбушка нѣтъ?

— А тѣмъ и объясню, ваши превосходительства, что много ужъ очень свободъ у насъ развелось. Такъ что ежели еще немножечко припустить, такъ, пожалуй, и совсѣмъ хлѣбушко перестанетъ произрастать...

Dixi et animam levavi, или въ русскомъ переводѣ:—сказалъ и стошнило меня. Дальше этого profession de foi идти было некуда. Я очень былъ радъ, что въ эту минуту нашъ поѣздъ остановился, и шафнеръ объявилъ, что мы на полчаса свободны для обѣда.

Между Бромбергомъ и Берлиномъ я заснулъ и видѣлъ чрезвычайно странный сонъ. Снилось мнѣ, что я очутился въ самой простой нѣмецкой деревнѣ и встрѣтилъ семивосьмилѣтняго крестьянскаго мальчика... въ штанахъ. Никогда этого со мной не бывало. Много ѣзжалъ я по нашимъ деревнямъ, много видалъ въ нихъ крестьянскихъ мальчиковъ—и всегда безъ штановъ. Бѣжитъ кудластый мальченко по деревенской улицѣ, а вѣтеръ такъ и раздуваетъ подолъ его замазанной рубашонки. Или шлепаетъ мальченко босыми ногами по грязи, или, заворотивъ подолъ, сидитъ въ лужѣ и играется камешками... ахъ, бѣдный! А тутъ, въ нѣмецкой деревнѣ, ни грязи, ни традиціонной лужи—ничего такого не видать, да вдобавокъ еще штаны! Это до такой степени меня заинтересовало, что я поманилъ мальчика и вступилъ съ нимъ въ разговоръ.

— Скажи, нѣмецкій мальчикъ,—спросилъ я:—ты постоянно ходишь въ штанахъ?

— Когда я въ первый разъ безъ посторонней помощи прошелъ по комнатѣ нашего дома, то моя добрая мать, обращаясь къ моему почтенному отцу, сказала слѣдующее: «не правда ли, мой добрый Карлъ, что нашъ Фрицъ съ нынѣшняго дня достоинъ носить штаны?» И съ тѣхъ поръ я разстаюсь съ этой одеждой только на ночь.

Мальчикъ высказалъ это солидно, безъ похвальбы и безъ всякаго глумленія надъ странностью моего вопроса. По-

видимому, онъ понималъ, что передъ нимъ стоитъ иностранецъ (кстати: ужасно странно звучитъ это слово въ примѣненіи къ русскому путешественнику, по крайней мѣрѣ мнѣ большого труда стоило свыкнуться съ мыслью, что я гдѣ-нибудь могу быть... иностранцемъ!), которому простительно не знать нѣмецкихъ обычаевъ.

— Изумительно!—воскликнулъ я:—и ты не боишься запачкать штаны въ грязи? ты рѣшаешься садиться въ нихъ въ лужу?

— Вопросъ вашъ до крайности удивляетъ меня, господинъ!—скромно отвѣтилъ мальчикъ:—зачѣмъ я буду пачкаться въ грязи или садиться въ лужу, когда могу имѣть для моихъ прогулокъ и игръ сухія и удобныя мѣста? А главное, зачѣмъ я буду поступать такимъ образомъ, зная, что это огорчитъ моихъ добрыхъ родителей?

— Великолѣпно! Но знаешь ли ты, нѣмецкій мальчикъ, что существуетъ страна, въ которой не только мальчики, но даже вполнѣ совершеннолѣтній камаринскій мужикъ—и тотъ . . . . по улицѣ бѣжитъ?

— Я еще не учился географіи и потому не смѣю отрицать, что подобная страна возможна. Но... было бы очень жестоко съ вашей стороны такъ шутить, господинъ!

— Я нимало не шучу, и ежели хочешь, то могу теперь же познакомить тебя съ однимъ изъ такихъ мальчиковъ.

— Господинъ! вы въ высшей степени возбудили во мнѣ любопытство! Конечно, мнѣ слѣдовало не иначе принять ваше предложеніе, какъ съ позволенія моихъ добрыхъ родителей; но такъ какъ въ эту минуту они находятся въ полѣ, и сверхъ того мнѣ извѣстно, что они тоже очень жалостливы къ бѣднымъ, то надѣюсь, что они не найдутъ ничего дурного въ томъ, что я познакомлюсь съ мальчикомъ безъ штановъ. Поэтому, если вы можете пригласить сюда моего бѣднаго товарища, то я весь къ его услугамъ.

Тогда, по манію волшебства (не надо забывать, что дѣло происходитъ въ сновидѣніи, гдѣ всякія волшебства дозволяются), въ нѣмецкую деревню врывается кудластый русскій мальчикъ, въ длинной рубахѣ, подолъ которой замоченъ, а воротъ замазанъ мякиннымъ хлѣбомъ. И между двумя сверстниками начинается драматическое представленіе подъ названіемъ:

МАЛЬЧИКЪ ВЪ ШТАНАХЪ

и

МАЛЬЧИКЪ БЕЗЪ ШТАНОВЪ.

РАЗГОВОРЪ ВЪ ОДНОМЪ ЯВЛЕНІИ.

(Эта пьеса рекомендуется для дѣтскихъ спектаклей).

Театръ представляетъ шоссированную улицу нѣмецкой деревни. **Мальчикъ въ штанахъ** стоитъ подъ деревомъ и размышляетъ о томъ, какъ ему прожить на свѣтѣ, не огорчая своихъ родителей. Внезапно въ средину улицы вдвигается обыкновенная русская лужа, изъ которой выпрыгиваетъ **мальчикъ безъ штановъ.**

Мальчикъ въ штанахъ *(конфузясь и краснѣя, въ сторону).* Увы! иностранный господинъ сказалъ правду: онъ безъ штановъ! *(Громко).* Здравствуйте, мальчикъ безъ штановъ! *(Подаетъ ему руку).*

Мальчикъ безъ штановъ *(не обращая вниманія на протянутую руку).* Однако, братъ, у васъ здѣсь чисто!

Мальчикъ въ штанахъ *(настойчиво).* Здравствуйте, мальчикъ безъ штановъ!

Мальчикъ безъ штановъ. Присталъ, какъ банный листъ... Ну, здравствуй! Дай оглядѣться сперва. Ишь вѣдь какъ чисто—плюнуть некуда! Ты здѣшній, что ли?

Мальчикъ въ штанахъ. Да, я мальчикъ изъ этой деревни. А вы—русскій мальчикъ?

Мальчикъ безъ штановъ. Мальчишко я. Пострѣленокъ.

Мальчикъ въ штанахъ. Пострѣленокъ? что это за слово такое?

Мальчикъ безъ штановъ. А это, когда мамка ругается, такъ говоритъ: «ахъ, пострѣли те горой». Оттого и пострѣленокъ!

Мальчикъ въ штанахъ *(старается понять и не понимаетъ).*

Мальчикъ безъ штановъ. Не понимаешь, колбаса? еще не дошелъ?

Мальчикъ въ штанахъ. Вообще многое, съ перваго же взгляда, кажется мнѣ непонятнымъ въ васъ, русскій мальчикъ. Правда, я началъ ходить въ школу очень недавно, и, вѣроятно, не всѣ результаты современной науки открыты для меня, но во всякомъ случаѣ не могу не сознаться, что вашъ внѣшній видъ, ваше появленіе сюда среди лужи и

вашъ способъ выражаться сразу повергли меня въ величайшее недоумѣніе. Ни мои добрые родители, ни почтеннѣйшіе наставники никогда не предупреждали меня ни о чемъ подобномъ... И, во-первыхъ, съ позволенія вашего, объясните мнѣ, отчего вы, русскій мальчикъ, ходите безъ штановъ?

Мальчикъ безъ штановъ. Изволь, нѣмецъ, скажу. Но прежде ты мнѣ скажи, отчего ты такъ скучно говоришь?

Мальчикъ въ штанахъ. Скучно?

Мальчикъ безъ штановъ. Да, скучно. Мямлишь, канитель разводишь, слюнями давишься. Инда голову разломило.

Мальчикъ въ штанахъ. Я говорю такъ же, какъ говорятъ мои добрые родители; а когда они говорятъ, то мнѣ бываетъ весело. И когда я говорю, то имъ тоже бываетъ весело. Еще на-дняхъ моя почтенная матушка сказала мнѣ: «когда я слышу, Фрицъ, какъ ты складно говоришь, то у меня сердце радуется!».

Мальчикъ безъ штановъ. А у насъ за такой разговоръ камень на шею да въ воду. У насъ по всей землѣ такой приказъ: разговоръ чтобъ веселый былъ!

Мальчикъ въ штанахъ *(испуганно).* Позвольте однако-жъ, русскій мальчикъ! Допустимъ, что я говорю скучно, но неужели это такое преступленіе, чтобъ за него справедливо было лишить человѣка жизни?

Мальчикъ безъ штановъ. «Справедливо»! Экъ куда хватилъ! Нужно, тебѣ говорятъ; нужно, потому что такое правило есть.

Мальчикъ въ штанахъ *(хочетъ понять и не понимаетъ).*

Мальчикъ безъ штановъ. У насъ, братъ, безъ правила ни на шагъ. Скучно тебѣ—правило; весело—опять правило. Сѣлъ—правило; всталъ—правило. Задуматься, слово молвить—нельзя безъ правила. У насъ, братъ, даже прыщикъ и тотъ долженъ почесаться прежде, нежели вскочить. И въ концѣ всякаго правила—или поронцы, или въ холодную. Вотъ и я безъ штановъ *по правилу* хожу. А тебѣ въ штанахъ, небось, лучше?

Мальчикъ въ штанахъ. Мнѣ въ штанахъ очень хорошо. И если бы моимъ добрымъ родителямъ угодно было лишить меня этого одѣянія, то я не иначе понялъ бы эту мѣру, какъ въ видѣ справедливаго возмездія за мое неодобрительное поведеніе. И, разумѣется, употребилъ бы всѣ мѣры, чтобъ вновь возвратить ихъ милостивое ко мнѣ расположеніе!

Мальчикъ безъ штановъ. Соплякъ ты—вотъ что!

Мальчикъ въ штанахъ. И этого я не понимаю.

Мальчикъ безъ штановъ. Дались тебѣ эти родители! «Добрая матушка», «почтеннѣйшій батюшка»—къ чему ты эту канитель завелъ! У насъ, братъ, дядя Кузьма намеднись отца на кобеля промѣнялъ! Вотъ такъ разъ!

Мальчикъ въ штанахъ *(въ ужасѣ)*. Ахъ, нѣтъ! это невозможно!

Мальчикъ безъ штановъ *(понявъ, что онъ слишкомъ далеко зашелъ въ дѣлѣ отрицанія)*. Ну, полно, это я такъ... пошутилъ! Пословица у насъ такая есть, такъ я вспомнилъ.

Мальчикъ въ штанахъ. Однако, ежели даже пословица... ахъ, какъ это жаль! И какъ безчеловѣчно, что такія пословицы вслухъ повторяютъ при мальчикахъ! *(Плачетъ)*.

Мальчикъ безъ штановъ. Завылъ, нѣмчура! Ты лучше скажи, отчего у васъ такіе хлѣба родятся? Ѣхалъ я давеча въ лужѣ по дорогѣ—смотрю: вездѣ песокъ да торфикъ, а все-таки на поляхъ страсть какіе суслоны наворочены!

Мальчикъ въ штанахъ. Я думаю, это отъ того, что намъ никто не препятствуетъ быть трудолюбивыми. Никто не пугаетъ насъ, никто не заставляетъ производить такія дѣйствія, которыя ни для чего не нужны. Было время, когда и въ нашемъ прекрасномъ отечествѣ всѣ жители состояли какъ бы подъ слѣдствіемъ и судомъ, когда воздухъ былъ насыщенъ сквернословіемъ, и когда всюду, гдѣ бы ни появлялся обыватель, навстрѣчу ему несся одинъ неумолимый окрикъ: куда лѣзешь? не твое дѣло! Въ эту мрачную эпоху головы нѣмцевъ были до того заколочены, что они сдѣлались неспособными ни на какое дѣло. Земля обрабатывалась небрежно и давала скудную жатву; обыватели жили, какъ дикіе, въ тѣсныхъ и мрачныхъ логовищахъ, а нѣмецкіе мальчики ходили безъ штановъ. Къ счастію, эти варварскія времена давно прошли, и съ тѣхъ поръ, какъ никто не мѣшаетъ намъ употреблять наши способности на личное и общественное благо, съ тѣхъ поръ, какъ изъ насъ не выбиваютъ податей и не ставятъ къ намъ экзекуцій, мы стали усердно прилагать къ землѣ нашъ трудъ и нашу опытность, и земля возвращаетъ намъ за это сторицею. О, русскій мальчикъ! можетъ-быть, я *скучно* говорю, но лучше пусть буду я говорить скучно, нежели вести веселый разговоръ и въ то же время чувствовать, что нахожусь подъ слѣдствіемъ и судомъ!

Мальчикъ безъ штановъ *(тронутый)*. Это, братъ, правда

твоя, что мало хорошаго всю жизнь изъ-подъ суда не выходить. Ну, да что ужъ! Лучше давай насчетъ хлѣбовъ. Вотъ у васъ хлѣба хорошіе, а у насъ весь хлѣбъ нынче саранча сожрала!

Мальчикъ въ штанахъ. Слышалъ и я объ этомъ и очень объ васъ жалѣлъ. Когда нашъ добрый школьный учитель объявилъ намъ, что дружественное намъ государство страдаетъ отъ недостатка питанія, то онъ тоже объ васъ жалѣлъ. «Слушайте, дѣти!—сказалъ онъ намъ:—вы должны жалѣть Россію не за то только, что половина ея чиновниковъ и всѣ безъ исключенія аптекаря—нѣмцы, но и за то, что она съ твердостью выполняетъ свою историческую миссію. Какъ древле, выстрадавъ иго монголовъ, она избавила отъ нихъ Европу, такъ и нынѣ, вынося иго саранчи, она той же Европѣ оказываетъ неоцѣненнѣйшую изъ услугъ!»

Мальчикъ безъ штановъ. Нескладно что-то ты говоришь, нѣмчура. Лучше, чѣмъ похабничать-то, ты мнѣ вотъ что скажи: правда ли, что у вашего царя такія губерніи есть, въ которыхъ яблоки и вишенье по дорогамъ растутъ, и прохожіе не рвутъ ихъ?

Мальчикъ въ штанахъ. Здѣсь, подъ Бромбергомъ, этого нѣтъ, но матушка моя, которая родомъ изъ-подъ Вюрцбурга, сказывала, что въ тамошней сторонѣ всѣ дороги обсажены плодовыми деревьями. И когда нашъ старый добрый императоръ получилъ эти земли въ награду за свою мудрость и храбрость, то его нѣмецкое сердце очень радовалось, что отнынѣ баденскіе, баварскіе и другіе каштаны будутъ съѣдаемы его дорогой и лойяльной Пруссіей.

Мальчикъ безъ штановъ. Да неужто деревья по дорогѣ растутъ, и такъ-таки никто даже яблочка не сорветъ?

Мальчикъ въ штанахъ *(изумленно).* Но кто же имѣетъ право сорвать вещь, которая не принадлежитъ ему въ собственность?!

Мальчикъ безъ штановъ. Ну, у насъ, братъ, не такъ. У насъ бы не только яблоки съѣли, а и вѣтки-то бы всѣ обломали! У насъ намеднись дядя Софронъ мимо кружки съ керосиномъ шелъ—и тотъ весь выпилъ!

Мальчикъ въ штанахъ. Но, конечно, онъ это по ошибкѣ сдѣлалъ?

Мальчикъ безъ штановъ. Опохмелиться захотѣлось, а грошика не было—вотъ онъ и опохмелился керосиномъ!

Мальчикъ въ штанахъ. Но вѣдь онъ, навѣрное, боленъ сдѣлался?

Мальчикъ безъ штановъ. Разумѣется! будешь боленъ, какъ на другой день при сходѣ спину взбондируютъ!

Мальчикъ въ штанахъ *(пугаясь).* Ахъ, неужели у васъ...

Мальчикъ безъ штановъ. А ты думалъ—гладятъ?

Мальчикъ въ штанахъ *(окончательно пугается и хочетъ бѣжать домой, но мальчикъ безъ штановъ удерживаетъ его).*

Мальчикъ безъ штановъ. Стой, чего испугался! Это намъ, которые изъ простого званія, подъ рубашку смотрятъ, а вѣдь ты... иностранецъ?! *(Помолчавъ).* У тебя званіе-то есть ли?

Мальчикъ въ штанахъ. Я—бауеръ.

Мальчикъ безъ штановъ. Это мужикъ, что ли?

Мальчикъ въ штанахъ. Не мужикъ, но земледѣлецъ.

Мальчикъ безъ штановъ. Ну да, извѣстно... мужикъ!

Мальчикъ въ штанахъ. Нѣтъ, земледѣлецъ. Мужикъ—это русскій, а у насъ—земледѣлецъ.

Мальчикъ безъ штановъ. Натко, выкуси!

Мальчикъ въ штанахъ. Ахъ, русскій мальчикъ, какія вы странныя слова употребляете, и какъ, должно-быть, недостаточно воспитаніе, которое вамъ даютъ! Я увѣренъ, напримѣръ, что вы не знаете, что̀ такое Богъ?

Мальчикъ безъ штановъ. А Богъ его знаетъ! У насъ, братъ, въ селѣ Успленью-Матушкѣ престольный праздникъ показанъ—вотъ мы въ спожинки его и справляемъ!

Мальчикъ въ штанахъ *(хочетъ понять и не можетъ).*

Мальчикъ безъ штановъ. Не дошелъ? Ну, нечего толковать: я и самъ, признаться, въ этомъ не твердъ. Знаю, что праздникъ у насъ на селѣ, потому что и намъ, мальчишкамъ, въ этотъ день портки надѣваютъ, а отъ Бога или отъ начальства эти праздники приказаны—не любопытствовалъ. А ты мнѣ вотъ еще что̀ скажи: слыхалъ я, что начальство здѣшнее у васъ, мужиковъ, никогда скверными словами не ругаетъ—неужто это правда?

Мальчикъ въ штанахъ. Отецъ мой сказывалъ, что онъ отъ своего дѣдушки слышалъ, будто въ его время здѣшнее начальство ужасно скверно ругалось. И всѣ тогдашніе нѣмцы до того отъ этого загрубѣли, что и между собой стали скверными словами ругаться. Но это было ужъ такъ давно, что и старики теперь ничего подобнаго не запомнятъ.

Мальчикъ безъ штановъ. А насъ, братъ, такъ и сейчасъ по̀ходя ругаютъ. Кому не лѣнь, только тотъ не ругаетъ, и все самыми скверными словами. Даже намъ надоѣло слу-

шать. Исправникъ ругается, становой ругается, посредникъ ругается, старшина ругается, староста ругается; а нынче еще урядниковъ ругаться наняли.

Мальчикъ въ штанахъ *(испуганно)*. Но, можетъ-быть, это дурная болѣзнь какая-нибудь?

Мальчикъ безъ штановъ. То-то, что ты не дошелъ! Правило такое, а ты—болѣзнь! Намеднись пріѣхалъ въ нашу деревню старшина, увидѣлъ дядю Онисима, да какъ вцѣпится ему въ бороду—такъ и повисъ.

Мальчикъ въ штанахъ. Ахъ, Боже мой!

Мальчикъ безъ штановъ. Говорю тебѣ, надоѣло и намъ. Съ души претъ, когда-нибудь перестать надо. Только какъ съ этимъ быть? Коли ему сдачи дать, такъ тебя же засудятъ, а ему, ругателю, ничего. Вотъ одинъ парень у насъ и выдумалъ: въ вечерни его отпороли, а онъ въ ночь удавился!

Мальчикъ въ штанахъ. Ахъ, какъ мнѣ васъ жаль! какъ мнѣ васъ жаль!

Мальчикъ безъ штановъ. Что насъ жалѣть! Сами себя не жалѣемъ—стало-быть, такъ намъ и надо!

Мальчикъ въ штанахъ *(съ участіемъ)*. Не говорите этого, другъ мой! Иногда и мы очень хорошо понимаемъ, что съ нами поступаютъ низко и безчеловѣчно, но бываемъ вынуждены безмолвно склонять голову подъ ударами судьбы. Нашъ школьный учитель говоритъ, что это—наслѣдіе прошлаго. По моему мнѣнію, тутъ одинъ выходъ: чтобы начальники сами сдѣлались настолько развитыми, чтобъ устыдиться и сказать другъ другу: отнынѣ пусть постигнетъ кара закона того изъ насъ, кто опозоритъ себя употребленіемъ скверныхъ словъ! И тогда, конечно, будетъ лучше.

Мальчикъ безъ штановъ. Держи карманъ! Это, братъ, у насъ «революціей сверху» называется!

Мальчикъ въ штанахъ. А мы, нѣмцы, называемъ это просто справедливостью. Но откуда вы такое выраженіе знаете?

Мальчикъ безъ штановъ. А это у насъ бывшій нашъ баринъ такъ говоритъ. Какъ ежели кого на сходѣ сѣчь приговорятъ, сейчасъ онъ выйдетъ на балконъ, прислушивается и приговариваетъ: вотъ она, «революція сверху», въ ходъ пошла!

Мальчикъ въ штанахъ. Ахъ, нѣтъ, я совсѣмъ не въ томъ смыслѣ...

Мальчикъ безъ штановъ. А онъ у насъ во всѣхъ смыслахъ... Выкупныя онъ давно проѣлъ, доходовъ съ земли—грошъ; вотъ онъ похаживаетъ у себя по хоромамъ да и шутитъ... во всѣхъ смыслахъ!

Мальчикъ въ штанахъ. Но какимъ же образомъ онъ живетъ безъ доходовъ? Работаетъ?

Мальчикъ безъ штановъ. У насъ дворянамъ работать не полагается. У насъ, коли ты дворянинъ, такъ живи, не тужи. Хошь на солнышкѣ грѣйся, хошь по ляжкѣ себя хлопай—живи. А чуть къ работѣ пристроился, значитъ, пустое дѣло затѣялъ! Превратное, значитъ, толкованіе.

Мальчикъ въ штанахъ. Какой однако-жъ странный народъ у васъ живетъ! Находятъ, что полезнѣе по ляжкѣ себя хлопать, нежели работать... изумительно!

Мальчикъ безъ штановъ. Да, братъ-нѣмецъ! про тебя говорятъ, будто ты обезьяну выдумалъ, а коли поглядѣть да посмотрѣть, такъ куда мы противъ васъ на выдумки тароваты!

Мальчикъ въ штанахъ. Ну, это еще...

Мальчикъ безъ штановъ. Вѣрно говорю и даже примѣръ сейчасъ приведу. Слышалъ я, правда ли, нѣтъ ли, что ты такую сигнацію выдумалъ, что куда хошь ее неси—сейчасъ тебѣ за нее настоящія деньги дадутъ... такъ, что ли?

Мальчикъ въ штанахъ. Конечно, дадутъ настоящія золотыя или серебряныя деньги—какъ же иначе!

Мальчикъ безъ штановъ. А я такую сигнацію выдумалъ: предъявителю выдается изъ размѣнной кассы... плюха! Вотъ ты меня и понимай!

Мальчикъ въ штанахъ *(хочетъ понять, но не можетъ).*

Мальчикъ безъ штановъ. И не старайся! не поймешь!

(Оба мальчика задумываются и нѣкоторое время стоятъ молча).

Мальчикъ въ штанахъ. Знаете ли, русскій мальчикъ, что я думаю? Остались бы вы у насъ совсѣмъ! Господинъ Гехтъ охотно бы васъ въ кнехты принялъ. Вы подумайте только: вы какъ у себя спите? что кушаете? А тутъ вамъ сейчасъ войлокъ хорошій для спанья дадутъ, а пища—даже въ будни горохъ съ свинымъ саломъ!

Мальчикъ безъ штановъ. Пища хорошая... А правда ли, нѣмецъ, что ты за грошъ чорту душу продалъ?

Мальчикъ въ штанахъ. Вы, вѣроятно, про господина Гехта говорите?.. Такъ вѣдь родители мои получаютъ отъ него опредѣленное жалованье..

Мальчикъ безъ штановъ. Ну да, это самое я и говорю: за грошъ чорту душу продалъ!

Мальчикъ въ штанахъ. Позвольте однако-жъ! Про васъ хуже говорятъ: будто вы совсѣмъ задаромъ душу отдали?

Мальчикъ безъ штановъ. Ты про Колупаева, что ли, говоришь? Ну, это, братъ... объ этомъ мы еще поговоримъ... Надоѣлъ онъ намъ, го-спо-динъ Ко-лу-паевъ!

Мальчикъ въ штанахъ *(резонно).* Надоѣлъ или не надоѣлъ—это ваше дѣло; но замѣтьте, что всегда такъ бываетъ, когда въ взаимныхъ отношеніяхъ людей не существуетъ самой строгой опредѣленности. Между родителями моими и г. Гехтомъ никогда не случалось недоразумѣній—а почему? Потому что въ контрактѣ, ими заключенномъ, сказано ясно: господинъ Гехтъ даетъ грошъ, а родители мои—душу. Вотъ и все. Тогда какъ вы, русскіе, все на какую-то «на водку» надѣетесь. И потомъ, когда вмѣсто «на водки» васъ награждаютъ ударами, вы ворчите, что вамъ... надоѣло... Сквернословіе—надоѣло, господинъ Колупаевъ—надоѣлъ... Ну, надоѣло—что же изъ этого?

Мальчикъ безъ штановъ. Погоди, нѣмецъ, будетъ и на нашей улицѣ праздникъ!

Мальчикъ въ штанахъ. Никогда у васъ ни улицы, ни праздника не будетъ. Убѣждаю васъ, останьтесь у насъ! Право, черезъ мѣсяцъ вы сами будете удивляться, какъ вы могли такъ жить, какъ до сихъ поръ жили!

Мальчикъ безъ штановъ *(съ нѣкоторымъ раздраженіемъ).* Врешь ты! Ишь вѣдь, съ гороховицей на свиномъ салѣ подъѣхалъ... диковинка! У насъ братъ, шарòмъ покати, да зато занятно... Вѣрное слово тебѣ говорю!

Мальчикъ въ штанахъ. Что же тутъ занятнаго... «шарòмъ покати»?

Мальчикъ безъ штановъ. Это-то и занятно. Ты ждешь, что хлѣбъ будетъ—анъ вмѣсто того лебеда. Сегодня лебеда, завтра лебеда, а послѣзавтра — саранча, а потомъ—выкунныя подавай! Сказывай, нѣмецъ. какъ бы ты тутъ выпутался?

Мальчикъ въ штанахъ *(хочетъ что-нибудь выдумать, но долгое время не можетъ; наконецъ выдумываетъ).* Я полагаю, что вамъ безъ нѣмцевъ не обойтись!

Мальчикъ безъ штановъ. Натко, выкуси!

Мальчикъ въ штанахъ. Опять это слово! Русскій мальчикъ! Я подаю вамъ благой совѣтъ, а вы затвердили какую-то глупость и думаете, что это отвѣтъ. Поймите меня. Мы,

нѣмцы, имѣемъ старинную культуру, у насъ есть солидная наука, блестящая литература, свободныя учрежденія, а вы дѣлаете видъ, какъ будто все это вамъ не въ диковину *). У васъ ничего подобнаго нѣтъ, даже хлѣба у васъ нѣтъ,— а когда я, отъ имени нѣмцевъ, предлагаю вамъ свои услуги, вы отвѣчаете мнѣ: «выкуси!» Берегитесь, русскій мальчикъ! это съ вашей стороны высокоуміе, которое положительно ничѣмъ не оправдывается!

Мальчикъ безъ штановъ. Нѣтъ, это не отъ высокоумія, а надоѣли вы намъ, нѣмцы,—вотъ что! Взяли въ полонъ да и держите!

Мальчикъ въ штанахъ. Но плѣнъ, въ которомъ держитъ васъ господинъ Колупаевъ, по мнѣнію моему, гораздо...

Мальчикъ безъ штановъ. Что Колупаевъ! Съ Колупаевымъ мы сочтемся... это вѣрно! Давай-ка лучше объ нѣмцахъ говорить. Правду ты сказалъ: есть у васъ и культура, и наука, и искусство, и свободныя учрежденія **), да вотъ что худо: къ намъ-то вы приходите совсѣмъ не съ этимъ, а только чтобъ пакостничать. Кто самый безсердечный притѣснитель русскаго рабочаго человѣка?—нѣмецъ! кто самый безжалостный педагогъ?—нѣмецъ! кто вдохновляетъ произволъ, кто служитъ для него самымъ неумолимымъ и всегда готовымъ орудіемъ?—нѣмецъ! И замѣть, что, сравнительно, ваша наука все-таки второго сорта, ваше искусство—тоже, а ваши учрежденія—и подавно. Только зависть и жадность у васъ перваго сорта, и такъ какъ вы эту жадность произвольно смѣшали съ правомъ, то и думаете, что вамъ предстоитъ слопать міръ. Вотъ почему васъ вездѣ ненавидятъ, не только у насъ, но именно вездѣ. Вы подъѣзжаете съ наукой, а всякому думается, что вы затѣмъ пришли, чтобъ науку прекратить; вы указываете на ваши свободныя учрежденія, а всякій убѣжденъ, что при одномъ вашемъ появленіи должна умереть всякая мысль о свободѣ. Всѣ васъ боятся, никто отъ насъ ничего не ждетъ, кромѣ подвоха. Вотъ вы, сказываютъ, Берлинъ на славу отстроили, а никому на него глядѣть не хочется. Даже свои «объ-

*) Прошу читателя помнить, что все это происходитъ въ сновидѣніи, и не удивляться, что нѣмецкій мальчикъ выражается не вполнѣ свойственнымъ его возрасту языкомъ.

**) Со стороны русскаго мальчика этотъ способъ выражаться еще неестественнѣе, но, опять повторяю, въ сновидѣніи нѣтъ ничего невозможнаго.

единенные» нѣмцы—и тѣхъ тошнитъ отъ васъ, «объединителей». Есть же какая-нибудь этому причина!

Мальчикъ въ штанахъ. Разумѣется, отъ необразованности. Необразованный человѣкъ—все равно, что низшій организмъ! такъ чего же ждать отъ низшихъ организмовъ!

Мальчикъ безъ штановъ. Вотъ видишь, колбаса! тебя еще отъ земли не видать, а какъ ужъ ты поговариваешь!

Мальчикъ въ штанахъ. «Колбаса»! «выкуси»!—какія несносныя выраженія! А вы, русскіе, еще хвалитесь богатствомъ вашего языка! Цѣлый часъ я говорю съ вами, русскій мальчикъ, и ничего не слышу, кромѣ загадочныхъ словъ, которыхъ ни на одинъ языкъ нельзя перевести. Между тѣмъ дѣло совершенно ясное. Вотъ уже двадцать лѣтъ, какъ вы хвастаетесь, что идете исполинскими шагами впередъ, а нѣкоторые изъ васъ даже и о какомъ-то «новомъ словѣ» поговариваютъ—и что же оказывается?—что вы бѣднѣе нежели когда-нибудь, что сквернословіе болѣе нежели когда-либо регулируетъ ваши отношенія къ правящимъ классамъ, что Колупаевы держатъ въ плѣну ваши души, что никто не довѣряетъ вашей солидности, никто не разсчитываетъ ни на вашу дружбу, ни на вашу непріязнь... ахъ!

Мальчикъ безъ штановъ. Ахай, нѣмецъ, а я тебѣ говорю, что это-то именно и есть... занятное!

Мальчикъ въ штанахъ. Рѣшительно ничего не понимаю!

Мальчикъ безъ штановъ. Гдѣ тебѣ понять! Сказывалъ ужъ я тебѣ, что ты за грошъ чорту душу продалъ,—вотъ онъ теперь тебѣ и заститъ свѣтъ!

Мальчикъ въ штанахъ. «Сказывалъ»! Но вѣдь и я вамъ говорилъ, что вы тому же чорту задаромъ душу отдали... Кажется, что и эта афера не особенно лестная...

Мальчикъ безъ штановъ. Такъ то задаромъ, а не за грошъ. Задаромъ-то я отдалъ—стало-быть, и опять могу назадъ взять... Ахъ, колбаса, колбаса!

. . . . . .

Но тутъ разговоръ внезапно порвался, потому что я проснулся. Кто-то въ нашемъ отдѣленіи вскочилъ съ своего ложа и благимъ матомъ кричалъ: «караулъ! грабятъ!» Это вопіялъ Удавъ, которому приснилось, что произошла третья дѣлежка, и что его и при этой дѣлежкѣ... опять позабыли!

Черезъ часъ мы уже подъѣзжали къ Берлину.

Глава II.

Переѣхавши границу, русскій культурный человѣкъ становится необыкновенно дѣятельнымъ. Всю жизнь онъ слылъ фатюемъ, фетюкомъ, фалалеемъ; теперь онъ, во что бы то ни стало, хочетъ доказать, что по природѣ онъ совсѣмъ не фатюй, и ежели являлся таковымъ въ своемъ отечествѣ, то или потому только, что его «заѣла среда», или потому, что это было согласно съ видами начальства. Онъ рано встаетъ утромъ, не спитъ послѣ обѣда, не сидитъ по цѣлымъ часамъ въ ватерклозетѣ и съ Бедекеромъ въ рукахъ съ утра до вечера нюхаетъ, смотритъ, слушаетъ, глотаетъ. Съ лихорадочною страстностью переѣзжаетъ онъ съ мѣста на мѣсто, всходитъ на горы и сходитъ съ оныхъ, бродитъ по деревнямъ, удивляется свѣжести горнаго воздуха и дешевизнѣ табльдотовъ, не морщась пьетъ мѣстное вино, вступаетъ въ собесѣдованія съ кельнерами и хаускнехтами и наконецъ, съ наступленіемъ ночи, падаетъ въ постель (снабженную, впрочемъ, дерюгой, вмѣсто бѣлья, и какими-то кисельными комками, вмѣсто подушекъ), изумленный бѣготней и массой полученныхъ впечатлѣній. Сегодня онъ ѣдетъ во Франкфуртъ и восклицаетъ: «вотъ мѣсто рожденія Гёте!» а завтра, въ Страсбургѣ, возвѣщаетъ: «вотъ, братъ, такъ колокольня!» Сегодня, въ Интерлакенѣ, не сводитъ глазъ съ Юнгфрау, а завтра любуется люцернскимъ раненымъ львомъ, съ надписью: Helvetiorum virtuti ac fidei, каковую надпись, въ шутливомъ русскомъ тонѣ, переводитъ: «любезно-вѣрнымъ швейцарцамъ, спасавшимъ въ 1790 году, за поденную плату, французское престолъ-отечество». Не успѣвъ познать самого себя,—такъ какъ насчетъ этого въ Россіи строго,—онъ очень доволенъ, что никто ему не препятствуетъ познавать другихъ. Поэтому нѣтъ ничего мудренаго, что, возвратясь изъ дневной экскурсіи по окрестностямъ, онъ говоритъ самому себѣ: «вотъ и я по деревнямъ шлялся, и съ мужичками разговаривалъ, и пиво въ кабачкѣ съ ними пилъ—и ничего, сошло-таки съ рукъ! а попробуй-ка я такимъ образомъ у насъ въ деревнѣ, безъ предписанія начальства, явиться—сейчасъ руки къ лопаткамъ и маршъ къ становому... ахъ, подлость какая!» Словомъ сказать, съ точки зрѣнія подвижности, любознательности и предпріимчивости, русскій культурный человѣкъ за границей является совершенною противоположностью тому, чѣмъ онъ былъ въ своемъ отечествѣ.

Но здѣсь я опять долженъ оговориться (пусть не посѣтуетъ на меня читатель за частыя оговорки), что подъ русскими культурными людьми я не разумѣю ни русскихъ дамочекъ, которыя устремляются за границу, потому что тамъ каждый кельнеръ имѣетъ видъ наполеоновскаго камеръ-юнкера, ни русскихъ бонапартистовъ, которые, вернувшись въ отечество, съ умиленіемъ разсказываютъ, въ какой поразительной опрятности парижскія кокотки содержатъ свои приманки. Равнымъ образомъ я не стану говорить ни о дѣйствующихъ сановникахъ, которые на казенный счетъ ставятъ втупикъ Вефура, Бребана и Маньи *) несбыточностью своихъ кулинарныхъ мечтаній, ни о сановникахъ опальныхъ, которые повѣряютъ Юнгфрау свои любезновѣрные вздохи и пробуждаютъ жалость въ сердцахъ людей кадетскою мудростью своихъ административно-полицейскихъ выдумокъ. Я говорю о среднемъ культурномъ русскомъ человѣкѣ, о литераторѣ, адвокатѣ, чиновникѣ, художникѣ, купцѣ, то-есть о людяхъ, которыхъ прямо или косвенно уже коснулся лучъ мысли, которые до извѣстной степени свыклись съ идеей о трудѣ и которые три четверти года живутъ подъ напоминаніемъ о мѣстахъ не столь отдаленныхъ. Понятно, что они рады-радёхоньки хоть два-три мѣсяца прожить внѣ этого напоминанія.

Я искренно убѣжденъ, что именно только это послѣднее обстоятельство можетъ побуждать этихъ людей такими массами устремляться въ «чужое мѣсто» и именно тамъ, а не на берегахъ Ветлуги или Чусовой, искать отдыха отъ треволненій трудовой жизни. Ужасно пріятно прожить хоть нѣсколько времени не боясь. Необходимость «ходить въ струнѣ», памятовать, что «выше лба уши не растутъ», и что съ «суконнымъ рыломъ» нельзя соваться въ «калашный рядъ»,—это такая жестокая необходимость, что только любовь къ родинѣ, доходящая до ностальгіи, можетъ примириться съ подобнымъ безчеловѣчіемъ. Кажется, что̀ можетъ быть проще мысли, что жить въ средѣ людей довольныхъ и небоящихся—гораздо удобнѣе, нежели быть окруженнымъ толпою ропщущихъ и трепещущихъ несчастливцевъ? Однако-жъ съ какимъ упорствомъ торжествующая практика держится совершенно противоположныхъ воззрѣній! И сколько еще встрѣчается на свѣтѣ людей, которые

*) Содержатели извѣстныхъ въ Парижѣ ресторановъ. Впрочемъ, заранѣе извиняюсь: быть-можетъ, есть имена и болѣе извѣстныя.

вполнѣ искренно убѣждены, что съ жиру человѣкъ можетъ только бѣситься, и что поэтому самая мудрая внутренняя политика заключается въ томъ, чтобъ держать людской родъ въ состояніи болѣе или менѣе пришибленномъ! Что же удивительнаго, что на такія воззрѣнія и жизнь даетъ вполнѣ соотвѣтствующій отвѣтъ. Съ одной стороны, она производитъ людей-мучениковъ, которыхъ повсюду преслѣдуетъ представленіе о родинѣ, но которые все-таки по совѣсти не могутъ отрицать, что на родинѣ ихъ ожидаетъ разговоръ съ становымъ приставомъ; съ другой—людей-мудрецовъ, которые разъ навсегда порѣшили: пускай родина процвѣтаетъ особо, а я буду процвѣтать тоже особо, ибо лучше два-три мѣсяца подышать полною грудью, нежели просидѣть ихъ въ «холодной»...

Рѣшительно невозможно понять, почему появленіе русскаго культурнаго человѣка въ русской деревнѣ (если бы даже этотъ человѣкъ и не былъ мѣстнымъ обывателемъ) считается у насъ чѣмъ-то необыкновеннымъ, за что надо вывертывать руки къ лопаткамъ и вести къ становому. Почему желаніе знать, какъ живетъ русскій деревенскій человѣкъ, называется предосудительнымъ, а желаніе подѣлиться съ нимъ нѣкоторыми небезполезными свѣдѣніями, которыя повысили бы его умственный и нравственный уровень,—превратнымъ толкованіемъ? Вѣдь надо же наконецъ, чтобъ мужикъ когда-нибудь что-нибудь зналъ, надо же, чтобъ онъ сознавалъ себя и свое положеніе и когда-нибудь пожелалъ для себя лучшаго удѣла, нежели тотъ, на который онъ осужденъ въ данную минуту. Говорю: «надо»—совсѣмъ не въ смыслѣ ублаготворенія мужицкой прихотливости, а просто потому, что безъ этого знанія, безъ этого стремленія къ лучшему не можетъ преуспѣвать страна. Уничтожьте идеалы (хотя бы и мужицкіе), заставьте замереть желаніе лучшаго—и вы увидите, какъ быстро загрубѣетъ окружающая среда. А между тѣмъ благосостояніе этой среды необходимо и для насъ лично, потому что имъ, и только имъ однимъ, обусловливается ваше собственное благосостояніе.

Мнѣ скажутъ, можетъ-быть, что во всѣхъ этихъ собесѣдованіяхъ съ «мужичкомъ» и хожденіяхъ около него кроется достаточная доля опасности, такъ какъ они могутъ служить удобнымъ орудіемъ для извѣстнаго рода происковъ, которые во всѣхъ новѣйшихъ хрестоматіяхъ извѣстны подъ именемъ неблагонамѣренныхъ. Допустимъ, пожалуй, что подобные случаи не невозможны, но вѣдь дѣло не въ томъ,

возможна ли та или другая случайность, а въ томъ, нужно ли эту случайность обобщать, нужно ли крутить руки къ лопаткамъ всякому проходящему, нужно ли заставлять его бесѣдовать съ незнакомцемъ, хотя бы онъ назывался становымъ приставомъ? Вѣдь не дѣлаютъ же этого подъ Висбаденомъ, подъ Вюрцбургомъ или подъ Фонтенебло. Вездѣ—сначала ожидаютъ поступковъ, и ежели поступковъ нѣтъ, то оставляютъ человѣка въ покоѣ; а ежели есть поступки, то поступаютъ согласно съ обстоятельствами. Но даже и въ послѣднемъ случаѣ не сажаютъ съ закрученными руками въ «холодную», а спокойно изслѣдуютъ. Помилуйте! что̀ это за манера такая—не говоря худого слова, крути руки къ лопаткамъ! вѣдь это наконецъ подло! Неужто нельзя обойтись безъ тумаковъ, особливо, если еще неизвѣстно, съ чѣмъ имѣешь дѣло—съ превратнымъ или съ полезнымъ толкованіемъ?

Я знаю очень много полезныхъ и даже пріятнаго образа мыслей людей, которые прямо говорятъ: «Зачѣмъ я въ деревню поѣду—тамъ мнѣ навѣрное руки къ лопаткамъ закрутятъ! Въ городѣ я гораздо меньше рискую. Я пишу, вчинаю иски, апеллирую, торгую, играю въ карты—все это внѣшнимъ образомъ беретъ мое время и вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ мнѣ возможность прятать мысль и избѣгать возмездій. Если въ городѣ меня спросятъ, какого я образа мыслей насчетъ Успленья-Матушки, я могу отвѣтить: пассъ! восемь въ червяхъ, шлемъ безъ козырей!—и всякій похвалитъ мою скромность. Напротивъ того, въ деревнѣ я непремѣнно долженъ вести практикулярный разговоръ объ Успленьѣ-Матушкѣ и непремѣнно имѣть собесѣдникомъ мужика. Не говоря уже о томъ, что иначе я пропаду со скуки, одичаю, но, сверхъ того, я положительно не понимаю, почему я обязанъ воздерживаться отъ собесѣдованій съ мужикомъ? Почему я, видя человѣка безпомощнымъ, не имѣю права подать ему руки помощи? Почему, имѣя возможность сообщить человѣку полезный совѣтъ, обязываюсь, вмѣсто того, осквернять его мозги благонамѣренными благоглупостями? Вѣдь наконецъ въ самой природѣ человѣческой есть стремленіе симпатизировать своему ближнему и желать поднять его духовный уровень до своего духовнаго уровня! Почему я долженъ отказать себѣ въ удовлетвореніи этого естественнаго требованія? Почему, въ случаѣ неотказа, я обязанъ имѣть по сему предмету объясненіе съ становымъ приставомъ? съ человѣкомъ, котораго супругѣ я не имѣлъ чиест

быть представленнымъ? Лучше я совсѣмъ не поѣду въ деревню: пускай она процвѣтаетъ... безъ меня!»

Жалуются, что русская деревня страдаетъ отъ культурнаго абсентеизма; но развѣ можетъ быть иначе? Возьмите самыя простыя сельскохозяйственныя задачи, предстоящія культурному человѣку, рѣшившемуся посвятить себя деревнѣ, каковы, напримѣръ: способы пользоваться землею, разсчеты съ рабочими, степень личнаго участія въ прибыляхъ, привлеченіе къ этимъ прибылямъ батрака и т. п.— развѣ все это не находится въ самой несносной зависимости отъ какихъ-то волшебныхъ вѣяній, сущность которыхъ даже не для всякаго понятна? А между тѣмъ эти вѣянія пристигаютъ человѣка и въ самомъ процессѣ его дѣятельности, и во всѣхъ послѣдствіяхъ этого процесса. Вездѣ подозрѣніе, вездѣ доносъ, вездѣ на стражѣ стоитъ тысячеокій Колупаевъ, которому, конечно, невыгодно, чтобъ «обезпеченный надѣломъ» человѣкъ выскользнулъ изъ его загребистыхъ рукъ. Нужно ли, чтобъ Колупаевъ безсрочно оставался владыкою думъ «обезпеченныхъ»? Ежели нужно, то не сѣтуйте на абсентеизмъ, и пускай страна грубѣетъ, а аборигенъ ея пусть дичаетъ. Ежели же это нежелательно, то пускай деревня освѣжится приливомъ новыхъ, разумныхъ силъ, и пускай эти силы не встрѣчаются, съ первыхъ же шаговъ, съ выворачиваніемъ рукъ и сажаніемъ въ «холодную».

Я не говорю, чтобъ отношенія русскаго культурнаго человѣка къ мужику, въ томъ видѣ, въ какомъ они выработались послѣ крестьянской реформы, представляли нѣчто идеальное, равно какъ не утверждаю и того, чтобъ благодѣянія, развиваемыя русской культурой, были особенно цѣнны; но я не могу согласиться съ однимъ: что пріурочиваемое какимъ-то образомъ къ обычаямъ культурнаго человѣка свойство пользоваться трудомъ мужика, не пытаясь обсчитать его, должно предполагаться равносильнымъ неопровержению основъ. А у насъ, къ несчастію, именно этотъ взглядъ и пользуется авторитетомъ, такъ что всякій протестъ противъ обсчитыванія прямо приравнивается къ соціализму. И что всего удивительнѣе, благодаря Колупаевымъ и споспѣшествующимъ имъ quibus auxiliis, самъ мужикъ почти убѣжденъ, что только вредный и преисполненный превратныхъ толкованій человѣкъ можетъ не обсчитать его. Поистинѣ это ужаснѣйшая изъ всѣхъ пропагандъ. Мало того, что она держитъ народъ въ невѣжествѣ и уби-

ваетъ въ немъ чувство самой простой справедливости къ самому себѣ (до этого, повидимому, никому нѣтъ дѣла),— она чревата послѣдствіями иного, еще болѣе опаснаго, съ точки зрѣнія предупрежденія и пресѣченія, свойства. Ибо ежели въ настоящую минуту еще можно сказать, что культурный человѣкъ является абсентеистомъ отчасти по собственной винѣ (недостатокъ мужества, терпѣнія, знаній, привычка къ роскоши и т. д.), то, быть-можетъ, недалеко время, когда онъ явится абсентеистомъ поневолѣ. И тогда... что̀ станется съ нашими исконными «опорами»?

Тѣмъ не менѣе я не могу не признать, что со стороны Колупаевыхъ и ихъ попустителей описанный сейчасъ образъ дѣйствій не представляетъ ничего непонятнаго. Эти люди настолько угорѣли подъ игомъ стяжаній и до того лишены дара провидѣнія, что никакія перспективы будущаго не могутъ волновать ихъ. Но совершенно непонятно, почти страшно, что поощренія въ подобномъ смыслѣ отъ времени до времени раздаются и въ литературѣ. Признаюсь, я никогда не могъ читать безъ глубокаго волненія газетныхъ извѣстій о томъ, что въ такую-то, дескать, деревню явились неизвѣстные люди и начали съ мужичками бесѣдовать; но мужички, не теряя золотого времени, прикрутили имъ къ лопаткамъ руки и отправили къ становому приставу. Въ особенности омерзительною казалась мнѣ радостная редакція этихъ статеекъ. Зачѣмъ приходили неизвѣстные люди, о чемъ они разговаривали—ничего не видно; достовѣрно только, что имъ закрутили руки, чтобъ не терять золотого времени. Чему же тутъ однако радоваться? Вѣдь, можетъ-быть, эти «неизвѣстные» отыскали способъ бороться съ саранчей или съ колорадскимъ жучкомъ и приходили въ деревню затѣмъ, чтобъ подѣлиться своимъ открытіемъ съ ея обитателями? Или, быть-можетъ, они желали указать на какую-нибудь новую отрасль промышленности, которая могла бы съ успѣхомъ привиться въ этой мѣстности? Или наконецъ просто хотѣли объяснить мужичкамъ, что̀ такое Богъ? Неужто же это не полезно? А между тѣмъ этимъ полезнымъ «неизвѣстнымъ людямъ», не теряя золотого времени, скрутили назадъ руки.

Прошу читателя извинить меня, что я такъ часто повторяю фразу о вывернутыхъ назадъ рукахъ. Повидимому, это самая употребительная и самая совершенная изъ всѣхъ формъ изслѣдованія, допускаемыхъ обитателями россійскихъ палестинъ въ наше просвѣщенное время. И я убѣжденъ,

что всякій добросовѣстный урядникъ совершенно серьезно подтвердитъ, что если бы этого метода изслѣдованія не существовало, то онъ былъ бы въ высшей степени затрудненъ въ отправленіи своихъ обязанностей.

За всѣмъ тѣмъ, отнюдь не желая защищать превратныя толкованія, я все-таки думаю, что первая и наиболѣе обязательная добродѣтель для тѣхъ, которые, подобно урядникамъ, даютъ тонъ внутренней политикѣ, есть терпѣніе. Система быстраго и немедленнаго заѣзжанія пользуется у насъ уже черезчуръ большимъ довѣріемъ и, право, она этого довѣрія не заслуживаетъ. Въ сущности эта система дурная, и наименѣе опасный изъ результатовъ, къ которымъ она приводитъ, это отсутствіе всякихъ результатовъ въ смыслѣ предупрежденія и пресѣченія. Если бы дѣло ограничивалось только этимъ, то Богъ бы съ нею: пускай утѣшаетъ бойцовъ; но есть и существенная опасность, которая ей присуща и которая заключается въ томъ, что «заѣзжаніе» можетъ надоѣсть. Конечно, «мальчикъ въ штанахъ» былъ отчасти правъ, говоря: «вамъ, русскимъ, все надоѣло: и сквернословіе, и Колупаевъ, и тумаки, да вѣдь до этого никому дѣла нѣтъ!»—но сдается мнѣ, что и «мальчикъ безъ штановъ» не былъ далекъ отъ истины, настойчиво повторяя: «надоѣло, надоѣло, надоѣло...»

За однимъ изъ безчисленныхъ табльдотовъ Германіи мнѣ случилось однажды обѣдать въ большой компаніи русскихъ... Я сидѣлъ съ краю компаніи, а рядомъ со мною помѣщался неизвѣстный юноша, до такой степени бѣловолосый, что я заподозрѣлъ: непремѣнно это долженъ быть «скиталецъ» изъ котельническаго уѣзднаго училища, который какимъ-то чудомъ попалъ въ Германію. Разумѣется, это было съ моей стороны только беллетристическое предположеніе, которое тотчасъ же и разсѣялось, потому что юноша говорилъ на чистѣйшемъ нѣмецкомъ діалектѣ и, очевидно, принадлежалъ къ коренной нѣмецкой семьѣ, которая съ нами же и обѣдала. Но тутъ-то именно и случилось дѣйствительное чудо. Между тѣмъ какъ въ средѣ русскихъ шла оживленная бесѣда на тему: для чего собственно нуженъ Берлинъ (многіе предлагали такое рѣшеніе: «для человѣкоубивства»), мнѣ привелось передать моему бѣловолосому сосѣду какое-то кушанье. И вдругъ, въ отвѣтъ на мою любезность, я услышалъ отъ него по-русски:

— Благодарю васъ!

Это было до того неожиданно, что я чуть не въ ужасѣ воскликнулъ:

— Однако, братъ, ты... угораздило-таки васъ, mein Herr!

На что̀ юноша, нимало не смущаясь, скромно отвѣтилъ:

— Я сольда̀тъ; мы уфъ Берлинъ немного учимъ по-русску... на всякъ случа̀й.

Такъ вотъ оно какъ. Мы, русскіе, съ самаго Петра I-го усердно «учимъ по-нѣмецку» и все никакого «случая» поймать не можемъ, а въ Берлинѣ ужъ и теперь «случай» предвидятъ и, конечно, не для того, чтобъ читать порнографическую литературу г. Цитовича, учатъ солдатъ «по-русску». Разумѣется, я не преминулъ сообщить объ этомъ моимъ товарищамъ по скитаніямъ, которые нашли, что фактъ этотъ служитъ новымъ подтвержденіемъ только-что формулированнаго рѣшенія: да, Берлинъ ни для чего другого не нуженъ, кромѣ какъ для человѣкоубивства.

Берлинъ, какъ столица Прусскаго королевства, былъ для всѣхъ понятенъ. Онъ скромно стоялъ во главѣ скромнаго государства и, находясь почти въ центрѣ его, былъ очень удобенъ въ качествѣ административнаго распорядителя. Нѣсколько скучный, какъ бы страдающій головною болью, онъ привлекалъ очень немного иностранцевъ, и ежели тѣмъ не менѣе изъ всѣхъ силъ бился походить на прочія столицы, съ точки зрѣнія монументовъ и дворцовъ, то дѣлалъ это pro domo, чтобъ вѣрные подданные прусской короны имѣли поводъ гордиться, что и ихъ король не отказываютъ себѣ въ монументахъ. Милитаристскія поползновенія существовали въ Берлинѣ и тогда, но они казались столь безобидными, что никому не внушали ни подозрѣній, ни опасеній, хотя подъ сѣнію этой безобидности выросли Бисмарки и Мольтке. Неоднократно Прусское королевство находилось подъ угрозой распаденія, но всякій разъ на помощь являлась дружественная рука, которая на безсрочное время обезпечивала за нимъ возможность дѣлать разводы, парады и маневры. По временамъ въ Европѣ ходили смутные слухи о томъ, что Берлинъ сбирается снабдить Пруссію свободными учрежденіями, и слухи эти вливали тревогу въ сердца сосѣдей. Но проходили годы, учрежденій не появлялось, слухи затихали, и сердца сосѣдей вновь загорались довѣріемъ. Въ 1848 году Берлинъ даже бунтовалъ, но непродолжительно и скучно. Были однако-жъ въ старомъ Берлинѣ и положительно симпатич-

ныя стороны. Во-первыхъ, онъ съ незапамятныхъ временъ воздерживался отъ ежовыхъ рукавицъ и митирогнозіи, что̀ заставляло сосѣдей говорить: «да и куда-жъ имъ, колбасникамъ!» Во-вторыхъ, сознавая себя не безусловно-нѣмецкимъ городомъ, онъ изъ всѣхъ силъ старался быть нѣмецкимъ. Это вынуждало его состязаться съ другими центрами нѣмецкой культуры, приглашать въ свой университетъ лучшихъ профессоровъ, покровительствовать литературѣ, искусствамъ и наукамъ. Все это, разумѣется, дѣлалось довольно экономно (и не безъ примѣси коварства), но, право, даже экономно-коварное покровительство наукамъ все-таки лучше, нежели натискъ и быстрота. Но лучшее право стараго Берлина на общія симпатіи, во всякомъ случаѣ, заключалось въ томъ, что никто его не боялся, никто не завидовалъ и ни въ чемъ не подозрѣвалъ, такъ что даже Москва-рѣка ничего не имѣла противъ существованія рѣчки Шпрее.

Въ настоящее время отъ всѣхъ этихъ симпатичныхъ качествъ осталось за Берлиномъ одно, наименѣе симпатичное: головная боль, которая и донынѣ свинцовой тучей продолжаетъ парить надъ городомъ. Все прочее радикально измѣнилось. Застѣнчивость замѣнилась самомнѣніемъ, политическая уклончивость—ничѣмъ не оправдываемой претензіей на вселенское господство, скромность—неудачнымъ стремленіемъ подкупить иностранцевъ мѣщанскою роскошью новыхъ кварталовъ и какимъ-то второразряднымъ развратомъ, безобразный цинизмъ котораго тщетно усиливается затмить красивый и щеголеватый парижскій цинизмъ. Ужъ подъѣзжая къ Берлину, иностранецъ чувствуетъ, что на него пахнуло скукой, офицерскимъ самодовольствомъ и коллекціей неопрятныхъ подоловъ изъ Орфеума. И такъ какъ ни то, ни другое, ни третье не заключаютъ въ себѣ ничего привлекательнаго, то путникъ спѣшитъ въ первую попавшуюся гостиницу, чтобъ почиститься и выспаться, и затѣмъ, нимало не медля, ѣдетъ дальше.

Трудно представить себѣ что-нибудь болѣе унылое, нежели улицы Берлина. Недостатка въ движеніи, конечно, нѣтъ (да и не можетъ не быть движенія въ городѣ съ почти милліоннымъ населеніемъ), но это какое-то озабоченное, почти вымученное движеніе — какъ будто всѣмъ этимъ двигающимся взадъ и впередъ людямъ до смерти хочется куда-то убѣжать. Каждому удаляющемуся экипажу такъ и хочется крикнуться вслѣдъ: счастливецъ! ты, конечно,

оставляешь Берлинъ навсегда! Ни гула, напоминающаго пчелиный улей (такой гулъ слышится иногда въ курортахъ и всегда—въ Парижѣ), ни этой живой связи между улицей и окаймляющими ее домами, которая заставляетъ считать первую какъ бы продолженіемъ послѣднихъ, — ничего подобнаго нѣтъ. Одно безпрерывное и молчаливое маятное движеніе—и ничего больше.

Нѣчто подобное можно наблюдать, часовъ около пяти передъ обѣдомъ, въ Петербургѣ на Невскомъ, когда чиновники и адвокаты, вырвавшись съ каторги, спѣшатъ голодные домой. Они не заглядываются по сторонамъ, потому что не на что смотрѣть, никуда не заходятъ, потому—незачѣмъ заходить. Не до глядѣнья тутъ, а какъ бы по-добру по-здорову домой добѣжать, да чтобъ по дорогѣ въ участокъ не свели. Конечно, кромѣ чиновниковъ и адвокатовъ, встрѣчаются въ это время на Невскомъ еще желѣзнодорожники и кокотки, но и они, по совѣсти, едва ли отвѣтятъ на вопросъ, зачѣмъ они суетятся и движутся. Вотъ этотъ желѣзнодорожный хлыщъ, который во всю прыть мчится на рысакѣ— почему онъ такъ озабоченно смотритъ? объ чемъ думаетъ? Увы! онъ самую простую думу думаетъ, а именно: какъ бы ему такъ обожраться, чтобъ штаны по цѣлому мѣсту лопнули (этого результата онъ почему-то не могъ до сихъ поръ добиться), или какъ бы ему «шельму Альфонсинку» такъ изуродовать, чтобъ она послѣ того цѣлый мѣсяцъ сѣсть не могла. Для чего это ему понадобилось — онъ и самъ не вѣдаетъ. Ему просто адски скучно, несмотря на то, что, съ точки зрѣнія жранья и Альфонсинокъ, ему не житье, а рай. Да и эта самая Альфонсинка, которую онъ собрался «изуродовать» и которая теперь, развалившись въ коляскѣ, летитъ по Невскому,—и она совсѣмъ не объ томъ думаетъ, какъ она будетъ черезъ часъ nôcer у Бореля, а объ томъ, сколько еще нужно времени, чтобъ «отработаться» и потомъ удрать въ Парижъ, гдѣ она начнетъ nôcer ужъ взаправду, какъ истинно доброй и бравой кокоткѣ надлежитъ...

Ту же щемящую скуку, то же отсутствіе непоказной жизни вы встрѣчаете и на улицахъ Берлина. Я согласенъ, что въ Берлинѣ никому не придетъ въ голову, что его «занапрасно» сведутъ въ участокъ или обругаютъ, но, по мнѣнію моему, это придаетъ уличной озабоченности еще болѣе удручающій характеръ. Кажется, что весь этотъ людъ высыпалъ на улицу за тѣмъ, чтобъ купить на грошъ кол-

басы; купилъ и бѣжитъ поскорѣе домой, какъ бы знакомые не увидѣли и не выпросили.

Въ соотвѣтствіе съ улицами и магазины берлинскіе смотрятъ уныло, хотя есть между ними достаточное число обширныхъ и заваленныхъ товаромъ. Это скорѣе кладовыя, нежели магазины. Можетъ-быть, въ нихъ и спрятано гдѣ-нибудь что-нибудь подходящее, да заглядывать-то туда не хочется, потому что, покуда отыскиваешь это подходящее (а спросите-ка «дамочку», знаетъ ли она даже, что̀ для нея «подходящее»?), непремѣнно сто разъ часъ своего рожденія проклянешь. Представьте себѣ, что вы хотите знать, какимъ образомъ и почему петербургскіе оберъ-полицеймейстеры начали именоваться градоначальниками, а вамъ на это говорятъ, что для точнаго уразумѣнія этого событія необходимо прочитать «Исторію Россіи съ древнѣйшихъ временъ» Соловьева. Зачѣмъ? вѣдь это наконецъ обременительно—по поводу самой простой исторической справки каждый разъ перечитывать «Исторію» Соловьева! А въ Берлинѣ каждый магазинъ такъ, кажется, и говоритъ проходящему, что человѣкъ, желающій пріобрѣсти фланелевую куртку, тогда только получитъ искомое, ежели предварительно ознакомится съ полнымъ курсомъ «Исторіи фланелевыхъ куртокъ съ древнѣйшихъ временъ». Даже русскія культурныя дамочки — ужъ на что̀ охочи по магазинамъ бѣгать—и тѣ чуть не со слезами на глазахъ жалуются: помилуйте! мужъ заставляетъ меня въ Берлинѣ платья покупать!

Въ Берлинѣ можно купить одѣяло, но не такое, чтобъ имъ покрывать постель днемъ; можно купить резиновый мячикъ, но лишь для дѣтей небогатыхъ родителей; наконецъ въ Берлинѣ можно купить колбасу, но не такую, чтобъ потчевать ею людей, которымъ желаешь добра, а такую, чтобъ съѣсть ее отъ нужды одному, при запертыхъ дверяхъ, съѣсть, и когда желудочныя боли утихнутъ, то позабыть. И за всѣмъ тѣмъ Берлинъ торгуетъ, какъ говорится, въ развалъ, и въ особенности шерстянымъ товаромъ. Куда расходится эта громадная масса безвкуснаго, а отчасти и не особенно прочнаго товара?—Разумѣется, прежде всего по своимъ собственнымъ Диршау, Бромбергамъ, Тарантамъ и проч., но главное количество все-таки уходитъ въ Россію. Пензы, Тулы, Курски — все слопаютъ, и тульская дамочка, которая визжала при одной мысли ремонтировать свой туалетъ въ Берлинѣ, охотно износитъ самаго

несомнѣннаго Герсона за самаго несомнѣннаго Ворта, если этотъ Герсонъ будетъ предложенъ ей въ магазинѣ дамскаго портного Страхова... въ кредитъ.

Но самый гнетущій элементъ берлинской уличной жизни— это военный. Сравнительно съ Петербургомъ военный гарнизонъ Берлина не весьма многочисленъ, но тѣла ли прусскихъ офицеровъ дюжѣе, груди ли у нихъ объемистѣе, какъ бы то ни было, но дѣлается положительно тѣсно, когда по улицѣ проходитъ прусскій офицеръ. Одѣтъ онъ какимъ-то чудакомъ, въ форму, напоминающую наши военные сюртуки и фуражки сороковыхъ годовъ; грудь выпячена колесомъ, усы закручены въ колечко... Идетъ румяный, крупичатый, довольный, точно сейчасъ получилъ жалованье, что̀ не мѣшаетъ ему, впрочемъ, относиться къ ближнему съ строгостью и скоростью. Мнѣ кажется, что Держиморда именно былъ бы таковъ, если бы не заѣлъ его Сквозникъ-Дмухановскій и онъ самъ не имѣлъ бы слабости къ спиртнымъ напиткамъ.

Когда я прохожу мимо берлинскаго офицера, меня всегда беретъ оторопь. Даже въ Баденъ-Баденѣ, въ Эмсѣ мнѣ дѣлалось жутко, когда, бывало, привезутъ въ курзалъ изъ Рапштадта или изъ Кобленца нѣсколько десятковъ офицеровъ, чтобъ доставить удовольствіе à ces dames. Не потому жутко, чтобъ я боялся, что офицеръ кликнетъ городового, а потому, что всѣмъ своимъ складомъ, посадкой, устоемъ, выпяченной грудью, выбритымъ подбородкомъ такъ и тычетъ въ меня: я герой! Мнѣ кажется, что если бы вмѣсто того онъ сказалъ: я разбойникъ и сейчасъ начну тебя свѣжевать, — мнѣ было бы легче. А то «герой»— шутка сказать! Передъ героями простые люди обязываются падать ницъ, обожать ихъ, забыть о себѣ, чтобъ исключительно любоваться и гордиться ими,—вотъ какъ я понимаю героевъ! Но какъ бы я ни былъ малъ и ничтоженъ, вѣдь и у меня есть собственныя дѣлишки, которыя требуютъ времени и заботъ. И вдобавокъ эти дѣлишки, вмѣстѣ съ дѣлишками другихъ столь же простыхъ людей, не безполезны и для страны, въ которой я живу. Неужели же я долженъ обо всемъ забыть, на все закрыть глаза, за тѣмъ только, чтобъ во всю глотку орать: ура, герой! Нѣтъ, право, самое мудрое дѣло было бы, если бы держали героевъ взаперти, потому что это развязало бы простымъ людямъ руки и въ то же время дало бы возможность странѣ пользоваться плодами этихъ рукъ. Пускай герои между собой

разговариваютъ и другъ на друга любуются; пускай читаютъ Плутарха, припоминаютъ анекдоты изъ жизни древнихъ и новыхъ героевъ и вообще поддерживаютъ въ себѣ вкусъ къ истребленію «ископнаго» врага (а кто же теперь не «исконный» врагъ въ глазахъ прусскаго офицера?). Но пусть они не показываются днемъ на улицѣ, пусть не напоминаютъ мнѣ, смирному и скромному колбаснику, что я ежемгновенно могу погибнуть, какъ червь, если за меня не бдитъ недремлющее око его... героя!

Нашъ русскій офицеръ никогда не производилъ на меня такого удручающаго впечатлѣнія. Прежде всего онъ въ объемѣ тоньше, и грудей у него такихъ нѣтъ; во-вторыхъ, онъ положительно никому не тычетъ въ глаза: я герой. Русскій человѣкъ способенъ быть дѣйствительнымъ героемъ, но это не выпячиваетъ ему груди и не заставляетъ таращить глаза. Онъ смотритъ на геройство безъ панибратства и, очевидно, понимаетъ, что это совсѣмъ не такая заурядная вещь, которую можно всегда носить съ собою, въ числѣ прочей аммуниціи. Напротивъ, пруссакъ убѣжденъ, что разъ онъ произведенъ, съ соизволенія начальства, въ герои, разъ ему воздвигнутъ на Королевской площади памятникъ, то онъ обязывается съ честью носить это званіе не только на улицахъ, но и въ садахъ Орфеума. Разумѣется, простыхъ людей это стѣсняетъ.

Можетъ-быть, поэтому-то и берлинская веселость имѣетъ какой-то неискренній, мрачный характеръ. Какъ тутъ искренно веселиться, когда бокъ-о-бокъ съ вами торчитъ «герой», который, того гляди, начнетъ повѣствовать объ Вёртѣ или Седанѣ? А между тѣмъ не веселиться—нельзя. Во-первыхъ, современный берлинецъ черезчуръ взбаламученъ разсказами о парижскихъ веселостяхъ, чтобъ не попытаться завести у себя что-нибудь à l'instar de Paris. Во-вторыхъ, ежели онъ не будетъ веселиться, то не скажетъ ли о немъ Европа: вотъ онъ прошелъ съ мечомъ и огнемъ половину цивилизованнаго міра, а остался все тѣмъ же скорбнымъ главою берлинцемъ. Въ-третьихъ, не скажутъ ли и самые «герои»: мы завалили васъ лаврами, а вы ходите какъ заспанные,—ужели нужно и еще разорить какую-нибудь страну, чтобъ разбудить васъ? И вотъ берлинецъ начинаетъ веселиться. Онъ заводитъ шарабанъ mit einem ganz noblen Lakai и хвастается: «wir haben unsere eigenen gamins de Paris!» А затѣмъ отправляется въ Орфеумъ, щиплетъ тамошнихъ кокотокъ («не знаетъ,

какъ блеснуть очаровательнѣе», какъ выражается у Островскаго Липочка Большова), наливается шампанскимъ точно такъ же, какъ отецъ или предокъ его наливался пивомъ, и пьяный отправляется на ночлегъ въ сопровожденіи двухъ кокотокъ вмѣсто одной. И мечется на своемъ ложѣ, видя во снѣ, что и завтра ему предстоитъ веселиться точно тѣмъ же порядкомъ.

Я съ особенною настойчивостью останавливаюсь на уличной жизни, во-первыхъ, потому, что она всего больше доступна наблюденію, а во-вторыхъ потому, что въ городѣ, имѣющемъ претензію быть кульминаціоннымъ пунктомъ цѣлой имперіи, уличная жизнь, по мнѣнію моему, должна преимущественно отражать на себѣ степень бо́льшей или мѣньшей эмансипаціи общества отъ узъ. Основать университетъ и населить его знаменитѣйшими и наилучше оплаченными профессорами можно всюду, даже при наличности самыхъ нестерпимѣйшихъ узъ, равно какъ всюду же можно устроить музеи, коллекціи, выставки и проч. Для этого нужны только добрая воля и матеріальныя средства. Но общительность, но мягкость формъ общежитія нельзя декретировать ни начальственнымъ предписаніемъ, ни громомъ и блескомъ побѣдъ. Тамъ, гдѣ эти свойства отсутствуютъ, гдѣ чувство собственнаго достоинства замѣняется оскорбительнымъ и въ сущности довольно глупымъ самомнѣніемъ, гдѣ шовинизмъ является обнаженнымъ, безъ всякой примѣси энтузіазма, гдѣ не горятъ сердца ни любовью, ни ненавистью, а воспламеняются только подозрительностью къ сосѣду, гдѣ нѣтъ ни истинной привѣтливости, ни искренней веселости, а есть только желаніе похвастаться и разсчетъ на тринкгельдъ,—тамъ, говорю я, не можетъ быть и большого хода свободѣ. Я не хочу, конечно, сказать этимъ, чтобъ университеты, музеи и тому подобныя образовательныя учрежденія играли ничтожную роль въ политической и общественной жизни страны, — напротивъ; но для того, чтобъ вліяніе этихъ учрежденій оказалось дѣйствительно плодотворнымъ, необходимо, чтобъ между ними и обществомъ существовала живая связь, чтобъ университеты, напримѣръ, были свѣточами и вѣстниками жизни, а не комментаторами офиціально признанныхъ формулъ, которыя и сами по себѣ настолько крѣпки, что, право, не нуждаются въ подтвержденіи и провозглашеніи съ высоты профессорскихъ каѳедръ.

Но здѣсь я не могу воздержаться, чтобъ не припомнить

одного любопытнаго факта изъ моего прошлаго. Когда я былъ въ школѣ, то въ нашемъ уголовномъ законодательствѣ еще весьма часто упоминалось слово: «кнутъ». Нужно полагать, что это было очень серьезное орудіе государственной Немезиды, потому что оно отпускалось въ количествѣ, не превышавшемъ 41-го удара, хотя опытный палачъ, какъ въ то время удостовѣряли, могъ съ трехъ ударовъ заколотить человѣка на-смертъ. Во всякомъ случаѣ орудіе это несомнѣнно существовало, и слѣдовательно профессоръ уголовнаго права долженъ былъ такъ или иначе встрѣтиться съ нимъ на каѳедрѣ. И что же! выискался профессоръ, который не только не проглотилъ этого слова, не только не подавился имъ въ виду десятковъ юношей, внимавшихъ ему, не только не выразился хоть такъ, что какъ, дескать, ни печально такое орудіе, но при извѣстныхъ формахъ общежитія представляется затруднительнымъ обойти его, а прямо и внятно повѣствовалъ, что кнутъ есть одна изъ формъ, въ которыхъ идея правды и справедливости находитъ себѣ наиболѣе приличное осуществленіе! Мало того: онъ утверждалъ, что самая злая воля преступника требуетъ себѣ воздаянія въ видѣ кнута, и что, не будь этого воздаянія, она могла бы счесть себя неудовлетворенною. Но прошло немного времени, курсъ уголовщины не былъ еще законченъ, какъ вдругъ, передъ самыми экзаменами, кнутъ отрѣшили и замѣнили трехвостною плетью, съ соотвѣтствующимъ угобженіемъ съ точки зрѣнія числа ударовъ. Я помню, что насъ, молодыхъ школяровъ, чрезвычайно интересовало, какъ-то вывернется старый буквоѣдъ изъ этой неожиданности. Прольетъ ли онъ слезу на могилѣ кнута или надругается надъ этой могилой и воткнетъ въ нее осиновый колъ. Оказалось, что онъ воткнулъ осиновый колъ. Цѣлую лекцію сквернословилъ онъ передъ нами, какъ скорбѣла высшая идея правды и справедливости, когда она осуществлялась въ формѣ кнута, и какъ ликуетъ она теперь, когда, съ соизволенія высшаго начальства, ей предоставлено осуществляться въ формѣ трехвостной плети, съ соотвѣтствующимъ угобженіемъ. Онъ говорилъ—и его не тошнило, мы слушали — и насъ тоже не тошнило. Я не знаю, какъ потомъ справился этотъ профессоръ, когда тѣлесныя наказанія были совсѣмъ устранены изъ уголовнаго кодекса, но думаю, что онъ и тутъ вышелъ сухъ изъ воды (быть-можетъ, ловкій старикъ внутренно посмѣивался, что какъ, молъ, не вертись, а ту-

маки и митирогнозія все-таки остаются въ прежней силѣ). Кто же однако броситъ въ него камень за выказанную имъ научную сноровитость? Развѣ отъ него требовалось, чтобъ онъ стоялъ на дорогѣ съ свѣточемъ въ рукахъ? Нѣтъ, отъ него требовалось одно: чтобъ онъ подыскалъ обстановку для истины уже отвержденной и офиціально признанной таковою, и потомъ, за эту послугу, чтобъ получалъ присвоенное по штатамъ содержаніе.

Весьма можетъ статься, что я неправъ (охотно сознаюсь въ моей некомпетентности), но мнѣ кажется, что именно для этой послѣдней цѣли собраны въ берлинскомъ университетѣ ученыя знаменитости со всѣхъ концовъ Германіи. Онѣ устраиваютъ обстановочки, придумываютъ оправдательныя теоріи въ пользу совершившихся фактовъ и скромно пользуются присвоеннымъ имъ отличнымъ содержаніемъ. Но вліянія на ходъ жизни онѣ не имѣютъ и никого для будущаго не воспитываютъ. Конечно, онѣ не будутъ распинаться въ пользу кнута, въ томъ видѣ, въ какомъ онъ хранился за печатями въ губернскихъ правленіяхъ, но вѣдь бываютъ кнуты и иносказательные...

Я не имѣю никакихъ данныхъ утверждать, что Берлинъ *никогда* не сдѣлается дѣйствительнымъ руководителемъ германской умственной жизни, но, судя по современному настроенію умовъ, думаю, что *въ настоящее время* для доброй половины Германіи Берлинъ не только не симпатиченъ, но даже прямо непріятенъ. Онъ у всѣхъ что-нибудь отнялъ и ничѣмъ за отнятое не вознаградилъ. И вдобавокъ вездѣ насовалъ берлинскаго солдата съ соотвѣтствующимъ количествомъ берлинскихъ же офицеровъ. Какое, спрашивается, имѣлъ онъ право смущать сонъ добродушныхъ баденцевъ вѣчно присущимъ представленіемъ о выпяченныхъ грудяхъ и вытаращенныхъ глазахъ? И была ли въ томъ надобность?

Однимъ словомъ, вопросъ, для чего нуженъ Берлинъ?— оказывается вовсе не столь празднымъ, какъ это можетъ представиться съ перваго взгляда. Да и отвѣтъ на него не особенно затруднителенъ, такъ какъ вся суть современнаго Берлина, все міровое значеніе его сосредоточены въ настоящую минуту въ зданіи, возвышающемся въ виду Королевской площади и носящемъ названіе: *Главный Штабъ*.

Разсказываютъ, правда, что никогда въ Берлинѣ не были такъ сильны демократическія аспираціи, какъ теперь,

и въ доказательство указываютъ на нѣкоторые парламентскіе выборы. Но вѣдь разсказываютъ и то, что берлинское начальство очень ловко умѣетъ справляться съ аспираціями и отнюдь не церемонится съ излюбленными берлинскими людьми...

. . . . . .

Само собой разумѣется, что каждый здравомыслящій берлинецъ, по поводу сейчасъ изложеннаго, можетъ сказать мнѣ: если тебѣ у насъ нехорошо, то ступай домой и тамъ наслаждайся! И я не только допускаю возможность такого возраженія, но даже понимаю, что въ отвѣтъ на него я могу только сконфузиться. Но въ сущности я буду не правъ, потому что дѣло совсѣмъ не въ томъ, гдѣ и на сколько золотниковъ жизнь угрюмѣе, а въ томъ, гдѣ и на сколько она интереснѣе. Читатель! подивись! я совершенно безъ всякой иронiи утверждаю, что нигдѣ жизнь не представляетъ такъ много интереснаго, какъ въ нашемъ бѣдномъ, захудаломъ отечествѣ.

Конечно, это интересъ своеобразный, какъ говорится, на охотника, но все-таки интересъ.

Бываютъ существованія—съ личной точки зрѣнія очень мучительныя, почти невозможныя, но съ точки зрѣнія изслѣдованія и выводовъ полныя изумительнѣйшихъ откровеній. Наблюдать такія существованія со стороны было бы, разумѣется, удобнѣе, нежели знакомиться съ ними при помощи собственныхъ боковъ, но устроить это безъ ущерба для полноты самыхъ наблюденій до крайности трудно. Во-первыхъ, какъ бы ни было добросовѣстно и подробно изслѣдованіе со стороны, никогда оно не замѣнитъ того интимнаго изслѣдованія, процессъ котораго оставляетъ неизгладимые слѣды на собственныхъ бокахъ изслѣдователя. Во-вторыхъ, существуютъ распорядки, при которыхъ, несмотря на самыя похвальныя усилія остаться на почвѣ объективности, эти усилія оказываются тщетными, и всякій наблюдатель, каковы бы ни были его намѣренія, силою вещей превращается въ наблюдателя, собирающаго нужные факты при помощи собственныхъ боковъ. Поэтому, принимая на себя роль изслѣдователя подобныхъ загадочныхъ существованій, необходимо сказать себѣ: что-жъ дѣлать! если меня и ожидаютъ впереди нѣкоторые ушибы, то я обязываюсь оные перенести!

Сказать это тѣмъ болѣе необходимо, что предметъ предстоящихъ изслѣдованій вполнѣ того заслуживаетъ. Какимъ

образомъ этотъ предметъ могъ сдѣлаться интереснымъ — вопросъ довольно затруднительный для рѣшенія; но вѣдь и это ужъ само по себѣ очень интересно, что хоть и не можешь себѣ объяснить, почему предметъ интересенъ, а все-таки интересуешься имъ. Тутъ можно сказать себѣ только одно: чѣмъ загадочнѣе жизнь, тѣмъ болѣе она даетъ пищи для любознательности и тѣмъ больше подстрекаетъ къ раскрытію тайнъ этой загадочности. Съ этой точки зрѣнія я совершенно раздѣляю мнѣніе «мальчика безъ штановъ», который на всѣ обольщенія, представляемыя гороховицей съ свинымъ саломъ, отвѣчалъ: «нѣтъ, у насъ дома занятнѣе». Ежели можно сказать вообще про Европу, что она въ главныхъ чертахъ повторяетъ зады (по крайней мѣрѣ въ настоящую минуту она воистину ничего другого не дѣлаетъ) и во всякомъ случаѣ знаетъ, что ожидаетъ ее завтра (что было вчера, то повторится и завтра, съ малымъ развѣ измѣненіемъ въ подробностяхъ), то къ Берлину это замѣчаніе примѣнимо въ особенности. Въ Берлинѣ самые камни вопіютъ: завтра должно быть то же самое, что было вчера! А мы—развѣ мы что-нибудь знаемъ? Какимъ образомъ разрѣшится вопросъ объ акклиматизаціи саранчи? Порвется ли когда-нибудь сѣть сквернословія и тумаковъ, осыпавшая насъ отъ верхняго края до нижняго? Произойдетъ ли когда-нибудь волшебство, при помощи котораго народная школа, народное здоровье, занятіе сельскимъ хозяйствомъ, то-есть именно тѣ поприща, на которыхъ культурный человѣкъ можетъ принести наибольшую пользу, перестанутъ считаться синонимами распространенія превратныхъ идей? Кто разрѣшитъ эти вопросы? — разумѣется, никто... Но развѣ это не занятно?

Я знаю, что жить среди этихъ загадочностей—все равно, что быть ввереннымъ въ львиный ровъ... Но зато какая радость, ежели львы не тронутъ или только слегка помнутъ ребра!

«Мальчикъ въ штанахъ» во многомъ былъ правъ. Гороховица съ свинымъ саломъ воистину слаще, нежели мякинный хлѣбъ, сдобренный одною водой; поля, приносящія постоянно самъ-пятнадцать, воистину выгоднѣе, нежели поля, представляющія въ перспективѣ награду въ небесахъ; отсутствіе митирогнозіи лучше, нежели присутствіе ея, а обычай не рвать яблоковъ съ деревьевъ, растущихъ при дорогѣ, похвальнѣе обычая опохмеляться чужимъ, плохо лежащимъ керосиномъ. Но онъ былъ неправъ, утверждая,

что всѣ эти блага цивилизаціи настолько цѣнны, чтобъ за нихъ можно было «по контракту» закрѣпить душу. Въ этомъ отношеніи, по мнѣнію моему, «мальчикъ безъ штановъ» правѣе. Онъ соглашается, что у пруссака чище и вольготнѣе, но утѣшается тѣмъ, что у него, «мальчика безъ штановъ», по крайней мѣрѣ никакого контракта на рукахъ нѣтъ. Положимъ, что его душа, такъ же какъ и нѣмцева, не принадлежитъ ему въ собственность, но онъ не продалъ ее за грошъ, а отдалъ даромъ. Какъ хотите, а это очень и очень интересная разница!

Какъ бы то ни было, но первое чувство, которое долженъ испытать русскій, попавшій въ Берлинъ, все-таки будетъ чувствомъ искреннѣйшаго огорченія, близко граничащаго съ досадой. Прежде всего онъ увидитъ себя вынужденнымъ сравнивать, и выводы, которые получатся путемъ этихъ сравненій, покажутся ему не особенно удовлетворительными. Но пусть онъ не останавливается передъ этими первыми выводами, пусть не обольщается даже зрѣлищемъ признанія правъ мысли на оцѣнку благодѣяній свободы, первый актъ котораго несомнѣнно начнется для него ужъ подъ Эйдткуненомъ. Пусть приметъ онъ на вѣру слова «мальчика безъ штановъ»: «у насъ дома занятнѣе», и съ довѣріемъ возвратится въ домъ свой, чтобъ занять соотвѣтствующее мѣсто въ представленіи той загадочной драмы, о которой нельзя даже сказать, началась она или нѣтъ.

За Берлиномъ, по направленію къ Рейну, начинается рядъ лакейскихъ городовъ. Это—курорты, гдѣ въ общей массѣ наѣзжаго люда и русскіе, по распоряженію медицинскаго начальства, посвящаютъ себя нагуливанію животовъ.

Курортъ — миніатюрный, живописно-расположенный городокъ, который зимою представляетъ рядъ наглухо закалоченныхъ отелей и въѣзжихъ домовъ, а лѣтомъ превращается въ гудящій пчелиный улей. Офиціальная привлекательность курортовъ заключается въ цѣлебной силѣ ихъ водяныхъ источниковъ и въ обновляющихъ свойствахъ воздуха окружающихъ горъ; неофиціальная—въ томъ непрерывающемся праздникѣ, который неразлученъ съ наплывомъ массъ досужихъ и обладающихъ хорошими денежными средствами людей.

Я не могу представить себѣ зимнее существованіе этихъ

городковъ. Ведутъ ли населяющіе ихъ жители какую бы то ни было самостоятельную жизнь и имѣютъ ли свойственныя всѣмъ земноводнымъ постоянныя занятія? пользуются ли благами общественности, т.-е. держатъ ли, какъ въ прочихъ мѣстахъ, ухо востро, являются ли по начальству въ мундирахъ для принесенія поздравленій, фигурируютъ ли въ процессахъ, въ качествѣ попустителей и укрывателей, и затѣмъ уже, въ свободное отъ явокъ время, женятся, рождаютъ дѣтей и умираютъ, или же представляютъ собой изнуренный лѣтнею бѣготнею сбродъ, который, сосчитавъ барыши, погружается въ спячку, съ тѣмъ, чтобъ проснуться въ началѣ апрѣля и начать приготовленіе къ новой лѣтней бѣготнѣ? Вообразить себѣ обывателя курорта не суетящагося, не продающаго себя со всѣми потрохами, столь же трудно, какъ и вообразить коренного русскаго человѣка, который забылъ о существованіи ежовыхъ рукавицъ. Потому я могу только догадываться, что зимою нѣмецкій курортъ превращается въ сказочную долину, по которой разбросаны посѣщаемые привидѣніями дома и въ которой не видно никакихъ признаковъ человѣческой дѣятельности, кромѣ прилежной вывозки нечистотъ, оставленныхъ щедрыми лѣтними посѣтителями. Не только иностранецъ исчезаетъ, но вся разношерстная толпа лакеевъ, фигурировавшая лѣтомъ въ качествѣ мѣстнаго колорита,—и та уплываетъ неизвѣстно куда, вмѣстѣ съ послѣднимъ отбоемъ иностранной волны. Ибо и она, эта лакейская толпа, была совсѣмъ не мѣстная, а пришлая, привлеченная сюда со всѣхъ концовъ Германіи надеждой на иностранный тринкгельдъ. У насъ въ Россіи навѣрное такой городъ переименовали бы въ заштатный, и только лѣтомъ, въ видахъ пресѣченія и предупрежденія, переводили бы сюда становую квартиру, съ правомъ, на случай превратныхъ толкованій, выворачивать руки къ лопаткамъ и сажать «въ холодную».

Зато съ наступленіемъ весенняго тепла курортъ начинаетъ закипать, и чѣмъ больше подвигается время въ глубь лѣта, тѣмъ гуще и гуще раздается пчелиное гудѣніе вокругъ курзала и безчисленныхъ табльдотовъ, простирающихъ свои объятія наѣзжему люду. Курзалъ прибодряется и расцвѣчивается флагами и фонарями самыхъ причудливыхъ формъ и сочетаній; лужайки около него украшаются вычурными цвѣтниками, съ изображеніемъ официальныхъ гербовъ; армія лакеевъ стоитъ, притаивъ дыханіе, готовая

по первому знаку ринуться впередъ; въ кургаузѣ, около источниковъ, появляются дородныя вассерфрау; всякій частный домъ превращается въ Privat-Hôtel, напоминающій невзрачную провинціальную русскую гостиницу (къ счастію, лишенную клоповъ), съ дерюгой вмѣсто постельнаго бѣлья, съ какими-то нелѣпыми подушками, которыя расползаются при первомъ прикосновеніи головы; владѣльцы этихъ домовъ, зимой ютившіеся въ конурахъ, ради экономіи въ топливѣ, теперь переходятъ въ еще болѣе тѣсныя конуры, ради прибытка; сосѣднія деревни не покладая рукъ доятъ коровъ, козъ, ослицъ и щупаютъ куръ; на всякомъ перекресткѣ стоятъ динстманы, пактрѣгеры и прочій подневольный людъ, пришедшій съ спеціальною цѣлью за грошъ продать душу; и тутъ же рядомъ ржутъ лошади, ревутъ ослы и безъ оглядки бѣжитъ жидъ, самъ еще не сознавая—зачѣмъ, но чуя, что изъ каждаго кармана пахнетъ талеромъ или банковымъ билетомъ. Чувствуется, что въ воздухѣ есть что-то ненормальное, что жизнь какъ будто сошла съ ума, и, разумѣется, по русскому обычаю, опасаешься, что вотъ-вотъ попадешь въ «исторію». Но чѣмъ больше живешь и вглядываешься, тѣмъ больше убѣждаешься, что, несмотря на всякія ненормальности, никакихъ «исторій» нѣтъ, что все кругомъ испоконъ вѣковъ намуштровано и теперь само собой такъ укладывается, чтобъ никто никому не мѣшалъ. Пактрѣгеры не спотыкаются, не задѣваютъ другъ друга, но степенно двигаются, гордые сознаніемъ, что именно *они*, а не динстманы, призваны замѣнять ломовыхъ лошадей; динстманы не перебиваютъ другъ у друга работу, не кричатъ взапуски: «я сбѣгаю! я, ваше сіятельство! меня вчера за Анюткой посылали, господинъ купецъ!» но солидно стоятъ въ ожиданіи, кого изъ нихъ потребитель облюбуетъ, кому скажетъ: лобъ! У насъ (въ Москвѣ, напримѣръ) при такихъ обстоятельствахъ, по малой мѣрѣ, потребителю фалды бы оборвали, и послѣдствіемъ этого было бы путешествіе въ кутузку, а здѣсь и кутузки нѣтъ, и фалды цѣлы. Но вѣдь съ другой стороны, если бы мы вздумали подражать нѣмецкимъ образцамъ, то-есть начали бы солидничать и въ молчаніи ждать своей участи, то не вышло ли бы изъ того другой, еще горшей бѣды? Молчишь — значитъ, есть что-нибудь на умѣ... А что же можетъ быть на умѣ у динстмана, кромѣ превратныхъ толкованій? Ну, и опять—маршъ въ кутузку!

Благо странамъ, которыя, въ видѣ сдерживающаго начала, имѣютъ въ своемъ распоряженіи кутузку, но еще болѣе благо тѣмъ, которыя, отбывъ время кутузки, и нынѣ носятъ ее въ сердцахъ благодарныхъ дѣтей своихъ. Достоинъ похвалы тотъ, который, видя кутузку очами тѣлесными, согласно съ симъ регулируетъ свое поведеніе; но стократъ блаженнѣе тотъ, который, видя кутузку лишь очами духовными, продолжаетъ вѣровать въ незыблемость ея руководящихъ свойствъ. Русская лошадь знаетъ кнутъ и потому боится его (иногда даже до того уже знаетъ, что и бояться перестаетъ: бей, несытая душа, коли любо!); нѣмецкая лошадь почти совсѣмъ не знаетъ кнута, но она знаетъ «исторію» кнута и потому при первомъ щелканьи бича бѣжитъ впередъ, не выжидая болѣе дѣйствительныхъ понужденій. Такъ точно и во всемъ. Тѣмъ не менѣе надобно, къ чести людей, сознаться, что кнутъ все-таки есть только мѣра печальной необходимости, въ которой рѣдко кто прибѣгаетъ, какъ къ развлеченію. Какъ легко жилось бы русскимъ извозчикамъ, если бы русскія лошади вдругъ остепенились и начали возить не только за страхъ, но и за совѣсть! И какъ просто было бы управлять людьми, если бы, подобно нѣмецкимъ пактрегерамъ, всѣ поняли, что священнѣйшая обязанность человѣка въ томъ заключается, чтобъ, не спотыкаясь и не задѣвая другъ друга, носить тяжести, принадлежащія «знатнымъ иностранцамъ»! Но, можетъ-быть, если бы эта утопія осуществилась, то сами извозчики сбѣсились бы отъ жира и ничегонедѣланія? И, сбѣсившись, начали бы... Помилуйте! а кутузка на что?

А впрочемъ, довольно мечтать о томъ, кто болѣе заслужилъ похвалы и кто менѣе. Пускай нѣмецкіе извозчики щелкаютъ бичами по воздуху, а наши пускай бьютъ лошадей кнутами и вдоль спины, и поперекъ, и по брюху. Пускай нѣмецкіе динстманы носятъ кутузку въ сердцѣ своемъ, а наши, имѣя въ оной жительство, пусть говорятъ: ахъ, чтобъ ей ни дна, ни покрышки! Конечно, отъ того или другого образа поведенія зависитъ то или другое направленіе внутренней политики, но вѣдь за внутренней политикой не угонишься! Иной ведетъ себя отлично, да сосѣдъ напакостилъ—анъ и его заодно ведутъ въ кутузку. И потомъ: ахъ, какъ жаль! какое печальное недоразумѣніе! Это кутузка-то... недоразумѣніе!

Правда, я со всѣхъ сторонъ слышу, что недоразумѣній больше ужъ не будетъ, и вполнѣ вѣрю, что въ дополненіе

къ прежнимъ эмансипаціямъ возможна и эмансипація отъ недоразумѣній. Но, признаюсь, меня смущаетъ вопросъ, не будетъ ли слишкомъ прѣсна наша жизнь безъ недоразумѣній, но съ кутузкой? Вѣдь мы привыкли! Театры у насъ плохіе, митинговъ нѣтъ, въ трактирахъ порція бифштекса стоитъ рубль серебромъ—такъ, по моему мнѣнію, лучше *по недоразумѣнію* вечеръ въ кутузкѣ провести, нежели въ Александринкѣ глазами хлопать. Но только, ради Христа, не больше одного вечера!

Средняго сословія людей въ курортахъ почти нѣтъ, ибо нельзя же считать таковыми ту незамѣтную горсть туземныхъ и иноземныхъ негоціантовъ, которые торгуютъ (и Богъ вѣсть, однимъ ли тѣмъ, что у нихъ на полкахъ лежитъ?) въ баракахъ и колоннадахъ вдоль променадъ, или тѣхъ антрепренеровъ лакейскихъ послугъ, которые тѣмъ только и отличаются (разумѣется, я не говорю о мошнѣ) отъ обыкновенныхъ лакевъ и кнехтовъ, что имѣютъ право громче произносить: pst! pst! Можетъ-быть, зимой, когда сосчитаны барыши, эти послѣдніе и сознаютъ себя добрыми буржуа, но лѣтомъ они, наравнѣ съ самымъ послѣднимъ кельнеромъ, продаютъ душу наѣзжему человѣку и не имѣютъ иного критеріума для оцѣнки вещей и людей, кромѣ того сколько то или другое событіе, тотъ или другой «гость» бросятъ имъ лишнихъ пфениговъ въ карманъ.

А наѣзжій-человѣкъ такъ со всѣхъ сторонъ и напираетъ. Каждый день безчисленные желѣзнодорожные поѣзда выбрасываютъ на улицы курорта массы «гостей», которые тутъ же, съ вытаращенными глазами, задыхаясь и спѣша, начинаютъ отыскивать себѣ конуру для ночлега. Это, такъ сказать, предвкушеніе ожидающихъ утѣхъ. Тутъ и человѣкъ, всю зиму экспекторировавшій, въ чаяньи, что лѣтомъ будетъ лакомиться ослиными сыворотками и «обмѣнивать вещества». Тутъ и безшабашный совѣтникъ, который согласенъ какую угодно мерзость глотать, лишь бы Богъ вѣку продлилъ и сотворилъ ему мирнымъ и непостыднымъ полученіе присвоенныхъ по штатамъ окладовъ и арендъ. Тутъ и юный бонапартистъ, которому только безмѣрное безразсудство до сихъ поръ мѣшало обдумать, въ чью пользу и за какую сумму ему придется продать отечество. Тутъ и пустоголовая, но хорошо выкормленная бонапартистка, которая, опираясь на руку экспекторирующаго человѣка, мечтаетъ о томъ, какъ она завтра появится на променадѣ въ такомъ платьѣ, что все-все (mais tout!) бу-

детъ видно. Тутъ и милая старушка, которая уже теперь не можетъ придти въ себя отъ умиленія при видѣ той массы панталонъ, которая все больше и больше увеличивается по мѣрѣ приближенія къ центру городка. Тутъ и замученный хожденіями по мытарствамъ литераторъ, и ошалѣвшій отъ апелляцій и кассацій адвокатъ, и оглохшій отъ директорскаго звонка чиновникъ, которые надѣются хоть на два, на три мѣсяца стряхнуть съ себя массу замученности и одуренія, въ теченіе 9—10 мѣсяцевъ составлявшую ихъ обычный modus vivendi (неблагодарные! они забываютъ, что именно эта масса и напоминала имъ отъ времени до времени, что въ Эзопѣ скрывается человѣкъ!). Тутъ и шпіонъ. И всѣ они переходятъ отъ гостиницы къ гостиницѣ, отъ одного въѣзжаго дома къ другому, отыскивая конуру... самую простую конуру! И рѣдко кому изъ нихъ удается успокоиться въ искомой конурѣ раньше трехъ-четырехъ часовъ изнурительнѣйшихъ поисковъ.

Ночью гостиницы и въѣзжіе дома наполняются звуками экспекторація «гостей» и громкими протестами бонапартистокъ: «eh bien, auras-tu bientôt fini?» — на что̀ слѣдуетъ неизбѣжный отвѣтъ: «ахъ, матушка! к-ха, к-ха... хррр!...» Но вотъ легкія мало-по-маду очищаются, и къ полуночи все стихаетъ. Утромъ, въ шесть часовъ, опять экспекторація и опять протестъ... А между тѣмъ въ кургаузѣ и около него гудитъ пчелиный рой. Семь часовъ утра. Одни уже отпили свою порцію; другіе только-что заручились кружками и спѣшатъ къ источникамъ. Всякій народъ тутъ: чиновные и нечиновные, больные и здоровые, канальи и честные люди, бонапартисты и простые, застѣнчивые люди, которые никакъ не могутъ придти въ себя отъ изумленія, какое горькое волшебство привело ихъ въ соприкосновеніе со всѣмъ этимъ людомъ, котораго они не искали и незнаніе котораго составляло одну изъ счастливѣйшихъ привилегій ихъ существованія. Тутъ и англичанка-пэресса, которая въ Англіи оплодотворилась, а здѣсь заставляетъ возить себя въ ручной колясочкѣ, дабы не потревожить плода. Тутъ и упраздненный принцъ крови, который, изнемогая въ конвульсіяхъ высокопоставленнаго одиночества, разыскиваетъ черезъ кельнеровъ, не пожелаетъ ли кто-нибудь имѣть честь быть ему представленнымъ. Тутъ и рязанскій землевладѣлецъ, у котораго на лицѣ написано: наплюю я на эти воды, закачусь на цѣлую ночь въ Линденбахъ, дамъ Дорѣ двадцать

пять марокъ въ зубы: скидывай, бестія, лишнюю одёжу... служи! Тутъ и шпіонъ. Въ воздухѣ стоитъ разноязычный говоръ, въ общей массѣ котораго не послѣднее мѣсто занимаетъ и русская рѣчь.

— Какими судьбами? вы!!

— Да вотъ въ горлѣ все что-то свёрлитъ...

— Съ кѣмъ это вы сейчасъ говорили?

— Мошенникъ! знаете ли, какую онъ штуку удралъ...

Черезъ минуту другая встрѣча.

— И вы здѣсь? давно?

— Дней съ пять. Съ легкими справиться не могу.

— Съ кѣмъ вы сейчасъ говорили?

— Ужаснѣйшая, батюшка, каналья. Знаете ли, какую онъ вещь съ родной сестрой сдѣлалъ...

Еще черезъ минуту.

— Докторъ! я ужъ третій стаканъ выпилъ.

— Ходите, обмѣнивайте вещества!

— Докторъ! вчера я получилъ письмо изъ Россіи. У насъ вѣдь вы знаете что?.. Са-ран-ча!!

— Я бы съ особеннымъ повелѣніемъ запретилъ писать изъ Россіи письма къ больнымъ. Ходите, обмѣнивайте вещества!

— Докторъ! а *это*... можно?

Слѣдуетъ обмѣнъ мыслей шопотомъ.

— Гм!.. если ужъ вы... Но вы знаете мое мнѣніе: это положительно не kurgemaess...

— Докторъ! чуточку!

— Да, но я все-таки долженъ предупредить... Удивительный вы народъ, господа русскіе! всѣ вы прежде всего объ *этомъ* спрашиваете... Ну, что съ вами дѣлать! можно, можно... А теперь ходите и обмѣнивайте вещества!

И бѣгутъ осчастливленные докторскимъ разрѣшеніемъ «знатные иностранцы» обмѣнивать вещества. Сначала обмѣниваютъ около курзала, надѣясь обмануть время и принюхиваясь къ запаху жженаго цикорія, который такъ и валитъ изъ всѣхъ кухонь. Но потомъ, видя, что время все-таки продолжаетъ идти черепашьимъ шагомъ (требуется по малой мѣрѣ часъ на обмѣнъ веществъ), уходятъ въ подгородные ресторанчики, за полчаса или за сорокъ минутъ ходьбы отъ кургауза.

Подождите еще нѣсколько минутъ, и вы увидите новый наплывъ публики: запоздавшихъ. Вотъ и вчерашняя бонапартистка, съ кружкой въ рукахъ, проталкивается сквозь

толпу въ какомъ-то вязаномъ трикò, которое такъ плотно ее обливаетъ, что дѣйствительно бонапартисты могутъ пожирать глазами... *все*. Рядомъ съ нею бредетъ милая старушка, усиливаясь подпрыгивать, вся разрисованная, восхищенная, готовая въ огонь и въ воду... tout pimpante! И вдали, въ дверяхъ кургауза, слѣдитъ за старушкой оберъ-кельнеръ, завитòй бѣлокурый дѣтина, съ перстнемъ, украшеннымъ крупной бирюзою, на указательномъ пальцѣ, и на вопросъ, что̀ можетъ стоить такой камень, самодовольно отвѣчаетъ: „das hat mir eine hochwohlgeborene russische Dame geschenkt".

Я знаю многихъ русскихъ дамъ, которыя навѣрное обидятся наглостью оберъ-кельнера и воскликнутъ: какъ онъ смѣетъ клеветать! Съ своей стороны, отнюдь не оправдывая нескромности табльдотнаго Рюи-Блаза и даже не имѣя ничего противъ того, чтобъ назвать ее клеветою, я позволю себѣ однако-жъ одинъ вопросъ: почему ни одинъ кельнеръ не назоветъ ни eine englische, ни eine deutsche, ни eine französische Dame, а непремѣнно изъ всѣхъ національностей выберетъ русскую? Ужъ на что, кажется, повадлива румынская національность, но и объ ней оберъ-кельнеры умалчиваютъ. Стало-быть, есть въ русской дамѣ какое-то внутреннее благоволеніе (вѣроятно, вполнѣ невинное), которое влечетъ къ ней сердца хаускнехтовъ и заставляетъ кельнеровъ мечтать: ужъ если суждено мнѣ отъ кого-нибудь получить перстенекъ съ бирюзой, такъ не иначе, какъ отъ русской «дамы».

Очень можетъ быть, что дѣло происходило такъ. Пріѣхала на воды экспекторирующая старушка-вдова и ни въ комъ на чужбинѣ не нашла участія, кромѣ оберъ-кельнера своей гостиницы. Этотъ человѣкъ сразу оказался «золотымъ» малымъ. Онъ допускалъ въ пользу ея отступленія отъ правилъ табльдота; онъ предоставлялъ ей лучшее мѣсто за столомъ, придвигалъ и отодвигалъ ея стулъ, собственноручно накладывалъ ей на тарелку лакомый кусокъ, наливалъ въ стаканъ вино и послѣ обѣда, надѣвая ей на плечи мантилью, говорилъ: «so!» А вечеромъ лично носилъ ей въ номеръ подносъ съ чаемъ, справлялся, спокойно ли ей почивать и не нужно ли промыслить другую подушку. Словомъ сказать, самоотвергался. Разумѣется, старушка была тронута. Вспомнила, что у нея въ саквояжѣ лежитъ перстенекъ съ бирюзой, который когда-то носилъ на указательномъ пальцѣ ея покойный мужъ, вынула, немножко

всплакнула (надо же память покойнаго «друга» почтить!) и... отдала. Отдавши, уѣхала на другія воды, гдѣ опять встрѣтила точь-въ-точь такого же оберъ-кельнера, вспомнила, что у нея въ саквояжѣ лежитъ перстенекъ съ изумрудомъ (тоже покойный мужъ на указательномъ пальцѣ носилъ), опять всплакнула и опять... отдала. И такимъ образомъ, объѣхавши многіе курорты, добралась до Швейцаріи, но тутъ запасъ перстеньковъ истощился, и въ соотвѣтствіи съ этимъ истощилось и оберъ-кельнерское самоотверженіе. И вотъ теперь она живетъ въ деревнѣ Проплёванной и даритъ старостѣ Максимушкѣ, за самоотверженіе, желтенькую бумажку.

Et voilà comme on écrit l'Histoire.

Около половины десятаго курзалъ пустѣетъ; гудѣніе удаляется и расходится по отелямъ. Это время перваго насыщенія, за которымъ наступаетъ время побочныхъ лѣченій. Позавтракавши, одни идутъ въ Gurgl-Cabinet, другіе—въ Inhalations-Anstalt, третьи—берутъ ванны. Но тѣ, которые удивляютъ міръ силою экспектораціи,—тѣ обыкновенно продѣлываютъ всѣ отрасли лѣченія и продолжаютъ экспекторировать съ прежнею силою. Зато имъ рѣшительно не только нѣтъ времени о чемъ-либо думать, но некогда и отдохнуть, такъ какъ всѣ эти лѣченія нужно продѣлать въ разныхъ мѣстахъ города, которыя хотя и не весьма удалены другъ отъ друга, но все-таки достаточно, чтобъ больной человѣкъ почувствовалъ. И во всякомъ мѣстѣ нужно обождать, во всякомъ нужно выслушать признаніе соотечественника: «съ васъ за сеансъ берутъ полторы марки, а съ меня только марку; а вотъ эта старуха-нѣмка платитъ всего восемьдесятъ пфениговъ». И вся эта исторія повторяется изо дня въ день, несмотря ни на какую погоду. Подумайте! съ шести часовъ дня до часу пополудни ничего, кромѣ бѣготни и какихъ-то безконечныхъ тринкгельдовъ, которые, подобно древней дыбѣ, приводятъ истязуемаго субъекта въ «изумленіе». Какъ должно это дѣйствовать на человѣка, страдающаго—кромѣ болѣзни сердца, эмфиземы, воспаленія дыхательныхъ путей, астмы—еще мозолями!

Это же время (отъ десяти до часу)—самое горячее и для бонапартистки, ибо она примѣриваетъ костюмъ, въ которомъ должна явиться къ обѣду. Процессъ этого примѣриванія она отбываетъ съ самою невозмутимою серьезностью. Надѣнетъ одно платье, встанетъ передъ зеркаломъ, оглядитъ себя сперва спереди, потомъ сзади, что-то поднра-

вить, въ одномъ мѣстѣ вздобритъ, въ другомъ пригнететъ, слизнетъ языкомъ соринку, приставшую къ губѣ, пошевелитъ бровями, возьметъ маленькое зеркальце и нѣсколько разъ кивнетъ передъ нимъ головой то вправо, то влѣво, положитъ зеркальце, опять его возьметъ и опять слизнетъ съ губъ соринку... И все время мечется у нея передъ глазами молодой бонапартистъ, который молитъ: «ахъ, эта ножка! ужели вы будете такъ безсердечны, что не дадите ее поцѣловать!» Но мольба эта не волнуетъ ее, не вливаетъ ей въ кровь отраву... Какъ истинная кокотка по духу, она даже *этимъ* не волнуется, а думаетъ только: «какъ нынче молодые люди умѣютъ мило говорить!..» и начинаетъ примѣривать другое платье. Новое стояніе передъ зеркаломъ, удаленіе и приближеніе къ нему; есть что-то неладное назади, именно тамъ, гдѣ все должно быть ладно. Что такое? quel est ce mystère? Ну, вотъ теперь хорошо... tout ce qu'il faut! И опять бонапартистъ передъ глазами, который успѣлъ ужъ поцѣловать ножку и теперь вопрошаетъ грядущее... Третье платье и новое повертываніе передъ зеркаломъ. Это платье, повидимому, уже совсѣмъ хорошо, но вотъ тутъ... нужно, чтобы было *двѣ* ноги, а гдѣ онѣ, «двѣ ноги»? «За что же однако меня въ институтѣ учитель прозвалъ tête de linotte! совсѣмъ ужъ я не такая...» И опять бонапартистъ передъ глазами, но ужъ не тотъ, не прежній. Тотъ былъ съ усиками, а этотъ съ бородой... ахъ, какой онъ большой! Опять платье, четвертое и послѣднее. Пора. Послѣднее платье надѣвается наскоро, потому что часы показываютъ безъ десяти минутъ часъ, и сверхъ того въ изгибахъ tête de linotte мелькаетъ стихъ Богдановича: *во всѣхъ ты, душенька, нарядахъ хороша...* Это единственное «знаніе», которое она вынесла изъ шестилѣтней мучительной институтской практики.

Въ это же время бодрствуетъ въ своей конурѣ и шпіонъ. Онъ приводитъ въ порядокъ собранные матеріалы, проводитъ ихъ сквозь горнило своего пониманія и, чувствуя, что отъ этого «пониманія» воняетъ, сдабриваетъ его клеветою. И—о, чудо!—клевета оказывается правдоподобнѣе и даже грамотнѣе, потому что образцомъ для нея послужила полемика «благонамѣренныхъ» русскихъ газетъ...

Бьетъ часъ, и весь этотъ людской сбродъ, измученный отчасти бѣготней, отчасти легкомысліемъ, отчасти праздностью, сосредоточивается за табльдотами. На нѣкоторое время городъ кажется пустымъ.

Послѣобѣденное время—самое тяжкое. До обѣда всѣ какъ-нибудь отличились, отштукатурились и обрядились; послѣ обѣда—даже этихъ рессурсовъ нѣтъ. Возвращаться «домой» незачѣмъ, да и некуда: никакого «дома» нѣтъ, а есть конура. Даже у самаго богатаго человѣка, и у того, сравнительно съ «домомъ», конура. Надо гдѣ-нибудь прошляться, чтобъ погубить остальные шесть-семь часовъ. Гдѣ прошляться? Я сказалъ выше, что окрестности курорта почти всегда живописны, но число экскурсій вовсе не такъ велико, чтобы не быть исчерпаннымъ въ самое короткое время. Пять-шесть прогулокъ—вотъ и весь репертуаръ. Правда, что въ «своемъ мѣстѣ» вы каждый день гуляете по одному и тому же саду, любуясь одними и тѣми же полями, и вамъ это не надоѣдаетъ. Но, во-первыхъ, «свое мѣсто» избавляетъ васъ отъ культурно-кокотскихъ отравъ, которыя одолѣваютъ васъ здѣсь на каждомъ шагу; а во-вторыхъ, въ томъ-то и чарующая сила «своего мѣста», что тамъ васъ интересуетъ судьба каждаго дерева, каждаго куста, каждой былинки. И каждая былинка, въ свою очередь, какъ бы хранитъ память объ васъ. На что вы ни взглянете, къ чему ни прикоснетесь—на всемъ легла цѣлая повѣсть злоключеній и отрадъ (вѣдь и у обдѣленныхъ могутъ быть отрады!), и вы не оторветесь отъ этой повѣсти, не дочитавъ ея до конца, потому что каждое ея слово, каждый штрихъ или терзаетъ ваше сердце, или растворяетъ его блаженствомъ... Тогда какъ за границу вы уже по преданію являетесь съ требованіемъ чего-то грандіознаго и совсѣмъ-совсѣмъ новаго (мнѣ, за мои деньги, подавай!) и вмѣсто того встрѣчаете путь, усѣянный кокотками, которыя различаются другъ отъ друга только тѣмъ, что однѣ изъ нихъ въѣзжаютъ на горы въ коляскахъ, а другія, завидуя и въ прискочку, взбираются пѣшкомъ.

Часовъ до четырехъ дѣло однако-жъ кой-какъ идетъ. На променадѣ играетъ порядочная музыка; въ ресторанѣ курзала и на столикахъ около него толпится публика и «потребляетъ». Кокотка по ремеслу отсутствуетъ (управленіе водъ очень строго изгоняетъ все, что не kurgemaess, хотя во времена владычества рулетки и отступало отъ этого правила), но кокотка по духу—царитъ. Но вотъ музыканты одинъ за другимъ разбрелись, послѣобѣденный кофе выпитъ, мороженое съѣдено; дальнѣйшее пребываніе подъ навѣсомъ платановъ становится нестерпимымъ. Необходимо гулять. Въ сущности, еще очень рано; день едва достигъ

того часа, когда дома приканчиваются дѣла, и многимъ, по привычкѣ, кажется, что сейчасъ скажутъ, что супъ на столѣ. Напрасное обольщеніе — надобно гулять! Вы до усталости ходили утромъ, но то было утромъ, а теперь вечеръ. Обмѣнивайте вещества! Передъ вами Altes-Schloss, потомъ Eberstein-Schloss, потомъ Rothenfels *). Выбирайте любое! А завтра будетъ Rothenfels, Eberstein-Schloss, Altes-Schloss... А то не хотите ли въ Фавориту, десять разъ въ Фавориту, двадцать разъ въ Фавориту!

Бонапартисты и бонапартистки плаваютъ въ этой сумятохѣ, какъ рыба въ водѣ. Они всходятъ и взъѣзжаютъ на горы, жеманятся, провокируютъ, мелькаютъ и вообще восполняютъ свое провиденціальное назначеніе, то-есть выставляютъ на показъ: первые—покрой своихъ жакетокъ и сьютовъ, вторыя—данные имъ природой атуры. Нельзя себѣ представить ничего болѣе жалкаго, какъ человѣческое существо, съ головы до ногъ погруженное въ показываніе атуровъ. А современная культурная женщина почти сплошь занята однимъ этимъ. И не только молодая tête de linotte, но и старушка. Ничто ее не интересуетъ, ни книга (за исключеніемъ порнографической литературы), ни картина (за исключеніемъ порнографическихъ фотографій), ни пейзажъ (за исключеніемъ порнографическихъ cabinets particuliers). Ничто, кромѣ заботы о томъ, чтобы нарядъ какъ можно меньше скрывалъ ея округлости. Она даже насыщается не ради того, чтобъ поддерживать жизнь или удовлетворять своей gourmandise, а потому, что, какъ ей сказывали, при помощи хорошаго и обильнаго питанія нагуливаются хорошіе и обильные атуры. Имѣть высокую грудь и выдающуюся поясницу—вотъ конечная цѣль ея самолюбія. И какъ дополненіе къ этому—обладать немногосложнымъ, но въ высшей степени точнымъ порнографическимъ жаргономъ. Не все ли равно этимъ двуногимъ, гдѣ выполнять свое провиденціальное назначеніе, на вершинѣ ли Schöne Aussicht, или въ Линденбахѣ? Какое ей дѣло до того, что съ вершины Schöne Aussicht видны Siebengebirge и стальная полоса Рейна, что тамъ благоухаетъ сосна, а Линденбахъ провонялъ кухоннымъ чадомъ? Линденбахъ, пожалуй, привлекательнѣе, потому что тамъ есть просторный ресторанъ, въ которомъ можно прислониться.

*) Прогулки въ окрестностяхъ Баденъ-Бадена.

Этотъ бонапартистско-кокотскій элементъ, вмѣстѣ съ особью людей, которые не могутъ представить оправдательныхъ документовъ для объясненія средствъ своего существованія, составляетъ истинную отраву всякаго курорта. Рулетка исчезла, но рулеточные обычаи, рулеточный запахъ еще остались. Всякій курортъ есть мѣсто неожиданныхъ встрѣчъ. Нѣкогда вы знали человѣка, ходившаго чуть не безъ штановъ, потомъ потеряли его изъ вида—и вдругъ встрѣчаете его здѣсь и нѣкоторое время думаете, что передъ вами мелькнуло сонное видѣніе. У этого человѣка все курортное лакейство находится въ рабствѣ; онъ живетъ не въ конурѣ, а занимаетъ апартаментъ; спитъ не на дерюгѣ, а на тончайшемъ бѣльѣ; обѣдаетъ не за табльдотомъ, а особо жретъ что-то мудреное; и въ довершеніе всего жена его гуляетъ на музыкѣ подъ-руку съ сановникомъ. Ясно, что онъ что-то укралъ, но здѣсь, въ курортѣ, въ первый разъ приходитъ вамъ на мысль вопросъ: что такое воръ? У себя, на берегахъ Ворсклы или Вороны, или совсѣмъ не пришелъ бы на мысль этотъ вопросъ, или вы совершенно точно отвѣтили бы на него, но среди этой кажущейся жизни, исполненной кажущихся поступковъ, кажущихся разговоровъ и даже кажущагося лѣченья—всѣ самые ясные вопросы принимаютъ какой-то кажущійся характеръ. «Да ужъ не слишкомъ ли прямолинейно смотрѣлъ я на вещи тамъ, на берегахъ Хопра?» думается вамъ, и самое большее, что вы дѣлаете—и то для того, чтобъ не совсѣмъ погрязнуть въ тинѣ уступокъ—это откладываете слишкомъ щекотливыя опредѣленія до возвращенія въ «свое мѣсто». Тамъ можно будетъ и опять въ Юханцевѣ видѣть Юханцева, а здѣсь, на водахъ...

— Съ кѣмъ вы сейчасъ говорили?

— Помилуйте, скотина!

Сегодня «скотина», завтра «скотина», а послѣзавтра и самъ чортъ не разберетъ: полно, «скотина» ли?

Между тѣмъ бьетъ семь часовъ, и волна людская опять растетъ около курзала. Оркестръ гремитъ; бонапартистки, перемѣнивши туалетъ, скользятъ между столами; около одной, очень красивой и роскошно одѣтой, собралось цѣлое стадо habitués, и далеко, подъ сводомъ платановъ, несется беззавѣтный хохотъ этой привилегированной группы, которая по всей линіи променадъ прижилась какъ у себя дома. Всѣ прочія бонапартистки отчасти завидуютъ ей, отчасти млѣютъ передъ ней въ благоговѣніи. Это бѣлокурая испанка

отъ колѣна Монтихова, которую сама «вдова» благословила лѣтомъ разъѣзжать по курзаламъ, а зимой блистать въ Парижѣ и наблюдать за мосьё Гамбетта. Она даетъ тону курорту, на ней одной можно воочію убѣдиться, до какого совершенства можетъ быть доведена выкормка женщины, поставившей себѣ цѣлью останавливать на своихъ атурахъ вожделѣющіе взоры мужчинъ, и въ какой мѣрѣ платье должно служить, такъ сказать, осуществленіемъ этой выкормки. Да, платье именно должно быть таково. Оно не обязывается ни подчеркивать, ни комментировать, ни увлекаться въ область парадоксовъ, а именно только осуществлять.

Статуя должна быть проста и ясна, какъ сама правда, и, какъ правда же, должна предстоять передъ всѣми въ безразличіи своей наготы, никому не обѣщая воздаянія и всѣмъ говоря: вотъ я какая! Что же касается до того, какія представленія, «въ случаѣ чего», надлежитъ имѣть относительно этой статуи-правды, то роль путеводителей въ этомъ разѣ предоставляется перехватамъ, бантамъ, цвѣтамъ и другимъ архитектурнымъ украшеніямъ. Гдѣ бантъ—тамъ остановка, гдѣ перехватъ—тамъ гляди. Единственное темное пятно въ современномъ женскомъ туалетѣ — это юбка, которую, несмотря на всѣ усилія, никакъ не могутъ упразднить «законодатели модъ». Она одна оставляетъ въ статуѣ нѣкоторыя неясности, одна служитъ оградительницей интересовъ современной семьи. Впрочемъ, эти неясности отчасти уже устраняются при помощи ноги. Нога (а не ножка, какъ выражались любезники сороковыхъ годовъ) должна быть видна во всей своей скульптурной образности; нога и часть икры... Вотъ вамъ на первый разъ, а остальное, конечно, тоже придетъ, но нужно же имѣть сколько-нибудь терпѣнія!

Толпа гудитъ, сама не сознавая, къ чему она стремится, чего желаетъ. Ничего, кромѣ праздныхъ мыслей, праздныхъ словъ и праздныхъ поступковъ. Это самое полное, самое беззавѣтное осуществленіе идеала равенства... передъ праздностью. Если кто «дома» сознавалъ за собою что-нибудь оригинальное, тотъ забываетъ объ этомъ, стушовывается передъ общимъ уровнемъ ликующей толпы. И это происходитъ не по принужденію, а незамѣтно, само собой. Вдругъ какъ-то исчезаетъ всякая гадливость.

Это обезличеніе людей въ смыслѣ нравственномъ и умственномъ и, напротивъ, слишкомъ яркое выдѣленіе ихъ съ

точки зрѣнія покроя жилетовъ и количества съѣдаемыхъ «шатобріановъ», это отсутствіе всякихъ поводовъ для заявленія о своей самостоятельности—вотъ въ чемъ, по моему мнѣнію, заключается самая неприглядная сторона заграничныхъ шатаній. Ежели обязательно-суетливая праздность производитъ скуку, то продолжительное отсутствіе проявленій самостоятельности можетъ имѣть послѣдствіемъ полнѣйшую умственную и нравственную анемію. И я убѣжденъ, что многіе, воротясь домой, не безъ удивленія вспоминаютъ о мѣсяцахъ, проведенныхъ въ чуждой средѣ подъ игомъ понятій и привычекъ, о существованіи которыхъ они только тутъ въ первый разъ узнали.

По крайней мѣрѣ я испытывалъ нѣчто подобное на себѣ. Представьте себѣ, вновь встрѣтился съ Удавомъ и Дыбой—и обрадовался. И они мнѣ обрадовались и въ одинъ голосъ воскликнули: «Вотъ какъ! ну, и слава Богу!»

Они ходили всегда вмѣстѣ, во-первыхъ, потому, что были равны въ чинахъ и могли понимать другъ друга, и, во-вторыхъ, потому, что оба чувствовали себя изолированными среди курортной толкотни. Хотя и кромѣ ихъ въ курортѣ была цѣлая масса безшабашныхъ совѣтниковъ, но Дыба и Удавъ добыли свои чины еще по старому положенію и притомъ имѣли довольно странные гербы. Поэтому прочіе безшабашные совѣтники, добывшіе свои чины повадливостью и тщательно расчесанными на затылкахъ проборами, перекидывались съ ними двумя-тремя учтивостями и устремлялись дальше, какъ бы задыхаясь въ атмосферѣ старческихъ грѣховъ, которую распространяли кругомъ себя вышедшіе изъ употребленія сановники. Не было явнаго пренебреженія, но не было и предусмотрительности. Однако-жъ старики въ первое время все-таки тянулись за такъ-называемой избранной публикой, то-есть обѣдали не въ часъ и не за табльдотомъ, а въ шесть и à la carte, одѣлись въ коротенькія клѣтчатыя визитки, которыя совершенно открывали ихъ убогія оконечности, подсаживались къ молодымъ бонапартистамъ и жаловались, что докторъ не позволяетъ пить шампанское, выслушивали гривуазные анекдоты и сами пытались разсказать что-то неуклюжее, засматривались на бонапартистокъ и при этомъ слюнявили переда своихъ рубашекъ и проч. Но всѣ эти усилія ни къ чему не привели. Избранная публика даже однимъ ухомъ не слушала ихъ, но совершенно ясно показывала, что совсѣмъ ничего не слышитъ, такъ что въ концѣ кон-

цовъ всегда оказывалось, что, думая обращаться къ публикѣ, старики исключительно разговаривали другъ съ другомъ. Не разъ случалось и такъ, что «знатные иностранцы», пораженные настойчивостью, съ которою старики усиливались прорваться въ ряды «милыхъ негодяевъ», взглядывали на нихъ съ недоумѣніемъ, какъ бы вопрошая: откуда эти выходцы?—на что прочіе безшабашные совѣтники, разумѣется, поспѣшали объяснить, что это загнившіе продукты до-реформенной русской культуры, не имѣющіе никакого понятія объ «увѣнчаніи зданія». Къ несчастію, старики провѣдали объ этомъ и огорчились. А въ довершеніе приключились и еще одно обстоятельство. Въ курортъ прибылъ какой-то вновь опредѣленный принцъ, и нѣкоторый русскій сановникъ, приводившій въ это время въ порядокъ свои легкія, счелъ долгомъ почтить высокопоставленнаго гостя обѣдомъ. Всѣ «знатные иностранцы» получили приглашенія, но Удавъ и Дыба были забыты. Это тѣмъ болѣе ихъ поразило, что они невольно вспомнили дѣлежку въ Уфимской губерніи, при которой тоже были забыты. Поступять ли въ дѣлежку «полезные лѣсочки» Вятской губерніи — это еще бабушка на-двое сказала, а Уфимская-то губернія — ау! Словомъ сказать, старики заскучали и круто перемѣнили свой образъ жизни. Отъ обѣдовъ à la carte въ курзалѣ перешли въ табльдоту въ кургаузѣ, перестали говорить о шампанскомъ и обратились къ мѣстному кислому вину, приговаривая «вотъ такъ винцо!»; бросили погоню за молодыми безшабашными совѣтниками и начали заигрывать съ коллежскими и надворными совѣтниками. По вечерамъ посѣщали другъ друга въ конурахъ, при чемъ Дыба читалъ вслухъ «Ключъ къ таинствамъ природы» Эккартсгаузена и разсказывалъ анекдоты изъ жизни графа Михаила Николаевича, сопровождая эти разсказы приличнымъ экспекторированіемъ.

Итакъ, мы встрѣтились и взаимно другъ другу обрадовались.

— Вотъ вы какъ!—удивился Дыба:—а мы было-думали, что вы прямо въ Швейцарію стопы направите?

— Да, было-таки предположеніе, — подтвердилъ Удавъ, но безъ угрозы, а скорѣе съ шутливою снисходительностью.

— Но почему же ваши превосходительства думали, что я непремѣнно поѣду въ Швейцарію, а не въ Испанію, напримѣръ?

— Зачѣмъ въ Испанію? что тамъ дѣлать? Тамъ, ба-

тюшка, нынче Изабелла въ ходъ пошла! Ну, да ужъ что! Кто старое помянетъ...

И Удавъ съ улыбкой протянулъ мнѣ руку въ знакъ забвенія, но вслѣдъ за этимъ словно обезпокоился и спросилъ:

— Не одобряете?

— Не одобряю!—воскликнулъ я твердо.

— И нельзя одобрить. Хотя съ одной стороны, конечно... однако тѣмъ не менѣе... Лучше не ѣздить.

Это было ужасно доброжелательно. Но такъ какъ будущее сокрыто отъ смертныхъ и могло представить надобность въ поѣздкѣ въ Швейцарію независимо отъ всякихъ превратныхъ толкованій, то я все-таки поспѣшилъ оградить себя.

— Ваши превосходительства!—сказалъ я:—вы напрасно считаете Швейцарію мѣсторожденіемъ исключительно превратныхъ толкованій. Есть, напримѣръ, въ Люцернѣ «Раненый Левъ»—это, я вамъ доложу, такая штука, что хоть бы и намъ съ вами!

Я изложилъ, какъ умѣлъ, смыслъ и содержаніе памятника и, разумѣется, привелъ безшабашныхъ совѣтниковъ въ восхищеніе.

— Такъ вотъ они, швейцарцы, каковы! — воскликнулъ Дыба, который о швейцарцахъ зналъ только то, что случайно слыхалъ отъ графа Михаила Николаевича, а именно: что нѣкогда они измѣнили законному австрійскому правительству, и съ тѣхъ поръ опера «Вильгельмъ Телль» дается въ Петербургѣ подъ именемъ «Карла Смѣлаго».

— А впрочемъ, Богъ съ ней, съ Швейцаріей... Изъ Россіи, ваши превосходительства, не имѣете ли извѣстій?—перемѣнилъ я разговоръ.

— Какъ же! почитываемъ кое-что, и въ своихъ, и въ иностранныхъ газетахъ; ну, и письма...

— Чай, хорошо теперь тамъ?

— Объ «увѣнчаніи зданія» поговариваютъ... будто бы безъ этого никакъ невозможно...

— Ну, и слава Богу!

— Бога благодарить всегда время,— какъ-то загадочно отвѣтилъ Удавъ и затѣмъ, наклонившись ко мнѣ, шепткомъ прибавилъ:—а только врядъ ли...

— Не надѣетесь?

— Вѣрно говорю: не будетъ толку!

— Ахъ, ваше превосходительство!

— Людей нѣтъ-съ! И зданіе можно бы выстроить, и

полы въ немъ наслать, и крышу вывести, да за малымъ дѣло стало: людей нѣтъ-съ!—настаивалъ Удавъ.

— И мыслей нѣтъ!—добавилъ Дыба.

— Насъ, стариковъ, фофанами называютъ, а между тѣмъ...

Удавъ, видимо, хотѣлъ сдержаться, но вспомнилъ, какъ еще недавно русскій сановникъ («русскій-съ») исключилъ его изъ числа «знатныхъ иностранцевъ», и не сдержался.

— Мы по крайней мѣрѣ могли объяснить, кто мы, откуда вышли и какую школу прошли. Ну, фофаны, такъ фофаны... съ тѣмъ и возьмите! А нынѣшніе... вонъ онъ! вонъ онъ! смотрите на него! — вдругъ воскликнулъ Удавъ, указывая на какого-то едва прикрытаго петлерчикомъ безшабашнаго совѣтника «изъ молодыхъ»:—смотрите, вонъ онъ бедрами пошевеливаетъ!

— Это на него «увѣнчаніе зданія» такъ дѣйствуетъ! — ехидно хихикнулъ Дыба.

— Спросите у него, откуда онъ взялся? съ какимъ багажомъ людей уловлять явился? что въ жизни видѣлъ? что совершилъ?—такъ онъ не только на эти вопросы не отвѣтитъ, а даже не сумѣетъ сказать, гдѣ вчерашнюю ночь ночевалъ. Свалился съ неба—и шабашъ.

— Встарину «непомнящіе родства» бывали, а нынче, сказываютъ, таковыхъ ужъ нѣтъ!—вновь съехидничалъ Дыба.

— Приведутъ, бывало, его, «непомнящаго-то», въ присутствіе: «откуда родомъ?»—Не помню.—«Отецъ съ матерью есть?»—Не помню.—«Гдѣ проживаніе имѣлъ?»—Не помню.—«Гдѣ вчерашнюю ночь ночевалъ?»—Въ стогу.—Ну, выслушаютъ, запишутъ—и въ острогъ!

— А нынче изловятъ въ стогу да подъ образа-съ!

— И мыслей нынче нѣтъ — это его превосходительство вѣрно замѣтилъ: нѣтъ нынче мыслей-съ! — все больше и больше горячился Удавъ. — Въ наше время *настоящія* мысли бывали, такія мысли, которыя и обстановку имѣли, и излагаемы быть могли. А нынче экспромпты пошли-съ. Ни обстановки, ни изложенія — одна середка. Откуда что взялось? держи! лови!

Произнося эту филиппику, Удавъ былъ такъ хорошъ, что я положительно залюбовался имъ. Невольно думалось: вотъ онъ, настоящій-то русскій трибунъ! Но, съ другой стороны, думалось и такъ: а ну, какъ кто-нибудь насъ подслушаетъ?

— Да вы, можетъ-быть, полагаете, что это ихнее «увѣнчаніе зданія»—диковинка-съ?—продолжалъ гремѣть Удавъ.

— По крайней мѣрѣ до сихъ поръ я ни о чемъ подобномъ не слыхивалъ.

— А я вамъ докладываю: всегда эти «увѣнчанія» были и всегда они будутъ-съ. Еще когда уставъ о кантонистахъ былъ сочиненъ, такъ ужъ тогда покойный графъ Алексѣй Андреичъ мнѣ говорилъ: «Удавъ! поздравь меня! ибо симъ уставомъ увѣнчивается зданіе, которое я въ теченіе многихъ лѣтъ на песцѣ созидалъ!»

— Сколько однѣхъ прогонныхъ и подъемныхъ денегъ на эти «увѣнчанія» было потрачено! — свидѣтельствовалъ въ свою очередь Дыба:—и что же-съ! только-что, бывало, успѣютъ одно зданіе увѣнчать—смотришь, анъ другое зданіе на песцѣ безъ покрышки стоитъ—опять вѣнчать надо! И опять прогонныя и подъемныя деньги требуютъ!

— Такъ вотъ оно съ которыхъ поръ канитель-то эта пошла! Возьмемъ хоть бы вопросъ объ учрежденіи губернскихъ правленій...

Къ счастію, Удавъ поперхнулся и принялся экспектировать, а Дыба постоялъ-постоялъ и тоже послѣдовалъ его примѣру. Что же касается до меня, то я смотрѣлъ на нихъ и чувствовалъ, что въ душѣ моей поднимается какая-то смута. Несомнѣнно, что до сихъ поръ идея «увѣнчанія зданія» ни въ комъ не встрѣчала такого страстнаго сторонника, какъ во мнѣ. Я не только восхищался ею, не только не жалѣлъ въ пользу ея похвалъ и трубныхъ звуковъ, но по временамъ возвышался даже до иллюзій. И вотъ теперь какимъ-то двумъ жалкимъ старикамъ выпало на долю посѣять въ моемъ сердцѣ плевелы двоегласія! Хорошо-то оно хорошо, думалось мнѣ, а что, ежели и въ самомъ дѣлѣ вся штука разрѣшится уставомъ о кантонистахъ? Что, ежели встанетъ изъ гроба графъ Алексѣй Андреичъ, отыщетъ въ архивѣ изъѣденный мышами «уставъ» и, дополнивъ оный краткими правилами насчетъ могущаго быть свѣтопреставленія, воскликнетъ: шабашъ!

— Ахъ, ваше превосходительство! — рискнулъ я замѣтить:—да не сердиты ли вы на что-нибудь?

. . . . . .

Что было дальше—я не помню. Кажется, я хотѣлъ еще что-то спросить, но, къ счастію, не спросилъ, а оглянулся кругомъ. Вижу: съ одной стороны высится Мальбергъ, съ другой — Бедерлей, а я... стою въ дырѣ и разсуждаю съ безшабашными совѣтниками объ увѣнчаніи зданія, о томъ, что людей нѣтъ, мыслей нѣтъ, а есть только уставъ о кан-

тонистахъ, да и тотъ еще надо въ архивѣ отыскивать... И такъ мнѣ вдругъ сдѣлалось совѣстно, такъ совѣстно, что я круто оборвалъ разговоръ, воскликнувъ:

— Какія вы, однако-жъ, глупости говорите, ваши превосходительства!

Къ удивленію, старики не только не обидѣлись, но на другой же день, встрѣтивъ меня на той же площадкѣ, опять возобновили разговоръ объ «увѣнчаніи зданія». На третій день тоже, на четвертый—тоже... Наконецъ судьба-таки растащила насъ: ихъ увлекла домой, меня... въ Швейцарію!!

. . . . . .

Но иногда мнѣ думается: что, если бы русскаго «меньшаго брата» перенести на часокъ въ нѣмецкій курортъ и показать, какъ гуляютъ русскіе культурные господа?.. Что бы онъ сказалъ?

Глава III.

Я ѣхалъ въ Швейцарію не безъ страха. Думалось, что какъ только переѣду швейцарскую границу, такъ сейчасъ же со всѣхъ сторонъ и вопьются въ меня превратныя толкованія. За свою личную «совратимость» я, конечно, не боялся—слава Богу, не маленькій!—но опасался, какъ бы начальство, по доведеніи о семъ до свѣдѣнія, не огорчилось. «Не выдержитъ!» «погибнетъ!»—доносились до меня попечительные голоса съ береговъ Невы. И потомъ вдругъ строго: — «Гм!.. такъ вы въ Швейцаріи изволили побывать?» — Виноватъ-съ. — «Съ акушерками повидаться ѣздили?» — Виноватъ-съ. — «О формахъ правленія изволили разсужденіе имѣть?»—Вино...

Однако все обошлось благополучно. Я не только не «соблазнился», но даже не имѣлъ повода для соблазна. Превратныхъ идей — ни одной. Напротивъ, русскихъ, коренныхъ русскихъ идей — столько, что не продохнёшь. Наступаютъ, берутъ въ полонъ, рвутъ на части сердце, прожигаютъ мозгъ—точь-въ-точь какъ въ Россіи! Даже прелестныя швейцарскія озера и величественные хребты горъ — и тѣ застилаются ими, словно пеленою. Риги-Кульмъ, Пилатъ, Низенъ, Фаульгорнъ — все кажется окутаннымъ туманомъ. Одна только мысль отчетливо свѣтится: какъ-то теперь *тамъ* насчетъ «увѣнчанія зданія» поговариваютъ?.. неужто пошабашили?

Ахъ, право, не до превратныхъ идей въ такое время,

когда русскія идеи шагъ за шагомъ, безъ отдыха, такъ и колотятъ въ загорбокъ!

Помнится, когда намъ въ первый разъ отворили двери за границу, то мнѣ думалось: напрасно насъ, русскихъ, за границу стали пускать — навѣрное мы заразимся. И точно, примѣры зараженія случались въ то время нерѣдко. Пріѣдемъ мы, бывало, за границу и точно голодные накинемся. Формы правленія — прекраснѣйшія, климатъ — хоть въ одной рубашкѣ ходи, табльдоты и рестораны — и того лучше. Нигдѣ не кричатъ караулъ, нигдѣ не грозятъ свести въ участокъ, не заѣзжаютъ, не напоминаютъ о Кузькѣ и его родственницахъ. Мудрено ли, что при такихъ условіяхъ ни Валдайскія горы, ни Палкинъ трактиръ не пойдутъ на умъ, а того меньше крутогорскій губернаторъ Петръ Толстолобовъ.

Ахъ, и сквернословили же мы въ это веселое время! Смѣшные анекдоты такъ и лились рѣкой изъ устъ культурныхъ сыновъ Россіи. «La Russie... ха-ха!» «Le peuple russe... ха-ха!» «Les boyards russes... ха-ха!» «Да вы знаете ли, что нашъ рубль полтинникъ стоитъ... ха-ха!» «Да вы знаете ли, что у насъ цѣлую губернію на-дняхъ чиновники растащили... ха-ха!» Словомъ сказать, сыны Россіи не только не сдерживали себя, но шли другъ другу на перебой, какъ бы опасаясь, чтобъ кто-нибудь не успѣлъ напаскудить прежде. И ежели репертуаръ «разсказовъ изъ русскаго быта» оказывался довольно скуднымъ, то совсѣмъ не отъ недостатка желанія сквернословить, а скорѣе отъ неумѣнія пользоваться матеріаломъ и отъ недостатка изобрѣтательности.

Само собой разумѣется, что западные люди, выслушивая эти разсказы, выводили изъ нихъ не особенно лестныя для Россіи заключенія. Страна эта, говорили они, бѣдная, населенная лапотниками и мякинниками. Когда-то она торговала съ Византіей шкурами, воскомъ и медомъ, но нынѣ, когда шкуры спущены, а воскъ и медъ за недоимки пошли, торговать стало нечѣмъ. Поэтому нѣтъ у нея ни баланса, ни монетной единицы, а остались только желтенькія бумажки, да и тѣ имѣютъ свойство только вызывать веселость мѣстныхъ культурныхъ людей.

Но съ тѣхъ поръ прошло много лѣтъ, и многое въ теченіе этого времени измѣнилось. Увлеченіе заграничными табльдотами остыло; анекдоты опостылѣли, хотя запасъ матеріаловъ для нихъ ничуть не истощился. А главное, не-

добровольная замѣна рублей полтинниками оказалась далеко не столь смѣшною, какъ это сгоряча представлялось. Поэтому нынѣ мы уже не гарцуемъ, выгнувъ шеи, по курзаламъ, какъ заколдованные принцы, у которыхъ, несмотря на анекдоты, руки все-таки полны козырей, но бродимъ понуро, какъ люди, понимающіе, что у нихъ въ игрѣ остались только двойки. Даже формы правленія не веселятъ насъ, потому что и на этотъ счетъ крѣпко-на-крѣпко намъ сказано: дѣлу—время, потѣхѣ—часъ.

На первый взглядъ все это примѣты настолько роковыя (должно-быть, шкуры-то еще больше на убыль пошли!), что западный человѣкъ сразу рѣшилъ: теперь самое время объявить цѣну рублю — двугривенный. И были бы мы теперь при двугривенномъ, если бы рядомъ съ этимъ рѣшеніемъ совсѣмъ неожиданно не выдвинулся довольно замысловатый вопросъ: «Странное дѣло! люди безъ шкуръ — а живутъ? Что положено — уплачиваютъ, кого нужно — содержатъ; даже воровства, и тѣ предвидятъ и слѣдующія на сей предметъ суммы взносятъ безъ задержанія... Какимъ образомъ это сходитъ имъ съ рукъ? въ силу чего? Но что̀ еще замысловатѣе: если люди безъ шкуръ ухитряются жить, то какую же степень живучести предъявятъ они, если случайно опять обрастутъ?»

Вопросы эти предъявляются западному человѣку въ видѣ загадки, для объясненія которой онъ ждетъ поступковъ. И въ ожиданіи ихъ—то прибавитъ копейку къ нашему рублю, то двѣ копейки убавитъ, но сразу объявить рублю цѣну двугривенный—сомнѣвается...

Мы въ этомъ отношеніи поставлены несомнѣнно выгоднѣе. Мы рождаемся съ загадкой въ сердцахъ и потомъ всю жизнь лелѣемъ ее на собственныхъ бокахъ. А кромѣ того мы отлично знаемъ, что никакихъ поступковъ не будетъ. Но на этомъ наши преимущества и кончаются, ибо дальнѣйшія наши отношенія къ загадкѣ заключаются совсѣмъ не въ разъясненіи ея, а только въ извѣстныхъ приспособленіяхъ. Или, говоря другими словами, мы стараемся такъ приспособиться, чтобъ жить безъ шкуръ, но какъ бы съ оными.

Приспособленіе это, несомнѣнно, облегчило бы нашу жизнь, если бы оно могло навсегда устранить мельканіе «загадки». Но этого-то именно оно и не достигаетъ. Времена уже настолько созрѣли (полтинники-то вѣдь тоже не сладость!), что «загадка» съ каждымъ днемъ пріобрѣтаетъ

все бо́льшую и бо́льшую рельефность, все выпуклѣе и выпуклѣе выступаетъ наружу... и, разумѣется, вводитъ людей въ искушеніе. Мнѣ скажутъ, можетъ-быть, что на то человѣку данъ умъ, чтобъ устраняться отъ искушеній; но вѣдь это легче сказать, нежели выполнить. Самая обыкновенная жизненная обстановка—и та на каждомъ шагу ставитъ насъ лицомъ къ лицу съ искушеніями. Ужъ на что, кажется, проще дани платить — анъ и тутъ навстрѣчу вопросъ летитъ: а откуда ты ихъ возьмешь? Словомъ сказать, до того дѣло дошло, что даже если повиноваться вздумаешь, такъ и тутъ на искушеніе наскочишь: по сущей ли совѣсти повинуешься, или такъ, ради соблюденія одной формальности? «Проникни!» «разсмотри!» «обсуди!» — такъ и ползутъ со всѣхъ сторо́нъ шо́поты. Шо́поты да шо́поты — и вдругъ... бунтъ! Куда «проникнуть» собрался? по какому случаю «разсмотрѣть»? что́ задумалъ «обсудить»? Кто это говоритъ? Кто зачинщикъ? Тяпкинъ-Ляпкинъ зачинщикъ? Подать сюда Тяпкина-Ляпкина!

Выходитъ изъ рядовъ Тяпкинъ-Ляпкинъ и отдувается. Разумѣется, ищутъ, гдѣ у него шкура, и не находятъ. На нѣтъ и суда нѣтъ — ступай съ глазъ долой... бунтовщикъ! Тяпкинъ-Ляпкинъ смотритъ веселѣе: слава Богу, отдѣлался! Мы тоже наматываемъ себѣ на усъ: значитъ, «проникать», «разсматривать», «обсуждать» не велѣно. А все-таки какимъ же образомъ дани платить?—вотъ, братъ, такъ штука!

Должно же однако чѣмъ-нибудь разрѣшиться это недоумѣніе. Въ сущности, впрочемъ, оно и разрѣшается, но только разрѣшеніе-то выходитъ безплодное. А именно: разрѣшается всеобщимъ недомогательствомъ и какою-то безформенною, лишенною характерныхъ признаковъ, тоскою.

Безмѣрно и какъ-то тягуче тоскуетъ современный русскій человѣкъ, до того тоскуетъ, что, кажется, это одно и обусловливаетъ его живучесть. Благодаря тоскѣ, онъ коекакъ еще барахтается, бьется и сознаетъ себя человѣкомъ. Не будь ея, онъ навѣрное допустилъ бы болоту засосать себя. Тоскуетъ онъ и дома, не стыдится и въ люди свою тоску нести. Въ надеждѣ, разумѣется, что прикосновеніе новаго жизненнаго строя хоть сколько-нибудь облегчитъ измученное сердце. Какъ бы не такъ! Эти «новые жизненные строи» не только не освѣжаютъ и не облегчаютъ, а, напротивъ, еще больше замучиваютъ. Памяти-то вѣдь никакими «новыми строями» не отшибешь...

По крайней мѣрѣ нѣчто подобное случилось недавно со

мною. И дома живучи, я не зналъ, куда уйти отъ тоски, но какъ только пропалъ изъ глазъ вержболовскій ручей, такъ я окончательно почувствовалъ себя отданнымъ въ жертву унынію. Дома мнѣ все-таки казалось—разумѣется, это былъ обманъ чувствъ, не больше, — что я что-нибудь могу: наблюсти, закричать караулъ, ухватить похитителя за руку; а тутъ даже эта эфемерная надежда исчезла. Тоска, одна тоска—и ничего больше. Думалъ, что хоть швейцарскія «превратныя толкованія» на время заслонятъ тоску — ничуть не бывало! Превратныхъ толкованій нѣтъ и въ поминѣ (не нарочно же ихъ разыскивать!), а тоска сосетъ да сосетъ. И объ чемъ тоска? —risum teneatis, amici!—тоска о дѣлѣ, вовсе до меня не относящемся.

Позволю себѣ небольшое отступленіе.

Было время, когда въ литературѣ довольно ходко пропагандировалось, что Россіи предстоитъ возвѣстить міру «новое слово». Мысль эта, сама по себѣ похвальная, не имѣла однако-жъ успѣха благодаря тому, что никто изъ провозвѣстниковъ «новаго слова» не далъ себѣ труда объяснить хотя приблизительно, въ чемъ состоитъ его содержаніе. Трубные звуки какіе-то, потомъ многоточія, потомъ опять трубные звуки — развѣ это объясненіе? Признаюсь откровенно, въ числѣ скептиковъ былъ и я. Возвѣстители «новаго слова» представлялись мнѣ въ видѣ чревовѣщателей, которые урчанія собственной утробы принимаютъ за прорицанія Пиѳіи. Чѣмъ-то подозрительнымъ отъ нихъ отдавало: не то кудесничествомъ, не то проспектусомъ о вновь изобрѣтенной мази для ращенія волосъ. Даже не тайною (хотя и тайна въ дѣлѣ пропаганды никуда не годится), а секретомъ.

Теперь однако-жъ я начинаю догадываться, въ чемъ заключалась причина неуспѣха этихъ людей. А именно: не въ отсутствіи «новаго слова», но въ томъ, что возвѣстители брали слишкомъ высокую ноту. Они искали *неизвѣстнаго* «новаго слова» и, не обладая достаточной изобрѣтательностью, чтобъ выдумать его, ни достаточнымъ проворствомъ, чтобъ осуществить «невидимыхъ вещей обличеніе», думали замѣнить это трубными звуками, многоточіями и крикомъ. Тогда какъ имъ слѣдовало только осмотрѣться кругомъ себя, чтобы просто съ полу находку поднять, и притомъ не одну, а цѣлую уйму таковыхъ. Именно только осмотрѣться, безъ чревовѣщательствъ, безъ трубныхъ зву-

ковъ, безъ натуги. Бери полной горстью изъ кошницы — и сѣй!

Да, я убѣжденъ, что даже на улицѣ, на каждомъ шагу можно услышать слова, которыя для западнаго человѣка покажутся не только новыми, но и совершенно неожиданными. Правда, я не скажу, чтобъ эти слова были отмѣнныя, но, по моему мнѣнію, качество словъ — дѣло наживное. Сегодня нехорошее слово сказали, завтра — и того хуже скажемъ, а послѣзавтра—возьмемъ да и вымолвимъ. И вдругъ объявится просіяніе, «его же тьма не объятъ»... Только спрашивается: долго ли оно продержится, просіяніе-то это? А ну-те, признавайтесь! кто изъ васъ иллюминацію эту устроилъ? кто зачинщики? Тяпкинъ-Ляпкинъ зачинщикъ? Подать сюда Тяпкина-Ляпкина!

Возьмемъ для примѣра хоть эту фразу: «тоска объ неотносящемся дѣлѣ» — развѣ что-нибудь подобное извѣстно западному человѣку? По западнымъ понятіямъ, «неотносящимся» дѣломъ называется или то, къ которому человѣкъ недостаточно приготовленъ, или то, для успѣшнаго веденія котораго онъ не имѣетъ соотвѣтствующихъ способностей или наконецъ то, изъ котораго онъ, вслѣдствіе своей нравственной испорченности, можетъ сдѣлать источникъ злоупотребленій. Такъ, напримѣръ, берейторъ не можетъ творить судъ и расправу; идіоту не предоставляется уловлять человѣческія сердца; вору не вручается ключъ отъ кассы; расточителю не дозволяется быть распорядителемъ общественнаго или частнаго достоянія. Ибо, повторяю, все это, по западнымъ понятіямъ, дѣла «неотносящіяся». Напротивъ того, негодовать по поводу подобныхъ дѣлъ, ежели они по временамъ прорываются въ жизнь, требовать ихъ разъясненія и преслѣдованія — это не только считается «относящимся» дѣломъ, но и для всякаго честнаго человѣка обязательнымъ.

Я, разумѣется, далекъ отъ того, чтобы утверждать, что русская жизнь имѣетъ исключительно дѣло съ берейторами идіотами и расточителями, но для меня вполнѣ несомнѣнно, что всякое негодующее и настойчивое слово, посланное навстрѣчу расхищенію и идіотству, неизбѣжно и какъ-то само собою зачисляется въ категорію «неотносящихся» дѣлъ. Такой-то укралъ... да не у васъ вѣдь,—какое вамъ дѣло? Такой-то идіотски сгубилъ цѣлую массу людей... да не васъ вѣдь сгубилъ—какое вамъ дѣло? Такой-то позорнымъ образомъ расхитилъ и расточилъ ввѣренное его охранѣ

имущество... да вѣдь не ваше — какое вамъ дѣло? Вотъ отвѣты, какіе даетъ обыденная жизненная практика на негодующіе и настойчивые запросы. Она снисходительно отнесется къ вору, ходатайствующему по *своему* дѣлу, и назоветъ безпокойнымъ, безалабернымъ (а можетъ-быть — даже распространителемъ «превратныхъ толкованій») человѣка, которому дорого дѣло *общее*, дѣло его страны.

Да, нельзя даже на минуту усомниться, что подобныя отношенія къ интересамъ, мало-мальски выходящимъ изъ тѣсной сферы личныхъ требованій, дѣйствительно представляютъ для западнаго человѣка «новое слово». Но вопросъ: нужно ли ему это слово?

Затѣмъ самая «тоска»—развѣ это не «новое слово» для западнаго человѣка? Западный человѣкъ можетъ негодовать, ожесточаться, настаивать, но «тосковать» онъ положительно не умѣетъ. Ни англичанинъ, ни французъ, ни нѣмецъ не сдѣлаютъ изъ тоски постояннаго занятія и тѣмъ менѣе не будутъ хвалиться, что вотъ, дескать, мы страдаемъ «благородной» тоской. Ибо даже наиблагороднѣйшая тоска—и та представляетъ собой нѣчто несознанное, безвыходное, свойственное лишь безсильнымъ и недоумѣвающимъ людямъ. Человѣкъ ничего другого не видитъ передъ собой, кромѣ «неотносящихся дѣлъ», а между тѣмъ понятіе о «неотносящихся дѣлахъ» уже настолько выяснилось, что даже въ субъектѣ наиболѣе недоумѣвающемъ пробуждается сознаніе всей жестокости и безчеловѣчности обязательнаго стоянія съ разинутымъ ртомъ передъ глухой стѣной. Очевидно, тутъ кроется мучительнѣйшее двоегласіе, которое потому только не считается позорнымъ, что оно все-таки составляетъ шагъ впередъ сравнительно съ самодовольнымъ стояніемъ съ разинутымъ ртомъ. Но чтобъ сознать себя воистину человѣкомъ, во всякомъ случаѣ нужно выйти изъ этого двоегласія, нужно признать права одного голоса и несостоятельность другого. Однимъ словомъ, нужно начать борьбу. А гдѣ же взять силъ для борьбы? Увы! геройство еще не выработалось, а на добровольныя уступки жизнь отзывается съ такою обидною скаредностью, что цѣлыя десятилѣтія кажутся какъ бы застывшими въ преднамѣренной неподвижности. Остается одинъ выходъ: благороднымъ образомъ тосковать. Несомнѣнно, что ничего подобнаго не встрѣтишь ни у подошвы Пилата, ни на берегахъ Сены, ни на берегахъ Шпрее. Я, конечно, не хочу этимъ сказать, чтобъ запад-

ный человѣкъ былъ свободенъ отъ заботъ, недоумѣній и даже опасностей, — всего этого у него болѣе чѣмъ достаточно, — но онъ свободенъ отъ обязательнаго стоянія съ опущенными руками и разинутымъ ртомъ, и это въ значительной мѣрѣ облегчаетъ для него борьбу съ недоумѣніями. Такъ что въ этомъ смыслѣ наша «благородная тоска» воистину представляетъ для него «новое слово». Но спрашивается: нужно ли оно ему?

Еще примѣръ (тоже намѣченный уже выше). Всякое вѣяніе, сколько-нибудь выходящее изъ предѣловъ обыденности, всегда представляется у насъ чѣмъ-то злостнымъ, требующимъ не регулированія, но подавленія, и притомъ всегда же сопрягается съ представленіемъ о «зачинщикѣ». Обыкновенно такимъ зачинщикомъ является Тяпкинъ-Ляпкинъ. Этого Тяпкина-Ляпкина мнутъ и трутъ. Сотрутъ въ порошокъ, думаютъ: ну, теперь слава Богу! Смотрятъ, а онъ опять вынырнулъ. И опять начинаютъ мять и теретъ. И такъ до сего дня. Коли хотите, этотъ вѣчный Тяпкинъ-Ляпкинъ, этотъ козелъ отпущенія, въ лицѣ котораго мы стараемся устранить «созрѣвшія времена» — вѣдь и это, пожалуй, тоже «новое слово» для западнаго человѣка, но опять-таки спрашивается: нужно ли оно ему?

Откровенно говоря, я думаю, что слова эти даже не представляютъ для западнаго человѣка интереса новизны. Несомнѣнно, что и онъ въ свое время прошелъ сквозь всѣ эти «слова», но только *позабылъ* ихъ. И «неотносящіяся дѣла» у него были, и «тоска» была, и Тяпкинъ-Ляпкинъ, въ качествѣ козла отпущенія, былъ, и многое другое, чѣмъ мы мнимъ его удивить. Все было, но все позабылось, сдѣлалось ненужнымъ...

Для насъ-то нужно ли?

Впрочемъ, я и самъ догадываюсь, что это вопросъ праздный. Важность совсѣмъ не въ томъ, нужно или не нужно то или другое явленіе, а въ томъ, что при извѣстныхъ условіяхъ и ненужное становится неизбывнымъ. Поди, достучись въ этой массѣ дверей, которыя сплошь наглухо заперты, — вѣдь только того и добьешься, что лобъ себѣ разобьешь. Это даже ужъ не загадка, а какое-то колдовство, которое я назвалъ бы историческимъ, если-бъ не боялся, чтобъ этотъ эпитетъ не послужилъ прикрытіемъ для всякаго рода малодушій. Куда ни обернитесь, на всѣхъ лицахъ вы видите страстное желаніе проникнуть за предѣлы загадочной области, и въ то же время на тѣхъ

же лицахъ читаете какое-то фаталистическое осужденіе: нѣтъ, не проникнуть туда никогда. Ужели это не колдовство? Ибо, въ сущности, что̀ означаетъ это выраженіе: «проникнуть», которое переполняетъ тоской всѣ сердца? Означаетъ ли оно взломъ, насиліе, бунтъ? Нѣтъ, оно означаетъ стремленіе освѣтить и осмыслить жизнь. Ужели нужно еще доказывать, что такого рода стремленіе не только вполнѣ естественно, но и не заключаетъ въ себѣ никакихъ угрозъ? Доказывать! да развѣ кому-нибудь доказательства нужны? Такъ лучше уже прямо, безъ разсужденій, принять на вѣру, что всѣ эти стремленія, надежды и порывы суть «неотносящіяся дѣла», которыя злоухищренно и преднамѣренно выдумалъ зачинщикъ Тяпкинъ-Ляпкинъ. Пускай онъ за нихъ и отвѣтитъ, а вы, не желающіе подвергать себя участи Тяпкина-Ляпкина, вы должны позабыть объ «неотносящихся дѣлахъ» и только въ видѣ неизреченной льготы можете слегка о нихъ тосковать. Эта тоска да будетъ вамъ во спасеніе. Пускай она освѣжаетъ вашу память и не даетъ вамъ окоченѣть.

Слушать разглагольствованія Удава и Дыбы и не чувствовать при этомъ глубочайшей тоски можно только подъ условіемъ несомнѣннаго нравственнаго разложенія. Ничему подобному западный человѣкъ не подвергается, потому что онъ во всякое время имѣетъ возможность повернуться къ сквернословію спиной и уйти. Но мы не можемъ такъ поступить. Мы обязаны выслушивать сквернословіе и считаться съ нимъ, и не по тому одному, что легкомысленное отношеніе къ нему можетъ смутить безпечальность нашего житія, но и потому, что нѣкуда намъ отъ него скрыться. Въ формѣ ли авторитета, или въ формѣ простой обыденности, такъ или иначе, но оно заставитъ насъ выслушать себя. Слушай и чувствуй, какъ замираетъ весь организмъ подъ игомъ подавляющей тоски.

И замѣтьте, что основаніе этого сквернословія совсѣмъ не фантастическое, а прямо выхваченное изъ жизни. Ни Дыба, ни Удавъ ничего не выдумали, а только возвели въ перлъ созданія и издали въ свѣтъ. Вы тоскуете объ «увѣнчаніи зданія», а Удавъ на это въ упоръ напоминаетъ объ уставѣ о кантонистахъ. У васъ въ глазахъ мерещатся «гарантіи», а Дыба подлавливаетъ ваши мечтанія и переводитъ ихъ на свой подьячески-опредѣленный языкъ: учрежденіе управы благочинія. Какимъ образомъ произошли эти превращенія? — Это тайна; но вы чувствуете, что

въ основѣ тайны лежитъ жизненная практика. Ужели же можно представить себѣ, чтобъ вы, партикулярный тоскующій человѣкъ, побѣдили этихъ сквернословящихъ мудрецовъ, устами которыхъ говоритъ сама жизнь?

Поэтому, ежели я позволилъ себѣ сказать безшабашнымъ мудрецамъ, что они говорятъ «глупости», то поступилъ въ этомъ случаѣ, какъ западный человѣкъ, въ надеждѣ, что Мальбергъ и Бедерлей возьмутъ меня подъ свою защиту. Я *заразился*. Конечно, я заразился на самое короткое время и теперь готовъ принести въ томъ раскаяніе, но ужасно подумать, какъ я былъ опрометчивъ и даже несправедливъ. Напротивъ того, *они* выказали въ этомъ случаѣ милосердіе поистинѣ неизреченное, ибо не только предоставили мнѣ попрежнему пользоваться правами состоянія, но даже по пріѣздѣ въ Петербургъ никому о моемъ грубіянствѣ на зависящее распоряженіе не сообщили. И я никогда не забуду этого одолженія. Буду себѣ потихоньку тосковать, но чтобы прерывать сквернословіе особъ, за которыми право на таковое признано самими регламентами... никогда!

Никогда, никогда и никогда, потому что, независимо отъ всякихъ другихъ соображеній, сквернословіе это представляетъ такую неистощимую сокровищницу готовыхъ «новыхъ словъ», которая навсегда избавляетъ отъ выдумокъ и прямо позволяетъ черпать и приговаривать: на, гнилой Западъ, ѣшь! Только согласится ли онъ ѣсть?

Итакъ, тоска и ни малѣйшаго превратнаго толкованія. Тѣмъ не менѣе мысль, что представленіе о Швейцаріи какъ-то обязательно отожествляется съ представленіемъ о превратныхъ толкованіяхъ, положительно отравляетъ путешествіе по этой странѣ. Ѣдешь въ вагонѣ и во всякомъ сосѣдѣ видишь сосудъ злопыхательства; пріѣдешь въ гостиницу и все думаешь: да гдѣ же онѣ, превратныя идеи, застряли? какъ бы ихъ обойти? какъ бы не встрѣтиться «съ кіевскимъ дядей», который, пожалуй, не задумается и налгать? Оглянешься кругомъ—вся природа словно изнемогаетъ подъ наплывомъ внутренняго ликованія. Все блещетъ: и небо, и горы, и озёра. Даже гроза—и та летитъ навстрѣчу вся блистающая, вся пылающая цѣлымъ пожаромъ сверканій. И что же! все это пропускаешь мимо глазъ и ушей, ко всему прислушиваешься и присматриваешься вяло, почти безучастно... И почему?.. потому

только, что впечатлительность уже заранѣе загажена предположеніемъ о какихъ-то «превратныхъ толкованіяхъ»... Risum teneatis, amici!

Дѣло было такъ. Сидѣлъ я лунными сумерками подъ сѣнью гигантскихъ интерлакенскихъ орѣшниковъ и по секрету велъ разговоръ съ Юнгфрау. Вотъ, Юнгфрау,—говорилъ я:—кабы ты была въ Уфимской губерніи, и тебя бы причислили къ лику башкирскихъ земель. И отдали бы тебя задешево какому-нибудь безшабашному совѣтнику (какъ въ старинной русской пѣснѣ поется: «отдалъ меня сударь-батюшка за немилаго; за немилаго, за стараго, за гадёнка»), который смотрѣлъ бы на тебя и ропталъ. Вотъ, молъ, другимъ лѣса да поймы достались, а мнѣ, въ награду за любезно-вѣрное житіе, дылду отвалили—чортъ ли я съ ней подѣлаю! И стояла бы ты въ своей незапятнанной бѣлой одеждѣ, дѣвственная, неосквернаемая взорами «знатныхъ иностранцевъ», довлѣющая сама себѣ... Но, разумѣется, стояла бы до тѣхъ поръ, пока, съ размноженіемъ новоявленныхъ башкирскихъ припущенниковъ, опытъ не указалъ бы, что наступилъ часъ открыть на твоей вершинѣ харчевню съ арфистками. Тогда... ахъ, что бы мы тогда надъ тобою, Юнгфрау, сдѣлали!

Такъ вопрошалъ я Юнгфрау, а луна между тѣмъ все ярче и ярче освѣщала бѣлый ликъ Дѣвственницы, и въ соотвѣтствіе съ этимъ пуще и пуще разгоралось мое воображеніе. Незамѣтно для себя самого я сталъ прорицать и, надо сказать правду, нехорошо прорицалъ. Мнилось мнѣ, будто бы старый безшабашный совѣтникъ (или, по выраженію пѣсни, «гадёнокъ»), скучая скромными доходами, получаемыми съ харчевни, ходатайствуетъ о перенесеніи Юнгфрау въ Кунавино, намекая при этомъ и о потребныхъ на сей предметъ прогонныхъ и подъемныхъ деньгахъ... Шлется будто бы этотъ проектъ въ Петербургъ и, разумѣется, прежде всего разсматривается съ точки зрѣнія пользъ россійской промышленности, имѣющей, «какъ извѣстно», главный сбытъ на нижегородской ярмаркѣ... Образуется, конечно, комиссія: безшабашный совѣтникъ доказываетъ, что онъ патріотъ... Являются евреи... Съ одной стороны—«тормозятъ» дѣло, съ другой—«подмазываютъ»... Въ городѣ ходятъ слухи, что въ дѣлѣ принимаетъ участіе баронесса Мухобоева, которая будто бы ѣздила въ Берлинъ и ужъ переговорила съ Мендельсо-

номъ... Остается, стало-быть, «въ послѣдній разъ» подмазать и двинуть... Но только-что я было-занялся окончательнымъ разрѣшеніемъ вопроса, подлежитъ ли ходатайство сіе удовлетворенію или не подлежитъ, какъ вдругъ мечтанія мои оборвались. Съ сосѣдней скамьи до меня совершенно отчетливо донеслись родные звуки.

— Послужилъ—и будетъ! — говорилъ неизвѣстный голосъ:—и замѣть, я ни о чемъ никогда не просилъ. ничего не ждалъ... кромѣ спасибо! Простого русскаго спасибо... кажется, немного! И вотъ... Но нѣтъ, довольно, довольно, довольно!

Послѣдовало минутное молчаніе; затѣмъ другой голосъ патетически продекламировалъ:

— Прростого ррусскаго сспасибо!.. c'est bien dit... tu es un noble coeur, Théodor!

— Конечно, я знаю, что мой часъ еще придетъ,—продолжалъ первый голосъ: — но ужъ тогда... Мы всѣ здѣсь путники... nous ne sommes que des pauvres voyageurs égarés dans ce pauvre bas monde... Но!

На этой угрожающей нотѣ голосъ пресѣкся. Мимо меня, по направленію къ Невѣ, пронесся густой вздохъ... и все смолкло.

Можно себѣ представить, какъ встрепенулось при этихъ звукахъ мое русское сердце! Я жадно началъ вглядываться сквозь лунныя сумерки и послѣ нѣкоторыхъ усилій успѣлъ разсмотрѣть двухъ «знатныхъ иностранцевъ», которыхъ лица показались мнѣ нѣсколько знакомыми. Дѣйствительно, собравши мои воспоминанія, я наконецъ доискался. То были два графа: графъ Твэрдоонтò и графъ Мамелфинъ. Первый изъ нихъ въ свое время былъ знаменитъ и, подобно прочимъ подвижникамъ русской земли, мечталъ объ увѣнчаніи зданія; но, получивъ лишь скудное образованіе въ кадетскомъ корпусѣ, ни до чего не могъ додуматься, что̀ было бы равносильно даже управѣ благочинія. Что-то необычайно смутное мелькало въ его головѣ, чего ни онъ самъ, ни его подчиненные не были въ состояніи ни изловить, ни изложить. Какой-то вселенскій смерчъ, который надлежало навсегда и повсемѣстно водворить и которому предстояло все знать, все слышать, все видѣть и въ особенности наблюдать, чтобы не было превратныхъ идей и недоимокъ. Когда онъ излагалъ свои мысли,—излагалъ безпорядочно, съ употребленіемъ неподлежащихъ выраженій,—то никто ничего не понималъ, но

всякій догадывался, что если дать этому безвыходному кадету волю, то онъ непремѣнно учинитъ что-нибудь до того неизгладимое, чего впослѣдствіи ни подъ какимъ видомъ не отскоблить. И, можетъ-быть, именно въ силу этой неотскоблимости онъ и держался. Былъ такой моментъ, когда казалось, что русское общество одержимо сверхъестественнымъ недугомъ, отъ котораго можетъ избавить его только смерчъ. Тотъ смерчъ, о которомъ не упоминается ни въ какихъ регламентахъ и передъ которымъ всякій партикулярный человѣкъ, какъ бы онъ ни былъ злонравенъ, непремѣнно спасуетъ. Но Твэрдоонтò былъ кадетъ и не спасовалъ. Настоящаго смерча, положимъ, у него не вышло, но былъ ужасъ, было трясеніе великое. Всѣ въ страхѣ спрашивали себя: *кто осла дивія быстра содьлалъ? узы ему кто развязалъ?*—и не находили отвѣта. А графъ Твэрдоонтò между тѣмъ гарцовалъ и все твердилъ одно и то же слово: «смерчъ, смерчъ, смерчъ!» Къ счастію, на пути его встрѣтились препятствія. Во-первыхъ, кадетская полуграмотность и сопряженное съ нею неумѣніе дать форму сущности обуревающихъ чувствъ, и, во-вторыхъ—что̀ важнѣе всего—неумѣніе держаться на высотѣ, не наполнивъ вселенной болтовней и хвастовствомъ. Не успѣлъ еще Удавъ придти на помощь мятущемуся кадету, чтобы формулировать ученіе о вселенскомъ смерчѣ, какъ кадетъ ужъ шарахнулся. Шарахнулся какъ мальчишка, котораго за лганье и непотребныя шашни исключили изъ «заведенія».

Что же касается до графа Мамелфина, то онъ былъ замѣчателенъ лишь тѣмъ, что происходилъ по прямой линіи отъ боярыни Мамелфы Тимоѳеевны. Какимъ образомъ произошелъ на свѣтъ первый графъ Мамелфинъ — преданія молчали, въ документахъ же объяснялось просто: «по сей причинѣ». Этотъ же девизъ значился и въ гербѣ графовъ Мамелфиныхъ. Но самъ по себѣ графъ, о которомъ идетъ рѣчь, ничего самостоятельнаго не представлялъ, а былъ извѣстенъ только въ качествѣ приспѣшника и стремяннаго при графѣ Твэрдоонтò.

Эта встрѣча произвела на меня двойственное впечатлѣніе. Прежде всего меня объялъ священный ужасъ. Вспомнились стихи:

Такъ храмъ оставленный—все храмъ,
Кумиръ поверженный—все Богъ...

И въ то же время какъ-то само собою сказалось: а ну,

какъ укусить? Хотя у насъ на этотъ счетъ довольно простыя примѣты: коли кусается человѣкъ—значитъ, во власти находится; коли не кусается—значитъ, наплевать; и хотя я доподлинно зналъ, что въ эту минуту графу Твэрдоонтѳ даже нечѣмъ укусить, но кто же можетъ поручиться, совсѣмъ ли погасла эта сопка, или же въ ней осталось еще настолько горючаго матеріала, чтобъ и опять, при случаѣ, разыграть роль Везувія? Развѣ не бывало примѣровъ, что и въ оставленныхъ храмахъ вновь раздавались урчанія авгуровъ, что и низверженные кумиры вновь взбирались на старые пьедесталы и начинали вращать алмазными очами? Но главную роль, повторяю, все-таки игралъ священный ужасъ, который заставляетъ невольно трепетать при мысли: вотъ храмъ, въ которомъ еще недавно курились ѳиміамы и раздавалось пѣніе и въ которомъ теперь живетъ домовой!

Но, съ другой стороны, меня такъ и подмывало устроить какую-нибудь проказу. Рабъ вѣдь я, а потому что же мудренаго, что меня привлекаютъ только удовольствія вѣроломства. Потрясти когда-то злонравнаго, а нынѣ безсильнаго идола за носъ: что, молъ, небось еще живъ? Узнать, чѣмъ онъ теперь пробавляется, и достаточно ли однихъ воспоминаній о смерчѣ, чтобъ поддерживать жизнь въ этомъ идольскомъ организмѣ? Толкнуть его какъ бы невзначай, посмотрѣть ему за-панибрата въ глаза, похлопать по плечу... Однимъ словомъ, продѣлать все, что истинно-русское подневольное вѣроломство повелѣваетъ. И въ концѣ концовъ допытаться, дѣйствительно ли это «оставленный храмъ», а не...

И вдругъ меня осѣнила мысль: скажусь репортеромъ отъ газеты «И шило бреетъ» и явлюсь побесѣдовать. Нынче вѣдь насчетъ этого строго; явился репортеръ—хочешь не хочешь, а распоясывайся! Даже если Подхалимовъ или «нашъ парижскій корреспондентъ» зайдетъ—и тутъ держи ухо востро! Ежели спроситъ, гдѣ воспитаніе получилъ?—отвѣчай скромно: воспитаніе получилъ недостаточное, но, будучи одаренъ отъ природы свѣтлымъ умомъ, и т. д. Ежели спроситъ: что означаетъ слово «смерчъ»? — отвѣчай: слово сіе русское, въ переводѣ на еврейскій языкъ означающее: Виѳезда... Но, можетъ-быть, ты не знаешь, что такое Виѳезда?—Виѳезда, братецъ, это купель Силоамская.—А купель Силоамская что?—Ахъ, братецъ мой, какой же ты...

Обыкновенный партикулярный человѣкъ ни за что подобныхъ вопросовъ не предложитъ, — не сочтетъ себя вправѣ,—а Подхалимовъ предложитъ. Подхалимовы — это особенная порода такая объявилась, у которой на знамени написано: ври и будь свободенъ отъ мѣры! Всюду проникнетъ Подхалимовъ: придетъ къ Гамбеттѣ—Гамбетту проэкзаменуетъ; потомъ съѣздитъ къ Гладстону — и его обнюхаетъ. А то и не ѣздивши скажетъ: былъ. Чѣмъ больше къ человѣку Подхалимовыхъ шляется, тѣмъ несомнѣннѣе для темнаго люда, что тотъ человѣкъ славенъ. А ежели къ кому совсѣмъ Подхалимовъ не заѣзжаетъ, то это означаетъ, что человѣкъ тотъ изображаетъ собой даже не «храмъ оставленный», а упраздненную ретираду. И въ эту ретираду самъ «нашъ парижскій корреспондентъ» не зайдетъ, а, зажавъ носъ, пробѣжитъ мимо.

Гм!.. а что ежели и въ самомъ дѣлѣ прикинуться Подхалимовымъ?

Сказано — сдѣлано. Не откладывая дѣла въ дальній ящикъ, я сейчасъ же отправился въ гостиницу и предварилъ графа о своихъ намѣреніяхъ слѣдующимъ письмомъ:

«Сіятельнѣйшій графъ!

«Я — Подхалимовъ и завтра, въ десятомъ часу утра, буду у Вашего сіятельства. Нѣтъ сомнѣнія, что Вы заранѣе угадываете значеніе и цѣль этого визита. Вы—одна изъ недавнихъ звѣздъ современнаго горизонта; я—скромный репортеръ газеты «И шило бреетъ». Но въ самой скромности я представляю собой силу. Русская публика имѣетъ право знать, какъ предполагаете Вы поступить съ нею въ томъ случаѣ, ежели фортуна вновь улыбнется Вамъ. Фортуна слѣпа, сіятельнѣйшій графъ! и Вамъ, больше нежели кому-нибудь, должно быть это извѣстно. Не желая застать Васъ врасплохъ, я даю Вашему сіятельству эту ночь на размышленіе.

«Съ истиннымъ почтеніемъ и проч.

«Iwan de Podkhalimoff».

На другой день, въ назначенный часъ, я уже стоялъ въ швейцарской аристократическаго отеля «Jungfraublick» (chambres à partir de 4 fr., déj. 2, dîn. 5, serv. 1, boug. 1, omnib. 1 fr. 50 c.) и требовалъ графа Твэрдоонтэ къ отвѣту. Я пришелъ въ черномъ сьютѣ, въ сиреневаго

цвѣта перчаткахъ и въ лакированныхъ полусапожкахъ; волосы мои были напомажены, лицо—вымыто. На губахъ играла улыбка, говорившая, что я обрадованъ и польщенъ, но въ глазахъ, на всякій случай, свѣтилась гражданская скорбь. Общее выраженіе лица внушало довѣріе. Съ своей стороны, графъ не заставилъ меня ждать и вышелъ ко мнѣ, одѣтый въ легкую жакетку и въ бѣлый однобортный жилетъ съ свѣтлыми пуговицами, застегнутыми сверху до-низу à la militaire. Это былъ мужчина среднихъ лѣтъ (между 45 и 50), высокаго роста, бравый и нимало не отяжелѣвшій. Выраженіе его лица я затрудняюсь опредѣлить, но знаю, что оно напомнило мнѣ свѣже-написанный масляными красками портретъ, по которому неосторожный прохожій слегка задѣлъ рукавомъ. Нѣчто смутное и въ то же время... какъ бы благородное. Но подлинно ли благородное—на этотъ вопросъ, по нынѣшнему времени, трудно отвѣтить. Ибо бываетъ благородство, такъ сказать, самою природой на лицѣ человѣка написанное, и бываетъ такое, которое «наводится« на лицо тщательными омовеніями, употребленіемъ соотвѣтствующихъ духовъ и мылъ, долгими сеансами передъ зеркаломъ и проч. Какъ бы то ни было, но онъ былъ, видимо, взволнованъ, хотя, подавая мнѣ руку, ни однимъ мускуломъ не обнаружилъ, что это стоитъ ему усилій. Кажется, это называется на ихнемъ языкѣ «выдержкой». Съ своей стороны, я сжалъ эту руку съ почтительностью, къ которой однако-жъ, на всякій случай, примѣшалъ тонкій оттѣнокъ наглости. И тогда между нами произошелъ слѣдующій colloquium.

ГРАФЪ И РЕПОРТЕРЪ.

(Драматическій разговоръ въ одномъ явленіи).

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Графъ Твэрдоонто, странствующій администраторъ.
Подхалимовъ, репортеръ русской газеты «И шило бреетъ».

Сцена представляетъ салонъ въ хорошей гостиницѣ; изъ оконъ видъ на Юнгфрау.

Подхалимовъ *(въ нагломъ восторгѣ)*. Ваше сіятельство! сіятельнѣйшій графъ!

Графъ. Радъ, очень радъ. Очень радъ съ вами познакомиться, мсьё—*(Дѣлаетъ видимое усиліе, чтобъ произнести*

частицу «де»)... де Подхалимовъ. Я всегда къ услугамъ прессы. Вѣдь пресса—это нынче шестая держава, а въ томъ числѣ и русская... «Печатать дозволяется»—такъ, кажется? *(Кличетъ).* André! Vous apporterez un carafon de Gorki *) pour monsieur... *(Къ Подхалимову).* Потребляете?

Подхалимовъ. Бросилъ-съ. Конечно, путешествуя, напримѣръ, по Волгѣ... ваше сіятельство, сами изволите знать... трудно, чтобъ воздержаться совсѣмъ.

Графъ *(съ чувствомъ).* Я понимаю васъ.

Подхалимовъ. А здѣсь это не въ обычаѣ, да притомъ и тепло-съ...

Графъ *(съ возрастающимъ чувствомъ).* Я понимаю васъ... de Podkhalimoff! *(Подаетъ Подхалимову руку, которую послѣдній принимаетъ, слегка отдѣлившись отъ стула).*

Минутное молчаніе, въ продолженіе котораго влетаетъ въ комнату муха и садится графу на носъ. Графъ хочетъ ее изловить, но убѣждается, что это гораздо труднѣе, нежели уловлять людей. Наконецъ Подхалимовъ успѣваетъ переманить муху на свой носъ.

Графъ. Благодарю васъ. Ахъ, эти мухи! Вы, конечно, знаете стихъ Пушкина:

Краснаго лѣта отрава, муха несносная, что ты...

Charmant! Кстати: вы были на этомъ праздникѣ... въ Москвѣ?

Подхалимовъ *(смущенно, какъ бы предвидя опасность).* Былъ, ваше сіятельство.

Графъ *(внезапно вообразивъ себѣ, что онъ вновь призванъ къ дѣламъ, строго).* И вмѣстѣ съ прочими... а? *(Машетъ указательнымъ перстомъ передъ носомъ Подхалимова).*

Подхалимовъ *(уклончиво).* Ваше сіятельство! вѣдь нынче дозволено-съ!

Графъ *(спохватившись).* Да... нынче... я и забылъ! А впрочемъ, я и всегда!.. Pouschkine quel géant! *(Декламируетъ):*

Краснаго лѣта отрава, муха несносная, что ты...

Кстати о Пушкинѣ. Я недавно съ однимъ его родственникомъ познакомился... Представьте себѣ! изо всего Пушкина знаетъ только стихъ: *«Мнѣ вручила талисманъ»*...

---

*) Водка горькая, двойная, померанцовая, завода Штритера, продается за границей во всѣхъ débits de vins подъ именемъ Gorki.
Авт.

Это... родственникъ!! А впрочемъ, довольно объ этомъ; приступимъ къ нашему дѣлу. Прошу предлагать вопросы.

Подхалимовъ *(нѣкоторое время собирается съ мыслями).* Графъ! кто ваши родители?

Графъ *(изумленно, но покорясь своей участи).* Я происхожу изъ боковой линіи. Это нѣсколько странно, но... Словомъ сказать, я—графъ Твэрдоонтò. Скажите однако-жъ, развѣ прессѣ необходимо знать эти подробности?

Подхалимовъ. Пресса все должна знать, ваше сіятельство. *(Вынимаетъ записную книжку и пишетъ: «Найденъ въ корзинѣ, на крыльцѣ; сравнить: Moïse sauvé des eaux»).* Будемъ продолжать. Гдѣ ваше сіятельство изволили продолжать воспитаніе?

Графъ. Я долженъ сознаться, что воспитаніе я получилъ недостаточное... въ одномъ изъ кадетскихъ корпусовъ... Но... *(Хочетъ сказать нѣчто въ свою похвалу).*

Подхалимовъ. Понимаю. Но впослѣдствіи вы, конечно, постарались восполнить недостатокъ солиднаго образованія чтеніемъ извѣстныхъ авторовъ?

Графъ. Да, я читалъ довольно много. Всего Поль-де-Кока, всего Феваля и наконецъ «Nana»... Изъ серьезныхъ писателей—Цитовича.

Подхалимовъ. Прекрасно-съ. *(Записываетъ: «Воспитаніе получилъ недостаточное, но, будучи одаренъ свѣтлымъ умомъ, уже въ чинѣ поручика рѣшился обогатить оный разнообразнымъ чтеніемъ»).* Не имѣете ли какихъ наружныхъ пороковъ?

Графъ *(выпрямляясь и опустивъ руки по швамъ).* Безъ отмѣтинъ-съ.

Подхалимовъ *(осматриваетъ его).* Дѣйствительно! Но будемъ продолжать нашъ допросъ. Графъ! какъ вы думаете, обильно ли наше отечество?

Графъ *(на минуту задумывается, какъ бы соображая).* Что вамъ сказать на это? Есть данныя, которыя заставляютъ думать, что да; есть и другія данныя, которыя прямо говорятъ: нѣтъ.

Подхалимовъ. Однако же, графъ!

Графъ. Признаюсь вамъ, я никогда не придавалъ этому вопросу особенной важности. Мнѣ всегда казалось, что для нашего отечества нужно не столько изобиліе, сколько расторопные исправники.

Подхалимовъ. Такъ что, напримѣръ, ежели извѣстную мѣстность постигъ неурожай, то, по мнѣнію вашего сіятель-

ства, достаточно послать въ ту мѣстность двоихъ исправниковъ вмѣсто одного, и вредныя послѣдствія неурожая устранятся сами собой?

Графъ. Не вполнѣ такъ, но въ значительной мѣрѣ—да. Бываютъ, конечно, примѣры, когда даже экзекуція оказывается недостаточною; но въ большинствѣ случаевъ — я твердо въ этомъ убѣжденъ—довольно одного хорошо выполненнаго окрика, и дѣло въ шляпѣ. Вотъ почему, когда я былъ при дѣлахъ, то всегда повторялъ господамъ исправникамъ: отъ васъ зависитъ—*все*, вамъ дано *все*, и потому вы должны будете отвѣтить—*за все!*

Подхалимовъ *(умиленный).* Ахъ, ваше сіятельство!

Графъ *(одушевляясь).* Скажу вамъ откровенно: вся наша бѣда въ томъ именно и заключается, что мы слишкомъ охотно возбуждаемъ вопросы о *не*изобиліи. Напоминая голодному объ ѣдѣ, мы тѣмъ самымъ, такъ сказать, искусственно вызываемъ въ немъ мысль о необходимости таковой. И притомъ непремѣнно въ изобиліи. Тогда какъ если-бъ мы этого не дѣлали, то навѣрное изъ десяти случаевъ въ девяти самые неизобильные люди сочли бы себя достаточно изобильными, чтобъ, въ виду соотвѣтствующихъ напоминаній, своевременно выполнить лежащія на нихъ повинности.

Подхалимовъ *(удивляясь премудрости).* Это, ваше сіятельство, въ своемъ родѣ... идея!!

Графъ *(хвастаясь).* Въ моей служебной практикѣ былъ замѣчательный въ этомъ родѣ случай. Когда повсюду заговорили о неизобиліи и о необходимости замѣнить оное изобиліемъ,—грѣшный человѣкъ, соблазнился и я! Думаю: надобно что-нибудь сдѣлать и мнѣ. Сажусь, пишу, предписываю: чтобъ вездѣ было изобиліе! И что-жъ! отъ одного этого неосторожнаго слова неизобиліе, до тѣхъ поръ тлѣвшее подъ пепломъ и даже казавшееся изобиліемъ,—вдругъ такъ и поползло изо всѣхъ щелей! И такой вдругъ сдѣлался голодъ, такой голодъ...

Подхалимовъ. Но, конечно, ваше сіятельство...

Графъ *(играя брелоками).* Черезъ мѣсяцъ спокойствіе было водворено.

Подхалимовъ. Ахъ!! *(Хочетъ бѣжать).*

Графъ. Успокойтесь, de Podkhalimoff, потому что теперь все это уже сдѣлалось достояніемъ исторіи. Но тогда я вынужденъ былъ такъ поступить. Почему вынужденъ?—а потому просто *(смѣшиваетъ настоящее съ прошедшимъ)*, что для меня главное—чтобы въ предѣлахъ моего вѣдомства

царствовало спокойствіе. И чтобъ никто ничего не говорилъ. Когда всѣ спокойны — и я спокоенъ; когда я спокренъ — и всѣ спокойны. А ежели при этомъ всѣ довольствуются тѣмъ «изобиліемъ», какое кому предназначено — я своимъ, вы своимъ — то лучше и не надо. Такова моя система. Не дальше, какъ сегодня, призвавъ моего секретаря *(вдругъ вспоминаетъ, что онъ не болѣе, какъ «достояніе исторіи»)*... Тьфу! Продолжайте, прошу васъ.

Подхалимовъ *(записываетъ: «Объ изобиліи Россіи думаетъ, что изобильна, но не весьма; недостатокъ сей полагаетъ устранить, удвоивъ комплектъ исправниковъ»)*. Графъ! какого вы мнѣнія о русскомъ народѣ?

Графъ *(постепенно утрачиваетъ стыдъ)*. Различнаго. Русскій народъ добръ, гостепріименъ и... легковѣренъ. Таковъ его хорошія стороны, но и только. Подлинно добродѣтельнымъ онъ едва ли можетъ сдѣлаться, ибо черезчуръ пристрастенъ къ спиртнымъ напиткамъ.

Подхалимовъ. Но вы забываете, ваше сіятельство, что акцизъ съ спиртныхъ напитковъ представляетъ собой добрую часть нашего бюджета, и слѣдовательно...

Графъ. Не только не забываю, но всечасно о томъ помышляю. И даже однажды, бывъ спрошенъ по этому предмету, отвѣчалъ такъ: если-бъ русскій мужикъ и добровольно отказался отъ употребленія спиртныхъ напитковъ, то и тогда надлежало бы кроткими мѣрами вновь побудить его возвратиться къ онымъ.

Подхалимовъ. Но, въ такомъ случаѣ, какимъ образомъ согласовать ваше требованіе, чтобъ русскій мужикъ былъ добродѣтеленъ, съ такимъ, можно сказать, бюджетнымъ осужденіемъ его на обязательное пьянство?

Графъ *(разводитъ руками)*. Вотъ это именно и есть... наша ахиллесова пята!

Подхалимовъ. Но такъ какъ на этой пятѣ покоятся всѣ наши упованія, то выходитъ, что во всѣхъ исходящихъ отсюда распоряженіяхъ должна, главнымъ образомъ, господствовать ахиллесова пята? Или, говоря иными словами, русскій бюрократъ...

Графъ. Не доканчивайте. C'est terrible, mais... c'est vrai!

Подхалимовъ *(записываетъ: «О свойствахъ русскаго народа мнѣнія хорошаго, но не вполнѣ; полагаетъ, что навсегда осужденъ пить водку»)*.

Графъ *(вновь смѣшивая прошедшее съ настоящимъ)*. Много

у насъ этихъ ахиллесовыхъ пятъ, mon cher monsieur de Podkhalimoff! и ежели ближе всмотрѣться въ наше положеніе... ah, mais vraiment ce n'est pas du tout si frou-la-la qu'on se plaît à le dire! Сегодня, напримѣръ, призываю я своего дѣлопроизводителя *(вновь внезапно вспоминаетъ, что онъ уже не при дѣлахъ)*... Тьфу!

Подхалимовъ *(почтительно, но безъ наглости)*. Ваше сіятельство! простите меня, но мнѣ кажется, что вы огорчены?!

Графъ *(съ достоинствомъ осматриваетъ Подхалимова съ ногъ до головы)*. Чѣмъ... сударь?

Подхалимовъ *(заискивающе)*. А хоть бы тѣмъ, ваше сіятельство, что вы находитесь въ невозможности излить на Россію всю ту массу добра, которую вы предназначили для нея въ вашемъ добромъ русскомъ сердцѣ!?

Графъ *(восчувствовавъ)*. Вы правы... мой другъ! *(Подаетъ ему руку)*. Au fond, je suis bon. И я люблю Россію... La Russie! Swiataïa Rouss! parlez-moi de ça! *(Хлопаетъ себя по ляжкѣ)*. Сколько безпокойныхъ ночей я провелъ, думая, что бы такое придумать... И представьте себѣ— всегда и вездѣ одинъ отвѣтъ: ахиллесова пята! Не далѣе, какъ часъ тому назадъ, я говорилъ моему другу, графу Мамелфину: да сдѣлаемъ же хоть что-нибудь для Россіи!.. И хоть убей! Смотрите! вонъ онъ о сю пору ходитъ подъ орѣхами... Но врядъ ли что-нибудь выдумаетъ!

Подхалимовъ *(смотритъ въ окно)*. Ничего не выдумаетъ, ваше сіятельство. Но во всякомъ случаѣ уже и то пріятно, что ваши сіятельства изволите любить Россію и, стало-быть, находите ее заслуживающею снисхожденія... Не правда ли, графъ?

Графъ. Ежели вы хотите, чтобъ я откровенно выразилъ мое мнѣніе, то скажу вамъ: да, Россія виновата. Она во многихъ отношеніяхъ ведетъ себя неделикатно и въ особенности не цѣнитъ... заслуги! Но я не злопамятенъ, мой другъ! и разумѣется, если когда-нибудь потребуютъ, чтобъ я опредѣлилъ степень ея виновности, то я отвѣчу: да, виновна, но въ высшей степени заслуживаетъ снисхожденія. Подхалимовъ! вы, конечно, имѣете понятіе объ идеѣ, которою я руководился, когда былъ при дѣлахъ. Сознаюсь, это была идея нѣсколько суровая. Я хотѣлъ все видѣть, все слышать, все знать. Разумѣется, это было необходимо мнѣ для того, чтобъ имѣть возможность вырвать съ корнемъ плевела, а добрымъ колосьямъ предоставить дозрѣть, дабы употребить ихъ въ пищу впослѣдствіи. Повторяю: это была идея гран-

діозная, благодѣтельная, но... черезчуръ суровая. Въ настоящее время я понялъ это и значительно-таки смягчилъ свою систему. И знаете ли—почему?

Подхалимовъ. Почему, ваше сіятельство?

Графъ. А потому, мой другъ, что, думая вырвать плевела, я почти всегда вырывалъ добрые колосья... То-есть, разумѣется, не всегда... однако!

Подхалимовъ *(содрогаясь при мысли, что и онъ могъ быть вырваннымъ)*. Ахъ, ваше сіятельство!

Графъ *(восторженно)*. И въ довершеніе всего, представьте себѣ: желая все знать,—я ничего не зналъ; желая все видѣть и слышать,—я ничего не видалъ, не слыхалъ. Одно время я просто боялся, что сойду съ ума!

Подхалимовъ. Значитъ, только напрасно изволили безпокоиться... А впрочемъ, я полагаю, что и особенно тревожиться тѣмъ, что вырвано больше добрыхъ колосьевъ, чѣмъ плевелъ, нѣтъ причинъ. Вѣдь все равно, если-бъ добрые колосья и созрѣли—все-таки ваше сіятельство въ той или другой формѣ скушали бы ихъ!

Графъ. Непремѣнно! Только это соображеніе и утѣшаетъ меня. Потому что я порядочно-таки въ свое время напроказилъ.

Подхалимовъ. Но нынѣ... Какъ бы ваше сіятельство поступили, если-бъ отечество вновь обратилось къ вамъ и къ графу Мамелфину съ кличемъ: «шествуйте, сыны!»?

Графъ. Я думаю, что мы предпочли бы сидѣть смирно и получать присвоенное содержаніе. Ахъ, вѣрьте мнѣ, что въ наше время это самая плодотворная внутренняя политика!

Подхалимовъ. Но ахиллесовы пяты, ваше сіятельство! надо же какое-нибудь насчетъ ихъ распоряженіе сдѣлать?

Графъ. Я думаю, что онѣ заживутъ сами собой. Но, впрочемъ, разумѣется, ежели бы...

Подхалимовъ. То-то вотъ и есть, что «впрочемъ»... Трудно, ваше сіятельство! трудно, стоя на извѣстной высотѣ, воздержаться, чтобъ не сдѣлать хоть маленькаго распоряженьица! Положимъ, что ахиллесовы пяты и сами собой заживутъ, но вѣдь это когда-то будетъ! А между тѣмъ вашимъ сіятельствамъ хочется, чтобъ поскорѣе...

Графъ. А что вы думаете... вѣдь это очень-очень вѣрное замѣчаніе! Вы глубоко изучили человѣческую душу, Подхалимовъ! Но если-бъ даже было и такъ... что-жъ, я

готовъ! *(Неожиданно вынимаетъ изъ кармана трубу и трубитъ):*

Разсыпьтесь, молодцы!
За горы, за кусты!
По-ддва въ рррядъ!

Подхалимовъ *(наскоро записываетъ: «Отечество любитъ и даже находитъ заслуживающимъ снисхожденія; но, впрочемъ, готовъ поступить и по всей строгости законовъ»; естаетъ).* Ваше сіятельство! не смѣю больше утруждать васъ! Хотя вопросы такъ и тѣснятся въ головѣ, но вижу что ваше сіятельство уже изволите испытывать потребность въ иныхъ развлеченіяхъ... *(Становится въ позитуру).* Ваше сіятельство! Позвольте вамъ доложить! Никогда не проводилъ я времени такъ пріятно и не выносилъ такихъ для себя поученій, какъ въ теченіе сегодняшняго нашего собесѣдованія! И, мнѣ кажется, если-бъ я могъ слѣдовать только влеченію моего сердца... *(Хочетъ сдѣлать что-то нехорошее, но только въ безсиліи машетъ руками).* Ваше сіятельство! позвольте во всякомъ случаѣ надѣяться, что эта бесѣда не будетъ послѣднею?

Графъ *(пристально смотритъ на Подхалимова).* Подхалимовъ! говорите откровенно! вы хотите водки?

Подхалимовъ *(послѣ мгновеннаго колебанія).* Па-азвольте, ваше сіятельство!

Приносятъ графинъ водки и рюмку. Подхалимовъ наливаетъ. Занавѣсъ медленно опускается.

Слѣдя за современнымъ жизненнымъ процессомъ, я чаще всего поражаюсь постепеннымъ оскудѣніемъ нашего бюрократическаго творчества. И именно за послѣднее время какъ-то особенно обострилось это явленіе. Прежде, бывало, всѣ распоряженія съ «понеже» начинались. «Понеже», напримѣръ, «изъ практики другихъ странъ явствуетъ, что свобода книгопечатанія, въ разсужденіи смягченія нравовъ, а такожде пріумноженія полезныхъ промысловъ и художествъ, зѣло всякія пользы приноситъ, и хотя генералъ-маёръ Отчаянный таковой отрицаетъ, но безъ разсудка. Того ради признано за благо: цензурное вѣдомство упразднить на вѣчныя времена, на мѣсто же онаго учредить особливый благопопечительный о наукахъ и искусствахъ комитетъ, возложивъ на таковой наблюденіе, дабы въ Россійской имперіи быстрымъ разумомъ Невтонамъ безъ помѣхи процвѣтать было можно». Не длинно, но чрезвычайно

хорошо. Или, по протеченіи времени, наоборотъ: «Понеже изъ опыта, а такожде изъ полицейскихъ рапортовъ усматривается, что чрезмѣрное быстрыхъ разумомъ Невтоновъ размноженіе приводитъ не къ смягченію нравовъ, но токмо къ обремененію должностныхъ мѣстъ и лицъ излишнею перепискою, въ чемъ и наблюденія генералъ-маёра Отчаяннаго согласно утверждаютъ. И того ради *Приказали:* Попечительный о размноженіи Невтоновъ комитетъ упразднить, а на мѣсто онаго возстановить цензурное вѣдомство въ прежнихъ предѣлахъ, предписавъ таковому наблюсти, дабы впредь Невтонамъ проявлять себя неповадно было». Опять не длинно и хорошо. Видно, что выдумщикъ не только самъ сознаётъ мотивы своей выдумки, но желаетъ, чтобъ эти мотивы были сознаны и тѣми, до кого выдумка относится. Было ваше времечко, господа, пожуировали; теперь «времечко» прошло. Почему прошло? — потому что «изъ опыта и полицейскихъ рапортовъ усматривается...» Право, хорошо. Напротивъ того, нынѣ пишутъ не длинно, но нехорошо. Отъ того ли, что потухло у бюрократіи воображеніе, или отъ того, что развелось очень много кафе-шантановъ и нѣтъ времени думать о дѣлѣ: какъ бы то ни было, но въ бюрократическую практику мало-по-малу начинаютъ проникать прискорбныя фельдъегерскія преданія. Ни «понеже», ни «поелику» — ничего уже нѣтъ; осталось одно безнадежное слово: пошелъ!

Но что̀ всего замѣчательнѣе — это оскудѣніе творчества замѣчается именно только въ сферѣ бюрократіи — и нигдѣ больше.

Начать хоть съ законовъ. Во всей обширной сферѣ законодательства вы не только не встрѣтитесь съ оскудѣніемъ, но, напротивъ, скорѣе найдете излишество творчества. Прочтите наказы губернаторамъ, губернскимъ правленіямъ, палатамъ государственныхъ имуществъ, врачебнымъ управамъ — чего только тутъ ни предусмотрѣно? Затѣмъ проштудируйте осьмой, двѣнадцатый, тринадцатый и четырнадцатый томы — какое богатство прозорливости, попечительности и даже фантазіи! И вездѣ въ выноскѣ либо «понеже», либо «поелику». Человѣку предстоитъ только родиться, а тамъ ужъ и пошла писать. Такъ было по крайней мѣрѣ лѣтъ пятнадцать, двадцать тому назадъ, а теперь... я не знаю даже, не упразднены ли всѣ эти законы совсѣмъ? Знаю, напримѣръ, что палаты государственныхъ имуществъ, врачебныя управы, строительныя комис-

сіи и проч. упразднены, но между кѣмъ распредѣлены всѣ «поелику» и «понеже», которыя были на нихъ возложены,— не знаю. Вѣроятно, если внимательнѣе поискать, то въ какой-нибудь щелкѣ они и найдутся; но, съ другой стороны, сколько есть людей, которые, за упраздненіемъ, мечутся въ тоскѣ, не зная, въ какую щель обратиться съ своей докукой?

Или возьмите сферу русскаго адвокатства. Тутъ что ни шагъ, то богатство фантазіи, что ни слово, то вымыселъ. И, къ чести сословія нужно сказать, вымыселъ — всегда мотивированный. Ни одинъ самый плохонькій адвокатъ не начнетъ защитительную рѣчь ни съ «тѣмъ не менѣе», ни «а дабы» (а графъ Твэрдоонтò такъ именно и начнетъ), но непремѣнно какой-нибудь фортель да выкинетъ. Особенно ежели по соглашенію. Соглашеніе—святое дѣло; оно подстрекаетъ адвоката, поддерживаетъ въ немъ бодрость, обязываетъ быть изобрѣтательнымъ. Ежели сумѣешь убѣдить судей — вотъ деньги; ѣшь, пей и веселись! ежели не сумѣешь — вотъ щишъ. Въ сей крайности поневолѣ будешь выдумывать. А затѣмъ, выдумывая да выдумывая, получишь привычку быть изобрѣтательнымъ и въ дѣлахъ по назначенію поручаемыхъ. Тогда какъ чиновнику — какая корысть? Будетъ ли онъ мозгами шевелить или не будетъ — все одно двадцатаго числа наравнѣ съ другими жалованье получитъ. А иногда даже и зазорно мозгами шевелить: пусть лучше не я, а какая-нибудь бестія шевелитъ! Конечно, можно за эти провинности мѣста лишиться или награды къ празднику не получить, но и тутъ лазеечка есть: тетенька попроситъ. А въ адвокатскомъ сословіи даже самыя лучшія тетеньки — и тѣ не помогутъ. Отдувайся, какъ знаешь, самъ...

Объ литературѣ и говорить нечего: извѣстно, что голь на выдумки хитра. Литература живетъ выдумкой, и чѣмъ больше въ ней встрѣчается «понеже» и «поелику», тѣмъ осязательнѣе ея вліяніе на міръ. Говорятъ, будто современная русская литература тоже, подобно бюрократіи, предпочитаетъ краткословность винословности, но это едва ли такъ. Дѣйствительно, литература наша находится какъ бы въ переходномъ положеніи, именно по случаю постепеннаго упраздненія того округленнаго пустословія, которое многими принималось за винословность, но, въ сущности, эта послѣдняя совсѣмъ не изгибла, а только преподносится не въ формѣ эмульсіи, а въ видѣ пилюли — глотай! Но если бы даже литература и впрямь захудала, то это явле-

ніе случайное и временное. Для литературы нѣтъ разсчета «худать», потому что и въ ней принципъ соглашенія съ читателями играетъ главную роль. Хочешь-не-хочешь а шевели мозгами, уловляй сердца, убѣждай!

Однимъ словомъ, вездѣ, куда ни обратитесь, вездѣ вы увидите прикосновеніе возбуждающаго начала, которое устраняетъ преждевременное одряхлѣніе. Въ одной только бюрократической профессіи это начало отсутствуетъ. Правда, всѣ эти «понеже» и «поелику», которыми такъ богаты наши бюрократическія преданія, такими же чиновниками изобрѣтены и прописаны, какъ и тѣ, которые нынѣ ограничиваются фельдъегерскимъ окрикомъ: «пошелъ!»—но не нужно забывать, что первые изобрѣтатели «понеже» были люди свѣжіе, не замученные, которымъ въ охотку было изобрѣтать. То было время насажденія наукъ и художествъ, фабрикъ и заводовъ, армій и флотовъ. И дѣло было новое, и люди новые—отъ этого и «понеже» выходило само собой, независимо отъ надежды на увеличеніе окладовъ. А нынче все это примелькалось, прислушалось, пріѣлось. Иной и радъ бы «понеже» ввернуть—анъ у него съ души прётъ. Вотъ онъ и тянетъ канитель, дѣла не дѣлаетъ, отъ дѣла не бѣгаетъ. А прикрикнутъ на него, заставятъ какую-нина-есть выдумку по начальству представить — онъ присядетъ на минуту, начертитъ: «пошелъ!» и готовъ.

Вѣроятно, въ этихъ видахъ начали нынѣ прибѣгать къ комиссіямъ. Все, дескать, на народѣ постыднѣе будетъ. Но тутъ опять другая бѣда: съ представленіемъ о комиссіи неизбѣжно сопрягается представленіе о пререканіяхъ. Одному нравится арбузъ, другому — свиной хрящикъ. А такъ какъ въ чиновничьемъ мірѣ разногласій не полагается, то, дабы дать время арбузу войти въ соглашеніе съ свинымъ хрящикомъ, начинаютъ отлынивать и предаваться боковымъ движеніямъ. Собираютъ справки, раздаютъ командировки, дѣлаются извлеченія изъ архивныхъ дѣлъ, а «понеже» тѣмъ временемъ спитъ да спитъ непробуднымъ сномъ. Да врядъ ли когда-нибудь и проснется, потому что для того, чтобъ осуществилось это пробужденіе, необходимо, чтобъ оно кого-нибудь интересовало. А кого же оно можетъ интересовать? Тѣ два члена, которые на первыхъ порахъ погорячились и упорно остались одинъ при арбузѣ, другой—при свиномъ хрящикѣ, давно ужъ махнули на все рукой. «Нечего сказать, находка!—разсудили они:—собрали какую-то комиссію, нагнали со всѣхъ сторонъ народу, за-

ставили о свѣтопреставленіи толковать, да еще и мнѣній не выражай: предосудительно, вишь!» И кончается обыкновенно затѣя тѣмъ, что «комиссія» глохнетъ да глохнетъ, пока не сыищется дѣлопроизводитель попредпріимчивѣе, который на всѣ «труды» и «мнѣнія» наложитъ крестъ, а внизу напишетъ: «пошелъ!» И готово.

Сознаюсь откровенно: я никакъ не могу понять, почему пререканія считаются въ настоящее время предосудительными. Пререканія въ качествѣ элемента, содѣйствующаго правильному ходу административной машины, издавна были у насъ въ употребленіи, и я даже теперь знаю старыхъ служакъ, которые не могутъ вспоминать объ нихъ иначе, какъ съ умиленіемъ. Еще недавно Удавъ объяснялъ мнѣ:

— Въ пререканіяхъ власть почерпала не слабость, а силу-съ; обыватели же надежды мерцаніе въ нихъ видѣли. Графъ Михаилъ Николаевичъ—ужъ на что суровъ былъ!—но и тотъ, будучи на одрѣ смерти и собравъ сподвижниковъ, говорилъ: «отстаивайте пререканія, друзья! ибо въ нихъ—нашъ пантеонъ!»

А Дыба съ своей стороны удостовѣрялъ:

— Что положеніе пререкателей было небезопасно — это такъ; что большинство ихъ кончало служебную карьеру, разсѣянное по лицу земли,—и это вѣрно. Но бывали однако-жъ случаи, когда и скромный голосъ совѣтника губернскаго правленія достигалъ до ступенѣй-съ...

И затѣмъ, застыдившись и крякнувъ (дѣло, очевидно, касалось его личности), присовокуплялъ:

— Я самъ одинъ примѣръ такой знаю. Простой совѣтникъ, а на цѣлую губернію сенаторскій гнѣвъ навлекъ-съ. Позвольте васъ спросить: если бы этого не было, могла ли бы истина возсіять-съ?

Какъ хотите, а я положительно стою на сторонѣ Удава и Дыбы. Конечно, я понимаю, что собственно «пантеона» тутъ нѣтъ, но ежели ужъ ничего другого не выработалось, то пусть остаются хоть пререканія. Если нѣтъ подлинной надежды, то пусть будетъ хоть мерцаніе надежды. Если нѣтъ подлинныхъ перспективъ, то пусть остается въ перспективѣ «сенаторскій гнѣвъ». Не приходится намъ быть прихотливыми, и до тѣхъ поръ, покуда въ основаніи нашей жизни лежитъ пословица: выше лба уши не растутъ, то ладно будетъ, если хоть кой-какіе обрывочки «перспективъ» на нашу долю выпадутъ. Если что выпадетъ—лови!

а не выпадетъ—жди и воспитывай въ себѣ «надежды мерцаніе». Все-таки хоть что-нибудь, а не голое «ничего». Что же касается до власти, то и въ этомъ отношеніи я согласенъ съ Удавомъ: не слабость она почерпала въ пререканіяхъ, а силу. Прежде всего общее правило: ежели надоѣлъ пререкатель, то ничего не стоитъ его расточить—развѣ это не сила? А затѣмъ и другая сила: обыватель, зная, что у него есть за спиной пререкатель, смотритъ веселѣе, думаетъ: «пока у насъ Иванъ Иванычъ въ совѣтникахъ сидитъ, опасаться мнѣ нечего». Такъ что ежели Иванъ Иванычъ сидитъ долго (бывали встарину, по упущенію, и такіе случаи), то обыватель начинаетъ даже гордиться и впадаетъ въ самонадѣянный тонъ. «Совсѣмъ ужъ у насъ не такая форма правленія, какъ внутренніе враги пишутъ! нѣтъ! у насъ чуть немного—Иванъ Иванычъ какъ разъ сократитъ!»

Право, это было очень удобно. И прежде всего удобно для самой бюрократіи, потому что смягчало ея отвѣтственность и ограждало ея репутацію отъ нареканій. А главное—заставляло ее мотивировать свои дѣйствія и въ «понеже» и «поелику» искать прибѣжища отъ внезапностей. Мысль остепенялась, да и самъ бюрократъ смотрѣлъ осанистѣе, умнѣе. А обыватель утѣшался тѣмъ, что онъ хоть что-нибудь да понимаетъ...

Но опытные служаки идутъ еще дальше. Удавъ, напримѣръ, охотно бралъ на себя даже защиту ябедниковъ и ябедничества, и опять-таки ссылался на авторитетъ графа Михаила Николаевича.

— Вы, сударь, не шутите съ ябедниками, — говорилъ онъ мнѣ: — въ древнія времена ябедникъ представлялъ собою сосудъ, въ которомъ общественная скорбь находила единственное и всегда готовое убѣжище! И безъ торгу, сударь; бери двугривенный и пиши! За двугривенный человѣкъ рисковалъ, что его и въ бараній рогъ согнутъ, и въ табакъ сотрутъ, и туда запхнутъ, куда воронъ костей не заносилъ! Гдѣ нынче такихъ героевъ сыщешь? И сколько, спрошу я васъ, было нужно скорбей, сколько презрѣнія къ жизненнымъ благамъ въ сердцѣ накопить, чтобы, несмотря ни на какія перспективы, въ столь опасномъ ремеслѣ упражненіе имѣть? Всю жизнь видѣть передъ собой «раба лукаваго», всѣ интересы сосредоточить на немъ одномъ и объ немъ одномъ не уставаючи вопіять и къ царю земному и къ Царю Небесному—сколь крѣпка должна быть

въ человѣкѣ вѣра, чтобъ эту пытку вынести! А сколько ихъ погибло... всячески погибло-съ! и подъ бременемъ презрѣнія отъ своихъ, и подъ начальственнымъ давленіемъ! Полки можно было бы изъ этихъ ревнителей поруганной общественной совѣсти сформировать!

— Но какую же пользу они могли приносить, коль скоро съ ними такъ легко можно было по всей строгости поступить?—возражалъ я.

— А ту пользу, что сегодня, напримѣръ, десять «ябедниковъ» загублено, а завтра на ихъ мѣстѣ новыхъ двадцать явилось! А кромѣ того, смотришь, одного какого-нибудь и проглядѣли. Сидѣлъ онъ гдѣ-нибудь тихимъ манеромъ въ кабачкѣ, пописывалъ да пописывалъ—глядь, анъ въ губернію сенаторскій гнѣвъ ѣдетъ! Откуда? какъ? кто навлекъ?.. Ябедникъ-съ!

Какъ это ни странно съ перваго взгляда, но приходится согласиться, что устами Удава говоритъ сама истина. Да, хорошо въ тѣ времена жилось. Ежели тебѣ тошно или Сквозникъ-Дмухановскій одолѣлъ, — бѣги къ Ивану Иванычу. Иванъ Иванычъ не помогъ (не сумѣлъ «застоять»)—недалеко и въ кабакъ сходить. Тамъ ужъ съ утра ябедникъ Ризположенскій съ перомъ за ухомъ ждетъ. Настрочилъ, запечаталъ, послалъ... Не успѣлъ оглянуться—вдругъ, динь-динь, колокольчикъ звенитъ... Кто пріѣхалъ? Иванъ Александровъ Хлестаковъ пріѣхалъ! Ну, слава Богу!

Я не утверждаю, конечно, чтобъ все это вмѣстѣ взятое представляло настоящія гарантіи; я говорю только, что было мерцаніе надеждъ. Были прекеканія (даже два чиновника спеціально для прекеканій: прокуроръ и жандармскій штабъ-офицеръ, имъ же предоставлялось отирать слезы), были ябедники. Теперь прекеканія признаны предосудительными, а ябедники, съ распространеніемъ хорошихъ манеръ, извелись сами собой. Вмѣстѣ съ ними извелось и исчезло достопочтенное «понеже», которое такъ или иначе, но все-таки остепеняло разнузданную бюрократическую мысль и налагало на нее извѣстныя обязанности. Все прочее осталось. То-есть остался графъ Твэрдоонтъ съ теоріей повсемѣстнаго смерча и съ ея краткословной формулой: пошелъ!

Мнѣ скажутъ, быть-можетъ, что теорія смерча оказалась однако-жъ несостоятельною, и вслѣдствіе этого графъ Твэрдоонтъ нынѣ уже находится не у дѣлъ. Стало-быть, правда возсіяла-таки...

А сколько онъ народу погубилъ, покуда его теорія оказалась несостоятельною? И кто же поручится, что онъ не воспрянетъ и опять? что у него ужъ не созрѣла въ головѣ теорія кукиша съ масломъ, и что онъ, съ свойственною ему ретивостью, не поспѣшитъ положить и эту новинку на алтарь отечества, при первомъ кличѣ: «шествуйте, сыны!»

По-настоящему мнѣ слѣдовало бы, сейчасъ же послѣ свиданія съ графомъ Твэрдоонтò, уѣхать изъ Интерлакена; но меня словно колдовство пришпилило къ этому мѣсту. Въ красотѣ природы есть нѣчто волшебно-дѣйствующее, проливающее успокоеніе даже на самыя застарѣлыя увѣчья. Есть очертанія, звуки, запахи, до того ласкающіе, что человѣкъ покоряется имъ совсѣмъ машинально, независимо отъ сознанія. Онъ не анализируетъ ни ощущеній своихъ, ни явленій, породившихъ эти ощущенія, а просто живетъ какъ очарованный, чувствуя, какъ въ его организмъ льется отрада.

Нѣчто подобное испыталъ и я. Всякая дребедень лѣзла мнѣ въ голову: и теорія смерча, и теорія кукиша съ масломъ, и еще какая-то совсѣмъ новая теорія умиротворенія, но не безъ участія строгости и скорости. Но и за всѣмъ тѣмъ чувствовалось хорошо. Эти тающія при лунномъ свѣтѣ очертанія горныхъ вершинъ, съ бѣгущими мимо нихъ облаками, этотъ опьяняющій запахъ скошенной травы, несущійся съ громаднаго луга передъ Höheweg, эти звуки іодля, разносимые странствующими музыкантами по отелямъ,—все это нѣжило, сладко волновало и покоряло. И я, какъ въ полуснѣ, бродилъ подъ орѣшниками, предаваясь пестрымъ мечтамъ и не думая объ отъѣздѣ.

Само собой разумѣется, что въ этихъ мечтаніяхъ немалое мѣсто занимала и литература. Русскія газеты получаются и въ Интерлакенѣ, а тутъ какъ разъ кстати и въ иностранныхъ и въ русскихъ журналахъ появились слухи о предстоящихъ для нашей печати льготахъ. Натурально, я взволновался; но что всего страннѣе—мнѣ показалось, что вмѣстѣ со мною взволновался и весь Интерлакенъ. Думалось, что на меня всѣ смотрятъ съ какимъ-то напряженнымъ любопытствомъ, словно у всѣхъ—даже у кельнеровъ—одна мысль въ головѣ: освободятъ его или окончательно упекутъ?

Что касается до меня лично, то я не только не ставилъ себѣ никакихъ вопросовъ, но просто-на-просто заранѣе

предвкушалъ. Мнѣ нравился молодой задоръ русскихъ газетъ, которыя въ одинъ голосъ предвѣщали конецъ административному произволу, и громко призывали на печать кары суда. Всѣ глаза какъ-то разомъ раскрылись, и жизнь безъ суда вдругъ оказалась нестерпимѣйшею изъ обидъ, когда-либо ниспосланныхъ разгнѣваннымъ небомъ для усмиренія бунтующей человѣческой плоти. Одно только смущало: ни въ одной газетѣ не упоминалось ни о томъ, какого рода процедура будетъ сопровождать преданіе суду, ни о томъ, будетъ ли это судъ, свойственный всѣмъ русскимъ гражданамъ, или какой-нибудь экстраординарный, свойственный одной литературѣ, ни о томъ, наконецъ, какого рода скорпіонами будетъ этотъ судъ вооруженъ. Я зналъ, что русская печать вообще скромна и потому о многомъ умалчиваетъ; но тутъ мнѣ показалось, что скромность какъ будто и не совсѣмъ умѣстна. Разумѣется, намъ, какъ литераторамъ, оно понятно, что по суду и скорпіона пріятно проглотить,—особливо ежели онъ запущенъ на точномъ основаніи,—но вѣдь надо же, чтобъ и публика поняла, почему судебный скорпіонъ считается болѣе подходящимъ, нежели скорпіонъ административный. Поэтому восторгъ восторгомъ, а все-таки не худо было хоть сторонкой заявить: отъ суда, молъ, мы не прочь, но только нельзя ли постараться, чтобъ оный вмѣстить было можно.

Виноватъ: было и еще одно смущающее обстоятельство. Радуясь предстоящему пришествію судебныхъ скорпіоновъ, газеты, къ сожалѣнію, не воздержались отъ издѣвокъ надъ скорпіонами административными. Вотъ, молъ, сколько вы ни старались, а въ результатѣ все-таки получили шишъ! Если вы изыскивали средства, то и литература изыскивала средства. Выдумаете вы, бывало, какую-нибудь выдумку и воображаете себѣ: ну, теперь будетъ крѣпко! а литература возьметъ да другую выдумку выдумаетъ, и окажется, что вы палите изъ пушекъ по воробьямъ. А потому уходите-ка лучше вы съ глазъ долой, безсильные, постылые, неумѣлые, и очистите мѣсто другимъ, кои это дѣло въ аккуратѣ поведутъ!

Признаюсь откровенно: это даже и я, литераторъ, не понялъ. Положимъ, что административные скорпіоны были безсильны, и что литература находила возможность ускользать отъ нихъ... Но въ чемъ же тутъ неудобство? и для чего, вмѣсто мнимыхъ скорпіоновъ, понадобились скорпіоны подлинные?..

Я почти тридцать пять лѣтъ литераторствую, не пользуясь покровительствомъ законовъ, но и за всѣмъ тѣмъ не ропщу. Бывали, правда, огорченія и даже довольно сильныя—иногда казалось, что кожу съ живого сдираютъ,—но когда приходила бѣда, то я припоминалъ соотвѣтствующія случаю пословицы и... утѣшался ими. Бывало, призовутъ, побранятъ—я скажу себѣ: брань на вороту не виснетъ. Или, бывало, мѣстами ощиплютъ, а временемъ и совсѣмъ изувѣчатъ—я скажу себѣ: до свадьбы заживетъ. Въ моихъ глазахъ произволъ имѣетъ ту выгодную сторону, что онъ для всѣхъ явно несомнителенъ. Онъ не можетъ ни оскорбить, ни подлинно огорчить, а можетъ только физически измучить. Никому не придетъ въ голову справляться, правильно или неправильно поступилъ произволъ, потому что всякому ясно, что на то онъ и произволъ, чтобъ поступать безъ правилъ, какъ ему въ данную минуту заблагоразсудится. Такъ что ежели у произвола и была жестокая сторона, къ которой очень трудно было привыкнуть, то она заключалась единственно въ томъ, что ни одинъ литераторъ не могъ сказать утвердительно, что̀ онъ такое: подлинно ли литераторъ, или только сонное мечтаніе. Дунулъ—и нѣтъ его.

Тѣмъ не менѣе, для меня не лишено важности то обстоятельство, что въ теченіе почти тридцатипятилѣтней литературной дѣятельности я ни разу не сидѣлъ въ кутузкѣ. Говорятъ, будто въ древности такіе случаи бывали, но въ позднѣйшія времена было многое, даже, можно сказать, все было, а кутузки не было. Какъ хотите, а нельзя не быть за это признательнымъ. Но не придется ли познакомиться съ кутузкой теперь, когда литературу ожидаетъ покровительство судовъ?—вотъ въ чемъ вопросъ.

Я боюсь кутузки по двумъ причинамъ. Во-первыхъ, тамъ должно быть сыро, непріятно, темно и тѣсно; во-вторыхъ—кутузка, несомнѣнно, должна воспитывать цѣлую тучу клоповъ. Право, я положительно не знаю такого тяжкаго литературнаго преступленія, за которое совершившій его могъ бы быть отданнымъ въ жертву сырости и клопамъ. Представьте себѣ: дряхлаго и больного литератора ведутъ въ кутузку... ужели найдется каменное сердце, которое не обольется кровью при этомъ зрѣлищѣ?!

Тѣмъ не менѣе покуда я жилъ въ Интерлакенѣ и находился подъ живымъ впечатлѣніемъ газетныхъ восторговъ, то я ничего другого не желалъ, кромѣ наслажденія быть отданнымъ подъ судъ. Но для того, чтобъ это было

дѣйствительное наслажденіе, а не перифраза исконнаго русскаго озорства, представлялось бы, по мнѣнію моему, небезполезнымъ обставить это дѣло нѣкоторыми иллюзіями, которыя прямо засвидѣтельствовали бы, что отнынѣ воистину никакихъ препонъ къ размноженію быстрыхъ разумомъ Невтоновъ полагаемо не будетъ. А именно:

1) Чтобъ процедура преданія суду сопровождалась не сверхъестественнымъ, а обыкновеннымъ порядкомъ.

2) Чтобы суды были тоже не сверхъестественные, а обыкновенные, такіе же, какъ для татей.

3) Чтобы кутузки ни подъ какимъ видомъ по дѣламъ книгопечатанія не полагалось. За что?

Ежели эти мечтанія осуществятся, да еще ежели денежными штрафами не слишкомъ донимать будутъ (подумайте! гдѣ же бѣдному литератору денегъ достать, да и на что?.. на штрафы!), то будетъ совсѣмъ хорошо.

Я помню, эта тріада такъ ясно сложилась въ моей головѣ, что, встрѣтивъ въ этотъ же вечеръ подъ орѣшниками графа Твэрдоонтѳ, я не выдержалъ и сообщилъ ему мой проектъ.

Съ перваго абцуга онъ даже одобрилъ.

— Вы логичны, Подхалимовъ!—сказалъ онъ мнѣ:—и въ сущности, быть-можетъ, даже правы. Я удивляюсь полету вашей фантазіи и нахожу вашъ вымыселъ въ высшей степени благороднымъ... но!..

Но потомъ вдругъ засверкалъ глазами и забормоталъ:

— Но пресса... вы понимаете?.. вы говорите, что это сила... прекрасно!.. но сила... и притомъ... Откуда, спрашиваю васъ, зло?.. Но положимъ однако-жъ... допустимъ, что это сила... пусть будетъ по-вашему... Но эта сила... О-го-го-го!

Онъ не выдержалъ и, вынувъ изъ кармана трубку, протрубилъ:

Трубятъ въ рога!
Разить врага!
Давно пора!

И зачѣмъ только я этотъ разговоръ завелъ?!

Но вопросъ объ оскудѣніи бюрократическаго творчества продолжалъ терзать меня. Я видѣлъ пагубныя послѣдствія этого повѣтрія на графѣ Твэрдоонтѳ и не могъ не трепетать за будущее Россіи. Этотъ человѣкъ дошелъ наконецъ

до такой прострацiи, что даже слово «пошелъ!» не могъ порядкомъ выговорить, а какъ-то съ присвистомъ и быстро выкрикивалъ: «п-шёлъ!» Именно такъ долженъ былъ выкрикивать, мчась на перекладной, фельдъегерь, когда встрѣчнымъ вихремъ парусило на немъ пóлы бараньяго полушубка и волны снѣжной пыли залѣпляли нетрезвыя уста. Но замѣчательно, что тотъ же самый Твэрдоонтò, какъ только рѣчь касалась предметовъ его компетентности, говорилъ не только складно, но и резонно. Такъ, напримѣръ, однажды при мнѣ зашелъ у него съ Мамелфинымъ разговоръ о томъ, чтò есть истинная кобыла и каковы должны быть у нея статьи,—и я рѣшительно залюбовался имъ. Совсѣмъ другой человѣкъ стоялъ передо мной. Уменъ, образованъ, начитанъ и... доброжелателенъ. И онъ зналъ кобылу, и кобыла знала его. Общiя положенiя, выводы, цитаты—такъ и сыпались...

Какъ бы то ни было, но я рѣшился отъ самого графа Твэрдоонтò добиться разъясненiя этой тайны.

— Графъ!—сказалъ я, встрѣтившись съ нимъ:—будьте такъ добры разрѣшить мое недоумѣнiе: отчего наше бюрократическое творчество до такой степени захудало?

— Я васъ не понимаю,—отвѣтилъ онъ холодно, оглядывая меня съ ногъ до головы.

— Позвольте пояснить примѣромъ. Отчего, напримѣръ, какъ только дѣло коснется вопросовъ внутренней политики или благоустройства, или, наконецъ, экономiи,—вы ничего не имѣете сказать, кромѣ: «п-шелъ!»?

Онъ вновь пытливо взглянулъ на меня, какъ бы подозрѣвая, не разставляю ли я ему ловушку. Но въ голосѣ моемъ не слышалось и тѣни озорства; одна душевная теплота—и ничего больше. Онъ понялъ это.

— Вы правы, мой другъ!—сказалъ онъ съ чувствомъ:—я дѣйствительно съ трудомъ могу найти для своей мысли приличное выраженiе; но вспомните, какое я получилъ воспитанiе! Вѣдь я... я даже латинской грамматики не знаю!

— Ахъ, ваше сiятельство, это ужасно!

— Вотъ Мамелфинъ—тотъ счастливѣе меня! Онъ Евтропiя въ своемъ «заведенiи» переводилъ!

— Но если васъ не учили латинской грамматикѣ, то въ чемъ же состояло ваше воспитанiе?

— Насъ заставляли танцовать, фехтовать, дѣлать гимнастику. Въ низшихъ классахъ учили повиноваться, въ

высшихъ—повелѣвать. Сверхъ того, немного исторіи, немного географіи, чуть-чуть ариѳметики и, наконецъ, краткія понятія о божествѣ. Вотъ и все. Виноватъ: заставляли еще вытверживать басни Лафонтена къ именинамъ родителей...

— Ваше сіятельство! не помните ли какой-нибудь басенки?—вдругъ разохотился я.

— Помню и даже съ удовольствіемъ прочитаю.

И онъ, не выжидая дальнѣйшихъ просьбъ, началъ:

Maître corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage...

Онъ декламировалъ такъ мило и такъ дѣтски-отчетливо, что даже посторонніе прохожіе останавливались и любовались.

— Прекрасно!—похвалилъ я:—но понимаете ли вы, графъ, смыслъ этой басни?

Онъ на минуту задумался.

— До сихъ поръ,—сказалъ онъ:—я не думалъ объ этомъ; но теперь... понимаю! Знаете ли вы, Подхалимовъ, что въ этой баснѣ разсказана вся моя жизнь?

— Это весьма возможно, графъ!

— Именно такъ. Было время, когда и я во рту... держалъ сыръ! Это было время, когда одни меня боялись, другіе—мнѣ льстили. Теперь... никто меня не боится... и никто не льститъ! Какъ хотите, а это грустно, Подхалимовъ!

— Богъ милостивъ, ваше сіятельство!

Онъ не отвѣчалъ и нѣкоторое время, понуривъ голову, шелъ рядомъ со мной по аллеѣ.

— Моя жизнь—трагедія!—началъ онъ опять:—никто не видѣлъ сколько лести, какъ я, но никто не испытывалъ и сколько вѣроломства! Ужасно! ужасно! ужасно!

— Ваше сіятельство! позвольте вамъ доложить! Это всегда такъ бываетъ. Коль скоро человѣкъ взбирается на высоту, не зная латинской грамматики, то естественно, что это наводитъ на всѣхъ страхъ. А гдѣ страхъ, тамъ, конечно, и лесть. Зато потомъ, когда обнаруживается, что безъ латинской грамматики никакъ невозможно, и когда, вслѣдствіе этого, человѣкъ оказывается несостоятельнымъ и падаетъ, тогда, само собой разумѣется, страхъ и лесть исчезаютъ, а вмѣсто нихъ появляется озорство и вѣроломство. По крайней мѣрѣ такъ идетъ эта процедура у насъ.

— Понимаю я это, мой другъ! Но вѣдь я человѣкъ, Подхалимовъ! Homo sомo, какъ говоритъ Мамелфинъ... то-бишь, какъ дальше?

— Homo sum et nihil humani a me alienum puto,— подсказалъ я:—то-есть человѣкъ есмь и ни одинъ человѣческій порокъ не чуждъ мнѣ...

— Вотъ видите ли! Развѣ легко мнѣ примириться съ моимъ настоящимъ положеніемъ?

— Знаю, что не легко, графъ, но, по моему мнѣнію, слишкомъ огорчаться все-таки не слѣдуетъ. Фортуна слѣпа, ваше сіятельство, а Богъ не безъ милости. Только ужъ тогда нужно покрѣпче сыръ-то во рту держать.

— Натурально!

— Но ежели, ваше сіятельство, это случится... Позвольте падѣяться, сіятельнѣйшій графъ!

— Натурально! И даже... непремѣнно! Вы будете, такъ сказать... Но только съ однимъ условіемъ... скажите, вы не будете льстить мнѣ, Подхалимовъ?

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше сіятельство!

— И вы будете всегда говорить мнѣ правду? одну только правду?

— Точно такъ, ваше сіятельство!

— Touchez-la!

Онъ протянулъ мнѣ руку и затѣмъ вдругъ дрогнулъ всѣмъ тѣломъ и... обнялъ меня! Это было до того несогласно съ обычаями Интерлакена, что Юнгфрау мгновенно закутала свою вершину въ облако, и сидѣвшая по близости англичанка вскрикнула: «schocking»—и убѣжала.

— Но довольно объ этомъ!—сказалъ графъ взволнованнымъ голосомъ: — возвратимся къ началу нашей бесѣды. Вы, кажется, удивлялись, что наше бюрократическое творчество оскудѣваетъ... то-есть, въ какомъ же это смыслѣ? въ смыслѣ распоряженій или въ другомъ какомъ?

— Нѣтъ, ваше сіятельство, не въ смыслѣ распоряженій. Распоряженій и нынче очень довольно, но мотивировки распоряженій нѣтъ. Трудно понять-съ.

— Гм!.. да; но какъ же, по вашему мнѣнію, помочь этому?

— Конѣчно, необходимо прежде всего обратить вниманіе на воспитаніе...

— Да, но вѣдь это длинная исторія! Покуда вы воспитаніемъ занимаетесь, а между тѣмъ время не терпитъ!

— Точно такъ, ваше сіятельство. И я, въ сущности,

только для очистки совѣсти о воспитаніи упомянулъ. Гдѣ ужъ намъ... и безъ воспитанія сойдетъ! Но есть, ваше сіятельство, другой фортель. Было время, когда всѣ распоряженія начинались словомъ: «понеже»...

— «Понеже»... это, кажется, «поелику»?

— Браво, графъ! Именно оно самое и есть. Такъ вотъ, изволите видѣть...

И я изложилъ ему въ краткихъ словахъ, но ясно, всю теорію «понеже». Показалъ, какъ иногда полезно бываетъ заставлять умъ обращаться къ началамъ вещей, не торопясь формулированіемъ изолированныхъ выводовъ; какъ это обращеніе, съ одной стороны, укрѣпляетъ мыслящую способность, а съ другой стороны возбуждаетъ въ обывателѣ довѣріе, давая ему возможность понять, въ силу какихъ соображеній и на какой приблизительно срокъ онъ обязывается быть твердымъ въ бѣдствіяхъ. И я долженъ отдать полную справедливость графу: онъ понялъ не только оболочку моей мысли, но и самую мысль.

— Какъ же, по-вашему, я поступать долженъ? — спросилъ онъ меня.

— Очень просто, графъ. Каждый разъ, какъ вы соберетесь какое-нибудь распоряженіе учинить, напомните себѣ, что надо начать съ «понеже»—и начните-съ!

— Поясните, прошу васъ, примѣромъ.

— Примѣромъ-съ? ну, что бы, напримѣръ? Ну, напримѣръ, въ настоящую минуту вы идете завтракать. Слѣдовательно вотъ такъ и извольте говорить: понеже наступило время, когда я имѣю обыкновеніе завтракать, завтракъ же можно получить только въ ресторанѣ,—того ради поѣду въ ресторанъ (или въ отель) и закажу, что мнѣ понравится.

— Но ежели я не голоденъ?

— Ахъ, ваше сіятельство! Тогда извольте говорить такъ: понеже я не голоденъ, то хотя и наступило время, когда я имѣю обыкновеніе завтракать, но понеже...

— Вотъ видите! два раза понеже!

— Это отъ поспѣшности, графъ. А результатъ все одинъ-съ: того ради въ отель не пойду, а останусь гулять въ аллеѣ...

— По-ни-ма-ю!

— И увидите, ваше сіятельство, какъ вдругъ все для васъ сдѣлается ясно. Гдѣ была тьма, тамъ свѣтъ будетъ; гдѣ была внезапность, тамъ сама собой виновность ска-

жется! А ужъ любить-то, любить-то какъ васъ всѣ за это будутъ!

— Вы говорите: будутъ любить?.. за что?

— Ахъ, ваше сіятельство! да вѣдь, благодаря вамъ, всѣ свѣтъ увидятъ! Вѣдь и въ кутузкѣ посидѣть ничего, если при этомъ сказано: понеже ты заслужилъ быть ввержен-нымъ въ кутузку, то и ступай въ оную!

— По-ни-ма-ю!.. Однако вы напомнили мнѣ, что и въ самомъ дѣлѣ наступило время, когда я обыкновенно завтракаю... Да! какъ-бишь это вы учили меня говорить? Попеже наступило время...

— Того ради... такъ точно-съ! Съ Богомъ, ваше сіятельство!

— Прощайте, Подхалимовъ... до свиданія!

Онъ сдѣлалъ мнѣ ручкой и, насвистывая: «по-не-е-же!», пошелъ перевалочкой по направленію къ курзалу. Я тоже хотѣлъ отправиться во-свояси, но вдругъ вспомнилъ нѣчто чрезвычайно нужное и поспѣшилъ догнать его.

— Ваше сіятельство!—спросилъ я: — знаете ли вы, что̀ такое рубль?

Онъ взглянулъ на меня съ недоумѣніемъ, какъ бы спрашивая: это еще что̀ за выдумка?

— Я знаю,—продолжалъ я: — вы думаете: рубль — это денежный знакъ...

— Но... sapristi! надѣюсь...

— Въ томъ-то и дѣло, что это не совсѣмъ такъ. Чтобъ сдѣлаться денежнымъ знакомъ, рубль долженъ еще заслужить. Если онъ заслужилъ, его называютъ монетною единицей; если же не заслужилъ—желтенькою бумажкой.

— Гм!.. но если-бъ это было даже и такъ, для чего мнѣ это нужно знать?

— Ахъ, ваше сіятельство! вамъ обо всемъ необходимо необременительныя свѣдѣнія имѣть! Богъ милостивъ! вдругъ, паче чаянія, неровенъ часъ...

— Да; но даже и въ такомъ случаѣ... рубль такъ рубль, бумажка такъ бумажка...

— А вы попробуйте-ка къ этому дѣлу «понеже» приспособить—анъ выйдетъ вотъ что̀: «Понеже за желтенькую бумажку, рублемъ именуемую, даютъ только полтинникъ,— того ради и дабы не вводить обывателей понапрасну въ заблужденіе, *Приказали:* низшимъ мѣстамъ и лицамъ предписать (и предписано), а къ равнымъ отнестись (и отнесено-съ), дабы впредь, до особаго распоряженія, оныя желтенькія

бумажки рублями не именовать, но почитать яко сущіе полтинники».

— **Ну-съ, дальше-съ!**

— А дальше опять: **«Понеже желтенькія бумажки** хотя и по сущей справедливости изъ рублей въ полтинники переименованы, но дабы предотвратить происходящій отъ сего для казны и частныхъ лицъ ущербъ,—того ради *Постановили:* употребить всяческое тщаніе, дабы оные полтинники вновь до стоимости рубля довести»... А потомъ и еще «понеже», и еще, и еще, до тѣхъ поръ, пока въ самомъ дѣлѣ что-нибудь путное выйдетъ.

— Позвольте! а ежели ничего не выйдетъ?

— Ну, тогда ужъ какъ Богу угодно...

— По-ни-ма-ю!

Однимъ утромъ, не успѣлъ я еще порядкомъ одѣться, какъ въ дверь ко мнѣ постучалась номерная прислужница («la fille», какъ ихъ здѣсь называютъ) и принесла карточку, на которой я прочиталъ: «Théodore de Twerdoonto». Онъ ожидалъ меня въ читальномъ салонѣ, куда, разумѣется, я сейчасъ же и поспѣшилъ.

— Подхалимовъ!—сказалъ онъ мнѣ:—вы литераторъ! вы это можете... Напишите изъ моей жизни трагедію!

— Съ удовольствіемъ, графъ,—отвѣтилъ я.

— Такую трагедію, чтобъ всѣ сердца... ну, буквально, чтобъ всѣ сердца истерзались отъ жалости и негодованія.... Подлецы, льстецы, предатели—чтобъ все тутъ было! Однимъ словомъ, чтобъ зритель сказалъ себѣ: понеже онъ былъ окруженъ льстецами, подлецами и предателями, того ради онъ ничего полезнаго и не могъ совершить!

— Понимаю, ваше сіятельство! Только все-таки позвольте подумать: надо эту мину умѣючи подвести.

— Я разсчитываю на васъ, Подхалимовъ! Надо же наконецъ! надо, чтобъ знали! Человѣкъ жилъ, наполнилъ вселенную громомъ — и вдругъ... нигдѣ его нѣтъ! Вы понимаете... нигдѣ! Утонулъ и даже круга на водѣ... пузырей по себѣ не оставилъ! Вотъ это-то именно я и желалъ бы, чтобъ вы изобразили! Пузырей не оставилъ... поймите это!

Онъ быстро повернулся и пошелъ къ выходу, очевидно, желая скрыть отъ меня охватившее его волненіе. Но я вспомнилъ, что для полнаго успѣха предстоящей работы мнѣ необходимо одно очень важное разъясненіе, и остановилъ его.

— Ваше сіятельство! позвольте одинъ нескромный вопросъ! — сказалъ я: — когда человѣкъ сознаётъ себя, такъ сказать, вмѣстилищемъ государственности... какого рода чувство испытываетъ онъ?

Онъ остановился противъ меня и глубоко взволнованнымъ голосомъ произнесъ:

— C'est un sentiment... ineffable!!

Первый актъ былъ черезъ часъ конченъ мною. Содержаніе его составляло воспитаніе графа Твэрдоонтò. Молодой графъ требуетъ, чтобъ его обучали латинской грамматикѣ, но родители его находятъ, что это не комильфò, и вмѣсто латинской грамматики заставляютъ его проходить науку о томъ, чтò есть истинная кобыла? Происходитъ борьба, въ которой юноша изнемогаетъ. Дѣйствіе оканчивается тѣмъ, что молодой графъ получилъ аттестатъ объ отличномъ окончаніи курса наукъ (по выбору родителей) и, держа оный въ рукахъ, восклицаетъ: «Вотъ и желанный аттестатъ полученъ! но спросите меня по совѣсти, чтò я знаю, и я долженъ буду отвѣтить: я знаю, что я ничего не знаю!»

Графъ прочиталъ мою работу и остался ею доволенъ, такъ что я сейчасъ же приступилъ къ сочиненію второго акта. Но тутъ случилось происшествіе, которое разомъ прекратило мои затѣи. На другой день утромъ я по обыкновенію прохаживался съ графомъ подъ орѣшниками, какъ вдругъ... смотрю и глазамъ не вѣрю! Прямо навстрѣчу мнѣ идетъ, и даже не идетъ, а летитъ обнять меня... дѣйствительный Подхалимовъ!!

Вся эта сцена продолжалась только одно мгновеніе. Въ это мгновеніе Подхалимовъ успѣлъ назвать меня по фамиліи, успѣлъ расцѣловать меня, обругать своего редактора, разсказать анекдотъ про Гамбетту, сообщить, что Викторъ Гюго—скупердяй, а Луи Бланъ — старая баба, что онъ у всѣхъ былъ, медъ-пиво пилъ...

Графъ смотрѣлъ на эту сцену и понималъ только одно: что я не Подхалимовъ. Казалось, онъ сбирался проглотить меня...

И онъ непремѣнно проглотилъ бы, если-бъ я не распорядился заблаговременно провалиться сквозь землю...

. . . . . .

Само собой разумѣется, что черезъ полчаса я уже оставилъ Интерлакенъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и Швейцарію.

Но для чего мнѣ понадобилось быть въ ономъ?

Глава IV.

Съ представленіемъ о Франціи и Парижѣ для меня неразрывно связывается воспоминаніе о моемъ юношествѣ, то-есть о сороковыхъ годахъ. Да и не только для меня лично, но и для всѣхъ насъ, сверстниковъ, въ этихъ двухъ словахъ заключалось нѣчто лучезарное, свѣтоносное, что согрѣвало нашу жизнь и въ извѣстномъ смыслѣ даже опредѣляло ея содержаніе.

Какъ извѣстно, въ сороковыхъ годахъ русская литература (а за нею, конечно, и молодая читающая публика) подѣлилась на два лагеря: западниковъ и славянофиловъ. Былъ еще третій лагерь, въ которомъ копошились Булгарины, Бранты, Кукольники и т. п., но этотъ лагерь уже не имѣлъ ни малѣйшаго вліянія на подрастающее поколѣніе, и мы знали его лишь настолько, насколько онъ являлъ себя прикосновеннымъ къ вѣдомству управы благочинія. Я въ то время только-что оставилъ школьную скамью и, воспитанный на статьяхъ Бѣлинскаго, естественно примкнулъ къ западникамъ. Но не къ большинству западниковъ (единственно авторитетному тогда въ литературѣ), которое занималось популяризированіемъ положеній нѣмецкой философіи, а къ тому безвѣстному кружку, который инстинктивно прилѣпился къ Франціи. Разумѣется, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и въ особенности Жоржъ-Занда. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что «золотой вѣкъ» находится не позади, а впереди насъ... Словомъ сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное—все шло оттуда.

Въ Россіи,—впрочемъ, не столько въ Россіи, сколько спеціально въ Петербургѣ,—мы существовали лишь фактически или, какъ въ то время говорилось, имѣли «образъ жизни». Ходили на службу въ соотвѣтствующія канцеляріи, писали письма къ родителямъ, питались въ ресторанахъ, а чаще всего въ кухмистерскихъ, собирались другъ у друга для собесѣдованій и т. д. Но духовно мы жили во Франціи. Россія представляла собой область, какъ бы застланную туманомъ, въ которой даже такое дѣло, какъ опубликованіе «Собранія русскихъ пословицъ», являлось прихотливымъ и предосудительнымъ; напротивъ того, во Франціи все было ясно какъ день, несмотря на то, что газеты доходили до насъ съ вырѣзками и помарками. Такъ что когда

министръ внутреннихъ дѣлъ Перовскій началъ издавать таксы на мясо и хлѣбъ, то и это заинтересовало насъ только въ качествѣ анекдота, о которомъ слѣдуетъ говорить съ осмотрительностью. Напротивъ, всякій эпизодъ изъ общественно-политической жизни Франціи затрогивалъ насъ за живое, заставлялъ и радоваться, и страдать. Въ Россіи все казалось покончеппымъ, запакованнымъ и за пятью печатями сданнымъ на почту для выдачи адресату, котораго зараньше предположено не разыскивать; во Франціи— все какъ будто только-что начиналось. И не только теперь, въ эту минуту, а больше полустолѣтія сряду все начиналось, и опять и опять начиналось, и не заявляло ни малѣйшаго желанія кончиться...

Навѣрное, девяносто девять сотыхъ изъ насъ никогда не бывали ни во Франціи, ни въ Парижѣ. Слѣдовательно насъ не могли восхищать ни бульвары, ни кокотки (въ то время ихъ называли еще лоретками), ни публичные балы, ни съѣстное раздолье. Все это пришло уже потомъ, когда Бонапартъ, съ шайкой бандитовъ, сначала растопталъ, а потомъ насквозь просмердилъ Францію; когда люди страннымъ образомъ обезличились, измельчали и потускнѣли, и когда всякій интересъ, кромѣ чревнаго, былъ объявленъ угрожающимъ. Но ежели наши сердца не изнывали тоской по шатобріанамъ или barbue sauce Mornay, зато мы не могли безъ сладкаго трепета помыслить о «великихъ принципахъ 1789 года» и обо всемъ, что̀ оттуда проистекло. А такъ какъ мѣстожительствомъ этихъ «принциповъ» предполагается городъ Парижъ, то естественно, что симпатіи, ощущаемыя къ принципамъ, переносились и на него.

Но въ особенности эти симпатіи обострились около 1848 года. Мы съ неподдѣльнымъ волненіемъ слѣдили за перипетіями драмы послѣднихъ лѣтъ царствованія Луи-Филиппа и съ упоеніемъ зачитывались «Исторіей десятилѣтія» Луи Блана. Теперь, когда уровень требованій значительно понизился, мы говоримъ: «Намъ хоть бы Гизо—и то слава Богу!»; но тогда и Луи-Филиппъ, и Гизо, и Дюшатель, и Тьеръ—все это были какъ бы личные враги (право, даже болѣе опасные, нежели Л. В. Дуббельтъ), успѣхъ которыхъ огорчалъ, неуспѣхъ—радовалъ. Процессъ министра Теста, агитація въ пользу избирательной реформы, высокомѣрныя рѣчи Гизо по этому поводу, палата, составленная изъ депутатовъ, нагло называвшихъ себя conservateurs

endurcis, наконецъ февральскіе банкеты,—все это и теперь такъ живо встаетъ въ моей памяти, какъ будто происходило вчера.

Я помню, это случилось на масляной 1848 года. Я былъ утромъ въ итальянской оперѣ, какъ вдругъ, словно электрическая искра, всю публику пронизала вѣсть: министерство Гизо пало. Какое-то неясное, но жуткое чувство внезапно овладѣло всѣми. Именно всѣми, потому что хотя тутъ было множество людей самыхъ противоположныхъ воззрѣній, но навѣрно не было такихъ, которые отнеслись бы къ событію съ тѣмъ жвачнымъ равнодушіемъ, которое впослѣдствіи (и даже, благодаря принятымъ мѣропріятіямъ, очень скоро) сдѣлалось какъ бы нормальною окраской русской интеллигенціи. Старики грозили очами, бряцали холоднымъ оружіемъ, цыркали и крутили усы; молодежь едва сдерживала безкорыстные восторги. Помнится, къ концу спектакля пало уже и министерство Тьера (тогда подобнаго рода извѣстія доходили до публики какъ-то неправильно и по секрету). Затѣмъ, въ теченіе какихъ-нибудь двухъ-трехъ дней, пало регентство, оказалось несостоятельнымъ эфемерное министерство Одилона Барро̀ (этому человѣку всю жизнь хотѣлось кому-нибудь послужить и наконецъ удалось-таки послужить Бонапарту), и, въ заключеніе, бѣжалъ самъ Луи-Филиппъ. Провозглашена была республика, съ временнымъ правительствомъ во главѣ; полились рѣчи, какъ изъ рога изобилія. Но даже Ламартиновское словесное распутство—и то не претило среди этой массы крушеній и нарожденій.. Громадность событія скрадывала фальшь отдѣльныхъ подробностей и на все набрасывала покровъ волшебства. Франція казалась страною чудесъ.

Можно ли было, имѣя въ груди молодое сердце, не плѣняться этою неистощимостью жизненнаго творчества, которое, вдобавокъ, отнюдь не соглашалось сосредоточиться въ опредѣленныхъ границахъ, а рвалось захватить все дальше и дальше? И точно, мы не только плѣнялись, но даже не особенно искусно скрывали свои восторги отъ глазъ бодрствующаго начальства. И вотъ, вслѣдъ за возникновеніемъ движенія во Франціи, произошло соотвѣтствующее движеніе и у насъ: учрежденъ былъ негласный комитетъ для разсмотрѣнія злокозненностей русской литературы. Затѣмъ, въ мартѣ, я написалъ повѣсть, а въ маѣ уже былъ зачисленъ въ штатъ вятскаго губернскаго правленія. Все это, конечно, сдѣлалось не такъ быстро, какъ во Франціи,

но зато основательно и прочно, потому что я вновь возвратился въ Петербургъ лишь черезъ семь съ половиной лѣтъ, когда не только французская республика сдѣлалась достояніемъ исторіи, но и у насъ мундирные фраки уже были замѣнены мундирными полукафтанами.

Словомъ сказать, мыслительный процессъ шелъ совсѣмъ обратнымъ путемъ, нежели теперь. Мысль искала пищи въ сферахъ отдаленныхъ, оставаясь совершенно равнодушною къ роднымъ сферамъ. Судьбы министра Бароша интересовали невпримѣръ больше, нежели судьбы министра Клейнмихеля; судьбы парижскаго префекта Мопà—больше, нежели судьбы московскаго оберъ-полицеймейстера Цынскаго, имя котораго намъ было извѣстно только изъ ходившаго по рукамъ куплета о брандтъ-майорѣ Тарновскомъ *). Человѣкъ того времени настолько прижился въ атмосферѣ, насыщенной девизомъ «не твое дѣло», что подлинно ему ни до чего *своего* не было дѣла. Такъ что избирательная борьба между Кавеньякомъ и Бонапартомъ, несомнѣнно, больше занимала русскіе мыслящіе умы, нежели, напримѣръ, замѣна дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Перовскаго генераломъ-отъ-инфантеріи Бибиковымъ 1-мъ.

Въ такомъ положеніи насъ застала севастопольская кампанія.

Это было время глубокой тревоги. Въ первый разъ изъ кромѣшной тьмы выдвинулось на свѣтъ Божій «свое» и вспугнуло не только инстинкты, но и умы. До тѣхъ поръ это «свое» пряталось за цѣлою сѣтью всевозможныхъ формальностей, которыя преднамѣренно были комбинированы съ такимъ разсчетомъ, чтобъ спрятать заправскую дѣйствительность. Теперь вся эта масса формальностей какъ-то разомъ оказалась прогнившею и истлѣла у всѣхъ на глазахъ. Изъ-за прорѣхъ и отребьевъ тлѣнія выступило на-

*) Вотъ этотъ куплетъ:

Брандтъ-майоръ Тарновскій
Тѣмъ себя прославилъ,
Что красы Санковской
Цынскому представилъ.

Этими немногими строками, повидимому, исчерпывались всѣ «отличныя заслуги» и Тарновскаго, и Цынскаго: одинъ представилъ (можетъ-быть, при рапортѣ), другой — получилъ. Весь же остальной «кондуитъ» представляетъ гарниръ изъ сквернословія, зуботычинъ и нагаекъ, настолько общеизвѣстный, что даже куплета не стоило сочинять.

ружу «свое», вопіющее, истекающее кровью. Вся Россія, изъ края въ край, полна была стонами. Стонали русскіе солдатики и подъ Севастополемъ, и подъ Инкерманомъ, и подъ Альмою; стонали елабужскіе и курмышскіе ополченцы, мѣся босыми ногами грязь столбовыхъ дорогъ; стонали русскія деревни, провожая сыновей, мужей и братьевъ на смерть за «ключи».

Оставаться равнодушнымъ къ этимъ стонамъ, не почувствовать, что стонетъ «свое», родное, кровное,—было немыслимо. Но лучезарный ликъ Франціи все-таки мало пострадалъ при этомъ. Казалось (да и въ дѣйствительности такъ было), что причина всѣхъ бѣдствій заключается единственно въ Бонапартѣ, этомъ постыднѣйшемъ изъ бандитовъ, когда-либо удручавшихъ міръ позоромъ своего тяготѣнія. Онъ одинъ былъ виноватъ; онъ, безчестный, ненавистный и втайнѣ презираемый, но упитанный и самодовольный; онъ и шайка бандитовъ, помогшая ему зарѣзать Францію. У ногъ его лежало пораженное испугомъ людское стадо, а массы «лучшихъ людей» изнывали въ ссылкахъ и въ изгнаніи. Но именно къ нимъ, къ этимъ лучшимъ людямъ, и стремились всѣ наши помыслы. И ежели мы не смѣшивали Францію съ Луи-Филиппомъ и его министрами, то тѣмъ меньше были склонны смѣшивать ее съ Бонапартомъ и его шайкой. Франція являлась передъ нами растоптанною, но незапятнанною, и продолжала свѣтить въ лицѣ ея изгнанниковъ.

Тѣмъ не менѣе, повторяю, сознаніе «своего» уже теплилось. И ежели бы обстоятельства сложились благопріятнѣе, то, несомнѣнно, оно прошло бы и черезъ дальнѣйшія стадіи развитія. Но тогдашнія времена были тѣ суровыя, жестокія времена, когда все, напоминающее о сознательности, представлялось не только нежелательнымъ, но даже болѣе опаснымъ, нежели бѣдственныя перипетіи войны. По крайней мѣрѣ такого мнѣнія держался тотъ безыменный сбродъ, который въ то время носилъ названіе русскаго «общества». Благодаря своекорыстному и пустомысленному настроенію этого сброда, незамѣтно потонули первые, робкіе проблески сознательнаго отношенія русской мысли къ русской дѣйствительности. Рядомъ съ величайшей драмой, все содержаніе которой исчерпывалось словомъ «смерть», шла позорнѣйшая комедія пустословія и пустохвальства, которая не только застилала событія, но положительно придавала имъ нестерпимый колоритъ. Люди, завѣдомо пре-

зрѣнные, лицемѣры, глупцы, воры, грабители-прощойцы, проявляли такую нахальную живучесть и такъ укрѣпились въ своихъ позиціяхъ, что, казалось, вокругъ происходитъ нѣчто сказочное. Не скорбь слышалась, а какое-то откровенно-подлое ликованіе, прикрываемое рубрикой патріотизма. Никогда пьяный угаръ не охватывалъ такъ всецѣло провинцію, никогда жажда расхищенія не встрѣчала такого явнаго и безнаказаннаго удовлетворенія. Кости стараго Политковскаго стучали въ гробѣ; младенецъ Юханцевъ задумывался надъ вопросомъ: «ужели я когда-нибудь превзойду?» Среди этой нравственной неурядицы, гдѣ позабыто было всякое чувство стыда и боязни, гдѣ грабитель во всеуслышаніе именовалъ себя патріотомъ, человѣку сколько-нибудь брезгливому ничего другого не оставалось, какъ жаться къ сторонѣ и направлять всѣ усилія къ тому, чтобъ заглушить въ себѣ даже робкіе порывы самосознательности. Лучше было совсѣмъ не знать «своего», нежели на каждомъ шагу встрѣчаться лицомъ къ лицу съ постыднѣйшими его проявленіями.

Съ окончаніемъ войны пьяный угаръ прошелъ, и наступило веселое похмелье конца пятидесятыхъ годовъ. Въ это время Парижъ уже пересталъ быть свѣточемъ міра и сдѣлался сокровищницей женскихъ обнаженностей и съѣстныхъ приманокъ. Нечего было ждать оттуда, кромѣ моднаго покроя штановъ, а слѣдовательно не о чемъ было и вопрошать. Приходилось искать пищи около себя... И вотъ тогда-то именно и было положено основаніе той «благородной тоскѣ», о которой я столько разъ упоминалъ въ предыдущихъ очеркахъ.

Въ 1870 году Франція опять напомнила о себѣ, но и тутъ между нею и людьми, симпатизирующими ей, стоялъ тотъ же позорный бандитъ. Дилемма была такова: если восторжествуетъ Франція, то вмѣстѣ съ нею восторжествуетъ и бандитъ; ежели восторжествуетъ Пруссія, то, Боже милостивый, какимъ истязаніямъ подвергнетъ она ненавистную «страну начинаній», которая въ теченіе полустолѣтія не уставаючи била тревогу! Наконецъ однако-жъ бандитъ палъ. Цѣлыхъ восемнадцать лѣтъ ругался онъ надъ трупомъ имъ же убитой Франціи и теперь предоставилъ Пруссіи довершить дѣло поруганія. Но этого мало: какъ бы мстя за свою восемнадцатилѣтнюю безнаказанность, бандитъ оставилъ по себѣ конкретный слѣдъ, въ видѣ организованной шайки, которая и теперь изъявляетъ готов-

ность во всякое время съ легкимъ сердцемъ рвать на куски свое отечество.

Лично я посѣтилъ въ первый разъ Парижъ осенью 1875 года. Престолъ былъ упраздненъ, но неподалеку отъ него сидѣлъ Макъ-Магонъ и все что-то собирался состряпать. Многіе въ то время не безъ основанія называли Францію Макмагоніей, то-есть страною капраловъ, стоящихъ на стражѣ престолъ-отечества въ ожиданіи Бурбона. Съ первыхъ же шаговъ, и именно въ Аврикурѣ (по страсбургской дорогѣ), я заслышалъ капральскіе окрики. Ни медленности, ни проволочекъ со стороны пассажировъ не допускалось; ни полъ, ни возрастъ, ни недуги—ничто не принималось въ оправданіе. Капралъ дѣйствовалъ съ полнымъ неразумѣніемъ и держалъ себя тупо-неумолимо. Это былъ капралъ наполеоновскаго пошиба (à poigne), немыслимый ни въ какой другой странѣ. Русскій капралъ непремѣнно началъ бы калякать, объяснять, что онъ тутъ ни при чемъ, а во всемъ виновато начальство. Нѣмецкій капралъ—принялъ бы талеръ и уронилъ бы благодарную слезу. Одинъ французскій капралъ-бонапартистъ въ состояніи таращить глаза, какъ идолъ, и ничего другого не выказывать, кромѣ наклонности къ жестокому обращенію.

На человѣка, которому съ пеленокъ твердили о пресловутой urbanité française, эти капральскіе окрики дѣйствуютъ ужасно непріятно. Съ досады приходитъ на мысль нѣчто не совсѣмъ великодушное. Вотъ, думается, если бы эти капралы съ такою же неуклонностью поступали въ 1870 году съ Пруссіей,—можетъ-быть... Но кто же можетъ сказать, что бы тогда вышло! Вѣроятнѣе всего, сидѣлъ бы Бонапартъ и увѣнчивалъ бы да увѣнчивалъ зданіе... А теперь въ это зданіе затесался Макъ-Магонъ и дѣлаетъ оттуда пруссаку книксенъ, а на безоружныхъ пассажировъ покрикиваетъ: «les voyageurs—dehors!»

Но Парижъ все-таки пришелся мнѣ по душѣ. Чистый городъ, свѣтлый, свободно двигающійся и, главное, врагъ той немотивированной, граничащей съ головною болью, мизантропіи, которая такъ упорно преслѣдуетъ заѣзжаго человѣка въ Берлинѣ. Самый угрюмый, самый больной человѣкъ—и тотъ непремѣнно отыщетъ доброе расположеніе духа и какое-то сердечное благоволеніе, какъ только очутится на улицахъ Парижа, а въ особенности на его истинно-сказочныхъ бульварахъ. Представьте себѣ иностранца, выброшеннаго сегодняшнимъ утреннимъ поѣздомъ въ Па-

рижъ, человѣка одинокаго, не имѣющаго здѣсь ни связей, ни знакомствъ—право, кажется, и онъ не найдетъ возможности соскучиться въ своемъ одиночествѣ. Солнце веселое; воздухъ веселый; магазины, рестораны, сады, даже улицы и площади—все веселое. Я никогда не могъ себѣ представить, чтобъ можно было ощущать веселое чувство при видѣ площади; но, очутившись на Place de la Concorde, поистинѣ убѣдился, что ничего невозможнаго нѣтъ на свѣтѣ. И тутъ же рядомъ, налѣво—веселый Тюльерійскій садъ, съ веселыми группами дѣтей; направо—веселая масса зелени, въ которой, какъ въ мягкомъ ложѣ изъ мха, нѣжится кварталъ Елисейскихъ Полей. Затѣмъ пройдите черезъ Тюльерійскій садъ, встаньте спиной къ развалинамъ дворца и глядите впередъ, по направленію къ Arc de l'Étoile. Клянусь, глазъ не оторвете отъ этого зрѣлища. Какая масса пространства, воздуха, свѣта! И какъ все въ этой массѣ гармонически комбинировано, чтобъ громадность не переходила въ пустыню, чтобъ она не подавляла человѣка, а только пробуждала и поддерживала въ немъ веселую бодрость духа!

Веселое солнце льетъ веселые лучи на макадамъ улицъ и еще веселѣе смотрится и играетъ въ витринахъ ресторановъ и магазиновъ. Въ Парижѣ, кромѣ Елисейскихъ Полей, а въ прочихъ кварталахъ—кромѣ немногихъ казенныхъ домовъ и отелей очень богатыхъ людей, почти нѣтъ дома, котораго нижній этажъ не былъ бы предназначенъ для ресторановъ и магазиновъ. Представьте себѣ, какую массу всякаго рода товара должны ежедневно выбрасывать изъ себя мастерскія, фабрики и заводы, чтобъ наполнить это безчисленное множество помѣщеній, изъ которыхъ многія по громадности не уступаютъ дворцамъ! И какую еще бо́льшую массу увѣренности нужно имѣть въ томъ, что этотъ товаръ не залежится, а дойдетъ до потребителя!

И онъ дойдетъ—въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Товаръ этотъ такъ весело расположенъ въ витринахъ и такъ весело освѣщенъ, что и купить его любо. Прогулка по улицамъ Парижа, въ смыслѣ разнообразія, не уступаетъ прогулкѣ по любой выставкѣ. Каждая магазинная витрина представляетъ изящное сочетаніе красокъ и линій, удовлетворяющее самымъ прихотливымъ требованіямъ вкуса. На каждомъ шагу встрѣчается масса вещей, потребности въ которыхъ вы до тѣхъ поръ не подозрѣвали, но которыя

вы непремѣнно купите, потому что эти вещи такъ весело смотрятъ, что даже впослѣдствіи, гдѣ-нибудь въ Крапивнѣ, будутъ пробуждать въ васъ веселость и помогутъ нести урядническое иго. Изъ мельхіоровыхъ ложекъ парижскій магазинщикъ ухитряется сдѣлать цѣлое серебряное солнце, которое чуть не за полверсты манитъ къ себѣ прохожаго. Изъ мужскихъ шляпъ-цилиндровъ устраиваетъ такой милый пейзажъ, что человѣку, даже имѣющему на головѣ совсѣмъ новый цилиндръ, непремѣнно придетъ на мысль, а не купить ли другой? Все кругомъ изящно, легко и, главное, весело. Прежде чѣмъ глазъ пресытится всѣми этими удачными изяществами, какая возможность скукѣ проникнуть въ сердце даже одинокаго человѣка? А въ запасѣ еще музеи, галлереи, сады, окрестности, которые тоже необходимо осмотрѣть, потому что кромѣ того, что все это въ высшей степени изящно, интересно и весело, но въ то же время и общедоступно, то-есть не обусловливается ни протекціей, ни изнурительнымъ доставаніемъ билетовъ черезъ знакомыхъ чиновниковъ, ихъ родственницъ, содержанокъ и проч.

А потомъ—звуки. Нигдѣ вы не услышите такихъ веселыхъ, такъ сказать, натуральныхъ звуковъ, какъ тѣ, которые съ утра до вечера раздаются по улицамъ Парижа. Les cris de Paris — это цѣлая поэма, слагающая хвалу неистощимой производительности этой благословенной страны,—поэма, на каждый предметъ, на каждую подробность этой производительности отвѣчающая особымъ характернымъ звукомъ. И все это звуки коренные, свѣжіе, родившіеся на мѣстѣ, гдѣ-нибудь въ глубинѣ Бретани или Оверни (быть-можетъ, поэтому-то они такъ и нравятся дѣтямъ), и оттуда перенесенные на улицы всемірной столицы. Такъ что, вмѣстѣ съ образчикомъ мѣстной производительности, вы видите и представителя ея, да сверхъ того слышите и образчикъ мѣстныхъ музыкальныхъ мелодій. Эти звуки перекрестной волной несутся со всѣхъ сторонъ, образуя, вмѣстѣ съ дразнящими криками «гаврошей» *), гармоническое цѣлое, до такой степени веселое, что оно несомнѣнно должно благотворнымъ образомъ дѣйствовать и на нравы обывателей. Даже полиціантъ, съ утра до вечера выслушивающій эти крики, нимало не волнуется или и не ви-

*) Gavroches—существа, которыя въ недавніе годы были извѣстны подъ именемъ gamins de Paris.

дить въ нихъ оскорбленія свойственнаго полицейскимъ чинамъ чувства изящнаго. По крайней мѣрѣ я не знаю ни одного случая, чтобы gardien de la paix, доведенный до неистовства назойливостью крикуновъ, далъ въ зубы какому-нибудь marchand de coco или назвалъ «курицыной дочерью» marchande de quatre saisons.

Но этого мало: вы видите людей, которые поютъ «Марсельезу»,—и имъ это сходитъ съ рукъ. На первыхъ порахъ это меня ужасно смутило. Думаю: самъ-то я, разумѣется, не пѣлъ,—но какъ бы не пострадать за присутствованіе! И что-жъ оказалось! — что тутъ дѣло идетъ совершенно наоборотъ русской пословицѣ, гласящей: «что русскому здорово, то нѣмцу — смерть». Французу пѣть «Марсельезу» здорово, а намъ — смерть. Все это очень обязательно объяснилъ мнѣ одинъ изъ gardiens de la paix, къ которому я обратился съ вопросомъ по этому предмету. «Поживите, говоритъ, у насъ, можетъ-быть, и вы привыкнете». И точно: пожилъ и сталъ пробовать; сначала першило въ горлѣ, а потомъ привыкъ. И даже многихъ тайныхъ совѣтниковъ видѣлъ, которые губами подражали трубнымъ звукамъ, напѣвая:

Contrrrrre nous de lla tyrrrrrrranie...

И—ничего; сошло съ рукъ и мнѣ, и имъ. Не дальше, какъ на-дняхъ, встрѣчаю уже здѣсь, на Невскомъ, одного изъ парижскихъ тайныхъ совѣтниковъ и, разумѣется, прежде всего интересуюсь:

— А что, ваше превосходительство, не призывали къ отвѣту... за «Марсельезу-то»... помните?

— Представьте себѣ... прошло!

— Представьте! и мнѣ—тоже!

Разумѣется, мы обнялись и затѣмъ—ни гу-гу!

А вечеромъ весь Парижъ горитъ огнями — и бульвары, и главныя улицы, которыя гудятъ, какъ пчелиный рой. Время отъ 8 до 12 часовъ — самое веселое. Это — время, когда отработавшійся людъ всей массой высыпаетъ на улицы, наполняетъ театры, рестораны, débits de vin и т. п. Происходитъ во всей формѣ уличный раутъ, веселый, красивый, живой. Разумѣется, тутъ скучать некогда. Театровъ масса, и во всякомъ нужно побывать. Французы сами жалуются на упадокъ драматической литературы, и эти жалобы, въ существѣ, безусловно справедливы, но для иностранца не столько важно то, что представляется на сценѣ,

какъ то, какъ представляется, и въ особенности какъ относится къ представляемому публика. Въ этомъ отношеніи онъ не встрѣтитъ въ цѣломъ мірѣ ничего подобнаго. Въ особенности не встрѣтитъ такой публики. Это именно та чуткая, нервная публика, которая удесятеряетъ силы актера и безъ которой было бы немыслимо для актера каждодневное повтореніе двѣсти разъ сряду одной и той же роли, какъ это сплошь бываетъ на парижскихъ театрахъ.

Помню, я пріѣхалъ въ Парижъ сейчасъ послѣ тяжелой болѣзни и все еще больной... и вдругъ чудодѣйственно воспрянулъ. Ходилъ съ утра до вечера по бульварамъ и улицамъ, одолѣвалъ довольно крутые подъемы — и не зналъ усталости. Мало того: иду однажды по бульвару и встрѣчаю русскаго доктора Г., о которомъ мнѣ было извѣстно, что онъ въ послѣднемъ градусѣ чахотки (и дѣйствительно, мѣсяца три спустя онъ умеръ въ Ниццѣ). Разумѣется, удивляюсь.

— Что вы это дѣлаете?

— Да вотъ, хожу!

— Помилуйте! вамъ бы дома сидѣть да «средствице» принимать...

— Нельзя, батюшка, тянетъ на улицу...

И точно: «тянетъ на улицу» — и шабашъ. Ибо парижская улица дѣйствительнѣе всякаго «средствица». Озлобленному она проливаетъ миръ въ сердце, негодующему — подаетъ исцѣленіе. И я навѣрное знаю, что не Лурдская Богоматерь это дѣлаетъ, а именно веселая парижская улица.

Въ Парижѣ всѣ живутъ на улицѣ. Не говоря уже объ иностранцахъ и провинціалахъ, которые массами, съ каждымъ изъ безчисленныхъ желѣзнодорожныхъ поѣздовъ, приливаютъ сюда и буквально покидаютъ улицу только для ночлега, даже коренной парижанинъ—и тотъ, съ перваго взгляда кажется, исключительно преданъ фланерству. Между тѣмъ на дѣлѣ нигдѣ не найдется болѣе ретиваго, спораго (или, какъ у насъ говорится, дошлаго) работника, какъ парижанинъ. Нѣмецъ работаетъ усердно, но точно во снѣ веревки вьетъ; у парижанина работа горитъ въ рукахъ. Нѣчто подобное представляетъ русскій работникъ въ страдную пору, но вѣдь это ужъ мученикъ. Парижанинъ работаетъ много, но съ добрымъ духомъ и никогда не имѣетъ усталаго вида. Достаточно присмотрѣться къ прислугѣ лю-

бого отеля, чтобъ убѣдиться, какую массу работы можетъ сдѣлать человѣкъ, не утрачивая бодрости и не валя, какъ говорится, черезъ пень колоду. Я останавливался въ небольшомъ отелѣ, въ пяти этажахъ котораго считалось 25 комнатъ, и на весь отель прислуживалъ только одинъ гарсонъ. Часамъ къ восьми утра онъ успѣвалъ уже вычистить для всѣхъ квартирантовъ сапоги, ботинки, мужское и дамское платье, а съ восьми часовъ начиналъ летать по этажамъ, разнося кофе и завтракъ. Затѣмъ убиралъ комнаты, а нѣкоторымъ жильцамъ сервировалъ и обѣдъ. Сколько разъ въ день онъ, подобно мухѣ, взлеталъ изъ rez de chaussée, гдѣ помѣщались контора и кухня, на пятый этажъ—это даже опредѣлить невозможно. Только, бывало, и слышишь раздающееся сверху: «Emile!» и отвѣчающее внизу: «voilà! voilà!» И за всѣмъ тѣмъ этотъ молодой человѣкъ находилъ возможность еще выполнять комиссіи жильцовъ, что онъ дѣлалъ *гуляя*. И никогда я не видалъ его унылымъ или замученнымъ, а ужъ объ трезвости нечего и говорить: такую работу не совершенно-трезвый человѣкъ ни подъ какимъ видомъ не выполнитъ.

Однимъ словомъ, ежели и нельзя сказать, что парижанинъ своею ретивостью практически доказалъ, что вопросъ о travail attrayant не праздная мечта, во всякомъ случаѣ мысль о трудѣ уже не застаетъ его врасплохъ. За то каждый моментъ, который ему удается урвать у работы, онъ уже всецѣло считаетъ *своимъ* и отдаетъ его безпечности, фланированію и веселью. Три предмета проходятъ черезъ всю жизнь парижскаго ouvrier: работа, веселье и отъ времени до времени... революція. Все это онъ умѣетъ дѣлать чрезвычайно ловко, скоро, горячо, но отнюдь не безтолково! Оттого-то, быть-можетъ, и кажется пріѣзжему иностранцу (это еще покойный Погодинъ замѣтилъ), что въ Парижѣ вотъ-вотъ сейчасъ что-то начнется.

Но, наглядѣвшись вдоволь на уличную жизнь, непростительно было бы не заглянуть и въ ту мастерскую, въ которой вершатся политическія и административныя судьбы Франціи. Я выполнилъ это, впрочемъ, уже весной 1876 года. Палаты въ то время еще засѣдали въ Версалѣ, и на очереди стоялъ вопросъ объ амнистіи.

Дорога отъ Парижа до Версаля промелькнула очень весело. Во-первыхъ, на всемъ пути—прелестнѣйшія зеленыя окрестности; во-вторыхъ, я попалъ въ вагонъ, наполненный gauchers и centre-gauchers (членами лѣвой и лѣваго

центра). Всѣ говорили безъ умолку. Соглашались почти единодушно, что въ принципѣ амнистія—мѣра не только справедливая, но и полезная, что послѣ пяти лѣтъ несомнѣннаго внутренняго мира было бы согласно съ здравой политикой закончить процессъ умиротворенія полнымъ забвеніемъ прошлыхъ междоусобій. Но, наговорившись на эту тему досыта, собесѣдники какъ бы по командѣ подносили къ носу указательные персты, произносили: «mais»— и глубокомысленно умолкали.

Признаюсь, загадочность этого «mais» чрезвычайно непріятно поразила меня. Я было-думалъ, что если ужъ выработалось: «понеже амнистія есть мѣра полезная» и т. д.— то навѣрное дальше будетъ: «того ради, объявивъ оную, предоставить министру внутреннихъ дѣлъ, безъ потери времени», и т. д. И вдругъ вмѣсто того... mais! Повторяю, сгоряча я чуть-было не разсердился, но потомъ вспомнилъ: ба! да вѣдь французское «mais»—это то самое, что̀ по-русски значитъ: выше лба уши не растутъ! Вспомнилъ— и сдѣлалось мнѣ такъ весело, что я не воздержался и сообщилъ о своемъ открытіи сосѣду (оказалось, что это былъ Лабулѐ, авторъ извѣстнаго памфлета «Paris en Amérique», а нынѣ сенаторъ и стыдливый клерикалъ). Онъ, въ свою очередь, подтвердилъ мою догадку и, поздравивъ меня съ тѣмъ, что Россія обладаетъ столь цѣлесообразными пословицами, присовокупилъ, что по-французски такого рода изреченія составляютъ особаго рода кодексъ, именуемый «la sagesse des nations». Черезъ минуту всѣ пассажиры уже узнали, что въ средѣ ихъ сидитъ un journaliste russe, у котораго уши выше лба не растутъ. И всѣ наперерывъ поздравляли меня, что я такъ отлично постигъ la sagesse des nations.

Какъ малый не-промахъ, я сейчасъ же разсчиталъ, какъ это будетъ отлично, если я поговорю съ Лабулѐ по душѣ. Ужъ и теперь въ немъ заблужденій только чуть-чуть осталось, а ежели хорошенько пугнуть его, призвавъ на помощь sagesse des nations, такъ и совсѣмъ, пожалуй, на путь истинный удастся обратить. Сначала его, а потомъ и до Гамбетты доберемся—эка важность! А Макъ-Магонъ и безъ того готовъ...

И вотъ, какъ только пріѣхали мы въ Версалъ, такъ я сейчасъ же Лабулѐ подъ-ручку—и айда̀ въ Hôtel des Reservoirs *).

*) Само собой разумѣется, что вся послѣдующая сцена есть чистый вымыселъ.

— Господинъ сенаторъ! Monsieur le sénateur! un verre de champagne... по-русски: чѣмъ Богъ послалъ! прошу!

— Съ удовольствіемъ!—согласился онъ, и на лицѣ его выразилась живѣйшая радость при мысли, что ему предстоитъ позавтракать на чужой счетъ.

Въ французѣ-буржуа мнѣ сразу бросились въ глаза двѣ очень характерныя черты. Во-первыхъ, въявь онъ охотно любитъ покощунствовать, но по секрету почти всегда богомоленъ, и ежели можно такъ сдѣлать, чтобъ никто не видалъ, то передъ всякимъ принятіемъ пищи непремѣнно перекрестится и пошевелитъ губами. Вѣроятно, онъ разсуждаетъ такъ: «Вѣрить я, разумѣется, не могу—это, братъ, дудки! Вольтеръ не велѣлъ!—но на всякій случай отчего не покреститься и не пошептать?.. вѣдь отъ этого ни руки, ни голова не отвалятся!» Во-вторыхъ, французъ-буржуа не прочь повеселиться и даже кутнуть, но такъ, чтобъ это такъ можно дешевле ему обошлось. Примѣрно, возьметъ въ карманъ гривенникъ и старается уконтентовать себя на рубль. Во всякомъ ресторанѣ можно увидѣть француза, который, спросивъ на завтракъ порцію салата, сначала съѣстъ политую соусомъ траву, потомъ начнетъ вытирать салатникъ хлѣбомъ и съѣстъ хлѣбъ, а наконецъ подниметъ посудину и посмотритъ на оборотную сторону дна, нѣтъ ли и тамъ чего. Такимъ образомъ и сердце у него играетъ, и для кармана обремененія нѣтъ! Точь-въ-точь по этой программѣ поступалъ и Лабулѐ. Сначала повернулся къ окошку и притворился, что смотритъ на улицу, хотя я очень хорошо примѣтилъ, что онъ потихоньку всей пятерней перекрестилъ себѣ пупокъ. Затѣмъ, когда принесли gigot de pré salé, то онъ, памятуя, что всѣ расходы по питанію приняты мной на себя, почти моментально проглотилъ свой кусокъ, совершивъ при этомъ цѣлый рядъ поступковъ, которые привели меня въ изумленіе. Во-первыхъ, началъ ножомъ ловить соусъ; во-вторыхъ, сталъ вытирать тарелку хлѣбомъ, быстро посылая куски въ ротъ, и наконецъ до того разсвирѣпѣлъ, что на самую тарелку началъ бросать любострастные взоры... Когда же я, испугавшись, сказалъ ему:—Затѣмъ вы это дѣлаете, господинъ сенаторъ? Вѣдь если вы голодны, то я могу и другую порцію приказать подать...—то, къ удивленію моему, онъ отвѣчалъ слѣдующее:

— О, нѣтъ, я достаточно сытъ! Это я не отъ жадности такъ поступаю, а чтобъ соблюсти принципъ. Ибо такимъ только образомъ достигается «накопленіе богатствъ».

Чудакъ!

Когда бутылка шампанскаго была осушена, языкъ у Лабулѐ развязался, и онъ пустился въ откровенности, которыя еще разъ доказали мнѣ, какая странная смѣсь здравыхъ понятій съ самыми превратными царствуетъ въ умахъ иностранцевъ о нашемъ отечествѣ.

— Вы, русскіе, счастливы (здравò),—сказалъ онъ мнѣ:— вы чувствуете у себя подъ ногами нѣчто прочное (и это здравò) и это прочное на вашемъ живописномъ языкѣ (опять-таки здравò!) вы называете «каторгой» (и неожиданно, и совершенно превратно!..)!

— Позвольте, дорогой сенаторъ! — прервалъ я его: — вѣроятно, кто-нибудь изъ русскихъ «веселыхъ людей» ради шутки увѣрилъ васъ, что каторга есть удѣлъ всѣхъ русскихъ на землѣ. Но это неправильно. Каторгою по-русски называется такой образъ жизни, который присваивается исключительно людямъ, не выполняющимъ начальственныхъ предписаній. Напримѣръ, если не приказано на улицѣ курить, а я курю — каторга; если не приказано въ прудѣ публичнаго сада рыбу ловить, а я ловлю— каторга!

— Однако!

— Тяжеленько, но за то прочно. Всѣмъ же остальнымъ русскимъ обывателемъ, которые не фордыбачатъ, а неуклонно исполняютъ начальственныя предписанія, предоставлено жить припѣваючи.

— Mais le «pripévaïoutchi»—c'est justement ce que j'ai voulu dire! La «katorga» et le «pripévaïoutchi»...

— Совершенно два различныхъ понятія, любезный господинъ де-Лабулѐ. Значеніе слова «каторга» я сейчасъ имѣлъ честь объяснить вамъ; что же касается до слова «припѣваючи»—это то самое, объ чемъ вы, французы, въ романсахъ поете: aimons, dansons et... chantons!

— Благодарю васъ. Но во всякомъ случаѣ моя мысль въ существѣ вѣрна: вы, русскіе, уже тѣмъ однимъ счастливы, что видите передъ собой прочное положеніе вещей. Каторга такъ каторга, припѣваючи такъ припѣваючи. А вотъ бѣда, какъ ни каторги, ни припѣваючи—ничего въ волнахъ не видно.

— Лабулѐ! да неужто у васъ до того дошло?

— Пхе!

— Прошу васъ, объясните вашу мысль!

— Очень просто. Ни одинъ французъ, ложась на ночь

спать, не можетъ сказать себѣ съ увѣренностью, что завтра утромъ онъ не будетъ въ числѣ прочихъ разстрѣлянъ!

— Что-жъ, по-моему, это спасительный страхъ—и ничего больше!

— Oh! pardon!..

— Послушайте, мой другъ! Вы, французы, народъ легкомысленный. Надо же вашему начальству хоть какое-нибудь средство имѣть, чтобы нейтрализировать это легкомысліе!

— Въ существѣ я, разумѣется, съ вами согласенъ, но...

— Безъ «но», Лабулѐ! и будемъ говорить по душѣ. Вы жалуетесь, что васъ каждочасно могутъ въ числѣ прочихъ разстрѣлять. Прекрасно. Но допустимъ даже, что ваши опасенія сбудутся, все-таки вы должны согласиться, что это разстрѣляніе произойдетъ не иначе, какъ съ разрѣшенія Макъ-Магона. А ну-те, скажите-ка по совѣсти: ужели Макъ-Магонъ рѣшится на такую крайнюю мѣру, если вы сами не заслужите ее вашимъ неблагонадежнымъ поведеніемъ?

Лабулѐ вмѣсто отвѣта поникъ головой.

— Вы не отвѣчаете? очень радъ! Будемте продолжать. Я разсуждаю такъ: Макъ-Магонъ—безспорно добрый человѣкъ, но вѣдь онъ не ангелъ! Каждый божій день, чуть не каждый часъ, во всѣхъ газетахъ ему даютъ косвеннымъ образомъ понять, что онъ дуракъ!!!—развѣ это естественно? Нѣтъ, какъ хотите, а когда-нибудь онъ разсердится, и тогда...

— И прекрасно сдѣлаетъ!

— Очень радъ, что вы пришли къ такому здравому заключенію. Но слушайте, что будетъ дальше. У насъ, въ Россіи, если вы лично ничего не сдѣлали, то вамъ говорятъ: живи припѣваючи! У васъ же, во Франціи, за то же самое вы неожиданно, въ числѣ прочихъ, попадете на каторгу! Понимаете ли вы теперь, какъ глубоко различны понятія, выражаемыя этими двумя словами, и въ какой степени наше отечество ушло впередъ... Ахъ Лабулѐ, Лабулѐ!

Я высказалъ это довольно строго, но, чтобъ не смутить моего собесѣдника окончательно, сейчасъ же смягчилъ свой приговоръ, сказавъ:

— А не выпить ли намъ еще бутылочку? на мой счетъ... а?

— Съ удовольствіемъ!—поспѣшилъ согласиться онъ и,

взявъ со стола опорожненную бутылку, посмотрѣлъ черезъ нее на свѣтъ и сказалъ:—пусто!

Принесли другую бутылку. Лабулѐ налилъ стаканъ и сейчасъ же выпилъ.

— Скажите, Лабулѐ, вѣдь вы клерикалъ?—началъ я.

— То-есть, какъ вамъ сказать...

Онъ что-то пробормоталъ, потомъ покраснѣлъ и началъ смотрѣть въ окошко. Ужасно эти буржуа не любятъ, когда ихъ въ упоръ называютъ клерикалами.

— Впрочемъ, я думаю, что вы больше по части служителей алтаря прохаживаетесь? ихъ преимущественно протежируете?—продолжалъ я допросъ.

— То-есть, какъ вамъ сказать! Конечно, служители алтаря... Алтаря! mais j'espère que c'est assez crâne?

— А Бога... любите?

Лабулѐ вновь поникъ головой.

— И Бога надобно любить, Лабулѐ! служителей алтаря надо любить ради управы благочинія, а Бога — для Него самого!

Но онъ угрюмо молчалъ.

— Богъ—Онъ Царь Небесный! такъ-то, Лабулѐ!

Но онъ и на это не отвѣчалъ. Однако я видѣлъ, что въ душѣ онъ уже раскаивается, а потому, дабы не отягощать его дальнѣйшимъ испытаніемъ на эту тему, хлопнулъ его по колѣну и воскликнулъ:

— А вотъ я еще одну проруху за вами замѣтилъ. Давеча, какъ мы въ вагонѣ ѣхали, всѣ вы, французы, объ конституціи поминали... А по-моему, это пустое дѣло.

— Saperlotte!

— Знаю я, что вамъ, французамъ, трудно безъ конституціи обойтись! Ужъ коли Богъ послалъ крестъ, такъ надо его съ терпѣніемъ нести... ну, и несите, Богъ съ вами! А все-таки язычокъ-то попридержать не худо!

— Да, но согласитесь, что трудно избѣжать въ разговорѣ слова «конституція», если рѣчь идетъ именно о томъ, что оно выражаетъ? А у насъ съ семьсотъ восемьдесятъ девятаго года...

— Знаю и это. Но у насъ мы говоримъ такъ: иллюзіи— и конченъ балъ. Скажите, Лабулѐ, которое изъ этихъ двухъ словъ, по вашему мнѣнію, выражаетъ болѣе широкое понятіе?

Это открытіе такъ поразило Лабулѐ, что онъ даже схватился за бока отъ восторга.

— Иллюзіи... ха-ха!—захлебывался онъ:—и притомъ въ особенности ежели... illusions perdues... ха-ха!

— Вотъ то-то и есть. Вы объ насъ, русскихъ, думаете: сѣверные медвѣди! а у насъ между тѣмъ терминологія...

— Но знаете ли вы, что это изумительно! то-есть изумительно вѣрно и хорошо!

— А я объ чемъ же говорю! Я говорю: нужда заставитъ и калачи ѣсть...

— Это еще что такое?

— Очень просто. При обыкновенныхъ условіяхъ жизни, когда человѣкъ всѣмъ доволенъ, онъ удовлетворяется и мякиннымъ хлѣбомъ; но когда его постигнетъ нужда, то онъ становится изобрѣтательнымъ и въ награду за эту изобрѣтательность получаетъ возможность ѣсть калачи.

— Продолжайте, прошу васъ. Я весь—вниманіе.

— Итакъ, продолжаю. Очень часто мы, русскіе, позволяемъ себѣ говорить... ну, самыя, такъ сказать, непозволительныя вещи! Такія вещи, что ни въ какомъ благоустроенномъ государствѣ стерпѣть невозможно. Ну, разумѣется, подлавливаютъ насъ, подстерегаютъ—и никакъ ни изловить, ни подстеречь не могутъ! А отчего?—оттого, господинъ сенаторъ, что нужда заставила насъ калачи ѣсть!

— Изумительно!

— А вы, французы,—зудите. Заладите одно, да и твердите на всѣхъ перекресткахъ. Развѣ это пріятно? Возьмемъ хотя бы Макъ-Магона,—развѣ ему пріятно, что вы ему черезъ часъ по ложкѣ конституціей въ носъ тычете? Ангелъ—и тотъ сбѣсится!

— Что правда, то правда!

— Такъ вотъ что, Лабулѣ. Обѣщайте вы мнѣ, что впредь объ конституціи—ни гу-гу! Пускай Гамбетта Подхалимову насчетъ конституцій открывается, а мы съ вами—шабашъ!

— Прекрасно... чудесно! Я совершенно... Русскій! вы... очаровали меня!

— Нѣтъ, Лабулѣ, вы не виляйте, а говорите прямо: обѣщаете или нѣтъ?

— Отлично! очаровательно! Vive Henri Cinq!.. c'est ça! Но вѣдь онъ... смоковница-то... сказывала мнѣ намеднись m-lle Круазеттъ...

Повидимому, Лабулѣ намѣревался излиться передо мной въ жалобахъ по поводу Шамбора, въ смыслѣ смоковницы, но шампанское уже сдѣлало свое дѣло: собесѣдникъ мой окончательно размякъ. Онъ опять взялъ опорожненную бутылку и посмотрѣлъ на свѣтъ, но уже не могъ сказать: «пусто!», а какъ снопъ грохнулся въ кресло и моментально

заснулъ. Увидѣвши это, я пошевелилъ мозгами, и въ умѣ моемъ столь же моментально созрѣла идея: уйду-ка я за добрà-ума изъ отеля, и ежели меня остановятъ, то скажу, что по счету сполна заплатитъ Лабулѐ.

Такъ я и поступилъ.

Я шелъ въ палату депутатовъ и вдвойнѣ радовался. Во-первыхъ, мнѣ удалось поймать въ сѣти благонамѣренности такую крупную рыбину, какъ сенаторъ французской республики. Во-вторыхъ, я успѣлъ въ этомъ, не затративъ ни одного сантима, а, напротивъ, самъ довольно плотно позавтракавъ на счетъ новообращеннаго. Воображаю, какъ онъ вытаращитъ глаза, когда проснется и увидитъ передъ собой addition! Вотъ-то, я думаю, выругается! Пожалуй, еще процессъ, подлецъ, затѣетъ! Ну, нѣтъ, не посмѣетъ! Пьянъ былъ... сенаторъ! Сенатору, братъ, пьянымъ быть не полагается. А впрочемъ, ежели и затѣетъ процессъ, такъ вѣдь у меня и на этотъ случай «sagesse des nations» въ запасѣ есть. Скажу: я не я, и лошадь не моя, и я не извозчикъ—поди, уличай! Кто больше выпилъ? кто больше съѣлъ? Ты! ты, сенаторъ, и выпилъ, и съѣлъ!—стало-быть, ты и плати! Словомъ сказать, очень мнѣ было весело. Когда я проникъ въ трибуну иностранныхъ журналистовъ, Клемансò *) уже разглагольствовалъ. Суконнымъ языкомъ онъ произнесъ суконную рѣчь, которая продолжалась не меньше трехъ часовъ и каждый періодъ которой вызывалъ въ слушателѣ только одну мысль: никого, братецъ, ты своими разглагольствованіями не удивишь! Такъ что если уже утромъ, ѣдучи въ Версаль, я сомнѣвался въ успѣшномъ исходѣ дѣла, то теперь, слушая Клемансò, чувствовалъ, что и сомнѣнія не можетъ быть. Онъ стоялъ на трибунѣ, прямой, самодовольный, обложенный грудою книгъ и фоліантовъ; сначала бралъ одну книгу, потомъ другую и, какъ чадолюбивая насѣдка, выклевывалъ одну цитату за другой, думая насытить ими голодное стадо звѣрей. Сзади его сидѣлъ президентъ палаты Греви (нынѣшній президентъ республики) и, грозно взглядывая на бонапартистовъ, съ заученно-деревяннымъ жестомъ протягивалъ руку къ колокольчику всякій разъ, какъ Кассаньяки, отецъ и сынъ, начинали подвывать. Лицомъ къ оратору сидѣли: напротивъ—

*) Клемансо—вожакъ крайней лѣвой. Какъ ораторъ, онъ считается соперникомъ Гамбетты. Его рѣчь въ пользу амнистіи собственно и составляла интересъ засѣданія, потому что самый вопросъ уже заранѣе былъ предрѣшенъ противъ амнистіи.

министры Бюффѣ, Деказъ и прочіе сподвижники Макъ-Магона и своими деревянными физіономіями какъ бы говорили: хоть колъ на головѣ теши! За ними и по обѣ стороны— депутаты. Изъ нихъ выдѣлялись: направо—Кассаньякъ-отецъ, которому недоставало только бубноваго туза на спину, чтобъ быть въ полной парадной формѣ; налѣво— Гамбетта, который, какъ капельмейстеръ оркестромъ, ловко дирижировалъ «лѣвою» и «республиканскимъ союзомъ».

Повторяю: Клемансò говорилъ ординарно, безколоритно, вяло. Скудоумна была уже сама по себѣ мысль говорить три часа о дѣлѣ, которое въ такомъ только случаѣ имѣло шансы на выигрышъ, если-бъ явилась ораторская сила, которая сразу сорвала бы палату и въ общемъ взрывѣ энтузіазма потопила бы колебанія робкихъ людей. Но такой ораторской силы въ настоящее время въ палатѣ нѣтъ, да ежели бы она и была, то врядъ ли бы ей удалось прошибить толстомясыхъ буржуа, которыхъ нагналъ въ палату со всѣхъ концовъ Франціи пресловутый scrutin d'arrondissement, выдвинувшій впередъ исключительно мѣстный элементъ.

Я думаю насчетъ этого такъ: истинные ораторы (точно такъ же, какъ и истинные баснописцы), такіе, которые зажигаютъ сердце человѣка, могутъ появляться только въ такихъ странахъ, гдѣ долго существовалъ извѣстнаго рода гнетъ, какъ, напримѣръ, рабство, диктатура, канцелярская тайна, ссылка въ мѣста не столь отдаленныя (а отчего же, впрочемъ, и не въ отдаленныя?) и проч. Подъ давленіемъ этого гнета, въ сердцахъ накапливается раздраженіе, горечь и страстное стремленіе прорвать плотину паскудства, опутывающаго жизнь. Въ большинствѣ случаевъ, разумѣется, побѣда остается на сторонѣ гнета, и тогда ораторы или сгораютъ сами собой, или кончаютъ карьеру въ мѣстахъ болѣе или менѣе отдаленныхъ. Но бываетъ и такъ, что гнетъ вдругъ самъ собою ослабнетъ, и плотину съ громомъ и трескомъ разнесетъ. Вотъ тогда-то вылѣзаютъ изо всѣхъ щелей ораторы. Во Франціи это случилось во время «великой французской революціи». Много до того времени накопилось: и барщина, и общая экономическая неурядица, и всякія расхищенія. И все не было да не было ораторовъ, какъ вдругъ—Мирабò! А за нимъ какъ изъ рога изобилія посыпались: Дантонъ, Сенъ-Жюстъ, Камилль Демуленъ, Верньѐ... Какую массу гнета нужно было накопить, чтобъ разомъ предъявить міру столько страстности, горечи, раздраженія, сколько было вылито устами этихъ людей

Но люди благополучные, невымученные, рѣдко чувствуютъ потребность зажигать человѣческія сердца и въ дѣлѣ ораторства предпочитаютъ разводить канитель. Адвокатъ, который ничего не получилъ впередъ, всегда защищаетъ порученное ему дѣло съ бо́льшимъ азартомъ, нежели адвокатъ, который половину денегъ взялъ впередъ, а насчетъ остальной половины обезпечилъ себя хорошею неустойкой. Въ словахъ перваго слышится и горечь опасенія, и желаніе прельстить и разжалобить кліента: вотъ я какъ въ твою пользу распинаюсь, смотри же, и ты не надуй! Всѣ эти чувства сообщаютъ его рѣчи живой и взволнованный характеръ, который не можетъ не дѣйствовать и на чувствительнаго судью. Напротивъ того, въ словахъ адвоката благополучнаго слышится только одно: я свои деньги получилъ. То же самое явленіе повторяется и здѣсь, въ палатѣ депутатовъ. Люди всходятъ на трибуну и говорятъ. Но не потому говорятъ, что слово, какъ долго сдержанный потокъ, само собою рвется наружу, а потому, что, принадлежа къ извѣстной политической партіи, невозможно, хоть отъ времени до времени, не дѣлать чести знамени. Тотъ внутренній очагъ, изъ котораго надлежало бы вылетать словесному пламени, ежели не совсѣмъ потухъ, то слишкомъ вяло поддерживается и изнутри, и извнѣ.

Oratores fiunt—очень справедливъ этотъ латинскій афоризмъ. То-есть Демосѳены, Мирабо́, Демулены, Дантоны—nascuntur; а Цицероны, Тьеры, Клемансо́, Гамлеты и нѣкоторые русскіе langues bien pendues—эти fiunt. Современный французскій политическій ораторъ отяжелѣлъ и ожирѣлъ; современные слушатели его—тоже отяжелѣли и ожирѣли. Первый потерялъ способность зажигать; второй утратилъ способность быть зажигаемымъ. Въ области матеріальныхъ интересовъ, какъ, напримѣръ, пошлинъ, налоговъ, проведенія новыхъ желѣзныхъ дорогъ и т. п., эти люди еще могутъ почувствовать себя затронутыми за живое и даже испустить вопль сердечной боли; но въ области идей они, очевидно, только отбываютъ повинность въ пользу того или другого политическаго знамени, подъ сѣнь котораго ихъ поставила или судьба, или личный разсчетъ.

Говорятъ, будто такъ именно и нужно. Пора, дескать, надзвѣздныя-то сферы оставить, а обратиться къ землѣ и такъ устроиться, чтобы до́лу жилось хорошо. Но мнѣ кажется, что этой послѣдней, конечной цѣли мы именно только тогда и достигнемъ, когда въ надзвѣздныхъ сферахъ

будетъ учрежденъ достаточно прочный порядокъ. Конечно, это, какъ говорится, шиворотъ-навыворотъ, но что же дѣлать, коли такъ ужъ издавна повелось, что изъ хаоса природы прежде выдѣлилось начальство, а потомъ ужъ, ради обстановки, и прочіе обыватели. По-моему, нельзя не имѣть этого въ виду, ибо если не устроиться какъ слѣдуетъ въ надзвѣздныхъ сферахъ, то непремѣнно придетъ генералъ-майоръ Отчаянный (по-французски—Макъ-Магонъ), крикнетъ: «а кто вамъ, такіе-сякіе, разрѣшилъ не въ свое дѣло носъ совать... брысь всѣ!»—и полетѣли прахомъ всѣ наши благоначинанія и труды!

Сверхъ того, для насъ, иностранцевъ, Франція, какъ я уже объяснилъ это выше, имѣла еще особливое значеніе—значеніе свѣточа, лившаго свѣтъ coram hominibus. Поэтому какъ-то обидно дѣлается при мысли, что этотъ свѣточъ погибъ. Да и зрѣлище неизящное выходитъ: все былъ свѣточъ, а теперь на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ горѣлъ, сидятъ ожирѣвшіе мѣнялы и курлыкаютъ. Точь-въ-точь какъ у насъ журналистъ Менандръ, который въ «Старѣйшей Пѣнкоснимательницѣ» все надсѣдался-курлыкалъ: «наше время не время широкихъ задачъ!»; курлыкалъ да курлыкалъ, а пришелъ тайный совѣтникъ Петръ Толстолобовъ, крикнулъ: «ты что тутъ революцію распространяешь... брысь!»—и слопалъ Менандра!

Но какъ ни мало привлекательна была рѣчь Клемансо и вообще вся обстановка палатскаго засѣданія, все-таки, выходя изъ палаты, я не могъ воздержаться, чтобъ не воскликнуть: «вотъ кабы у насъ такъ!» Что дѣлать! такіе ужъ у насъ, русскихъ, глаза завистливые, что не можемъ мы въ чужомъ глазу сучка видѣть, чтобъ себѣ того же не пожелать. Даже тайный совѣтникъ Куроцаповъ, встрѣтившись со мной на бульварѣ и насмотрѣвшись на здѣшніе порядки,—и тотъ воскликнулъ: «вотъ такъ правительство! смотрите-ка, какими щетками грязь съ улицъ счищаютъ!» И дѣйствительно, отчего бы у насъ своихъ Клемансо, своихъ Кассаньяковъ и Гамбеттъ не завести? Вѣдь и во Франціи Клемансо удовлетворенія не получалъ и у насъ бы не получилъ; стало-быть... А что касается до гвалта и криковъ, которые зачастую развлекаютъ вниманіе посѣтителей палаты, то вѣдь это одна форма: пошумятъ, поругаются въ честь знамени—а потомъ и опять какъ съ гуся вода. И у насъ драки зачастую случаются—такъ въ чемъ же, спрашивается, опасность? Такъ вотъ нѣтъ же, скорѣе

милліонъ щетокъ для очищенія улицъ отъ грязи заведутъ, а ужъ Гамбеттѣ не дадутъ рта разинуть—шалишь! Оттого-то и весело въ Парижѣ, что все тамъ есть и все можно видѣть, обо всемъ говорить и даже поврать. Даже у русскихъ тамъ сердце играетъ. А у насъ дома ничего нѣтъ, стало-быть, и глядѣть не на что, и языкъ не изъ-за чего шевелить. Правда, иногда и у насъ случается слышать, будто въ такомъ-то мѣстѣ, еще со временъ царя Гороха, засѣдаетъ такая-то комиссія — ну, и пущай ее засѣдаетъ! А я пойду въ портерную или въ питейный, налакаюсь досыта, ворочусь домой и лягу спать! Вотъ тебѣ и комиссія!

Развѣ можно сказать про такую жизнь, что это жизнь? развѣ можно сравнить такое существованіе съ французскимъ, хотя и послѣднее мало-по-малу начинаетъ пріобрѣтать мѣняльный характеръ? Французъ все-таки хоть надъ Гамбеттой посмѣяться можетъ, назвать его le gros Léon, а у насъ и Гамбетты-то нѣтъ. А надъ прочими, право, и смѣяться даже не хочется, потому что... Ну, да ужъ Христосъ съ вами! плодитеся, множитеся и населяйте землю!

Я возвратился изъ Версаля въ Парижъ съ тѣмъ же поѣздомъ, который уносилъ и депутатовъ. И опять всѣ французы жужжали, что, въ сущности, Клемансо правъ, но что же дѣлать, если уши выше лба не растутъ. И всѣмъ было весело, до такой степени весело, что многіе даже осмѣлились и начали вслухъ утверждать, что Макъ-Магонъ совсѣмъ не такъ простъ, какъ это можетъ казаться съ перваго взгляда.

Въ то время было принято называть Макъ-Магона «честною шпагой» (кажется, Тьеръ первый окрестилъ его этимъ прозвищемъ), но многіе къ этому присовокупляли, что «честная шпага» есть прозвище иносказательное, подъ которымъ слѣдуетъ разумѣть очень-очень простодушнаго человѣка. Сверхъ того, по поводу того же Макъ-Магона и его свойствъ, въ летучей французской литературѣ того времени шелъ довольно оживленный споръ: какъ слѣдуетъ понимать простоту (опять-таки подъ псевдонимомъ «честной шпаги»), то-есть видѣть ли въ ней гарантію въ родѣ, напримѣръ, конституціи, или, напротивъ, ожидать отъ нея всякихъ угрозъ?

Разумѣется, до моего мнѣнія никому во Франціи нѣтъ дѣла, но ежели бы, паче чаянія, меня спросили, то я сказалъ бы слѣдующее. Съ одной стороны простота заключаетъ въ себѣ очень серьезную угрозу, но съ другой сто-

роны она же можетъ представлять и извѣстныя гарантіи. А за всѣмъ тѣмъ не представлялось бы для казны ущерба, если-бъ и совсѣмъ ея не было.

Опасность, представляемая простотою, заключается въ томъ, что она имѣетъ всѣ свойства воды, а потому отъ нея можно ожидать всякихъ видовъ, кромѣ тѣхъ, которые свидѣтельствуютъ о сознательности. Какъ въ водѣ случайно отражается и лучезарное небо и небо угрожающее, такъ и въ глупости случайно отражается и благоволеніе и ехидство. А такъ какъ рѣчь идетъ о глупости властной, которую, въ большинствѣ случаевъ, окружаютъ всевозможныя своекорыстія и алчности, то ехидство встрѣчается несомнѣнно чаще, чѣмъ благоволеніе.

Въ примѣръ того, какъ опасна глупость, могу представить дѣйствительнаго статскаго совѣтника Губошлепова. Покуда былъ у него правителемъ канцеляріи Пантелей Душегубцевъ, то онъ безъ всякой нужды ввѣренный ему градъ спалилъ, а самъ, стоя на вышинѣ и любуясь пожаромъ, говорилъ: «пускай за мое злочестіе пострадаютъ!» И тотъ же Губошлеповъ, когда по обстоятельствамъ вынужденъ былъ взять въ правители канцеляріи Іону Добромыслова, то опять свой градъ иждивеніемъ гражданъ даже краше прежняго выстроилъ. Но такъ какъ и то и другое дѣйствіе онъ допустилъ не отъ разума, а отъ глупости, то обыватели, сколько мнѣ извѣстно, и поднесь новаго пожара ждутъ.

Что касается гарантіи, которую можетъ представить простота, то она состоитъ въ томъ, что простодушный человѣкъ не только самъ не сознаётъ чувства отвѣтственности, но и всѣ доподлинно знаютъ, что ничему подобному неоткуда и заползти въ него. Поэтому безсовѣстные люди, стоящіе вокругъ простодушія, пользуются имъ лишь до извѣстныхъ предѣловъ. Самый наглый злодѣй, дѣйствуя въ союзѣ съ глупостью, понимаетъ, что послѣдняя отнюдь не представляетъ надежной защиты. Глупыхъ людей рѣдко ненавидятъ, а иногда даже жалѣютъ, видя въ нихъ лишь жалкое орудіе посторонніхъ козней. Злодѣй понимаетъ это и сдерживается; а партикулярные люди благодарятъ Бога и говорятъ: «покуда у насъ Макъ-Магонъ, мы у него какъ у Христа за пазухой».

Но въ настоящемъ случаѣ вопросъ усложняется тѣмъ, дѣйствительно ли Макъ-Магонъ только простъ, или же онъ, сверхъ того, и тупоуменъ. Ибо если простодушный чело-

вѣкъ еще можетъ представлять гарантію, то со стороны тупца ничего, кромѣ угрозъ, ожидать нельзя. Идея общаго блага равно чуждая и глупому человѣку и тупоумцу, но послѣдній уже дошелъ до пониманія личнаго блага и слѣдовательно получилъ опредѣленную цѣль для существованія. Въ основу этого личнаго блага легли самые низменные инстинкты, но не надо забывать, что именно они-то и давятъ на человѣка наиболѣе настоятельнымъ образомъ. До такой степени давятъ, что тупецъ начинаетъ смѣшивать свое личное благо съ общимъ и подчинять послѣднее первому. И вотъ, когда онъ такимъ образомъ доведетъ свое міросозерцаніе до наглости, тогда-то именно и наступаетъ дѣйствительная опасность. Ибо тупецъ въ дѣлѣ защиты инстинктовъ обладаетъ громадной силой иниціативы и никогда ни передъ чѣмъ не отступаетъ. Если ему покажется, что необходимо, въ видахъ его личнаго самосохраненія, разстрѣлять вселенную—онъ разстрѣляетъ; ежели потребуется вавилонскую башню построить—онъ построитъ. Насколько несложны цѣли, которыя онъ преслѣдуетъ, настолько же несложны и средства для ихъ достиженія. Все въ немъ потухло: и воображеніе, и способность комбинировать и продолжать будущее, все, кромѣ немолчно вопіющихъ инстинктовъ.

Что же такое однако-жъ Макъ-Магонъ? Разстрѣляетъ ли онъ или не разстрѣляетъ? Вотъ вопросъ, который виталъ надъ Парижемъ въ маѣ 1876 года.

Но, повидимому, Макъ-Магонъ дѣйствительно былъ только «честная шпага» и ничего больше. Разсказываютъ за достовѣрное, что все уже было какъ слѣдуетъ подстроено, что приготовлены были надежныя войска, чтобы раскассировать палату, и подряжены парадныя кареты, въ которыхъ Шамборъ имѣлъ въѣхать въ добрый городъ Парижъ...

Я понимаю, какъ эти слухи должны были волновать французовъ, которые хоть сколько-нибудь помнили и понимали прошлое Франціи. Чортъ знаетъ что такое! Сдѣлать одну великую, двѣ среднихъ и одну малую революцію и за всѣмъ тѣмъ не быть обезпеченнымъ отъ обязанности кричать (или, говоря офиціальнымъ языкомъ, pousser des cris d'allégresse): «vive Henri Cinq!»—какъ хотите, а это хоть кого заставитъ биться лбомъ объ стѣну. И дѣйствительно, французы даже другъ другу боялись сообщить объ этихъ слухахъ, которые до такой степени пред-

ставлялись осуществимыми, что, казалось, одного громко произнесеннаго слова достаточно было, чтобы произвести взрывъ.

Но въ рѣшительную минуту Шамборъ отступилъ. Онъ понялъ, что Макъ-Магонъ не представляетъ достаточнаго прикрытія для заправскаго разстрѣлянія «добраго города Парижа». И Макъ-Магонъ съ своей стороны тоже не настаивалъ. Но сверхъ того, и того и другого, быть-можетъ, смутило то обстоятельство, что палата, съ раскассированія которой предстояло начать «реставрацію», не давала къ тому рѣшительнаго повода.

Будь палата нѣсколько болѣе нервная, проникнись она сильнѣе человѣческими идеалами—Шамборъ навѣрное поступилъ бы съ нею по всей строгости законовъ. Но такъ какъ большинство ея составляли индѣйскіе пѣтухи, которые не знали удержу только въ смыслѣ уступокъ, то самъ выморочный Бурбонъ вынужденъ былъ сказать себѣ: за что же я буду разстрѣливать сихъ невинныхъ пернатыхъ?

Положимъ, что Клемансо виноватъ; положимъ, что, кромѣ Клемансо, наберется и еще человѣкъ десять-двадцать зачинщиковъ, которые сдабривали его суконную рѣчь криками: «bravo! tres bien!» — но что же изъ этого? Во-первыхъ, и Клемансо и его укрывателей сама палата охотно во всякое время выдастъ для разстрѣлянія; во-вторыхъ, допустимъ даже, что вы разстрѣляете Клемансо, но съ какой стороны вы подступитесь къ индюкамъ, у которыхъ на всѣ подвохи уже заранѣе готовъ отвѣтъ: la république sans républicains; а въ-третьихъ, вѣдь и самъ Клемансо—развѣ онъ буянилъ, или грубилъ, или угрожалъ? Нѣтъ, онъ скромно ходатайствовалъ: коли любишь—прикажи, а не любишь—откажи! Такимъ кроткимъ манеромъ и передъ самимъ Шамборомъ ходатайствовать не возбраняется.

Однимъ словомъ, ежели въ древности Римъ спасли гуси, то въ 1876 году Францію спасли—индюки.

Подъ этимъ впечатлѣніемъ я и оставилъ Парижъ. Я разстался съ нимъ неохотно, но въ то же время въ умѣ уже невольно и какъ-то сама собой слагалась мысль: ахъ эти индюки!

Я возвратился въ Парижъ осенью прошлаго года. Я ѣхалъ туда съ гордымъ чувствомъ: республика укрѣпилась, говорилъ я себѣ, стало-быть, законное правительство восторжествовало. Но при самомъ въѣздѣ меня возмутило

одно обстоятельство. Парижъ... вонялъ!! Еще лѣтомъ, въ Эмсѣ, когда мнѣ случалось замѣтить, что около кургауза пахнетъ не совсѣмъ благополучно, мнѣ говорили: «это еще что! вотъ въ Маріенбадѣ или въ Парижѣ, ну, тамъ дѣйствительно...»

Въ Маріенбадѣ—страждущее человѣчество; въ Парижѣ—человѣчество благополучное. Два противоположныхъ явленія, а результатъ одинъ—вонь! Какая богатая антитеза и сколько блестящихъ страницъ написалъ бы по поводу ея Викторъ Гюго! Я же скажу кратко: пути, которыми ведетъ насъ предопредѣленіе, неисповѣдимы.

Дѣйствительно, пріѣхавши въ концѣ августа прямо въ Парижъ, я подумалъ, что ошибкой очутился въ Москвѣ, въ Охотномъ ряду. Тамъ тоже живутъ благополучные люди, а извѣстно, что никто не выдѣлятъ такую массу естественныхъ зловоній, какъ благополучный человѣкъ.

Что ему! щи ему даютъ такія, что не продуешь; каши горшокъ принесутъ—и тамъ въ серединѣ просверлена дыра, налитая масломъ; стало-быть, и тутъ не продуешь. И такъ до трехъ разъ въ день, не говоря объ чаяхъ и сбитняхъ, отъ которыхъ сытости нѣтъ, но потъ все-таки прошибаетъ. Брюхо у него какъ барабанъ, глаза круглые, изумленные—надо же лишнюю тяжесть куда-нибудь сбыть. Вотъ онъ около лавки и исправляется. А въ лавкѣ и товаръ подходящій: мясо, живность, рыба. Придетъ покупатель: «что у васъ въ лавкѣ словно экстренно пахнетъ?»—а ему въ отвѣтъ: «такой ужъ товаръ-съ; безъ того нельзя-съ».

Я знаю Москву чуть не съ пеленокъ; всегда тамъ воняло. Когда я еще на школьной скамьѣ сидѣлъ, Москва была до того благополучна, что даже на главныхъ улицахъ вонь стояла коромысломъ. На Тверской, напримѣръ, существовало множество крохотныхъ калачныхъ, изъ которыхъ съ утра до ночи валилъ хлѣбный паръ; множество полпивныхъ («полпиво»—кто нынче помнитъ объ этомъ прекрасномъ, легкомъ напиткѣ?), изъ которыхъ сидѣльцы съ чистымъ сердцемъ выплескивали на тротуаръ всякаго рода остатки. По улицѣ свободно ходили разносчики съ горячими блинами, гречневиками, гороховниками, съ подовыми пирогами «съ лучкомъ, съ перцемъ, съ собачьимъ сердцемъ», съ патокой съ имбиремъ, которую «варилъ дядя Симіонъ, тетушка Арина кушала-хвалила», съ моченой грушей, квасомъ, сбитнемъ и проч. Воняло и отъ продуктовъ, и отъ продавцовъ, и отъ покупателей. Воняло отъ

гостиницъ Шевалдышева, Шора, а пониже отъ гостиницъ: «Парижъ» и «Римъ». Въ этихъ пріютахъ останавливались по бо́льшей части иногородніе купцы, пріѣзжавшіе въ Москву по дѣламъ, съ своей квашеной капустой, съ соленой рыбой, огурцами и прочей соленой и копченой снѣдью, ничего не требуя отъ гостиницы, кромѣ самовара, и ни за что не платя, кромѣ какъ за «тепло». И такъ какъ въ то время о ватерклозетахъ и въ помышленіи ни у кого не было, то понятно, что весь этотъ упитанный капустою людъ оставлялъ свой слѣдъ понемногу вездѣ. Точно то же самое, въ большей или меньшей мѣрѣ, представлялось и на Никитской, и на Арбатѣ, и на Кузнецкомъ мосту. А къ Охотному ряду, къ Ильинкѣ и къ купеческимъ усадьбамъ даже приступу не было: благодать, видимо, почивала на нихъ.

Но тогда этимъ какъ-то не отягощались и даже носовъ не затыкали. Казалось совершенно естественнымъ, что тамъ, гдѣ живутъ люди, и пахнуть должно человѣчествомъ. Въ самыхъ зажиточныхъ помѣщичьихъ домахъ не существовало ни вентиляторовъ, ни форточекъ; въ крайнихъ же случаяхъ «курили смолкой». Я живо помню: бывало, подъѣзжаешь въ Москвѣ изъ деревни, то верстъ за шесть ужъ чувствуешь, что приближаешься къ муравейнику, въ которомъ кишатъ благополучные люди. «Москва близко! Москвой пахнетъ!» говорили кучера и лакеи и набожно снимали картузы, привѣтствуя золотыя московскія маковки. И что́ ближе, то пуще и гуще. И не было тогда ни дифтеритовъ, ни тифовъ, ни болѣзней сердца, а былъ одинъ врагъ тѣлесъ человѣческихъ: кондрашка. Поэтому говорили кратко: «вчера Сидоръ Кондратьичъ съ вечера покушали, легли почивать, а сегодня утромъ смотримъ, а они приказали долго жить».

Вообще я думаю, что и болѣзни и самая смертность получаютъ развитіе по мѣрѣ усовершенствованія врачебной науки. Или, говоря другими словами, врачебная наука популяризируетъ болѣзни, дѣлаетъ ихъ общедоступными. Покуда врачебная наука была въ младенчествѣ, болѣзни посѣщали человѣка случайно. Иногда онъ «бился» животомъ, иногда—кашлемъ, зубами, головой; иногда — кровь «просилась». Выпьетъ человѣкъ квасу съ солью или, напротивъ, съѣстъ фунта два моченой груши—«пройдетъ» животъ; поставитъ къ затылку горчишникъ—«пройдетъ» голова; накапаетъ на синюю сахарную бумагу сала и чуть-

ложитъ къ груди, или обвернетъ на ночь шею заношеннымъ шерстянымъ чулкомъ—«пройдетъ» кашель; «кинетъ» кровь—перестанетъ кровь «проситься». Въ болѣе важныхъ случаяхъ, какъ, напримѣръ, при водянкѣ, желтухѣ и проч., ѣли таракановъ, мокрицъ и даже тѣхъ паразитовъ, которые населяютъ по преимуществу головы меньшей братіи. Но того, чтобъ, какъ только родится человѣкъ, такъ сейчасъ же хлопотать о приписке его къ какому-нибудь органическому поврежденію—этого не было. Случались, правда, и тогда моровыя повѣтрія, но и на это опять-таки была воля Божія. Прегрѣшитъ помпадуръ, въ развратъ впадетъ—сейчасъ на губернію налетитъ или черная немочь, или огневица, или оспа. Тогда архіерей приказываетъ заложить къ колымагу четверку вороныхъ и ѣдетъ, съ двумя иподьяконами на запяткахъ, къ помпадуру печаловаться за сиротъ и молитъ его путь прегрѣшеній оставить. Обыкновенно помпадуръ уступалъ, то-есть Дуньку толстомясую ссылалъ въ дальнюю вотчину или Варьку пучеглазую выдавалъ замужъ за правителя канцеляріи, и тогда черная немочь прекращалась. Но ежели помпадуръ не уступалъ, то болѣзнь продолжала неистовствовать и наконецъ достигала такихъ размѣровъ, что всполошенное начальство само смѣняло помпадура. Тогда опять становилось тихо. Но, повторяю, не было ни такого разнообразія болѣзней, ни такой неизбѣжности ихъ, ни такой точности въ расписаніи людей по роду поврежденій. Все это ввела уже усовершенствованная врачебная наука и поставила этотъ вопросъ на такомъ незыблемомъ основаніи, что укрыться отъ «приписки» стало совсѣмъ некуда. Такъ что, взирая, напримѣръ, на младенца, не о томъ нужно помышлять, поврежденъ онъ или не поврежденъ (это ужъ внѣ сомнѣнія), а о томъ, что̀ именно въ немъ повреждено, и къ какому нарочитому доктору слѣдуетъ обратиться, чтобъ дать младенцу возможность влачить постыдное существованіе.

Ибо и въ смыслѣ врачебной практики совершился прогрессъ. Болѣе подробное изученіе болѣзней, удручающихъ родъ человѣческій, породило большую дробность въ ихъ опредѣленіи и въ то же время дало мѣсто и множеству отдѣльныхъ спеціальностей. Въ прежнее время «лѣкарь» лѣчилъ *всѣхъ* и *отъ всего*. Лѣчилъ и старыхъ и малыхъ, и дворянъ и меньшую братію, и мужескъ и женскъ полъ. Лѣчилъ и отъ головы, и отъ живота, и отъ зубовъ, и кровь

«бросалъ». Нынче первый палецъ правой руки приписанъ къ собственному медику, живущему въ Разъѣзжей, а первый палецъ лѣвой руки—къ медику, живущему на Васильевскомъ острову. Одно ухо лѣчитъ одинъ врачъ, другое—другой. Пріѣхали вы съ пальцемъ правой руки къ медику пальца лѣвой руки—онъ вамъ скажетъ: «конечно, я могу вамъ средствице прописать, а все-таки будетъ вѣрнѣе, если вы съѣздите на Васильевскій Островъ, къ Карлу Иванычу». И что-жъ! за всѣмъ тѣмъ безъ смерти не обойдешься. Ибо при такомъ множествѣ болѣзней и при такомъ разнообразіи спеціальностей одно только и остается прибѣжище: умереть.

Но этого мало: изумительные успѣхи врачебной науки внесли существенныя измѣненія и въ нашъ домашній обиходъ, въ наши, такъ сказать, основы. Ограничусь только однимъ примѣромъ: прежде, бывало, вознамѣрится человѣкъ адюльтеръ совершить, сейчасъ становится передъ дамой сердца на колѣни и въ этомъ положеніи ожидаетъ дальнѣйшихъ инструкцій. И никакихъ непроизвольныхъ скандаловъ при этомъ не возникало, даже если мужъ дамы сердца находился въ сосѣдней комнатѣ. Нынче медицинская наука открыла, что человѣкъ, становясь на колѣни, можетъ сдѣлать неловкое движеніе и повредить себѣ сѣдалищный нервъ. Именно такъ на-дняхъ и случилось. Только-что всталъ молодой человѣкъ на колѣни для ходатайства, какъ вдругъ не взвидѣлъ свѣта и заоралъ. Разумѣется, сбѣжался весь домъ, и прежде всѣхъ прибѣжалъ мужъ. Оказалось, что молодой человѣкъ повредилъ себѣ сѣдалищный нервъ! И вотъ изъ-за подобнаго вздора возникаетъ цѣлый процессъ. Оскорбленный мужъ доказываетъ, что сѣдалищный нервъ былъ поврежденъ—«по», невинная жена утверждаетъ, что—«до». Разумѣется, на судѣ будутъ вызваны эксперты, которые, въ свою очередь, станутъ приводить доводы pro и contra; потомъ то же самое будутъ развивать въ своихъ рѣчахъ адвокаты Балалайкинъ и Подсѣдалищниковъ; потомъ вступятся въ это дѣло газеты. А въ концѣ концовъ окажутся три разбитыхъ существованія... Обращаюсь ко всѣмъ jeunes premiers сороковыхъ годовъ: кто изъ нихъ подозрѣвалъ, что у него есть какой-то сѣдалищный нервъ, который можетъ надѣлать переполоха въ столь обыкновенномъ дѣлѣ, какъ «чуждыхъ удовольствій любопытство»?

Нѣтъ, тысячу разъ былъ правъ графъ Твэрдоонто (см.

предыдущую главу), утверждая, что покуда онъ не ворошилъ вопроса о *не*изобиліи, до тѣхъ поръ хотя и не было прямого изобилія, но было «приспособленіе» къ изобилію. А какъ только онъ тронулъ этотъ вопросъ, такъ тотчасъ же отовсюду и наползло неизобиліе. Точно то же самое повторяется и въ дѣлѣ тѣлесныхъ озлобленій. Только чуть-чуть поворошите эту матерію, а потомъ ужъ и не разстанетесь съ ней.

Извиняюсь передъ читателями за это отступленіе, но оно было необходимо, чтобъ объяснить, въ какой мѣрѣ отцы наши были болѣе благополучны, нежели мы. А если были благополучны, то, стало-быть, отъ нихъ пахло. И отъ нихъ, и отъ ихъ жилищъ.

Далеко ли то время, когда въ московскомъ трактирѣ въ коридоръ нельзя было войти, чтобъ не воскликнуть: «что это, братцы, у васъ какъ будто того... чрезвычайное что-нибудь!» Давно ли мнѣ, при созерцаніи рукъ мѣстныхъ половыхъ, думалось: «ахъ, эти руки! какихъ тайнъ онѣ были укрывателями!» А между тѣмъ гдѣ въ другомъ мѣстѣ такъ сладко пилось и ѣлось, какъ въ московскомъ трактирѣ? Гдѣ больше говорилось умныхъ и свободныхъ рѣчей? Гдѣ больше лгалось? И точно, выпьешь, бывало, листовки («рюмка, двѣ рюмки, три рюмки», скороговоркой выговаривали половые), закусишь янтарнѣйшимъ балыкомъ—и не воняетъ! И руки у половыхъ внезапно дѣлаются чистыя, и скатерти... ахъ, какія бывали тамъ скатерти! Не поймешь, что̀ тутъ совершалось: яичницу ли ѣли, дитё ли сидѣло... даже половые—и тѣ, бывало, стыдились! И то же самое происходило и въ Новотроицкомъ, въ «Саратовѣ», въ Охотномъ ряду у Воронина. И всѣ они были переполнены народомъ, вездѣ пили и ѣли!

Да и не въ одной Москвѣ, а и вездѣ въ Россіи, вездѣ, гдѣ жилъ человѣкъ,—вездѣ пахло. Потому что вездѣ было изобиліе, и всякій понималъ, что изобилія стыдиться нечего. Еще очень недавно въ Пензѣ хозяйственные купцы не очищали ретирадъ, а содержали для этой цѣли на дворахъ свиней. А въ Петербургѣ этихъ свиней ѣли подъ рубрикой «хлѣбной тамбовской ветчины». И говорили: «у насъ въ Россіи трихинъ въ ветчинѣ не можетъ быть, потому что наша свинья хлѣбная».

А нынче, пройдитесь-ка по Тверской—ароматъ! У Шевалдышева — ватерклозеты, въ «Парижѣ»—ватерклозеты... Да и тѣ посѣщаются мало, потому что помѣщикъ нынѣ

наѣзжаетъ легкій, неблагополучный. Только въ Охотномъ ряду (однако и тамъ на половину противъ прежняго) пахнетъ, да еще на Ильинкѣ толстомясые купцы бьются—урчатъ животами... Гамбетты!

Да что тутъ! На-дняхъ получаю письмо изъ Пензы—и тутъ разочарованіе! «Спѣшу подѣлиться съ вами радостной вѣсточкой,—сообщаетъ мѣстный публицистъ:—и мы, пензяки, начали очищать нечистоты не съ помощью свиней, а на законномъ основаніи. Первый, какъ и слѣдовало ожидать, подалъ примѣръ нашъ уважаемый» и т. д. Ну, разумѣется, порадоваться-то я порадовался, но потомъ сообразилъ: какое же однако будетъ распоряженіе насчетъ «тамбовской хлѣбной ветчины»? Вѣдь этакъ, чего добраго, она съ рынка совсѣмъ исчезнуть должна!

Теперь сопоставьте-ка эти наблюденія съ извѣстіями о саранчѣ, колорадскомъ жучкѣ, гессенской мухѣ и пр. и скажите по совѣсти: куда мы идемъ? уже не того ли хотимъ добиться, чтобъ и на крестьянскихъ дворахъ ничѣмъ не пахло?

Конечно, это своего рода идеалъ. Но придется ли дожидаться его осуществленія—это еще вопросъ. По-моему, на крестьянскомъ дворѣ должно обязательно пахнуть, и ежели мы изгонимъ изъ него запахъ благополучія, то будетъ пахнуть недоимками и урядниками.

Итакъ, прежнее московское благополучіе перешло нынѣ въ Парижъ. Конечно, оно выразилось не въ тѣхъ простодушно-ясныхъ формахъ, въ какихъ проявлялось на полномъ, какъ чаша, дворѣ пензенскаго гражданина, но все-таки достаточно опредѣленно, чтобъ удовлетворить самымъ прихотливымъ требованіямъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ во Франціи восторжествовало «законное правительство», съ тѣхъ поръ, какъ буржуа, отдѣлавшись отъ Макъ-Магонскихъ угрозъ, уже не думаетъ о томъ, придется ли ему предать любезное отечество или не придется, Парижу остается только упитываться и тучнѣть. Такова характеристическая черта его существованія за послѣднее время. А слѣдуя его примѣру, упитывается и тучнѣетъ и остальная Франція. Никогда палата депутатовъ не видала въ стѣнахъ своихъ такихъ сытыхъ и жирныхъ сыновъ отечества, какъ тѣ, которые засѣдаютъ въ ней послѣ неудавшихся попытокъ Макъ-Магона и его сподвижниковъ.

Республика, повидимому, отыскала для себя твер[illegible]

ночву, республика сытая, солидная, безъ республиканцевъ. Однимъ словомъ, осуществленіе идеала, излюбленнаго «маленькимъ буржуа», которому недавно воздвигнутъ памятникъ въ С.-Жерменѣ. Этотъ человѣкъ сдѣлалъ все, чтобъ примирить пугливаго буржуа съ словомъ: «республика». Онъ до срока и безъ усилій уплатилъ пруссакамъ контрибуцію, затѣмъ разгромилъ коммуну и въ заключеніе уничтожилъ національную гвардію. Но, главное, онъ указалъ новый исходъ для французскаго шовинизма, выяснивъ, что кромѣ военной славы есть еще слава экономическаго и финансоваго превосходства, которыми можно хвастаться столь же резонно, какъ и военными побѣдами, и притомъ съ меньшею опасностью.

О шовинизмѣ идейной иниціативы онъ, разумѣется, благоразумно умолчалъ, да, признаться, послѣ восемнадцатилѣтняго срамного чребыванія подъ бандитской пятой, было какъ-то не къ лицу и напоминать объ идеяхъ. Во всякомъ случаѣ, установившейся такимъ образомъ республикѣ безъ республиканцевъ удивительно повезло. Во-первыхъ, скромностью своею она снискала уваженіе всей Европы, во-вторыхъ, почти сразу свела на-нѣтъ внутреннія политическія партіи. Изъ нихъ крайнія лѣвыя были поражены въ самое сердце, одновременно съ разгромомъ коммуны; династическія же партіи оказались безпредметными. Шамборъ безплоденъ; Орлеаны плодовиты и многочисленны, но лишены предпріимчивости и хотя достаточно безсовѣстны, но не въ томъ смыслѣ, какой потребенъ для уловленія вселенной, и въ довершеніе благополучія—во цвѣтѣ лѣтъ погибъ Монтихинъ отпрыскъ. Такимъ образомъ монархическія партіи, то-есть тѣ, которыя вслѣдствіе сочувствій вліятельныхъ сферъ имѣли возможность дѣйствительно вредить республикѣ, поставлены въ необходимость бездѣйствовать. Коли хотите, онѣ и теперь еще продолжаютъ протестовать, но дѣлаютъ это вяло, очевидно, только ради формы. Поздравляютъ Шамбора со днями ангела и рожденія, служатъ парадныя панихиды въ дни казней Людовика XVI и Маріи Антуанеты и проч. Но чуть коснется дѣло чего-нибудь болѣе существеннаго, въ родѣ, напримѣръ, субсидій отощавшему Шамбору, въ результатѣ какъ-то всегда оказывается пустое мѣсто. Что же касается до бонапартистовъ, то со смертью Лулу въ средѣ этихъ людей началась такая суматоха, которая несомнѣнно кончится тѣмъ, что шайка эта, утративъ послѣдніе признаки политической партіи, просто-

на-просто увеличитъ собою ряды обыкновенныхъ хищниковъ, наказуемыхъ общими судами.

Однимъ словомъ, никто, кромѣ выжившихъ изъ ума Гаварди и Бодри д'Ассона (первый—сенаторъ, второй—депутатъ; оба — рьяные легитимисты), серьезно на нынѣшнюю французскую республику не претендуетъ. Даже Бисмаркъ—и тотъ относится къ ней безъ озлобленія, хотя и не безъ любопытства. Повидимому, онъ совсѣмъ не того ожидалъ. Онъ разсчитывалъ, что пойдутъ въ ходъ воспоминанія 1789 и 1848 годовъ, что на сцену выдвинется четвертое сословіе въ сопровожденіи цѣлой свиты «проклятыхъ» вопросовъ, что борьба партій обострится, и все это вмѣстѣ взятое дастъ ему поводъ потихоньку да полегоньку разнести по кирпичу очагъ европейскихъ безпокойствъ. И вдругъ, вмѣсто «проклятыхъ» вопросовъ, самая благонадежная каплунья мудрость! Не прошло и десяти лѣтъ, а ужъ Франція заняла «надлежащее» мѣсто въ «совѣтахъ» европейскихъ державъ и вмѣстѣ съ прочими демонстрируетъ, въ водахъ Эгейскаго моря, въ пользу Греціи. А газеты ея съ гордостью возвѣщаютъ, что городъ Парижъ удостоился посѣщенія графа Твэрдоонтэ и другихъ достославныхъ кадетовъ. Разумѣется, Бисмаркъ долженъ сознаться, что это совсѣмъ не входило въ его разсчеты.

Вообще французъ-буржуа какъ нельзя больше доволенъ, что онъ занялъ «надлежащее» мѣсто въ концертѣ европейскихъ державъ, и не нарадуется на своихъ дипломатовъ. Въ Берлинѣ у него—Сенъ-Валье, въ Римѣ—Ноайль, еще гдѣ-то — Даркуръ... совсѣмъ какъ при Людовикѣ XIV! И всѣ они вѣрой и правдой служатъ ему, буржуа, торгующему овошеннымъ товаромъ гдѣ-то въ Rue de Sèze и твердо вѣрующему, что французское благополучіе гораздо успѣшнѣе покоритъ міръ, нежели французское оружіе. Какимъ же образомъ графу Твэрдоонтэ, вмѣстѣ съ прочими кадетами, не почтить Парижа своимъ посѣщеніемъ? Какъ не пройтись ему гоголемъ по boulevard des Italiens, какъ не сообщить мосьё Гамбеттѣ о своихъ видахъ и предположеніяхъ насчетъ харчевно-ресторанаго союза, который, по его мнѣнію, долженъ еще болѣе скрѣпить сердечныя узы, соединяющія Россію съ Франціей? Вѣдь это значило бы обидѣть Сенъ-Валье и Даркура, съ которыми вмѣстѣ онъ, Твэрдоонтэ, предназначенъ судьбою пѣть въ концертѣ европейскихъ державъ...

Но ежели доволенъ буржуа, то мосьё Жюль Греви по-

ложительно долженъ быть внѣ себя отъ восторга. Подумайте! онъ уже имѣетъ въ услуженіи «гарсоновъ» въ родѣ Даркура и Ноайля—отчего же не мечтать о «гарсонахъ» изъ породы Монморанси, Роганъ и Конде? Придетъ время—и самъ Макъ-Магонъ не откажется еще и еще послужить. «Что, братъ, задумался,—скажетъ ему Греви:—переходи-ка въ республиканцы!» И перейдетъ. Греви терпѣливъ и понимаетъ, что всѣ эти переходы—только вопросъ времени. А покуда онъ угощаетъ графа Твэрдоонто охотой въ бывшихъ императорскихъ и королевскихъ резиденціяхъ и прикапливаетъ сокровище изъ остаточковъ отъ президентскаго содержанія. Такъ что если что-нибудь и омрачаетъ его скромное благополучіе, такъ это мысль, что отторженіе Эльзаса и Лотарингіи мѣшаетъ достойнымъ образомъ чествовать въ стѣнахъ Парижа Бисмарка и Мольтке.

Словомъ сказать, всѣ въ восторгѣ отъ современной французской республики, начиная съ графа Твэрдоонто и кончая княземъ Бисмаркомъ, который, какъ говорятъ, спитъ и видитъ хоть на часокъ побывать въ Парижѣ и посмотрѣть на «La femme à papa». Одно только вредитъ ей — это названіе: «республика», а впрочемъ, и это дѣло скоро уладятъ календари. Да вѣдь и есть такая форма государственнаго общежитія, есть. Что дѣлать! даже въ учебникахъ, для среднихъ учебныхъ заведеній изданныхъ, объ этой формѣ правленія упоминается (такъ прямо и пишутъ: форма *правленія*); даже въ стѣнахъ Новороссійскаго университета тайному совѣтнику Панютину, въ Одессѣ сущу, провозглашалось: четыре суть формы правленія: деспотическая, монархическая неограниченная, монархическая ограниченная и... республиканская! И тайный совѣтникъ Панютинъ огорчался, но не возражалъ...

Повторяю: всѣ довольны французской республикой, никто не протестуетъ противъ нея, но доволенъ ли ею французскій рабочій — объ этомъ я ничего сказать не могу. Не знаю. Вообще говоря, въ предлагаемомъ этюдѣ о французахъ я исключительно разумѣю французскую буржуазію, которая въ настоящее время представляетъ собой управляющее сословіе. Съ жизнью французскаго народа, въ тѣсномъ значеніи этого слова, съ его вѣрованіями и надеждами, я совсѣмъ незнакомъ и даже городского рабочаго знаю лишь поверхностно. Я допускаю, конечно, что «народъ» представляетъ собой матеріалъ гораздо болѣе заслуживающій изученія, нежели угрожающій лопнуть отъ пре-

сыщенія буржуа, но дальше общихъ и довольно туманныхъ догадокъ въ этомъ смыслѣ идти не могу.

Во французскихъ газетахъ довольно часто случается встрѣчаться съ очень дробными и любопытными рубриками, на которыя, въ политическомъ смыслѣ, подраздѣляются въ современной Франціи «сыны народа». Существуютъ рабочіе-бонапартисты, рабочіе-легитимисты, рабочіе-оппортунисты, рабочіе-соціалисты, рабочіе-клерикалы, рабочіе-свободные мыслители и даже рабочіе, не признающіе ничего, кромѣ спиртныхъ напитковъ (замѣчательно, впрочемъ, что никто никогда не слыхивалъ о рабочемъ-орлеанистѣ). Нерѣдко въ Парижѣ организуются сборища, на которыхъ трактуются близкіе для рабочихъ вопросы и на которыхъ, въ качествѣ непремѣнныхъ членовъ, присутствуютъ полицейскіе комиссары, вспомоществуемые соотвѣтствующимъ количествомъ gardiens de la paix и мушаровъ. И одновременно съ этими сборищами въ процессіяхъ, предпринимаемыхъ по поводу всевозможныхъ богомолій и дней ангеловъ (Шамбора, Наполеона, Евгеніи), тоже фигурируютъ болѣе или менѣе компактныя группы сыновъ народа, распѣвающихъ приличныя случаю кантаты.

Итакъ, съ одной стороны соціально-демократическая пропаганда, а съ другой—поздравленія съ ангеломъ. Съ одной стороны — «Марсельеза» и красное знамя, съ другой— «Vive Henri IV» и знамя съ бѣлыми лиліями. И все это идетъ рядомъ и выливается изъ одного и того же до краевъ переполненнаго источника. Что *благородный* бонапартистъ уживается рядомъ съ *благороднымъ* соціалистомъ— въ этомъ еще нѣтъ чуда, ибо и тотъ и другой живутъ достаточно просторно, чтобъ не мозолить другъ другу глаза. Но вѣдь рабочій людъ живетъ скученно, тѣсня другъ друга и слѣдуя другъ за другомъ, такъ сказать, по пятамъ. Какимъ же образомъ въ этой скученной средѣ выдѣляются столь несовмѣстимыя разновидности, и сколько въ нихъ, въ этихъ разновидностяхъ, есть искренняго и сколько театральнаго, подкупного?

Признаюсь, эти вопросы не мало интересовали меня. Не разъ порывался я проникнуть въ Бельвиль или, по малой мѣрѣ, въ какой-нибудь débit de vins на одной изъ городскихъ окраинъ, чтобы собрать хотя нѣкоторыя типическія черты, характеризующія эти противоположныя теченія. Но, по размышленіи, вынужденъ былъ оставить эту затѣю навсегда.

Для путешественника (и въ особенности русскаго) подобнаго рода предпріятія почти недоступны. Во-первыхъ, интимная жизнь рабочаго люда въ Парижѣ, какъ и вездѣ, сосредоточивается въ такихъ захолустьяхъ, куда иностранцу нѣтъ ни желанія, ни даже возможности проникнуть. Парижскій рабочій охотно оказываетъ иностранцу услуги и, видя въ немъ денежнаго человѣка и вѣрнаго заказчика, смотритъ на приливъ чужеземнаго элемента, какъ на залогъ предстоящаго торговаго и промышленнаго оживленія, которое можетъ не безъ выгоды отразиться и на немъ. Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ иностранецъ для него безличное существо, нуль. Помочь онъ ему не можетъ ужъ по тому одному, что голосъ его не имѣетъ *здѣсь* ни малѣйшаго авторитета. Кровно заинтересоваться его нуждою тоже не имѣетъ повода, потому что эта нужда есть результатъ безчисленнаго множества мѣстныхъ и историческихъ условій, въ оцѣнкѣ которыхъ принимаютъ участіе не только умъ и чувство, но и интимные инстинкты, связывающіе человѣка съ его родиной. Вѣдь у этого самаго иностранца на родинѣ остались массы рабочаго люда, которыя тоже могутъ дать пищу самой широкой любознательности, а онъ вотъ пріѣхалъ въ Парижъ. Очевидно, онъ явился сюда совсѣмъ не ради рабочаго вопроса, а для того, чтобъ жуировать, заказывать, покупать, любоваться произведеніями искусствъ. Но онъ, пресытившись всѣмъ этимъ, задумалъ проникнуть въ рабочую среду. Очень возможно, что это только назойливый празднолюбецъ, въ родѣ Герольштейнскаго принца, но кто же поручится, что онъ и... не шпіонъ? Да, и шпіонъ, и не кѣмъ другимъ подосланный, а именно Бисмаркомъ. Съ тѣхъ поръ, какъ пруссаки побывали въ Парижѣ, убѣжденіе о вездѣсущіи прусскаго шпіона до того утвердилось въ умахъ французской меньшей братіи, что никакими доказательствами его не сокрушишь.

Во-вторыхъ, для русскаго путешественника есть еще и особенная причина, которая заставляетъ его воздерживаться отъ проникновенія въ рабочую среду. Нельзя дотронуться до рабочаго человѣка безъ того, чтобъ изъ этого не вышло превратнаго толкованія. А у насъ на этотъ счетъ такъ заведено: если есть превратное толкованіе, то, стало-быть, есть и соотвѣтствующее оному мѣропріятіе. Разумѣется, было бы преувеличенно утверждать, чтобъ логика событій всегда дѣйствовала въ этихъ случаяхъ съ строгою неумолимостью, но если даже примѣнить сюда, въ качествѣ

ободряющаго обстоятельства, пресловутое «какъ посмотрѣть», то все-таки выйдетъ порядочный рискъ. Я охотно допускаю, что, напримѣръ, въ настоящую минуту не найдется ничего предосудительнаго въ томъ, что зрѣлыхъ лѣтъ мужчина интересуется рабочимъ вопросомъ... на Западѣ; но вѣдь причина этого благополучнаго отношенія заключается не въ самой непредосудительности факта, а въ томъ, что общее правило «какъ посмотрѣть» случайно приняло менѣе суровый характеръ. Еще вчера то же самое правило стояло гораздо солиднѣе, а завтра, быть-можетъ, запросъ на благополучіе и совсѣмъ прекратится. На сцену выступитъ запросъ на вывороченныя къ лопаткамъ руки, на шиворотъ и другія процессуальныя подробности русской просвѣтительной дѣятельности, воспоминаніе о которыхъ не оставляетъ русскаго человѣка и за границей. Съ какими глазами предстанетъ тогда, по возвращеніи въ домъ свой, «зрѣлыхъ лѣтъ» человѣкъ, который, понадѣявшись на поднявшійся курсъ «благополучія», побывалъ на сходкахъ рабочихъ въ циркѣ Фернандо, да, пожалуй, еще съѣздилъ съ этою цѣлью въ Марсель на рабочій конгрессъ?

Нѣтъ, лучше уже держаться около буржуа. Вѣдь онъ еще во времена откуповъ считался бюджетнымъ столпомъ, а теперь, съ размноженіемъ Колупаевыхъ и Разуваевыхъ, пожалуй, на немъ одномъ только и покоятся всѣ надежды и упованія.

Итакъ, говоря объ унаслѣдованіи современнымъ Парижемъ благополучія дореформенной Москвы, я разумѣю по преимуществу парижскаго буржуа, котораго, благодаря необыкновенно счастливому стеченію обстоятельствъ, начинаетъ уже распирать отъ сытости.

Со временъ франко-прусской войны матеріальное благосостояніе Франціи не только не умалилось, но съ какою-то невиданною выпуклостью выступило наружу, на зависть всѣмъ. Денегъ — не клюютъ куры; заводская и фабричная производительность едва успѣваетъ удовлетворять требованіямъ заказчиковъ; балансъ — прелестнѣйшій; бюджетъ — прихотливый и не знающій дефицита; желѣзнодорожная сѣть проникаетъ въ самые отдаленные уголки; забастовки рабочихъ хотя и нерѣдки, но непродолжительны и всегда кончаются къ обоюдному удовольствію. Буржуа до такой степени сытъ, что чувствуетъ потребность подѣлиться и съ меньшимъ братомъ. Поэтому, когда рабочіе начинаютъ предъявлять требованія, то онъ, конечно, для формы во-

кобенится, но именно только для формы, въ концѣ же концовъ благодушно скажетъ: «на-те! рвите мои внутренности... ненасытные!» И вотъ въ результатѣ обоюдное удовольствіе.

Въ довершеніе всего, въ Парижъ отовсюду стекается такая масса всякаго рода провизіи, что, кажется, если-бъ у буржуа, вмѣсто одной, было двѣ утробы, то и тутъ онъ всего бы не умѣстилъ.

Окрестности Парижа доставляютъ тончайшіе овощи и фрукты; Нормандія и Турень—фрукты, молочные скопы и живность; Бретань — всякаго рода мясо и самыхъ молочныхъ кормилицъ; Перигё—пироги съ начинкой; Гасконь—душистые трюфли, душистое вино и лгуновъ; Бургонь — вино и живность; Шампань—шампанское; Ліонъ—колбасу; Провансъ — оливковое масло; Ницца — фрукты въ сахарѣ; Пиренеи — красныхъ куропатокъ; Ланды — перепелокъ и ортолановъ; океанъ и Средиземное море — всевозможные сорта рыбъ, раковъ и устрицъ... Когда буржуа начинаетъ перечислять всѣ эти богатства, то захлебывается слюнями, и глаза у него получаютъ какой-то неблагонадежный блескъ: такъ и кажется, что вотъ-вотъ сейчасъ онъ перерветъ собесѣднику горло. Даже о потерѣ Страсбурга нынѣшній буржуа жалѣетъ не столько по причинѣ его знаменитой колокольни, сколько съ точки зрѣнія страсбургскаго пирога, котораго не замѣнилъ даже пресловутый перигорскій пирогъ. Въ одномъ только пунктѣ буржуа чувствуетъ себя уязвленнымъ: нѣтъ у него русскаго рябчика, о которомъ гостившая въ Россіи баронесса Каулла («la fille Kaoulla», какъ называли ее французскія газеты) разсказывала чудеса (еще бы! самъ Юханцевъ кормилъ ее ими). Но и тутъ есть лучъ надежды: Гамбетта, какъ слышно, уже шепчется о чемъ-то съ графомъ Твэрдоонтò! Въ началѣ осени они вмѣстѣ завтракали въ café Anglais, и на завтракѣ инкогнито присутствовалъ принцъ Уэльскій (платилъ Твэрдоонтò). А въ сосѣднемъ cabinet, въ это же самое время, Каулла завтракала съ генераломъ Сиссэ. И хотя на другой день въ газетахъ было объявлено, что эти завтраки не имѣли политическаго характера, но буржуа только хитро подмигиваетъ, читая эти толкованія, и, потирая руки, говоритъ: «Вотъ увидите, что черезъ годъ у насъ будутъ рябчики! будутъ!» И затѣмъ, въ тайнѣ сердца своего, присовокупляетъ: «И, можетъ-быть, благодаря усердію республиканской дипломатіи, возвратятся подъ сѣнь трехцвѣтнаго знамени и страсбургскіе пироги!»

Но повторяю: сытость настолько благотворно дѣйствуетъ на человѣческое сердце, что этому общему правилу не можетъ не подчиниться и буржуа. Не будучи въ состояніи заглотать все, что̀ плыветъ къ нему со всѣхъ концовъ любезнаго отечества, онъ добродушно удѣляетъ меньшей братіи, за удешевленную цѣну, то, что̀ не можетъ пожрать самъ. Эти остатки, въ видѣ объѣдковъ пироговъ, котлетъ, жаренаго мяса, живности и даже въ видѣ застывшихъ подливокъ, продаются въ особенномъ отдѣленіи Halles centrales и извѣстны подъ именемъ bijoux. Они-то собственно и составляютъ главное основаніе стряпни въ тѣхъ маленькихъ ресторанахъ, въ которыхъ питается недостаточное населеніе столицы міра. Приправленные пряностями, облитые разогрѣтыми подливками и поданные въ видѣ дымящихся рагу и паштетовъ, они, съ одной стороны, ласкаютъ обоняніе, съ другой — производятъ изжогу. Но бѣднякъ охотно забываетъ второе, чтобъ всецѣло предаться благороднымъ впечатлѣніямъ о первомъ. Впрочемъ, и первое и второе уже настолько вошли въ его жизненный обиходъ, что не составляютъ для него неожиданности, а слѣдовательно не вызываютъ ни особенной радости, ни особеннаго огорченія.

Извѣстно ли рабочему человѣку родопроисхожденіе этихъ рагу? Знаетъ ли онъ, что вотъ этотъ самый обрывокъ сосиски, который какъ-то совсѣмъ неожиданно вынырнулъ изъ-подъ груды загадочныхъ мясныхъ фигурокъ, былъ вчера ночью обгрызенъ въ Maison d'Or генералъ-майоромъ Отчаяннымъ въ сообществѣ съ la fille Kaoulla? знаетъ ли онъ, что въ это самое время Юханцевъ, по сочувствію, стоналъ въ Красноярскѣ, а члены взаимнаго поземельнаго кредита восклицали: «Такъ вотъ она, та пропасть, которая поглотила наши денежки!»? Знаетъ ли онъ, что вотъ этой самой рыбьей костью (на ней осталось чуть-чуть мясца) русскій концессіонеръ Губошлеповъ ковырялъ у себя въ зубахъ, тщетно ожидая въ кафѣ Ришъ ту же самую Кауллу и мысленно ропща: «Сколько тыщъ ужъ эта шельма изъ меня вымотала, а все только одни разговоры разговариваетъ!»? Знаетъ ли онъ, что вотъ этотъ волосъ, который прилипъ у него на языкѣ, принадлежитъ дѣвицѣ Круазеттъ и составляетъ часть локона, подареннаго ею на память герцогу Омальскому? Знаетъ ли онъ наконецъ, что этотъ песокъ, который сію минуту хруснулъ у него на зубахъ, составляетъ часть горсти земли, взятой рьянымъ бонапар-

тистомъ съ могилы Лулу и составлявшей предметъ пламенныхъ тостовъ на вчерашнемъ банкетѣ въ Hôtel Continental?

Я думаю, что онъ знаетъ все это, но, разумѣется, дѣлаетъ видъ, что не знаетъ. Ибо не притворись онъ незнающимъ—ему, просто по чувству приличія, пришлось бы отказаться отъ рагу и отъ мясной пищи вообще. Быть-можетъ, ему предстояло бы даже познакомиться съ подспорьемъ въ видѣ мякины, потому что, какъ ни благодушенъ буржуа, но онъ поступается мясцомъ только въ формѣ объѣдковъ; за натуральное же мясо и цѣну деретъ натуральную. Между тѣмъ мясо необходимо меньшему брату, даже если-бъ оно являлось въ еще болѣе неожиданныхъ очертаніяхъ, ибо оно поддерживаетъ необходимую для труда бодрость и силу. И вотъ онъ глотаетъ свои рагу и—risum teneatis, amici!—даже пускается въ ихъ расцѣнку... Лакомка!

Но ежели меньшій братъ знаетъ родословную объѣдковъ, то благодаренъ ли онъ за нихъ буржуа? На этотъ вопросъ я удовлетворительно отвѣтить не могу. Думаю однако-жъ, что особеннаго повода для благодарности не имѣется, и ежели бѣднякъ въявь не высказываетъ своей враждебности по поводу объѣдковъ, то по секрету все-таки прикапливаетъ ее. Да, доглодать обглоданную Губошлеповымъ рыбью кость—это-таки штука не послѣдняя! но до поры до времени приходится подчиняться даже этой горькой необходимости, ибо буржуа хитеръ. Онъ окружилъ Парижъ бастіонами, распустилъ національную гвардію и ввелъ такую дисциплину въ военномъ персоналѣ, составляющемъ мѣстный гарнизонъ, что только держись! И, совершивши все это, блаженствуетъ.

Тѣмъ не менѣе, какъ ни пріятна сытость, но и она имѣетъ свои существенныя неудобства. Она отяжеляетъ человѣка, сообщаетъ его дѣйствіямъ сонливость, его мышленію—вялость. Черезчуръ сытый человѣкъ требуетъ отъ жизни только одного: чтобъ она какъ можно меньше затрудняла его, какъ можно меньше ставила на его пути преградъ и поводовъ для пытливости и борьбы. Самыя наслажденія, въ глазахъ сытаго человѣка, пріобрѣтаютъ цѣнность лишь въ томъ случаѣ, когда они достигаются легко, приплываютъ къ нему, такъ сказать, сами собой. Мы, русскіе сытые люди, круглый годъ питающіеся блинами, пирогами и калачами, кое-что знаемъ о томъ духовномъ остолбенѣніи, при которомъ единственную лучезарную точку въ жизни

человѣка предоставляетъ сонъ, съ цѣлою свитою свистовъ, носовыхъ завертокъ, утробныхъ сновидѣній и кошмаровъ. Оттого-то, быть-можетъ, у насъ и нѣтъ тѣхъ формъ обезпеченности, которыя представляетъ общественно-политическій строй на Западѣ. Но зато есть блины.

Французъ-буржуа хотя и не дошелъ еще до столбняка, но уже настолько отяжелѣлъ, что всякое лишнее движеніе, въ смыслѣ борьбы, начинаетъ ему казаться не только обременительнымъ, но и неумѣстнымъ. Традиція, въ силу которой главная привлекательность жизни, по преимуществу, сосредоточивается на борьбѣ и отыскиваніи новыхъ горизонтовъ, съ каждымъ днемъ все больше и больше теряетъ кредитъ. Буржуа ищетъ не волненій, а спокойствія, легкаго уразумѣнія и во всемъ благого поспѣшенія. Въ дѣлѣ религіи онъ заявляетъ претензію, чтобъ Богъ, безъ всякихъ съ его стороны усилій, motu proprio, посылалъ ангеловъ своихъ для охраны его. Въ дѣлѣ науки онъ цѣнитъ только прикладныя знанія, нагло игнорируя всю подготовительную теоретическую работу и предоставляя изслѣдователямъ истины отыскивать ее на собственный рискъ. Въ дѣлѣ публицистики онъ любитъ газетныя строчки, въ которыхъ коротенько излагается, съ кѣмъ завтракалъ наканунѣ Гамбетта, какія титулованныя особы удостоили своимъ посѣщеніемъ Парижъ; и приходитъ въ восторгъ, когда при этомъ ему докладываютъ, что самъ Бисмаркъ, въ интимномъ разговорѣ съ Подхалимовымъ, нашелъ Франціи достойною участвовать въ концертѣ европейскихъ державъ. Въ дѣлѣ беллетристики онъ противникъ всякихъ психологическихъ усложненій и анализовъ и требуетъ отъ автора, чтобъ онъ безъ отвлеченныхъ околичностей, но съ возможно-бо̀льшимъ разнообразіемъ «особыхъ примѣтъ», объяснилъ ему, какимъ тѣломъ обладаетъ героиня романа, съ кѣмъ и когда, и при какихъ обстоятельствахъ она совершила первый, второй и послѣдующіе адюльтеры, въ какомъ была каждый разъ платьѣ, заставляла ли себя умолять или сдавалась безъ разговоровъ, и ежели дѣло происходило въ cabinet particulier, то въ какомъ именно ресторанѣ, какіе прислуживали гарсоны, и что̀ именно было съѣдено и выпито. Даже въ своихъ любовныхъ предпріятіяхъ онъ не терпитъ запутанности и лишнихъ одеждъ, а настаиваетъ, чтобъ все совершалось чередомъ, безъ промедленія времени... сейчасъ!

Разумѣется, эта сонливая простота воззрѣній не можетъ

не отражаться и на цѣломъ жизненномъ строѣ современной Франціи.

Начать съ Бога, который положительно стѣсняетъ буржуа. Попы требуютъ, чтобъ буржуа ходилъ къ обѣднѣ, и тѣмъ, которые ходятъ, обѣщаютъ вѣчное блаженство, а тѣмъ, которые не ходятъ,—вѣчныя адскія мýки. Всякій буржуа—вольнодумецъ по преданію, но въ то же время онъ трусъ и, какъ я уже замѣтилъ выше, любитъ перекрестить себѣ пупокъ—такъ, чтобъ никто этого не замѣтилъ. Однако-жъ онъ дѣлаетъ послѣднюю уступку лишь потому, что она ничего не стóитъ, а сверхъ того, неровенъ случай, можетъ и пригодиться. Но чтобъ попъ позволялъ себѣ публично угрожать ему или соблазнять наградами—этого онъ ужъ никакъ потерпѣть не можетъ. На этой почвѣ онъ издавна, съ неравнымъ успѣхомъ, но упорно борется съ попомъ, а съ легкой руки Вольтера эта борьба приняла очень яркій и даже торжествующій характеръ. До сихъ поръ однако-жъ это все-таки была только борьба, самое существованіе которой свидѣтельствовало о гадательности исхода. Нынѣ буржуа почувствовалъ себя настолько окрѣпшимъ, что ему кажется уже удивительнымъ, стóило ли объ этомъ такъ долго и много хлопотать. Гораздо проще—упразднить поповскаго Бога совсѣмъ; а для домашняго обихода декретировать Бога лаицизированнаго (безъ знаковъ отличія). Сказано—сдѣлано. Сначала буржуа поручилъ это дѣло своему министру Фрейсинэ, а когда послѣдній оказался черезчуръ податливымъ, то уволилъ его въ отставку и ту же задачу возложилъ на министра Ферри. И вотъ теперь въ цѣлой Франціи дѣйствуетъ Богъ лаицизированный. Сколько вѣковъ этотъ вопросъ волновалъ умы, сколько стрѣлъ было выпущено по этому поводу однимъ Вольтеромъ, а буржуа взялъ да въ одинъ мигъ рѣшилъ, что тутъ и разговаривать не объ чемъ. Правда, что онъ еще не вычеркнулъ окончательно слова «Богъ» изъ своего лексикона, но очевидно, что это только лазейка, оставленная на случай могущей возникнуть надобности, и что отнынѣ никакія напоминанія о предстоящихъ блаженствахъ и мýкахъ уже не будутъ его тревожить.

Я слышалъ однако-жъ, что вопросъ о конгрегаціяхъ, съ такою изумительною легкостью и даже не безъ комизма приведенный къ концу прошлою осенью, чуть-было не произвелъ разрыва между Гамбеттой и графомъ Твэрдоонтô. Графъ случился въ это время въ Парижѣ и былъ до глу-

бины души скандализированъ. Онъ вспомнилъ, какъ, во дни его юности, его вывели mit Skandal und Trompeten изъ заведенія Марцинкевича, и не могъ придти въ себя отъ сердечной боли, узнавъ, что тотъ же самый пріемъ допущенъ мосьё Кобе (chef de sûreté, онъ же и позитивистъ) относительно отцовъ «реколлетовъ». Ну, разумѣется, вступился. Выбралъ часъ завтрака и отправился къ Гамбеттѣ.

— Нельзя безъ Бога, Гамбетта!—усовѣщивалъ онъ президента палаты депутатовъ:—вы сами скоро убѣдитесь, что нельзя! Скажу вамъ, со мной въ корпусѣ такой случай былъ. Обыкновенно, не приготовивъ урока, я обращался къ Богу, прося, чтобъ учитель не вызвалъ меня. И хотя это случалось довольно часто, но Богъ, по неизреченному къ мнѣ милосердію, а можетъ-быть, и во вниманіе къ заслугамъ моихъ родителей, никогда не оставлялъ моей молитвы безъ исполненія. И вдругъ однажды я возгордился. Урока-то не приготовилъ, да и Богу помолиться пренебрегъ. И что же произошло? Прежде всего учитель сейчасъ же меня вызвалъ и поставилъ мнѣ ноль; вслѣдъ затѣмъ я былъ пойманъ въ куреніи, потомъ напился пьянъ и нагрубилъ дежурному офицеру. А къ вечеру былъ уже высѣченъ. Что вы скажете объ этомъ?

Но Гамбетта уклонился отъ прямого отвѣта и только сочувственно произнесъ:—Ссс...

— Не думайте, впрочемъ, Гамбетта,—продолжалъ Твэрдоонто:—чтобъ я былъ суевѣренъ... ни мало! Но я говорю одно: когда мы затѣваемъ какое-нибудь мѣропріятіе, то прежде всего обязываемся понимать, противъ чего мы его направляемъ. Если-бъ вы имѣли дѣло только съ людьми цивилизованными — ну, тогда, я понимаю... Ни вы, ни я... О, разумѣется, для насъ... Но народъ, Гамбетта! вспомните, что такое народъ? И что у него останется, если онъ не будетъ чувствовать даже этой узды?

Но Гамбетта только качалъ головой и время отъ времени произносилъ:—Ссс...—Какъ истинно коварный генуэзецъ, онъ не только не раздражалъ своего собесѣдника возраженіемъ, но даже охотно уступилъ ему, что безъ Бога—нельзя.

— Такъ за чѣмъ же дѣло стало?—радостно воскликнулъ Твэрдоонто, протягивая руки.

Однако Гамбетта и тутъ нашелся: не говоря ни слова, позвонилъ и приказалъ сервировать завтракъ. Подали какой-то необычайной красоты руанскую утицу и къ ней со-

вершенно сѣдую бутылку Понтѐ-Канѐ. Разумѣется, Твердоонтѐ только языкомъ щелкнулъ.

И такимъ образомъ разрывъ былъ устраненъ. Съѣли утицу, выпили Понтѐ-Канѐ, и о Богѣ—ни гугу! Вотъ какъ ловко дѣйствуетъ современная французская дипломатія.

Ту же самую несложность требованій простираетъ современный буржуа и къ родной литературѣ. Было время, когда во Франціи господствовала беллетристика идейная, героическая. Она зажигала сердца и волновала умы; не было безвѣстнаго уголка въ Европѣ, куда бы она не проникла съ своимъ свѣточемъ, всюду распространяя пропаганду идеаловъ будущаго въ самой общедоступной формѣ. Люди сороковыхъ годовъ и доселѣ не могутъ безъ умиленія вспоминать о Жоржъ-Зандѣ и Викторѣ Гюго, который, впрочемъ, вступилъ на стезю новыхъ идеаловъ нѣсколько позднѣе. Сю, менѣе талантливый и теперь почти забытый,—и тотъ читался нарасхватъ, благодаря тому, что онъ обращался къ тѣмъ инстинктамъ, которые представляютъ собой лучшее достояніе человѣческой природы. Даже въ Бальзакѣ, несмотря на его соціально-политическій индифферентизмъ, невольно просачивалась тенденціозность, потому что въ то тенденціозное время не только люди, но и камни вопіяли о героизмѣ и идеалахъ.

За этой же героической литературой шла и русская беллетристика сороковыхъ годовъ. И не только беллетристика, но и критика, воспитательное значеніе которой было едва ли даже въ этомъ смыслѣ не рѣшительнѣе.

Современному французскому буржуа ни героизмъ, ни идеалы ужъ не подъ силу. Онъ слишкомъ отяжелѣлъ, чтобъ не пугаться при одной мысли о личномъ самоотверженіи, и слишкомъ удовлетворенъ, чтобъ нуждаться въ расширеніи горизонтовъ. Онъ давно уже понялъ, что горизонты могутъ быть расширены лишь въ ущербъ ему, и потому, на почвѣ расширенія, охотно примирился бы даже съ Бонапартомъ, если-бъ этотъ выходъ былъ для него единственный. Но, во-первыхъ, ему навернулось нѣчто другое, болѣе подходящее и въ смыслѣ горизонтовъ столь же вожделѣнное; а во-вторыхъ, духъ авантюризма въ соединеніи съ тупоуміемъ—свойства, въ высшей степени украшавшія бандита, державшаго, въ теченіе восемнадцати лѣтъ, въ своихъ рукахъ судьбы Франціи,—испугали буржуа. Обуреваемый жаждой приключеній, бандитъ никогда не могъ опредѣлить, во что обойдется предполагаемое приключеніе и куда оно приве-

деть. И такимъ образомъ дошелъ до прусскаго нашествія. Буржуа не можетъ безъ злости вспомнить, что пруссаки выпили все вино, хранившееся въ его погребахъ, выкурили всѣ его сигары, выкрали изъ его шкаповъ платье, посуду и серебро, и даже часы съ каминовъ. Онъ можетъ забыть гибель сыновъ Франціи, измѣнническую сдачу Метца, панику худо вооруженныхъ и неодѣтыхъ войскъ, но забыть пропажу часовъ, за которые онъ заплатилъ столько-то сотенъ франковъ, rubis sur ongle—никогда! И вотъ это-то вѣчно присущее воспоминаніе о выпитомъ винѣ и исчезнувшихъ часахъ и уничтожило весь престижъ наполеоновской идеи. А тутъ же, кстати, вспомнилось, что не худо бы посчитать, во что обошлись Франціи приключенія бандита. Посчитали—и оказалась такая прорва, что буржуа даже позеленѣлъ отъ злости при мысли, что эту прорву наполнилъ онъ изъ собственнаго кармана, и что всѣ эти деньги остались бы у него, если-бъ онъ въ 1852 году съ испугу не предалъ бандиту февральскую республику. Но зато теперь онъ республику ужъ не предастъ. Теперь у него *своя собственная* республика, республика спроса и предложенія, республика накопленія богатствъ и блестящихъ торговыхъ балансовъ, республика, въ которой не будетъ ни «приключеній», ни... «горизонтовъ». Эта республика обезпечила ему все, во имя чего нѣкогда онъ направо и налѣво расточалъ іудины поцѣлуи и съ легкимъ сердцемъ предавалъ свое отечество въ руки перваго встрѣчнаго хищника. А именно: обезпечила сытость, спокой и возможность собирать сокровища. И сверхъ того она бдительно слѣдитъ за легкаго поведенія дѣвицами, не ради торжества добродѣтели, а дабы его же, буржуа, оградить отъ тѣлесныхъ поврежденій.

И буржуа, дѣйствительно, такъ плотно засѣлъ въ своей сытости и такъ прочно со всѣхъ сторонъ окопался, что отнынѣ уже никакія «приключенія» не настигнутъ его.

Но эта безыдейная сытость не могла не повліять и на жизнь. Проникласъ ею и современная французская литература и для того, чтобъ скрыть свою низменность, не безъ наглости подняла знамя реализма. Слово это небезызвѣстно и у насъ, и даже едва ли не раньше, нежели во Франціи, по поводу его у насъ было преломлено достаточно копій. Но размѣры нашего реализма нѣсколько иные, нежели у современной школы французскихъ реалистовъ. Мы включаемъ въ эту область *всего* человѣка, со *всѣмъ* разнообразіемъ его опредѣленій и дѣйствительности; фран-

цузы же главнымъ образомъ интересуются торсомъ человѣка и изъ всего разнообразія его опредѣленій съ наибольшимъ раченіемъ останавливаются на его физической правоспособности и на любовныхъ подвигахъ. Съ этой точки зрѣнія Викторъ Гюго, напримѣръ, представляется въ глазахъ Зола чуть не гороховымъ шутомъ, да, вѣроятно, той же участи подверглась бы и Жоржъ-Зандъ, если-бъ очередь дошла до нея. По крайней мѣрѣ никто нынче объ ней не вспоминаетъ, хотя за ней числятся такія созданія, какъ «Орасъ» и «Лукреція Флоріани», въ которыхъ подавляющій реализмъ идетъ объ руку съ самою горячею и страстною идейностью.

Во главѣ современныхъ французскихъ реалистовъ стоитъ писатель, несомнѣнно талантливый—Зола. Однако-жъ и онъ не сразу удовлетворилъ буржуа (казался слишкомъ труднымъ), такъ что романы его долгое время пользовались гораздо бо̀льшею извѣстностью за границей (особенно въ Россіи), нежели во Франціи. «Ассомуаръ» былъ первымъ произведеніемъ, обратившимъ на Зола серьезное вниманіе его соотечественниковъ, да и то едва ли не потому, что въ немъ на первомъ планѣ фигурируютъ представители тѣхъ «новыхъ общественныхъ наслоеній», о близкомъ нашествіи которыхъ почти въ то же самое время нѣсколько рискованно возвѣщалъ сфинксъ-Гамбетта (Наполеонъ III любилъ, чтобъ его называли сфинксомъ; Гамбетта—тоже) въ одной изъ своихъ рѣчей. Любопытно было взглянуть на этого дикаря, вандала-гунна-готѳа, къ которому еще Байронъ взывалъ: «arise ye, Goths!» и котораго давно уже не безъ страха поджидаетъ буржуа, и даже совсѣмъ было-дождался въ лицѣ парижской коммуны, если-бъ маленькій Тьеръ, споспѣшествуемый Макъ-Магономъ и удалымъ капитаномъ Гарсеномъ *), не поспѣшилъ на помощь и не утопилъ готѳа въ его собственной крови.

И точно, Зола настолько испугалъ буржуа, что въ самое короткое время «Ассомуаръ» разошелся во множествѣ из-

*) Капитанъ Гарсенъ—тотъ самый, который во время торжества версальскихъ войскъ надъ коммуной разстрѣлялъ депутата Милльера за «вредное направленіе» его литературной дѣятельности (а мы-то жалуемся!). Въ виду войскъ и толпы онъ велѣлъ поставить его на колѣни на ступеняхъ Пантеона (боюсь ошибиться, но кажется, что тамъ) и наклонить ему голову въ знакъ того, что онъ проситъ прощенія за причиненный его литературной дѣятельностью вредъ. И когда это было выполнено—приказалъ застрѣлить Милльера. Капитанъ Гарсенъ и понынѣ состоитъ на службѣ.

даній. Но все-таки это былъ успѣхъ испуга; дѣйствительнымъ же любимцемъ, художникомъ по сердцу буржуа и всефранцузскою знаменитостью Зола сдѣлался лишь съ появленіемъ «Нана». Представьте себѣ романъ, въ которомъ главнымъ лицомъ является сильно дѣйствующій женскій торсъ, не прикрытый даже фиговымъ листомъ, общедоступный, какъ проѣзжій шляхъ, и не представляющій никакихъ опредѣленій, кромѣ подробнаго каталога «особыхъ примѣтъ», знаменующихъ полъ. Затѣмъ поставьте, въ pendant къ этому сильно дѣйствующему торсу, соотвѣтствующее число мужскихъ торсовъ, которые тоже ничего другого, кромѣ особыхъ примѣтъ, знаменующихъ полъ, не представляютъ. И потомъ, когда всѣ эти торсы надлежащимъ образомъ поставлены, когда, по манію автора, вокругъ нихъ создалась обстановка изъ бутафорскихъ вещей самаго послѣдняго фасона, особыя примѣты постепенно приходятъ въ движеніе, и передъ глазами читателя завязывается бестіальная драма... Спрашивается: какихъ еще болѣе возбуждающихъ усладъ можетъ требовать буржуа, въ которомъ сытость дошла до такихъ геркулесовыхъ столповъ, что едва не погубила даже половую бестіальность?

Все въ этомъ романѣ настолько ясно, что хоть протягивай руку и гладь. Только лесбійскія игры нѣсколько стушеваны; но вѣдь покуда это вещь еще на охотника, не всякій ее вмѣститъ. Придетъ время, когда буржуа еще сытѣе сдѣлается,—тогда Зола и въ этой сферѣ себя мастеромъ явитъ. Но сколько мерзостей придется ему подсмотрѣть, чтобъ довести отдѣлку бутафорскихъ деталей до совершенства! И какую неутомимость, какой желѣзный организмъ нужно имѣть, чтобъ выдержать трудъ выслѣживанія, необходимый для созданія подобной экскрементально-человѣческой комедіи! Подумайте! сегодня—Нана, завтра—представительница лесбійскихъ преданій, а послѣ-завтра, пожалуй, и впрямь въ герои романа придется выбирать производительницъ и производителей экскрементовъ.

Но тогда, разумѣется, буржуа еще при жизни поставитъ ему монументъ.

Оговариваюсь, впрочемъ, что въ разсчеты мои совсѣмъ не входитъ критическая оцѣнка литературной дѣятельности Зола. Въ общемъ я признаю эту дѣятельность (кромѣ, впрочемъ, его критическихъ этюдовъ) весьма замѣчательною и говорю исключительно о «Нана», такъ какъ этотъ

романъ даетъ мѣрило для опредѣленія вкусовъ и направленія современнаго буржуа.

Около Зола стоитъ цѣлая школа послѣдователей, изъ которыхъ одни рабски подражаютъ ему, другіе—выказываютъ поползновеніе идти еще дальше въ смыслѣ деталей. Но тутъ псевдо-реализмъ пріобрѣтаетъ характеръ скудоумія тѣмъ болѣе яркій, что даже нагота торсовъ не защищаетъ его. Скучно, назойливо, бездарно и ничего больше. Передъ читателемъ проходитъ безконечный рядъ подробностей, не имѣющихъ ничего общаго ни съ предметомъ повѣствованія, ни съ его обстановкой,—подробностей ни для чего не нужныхъ, ничего не характеризующихъ и даже не любопытныхъ сами по себѣ. Вотъ, напримѣръ, передъ вами Альфредъ! Бѣдный Альфредъ! Возьмись за него писатель сильный, въ родѣ Жоржъ-Занда, Бальзака, Флобера—изъ него вышелъ бы отличный малый. А такъ-называемый реалистъ едва прикоснулся къ нему, какъ уже и погубилъ!

Судите сами.

Альфредъ встаетъ рано и имѣетъ привычку потягиваться. Потягиваясь, онъ обдумываетъ свой вчерашній день и находитъ, что провелъ его не совсѣмъ хорошо. Ночью онъ ужиналъ съ Селиной и замѣтилъ, что отъ нея пахнетъ тѣми же духами, какими обыкновенно прыскается Жюль. Когда онъ спросилъ объ этомъ, то она только разсмѣялась (un petit rire или un gros rire—это безразлично). Надо однако-жъ эту тайну раскрыть. Раскрыть такъ раскрыть, но для чего онъ будетъ раскрывать? вотъ въ чемъ вопросъ. Задавши себѣ этотъ вопросъ, Альфредъ рѣшаетъ, что затѣялъ глупость. Говоря по совѣсти, ни съ какой Селиной онъ вчера не ужиналъ, а пришелъ вечеромъ въ десять часовъ домой, съѣлъ кусочекъ грюйеру и щелкнулъ языкомъ. Уличивши себя во лжи, Альфредъ рѣшается встать. Разумѣется, сначала умывается (страница, посвященная умывальнику, и двѣ, посвященныя мылу), потомъ начинаетъ одѣваться. Денныхъ рубашекъ у него всего три: одна у прачки, другую онъ надѣлъ вчера, третья лежитъ чистая въ комодѣ. Надо быть осторожнымъ. Разсматривая вчерашнюю рубашку, онъ замѣчаетъ порядочное пятно на самой груди. «Это, должно-быть, Селина вчера за ужиномъ капнула виномъ!» говоритъ онъ, и на этомъ первая глава кончается. Вторая глава начинается съ того, что Альфредъ припоминаетъ, что ни Селины, ни ужина, ни вина

вчера не было. Стало-быть, происхожденіе пятна на рубашкѣ должно быть иное. «Ба! да вѣдь я вчера купаться ходилъ!»—восклицаетъ Альфредъ и приходитъ къ заключенію, что, покуда онъ былъ въ водѣ, а бѣлье лежало на берегу рѣки, могла прилетѣть птица небесная и налету сдѣлать сюрпризъ. Но, придя къ этому выводу, онъ припоминаетъ, что ни вчера, да и вообще онъ никогда не купался. Стало-быть, и опять совралъ, и такъ какъ съ этимъ враньемъ надо покончить, то авторъ проводитъ черту и приступаетъ къ третьей главѣ. Въ этой новой главѣ Альфредъ все еще одѣвается. Разумѣется, описаніе одежды строго соображается съ тѣми правами состоянія, которыми пользуется герой. Ежели онъ человѣкъ салоновъ, то всякая часть его одежды блеститъ и покроемъ свидѣтельствуетъ, что въ постройкѣ ея участвовали первые мастера Парижа; если онъ un homme déclassé, то на каждой части его туалета оказывается пятно, что̀ заставляетъ его нюхать и рубашку, и жилетъ, и штаны, дабы не поразить добрыхъ знакомыхъ запахомъ благополучія. Допустимъ, что нашъ Альфредъ принадлежитъ къ послѣднему рязряду молодыхъ людей. Онъ нюхаетъ и отчищаетъ, но дѣло у него рѣшительно не спорится. Сначала приходитъ portier, съ которымъ нужно сказать нѣсколько ненужныхъ словъ; потомъ вбѣгаетъ сосѣдка, которая проситъ одолжить коробочку спичекъ и которой тоже нельзя не сказать нѣсколько любезностей. За тѣмъ да за сѣмъ время летитъ, и наступаетъ минута кончить третью главу. Въ четвертой главѣ Альфредъ идетъ завтракать въ кафе; тамъ его встрѣчаетъ гарсонъ (имя рекъ). Разговоръ. Гарсонъ предлагаетъ сперва одну газету, потомъ другую, третью—Альфредъ отказывается; потомъ Альфредъ начинаетъ спрашивать сперва одну газету, потомъ другую, третью—гарсонъ отвѣчаетъ, что кафе этихъ газетъ не получаетъ. Потомъ гарсонъ спрашиваетъ, почему Альфредъ такъ давно не былъ въ кафе, на что послѣдній отвѣчаетъ, что получилъ наслѣдство. Но такъ какъ онъ наслѣдства не получалъ, то спѣшитъ перемѣнить разговоръ и говоритъ, что ѣздилъ въ Москву. На этомъ четвертая глава кончается. Въ пятой главѣ Альфредъ идетъ на бульваръ. Идетъ и думаетъ: «а вѣдь у меня нѣтъ почтовой бумаги—зайду и куплю». Но по дорогѣ ему попадается торговка съ фруктами. Сочныя груши, сочная торговка (описаніе торговкиной груди), а изъ-подъ грушъ выглядываетъ сочный гроздій винограда. «Экъ тебя разнесло!» ду-

маетъ Альфредъ, смотря не то на торговкину грудь, не то на виноградъ. Ибо и виноградъ своимъ видомъ способенъ пробуждать въ немъ вожделѣніе. Альфредъ рѣшается начать съ груши и ѣстъ ее, а тѣмъ временемъ ему садится на носъ муха. Пятой главѣ конецъ. Въ шестой главѣ онъ сгоняетъ муху, которая опять садится на то же мѣсто. Это повторяется до трехъ разъ; тогда онъ догадывается, что муху привлекаетъ сокъ груши, и онъ бросаетъ послѣднюю на мостовую. Муха улетаетъ. А между тѣмъ торговка, въ формѣ маленькихъ строчекъ, предлагаетъ ему то грушу, то персикъ, то фигу; но онъ на всякій вопросъ отвѣчаетъ односложно: «non!» Наступаетъ седьмая глава. Альфредъ идетъ на бульваръ, забывши, что онъ хотѣлъ купить почтовой бумаги; вмѣсто того онъ вспомнилъ, что у него нѣтъ перчатокъ, и идетъ къ перчаточницѣ. У перчаточницы грудь колесомъ, а поясница—ума помраченье. Онъ вспоминаетъ, что точь-въ-точь такая же поясница у Селины, но тутъ же спохватывается, что еще утромъ было рѣшено, что онъ никакой Селины никогда не зналъ. «Гдѣ же бы однако я эту поясницу видѣлъ?» говоритъ самъ себѣ Альфредъ и, начиная всматриваться въ перчаточницу, узнаётъ въ ней свою тетку. «Ma tante! quel bonheur!» Седьмая глава кончилась. Въ восьмой главѣ Альфредъ вспоминаетъ о своемъ дѣтствѣ. «А помните, ma tante, какъ я разъ подсмотрѣлъ васъ купающеюся въ Марнѣ?» — Молчи, шалунъ! — грозитъ ему ma tante и требуетъ, чтобъ онъ пришелъ къ ней обѣдать. Восьмая, девятая, десятая и прочія главы посвящены описанію тетенькиной квартиры, тетенькина мужа и блюдъ, подающихся за обѣдомъ. Тетенькинъ мужъ—арабъ, который служилъ когда-то Абделькадеру, но передался Франціи, полюбилъ Парижъ и женился на тетушкѣ. У него одинъ недостатокъ: онъ кусается въ порывѣ страсти; но есть и достоинство: тетушка не имѣетъ отъ него дѣтей. Оттого-то и поясница у нея въ томъ же видѣ, въ какомъ запомнилъ ее Альфредъ, когда она купалась въ Марнѣ. Еще глава— и Альфредъ идетъ въ театръ, а оттуда—ужинать въ кафе. Тамъ онъ совершаетъ адюльтеръ, но тутъ выходитъ нѣчто въ высшей степени непостижимое. Оказывается, что адюльтеръ совершилъ не онъ, а Жюль; а онъ, Альфредъ, ни у тетушки, ни въ театрѣ, ни въ кафе не былъ... гдѣ же онъ однако былъ? Интересъ возбужденъ въ высшей степени. Первой части конецъ.

Далѣе я, разумѣется, не пойду, хотя романъ заключаетъ въ себѣ десять частей и въ каждой не меньше сорока главъ. Ни муха, ни торговка, ни перчаточница, ни Селина въ слѣдующихъ томахъ уже не встрѣтятся. Онѣ были нужны, потому что безъ нихъ невозможно производить строчки, а безъ строчекъ не было бы подстрочной платы. Реалистъ французскаго пошиба имѣетъ то свойство, что онъ никогда не знаетъ, что онъ сейчасъ напишетъ, а знаетъ только, что сколько посидитъ, столько и напишетъ. И никто его обуздать не можетъ; ни обуздать, ни усовѣстить, потому что онъ на всѣ усовѣщиванія отвѣтитъ: «Я не идеологъ, а реалистъ; я описываю только то, что въ жизни бываетъ. Вижу заборъ—говорю: заборъ; вижу поясницу—говорю: поясница». И при этомъ непремѣнно облаетъ Виктора Гюго, назоветъ его старымъ шутомъ, и т. д.

Но для современнаго буржуа это мельканіе мысли совершенно по-плечу. Ему любы литераторы, которые не затрудняютъ его загадками и излагаютъ только его собственныя обыденныя дѣла. Собственно говоря, онъ и читаетъ единственно для того, чтобъ не прослыть неучемъ, и вотъ, на его счастье, нашелся чародѣй, который облегчилъ ему и эту задачу. Этотъ чародѣй пишетъ строки коротенькія, а главы—на манеръ водевильныхъ куплетовъ. Купитъ буржуа книжку (и цѣна ей—грошъ), принесетъ ее домой—и самъ радъ, и въ семьѣ всѣ рады. Всѣ отъ рожденія сыты и всѣмъ лестно коротенькихъ строчекъ почитать. А иногда и смѣшные эпизоды встрѣчаются. Пилъ человѣкъ пиво и залилъ новый жилетъ; или: казалось, что у перчаточницы грудь колесомъ, а по изслѣдованіи вышло—доска доской. «Вотъ наши общественные недуги!»—восклицаетъ буржуа и, обращаясь къ женѣ, прибавляетъ:—а у тебя, мой другъ, безъ обману!»

Такова вторая стадія современнаго французскаго реализма; третью—представляютъ произведенія порнографіи. Разумѣется, я не буду распространяться здѣсь объ этой литературной профессіи; скажу только, что хотя она довольно рьяно преслѣдуется республиканскимъ правительствомъ и хотя буржуа хвалитъ его за эту строгасть, но потихоньку все-таки упивается порнографіей до пресыщенія. Особливо ежели съ картинками.

Убѣдиться въ томъ, что современный властелинъ Франціи (буржуа)—порнографъ до мозга костей, чрезвычайно легко: стоитъ только взглянуть на модные покрои жен-

скихъ одеждъ. Въ этой области каждый день приноситъ новую обнаженность, и ежели, напримѣръ, сегодня нѣтъ ничего неяснаго подъ мышками, то завтра навѣрное такая же ясность постигнетъ какую-нибудь другую разжигающую часть женскаго бюста. Театръ, который всегда былъ главнаемъ модъ будущаго, можетъ въ этомъ случаѣ послужить отличнѣйшимъ указателемъ тѣхъ требованій, которыя предъявляетъ вивёръ-буржуа къ современной женщинѣ, какъ носительницѣ особыхъ примѣтъ, знаменующихъ полъ. Дѣйствительно, въ парижскихъ бульварныхъ театрахъ покрой женскихъ костюмовъ до такой степени приблизился къ идеѣ скульптурности, что ни одинъ гусарскій вахмистръ навѣрное не мечталъ о рейтузахъ, равносильныхъ по выразительности тѣмъ, которыя охватываютъ нижнюю часть туловища m-lle Myeris въ «Pillules du diable». И надо видѣть, какъ буржуа, весь въ мылѣ и тяжко сопя, ловитъ глазами каждое движеніе этихъ рейтузъ!

Сами французы жалуются, что старинная французская causerie постепенно исчезаетъ. И точно: салоновъ, въ которыхъ маркиза разыгрывала бы «провербы», а маркизъ, въ умѣренныхъ размѣрахъ, предавался бы фрондерству и кощунству, въ настоящее время въ Парижѣ нѣтъ и въ помине. Ихъ замѣнили клубы (но не clubs, а cercles, такъ какъ по-французски club—означаетъ нѣчто равносильное тому, что у насъ разумѣется подъ названіемъ обществъ, составляемыхъ съ цѣлью ниспроверженія и т. д.), въ которыхъ господствуетъ игра, и cabinets particuliers, въ которыхъ господствуетъ обжорство и адюльтеръ. Да и мудрено требовать разговора отъ людей, у которыхъ нѣтъ никакихъ словъ въ запасѣ, а имѣются только непроизвольныя движенія, направляемыя съ цѣлью ниспроверженія женскихъ туалетовъ. Представить ихъ себѣ разыгрывающими провербы—все равно, что ждать отъ бывшаго крѣпостного владыки утонченныхъ манеръ относительно дѣвки Палашки, или отъ желѣзнодорожнаго хлыща, упомянутаго мною во 2-й главѣ настоящихъ этюдовъ,—кроткаго обращенія съ дѣвицей Альфонсинкой. Все, что буржуа можетъ—это, подобно послѣднему, «изуродовать» Альфонсинку или, въ добрую минуту, дать ей по спинѣ «раза».

Я, впрочемъ, не держусь мнѣнія, чтобъ слѣдовало жалѣть о пресловутыхъ французскихъ causeries. Въ первой половинѣ прошлаго столѣтія онѣ сдѣлали свое дѣло, ознаменовавъ начало умственнаго возрожденія и давъ міру Воль-

теровъ, Дидро, Гольбаховъ и проч. Но какъ только «возрожденіе» встрѣтилось съ 1789 годомъ, такъ тотчасъ же causeries утратили фрондерско-кощунственный характеръ и просто-на-просто превратились въ высшую школу паскудства. Впрочемъ, и доселѣ образчики этихъ causeries отъ времени до времени появляются на сценѣ французскихъ комедій въ формѣ «proverbes», въ которыхъ дѣвица Круазетъ показываетъ свои наливныя плечи и поражаетъ великолѣпіемъ туалетовъ. Но, несмотря на привлекательность этихъ приманокъ, современныя «провербы» точно такъ же мало удовлетворили бы козёра восемнадцатаго вѣка, какъ мало удовлетворяютъ онѣ и буржуа-вивёра нашихъ временъ. Первый нашелъ бы ихъ черезчуръ однообразными и не встрѣтилъ бы въ нихъ ни аттической соли, ни элемента возрожденія; второй говоритъ прямо: «вѣдь все равно развязка будетъ въ cabinet particulier, такъ изъ-за чего же ты всю эту музыку завела?»

Не объ этомъ надо жалѣть, а о томъ горѣніи мысли, которое въ теченіе слишкомъ полустолѣтія согрѣвало не только Францію, но черезъ ея посредство и міръ. Но пришелъ бандитъ и, не долго думая, взялъ да и погасилъ огонь мысли. Онъ ничего не страшился, ни современниковъ, ни потомковъ, и съ одинаковымъ неразумѣніемъ накладывалъ гасильникъ и на отдѣльныя человѣческія жизни, и на общее теченіе ея. Успѣхъ такого рода изверговъ—одна изъ ужаснѣйшихъ тайнъ исторіи; но разъ эта тайна прокралась въ міръ—все существующее, конкретное и отвлеченное, реальное и фантастическое—все покоряется гнету ея.

И вотъ въ результатѣ—республика безъ республиканцевъ, съ сытыми буржуа во главѣ, въ тылу и во флангахъ, съ скульптурно-обнаженными женщинами, съ порнографическою литературой, съ изобиліемъ провизіи и bijoux и съ безчисленнымъ множествомъ cabinets particuliers, въ которыхъ денно и нощно слагаются гимны адюльтеру. Конечно, все это было заведено еще при бандитѣ, но для чего понадобилось и держится доднесь? Держится упорно, несмотря на одну великую, двѣ среднихъ и одну малую революціи.

На это возражаютъ, что за республикой остается одно капитальное и неотъемлемое пріобрѣтеніе: suffrage universel. Конечно, противъ этого ничего сказать нельзя; даже у насъ ничего подобнаго нѣтъ. Но, во-первыхъ, suffrage universel существовалъ и во времена бандита, и неизмѣнно отвѣчалъ: «да», когда послѣдній этого желалъ. Во-вторыхъ,

вѣдь и теперь продукты suffrage universel, засѣдающіе въ палатахъ, едва ли многимъ отличаются отъ продуктовъ suffrage restreint, которыми щеголяли chambres introuvables временъ Карла X и Луи-Филиппа. Это тоже тайна исторіи и, конечно, не изъ утѣшительныхъ.

И еще говорятъ, что въ послѣднее время въ Парижѣ уже начинается движеніе, имѣющее положить конецъ владычеству буржуазіи. Дѣйствительно, рабочіе кварталы, съ осуществленіемъ амнистіи, какъ будто оживились, но размѣры движенія еще такъ ничтожны, что ни цѣли его, ни темпераментъ, ни шансы на успѣхъ—ничто не выяснилось. Покуда имѣются въ виду только страшныя слова, которыя, впрочемъ, не производятъ особеннаго впечатлѣнія, потому что за ними не слышится той жизненности и страстности, которыя однѣ могутъ дать начало дѣйствительному движенію.

P. S. Въ ту самую минуту, когда я дописываю настоящія строки, со стѣнъ петропавловской крѣпости раздается пушечная пальба, возвѣщающая, что галлы изгнаны. Но какъ, однако-жъ, это давно было!

25-го декабря 1880 года.

Глава V.

Въ предыдущей главѣ я говорилъ, что въ Парижѣ и одинокому человѣку, безъ связей и знакомствъ, трудно пропасть со скуки. Но, разумѣется, въ подходящей компаніи еще веселѣе. Хорошо и одному пообѣдать у Биньона или у Маньи, но вдвоемъ, втроемъ проштудировать приличествующій обѣденный menu—куда лучше.

Въ особенности слаще ѣстся и пьется, живѣе чувствуются всякія скульптурности — въ обществѣ соотечественниковъ. Сердце сердцу вѣсть подаетъ. Никто такъ благовременно не щелкаетъ языкомъ, никто такъ цѣлесообразно не посмотритъ на свѣтъ сквозь вино, такъ умно не вздохнетъ ноздрями, такъ сладостно не зажмуритъ глаза, такъ вкусно не захлебнется собственною слюною, какъ соотечественникъ. Обжоры и gourmets всѣхъ странъ и національностей продѣлываютъ всѣ эти движенія; но только соотечественникъ выполнитъ это такъ, что у земляка все нутро взыграетъ. Все тутъ скажется: и писанная исторія, и устныя преданія, и педагогическія особенности, и институтъ урядниковъ, и внутренняя политика, и «Не бѣлы снѣги»... Да,

Не быль сныи, и даже по преимуществу. Ѣдите вы sôle au vin blanc, а въ ушахъ раздается «колокольчикъ, даръ Валдая», а въ глазахъ стелется безконечная снѣговая степь. И въ довершеніе, среди захлебываній, вдыханій и щелканій, вдругъ вырвется слово... ахъ, какое слово! Клянусь, оригинальнѣе этой приправы представить себѣ ничего нельзя!

Съ кѣмъ подѣлиться впечатлѣніями, вынесенными изъ «Pillules du diable»? на чьей груди излить тревогу чувствъ, взволнованныхъ чтеніемъ послѣдняго нумера «Avénement parisien»? кому разсказать: «вотъ, батюшка, я давеча въ musée Cluny инструментикъ, придуманный средневѣковыми рыцарями для охраненія супружеской вѣрности, видѣлъ—вотъ такъ штука!» Разумѣется, все ему, все соотечественнику. Кто, кромѣ соотечественника, приметъ къ сердцу эти впечатлѣнія, тревоги и разсказы? Кто, какъ не онъ, ощутитъ именно *то*, что вы сами ощущаете? Кто сдѣлаетъ именно *такую* оцѣнку, какую вы сами дѣлаете?

А потомъ и еще: формы правленія, внѣшняя и внутренняя политики, начальство, военныя и морскія силы, религія, Богъ—съ кѣмъ обо всемъ этомъ по душѣ поговорить? Кто, кромѣ соотечественника, пойметъ тѣ образныя уподобленія, тѣ внезапные переходы и умозаключенія, которые могутъ быть объяснены только интимнымъ міросозерцаніемъ, свойственнымъ той или другой національности? Кто съ бо́льшею выпуклостью, такъ сказать—при помощи собственныхъ боковъ, пуститъ въ ходъ сравнительный методъ, который въ дѣлѣ оцѣнки формъ общежитія представляетъ самое вѣское и убѣдительное доказательство?

Словомъ сказать, въ обществѣ соотечественниковъ всякое ощущеніе пріобрѣтаетъ двойную и тройную цѣну, всякое удовольствіе возвышается до степени наслажденія.

Но ежели высказанныя сейчасъ замѣчанія вѣрны относительно скитальцевъ вообще, то относительно русскихъ скитальцевъ изъ породы культурныхъ людей они представляютъ сугубо-непреложную истину. Попробую объяснить здѣсь причины, обусловливающія это явленіе.

Во-первыхъ, въ цѣломъ мірѣ не найдется людей столь сообщительныхъ, какъ русскіе. Ошибочно утверждаютъ, будто бы на родинѣ намъ предоставлено молчать. Совсѣмъ напротивъ. Молчаніе считается у насъ равносильнымъ угрюмости, угрюмость же—равносильною злоумышленію; сталобыть, ни для кого нѣтъ разсчета добиваться отъ насъ молчанія и торжествовать по его поводу. Не молчать цѣло-

ставляется намъ, а только говорить пустяки—вотъ въ чемъ состоитъ наша внутренняя политика. Что же касается до того, будто бы легкость, съ которою мы по самому ничтожному поводу призываемся къ отвѣту, заставляетъ насъ быть осторожными, то и это справедливо лишь отчасти. Несомнѣнно, что вся наша жизнь есть всеминутное предъявленіе чувствъ и помышленій на зависящее распоряженіе; несомнѣнно также, что въ оцѣнкѣ этихъ чувствъ и помышленій принимаютъ участіе даже урядники, что̀ придаетъ оцѣнкѣ черезчуръ ужъ общественный характеръ. Но перспектива всеминутнаго отвѣчанія отнюдь не вызываетъ въ насъ чувства отвѣтственности, а только погружаетъ въ массу отупѣнія и ошалѣлости. Ибо отвѣтственность, низведенная до урядника, точно такъ же равняется безотвѣтственности, какъ необезпеченность, доведенная до лебеды, равняется обезпеченности.

Конечно, все это сообщаетъ нашему существованію довольно острый характеръ случайности, но нимало не обуздываетъ нашей сообщительности. И это вполнѣ объяснимо. Когда человѣкъ, занося ногу, чтобъ сдѣлать шагъ впередъ, заранѣе знаетъ, что эта нога станетъ на твердомъ мѣстѣ, а не попадетъ въ дыру и не увлечетъ туда своего обладателя, то для воображенія его не представляется никакой роли. Напротивъ, ежели человѣкъ не знаетъ, что̀ именно означаетъ разстилающаяся передъ нимъ мурава, то воображеніе его естественнымъ образомъ раздражается. Съ одной стороны, его обуреваетъ страхъ быть поглощеннымъ бездною, съ другой—ласкаетъ надежда какъ-нибудь обойти ее. Развѣ возможно оставить эти чувства нераздѣльными? Но, кромѣ того, вѣчно живя подъ страхомъ провалиться сквозь землю, развѣ можно удержаться, чтобъ не пожаловаться! Да наконецъ вѣдь оно и смѣшно. И въ другихъ странахъ существуютъ чины, подобные урядникамъ, однако никто объ нихъ не думаетъ, а у насъ, ноди, какой переполохъ они произвели! какъ же не изложить всенародно, въ шутливомъ русскомъ тонѣ, ту массу пустяковъ, которую вызвала эта паника въ сердцахъ нашихъ?

Во-вторыхъ, вся жизнь русскаго «скитальца» есть сплошной досугъ, который могъ бы развиться въ безграничную тоску, если-бъ не принималось мѣръ къ его наполненію. Праздность приводитъ за собою боязнь одиночества, потому что послѣднее возбуждаетъ работу мысли, которая, въ свою очередь, вызываетъ наружу очень горькія и, вдоба-

вокъ, вполнѣ безплодныя разоблаченія. Въ ряду этихъ разоблаченій особенно яркую роль играетъ сознаніе, что у него, скитальца, ни дома, ни на чужбинѣ, словомъ сказать, нигдѣ въ цѣломъ мірѣ нѣтъ ни личнаго, ни общественнаго дѣла. Такія разоблаченія могутъ измучить, и хотя я не говорю, чтобъ на всѣхъ одинаково лежала печать подобныхъ нравственныхъ страданій, но думаю, что въ скрытомъ видѣ даже въ отъявленномъ шалопаѣ отъ времени до времени шевелится смутное ощущеніе неклейности и безцѣльности жизни. Потому, чтобъ избавиться отъ гнетущаго ропота, необходимо прежде всего уйти отъ одиночества и устроить существованіе такимъ образомъ, чтобъ досугъ былъ какъ можно больше раздѣленъ. Дома это достигается довольно легко съ помощью игры въ винтъ, юридическихъ рефератовъ о силѣ земской давности, блудныхъ разговоровъ объ увѣнчаніи зданія и т. д., но за границей—труднѣе. Западный человѣкъ сознаётъ за собой личное и общественное дѣло, такъ что у него совсѣмъ нѣтъ времени для собесѣдовательнаго празднословія. Разумѣется, человѣкъ со средствами и тутъ можетъ вывернуться, т.-е. нанять собесѣдника, который ни на минуту не дастъ ему опомниться. Однако-жъ и это дѣло рискованное, во-первыхъ, потому, что наемникъ навѣрное будетъ лгать, во-вторыхъ, потому, что онъ сверхъ того можетъ и обокрасть. Поди потомъ, судись съ нимъ въ police correctionnelle!

Русскіе знаютъ это и потому всегда находятся въ поискахъ за соотечественниками. Этимъ объясняется и легкость, съ которою русскіе сходятся между собою за границей, и тѣ укоры, которые они впослѣдствіи адресуютъ самимъ себѣ по поводу своихъ заграничныхъ связей. «И мнѣ нечего дѣлать, и тебѣ нечего дѣлать» — вотъ первое основаніе для сближенія. Затѣмъ слѣдуютъ проекты о томъ, какъ ловчѣе вмѣстѣ убивать безполезное время, переходя отъ Биньона къ Вуазену, отъ Вуазена къ Вашетту и такъ далѣе безъ конца. И начнется у нихъ тутъ цѣлодневное метаніе изъ улицы въ улицу, съ бульвара на бульваръ, и потянется тотъ неясный замоскворѣцкій разговоръ, въ которомъ ни одно слово не произносится въ прямомъ смыслѣ и ни одна мысль не можетъ быть усвоена безъ помощи образа...

Въ-третьихъ, никто такъ не любитъ поскверносло вить— и именно въ ущербъ родному начальству — какъ русскій культурный человѣкъ. Западный человѣкъ рѣшительно не

понимаетъ этой потребности. Онъ можетъ сознавать, что въ его отечествѣ дѣла идутъ неудовлетворительно, но въ то же время понимаетъ, что эта неудовлетворительность устраняется не сквернословіемъ, а прямымъ возраженіемъ, на которое уполномочиваетъ его и законъ. Мы, русскіе, никакихъ уполномочій не имѣемъ и потому замѣняемъ ихъ сквернословіемъ. Въ какой мѣрѣ наша критическая система полезнѣе западной—этого я разбирать не буду, но могу сказать одно: ничего изъ нашего сквернословія никогда не выходило. Мы сквернословны, но отходчивы. Иногда такое слово вдогонку пустимъ, которое цѣлый эскадронъ съ ногъ сшибетъ, и тутъ же сряду шутки шутить начнемъ. Начальство знаетъ это — и снисходитъ. Да и нельзя не снизойти, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, всѣхъ бы насъ на каторгу пришлось сослать, и тогда некому было бы объявлять предписанія, некого было бы, за невыполненіе тѣхъ предписаній, усмирять. Во всякомъ случаѣ, и по части сквернословія у русскаго человѣка собесѣдникомъ можетъ быть только такой же, русскій же, человѣкъ. Вотъ почему съ такою чуткостью русскіе слѣдятъ за всякимъ словомъ, сказаннымъ по-русски на улицахъ и въ публичныхъ мѣстахъ.

— Такъ вы русскій? да вы слышали ли, у насъ-то что дѣлается, нѣтъ, вы послушайте...

Въ-четвертыхъ, никто такъ страстно не любитъ своей родины, какъ русскій человѣкъ. Послѣ того, что сейчасъ высказано мною по поводу сквернословія, можетъ показаться странною эта ссылка на любовь къ родинѣ, но въ дѣйствительности она не подлежитъ сомнѣнію. Разумѣется, я не говорю вамъ о графѣ Твэрдоонтѣ, который едва ли даже понимаетъ значеніе слова: «родина», но средній русскій «скиталецъ» не только страстно любитъ Россію, а положительно носитъ ее съ собою вездѣ, куда бы ни забросила его капризомъ судьба. Вездѣ онъ чувствуетъ себя въ какомъ-то необычномъ положеніи; вездѣ онъ недоумѣваетъ, куда-жъ это ежовыя-то рукавицы дѣвались? и вездѣ у него сердце болитъ. Болитъ не потому, чтобъ ежовыя рукавицы оставили въ его умѣ неизгладимо-благодарныя воспоминанія, а потому, что вслѣдъ за вопросомъ о томъ, куда дѣвались эти рукавицы, въ его умѣ возникаетъ и другой вопросъ: да полно! нужны ли онѣ? Ахъ, бѣдные, бѣдные!

И вдругъ какая-то колючая жалость такъ и хлынетъ во

всѣ фибры существа. Именно бѣдные! Вездѣ мальчикъ въ штанахъ, а у насъ безъ штановъ; вездѣ изобиліе, а у насъ—не бѣлы снѣги; вездѣ резонъ, а у насъ—фюить! Вездѣ люди настоящія слова говорятъ, а мы и поднесь на эзоповскихъ причтахъ сидимъ; вездѣ люди заправскою жизнью живутъ, а у насъ приспособляются. А потомъ и то еще приходитъ на умъ: Россія страна земледѣльческая и ужъ какъ-то черезчуръ континентальная. Растянулась она неуклюже, натуральныхъ границъ не имѣетъ, рѣкъ мало, да и тѣ текутъ въ какія-то сомнительныя моря. Ахъ, бѣдные, бѣдные!

Всегда эта страна представляла собой грудь, о которую разбивались удары исторіи. Вынесла она и удѣльную поножовщину, и татарщину, и московскіе идеалы государственности, и петербургское просвѣтительное озорство и закрѣпощеніе. Все выстрадала и за всѣмъ тѣмъ осталась загадочною, не выработавъ самостоятельныхъ формъ общежитія. А между тѣмъ самый поверхностный взглядъ на карту удостовѣряетъ, что безъ этихъ формъ въ будущемъ предстоитъ только мучительное умираніе...

. . . . . .

Въ качествѣ русскаго, я поступаю совершенно такъ, какъ и всѣ русскіе. То-есть, пріѣзжая даже въ Парижъ, имѣю въ виду главное: какъ можно скорѣе сойтись съ соотечественниками. И до сихъ поръ это мнѣ удавалось. Во-первыхъ, потому, что я посѣщалъ Парижъ весною и осенью, когда туда наѣзжаетъ непроглядная масса русскихъ, и, во-вторыхъ, потому, что я всегда устраивался наидешевѣйшимъ способомъ: или въ maison meublée, или въ такомъ отельчикѣ, противъ котораго у Бедекера звѣздочки нѣтъ. Пріѣдешь и вступишь съ хозяйкою («хозяинъ» въ такого рода заведеніяхъ предпочитаетъ сибаритствовать, ежели онъ «Альфонсъ», или живетъ подъ башмакомъ и ведетъ книги) въ переговоры:

— Есть у васъ русскіе?

— Oh! monsieur! mais la maison en est remplie! Il y a le prince et la princesse de Blingloff au premier, m-r de Blagouine, négociant, au troisième, m-r de Stroumsisloff, professeur, au quatrième. De manière que si vous vous installez dans l'appartement du deuxième, vous serez juste au centre.

Таковъ былъ прошлою осенью составъ русской колоніи въ одномъ изъ maisons meublées, въ окрестностяхъ place

de la Madeleine. Впослѣдствіи оказалось, что le prince de Blingloff—петербургскій адвокатъ Болиголова; la princesse de Blingloff—Марья Петровна отъ Пяти Угловъ; m-r Blagouine—краснохолмскій купецъ Блохинъ, торгующій яичнымъ товаромъ; m-r Stroumsisloff—старшій учитель латинскаго языка навозненской гимназіи Старосмысловъ, бѣжавшій въ Парижъ отъ лица помпадура Пафнутьева.

Конечно, я ни минуты не колебался и черезъ полчаса уже распоряжался въ предоставленныхъ мнѣ двухъ комнатахъ. Зато можете себѣ представить, какъ взыграло мое сердце, когда, черезъ нѣсколько минутъ послѣ этого, выйдя на площадку лѣстницы, я услышалъ родные звуки:

Голосъ сверху. Матрена Ивановна! ползешь, что ли?

Голосъ со дна. Ахъ, ужъ такъ-то я нынче взопрѣла! такъ взопрѣла, что, кажется, хоть выжми!

Голосъ Матрены Ивановны вдругъ осѣкся; она поровнялась со вторымъ этажомъ и замѣтила меня.

— Русскіе?—обратилась она ко мнѣ.

— Русскій-съ.

— Ну, вотъ. А я-то распѣлась! Не взыщите ужъ, сдѣлайте милость! Все думается: французъ кругомъ, не понимаетъ по-нашему. Анъ русскій.

— Матрена Ивановна! Машина готова!—раздалось опять сверху.

— Чайку попить собрались!—добродушно пояснила она мнѣ, взбираясь наверхъ.

«Чайку попить»!—такъ все нутро и загорѣлось во мнѣ! Съ калачикомъ! да потомъ щецъ бы горяченькихъ, да съ пирожкомъ подовенькимъ! Словомъ сказать, благодаря наплыву родныхъ воспоминаній, дня черезъ два я былъ уже знакомъ и съ третьимъ, и съ четвертымъ этажами.

Не дождался ни рекомендаціи, ни случая—просто пошелъ и отрекомендовалъ самъ себя. Прежде всего направился къ Старосмыслову. Стучу въ дверь—нѣтъ отвѣта. А между тѣмъ за дверью слышатся осторожные шаги, тихій шопотъ. Стучусь еще.

— Захаръ Иванычъ! вы?

— Нѣтъ, не Захаръ Иванычъ.

Голосъ смолкъ; послышался шорохъ удаляющихся шаговъ; затѣмъ опять ходьба, шуршанье бумагами. Наконецъ дверь отворилась, и въ ней показался блѣдный и отощалый человѣкъ съ встревоженнымъ лицомъ. Въ боковыхъ

дверяхъ, ведущихъ въ сосѣднюю комнату, мелькнулъ конецъ удаляющагося чернаго платья.

Я назвалъ себя.

— А! ну вотъ... вчера, что ли, пріѣхали?—бормоталъ онъ сконфуженно:—а я было... ну, очень радъ! Садитесь, садитесь! что, какъ у насъ... въ Россіи? Цвѣтетъ и благоухаетъ... а? Объ господинѣ Пафнутьевѣ не знаете ли чего?

Онъ торопливо жалъ мою руку и, казалось, съ большимъ трудомъ успокоивался.

— Слыхать-то слыхалъ, да что вамъ вдругъ Пафнутьевъ на умъ пришелъ?

— Пафнутьевъ-то! ахъ! да вы знаете ли, что я чуть было одно время съ ума отъ него не сошелъ!.. Представьте себѣ: въ Пинегу-съ! Каково вамъ это покажется... Въ Пинегу-съ!

— Конечно, въ Пинегу... еще бы! Но здѣсь-то, въ Парижѣ можно бы, кажется, и позабыть о господинѣ Пафнутьевѣ.

— Здѣсь-то-съ? а вы знаете ли, что такое... *Здѣсь? здѣсь??* Стоитъ только шепнуть: вотъ, молъ, русскій нигилистъ—сейчасъ это мендтки на руки; арестантскій вагонъ, и маршъ на востокъ, въ deutsch Avricourt! Это... *Здѣсь*-съ! А въ deutsch Avricourt'ѣ другія мендтки, другой вагонъ, и маршъ... въ Вержболово! Вотъ оно..., *здѣсь!* Только у нихъ это не экстрадиціей называется, а экспюльсированіемъ... Для собственныхъ, молъ, потребностей единой и нераздѣльной французской республики!

— Послушайте однако-жъ! Вы что-то такое странное говорите. Я полагаю, что Гамбетта...

— Гамбетта-съ! Да вѣдь это, батюшка, тоже въ своемъ родѣ Пафнутьевъ! Сдѣлайте милость! Назначь-ко его у насъ исправникомъ — онъ вамъ покажетъ, гдѣ раки зимуютъ... да!

— А я такъ, напротивъ, думаю, что онъ былъ бы отличнымъ исправникомъ. И совсѣмъ не въ смыслѣ показыванія раковъ, а именно въ качествѣ умнаго и просвѣщеннаго исполнителя предначертаній. У него бы эти резолюціи... да-съ, господа! аттанде-съ! Онъ самъ былъ онымъ! Онъ и входы, и проходы, и выходы—все самолично проникъ! Не знаю, каковъ изъ него выйдетъ президентъ республики, но исправникъ... Вотъ нашъ соломенскій исправникъ Колпаковъ, тотъ, какъ исправникъ, никуда не годится,—помилуйте, весь уѣздъ распустилъ!—а какъ президентъ республики, вѣроятно, былъ бы неоцѣнимъ!

— Ну, что ужъ! Нѣтъ, вы только представьте себѣ... въ Пинегу!! Есть такой городъ? а

Онъ даже закружился отъ боли при атомъ воспоминаніи.

— Это все Екатерина II!—крикнулъ онъ почти восторженно. — Она этихъ городовъ понастроила... для господъ Пафнутьевыхъ...

— Да, но, вѣроятно, она не имѣла въ виду, что ея мѣропріятія послужатъ на пользу только для господъ Пафнутьевыхъ...

— Не имѣла въ виду! развѣ это резонъ? У насъ, батюшка, все нужно имѣть въ виду! И все на самый худой конецъ! Нѣтъ, да вы, сдѣлайте милость, представьте себѣ... вѣдь подорожная была ужъ готова... въ Пинегу!! Вѣдь въ этой Пинегѣ, сказываютъ, даже семга не живетъ!

— Семга—это въ Мезени.

— Но какое разнузданное и отчасти и распутное воображеніе нужно имѣть, чтобы выбрать... Пинегу!

Дѣйствительно... Говорятъ, правда, будто бы и еще хуже бываетъ, но въ своемъ родѣ и Пинега... Знаете ли что? вотъ мы теперь въ Парижѣ благодушествуемъ, а какъ вспомню я объ этихъ Пинегахъ да Колахъ—такъ меня и начнетъ всего колотить! Помилуйте! какъ тутъ на Венеру Милосскую смотрѣть, когда передъ глазами мечется Верхоянскъ... понимаете... Верхоянскъ?! А впрочемъ, что-жъ я! Говорю, а главнаго-то и не знаю: за что-жъ это васъ?

— Вотъ-вотъ-вотъ. Былъ я, какъ вамъ извѣстно, старшимъ учителемъ латинскаго языка въ гимназіи — и вдругъ это наболѣло во мнѣ... Все страсти да страсти видишь... Одинъ пропалъ, другой исчезъ... Начитался, знаете, Тацита да и задалъ дѣтямъ, для перевода съ русскаго на латинскій, періодъ: «Время, нами переживаемое, столь безполезно жестоко, что потомки съ трудомъ повѣрятъ существованію такой человѣческой расы, которая могла оное переносить!»

— Ахъ!—невольно вырвалось у меня.

— Да? Ну, и прекрасно... Дѣйствительно, я.. ну, допустимъ! Согласитесь однако-жъ, что можно было придумать и другое что-нибудь... Ну, пригрозить, обругать, что ли... А то: Пинега!! Да еще съ прибаутками: «морошку собирать, тюленей ловить»... а? И это ад-ми-ни-стра-то-ры!! Да ежели вамъ интересно, такъ я ужъ лучше все по порядку разскажу!

Но въ эту минуту дверь сосѣдней комнаты отворилась,

и оттуда появилась m-me Старосмыслова. Это была маленькая особа, очень живая и дѣлавшая надъ собою видимыя усилія, чтобъ показать, что она не раздѣляетъ уныній своего мужа. Наружность она имѣла не особенно выдающуюся, но симпатичную, свидѣтельствующую о подвижной и дѣятельной натурѣ. Словомъ сказать, при взглядѣ на Старосмыслова и его подругу какъ-то невольно приходило на умъ: вотъ человѣкъ, который жилъ да поживалъ подъ сѣнію Кроненбергова лексикона, начиненный Евтропіемъ и баснями Федра, какъ вдругъ въ его жизнь, въ видѣ маленькой женщины, втерлось какое-то неугомонное начало и принялось выбрасывать за бортъ одну басню за другой. Тутъ-то вотъ и сочинился самъ собой періодъ отъ словъ: «время, которое мы переживаемъ», до словъ: «оное переносить» включительно. А изъ періода, въ видѣ естественнаго привѣса, явилась—Пинега!!

— Ѳедоръ Сергѣичъ, вѣроятно, вамъ на судьбу жалуется? — обратилась она ко мнѣ послѣ взаимныхъ представленій:— и охота, право! Забыть надо, а онъ себя все пуще да пуще раздражаетъ. Кончилось вѣдь!

— Кончилось ли оно—это еще бабушка надвое сказала! да и не въ этомъ дѣло: фактъ-то, фактъ-то какой... Фраза... ну, положимъ, пустая! ну, вредная, что ли! Но какимъ же образомъ изъ фразы вдругъ выскочила... Пинега?!—оправдывался Старосмысловъ.

— Но вѣдь мы не въ Пинегѣ, а въ Парижѣ!

— Позвольте, Капитолина Егоровна, — вступился я:— вашъ мужъ началъ разсказывать... Конечно, Пинега, сама по себѣ взятая, есть лишь административный терминъ, настолько вошедшій въ нашъ административный обиходъ, что немногіе администраторы въ состояніи понять всю жестокость его. Я лично зналъ на своемъ вѣку одного администратора, который въ полюсы не вѣрилъ и для котораго поэтому всѣ города были равны. Вотъ онъ и говоритъ, бывало: ты ступай въ Пинегу, ты—въ Пустозерскъ, а ты—въ Верхоянскъ! Но Пинега, превратившаяся въ Парижъ,— это что-то ужъ чрезвычайное! Ѳедоръ Сергѣичъ! объясните, сдѣлайте милость!

— Да-съ, такъ вотъ сидимъ мы однажды съ дѣточками въ классѣ и переводимъ: «время, нами переживаемое»... И вдругъ—инспекторъ-съ. Посидѣлъ, послушалъ. А я вотъ этой случайности-то и не предвидѣлъ-съ. Только прихожу послѣ урока домой, сѣлъ обѣдать—смотрю: пакетъ! Пожа-

луйте! Являюсь. «Вы въ Пинегѣ бывали?»—Не бывалъ-съ. «Такъ вотъ познакомьтесь». Я было туда-сюда.—За что? «Такъ вы не знаете? Это мнѣ нравится! Онъ... не знаетъ? Стыдитесь, сударь! не увеличивайте вашей вины нераскаянностью!»

Старосмысловъ остановился и смотрѣлъ на меня въ упоръ, тяжело дыша.

— Понимаете... точно сонъ!—вымолвилъ онъ задавленнымъ голосомъ.

— Ахъ, голубчикъ! ты видишь, какъ это волнуетъ тебя!—съ участіемъ вступилась Капитолина Егоровна:—лучше бы ужъ ты мнѣ предоставилъ разсказать!

— Нѣтъ, это только я могу разсказать... я! Кто самъ испыталъ это впечатлѣніе, только тотъ и можетъ его передать!

Послѣдовало нѣсколько минутъ тяжелаго молчанія.

— Но какъ же вы вмѣсто Пинеги въ Парижѣ очутились?—продолжалъ настаивать я.

— И опять словно во снѣ. Ужъ совсѣмъ-было ѣхать въ Пинегу собрался, да вдругъ случайно... вотъ она напомнила, что лѣтъ пять тому назадъ давалъ я уроки сыну одного власть имѣющаго лица. Ну, думаю! послѣднее средство... Посылаю телеграмму-съ... Смотрю, на другой день—тихо, на третій—опять тихо. А черезъ недѣлю вызываетъ меня ужъ мой собственный начальникъ: «Знаете ли вы, говоритъ, правило: *Tolle me, mu, mi, mis, si declinare domus vis?...*»—Знаю, ваше превосходительство!—«Такъ вотъ, говоритъ, намъ необходимо удостовѣриться, вездѣ ли въ заграничныхъ учебныхъ заведеніяхъ это правило въ такой же силѣ соблюдается, какъ у насъ... Извольте получить паспортъ!»

Старосмысловъ опять остановился, какъ бы вопрошая, какъ я объ этомъ полагаю. Но разсказъ этотъ до того спуталъ всѣ мои разсчеты, что я долгое время ровно ничего не могъ полагать. И вдругъ у меня въ головѣ сверкнула мысль:

— А прогоны и порціонныя вамъ выдали?

Старосмысловъ недоумѣло взглянулъ на меня: очевидно, онъ никакъ этого вопроса не ожидалъ.

— Ну, что ужъ!—какъ-то уныло отозвался онъ. Однако я подмѣтилъ, что въ самой унылости его уже блеснула какъ бы надежда.

— Нѣтъ, вы этого не говорите!—ободрилъ я его:—я со-

гласенъ, что разсказъ вашъ походитъ на сновидѣніе, но, съ другой стороны, какое же русское сновидѣніе обходится безъ прогоновъ и порціоновъ?

— Такъ-то такъ...

Старосмысловъ задумался и вдругъ хихикнулъ! Разумѣется, я воспользовался этимъ поворотомъ, чтобъ еще болѣе утвердить его на этомъ пути.

— Нѣтъ, Ѳедоръ Сергѣичъ! вы этого не оставляйте! вы подумайте объ этомъ!—повторилъ я.

— А что ты думаешь, Капочка!—отозвался онъ уже весело:—вѣдь это въ своемъ родѣ...

Капитолина Егоровна только потихоньку засмѣялась въ отвѣтъ. Она не рѣшилась прямо открыться, но мое предположеніе, очевидно, разогрѣло и ее.

— По моему мнѣнію, и откладывать нечего,—настаивалъ я:—самое лучшее, сейчасъ же берите листъ бумаги и пишите: «Проситъ... а о чемъ, тому слѣдуютъ пункты... *Первое:* былъ, дескать, я тогда-то командированъ съ ученою цѣлью, но распоряженія объ отпускѣ прогонныхъ денегъ, по опущенію, не сдѣлано. *Второе:* а такъ какъ, молъ, для вящшаго успѣха возложеннаго на меня порученія»... Вотъ только порученіе-то какое-то странное на васъ возложили! *Tolle te, tu, ti, tis...* согласитесь, что это даже для сновидѣнія нѣсколько рискованно!.. Вотъ если-бъ вамъ поручили изучить и описать мундиры, присвоенные учителямъ латинскаго языка, или, напримѣръ, собственными глазами удостовѣриться, къ какому классу эти учителя причислены по должности и по пенсіи... и притомъ въ цѣломъ мірѣ! А то подумайте: *Tolle te, tu, ti, tis*—на что похоже! И какъ это вы въ ту пору не догадались!

— Помилуйте! до догадокъ ли мнѣ было! я, какъ ошалѣлый, бѣгалъ, денегъ искалъ...

— Ну, такъ вы вотъ что сдѣлайте. Напишите все по пунктамъ, какъ я вамъ сказалъ, да присовокупите, что, кромѣ возложеннаго на васъ порученія, надѣетесь еще то-то и то-то выполнить. Это, дескать, уже въ знакъ признательности. А въ заключеніе: «и дабы повелѣно было сіе мое прошеніе...»

— И вы полагаете, дадутъ?

— Не только полагаю, но совершенно утвердительно говорю: не могутъ не дать. Вотъ если-бъ вы, при вручѣніи паспорта, попросили—ну, тогда, можетъ-быть, вамъ ска-

зали бы: въ такомъ случаѣ не угодно ли вамъ получить подорожную въ Пинегу? Но теперь... теперь, батюшка, ваше дѣло вѣрное! Человѣкъ вы легальный и командированы на законномъ основаніи, слѣдовательно вы имѣете право воспользоваться и всѣми естественными послѣдствіями этой законности. Вы уже теперь даже не Старосмысловъ, а просто Х., безъ выдачи прогонныхъ денегъ которому дѣло въ архивъ сдать нельзя.

— А что вы думаете! вѣдь и въ самомъ дѣлѣ!

— До такой степени «въ самомъ дѣлѣ», что даже въ эту самую минуту, я убѣжденъ, самъ столоначальникъ, у котораго ваше дѣло въ производствѣ, тоскуетъ о томъ, какую бы формулу придумать, чтобъ вамъ прогоны всучить! А тутъ вы какъ разъ съ прошеніемъ: вотъ онъ я! Капитолина Егоровна! да поддержите же вы меня!

— Что-жъ, попробуй, мой другъ!—томно отозвалась Капитолина Егоровна.

Такъ мы и сдѣлали. Вмѣстѣ сочинили прошеніе, которое онъ зарукоприкладствовалъ и сейчасъ же отправилъ съ надписью: récommandé. Признаюсь, я съ особенной любовью настаивалъ, чтобъ прошеніе было по пунктамъ и написано, и зарукоприкладствовано. Помилуйте! одно то чего стоитъ: сидятъ люди въ Парижѣ и по пунктамъ прошеніе сочиняютъ! Чрезвычайность этого положенія до такой степени взволновала меня, что я совсѣмъ забылся и воскликнулъ:

— Ну, а теперь возьмите малую толику подмазочки— и айда въ земскій судъ прошеніе подавать!

Разумѣется, всѣ, а въ томъ числѣ и я первый, разсмѣялись моей разсѣянности. Но я былъ и тому ужъ радъ, что мнѣ удалось хоть на минутку расцвѣтить улыбкой лицо этого испуганнаго человѣка.

Отъ Старосмысловыхъ я отправился къ Блохинымъ и встрѣтилъ совсѣмъ другого сорта людей. Передо мной предсталъ человѣкъ еще молодой, лѣтъ тридцати, красивый, крѣпко сложенный, съ румянымъ лицомъ и пушистою свѣтлою бородой. Словомъ сказать, во всѣхъ статьяхъ «добрый русскій молодецъ». Подстать ему была и жена его, Зоя Филипьевна, женщина рослая, сложенная на манеръ Венеры Милосской, съ русскимъ круглымъ и смугло-румянымъ лицомъ, на которомъ алѣли пунцовыя губы и нѣсколько черезчуръ пристально выглядывали изъ-подъ соболиныхъ бровей сѣрые выпученные глаза. Съ ними же

была и старшая сестра Блохина, пожилая дѣвица сырой комплекціи (въ формѣ среднихъ размѣровъ кулебяки), одержимая легкимъ удушьемъ, но замѣчательно добродушная, общительная и повадливая. Вообще при взглядѣ на эту семью думалось: вотъ-вотъ они сейчасъ схватятся руками и начнутъ пѣсни играть. Сперва запоютъ: *Какъ по морю да по Хвалынскому, да выплывала лебедь бѣлая;* потомъ начнутъ: *Во полѣ березынька стоя-а-ла;* потомъ и еще запоютъ, и будутъ не переставаючи пѣть вплоть до заутрень. И спляшутъ при этомъ: она пройдетъ сѣрой утицей, онъ—сизымъ селезнемъ. Но какъ и зачѣмъ они попали въ Парижъ?—это была загадка, которую они и сами врядъ ли могли объяснить. Во всякомъ случаѣ они адски скучали въ разлукѣ съ Краснымъ-Холмомъ.

— Главная причина, языка у насъ нѣтъ,—сразу пожаловался мнѣ Блохинъ:—ни мы не понимаемъ, ни насъ не понимаютъ. Надо было еще въ Красномъ-Холму это разсудить, а мы думали: Богъ милостивъ! Вотъ жена хоть и на пальцахъ разговариваетъ, однако, видно, бабамъ Богъ особенное дарованіе насчетъ тряпья далъ—понимаютъ ее. Придетъ это въ магазинъ, сейчасъ гарсонъ встрѣчу: «мадамъ!» Понравится ей вещь—она ему палецъ покажетъ, а онъ ей въ отвѣтъ—два пальца. Потомъ она полъ-пальца прибавитъ, а онъ четь-пальца отбавитъ: будьте, значитъ, знакомы! Смотришь—и снюхались. Ишь вороха натаскала!

Я оглядѣлся кругомъ и дѣйствительно изумился. Вся комната была буквально загромождена картонками, тючками, платьями, мантильями и прочимъ женскимъ хламомъ. Только и было свободнаго мѣста, гдѣ мы сидѣли.

— Кабы не Капитолина Егоровна съ Ѳедоромъ Сергѣичемъ—и голодомъ, пожалуй, насидѣлись бы!—въ свою очередь пожаловалась Матрена Ивановна.

— Да и съ Ѳедоръ Сергѣичемъ нелады вышли. Мы-то, знаете, въ Парижъ въ надеждѣ ѣхали. Наговорили намъ, въ Красномъ-то Холму: и дендо, и пердро и тюрбо. Аппетитъ-то, значитъ, и вышлифовался. А Ѳедору Сергѣичу въ хорошій-то трактиръ идти не по карману—онъ насъ по кухмистерскимъ и водитъ. Только ужъ и ѣда въ этихъ кухмистерскихъ... чистый адъ!

— А попробовали разъ сами собой въ трактиръ зайти, стали кушанье-то заказывать, а онъ, этотъ... гарсонъ, что ли, только глаза таращитъ!

— Да еще что вышло! Подслушалъ эта нашъ разго-

воръ господинъ одинъ изъ русскихъ и заступился за насъ, заказалъ. А послѣ обѣда и подсѣлъ къ намъ: «не можете ли вы, говоритъ, мнѣ на короткое время взаймы дать?» Ну, нечего дѣлать, вынулъ пятифранковикъ, одолжилъ.

— Да вы бы въ русскій ресторанъ сходили?

— Были-съ. Помилуйте—битокъ! Затѣмъ ли мы изъ Краснаго-Холма сюда ѣхали, чтобъ битки здѣшніе ѣсть!

— Ни въ театръ, ни на гулянье, ни на рѣдкости здѣшнія посмотрѣть! Сидимъ день-денской дома да въ окошки смотримъ!—вступилась Зоя Филипьевна;—только вотъ къ обѣднѣ два раза сходили, такъ какъ будто... Вотъ тебѣ и Парижъ!

— Но отчего-жъ бы вамъ съ Старосмысловыми въ театръ не сходить?

– То-то, что сердцами, значитъ, не сошлись, да и не то, чтобъ сердцами, а капиталомъ они противъ насъ какъ будто отощали. Чудной вѣдь онъ! Ото всѣхъ прячется да высматриваетъ, какого-то, прости Господи, Пафнутьева поджидаетъ...

— Ахъ, Боже мой! вотъ чудакъ-то!

— И я то же пыталъ говорить. Какъ, говорю, возможно, чтобъ господинъ Пафнутьевъ въ Парижѣ власть имѣлъ. И хошь бы что! «Браслеты, говоритъ, на руки, и катай по всѣмъ по тремъ!» Оченно ужъ его тамъ испугали, въ отечествѣ-то! А человѣкъ-то какой преотличнѣйшій! И какъ свое дѣло знаетъ! Намеднись идемъ мы вмѣстѣ, и спрашиваю я его: какъ, Ѳедоръ Сергѣичъ, на твоемъ языкѣ «люблю» сказать?—Amo, говоритъ. «Ну, говорю, amo и тебя, и Капитолину Егоровну твою, и я, и жена, и всѣ мы—amo!» Ну, усмѣхнулся: коли всѣ, говоритъ, такъ ужъ не amo, а amamus! И за что только такая на нихъ напасть!

— Ну, Богъ милостивъ!

— И я то же говорю. Только сердитыя нынче времена настали, доложу вамъ! Давно ужъ у Бога милости просимъ—анъ все ея нѣтъ!

— Вамъ-то, впрочемъ, грѣшно бы пожаловаться.

— Мы-то слава Богу. Здоровы, при капиталѣ—на что лучше! А тоже и мы видимъ. Вотъ хоть бы на Ѳедора Сергѣича поглядѣть—чего только онъ ни вытерпѣлъ! Нѣтъ, доложу вамъ, и прежде строгости были, а нынче противъ прежняго вдвое стало. А между прочимъ въ народѣ амбиція въ ходъ пошла, такъ оно будто и скучненько стало

на строгости-то смотрѣть. Еще на моей памяти, придетъ, бывало, къ батюшкѣ-покойнику становой-то: просто, мило, благородно! Посидитъ, закуситъ... Дѣловъ за нами нѣтъ, а по силѣ возможности... получи! А нынче онъ придетъ: въ кепѣ да въ погонахъ... ахъ, распостылый ты человѣкъ!

— Ну, это ужъ ваше личное чувство говоритъ.

— Нѣтъ, и не во мнѣ одномъ, а во всѣхъ. Вѣрьте или нѣтъ, а какъ взглянешь на него, какъ онъ по улицѣ идетъ-да глазами вскидываетъ... ахъ ты, ахъ!

— Ахъ, Захаръ Иванычъ!

— Знаю, что нехорошо это... Не похвалятъ меня за эти слова... извѣстно! Только и набалованы они, доложу вамъ! Строгости-то строгостями, анъ смотришь, довольно и озорства. Все «духу» ищутъ; ты ему сегодня поперекъ что-нибудь сказалъ, а онъ въ тебѣ завтра «духъ» разыскалъ. Да недалече ходить, Ѳедоръ Сергѣичъ-то! Что только они съ нимъ издѣлали!

— Ужъ такъ намъ ихъ жалко! такъ жалко!—подтвердила и Матрена Ивановна.

— Истинно вамъ говорю: глядишь это, глядишь, какое нынче вездѣ озорство пошло, такъ инда тебя ножомъ по сердцу полыснетъ! Совсѣмъ жить невозможно стало. Главная причина: приспособиться никакъ невозможно. Ты думаешь: давай, буду жить такъ!—бацъ! живи вотъ какъ! Начнешь жить по-новому—бацъ! живи опять по-старому. Ужъ на что я простой человѣкъ, а и то сколько разъ говорилъ себѣ: брошу Красный-Холмъ и уѣду жить въ Петербургъ!

— За чѣмъ же дѣло стало?

— Свово мѣста жалко—только и всего.

— Извѣстно, жалко: и домъ, и заведеніе, и все...—подтверждала и Матрена Ивановна.

— А вамъ жалко?—обратился я къ Зоѣ Филипьевнѣ.

— Мнѣ что! я мужняя жена! вонъ онъ, мужъ-то у меня какой!

— Ахъ, умница ты наша! — похвалила Матрена Ивановна.

— Вы долго ли думаете въ Парижѣ пробыть?

— Да свое время отсидѣть все-таки нужно. Съ недѣлю ужъ гостимъ; еще недѣли съ двѣ—и шабашъ.

— Такъ знаете ли, что мы сдѣлаемъ. И вамъ скучно, и Старосмысловымъ скучно, и мнѣ скучно. Такъ вотъ мы соединимся вмѣстѣ да и будемъ сообща скучать. И заво-

демъ мы здѣсь свой собственный Красный-Холмъ, какъ лучше не надо.

— И преотлично!—разомъ воскликнули Блохины.

— Я буду васъ и по ресторанамъ, и по театрамъ водить. И все по такимъ театрамъ, гдѣ и безъ словъ понятно. А ежели Старосмыслову прогоны и порціоны разрѣшатъ, такъ и они навѣрное жаться не будутъ.

Я разсказалъ имъ, какую мы утромъ просьбу общими силами соорудили и какія надежды на нее возлагаемъ. И въ заключеніе прибавилъ:

— А въ Парижѣ надоѣстъ, такъ мы въ Версаль, въ родѣ какъ въ Весьёгонскъ махнемъ; а захочется, такъ и въ Кашинъ... то-бишь въ Фонтенбло—рукой подать!

Итакъ, осуществить Красный-Холмъ въ Парижѣ, Версаль претворить въ Весьёгонскъ, Фонтенбло въ Кашинъ—вотъ задача, которую предстояло намъ выполнить.

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что осуществленіе подобной программы потребуетъ сильнаго воображенія и очень серьезныхъ приспособленій. Но въ сущности, и въ особенности для насъ, русскихъ, попытки этого рода рѣшительно не представляютъ никакой трудности. Не воображеніе тутъ нужно, а самое обыкновенное оцѣпенѣніе мысли. Когда дѣятельность мысли доведена до минимума, и когда этотъ минимумъ, ни разу существенно не понижался, считаетъ за собой цѣлую исторію, теряющуюся во мракѣ временъ—вотъ тутъ-то именно и настигаетъ человѣка блаженное состояніе, при которомъ Парижъ самъ собою отожествляется съ чѣмъ угодно: съ Весьёгонскомъ, съ Пошехоньемъ, съ Богучаромъ и т. д. Мыслительная способность атрофируется, и вмѣстѣ съ этимъ исчезаетъ не только пытливость, но и самое простое любопытство. Старое, насиженное, обжитое—вотъ единственное, что удовлетворяетъ обезсиленный умъ. И это насиженное воспроизводится съ такою легкостью, что само собою, помимо всякаго содѣйствія со стороны воображенія, перемѣщается слѣдомъ за человѣкомъ, куда бы ни кинула его судьба.

Возстановить Красный-Холмъ въ Парижѣ положительно ничего не стоитъ. Нужно только разложиться съ вещами и затѣмъ начать жить да поживать. Правда, что житье въ отелѣ, сравнительно съ Краснымъ-Холмомъ, покажется тѣсновато, но зато въ Парижѣ имѣются льготы, которыхъ не найдешь не только въ Красномъ-Холму, но и въ Кашинѣ. И

льготы именно въ краснохолмскомъ смыслѣ, то-есть такія, которыхъ на мѣстѣ не сыщешь, но которыя краснохолмскимъ воображеніемъ не отвергаются. Таковы, напримѣръ: пулѐ, дендо̀, пердро̀, тюрбо̀, славу о которыхъ на всю Россію искони протрубили предводители дворянства. Затѣмъ: магазины всевозможнаго женскаго тряпья, отъ которыхъ безъ ума всѣ предводительши; макадамъ на улицахъ, отличное уличное освѣщеніе, писсуары и т. д., о которыхъ съ благосклонностью отзываются всѣ уѣздные исправники, какъ о такихъ реформахъ, которыя не ведутъ къ потрясанію основъ. И въ довершеніе всего есть для мужчинъ кокотки, въ родѣ той, какую однажды выписалъ въ Кашинъ 1-й гильдіи купецъ Шомоловъ и объ которой весь Кашинъ въ свое время говорилъ: «ахъ, хороша стерьва!»

Въ Парижѣ отличная груша-дюшесъ сто̀итъ десять су, а въ Красномъ-Холму ее ни за какія деньги не купишь. Въ Парижѣ бутылка прекраснѣйшаго Понтѐ-Канѐ сто̀итъ шесть франковъ, а въ Красномъ-Холму за Зызыкинскую отраву надо заплатить три рубля. И такъ далѣе безъ конца. И все это не только не выходитъ изъ предѣловъ краснохолмскихъ идеаловъ, но и вполнѣ подтверждаетъ оные. Даже театры найдутся такіе, которые по-горло уконтентуютъ самаго требовательнаго краснохолмскаго обывателя.

Когда воображеніе потухло и мысль заскорбла, когда новое не искушаетъ и нѣтъ мѣрила для сравненій—какія же могутъ быть препятствія, чтобъ чувствовать себя вездѣ, гдѣ угодно, матерымъ краснохолмскимъ обывателемъ. Одного только недостаетъ (этого и за деньги не добудешь): становой квартиры изъ окна не видать—такъ это, по нынѣшнему времени, даже лучше. До этого-то и краснохолмцы ужъ додумались, что становые только свѣтъ застятъ.

— Какъ пошли они, въ позапрошломъ лѣтѣ, по домамъ шарить, такъ, вѣрите ли, душа со стыда сгорѣла!—говорилъ мнѣ Блохинъ, разсказывая, какъ петербургскія «событія» отразились въ районѣ вышневолоцко-весьёгонскихъ палестинъ.

И онъ говорилъ это съ неподдѣльнымъ негодованіемъ, несмотря на то, что его репутація въ смыслѣ «столпа» стояла настолько незыблемо, что никакое «шаренье» или отыскиваніе «духа» не могло ему лично угрожать. Почему онъ, никогда не сгоравшій со стыда, вдругъ сгорѣлъ—этого онъ, конечно, и самъ какъ слѣдуетъ не объяснитъ. Но, вѣроятно, причина была очень простая: скверно смотрѣть стало. Всѣмъ стало скверно смотрѣть; надоѣло.

Какъ бы то ни было, но, разъ рѣшившись воспроизводить исключительно краснохолмскіе идеалы, мы зажили отлично. Единственную не-краснохолмскую роскошь, которую я лично себѣ дозволилъ,—это газеты. Я покупалъ ихъ ежедневно и притомъ самыя страшныя: «L'Intransigeant», «Le Mot d'Ordre», «La Commune», «La Justice». Что дѣлать! идешь мимо кіоска, видишь: разложены, стало-быть, велѣно покупать—купишь. Сначала я боялся: думалъ, начитаюсь, пріѣду въ Россію—чего добраго, революцію произведу. Однако, съ Божьею помощью, въ короткое время такъ наметался, что все равно, что читалъ, что нѣтъ. Зато все остальное времяпровожденіе было воистину краснохолмское. Часовъ до 12-ти утра мы исправлялись дома, то-есть распивали чаи и кофеи по своимъ угламъ. Послѣ 12-ти выходили на улицу и начинали, по выраженію Захара Ивановича, «путаться» и «воловодиться».

Брали подъ руки дамъ и по порядку обходили рестораны. Въ одномъ завтракали, въ другомъ просто ѣли, въ третьемъ спрашивали для себя пива, а дамамъ «граниту». Когда ѣли, то Захаръ Иванычъ неизмѣнно спрашивалъ у Старосмыслова: «а какъ это кушанье по-латыни называется?»—и Ѳедоръ Сергѣичъ всегда отвѣчалъ безошибочно.

— Никогда не скажетъ: не знаю!—изумлялся Блохинъ:—и этакаго человѣка... въ Пинегу!

Въ промежуткахъ между кушаньями вспоминали о Краснымъ-Холмѣ, старались угадать: рыжики-то уродились ли нонѣ?

Часа въ три компанія распадалась. Дамы предпринимали путешествіе по магазинамъ, а мужчины отправлялись смотрѣть «картинки». Во время процесса смотрѣнія Захаръ Иванычъ взвизгивалъ: «ахъ, шельма!» и спрашивалъ у Ѳедора Сергѣича, какъ это называется по-латыни. Но однажды зашли мы въ пирожную, и съ Блохинымъ вдругъ сдѣлалось что-то необыкновенное.

— Она... она самая!—шепнулъ онъ мнѣ, указывая на рослую и совершенно рыжую женщину, которая стояла у конторки.—Наша... кашинская!

И не успѣлъ я сообразить, въ чемъ дѣло, какъ у него ужъ и глаза кровью налились.

— Въ Кашинѣ... была?—спросилъ онъ ее въ упоръ.

Конторщица взглянула на него съ недоумѣніемъ, но по лицу ея пробѣжала чуть замѣтная улыбка: ей, очевидно,

польстило, что «добраго русскаго мо̀лодца» такъ сразу прошибло.

— Въ Кашинѣ... была?—настаивалъ Захаръ Иванычъ.

Насилу мы его увели.

Часовъ около шести компанія вновь соединялась въ слѣдующемъ по порядку ресторанѣ и спрашивала обѣдъ. Ѣли и пили мы всласть, хотя присутствіе Старосмысловыхъ нѣсколько стѣсняло насъ. Дня съ четыре они шли наравнѣ съ нами, но на пятый Ѳедоръ Сергѣичъ объявилъ, что у него болитъ животъ, и спросилъ вмѣсто обѣда полъ-бифштекса на двоихъ. Очевидно, въ его душу начинало закрадываться сомнѣніе насчетъ прогоновъ, и надо сказать правду, никого такъ не огорчало это вынужденное воздержаніе, какъ Блохина.

— Вѣдь вотъ и добрый человѣкъ, а сколь жестокъ!—жаловался онъ мнѣ:—не хочетъ понять, что намъ не деньги его нужны, а душа!

Послѣ обѣда иногда мы отправлялись въ театръ или въ кафе-шантанъ; но такъ какъ Старосмысловы и тутъ стѣсняли насъ, то чаще всего мы возвращались домой, собирались у Блохиныхъ и начинали играть пѣсни. Захаръ Иванычъ затягивалъ: «Солнце на закатѣ», Зоя Филипьевна подхватывала: «Время на утратѣ», а хоръ поддавалъ: «Пошли дѣвки за заборъ»... Въ Парижѣ, въ виду Мадлэны, въ теплую сентябрьскую ночь, при отворенныхъ окнахъ—это производило удивительный эффектъ!

Иногда обычный репертуаръ дня видоизмѣнялся, и мы отправлялись смотрѣть парижскія «рѣдкости». Ѣздили въ Jardin des plantes и въ Jardin d'acclimatation, лазили на Вандомскую колонну, побывали въ Musée Cluny и наконецъ посѣтили Луврскій музей. Но тутъ случился новый казусъ: увидѣвши Венеру Милосскую, Захаръ Иванычъ опять вклепался и сталъ увѣрять, что видѣлъ ее въ Кашинѣ. Насилу мы его увели.

— При тебѣ только мы и свѣтъ у̀зрили! — открывался мнѣ Захаръ Иванычъ:—кабы не ты, что̀ бы мы, пріѣхадчи въ Холмъ, про Парижъ разсказывать стали?

Насладившись вдоволь Парижемъ, нельзя было оставить безъ вниманія и окрестности. Разумѣется, прежде всего, отправились въ Версаль. Доро̀гой я, конечно, не преминулъ разсказать, какую я, пять лѣтъ тому назадъ, выкинулъ тутъ штуку съ Лабулѐ. Всѣ такъ и ахнули.

— То-то, чай, глаза вытаращилъ, какъ проснулся!—похвалилъ меня Блохинъ.

И, помолчавъ немного, прибавилъ:

— Только черезъ тебя мы свѣтъ ѵзрили! Ишь вѣдь ты... на всѣ руки!

Въ Версалѣ мы обошли дворецъ, затѣмъ вышли на террасу и бросили общій взглядъ на садъ. Потомъ прошлись по средней аллеѣ, взяли фіакры и посѣтили «примѣчательности»: Parc au cerfs, Тріанонъ и т. п. Разумѣется, я разсказалъ при этомъ, какъ отлично проводилъ тутъ время Людовикъ XV, и какъ потомъ Людовикъ XVI вынужденъ былъ проводить время нѣсколько иначе. Разсказъ этотъ, повидимому, произвелъ на Захара Иваныча впечатлѣніе, потому что онъ сосредоточился, снялъ шляпу и задумчиво произнесъ:

— Стало-быть, въ эфтимъ самомъ мѣстѣ энти самые короли...

— Именно такъ,—подтвердилъ я.

— Все короли да все Людовики... И что̀ за причина такая?—съ своей стороны затужила-было Матрена Ивановна, но Захаръ Иванычъ не далъ ей продолжать.

— Шабашъ!—сказалъ онъ:—царство небесное—и конченъ балъ!

Однако-жъ черезъ нѣсколько минутъ онъ вновь возвратился къ тому же сюжету.

— И какъ эти французы теперича безъ королей живутъ? Чудаки, право!

— А какъ живутъ! Извѣстно: день да ночь — сутки прочь!—объяснила Матрена Ивановна.

— Не инàче, что такъ. У насъ робенокъ, и тотъ понимаетъ: нѣсть власть аще... а французъ этого не знаетъ! А можетъ, и они слышатъ, какъ въ церквахъ про это читаютъ, да мимо ушей пропущаютъ! Чудаки! Ѳедоръ Сергѣичъ! давно хотѣлъ я тебя спросить: какъ на твоемъ языкѣ «король» прозывается?

— Rex.

— А императоръ?

— Imperator.

— А который, по-твоему, больше: rex или imperator?

— Imperator—ужъ на что̀ выше!

— Ну, такъ вотъ ты и мотай себѣ на усъ... да!

Блохинъ выговорилъ эти слова медленно и даже почти строго. Какимъ образомъ зародилась въ немъ эта фраза—это я объяснить не умѣю, но думаю, что сначала она явилась *такъ*, а потомъ вдругъ, во время самаго процесса

произнесенія, созрѣлъ проектъ: а попробую-ка я Старосмыслову предику сказать! А можетъ-быть, и цѣлый проектъ примиренія Старосмыслова съ Пафнутьевымъ вдругъ въ головѣ созрѣлъ. Какъ бы то ни было, но Ѳедоръ Сергѣичъ при этомъ напоминаніи слегка дрогнулъ.

А Блохинъ между тѣмъ началъ постепенно входить во вкусъ и подпускать такъ-называемые обиняки. «Мы-ста да вы-ста», «сидимъ да шипимъ, шипимъ да посиживаемъ», «и куда мы только себя готовимъ!» и т. д. Выпуститъ обинякъ и посмотритъ на Ѳедора Сергѣича. А въ заключеніе окончательно разсердился и закричалъ на весь Тріанонъ:

— Свиньи—и тѣ лучше, не-чѣмъ эти французы живутъ! Ишь вѣдь, королей не имѣютъ, властей не признаютъ, страху не знаютъ... въ Бога-то вѣруютъ ли?

Насилу мы его увели.

На другой день мы отправились въ Фонтенблò, но эта резиденція уже не вызвала ни той сосредоточенности, ни того благоговѣйнаго чувства, какимъ мы были свидѣтелями въ Версалѣ. Благодаря краснохолмскому приволью, Захаръ Иванычъ настолько былъ уже преисполненъ туками, что едва успѣли мы осмотрѣть перо, которымъ Наполеонъ I подписалъ отреченіе отъ престола, какъ онъ уже запыхался. Ни знаменитаго Фонтенблоскаго лѣса, ни прочихъ достопримѣчательностей мы такъ и не осматривали, потому что Блохинъ на всѣ предложенія твердо отвѣчалъ: «ну ихъ къ ляду!» И только дорòгой, ѣдучи въ Парижъ, молвилъ:

— Пожилъ, повоевалъ—и шабашъ! Умный былъ человѣкъ, а вотъ... И какая этому причина?!

Во всякомъ случаѣ, впечатлѣнія этихъ двухъ дней не прошли для Блохина даромъ. Тѣни Людовиковъ какъ бы остепенили его: до сихъ поръ онъ выказывалъ себя умѣреннымъ либераломъ, теперь же вдругъ сдѣлался легитимистомъ.

Воротившись изъ экскурсіи домои, онъ какъ-то приши-пился и ни о чемъ больше не хотѣлъ говорить, кромѣ какъ объ короляхъ. Вздыхалъ, чесалъ поясницу, повторялъ: «ему же дань—дань!» «звѣзда бо отъ звѣзды», «сущія же власти» и т. д. И въ заключеніе предложилъ вопросъ: «мàзанные ли были французскіе короли, или немàзанные», и когда получилъ отвѣтъ, что мàзанные, то сказалъ:

— Ну, стало-быть, не такъ ихъ мазали, какъ прописано. Потому, если-бъ ихъ настояще мазали, такъ они бы и сѣк-

часъ въ этой самой Версали сидѣли, и ничего бы ты съ ними не подѣлалъ... ау, братъ!

Покончивъ такимъ образомъ съ Людовиками, перешелъ къ Наполеону и не одобрилъ его.

— Зналъ вѣдь, что законный король въ живыхъ состоитъ, а между прочимъ и виду не подавалъ, что знаетъ.. все одно, что у насъ Пугачевъ!

И наконецъ до того довелъ необузданность чувствъ, что пожелалъ познакомиться и съ Гамбеттой.

— Одно бы мнѣ ему только слово сказать! только одно слово... и амин!

Внимая Захару Иванычу, всѣ остальные какъ-то присмирѣли. Вообще я давно ужъ замѣтилъ, что какъ только заведется разговоръ о томъ, какъ и кто «мазанъ», такъ даже у самыхъ словоохотливыхъ людей пропадаетъ словесность. Не знаю, понимаютъ ли краснохолмскіе первой гильдіи купцы, что въ это время съ ихъ слушателями происходитъ нѣчто не совсѣмъ ладное, но во всякомъ случаѣ они съ изумительнымъ инстинктомъ пользуются подобными минутами замѣшательства. Ужъ на что, кажется, добродушенъ Захаръ Иванычъ, а посмотрите, какъ онъ распѣлся, какъ только напалъ на подходящій мотивъ! Сразу догадался, что онъ хоть до завтра калякай, а мы все-таки будемъ его слушать. И въ Красномъ-Холму выслушаемъ, и въ Парижѣ выслушаемъ. Потому что эти первой гильдіи купцы... кто же ихъ знаетъ, что у нихъ на умѣ! Сейчасъ онъ объ Старосмысловѣ печалуется: «что они съ нимъ издѣлали?» а вслѣдъ затѣмъ вдругъ по поводу того же Старосмыслова сбѣсится и закричитъ: «караулъ! сицилистъ!»

И дѣйствительно, началъ Блохинъ строго, а кончилъ еще того строже. Говорилъ-говорилъ, да вдругъ обратился въ упоръ къ Старосмыслову и пророческимъ тономъ присовокупилъ:

— А ты, парень, все-таки на усъ себѣ наматывай!

Чуть-было я не сказалъ: «ахъ, свинья!» Но такъ какъ я только подумалъ это, а не сказалъ, то очень вѣроятно, что Захаръ Иванычъ и сейчасъ не знаетъ, что онъ свинья. И многіе по той же причинѣ не знаютъ.

Часа четыре сряду я провозился на кровати, не смыкаючи очей; все думалъ, какъ мнѣ поступить съ Старосмысловымъ: предоставить ли его самому себѣ, или же и съ своей стороны посодѣйствовать его возрожденію? Въ послѣднее время съ Старосмысловымъ происходило нѣчто очень

странное: онъ осунулся, похудѣлъ и до такой степени выцвѣлъ, какъ будто каждый день принималъ слабительное. Сверхъ того, я замѣтилъ, что и Капитолина Егоровна по временамъ появляется съ красными глазами, какъ бы отъ слезъ. Ясно, что между ними возникъ вопросъ, и именно вопросъ о раскаяніи. Повидимому, Ѳедоръ Сергѣичъ готовъ сдаться; напротивъ того, Капитолина Егоровна—крѣпится. И по цѣлымъ часамъ ведутъ они между собою безконечно тяжкій разговоръ: какъ тутъ быть? и ни до чего не могутъ договориться...

Разумѣется, самая трудная сторона для разрѣшенія—это матеріальная. Какія перспективы можетъ имѣть учитель латинской грамматики? какую производительную силу представляетъ онъ собой? И притомъ такой учитель латинской грамматики, которому не выдали даже прогонныхъ денегъ?! Вотъ ежели вышлютъ прогоны, тогда можно, пожалуй, и воспрянуть; но если не вышлютъ... Но положимъ, что даже и вышлютъ, — развѣ можно безсрочно жить въ Парижѣ, исполняя порученія на тему: *Tolle me, mu, mi, mis*... Когда же нибудь придется и опять въ Навозный съ отчетомъ ѣхать. И не одному Старосмыслову, и всѣмъ придется туда ѣхать, всѣмъ съ чистымъ сердцемъ предстать. Вотъ это-то мы и забываемъ. Гуляемъ да гуляемъ, думаемъ, что и конца этому гулянью не будетъ,—и вдругъ разсыльный изъ участка: «пожалуйте!»

И охота была Старосмыслову «періоды» сочинять! Добро бы философію преподавалъ или занималъ бы каѳедру элоквенціи, а то—натко!—старшій учитель латинскаго языка да что̀ выдумалъ! Ужъ это самое послѣднее дѣло, если-бъ и туда эта язва засѣла! Возлюбленнѣйшія чада народнаго просвѣщенія—и тѣ сбрендили! Сидѣлъ бы себѣ да въ Корнеліи Непотѣ копался—такъ нѣтъ, подавай ему Тацита! А хочешь Тацита—хоти и Пинегу... предатель!

И вѣдь отлично онъ зналъ, что за это у насъ не похвалятъ. Съ пеленокъ заставляли его лепетать: «сила солому ломитъ»—разъ; «плетью обуха не перебьешь»—два; «уши выше лба не растутъ»—три; и все-таки полѣзъ! И географіи-то когда учили, то приговаривали: Кола, Пинега, Мезень; Мезень, Мезень, Мезень!.. Нѣтъ-таки, позабылъ и это! А теперь удивляется... чему?

Ясно, что онъ Капочкѣ понравиться хотѣлъ; думалъ, что за «періоды» она еще больше любить станетъ. А того не сообразилъ, милый человѣкъ, что бываютъ такія строгія

времена, когда ни любить нельзя, ни любимымъ быть не полагается, а надо встать, уставившись лбомъ, и закоченѣть.

Удивительно, какъ еще Тацита Пафнутьевъ въ покоѣ оставилъ, какъ онъ и его въ Пинегу не сослалъ? Истинно, Юпитеръ спасъ!

Ахъ, надо же и Пафнутьева пожалѣть... ничего-то вѣдь онъ не знаетъ! Географіи—не знаетъ, исторіи—не знаетъ. Какъ есть—оболтусъ. Если-бъ онъ зналъ про Тацита—неужели бы онъ его къ чортовой матери не услалъ? И Тацита, и Тразею Пета, и Ликурга, и Дракона, и Адама съ Евой, и Ноя съ птицами и звѣрьми... всѣхъ! Покуда бы начальство за руку его не остановило: «стой! а кто же, потвоему, будетъ плодиться и множиться?»

И все-таки надо какъ-нибудь подкрѣпить Старосмыслова въ его новомъ душевномъ настроеніи. Не такъ грубо, какъ взялся за это Захаръ Иванычъ, а какъ-нибудь стороной, чтобъ ему въ самый разъ было, да и Капитолину Егоровну не очень бы огорчило. Но какъ это сдѣлать? Ежели начать съ «чинъ чина почитай»—онъ-то, можетъ-быть, и найдетъ въ своемъ сердцѣ готовность воспринять эту истину, да Капитолина Егоровна, чего добраго, заплачетъ. По какой причинѣ она заплачетъ—объ этомъ двояко можно сказать. Можетъ-быть, оттого, что съ прежней либеральной позиціей жалко разстаться, а можетъ-быть, и оттого, что она и сама ужъ понимаетъ, что музыка ея не выгорѣла. Но и въ томъ, и въ другомъ случаѣ несомнѣнно, что она заплачетъ оттого, что на сердцѣ кошки скребутъ.

Но потому-то именно и надо это дѣло какъ-нибудь исподволь повести, чтобъ оба, ничего, такъ сказать, не понимаючи, очутились въ самомъ лонѣ онаго. Ловчѣе всего это дѣлается, когда люди находятся въ состояніи подпитія. Выпьютъ по стакану, выпьютъ по другому—и вдругъ наплывъ чувствъ! Вскочатъ, начнутъ цѣловаться... ура! Капитолина Егоровна застыдится и скажетъ:

— Что-жъ, ежели всѣ... попробуй, Ѳедя!

А Захаръ Иванычъ поощритъ:

— Валяй!

Вотъ онѣ какія дѣла могутъ изъ «періода» па свѣтъ Божій выскочить!

Но тутъ мысли въ моей головѣ перемѣшались, и я заснулъ, не придумавши ничего существеннаго. Къ счастью, сама судьба бодрствовала за Старосмыслова, подготовивъ

случай, по поводу котораго всей нашей компаніи самымъ естественнымъ образомъ предстояло осуществить идею о подпитіи. На другой день—это было 17 (5) сентября, памяти Захаріи и Елисаветы—едва я проснулся, какъ ко мнѣ ввалился Захаръ Иванычъ и торжественно произнесъ:

— Богъ милости прислалъ. Прямо изъ церкви-съ. Просимъ покорно сегодня пирога откушать.

— По какому случаю?

— По случаю дня ангела-съ. Хоть и въ иностранныхъ земляхъ находимся, а все же честь-честью надо ангелу своему порадоваться. Въ русскомъ ресторанѣ-съ.

И вдругъ словно лучъ меня освѣтилъ. Все, что я тщетно обдумывалъ ночью и для чего не могъ подыскать подходящей формулы, все это предстало передо мною въ самой плѣнительной ясности!

«Русскій ресторанъ» помѣщается недалеко отъ Итальянскаго бульвара, противъ Комической Оперы, и замѣчателенъ по преимуществу тѣмъ, что выходитъ окнами на обширный и притомъ совершенно открытый писсуаръ. Изъ русскихъ кушаній тутъ можно получить: tschy russe, koulibak и bitok au smétane; все остальное совершенно то же, что и въ любомъ французскомъ ресторанѣ средней руки. Посѣтитель этого заведенія немногочисленъ и стыдливъ. Заходитъ больше средній русскій человѣкъ, и не въ обычный парижскій обѣденный часъ, а такъ, между двумя и тремя часами. Спроситъ порцію щей или битокъ, пообѣдаетъ, а знакомымъ говоритъ, что завтракаетъ. И знакомые тоже обѣдаютъ, но увѣряютъ, что завтракаютъ. И такимъ образомъ политиканятъ и лгутъ совершенно такъ же, какъ въ Россіи, а зачѣмъ лгутъ—сами не знаютъ. Изъ «особъ» сюда приходятъ (и тоже говорятъ, что завтракаютъ) тѣ немногіе сенаторы, которые получаютъ жалованье по штату и никакими иными «присвоенными» окладами не пользуются. На Парижъ-то ему посмотрѣть хочется, а жалованье небольшое и дѣтей куча—вотъ онъ и плетется въ русскій ресторанъ «завтракать».

Да, есть такіе бѣдные, что всю жизнь не только изъ штатнаго положенія не выходятъ, но всѣ остальныя усовершенствованія: и привислинское обрусеніе, и уфимскіе раздѣлы — все это у нихъ на глазахъ промелькнуло, по усамъ текло, а въ ротъ не попало. Да ихъ же еще по преимуществу, для парада, на крестные ходы посылаютъ!

Сидитъ онъ, этотъ въ штатахъ осужденный, гдѣ-нибудь

на Васильевскомъ Островѣ, радъ бы десять такихъ жалованьевъ заглотать—и не даютъ. Вспомнитъ, какъ въ свое время Юханцевъ жилъ, сравнитъ свои заслуги съ его заслугами и заплачетъ. Обидно. А всего обиднѣе, что не только прибавки къ штатному содержанію, но даже дѣлъ ему на просмотръ не даютъ: «гдѣ тебѣ, старику! вотъ ужо крестный ходъ будетъ, такъ пройдешься!» А между тѣмъ онъ, ей-Богу, еще въ полномъ разумѣ... Хоть сейчасъ испытайте! Ваше превосходительство! да вы попробуйте!.. Ну что тамъ пустое молоть!

И чего-чего только онъ ни дѣлалъ, чтобъ изъ штата выйти! И тайныхъ совѣтниковъ въ нигилизмѣ обвинялъ, и во всевозможныя особыя присутствія впрашивался, и уходящихъ въ отставку начальниковъ подходя костилъ, новоявленныхъ же прославлялъ... Однажды, въ тоскѣ смертной, даже руку начальнику поцѣловалъ, анъ тотъ только фыркнулъ! А онъ-то, цѣлуя, думалъ: «Господи! кабы тысячку!»

Говядина нынче дорогая, хлѣбъ пять копеекъ за фунтъ, къ живности, къ рыбѣ и приступу нѣтъ... А на плечахъ-то чинъ лежитъ, и говоритъ этотъ чинъ: «теперь тебѣ, вмѣсто фунта, всего по два фунта съѣдать надлежитъ!»

И вдругъ онъ задумалъ въ Парижъ... Сколько смѣху-то было! Даже экзекуторъ смѣялся: «такъ вы, Иванъ Семенычъ, въ Парижъ?» А онъ одну только думу думаетъ: «Съѣзжу въ Парижъ, ворочусь, скажутъ: образованный! Смотришь, анъ тысячка-другая и набѣжитъ!»

И вотъ онъ бѣжитъ въ русскій ресторанъ съѣсть bitok au smétane—и правъ на цѣлый день. И все думаетъ: «ворочусь, буду на Петровской площади анекдоты изъ жизни Гамбетты разсказывать!» И точно: воротился, разсказываетъ. Всѣ удивляются, говорятъ: «совсѣмъ современнымъ человѣкомъ нашъ Иванъ Семенычъ пріѣхалъ!»

Но ждетъ онъ мѣсяцъ, ждетъ другой—нѣтъ противъ штатнаго положенія облегченія, да и на̀ поди! Господа! да обратите же наконецъ вниманіе! Анна-то Ивановна вѣдь ужъ девятымъ тяжела ходитъ!

Вотъ въ этотъ самый ресторанъ и привлекъ насъ Блохинъ. Вѣроятно, онъ руководился соображеніемъ, что именинникъ безъ кулебяки быть нельзя, а въ другомъ мѣстѣ этого кулинарнаго продукта не отыщешь.

Я не буду останавливаться на обѣденномъ *тепи*: Захаръ Иванычъ изъ всѣхъ силъ выбился, чтобъ сообщить ему

вполнѣ краснохолмскій характеръ. Ради вящшаго сходства, онъ даже прихватилъ парочку тайныхъ совѣтниковъ, изъ русскихъ ресторановъ habitués, которые, должно-быть, еще наканунѣ пронюхали, что русскій купчина будетъ справлять именины, и съ утра, выбритые и съ подвитыми висками, подстерегали насъ. Я, впрочемъ, потому позволяю себѣ эту догадку, что тайные совѣтники явились во фракахъ, и какъ только окончательно увѣрились, что ихъ пригласили, то вынули изъ боковыхъ кармановъ по звѣздѣ и возложили ихъ на себя по установленію. За столомъ тайные совѣтники помѣстились по обѣ стороны Зои Филипьевны, причемъ когда кушанья начинали подавать съ одного тайнаго совѣтника, то другой завидовалъ и волновался при мысли, что, пока дойдетъ до него очередь, лучшіе куски будутъ уже разобраны. Сверхъ того, я замѣтилъ, что тайные совѣтники всякаго кушанья накладывали на тарелки противъ другихъ вдвое: одну порцію лично для себя, а другую—ради чина. Но такъ какъ они поступали такимъ образомъ не изъ жадности, а по принципу, то Захаръ Иванычъ не только не тяготился этимъ, но даже упрашивалъ взять еще по кусочку—на звѣзду.

Ѣли и пили мы цѣлыхъ полтора часа. И вотъ, когда тайные совѣтники впали отъ усиленной ѣды во младенчество, а прочіе гости дошли до точки, я улучилъ минуту и, снявшись со стула, произнесъ спичъ.

— Захаръ Иванычъ!—сказалъ я:—торжествуя вмѣстѣ съ вами день вашего ангела, я мысленно переношусь на нашу милую родину и на обширномъ ея пространствѣ отыскиваю скромный, но дорогой сердцу городокъ, въ которомъ вы, такъ сказать, впервые увидѣли свѣтъ. Этотъ городокъ былъ свидѣтелемъ вашихъ младенческихъ игръ; онъ любовался вами, когда вы, подъ руководствомъ маститаго вашего родителя, неопытнымъ юношей робко вступили на поприще яичнаго производства, и потомъ съ любовью слѣдилъ, какъ въ сердцѣ вашемъ, всегда открытомъ для всего добраго, постепенно созрѣвали сѣмена благочестія и любви къ постройкѣ колоколенъ и церквей (при этихъ словахъ Захаръ Иванычъ и Матрена Ивановна набожно перекрестились, а одинъ изъ тайныхъ совѣтниковъ потянулся къ амфитріону и подставилъ ему свою голую и до скользкости выбритую щеку). И вотъ теперь, когда родитель вашъ уже скончался («Царство небесное!»—шепчетъ Матрена Ивановна), родной городъ можетъ засвидѣ-

тельствовать, что ваше яичное производство не только не умалилось, но распорядительностью вашею доведено до размѣровъ дотолѣ неслыханныхъ.

— Исполать вамъ, Захаръ Иванычъ! ибо надобно знать, что̀ такое яйцо и какую роль оно играетъ въ жизни человѣческихъ обществъ; надобно собственнымъ опытомъ убѣдиться, какъ этотъ продуктъ хрупокъ и какимъ опасностямъ онъ подвергается при перемѣщеніяхъ, чтобъ вполнѣ оцѣнить вашу заслугу передъ отечествомъ. Если-бъ приказчики ваши не разъѣзжали круглый годъ по деревнямъ нашимъ, то крестьянинъ, этотъ первый производитель яйца—куда бы, спрашивается, онъ дѣвался съ нимъ? А съ другой стороны, если-бъ вы, цѣною неустанныхъ трудовъ, не перемѣстили яйца̀ изъ деревѝни въ столицу, какимъ бы другимъ равносильнымъ продуктомъ могъ замѣнить его житель послѣдней? Такимъ образомъ, освобождая жителя деревни отъ продукта, который представляетъ для него цѣнность лишь потолику, поколику онъ служитъ подспорьемъ для исправной уплаты податей, вы снабжаете онымъ жителя столицы, который любитъ яйцо уже ради яйца и цѣнитъ оное, потому что понимаетъ въ немъ толкъ. Но этого мало! Къ яичному производству вы постепенно присоединили производство курятное, а ежели подойдетъ хорошій случай, то̀ не возбраняете себѣ и скромныя операціи коровьимъ масломъ. Я знаю, Захаръ Иванычъ, что всѣ эти операціи вы производите при содѣйствіи любезнѣйшей супруги вашей, Зои Филипьевны, и почтеннѣйшей вашей сестрицы, Матрены Ивановны (Матрена Ивановна крестится и говоритъ тайнымъ совѣтникамъ: «кушайте, батюшки!»), но это приноситъ лишь честь вашей коммерческой прозорливости и показываетъ, какъ глубоко вы поняли смыслъ старинной латинской пословицы: concordia res parvae crescunt, а безъ конкордіи и magnae res dilabuntur. Поэтому, поздравляя васъ съ днемъ ангела, мы поступимъ вполнѣ согласно съ обстоятельствами дѣла (тайные совѣтники, заслышавъ этотъ достолюбезный оборотъ рѣчи, киваютъ головами), ежели въ этомъ поздравленіи соединимъ нашъ сердечный привѣтъ и вѣрнымъ сообщницамъ вашимъ на поприщѣ яичнаго и курятнаго производства. Захаръ Иванычъ! Зоя Филипьевна! за васъ поднимаю бокалъ мой! Плодитесь! Плодитесь смѣло и беззаботно, ибо въ размноженіи купеческихъ дѣтей заключается существеннѣйшее назначеніе краснохолмскаго 1-й гильдіи

купца! Вы же, милая Матрена Ивановна, яко добрая сестра и будущая тетка, старайтесь, и не имѣя собственнаго плода, проводить время съ пользою!

Я на минуту остановился, и мы начали цѣловаться. Сознаюсь откровенно, самымъ вкуснымъ мнѣ показался поцѣлуй Зои Филипьевны, а самыми невкусными и даже противными—поцѣлуи тайныхъ совѣтниковъ, у которыхъ, отъ старости, и губы какъ будто изныли, а вмѣсто нихъ остался тонкій рубецъ, тщательно подбритый снизу и сверху. Когда же обрядъ цѣлованья кончился, я продолжалъ:

— Но я не выполнилъ бы своей задачи, если-бъ, въ виду настоящаго умилительнаго торжества, не упомянулъ и о другой, вѣчно присущей сердцамъ нашимъ, именинницѣ—о нашей дорогой, далекой родинѣ. Я не буду говорить здѣсь о благодѣяніяхъ, которыя она щедрою рукою изливаетъ на насъ: мы всѣ, здѣсь присутствующіе, слишкомъ явственно, испытываемъ на себѣ выраженіе этихъ благодѣяній. Однихъ изъ насъ она произвела въ тайные совѣтники; другимъ въ перспективѣ показываетъ званіе коммерціи совѣтника, а въ ожиданіи такового предоставляетъ пользоваться правами 1-й гильдіи купца; передъ третьими раскрываетъ тайны латинской грамматики; наконецъ дамъ надѣляетъ скромностью и свойственными женскому полу украшеніями. Но не забудемъ, что ежели, съ одной стороны, отечество простираетъ надъ нами благодѣющую руку свою, то, съ другой стороны, оно дѣлаетъ это не безпошлинно, но подъ условіемъ, чтобы мы повиновались начальству и любили оное. Ибо, въ сущности, что такое отечество, Захаръ Иванычъ (Захаръ Иванычъ оттопыриваетъ губы)? Отечество, Захаръ Иванычъ, это есть извѣстная территорія, въ которой мы, по снабженію себя надлежащими паспортами, имѣемъ мѣстожительство. Вотъ что такое отечество. Но я не могу скрыть отъ васъ, Захаръ Иванычъ, что территорія, о которой я говорю, нерѣдко измѣняетъ свои очертанія, отчасти вслѣдствіе военныхъ удачъ или неудачъ, отчасти же вслѣдствіе дипломатическихъ договоровъ и конвенцій. Такъ, до 1871 года Страсбургъ былъ французскимъ отечествомъ; нынѣ же, вслѣдствіе парижскаго договора, онъ сдѣлался нѣмецкимъ отечествомъ. Подобно сему, Измаилъ долгое время состоялъ нашимъ отечествомъ, потомъ пересталъ быть онымъ, а нынѣ опять сдѣлался таковымъ. Кто знаетъ, быть-можетъ,

со временемъ мы увидимъ мервскихъ исправниковъ, подобно тому, какъ уже видимъ исправниковъ карсскихъ, батумскихъ и иныхъ! Благодаря этимъ измѣнямостямъ, любовь къ отечеству пріобрѣтаетъ нѣсколько абстрактный характеръ, вслѣдствіе чего многіе, при упоминаніи объ отечествѣ, только оттопыриваютъ губы. И вотъ, для того, чтобъ мы не оттопыривали губъ, но понимали этотъ предметъ во всей его ясности, намъ предлагается начальство. Начальство, Захаръ Иванычъ, есть нѣчто уже совершенно опредѣленное, имѣющее границы явственныя и непререкаемыя: отъ коллежскаго регистратора до дѣйствительнаго тайнаго совѣтника включительно. И въ этихъ границахъ мы всѣмъ должны повиноваться и всѣхъ любить. Конечно, горьконько бываетъ повиноваться коллежскимъ регистраторамъ, но горечь эта несомнѣнно и съ избыткомъ уравновѣшивается сладостью повиновенія тайнымъ и дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникамъ...

Я опять прерываю на минуту рѣчь, но на этотъ разъ не по собственному движенію, а потому, что тайные совѣтники, возгордившись похвалой, обходятъ присутствующихъ и всѣмъ по очереди подставляютъ свои скользкія щеки для наложенія поцѣлуя. Наконецъ движеніе прекращается, и я продолжаю:

— Но практика, Захаръ Иванычъ, представляетъ намъ по временамъ примѣры поразительнѣйшихъ заблужденій. Большинство людей охотно и горячо любитъ отечество даже въ томъ случаѣ, когда не можетъ съ точностью опредѣлить его границъ: любитъ и съ Измаиломъ и безъ Измаила, и съ Батумомъ и безъ онаго. Напротивъ того, очень немногіе возвышаются до страсти къ начальству. Очень возможно, что это происходитъ оттого, что отечество никогда не обременяетъ насъ предписаніями, тогда какъ начальство не можетъ шагу ступить безъ таковыхъ: но возможно также, что тутъ есть и другая причина, а именно: отечество называетъ насъ просто дѣтьми, начальство же къ этому нерѣдко присовокупляетъ: «курицыными». Я думаю однако-жъ, что это только недоразумѣніе, и, одобряя любовь къ отечеству съ Измаиломъ и безъ онаго, никакъ не могу одобрить тѣхъ, которые въ сердцѣ своемъ разсматриваютъ отечество отдѣльно отъ начальства. Начальство, Захаръ Иванычъ, это продуктъ отечества; отечество же въ свою очередь — продуктъ начальства. Одно немыслимо безъ другого, другое немыслимо безъ одного—

вотъ я какъ это дѣло понимаю. Однимъ словомъ, начальство и отечество—это... вотъ! (Я вкладываю пальцы одной руки промежду пальцевъ другой руки и дѣлаю видъ, что никакъ не могу растащить). И ежели я сейчасъ сказалъ, что отечество производитъ однихъ изъ насъ въ тайные совѣтники, а другимъ обѣщаетъ въ перспективѣ званіе коммерціи совѣтниковъ, то сказалъ это въ переносномъ смыслѣ, имѣя въ виду, что отечество всѣ эти операціи производитъ не само собой (что было бы превышеніемъ власти), но при посредствѣ естественнаго своего органа, то-есть начальства.

Захаръ Иванычъ, въ виду вторичнаго упоминовенія о перспективѣ коммерціи совѣтника, не выдерживаетъ и кричитъ: «шампанскаго!» Остальные подхватываютъ и троекратно провозглашаютъ: «ура!»

— Тѣмъ не менѣе я убѣжденъ, что шероховатости и недоразумѣнія, о которыхъ я сейчасъ упоминалъ, суть не что иное, какъ горькій видъ слабаго человѣческаго естества. Вся штука въ томъ, Захаръ Иванычъ, что человѣкъ слабъ, и такъ какъ эта слабость непроизвольная, то мы не имѣемъ права не принимать ее въ разсчетъ при оцѣнкѣ человѣческихъ дѣйствій. Но, кромѣ того, мы не должны забывать, что бываютъ минуты въ жизни народовъ, когда дѣйствія начальствующихъ лицъ пріобрѣтаютъ какъ бы нарочито изнурительный характеръ, и что именно въ этито минуты подначальный человѣкъ и отыскиваетъ въ себѣ охоту прегрѣшать. Все это, разумѣется, можетъ и даже должно въ значительной мѣрѣ служить оправданіемъ для невинно-падшаго; но... Но въ томъ-то и дѣло, Захаръ Иванычъ, что у всякой штуки всегда имѣется въ запасѣ еще двѣ штуки, не одна, а именно двѣ, и притомъ діаметрально противоположныя. Такъ что если, съ одной стороны, мы не имѣетъ права не принимать въ соображеніе смягчающихъ обстоятельствъ, то, съ другой стороны, обязываемся не упускать изъ вида и того, что Провидѣніе усѣивая нашъ жизненный путь спасительными искушеніями, въ то же время приходитъ къ намъ на выручку съ двумя прекраснѣйшими своими дарами. Первый изъ этихъ даровъ есть твердость въ дѣйствіяхъ; второй—раскаяніе, сопровождаемое испрошеніемъ прощенія. О первомъ распространяться не буду, ибо оно достаточно извѣстно всѣмъ, здѣсь присутствующимъ; что же касается до второго, то даръ сей практически можетъ быть формулированъ такъ:

люби кататься, люби и саночки возить. Я увѣренъ, что каждый изъ насъ, ежели только онъ искренно вникнетъ въ смыслъ этой формулы, найдетъ, что въ ней не только нѣтъ ничего обременительнаго, но что, напротивъ, она во многомъ развязываетъ намъ руки. Что̀ стоитъ сказать: пардонѐ?—формально ничего! А между тѣмъ едва вы произнесли это слово, какъ уже все забыто! Одно слово—только одно слово, Захаръ Иванычъ!—и какія безграничныя перспективы открываются передъ нами! Не знаю, какъ вы, Захаръ Иванычъ, но если-бъ очередь прегрѣшать дошла до меня, то я, выполнивъ этотъ невольный долгъ, налагаемый на меня природою, непремѣнно сказалъ бы: пардонѐ! А потомъ и опять бы своевременно прегрѣшилъ, и опять—пардонѐ! И дѣлалъ бы я это тѣмъ охотнѣе, что въ сущности, куда бы я ни обернулся, куда бы ни пытался уйти—нигдѣ отъ начальства спрятаться не могу. Вездѣ оно меня отыщетъ и покараетъ, и слѣдовательно, ежели я могу отвертѣться отъ него съ помощью коротенькаго «пардонѐ»—ужели же я не воспользуюсь этимъ? Итакъ, поднимемъ бокалы наши! И пусть тѣ, которые чувствуютъ себя прегрѣшившими, изъ глубины сердецъ воскликнутъ: пардонѐ!—и затѣмъ пусть вновь на здоровье прегрѣшаютъ!

Рѣчь моя произвела потрясающее дѣйствіе. Но въ первую минуту не было ни криковъ, ни волненія; напротивъ, всѣ сидѣли молча, словно подавленные. Тайные совѣтники жевали и, можетъ-быть, надѣялись, что сейчасъ сызнова обѣдать начнутъ; Матрена Ивановна крестилась; у Ѳедора Сергѣича глаза были полны слезъ; у Капитолины Егоровны покраснѣлъ кончикъ носа. Захаръ Иванычъ первый положилъ конецъ молчанію, сказавъ:

— Пардонѐ—и шабашъ! Ну, парень, прошибъ ты меня! Поцѣлуемся!

Слова эти послужили сигналомъ для наплыва чувствъ. Ѳедоръ Сергѣичъ бросился ко мнѣ и, обнимая, прерывающимся голосомъ говорилъ:

— Вы облегчили... вы сняли бремя съ души... Ахъ, если-бъ вы знали, какъ я измучился! Капочка! милая!

Въ отвѣтъ на этотъ крикъ сердца Капитолина Егоровна улыбнулась сквозь слезы и сказала:

— Что̀-жъ, ежели всѣ... попробуй, мой другъ!

А Захаръ Иванычъ присовокупилъ:

— Валяй!

Словомъ сказать, все произошло точь-въ-точь, какъ я предвидѣлъ.

И вотъ, какъ бы въ отвѣтъ на совершенный нами подвигъ смиренія и добра, вечеромъ того же дня произошло чудо.

Старосмысловъ получилъ прогоны...

Онъ получилъ ихъ при любезномъ письмѣ отъ самого Пафнутьева, который, въ согласность съ полученными начальственными предписаніями, просилъ забыть его недавнія консервативныя неистовства и имѣть въ виду одно: что отнынѣ на всемъ лицѣ Россіи не найдется болѣе надежнаго либерала, какъ онъ, Пафнутьевъ. Но въ иллюзіи все-таки убѣждалъ не вѣрить.

Однимъ словомъ, какъ-то такъ случилось, что не Старосмыслову пришлось раскаиваться, а раскаялся самъ Пафнутьевъ!

Я считаю излишнимъ описывать радостный переполохъ, который это извѣстіе произвело въ нашей маленькой колоніи. Но для меня лично къ этой радости примѣшивалась и частичка горя, потому что на другой же день и Блохины и Старосмысловы уѣхали обратно въ Россію. И я опять остался одинъ-на-одинъ съ мучительною думою: кого-то еще пошлетъ Богъ, кто поможетъ мнѣ размыкать одиночество среди этой биткомъ-набитой людьми пустыни?..

Глава VI.

Главное, чего русскій гулящій человѣкъ долженъ всего больше опасаться за границей—это одиночества и въ особенности продолжительнаго! Одиночество дастъ человѣку поблажку мыслить—вотъ въ чемъ бѣда. Мыслить, то-есть припоминать, ставить вопросы, а буде не пропала совѣсть, то чувствовать и уколы стыда. Такъ что въ результатѣ непремѣнно получится какое-то гложущее уныніе. Это уныніе приведетъ къ нулю всю работу мысли; оно парализуетъ возможныя рѣшенія, заслонитъ возможныя перспективы и будетъ лишь безнадежно раздражать до тѣхъ поръ, покуда счастливый случай не подвернетъ подъ руку краснохолмскаго купца или всероссійскаго безшабашнаго совѣтника. Или, говоря другими словами, покуда пустяки и праздное мельканіе вновь не займутъ той первенствующей роли, которая, по преданію, имъ принадлежитъ.

Но для того, чтобъ сдѣлать мою мысль по возможности

ясною, считаю нелишнимъ сказать нѣсколько словъ о пустякахъ.

Въ средѣ, гдѣ нѣтъ ни подлиннаго дѣла, ни подлинной увѣренности въ завтрашнемъ днѣ, пустяки играютъ громадную роль. Это единственный рессурсъ, къ которому прибѣгаетъ человѣкъ, чтобъ не задохнуться окончательно, и въ то же время это легчайшая форма жизни, такъ какъ всѣ проявленія ея заключаются въ непрерывномъ маятномъ движеніи отъ одного предмета къ другому, безъ плана, безъ очереди, по мѣрѣ того, какъ они сами собой выплываютъ изъ бездны случайностей.

Предаваясь этому движенію, человѣкъ совершаетъ простую обрядность, не только не требующую помощи мыслящей силы, но даже идущую прямо въ разрѣзъ ей. Въ этой сутолокѣ нѣтъ и не можетъ быть мѣста для мысли. Подавленная цѣлой массой случайныхъ подробностей, мысль прячется, глохнетъ, а ежели отъ времени до времени и настаютъ для нея минуты пробужденія, то она не помогаетъ, не выводитъ на дорогу, а только мучительно раздражаетъ. Она ставитъ вопросы, взбудораживаетъ совѣсть, но въ то же время постыдно ослабѣваетъ передъ всякой серьезной работой разъясненія. Вопросы остаются обнаженными, въ томъ зачаточномъ видѣ, въ какомъ они возникли; совѣсть безконечно ноетъ — только и всего. Даже компромиссовъ не является, на которыхъ, хоть съ грѣхомъ пополамъ, можно было бы примириться. Одно желаніе: уйти, забыть, на все махнуть рукой...

Повторяю: при такихъ условіяхъ одиночество лишаетъ человѣка послѣдняго рессурса, который даетъ ему возможность заявлять о своей живучести. Потребность усчитать самого себя, которая при этомъ является, приводитъ за собой не работу мысли, въ прямомъ значеніи этого слова, а лишь безнадежное вращаніе въ пустотѣ, вращаніе, сопровождаемое всякаго рода трусостями, отступничествами, малодушіями.

Плодъ жизни, въ основѣ которой лежатъ одни пустяки, эта пустота только пустяками же и можетъ быть наполнена. Вопросы встаютъ, но внушаютъ болѣзненный страхъ; воспоминанія плывутъ навстрѣчу, но вызываютъ отчаяніе; совѣсть пробуждается, но переходитъ въ смуту. Въ силу какого-то ужаснаго преданія никто не задерживаетъ мысли, не вызываетъ ее на правильную работу! Остаются—пустяки. Они представляютъ собою жизненный фондъ, естественное

продолженіе всего прошлаго, начиная съ пеленокъ и кончая послѣднею, только-что прожитою минутой, когда съ языка сорвалось — именно сорвалось, а не сказалось—послѣднее пустое слово. Въ однихъ пустякахъ человѣкъ ощущаетъ себя вполнѣ легко; передъ ними одними онъ не чувствуетъ надобности трусить, лицемѣрить, оглядываться въ страхѣ по сторонамъ. Пустяки представляютъ подавляющую силу именно въ томъ смыслѣ, что убиваютъ въ человѣкѣ способность интересоваться чѣмъ бы то ни было, кромѣ самаго низменнаго бездѣльничества. Является неудержимая потребность потонуть въ пустякахъ, развѣять жизнь по вѣтру, существовать со дня на день, слоняться отъ одного предмета къ другому, ни во что не углубляясь...

Понятно, что тамъ, гдѣ жизнь слагается подъ бременемъ массы пустяковъ, никакіе твердые общественные устои не могутъ быть мыслимы. Тѣ рѣдкіе проблески энергіи, которые по временамъ пробиваются наружу, и они пріобрѣтаютъ какія-то чудовищныя противо-человѣческія формы. Причина простая: въ кисельныхъ берегахъ никакое истинно-жизненное теченіе удержаться не можетъ. Когда жизнь растекается и загниваетъ, то понятно, что случайныя вспышки энергіи могутъ найти себѣ выходъ только или въ изувѣрствѣ, или въ презрѣніи. Ничего не жаль, нечего и некого воззвать къ дѣятельности. Надъ всѣмъ опочила плѣсень вѣковъ; все потонуло въ безразличной безднѣ, даже не отвѣдавъ отъ плода жизни. Возможна ли при подобныхъ условіяхъ иная дѣятельность, кромѣ такой, которая ничего другого не приноситъ, исключая личнаго самомнѣнія, ненависти и презрѣнія?

Кто, не всуе носящій имя человѣка, не испыталъ священныхъ экзальтацій мысли? кто мысленно не обнималъ человѣчества, не жилъ одной съ нимъ жизнью? Кто не метался, не изнемогалъ, чувствуя, какъ существо его загорается подъ наплывомъ сладчайшихъ душевныхъ упоеній? Кто хоть разъ, въ долгій или короткій періодъ своего существованія, не обрекалъ себя на служеніе добру и истинѣ? И кто не пробуждался, среди этихъ упоеній, подъ окрикъ: цыцъ... вредный мечтатель!

Мы, сходящіе съ жизненной сцены старики, мы настолько уже отдалены отъ упоенія мысли, что съ трудомъ можемъ воспроизвести даже внѣшніе признаки ихъ. Поэтому и бездна, лежащая между упоеніемъ и пробуждающимъ его окрикомъ, не заставляетъ насъ метаться отъ

боли. Но несомнѣнно, что и мы въ свое время испытали всѣ фазисы этихъ упоеній. Однако-жъ пришли пустяки и заволокли ихъ. Какимъ образомъ заволокли?—мы даже послѣдовательности этого процесса теперь намѣтить не можемъ. Мы можемъ только сказать: заволокли, и затѣмъ, какъ бы подъ гнетомъ глубокой обиды, поспѣшить уйти отъ случайно выплывающихъ воспоминаній. Но, клянусь, даже теперь становится жутко, когда спросишь себя: ужели съ такою же легкостью пустяки заволокутъ и тѣхъ, которые призваны смѣнить насъ?

Какъ бы то ни было, но для насъ, мужей совѣта и опыта, пустяки составляютъ тотъ средній жизненный уровень, которому мы фаталистически подчиняемся. Я не говорю, что тутъ есть сознательное «примиреніе», но въ существованіи «подчиненія» сомнѣваться не могу. И благо намъ. Пустяки служатъ для насъ оправданіемъ въ глазахъ сердцевѣдцевъ; они представляютъ собой нѣчто равносильное патенту на жизнь и въ то же время настолько одурманиваютъ совѣсть, что избавляютъ отъ необходимости ненавидѣть или презирать...

Счастливцы!!

Тоска настигла меня немедленно, какъ только Блохины и Старосмысловы оставили Парижъ. Воротившись съ проводинъ, я ощутилъ такое глубокое одиночество, такую неслыханную наготу, что чуть-было не послалъ въ русскій ресторанъ за безшабашными совѣтниками. Однако на этотъ разъ воздержался. Во-первыхъ, вспомнилъ, что я ужъ больше трехъ недѣль по Парижу толкаюсь, а ничего еще порядкомъ не видалъ; во-вторыхъ, меня вдругъ озарила самонадѣянная мысль: а что, ежели я и независимо отъ безшабашныхъ совѣтниковъ сумѣю просуществовать?

Цѣлыхъ два дня я бился, упорствуя въ своей рѣшимости, и скажу прямо: это были одни изъ мучительнѣйшихъ дней моей жизни. Вся бѣда въ томъ, что я сейчасъ же принялся мыслить. Началъ съ того, что побывалъ на берегахъ Пинеги и на берегахъ Вилюя, задалъ себѣ вопросъ: ужели есть такая нужда, которая можетъ загнать человѣка въ эти волшебныя мѣста?—и ничего на вопросъ не отвѣтилъ. Потомъ, тутъ же сряду, спросилъ себя: что, если-бъ Старосмыслова не на шутку... сначала на коняхъ, затѣмъ на оленяхъ, наконецъ на собакахъ... а?—и опять ничего не отвѣтилъ. По сцѣпленію идей, съ береговъ Пинеги и Вилюя

я перенесся на берегъ Невы и заглянулъ въ квартиру современнаго русскаго либерала. Увы! онъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ одинъ, всѣми оставленный (ибо прочіе либералы тоже сидѣли каждый въ своемъ углу, въ ожиданіи возмездія), и тревожно прислушивался, какъ бы выжидая: вотъ-вотъ звякнетъ въ передней колокольчикъ. Лицо его замѣтно осунулось и выцвѣло противъ того, какъ я видѣлъ его мѣсяцъ тому назадъ, но губы все еще по привычкѣ шептали: «въ надеждѣ славы и добра...» И куда это онъ все приглашаетъ? на что надѣется? Или это такая ужъ скверная привычка: шептать, надѣяться, приглашать? удивился я про себя и опять ничего не отвѣтилъ. Отъ либерала мысленно зашелъ на квартиру консерватора и засталъ тамъ цѣлое сборище. Шумѣли, пили водку, потирали руки, проектировали мѣры по части упраздненія человѣческаго рода, писали вопросные пункты, проклинали совѣсть, правду, честь, проливали веселыя крокодиловы слезы... Должно-быть, случилось что-нибудь ужасное—ишь вѣдь какъ гады закопошились! Быть-можетъ, осуществился какой-нибудь актъ противочеловѣческаго изувѣрства, который далъ *гадамъ* радостный поводъ для своекорыстныхъ обобщеній? Все это мелькнуло у меня въ головѣ, мелькнуло и заплыло безъ отвѣта. Затѣмъ я направился въ курную избу самарскаго мужика, но тутъ, даже не формулировавши вопроса, безъ оглядки побѣжалъ дальше. Углубился въ исторію, вспоминалъ про Ермака, подарившаго Россіи Сибирь, про новгородскую вольницу, отыскавшую Вятку, Соликамскъ, Чердынь, Пермь; про Ченслера, указавшаго путь къ устьямъ Сѣверной Двины, воскликнулъ: экъ васъ угораздило!—и до такой степени оставилъ это восклицаніе безъ послѣдствій, что даже и теперь не могу обстоятельно объяснить, какимъ образомъ и зачѣмъ оно у меня сложилось.

Однимъ словомъ, ширялъ сизымъ орломъ по подпебесью, рыскалъ сѣрымъ волкомъ по землѣ и даже растекался мыслью по древу. Совсѣмъ какъ во снѣ. Отчего я ни на одномъ вопросѣ не остановился, ни на одинъ не далъ отвѣта?—я и на этотъ вопросъ отвѣтить не могу. Можетъ-быть, потому, что мысль, атрофированная продолжительнымъ бездѣйствіемъ, вообще утратила цѣпкость, но, можетъ-быть, и потому, что затронутая мною матерія представляла нѣчто до того обыденное, что и вопросы и отвѣты по ея поводу предполагаются фаталистически начертанными въ человѣческомъ сердцѣ и слѣдовательно одинаково праздными.

Не то, чтобъ не было отвѣтовъ, но не было потребности ни отыскивать, ни формулировать ихъ...

Нѣсколько настойчивѣе и какъ будто опредѣленнѣе останавливался я на вопросѣ о сердцевѣдцахъ и сердцевѣдѣніи; но и тутъ, едва доходило дѣло до живого мяса, какъ мысль моя сейчасъ же впадала въ позорное двоегласіе.

Вопросъ о содержаніи сердецъ во всегдашней готовности для прочтенія—одинъ изъ самыхъ мучительныхъ въ нашей жизни. И я полагаю, что потому именно онъ такъ обострился у насъ, что нигдѣ въ цѣломъ мірѣ не найдется такой массы глупыхъ людей, для которыхъ весь кодексъ политической благонадежности выразился въ словахъ: «что-жъ, если у меня душа чиста — милости просимъ!» Да и не только за себя такимъ образомъ говорятъ эти глупцы, но и къ постороннимъ людямъ обращаются: «вѣдь у васъ, господа, души чистыя: отчего же не одолжить ихъ для прочтенія?...» Ахъ, срамъ какой!

Хуже всего то, что, наслушавшись этихъ приглашеній, а еще больше насмотрѣвшись на ихъ осуществленіе, и самъ мало-по-малу привыкаешь къ нимъ. Сначала скажешь себѣ: а что, въ самомъ дѣлѣ, вѣдь нельзя же въ благоустроенномъ обществѣ безъ сердцевѣдцевъ. Вѣдь это въ своемъ родѣ необходимость... печальная, но все-таки необходимость! А потомъ, помаленьку да полегоньку, и свое собственное сердце начнешь съ такимъ разсчетомъ располагать, чтобъ оно во всякое время представляло открытую книгу: смотри и читай!

Приливы предупредительно-пресѣкательнаго энтузіазма, во время которыхъ сердце человѣческое, такъ сказать, само собой летитъ навстрѣчу околоточному, до такой степени вошли въ наши нравы, что сдѣлались одною изъ самыхъ обыкновенныхъ обрядностей нашего существованія. Мы такъ мало вѣримъ въ себя, что даже не пытаемся искать защиты въ самихъ себѣ, а прямо вопіемъ: «господа сердцевѣдцы! милости просимъ!» Очевидно, мы сами въ этомъ контролѣ видимъ единственное средство обѣлить себя не только въ глазахъ любопытствующихъ, но и въ своихъ собственныхъ...

Само собой разумѣется, что я лично ничего противъ приливовъ этого рода не имѣю. Напротивъ того, я въ этомъ случаѣ даже привередливъ: самъ и страницы помогаю перевертывать, потому что вѣдь у него, у сердцевѣдца, пальцы-то чортъ знаетъ въ чемъ перепачканы... Но, говоря

по совѣсти, все-таки не могу скрыть, что любители подобнаго чтенія подчасъ бываютъ очень для подлежащаго прочтенію человѣка непріятны. Причина тому простая: въ человѣческомъ сердцѣ не одни дѣла, до благоустройства и благочинія относящіяся, написаны, но есть кое-что и другое. И вотъ, когда начинаютъ добираться до этого «другого», то, по мнѣнію моему, это уже представляется равносильнымъ вторженію въ районъ чужого вѣдомства. Все равно какъ при обыскѣ или прочтеніи писемъ частныхъ лицъ. Я знаю, конечно, что ежели у меня «искомаго» ничего нѣтъ, то и опасаться мнѣ нечего; но, къ сожалѣнію, кромѣ «искомаго», у меня можетъ оказаться и нѣчто «неискомое». Это «неискомое» я имѣлъ слабость считать своею личною неприкосновенною тайностью, и вдругъ на него глянулъ глазокъ-смотрокъ. «Помнишь ли, милый другъ, какъ ты, какъ я...»—кажется, въ этомъ ничего нѣтъ «искомаго»? А между тѣмъ когда это «неискомое» дѣлается обрѣтеннымъ, то чувствуется ужасная, почти несносная неловкость. Сначала думается: «вотъ оно какое дѣло случилось!» а потомъ думается и еще: «эхъ, руки-то коротки!..» Право, съ ума сойти можно... И сходятъ.

Не знаю, можетъ-быть, меня упрекнутъ, что, разсуждая такимъ образомъ, я обнаруживаю крайнюю неспособность держаться на высотѣ положенія. Виноватъ, дѣйствительно, этой способности во мнѣ нѣтъ. Будь у меня она, я стоялъ бы себѣ да постаивалъ на высотѣ положенія—и горюшка мало! Но разъ что высоты для меня недоступны, я поневолѣ отношусь скептически къ полезнымъ свойствамъ сердцевѣдѣнія. И потому, когда замѣчаю, что большинство сердцевѣдовъ не только смѣшиваетъ «искомое» съ «неискомымъ», но даже сопровождаетъ подобныя смѣшенія веселыми прибаутками, то эти послѣднія нимало не кажутся мнѣ восхитительными. Иной, напримѣръ, сразу видитъ, что читать нечего, но замѣтитъ гдѣ-нибудь въ уголкѣ: «помнишь ли, какъ ты, какъ я...»—и вцѣпятся. А бываютъ и такіе, что прежде всего норовятъ отыскать, не написано ли гдѣ: «Извлеченіе изъ Высочайшаго манифеста о кредитныхъ билетахъ», и какъ только отыщетъ, такъ сейчасъ «эти страницы я ужъ у себя на дому прочту-съ...»

Неужто это резонъ?

Вотъ почему иногда и думается: не лучше ли было бы, если-бъ въ видѣ опыта право читать въ сердцахъ было замѣнено правомъ ожидать поступковъ... Но тутъ же сряду

представляется и другое соображеніе: иной вѣдь, пожалуй, такъ изловчится, что иногда отъ него никакихъ поступковъ не увидишь... неужто-жъ такъ-таки и ждать до скончанія вѣковъ?

Нѣтъ, воля ваша, а это тоже не резонъ.

Или возьмемъ другой примѣръ того же порядка. Многіе публицисты пишутъ: ежели-де на песчаномъ морскомъ брегѣ случай просыпалъ коробку съ иголками, то нужно-де эти иголки всѣ до одной разыскать, хотя бы для этого пришлось взбудоражить весь берегъ...

Многіе однако-жъ полагаютъ, что это не резонъ.

Но, съ другой стороны, какъ размыслишь, да къ тому же еще и съ околоточнымъ переговоришь, то представляется и такое соображеніе: иголки имѣютъ свойство впиваться, причинять общее безпокойство и т. д.—неужто же такъ-таки и оставить ихъ безъ разысканія?

Нѣтъ, какъ хотите, и это не резонъ.

Резонъ — не резонъ; не резонъ — и опять резонъ. Вотъ вокругъ этихъ-то безплодныхъ терминовъ и вертится жизнь, какъ бѣлка въ колесѣ.

Въ сей крайности, мнѣ кажется, самое лучшее: отложить всякое попеченіе, сидѣть и молчать. Только и тутъ опять бѣда: пожалуй, молчавши, измучаешься!

Слово — серебро, молчаніе — золото; такъ гласитъ стародавняя мудрость. Не потому молчаніе приравнивается злату, чтобъ оно представляло невѣсть какую драгоцѣнность, а потому, что при извѣстныхъ условіяхъ другого, болѣе правильнаго, выхода нѣтъ. Когда на сцену выступаетъ практическое сердцевѣдѣніе, то я прежде всего разсуждаю такъ: вѣроятно, въ данную минуту обстоятельства такъ сложились, что безъ этого обойтись невозможно. Но въ то же время не могу же я заглушить въ своемъ сердцѣ голосъ той высшей человѣческой правды, который удостовѣряетъ, что подобныя условія жизни ни нормальными, ни легко переживаемыми назвать не приходится. И вотъ, когда очутишься между двумя такими голосами, изъ которыхъ одинъ говоритъ «правильно», а другой: «правильно, чортъ возьми, но несносно!»—вотъ тогда-то и приходитъ на умъ: а что, ежели я до времени помолчу? И помолчу, потому что и безъ меня охотниковъ говорить достаточно...

Тяжелое наступило нынѣ время, господа: время отравленія особаго рода ядомъ, который я назову *газетнымъ*. Ахъ, какое это неслыханное мученіе, когда газетныя трихины

играть начинаютъ! Ползаютъ, суматошатся, впиваются, сыскиваютъ, точатъ. Наглотаешься съ утра этого яду и потомъ цѣлый день какъ отравленный ходишь...

Какой же однако выходъ изъ этого лабиринта двусловій? Неужто только одинъ и есть: помолчу?..

. . . . . .

Но положеніе мое ухудшилось еще больше, когда, наскучивъ безплоднымъ пребываніемъ въ мірѣ конкретностей, я самонадѣянно попытался сизымъ орломъ возлетѣть въ сферу отвлеченностей. Встарину я дѣлывалъ подобные полеты нерѣдко. Вмѣстѣ съ прочими сверстниками, я охотно баловалъ себя экскурсіями въ ту область, гдѣ предполагается «невидимыхъ вещей обличеніе», и, помнится, экскурсіи эти доставляли мнѣ живѣйшее удовольствіе. Не скажу, чтобъ я видѣлъ эту область вполнѣ отчетливо, но во всякомъ случаѣ созерцаніе ея возбуждало во мнѣ не страхъ, а положительно сладостное чувство. Вообще тогда жилось дерзновеннѣе (я, конечно, имѣю въ виду только себя и своихъ сверстниковъ), хотя не могу не сознаться, что основной жизненный фондъ все-таки былъ пораженъ непослѣдовательностью, граничащей съ легкомысліемъ. Двѣ жизни шли рядомъ: одна, такъ сказать, pro domo, другая—страха ради іудейска, то-есть въ формѣ оправдательнаго документа передъ начальствомъ. Сидишь, бывало, дома и всѣмъ существомъ, такъ сказать, уходишь въ область «невидимыхъ вещей обличенія». И вдругъ бьетъ урочный часъ — бѣги въ канцелярію. Надѣлъ штаны, вицъ-мундиръ, и черезъ четверть часа находишься ужъ совсѣмъ въ другой области—въ области «видимыхъ вещей утвержденія». Натурально, и тамъ и тутъ—вопросы совсѣмъ разные. Въ первой области — вопросъ о томъ, позади ли нужно искать золотого вѣка или впереди; во второй—вопросъ объ устройствѣ золотыхъ вѣковъ при помощи губернскихъ правленій и управъ благочинія, на точномъ основаніи изданныхъ на сей предметъ узаконеній. Посидишь, поскребешь перомъ, смотришь — опять бьетъ урочный часъ. Снова бѣжишь домой, перемѣняешь штаны, надѣваешь сюртукъ или халатъ и опять попадаешь въ область «невидимыхъ вещей обличенія». Такъ и прошла молодость...

Нынѣшнему поколѣнію можетъ показаться не совсѣмъ складною эта бѣготня изъ одной области въ другую, но тогда—жилось и неловкостей не ощущалось.

И вотъ теперь, спустя много-много лѣтъ, благодаря слу-

чайному одиночеству, точно струя молодости на меня хлынула. Дай, думаю, побѣгаю, какъ встарину бывало.

Однако бѣгать не привелось, ибо какъ ни ходко плыли навстрѣчу молодыя воспоминанія, а все-таки пришлось убѣдиться, что и ноги не тѣ, и кровь въ жилахъ не та. Да и вопросы, которые принесли эти воспоминанія... ужъ, право, не знаю, какъ и назвать ихъ. Одни, болѣе снисходительные, называютъ ихъ несвоевременными; другіе, несомнѣнно злобные—прямо вредными. Что же касается лично до меня... А впрочемъ, судите сами.

Вопросъ первый: утѣшаетъ ли исторія? Лѣтъ сорокъ тому назадъ—я знаю это навѣрное—я по сущей правдѣ отвѣтилъ бы: да, утѣшаетъ. А нынче что я скажу? Вѣдь я даже мыслить принципіально, безъ вводныхъ примѣсей, разучился. Начну съ мрака временъ и, только-что забрезжитъ свѣтъ, сейчасъ наткнусь либо на Пинегу съ Вилюемъ, либо на уставъ о пресѣченіи, да тутъ и загрязну. Именно это самое и теперь случилось. Едва выглянулъ на меня вопросъ, едва приступилъ я къ его расчлененію, какъ вдругъ откуда ни взялся генералъ-майоръ Отчаянный и такъ сверкнулъ очами, что я сразу опѣшилъ. «Нѣтъ, ужъ лучше я завтра...»—смущенно отвѣтилъ я самъ себѣ и въ ту же минуту поспѣшилъ съ такимъ разсчетомъ юркнуть, чтобъ и ушей моихъ не было видно.

Вопросъ второй: можно ли жить съ народомъ, опираясь на оный? Сорокъ лѣтъ тому назадъ я навѣрное отвѣтилъ бы: не только можно, но иначе и жить нельзя. Нынче... только-что начну я разсказывать и доказывать «отъ принципа», что человѣческая дѣятельность внѣ сферы народа безпредметна и безсмысленна, какъ вдругъ во всемъ моемъ существѣ «шкура» заговоритъ. Выглянутъ молодцы изъ Охотнаго ряда, сотрудники съ Сѣнной площади и наконецъ цѣлая масса аферистовъ-бандитовъ, въ родѣ Наполеона III, который вѣдь тоже возглашалъ: tout pour le peuple et par le peuple... И, разумѣется, въ заключеніе: «нѣтъ, ужъ лучше я завтра...»

Вопросъ третій: можно ли жить такою жизнью, при которой полагается ѣсть пирогъ съ грибами исключительно затѣмъ, чтобъ держать языкъ за зубами? Сорокъ лѣтъ тому назадъ я опять-таки навѣрное отвѣтилъ бы: нѣтъ, такъ жить нельзя. А теперь? — теперь: «нѣтъ, ужъ я лучше завтра...»

Словомъ сказать, на цѣлую уйму вопросовъ пытался я

дать отвѣты, но, увы! ни конкретности, ни отвлеченности— ничто не будило обезсилѣвшей мысли. Мучился я, мучился и чуть-было не крикнулъ: водки!—но, къ счастью, въ Парижѣ это напитокъ не столь общедоступный, чтобъ можно было, по произволенію, утѣшаться имъ...

Такъ я и легъ спать, вынеся изъ двухдневной тоски одну истину, что при извѣстныхъ условіяхъ жизни запой долженъ быть разсматриваемъ не столько съ точки зрѣнія порочности воли, сколько въ смыслѣ неудержимой потребности огорченной души...

Мой сонъ былъ тревожный, больной. Сначала мерещились какіе-то лишенные связи обрывки, но мало-по-малу образовалось нѣчто связное; цѣлый colloquium, героиней котораго была... свинья! Однако-жъ этотъ colloquium настолько любопытенъ, что я считаю нелишнимъ подѣлиться имъ съ читателемъ, въ томъ видѣ, въ какомъ сохранила моя память.

ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ СВИНЬЯ

или

РАЗГОВОРЪ СВИНЬИ СЪ ПРАВДОЮ.

ПРЕРВАННАЯ СЦЕНА

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Свинья, разъѣвшееся животное; щетина ощерилась и блеститъ вслѣдствіе безпрерывнаго обхожденія съ хлѣвной жидкостью.

Правда, особа которой по штату полагается быть вѣчно юною, но уже изрядно побитая. Прикрыта, по распоряженію начальства, лохмотьями, сквозь которыя просвѣчиваетъ классическій полный мундиръ, т.-е. нагота.

Дѣйствіе происходитъ въ хлѣву.

Свинья *(кобенится)*. Правда ли, сказываютъ, на небѣ-де солнышко свѣтитъ?

Правда. Правда, свинья.

Свинья. Такъ ли, полно? Никакихъ я солнцевъ, живучи въ хлѣву, словно не видывала?

Правда. Это оттого, свинья, что когда природа создавала тебя, то, создаваючи, приговаривала: не видать тебѣ, свинья, солнца краснаго!

Свинья. Ой ли? *(Авторитетно)*. А по-моему, такъ всѣ эти солнцы—одно лжеученіе...: ась?

Правда *безмолвствуетъ и сконфуженно поправляетъ лохмотья. Въ публикѣ раздаются голоса: «Правда твоя, свинья! лжеученія! лжеученія!»*

Свинья *(продолжаетъ кобениться).* Правда ли, будто въ газетахъ печатаютъ: свобода-де есть драгоцѣннѣйшее достояніе человѣческихъ обществъ?

Правда. Правда, свинья.

Свинья. А по-моему, такъ и безъ того у насъ свободы по горло. Вотъ я безотлучно въ хлѣву живу — и горюшка мало! Что мнѣ! Хочу—рыломъ въ корыто уткнусь, хочу—въ навозѣ кувыркаюсь... какой еще свободы нужно! *(Авторитетно).* Измѣнники вы, какъ я на васъ погляжу... ась?

Правда *вновь старается прикрыть наготу. Публика гогочетъ: «Правда твоя, свинья! Измѣнники! измѣнники!» Нѣкоторые изъ публики требуютъ, чтобъ Правду отвели въ участокъ. Свинья самодовольно хрюкаетъ, сознавая себя на высотѣ положенія.*

Свинья. Зачѣмъ отводить въ участокъ? Вѣдь тамъ для проформы подержатъ, да и опять выпустятъ. *(Ложится въ навозъ и впадаетъ въ сентиментальность).* Ахъ, нынче и участковые однимъ языкомъ съ фельетонистами говорятъ! Намеднись я въ одной газетѣ вычитала: оттого-де у насъ слабо, что законы только для проформы пишутся...

Правда. Такъ ты и читаешь, свинья?

Свинья. Почитываю. Только понимаю не такъ, какъ написано... Какъ хочу, такъ и понимаю!.. *(Къ публикѣ).* Такъ вотъ что, други! въ участокъ мы ее не отправимъ, а своими средствами... Сыскивать ее станемъ... сегодня вопросецъ зададимъ, а завтра — два... *(Задумывается).* Сразу не покончимъ, а постепенно чавкать будемъ... *(Сопя, подходитъ къ Правдѣ, хватаетъ ее за икру и начинаетъ чавкать).* Вотъ такъ!

Правда *пожимается отъ боли; публика грохочетъ. Раздаются возгласы: «Ай да свинья! вотъ такъ затѣйница!»*

Свинья. Что? сладко? Ну, будетъ съ тебя! *(Перестаетъ чавкать).* Теперь сказывай: гдѣ корень зла?

Правда *(растерянно).* Корень зла, свинья? корень зла... корень зла... *(Рѣшительно и неожиданно для самой себя):* Въ тебѣ, свинья!

Свинья *(разсердилась).* А! такъ ты вотъ какъ поговариваешь! Ну, теперь только держись! Правда ли, сказывала ты: общечеловѣческая-де правда противъ околоточно-участковой невпримѣръ превосходнѣе?

Правда *(стараясь изловчиться).* Хотя, при извѣстныхъ условіяхъ жизни, невозможно отвергать...

Свинья. Нѣтъ, ты хвостомъ-то не верти! Мы эти момэ-то слыхивали! Сказывай прямо! точно ли, по мнѣнію твоему, есть какая-то особенная правда, которая противъ околоточной превосходнѣе?

Правда. Ахъ, свинья, какъ измѣннически подло...

Свинья. Ладно, объ этомъ мы послѣ поговоримъ. *(Наступаетъ плотнье и плотнье).* Сказывай дальше. Правда ли, что ты говорила: законы-де одинаково всѣхъ должны обезпечивать, потому-де, что, въ противномъ случаѣ, человѣческое общество превратится въ хаотическій сбродъ враждующихъ элементовъ?.. Объ какихъ это законахъ ты говорила? По какому поводу и кому въ поученіе, сударыня, разглагольствовала? ась?

Правда. Ахъ, свинья!

Свинья. Нечего мнѣ «свиньей»-то въ рыло тыкать. Знаю я и сама, что свинья. Я—Свинья, а ты—Правда... *(Хрюканье свиньи звучитъ ироніей).* А нутко, свинья, погложи-ка Правду! *(Начинаетъ чавкать. Къ публикѣ).* Любо, что ли, молодцы?

Правда *корчится отъ боли. Публика приходитъ въ неистовство. Слышится со всѣхъ сторонъ: «Любо! Нажимай, свинья, нажимай! Гложи ее! чавкай! Ишь вѣдь, распостылая, еще разговаривать вздумала!»*

. . . . . .

На этомъ colloquium былъ прерванъ. Далѣе я ничего не могъ разобрать, потому что въ хлѣву поднялся такой гвалтъ, что до слуха моего лишь смутно долетало: «правда ли, что въ университетѣ...?» «правда ли, что на женскихъ курсахъ...?» Въ одно мгновеніе ока Правда была опутана цѣлою сѣтью дурацки-предательскихъ подвоховъ, при чемъ всякая попытка распутать эту сѣть встрѣчалась чавканьемъ свиньи и грохотомъ толпы: «Давай, братцы, ее своимъ судомъ судить... народнымъ!!»

Я лежалъ какъ скованный, въ ожиданіи, что вотъ-вотъ сейчасъ и меня начнутъ чавкать. Я, который всю жизнь въ легкомысленной самоувѣренности повторялъ: «Богъ не попуститъ, свинья не съѣстъ!»—я вдругъ во все горло заоралъ: «Съѣстъ свинья! съѣстъ!»

Въ эту минуту сильный стукъ въ дверь заставилъ меня проснуться.

Стучалась хозяйка. Кто-то, добрый человѣкъ, проходилъ по лѣстницѣ и слышалъ мои стоны. Хозяйка прибѣжала испуганная — ей представилось, что, отъ нечего-дѣлать, я произвожу опыты самоубійства,—и, разумѣется, очень обрадовалась, какъ узнала, что весь переполохъ произошелъ оттого, что мнѣ приснилась свинья.

— Mais cela m'arrive tous les jours!—воскликнула она и сейчасъ же самымъ естественнымъ образомъ объяснила это явленіе.

Дѣло въ томъ, что меблированная квартира была какъ разъ расположена надъ рынкомъ Мадлэны, и такъ какъ туда каждую ночь привозили транспорты свиней, то обстоятельство это не могло не дѣйствовать соотвѣтствующимъ образомъ на воображеніе квартирантовъ.

— Въ первое время, когда мы сняли наше заведеніе, это было очень тяжело,—добавила она:—я, впрочемъ, довольно скоро привыкла, но мой бѣдный мужъ чуть съ ума не сошелъ. Однако теперь все пришло въ порядокъ. Всякій день мы видимъ во снѣ каждый свою свинью, и это ужъ не смущаетъ насъ.

Тѣмъ не менѣе она ужасно изумилась, когда я, въ свою очередь, объяснилъ ей, что намъ видятся во снѣ совершенно различныя свиньи: ей—такія, которыхъ люди ѣдятъ, а мнѣ—такія, которыя сами людей ѣдятъ.

— У насъ такихъ животныхъ совсѣмъ не бываетъ, — сказала она: — но русскіе, дѣйствительно, довольно часто жалуются, что ихъ посѣщаютъ видѣнія въ этомъ родѣ... И знаете ли, что я замѣтила? что это случается съ ними преимущественно тогда, когда друзья, къ кругу которыхъ они проводили время, покидаютъ ихъ, и вслѣдствіе этого они временно остаются предоставленными самимъ себѣ.

Я долженъ былъ согласиться, что это правда. Одиночество вынуждаетъ насъ думать, а мы къ думанью непривычны. Сообща мы еще можемъ какъ-нибудь проваландаться: въ винтъ, что ли, засядемъ или въ трактиръ закатимся, а какъ только останешься одинъ, такъ и обступитъ тебя...

— Очень мы оробѣли, chère madame,—прибавилъ я.— Дома-то насъ выворачиваютъ-выворачиваютъ — все стараются, какъ бы лучше вышло. Выворотятъ наизнанку — нехорошо; на-лицо выворотятъ—еще хуже. Выворачиваютъ да приговариваютъ: «паче всего вы не сомнѣвайтесь!» Ну, мы и не сомнѣваемся, а только всеминутно готовимся: вотъ сейчасъ опять выворачивать начнутъ!

— Но вѣдь, пріѣхавши за границу, mon cher monsieur...

— И за границей тоже. Какъ набоишься дома, такъ и за границей небо съ овчинку кажется. Въ ресторанъ придешь — гарсона боишься: какое вы, скажетъ, имѣли право меня не дѣльными заказами безпокоить? Въ музей придешь—думаешь: а что, если я ничего не смыслю? Въ библіотеку завернешь—думаешь: а ну, какъ у меня языкъ сболтнетъ: дайте, молъ, водевиль «Отецъ какихъ мало» почитать, буде онъ цензурой не воспрещенъ! Такъ-то, chère madame! Взвѣсьте-ка все это да и спросите себя по совѣсти: можемъ ли мы другіе сны видѣть, кромѣ самыхъ, что называется, экстренныхъ?

Признанія мои, видимо, тронули добрую женщину. Глаза ея отуманились, и до слуха моего не разъ долетало тихое, но глубоко прочувствованное: «saperlotte!»

— Единственное средство избавиться отъ видѣній,—продолжалъ я: — это вновь подыскать компанію, которая не давала бы думать. Слыхалъ я, будто въ Парижѣ за сходную цѣну собесѣдника нанять можно? Не знаете вы, chère madame?

Она задумалась на минуту, какъ бы ища въ своихъ воспоминаніяхъ.

— C'est ça! j'ai votre affaire! — воскликнула она, хлопнувъ себя по ляжкѣ: — Ah, vous serez bien, bien content, mon cher monsieur! je ne vous dis que ça!

И точно: черезъ полчаса она уже вновь стучалась въ мою дверь, ведя за собой «собесѣдника».

— Le général Capotte!—отрекомендовала она пришельца и оставила насъ вдвоемъ.

Передо мной стоялъ крупный, плечистый и сильный дѣтина, достаточно пожилой (впослѣдствіи оказалось, что ему 60 лѣтъ), но удивительно сохранившійся. Въ построеніи его тѣла замѣчалось однако-жъ нѣчто въ высшей степени загадочное. Голова выдалась впередъ, грудь—тоже, между тѣмъ какъ животъ представлялся вдавленнымъ, и вся нижняя часть тѣла искусственно отброшенною назадъ. Руки выворочены: лѣвая представляется устремленною, съ выдавшимися указательнымъ и третьимъ пальцами; правая—согнута въ локтѣ и какъ бы нѣчто держитъ въ стиснутомъ кулакѣ. Ноги тоже изумительныя: лѣвая—держитъ позицію, правая — осталась позади и слегка приподнята. Гдѣ-то я видывалъ подобныя фигуры (впослѣдствіи выяснилось, что на вывѣскахъ провинціальныхъ трактировъ). И лицо у него

было знакомое, какъ бы спеціально приспособленное: бѣлыя хрящевидныя щеки, одинъ глазъ прищуренъ и всматривается, другой—задумался, ротъ—перекосило. И въ довершеніе загадочности, на плечахъ—вицъ-мундиръ вѣдомства народнаго просвѣщенія.

Онъ молча мнѣ подалъ карточку, на одной сторонѣ которой значилось:

Jean-Marie-François-Archibald Capotte.

Conseiller d'Etat Actuel.

Ancien professeur de billard.

А на другой:

Иванъ Аркиповичъ Капоттъ.

Дѣйствительный статскій совѣтникъ.

Педагогъ.

Карточка эта разомъ объяснила всѣ загадочности тѣлеснаго построенія. Одно только сомнѣніе представлялось уму: говорить ли ему «ваше превосходительство» или просто: «Капоттъ»? Несомнѣнно, что въ томъ кафѣ, при которомъ онъ состоитъ въ качествѣ всегда готоваго къ услугамъ посѣтителей бильярднаго партнера (за это онъ ежедневно получаетъ отъ буфета одну котлету и двѣ рюмки gorki), его зовутъ не иначе, какъ «général»; но почему-то мнѣ показалось, что по совѣсти онъ совсѣмъ не генералъ, а прохвостъ. Мы, русскіе, на этотъ счетъ очень щекотливы. Охотно признавая заслуги, оказываемыя государству отлично-усерднымъ веденіемъ входящихъ и исходящихъ ре-

гистровъ, мы подозрительнымъ окомъ взираемъ на заслуги, приносимыя бильярдной игрой, фехтованіемъ и хореографическимъ искусствомъ. Да вѣдь оно и въ самомъ дѣлѣ какъ будто странно. Сидишь, напримѣръ, въ балетѣ, спрашиваешь сосѣда: а кто, молъ, это сію минуту такое изумительное антрашà откололъ?—и вдругъ ответъ: «это дѣйствительный статскій совѣтникъ Маріюсъ Петипа»...

А въ Парижѣ это ужъ и совсѣмъ никуда не годится, ибо тамъ даже Гамбетта не дослужился дѣйствительнаго статскаго совѣтника.

Какъ бы то ни было, но, взглянувъ еще разъ на вывернутыя Капоттовы ноги, я сразу порѣшилъ, что буду называть его просто: mon cher Capotte.

— Ну-съ, mon cher Capotte,—началъ я:—такъ вы изъявляете готовность быть моимъ собесѣдникомъ... Какія же ваши условія?

Разумѣется, онъ не сразу отвѣтилъ мнѣ, но предварительно началъ лгать. Изъ словъ его оказывалось, что всѣ «знатные иностранцы» (конечно, изъ русскихъ) непремѣнно обращаются къ нему. Ибо онъ не только пріятный собесѣдникъ, но и мужъ совѣта. Всѣ проекты, которыми «знатные иностранцы», воротившись изъ Парижа, радуютъ Россію, принадлежатъ ему, Капотту. Такъ, напримѣръ, не очень давно князь Букиазбà проектъ публиковалъ: какъ поступить съ мужикомъ?—и выдалъ его за собственный, а въ сущности главнымъ руководителемъ въ этомъ дѣлѣ былъ Капоттъ.

— Князь даже совѣмъ не того хотѣлъ, что̀ потомъ вышло,—объяснилъ Капоттъ:—онъ думалъ, что мужика необходимо въ кандалы заковать. Но я убѣдилъ его передать это дѣло на обсужденіе въ наше кафѐ—мы тамъ все демократы собираемся...

— Но и шпіоны, Капоттъ?

— Гм!.. вы понимаете, что ежели въ интересахъ истины необходимо...

— Продолжайте, Капоттъ.

— И мы, по внимательномъ разсмотрѣніи, рѣшили мужика расковать, а заковать интеллигенцію, препоручивъ молодцамъ изъ Охотнаго ряда имѣть бдительнѣйшій за нею надзоръ...

— Послушайте, Капоттъ! какъ вы, однако-жъ, чисто по-русски говорите!

Замѣчаніе это, видимо, ему польстило.

— О, душою я и до сихъ поръ русскій!—воскликнулъ онъ и въ доказательство произнесъ нѣсколько неупотребительныхъ въ нечати выраженій, съ такою отчетливостью, что по комнатѣ въ одно мгновеніе распространился смрадъ.

— Прекрасно!—перебилъ я его:—но не будемъ увлекаться. Стало-быть, если-бъ и у меня, чего Боже сохрани, что-нибудь навернулось... вы мнѣ покажете, Капоттъ?

— Несомнѣнно,—отвѣтилъ Капоттъ.

— Но, главное, вы поможете мнѣ убить время... Время—это злѣйшій изъ нашихъ враговъ! Скучно намъ, Капоттъ, ахъ, какъ скучно!

— Русскіе, дѣйствительно, чаще скучаютъ, нежели люди другихъ національностей, и, мнѣ кажется, это происходитъ оттого, что они черезчуръ избалованы. Русскіе не любятъ ни думать, ни говорить. Я зналъ одного полковника, который во всю жизнь не сказалъ ни одного слова своему денщику, предпочитая объясняться посредствомъ тѣлодвиженій.

— Ахъ, Капоттъ! но вѣдь это-то и есть...

— Идеалъ, хотите вы сказать? Сомнѣваюсь. Въ сущности, разговаривать не только не обременительно, но даже пріятно. Постепенное молчаніе приводитъ къ угрюмости, а угрюмость—къ пьянству. Напротивъ того, человѣкъ, имѣющій привычку пользоваться даромъ слова, очень скоро забываетъ объ водкѣ и употребляетъ лишь такіе напитки, которые способствуютъ общительности. Русскіе очень талантливы, но они почти совсѣмъ не разговариваютъ. Вотъ когда они начнутъ разговаривать...

— Благодарю васъ, Капоттъ!

— Вообще Россіи предстоитъ великая будущность; но все зависитъ оттого, въ какой мѣрѣ и когда будетъ ей предоставлено воспользоваться даромъ слова. Такъ, напримѣръ, ежели это случится черезъ тысячу лѣтъ...

— Благодарю васъ, Капоттъ!

— Мы во Франціи съ утра до вечера говоримъ,—не унимался Капоттъ:—говоримъ да говоримъ, а иногда что-нибудь и скажемъ. Но если-бъ насъ заставили тысячу лѣтъ молчать, то и мы навѣрное одичали бы...

— Еще разъ благодарю васъ, Капоттъ, но я считаю подобные разговоры преждевременными. Возвратимся къ предмету нашего свиданія. Ваши условія?

— Условія мои всегда одинаковы. Десять франковъ въ *день*—это мой гонораръ. Затѣмъ, куда бы мы съ вами ни

пошли—въ театры, рестораны и проч.—вы предоставляете мнѣ тѣ же удобства, какими будете сами пользоваться. Если, по обстоятельствамъ, вамъ придется гдѣ-нибудь остаться одному, то я буду ожидать васъ въ ближайшемъ кафѣ, и вы уплатите за мою консоммацію. Я же, съ своей стороны, обязываюсь быть въ вашемъ распоряженіи отъ одиннадцати часовъ утра вплоть до закрытія театровъ. Но въ крайнемъ случаѣ вы можете задержать меня и дольше

Эти условія были положительно тяжелы для моего бюджета; но страхъ вновь увидѣть во снѣ свинью былъ такъ великъ, что я, недолго думая, согласился.

— Въ принципѣ я ничего не имѣю противъ вашихъ условій,—сказалъ я:—но предварительно желалъ бы предложить вамъ два вопроса. Во-первыхъ, объ чемъ мы будемъ бесѣдовать?

— Я могу говорить обо всемъ. Я выжилъ тридцать лѣтъ въ Россіи; слѣдовательно, если вы захотите говорить объ язвахъ, удручающихъ вашу страну,—я могу перечислить ихъ вамъ по пальцамъ. Если же, напротивъ, вы пожелаете вести рѣчь исключительно о доблестяхъ,—я и тутъ къ вашимъ услугамъ. Затѣмъ я знаю очень много «разсказовъ» изъ жизни достопримѣчательныхъ русскихъ дѣятелей и увѣренъ, что разсказы эти доставятъ вамъ удовольствіе. Такова моя программа относительно Россіи. Что же касается Франціи, то вы можете предлагать мнѣ какіе угодно вопросы—я на все имѣю самые обстоятельные отвѣты.

— Отлично. Во-вторыхъ, отвѣтьте мнѣ откровенно, Капоттъ!! Вы не шшш... то-бишь, pardon!—не сердцевѣдецъ?

Я ждалъ, что Капоттъ смутится, но онъ смотрѣлъ на меня ясно и почти благородно. Очевидно, подобный вопросъ уже не разъ былъ обращаемъ къ нему.

— Въ смыслѣ постояннаго занятія—нѣтъ,—отвѣчалъ онъ твердо:—но не скрою отъ васъ, что когда обстоятельства призываютъ меня, то я всегда застаю себя стоящимъ на высотѣ положенія!

Тѣмъ не менѣе, говоря это, онъ привсталъ, какъ бы приготовляясь ретироваться. Такова сила предразсудка, сопряженная съ представленіемъ о сердцевѣдѣніи, что даже этотъ крупный и сильный мужчина опасался: а ну какъ меня за это не похвалятъ! Разумѣется, я поспѣшилъ успокоить его.

— Капоттъ!—сказалъ я:—не опасайтесь! Вообще говоря,

сердцевѣдѣніе, конечно, не особенно для меня симпатично; но такъ какъ я понимаю, что въ благоустроенномъ обществѣ обойтись безъ этого нельзя, то покоряюсь. Но прошу васъ объ одномъ: читайте въ моемъ сердцѣ, но читайте лишь то, что̀ дѣйствительно въ немъ написано! Не лгите! А если чего не поймете, то не докладывайте, не объяснившись предварительно со мною!

Онъ съ радостью согласился исполнить эту просьоу, и мы окончательно поладили.

Біографія Капотта была очень трогательна. Онъ былъ внукъ сестры Марата и много пострадалъ отъ людской несправедливости по случаю этого несчастнаго родства. Уже родители Капоттовы старались примѣрнымъ поведеніемъ и чистосердечнымъ раскаяніемъ смыть наслѣдственное пятно, но всѣ усилія ихъ остались тщетными: ни Наполеонъ, ни Бурбоны не довѣряли ихъ искренности. Нерѣдко пробовали Капотты предавать своихъ кровныхъ, оставшихся вѣрными бездѣльнымъ Маратовымъ преданіямъ, но ихъ предательства называли недостаточными и своекорыстными; когда же они проливали слезы боли и раскаянія, то ихъ слезы называли крокодиловыми. Со вступленіемъ на престолъ Луи-Филиппа, сердца Капоттовъ на мгновеніе оживились надеждою; но хотя Луи-Филиппъ былъ возведенъ на тронъ не parceque, a quoique Бурбонъ, однако-жъ въ отношеніи къ Маратовскимъ преданіямъ оказался еще больше Бурбономъ, нежели самые истые Бурбоны. Онъ даже «извѣщеній» не велѣлъ принимать отъ Капоттовъ «яко отъ людей бездѣльныхъ и довѣрія не заслуживающихъ». Тогда Капотты окончательно пали духомъ и долгое время жили въ полномъ отчужденіи, находя утѣшеніе только въ религіи. Наконецъ, въ 1840 году, юный отпрыскъ этого дома **Jean-Marie-François-Archibald Capotte** принялъ героическое рѣшеніе. Это былъ двадцатилѣтній юноша, сильный, цвѣтущій, полный надеждъ и въ совершенствѣ постигшій тайны бильярдной игры. Наскучивъ унылымъ прозябаніемъ въ отечествѣ и возмущенный несправедливостью согражданъ, онъ отрясъ прахъ съ ногъ своихъ и поселился въ снѣгахъ Россіи.

Въ Россіи словно только и ждали его пріѣзда. Прибывъ въ Петербургъ, онъ чистосердечно объяснилъ свое родство съ Маратомъ, присовокупивъ при этомъ, что постарается искреннимъ раскаяніемъ смыть съ себя это пятно. *Поступокъ* этотъ былъ найденъ благороднымъ. Признано

было, что внукъ не долженъ отвѣчать за поступки дѣда, хотя бы то былъ Маратъ. Когда же на вопросъ: что онъ можетъ дѣлать?—Капоттъ съ твердостью отвѣтилъ: все, что угодно!—то было сочтено за удобнѣйшее пристроить его въ качествѣ педагога! А дабы сообщить этому устройству нарочитую прочность, Капоттъ изъявилъ готовность присоединиться къ единой православной греко-россійской церкви. Узнавъ объ этомъ, русскія дамы вдругъ словно сбѣсились. Графиня Мамелфина, княгиня Букиазба, маркиза де-Сангло, генеральша Бѣдокурова наперебой переманивали его другъ у друга для воспитанія дѣтей. Благодаря ихъ ходатайствамъ, Капоттъ былъ зачисленъ на службу разомъ по тремъ вѣдомствамъ: у стараго князя Букиазба по части изобрѣтенія пристойныхъ законовъ, у маркиза де-Сангло—по части распространенія пристойнаго просвѣщенія и у генерала Вѣдокурова—по какой-то не вполнѣ ясной части, въ титулѣ которой можно было однако-жъ разобрать: «строгость и притомъ быстрота». И по всѣмъ тремъ вѣдомствамъ получалъ пристойное жалованье.

Между тѣмъ юные питомцы были тоже безъ ума отъ Капотта, ибо послѣдній, посѣвая въ ихъ сердцахъ сѣмена религіи, въ то же время обучалъ ихъ веселымъ романсамъ и игрѣ на бильярдѣ. Кромѣ того, имѣя въ виду, что питомцамъ его предстоитъ великое будущее, онъ издалъ «Краткія правила для изобрѣтенія мѣропріятій и немедленнаго ихъ осуществленія», которыя до сихъ поръ остаются незамѣнимыми. Словомъ сказать, Капоттъ до того преуспѣлъ, что когда, по истеченіи двадцати пяти лѣтъ, маркизъ де-Сангло объявилъ ему, что онъ произведенъ въ генералы, то, несмотря на свое французское легкомысліе, онъ хлопнулъ себя по ляжкѣ и прослезился. Но, на свою бѣду, онъ въ то же время узналъ, что на основаніи какихъ-то сокращенныхъ сроковъ выслужилъ разомъ три пенсіи, и... пожелалъ выйти въ отставку.

Это была важная ошибка съ его стороны, ибо она отвратила отъ него сердца родителей. Дѣло въ томъ, что онъ успѣлъ сколотить изрядный капиталецъ и, подобно всѣмъ французамъ, легкомысленно увлекся идеей о независимой жизни. Открывши школу бильярдной игры, онъ надѣялся, что молодое поколѣніе поддержитъ его. И дѣйствительно, въ первое время дѣла его пошли блистательно, потому что, независимо отъ бильярдной, онъ содержалъ еще маркитантскую, изъ которой въ долгъ отпускалъ за-

куски и вино. Но черезъ годъ, совсѣмъ непредвидѣнно, прибылъ изъ Парижа французъ Санъ-Кюлоттъ (слухи ходили, что его, изъ мщенія къ Капотту, выписала генеральша Бѣдокурова, а злые языки, кромѣ того, прибавляли: «съ производствомъ въ коллежскіе регистраторы») и сталъ распѣвать такія пѣсенки, что кадеты разомъ ошалѣли. А черезъ мѣсяцъ на помощь къ Санъ-Кюлотту явилась дѣвица Альфонсинка (Капоттъ былъ на этотъ счетъ строгъ и Альфонсинокъ въ своемъ «заведеніи» не допускалъ) и тѣ же пѣсни начала распѣвать ужъ съ пристойными иллюстраціями. Въ сей крайности Капоттъ попытался было обратиться съ жалобой на Санъ-Кюлотта къ родителямъ и даже заговорилъ о нравственности, но родители (или, точнѣе, родительницы), вмѣсто отвѣта, напомнили ему объ измѣнѣ, а нѣкоторые даже дозволили себѣ жестокій намекъ на происхожденіе отъ Марата. Кадеты между тѣмъ разсѣялись по лицу земли, не уплативъ долговъ, и Капоттъ окончательно прогорѣлъ. Тогда, продавъ за безцѣнокъ свое заведеніе тому же Санъ-Кюлотту, онъ вновь отрясъ прахъ съ ногъ своихъ, тайно возсоединился къ единой истинной римско-католической церкви и переѣхалъ въ Парижъ.

Теперь онъ скромно живетъ въ Парижѣ на свою пенсію, которая однако-жъ (по тремъ вѣдомствамъ) представляетъ для него вѣрный рессурсъ въ количествѣ семи тысячъ франковъ ежегодно. Большую часть времени онъ проводитъ въ кафѣ, играя на бильярдѣ, но, кромѣ того, всегда имѣетъ къ услугамъ «знатныхъ иностранцевъ» разнообразный выборъ соблазнительныхъ картинокъ и секретныхъ принадлежностей туалета. Бывшіе питомцы не забываютъ его, и это составляетъ его утѣшеніе и гордость. Нѣкоторые изъ нихъ уплатили ему долги по бильярдной, но большинство ограничивается тѣмъ, что сообщаетъ ему свои проекты. Когда эти проекты скопляются во множествѣ, тогда Капоттъ временно исчезаетъ изъ кафѣ и весь отдается государственнымъ соображеніямъ.

Между тѣмъ мѣстные демагоги въ свою очередь не забываютъ, что Капоттъ олицетворяетъ собою послѣдній отпрыскъ пресловутаго Маратова корня. Въ день рожденія Марата они сходятся въ кафѣ и качаютъ Капотта. А въ день Маратовой смерти тоже сходятся въ кафѣ и качаютъ Капотта вторительно. При чемъ называютъ его «général» и слушаютъ его разсказы о томъ, какъ онъ былъ однажды

сосланъ на каторгу, какъ его сѣкли кнутомъ, какъ онъ съ каторги бѣжалъ къ бурятамъ, dans les steppes, долгое время исправлялъ у нихъ должность шамана, оттуда бѣжалъ въ Китай... «et me voilà à Paris».

Цѣлыхъ четыре дня я кружился по Парижу съ Капоттомъ, и все это время онъ безъ умолку говорилъ. Часто онъ повторялся, еще чаще противорѣчилъ самъ себѣ, но такъ какъ мнѣ въ сущности было все равно, что ни слушать, лишь бы упразднить представленіе «свиньи», то я не только не возражалъ, но даже механическимъ поматываніемъ головы какъ бы приглашалъ его продолжать. Многаго, вѣроятно, я и совсѣмъ не слыхалъ, довольствуясь тѣмъ, что въ ушахъ моихъ не переставая раздавался шумъ.

Первый день мы бесѣдовали объ язвахъ, удручающихъ Россію. До завтрака Капоттъ говорилъ:

— Главная ваша язва въ томъ состоитъ, что вы никогда не представляете себѣ ясно, чего вы хотите. Сегодня вы выражаете чувства, всѣмъ вообще человѣкамъ свойственныя, а завтра вдругъ пустите такую душину, что хоть топоръ повѣсь. И это происходитъ не отъ ренегатства, а оттого, что вслѣдствіе недостаточной подготовки для познаванія вещей вы не различаете добра отъ зла. Къ тому же, на ваше несчастіе, вы воспріимчивы и потому легко воспламеняетесь. Но вы увлекаетесь безъ разбору, безъ критики и, къ сожалѣнію, чаще всего тѣмъ, чѣмъ ужъ никто въ цѣломъ мірѣ не увлекается. Сегодня, видя человѣка, которому тяжело дышится, вы великодушно говорите: надо ему помочь! А завтра, едва только началъ этотъ человѣкъ дышать легче, какъ вы ужъ сердитесь и восклицаете: надо его подтянуть! Ясно, что при такой неустойчивости взглядовъ и чувствъ не можетъ существовать ни малѣйшаго довѣрія къ будущему. Боязнь завтрашняго дня—вотъ червь, который точитъ вашу жизнь. Но смѣю думать, что покуда вы будете заниматься только трепетаніемъ, вашъ національный геній особенно блестящихъ свойствъ не предъявитъ.

Я слушалъ эту предику и возмущался духомъ. Но такъ какъ я разъ навсегда принялъ за правило: пускай Капотты съ Гамбеттами что угодно разсказываютъ, а мы свою линію будемъ потихоньку да полегоньку вести,—то и ограничился тѣмъ, что сказалъ:

— Врете вы все, Капоттъ! Я увѣренъ, что послѣ завтрака вы совсѣмъ другое будете говорить!

И точно, послѣ завтрака, выпивши на свой пай бутылку бургонскаго, Капоттъ говорилъ:

— Вы, русскіе, черезчуръ настойчивы въ преслѣдованіи вашихъ цѣлей—вотъ ваша главная язва. Vous êtes trop logiques. Жизнь требуетъ уступокъ, а вы хотите только реформъ. Въ такое короткое время—и такой прогрессъ!—какой организмъ это выдержитъ! А вы не только выдерживаете, но еще говорите: мало! Вамъ дали свободу слова, а вы какъ будто и не подозрѣваете этого и все жалуетесь: когда-жъ намъ свободу слова дадутъ? Нѣтъ, mon cher monsieur, такъ нельзя! Конь и о четырехъ ногахъ да спотыкается, а человѣкъ... Человѣка вотъ какъ надо держать, cher monsieur, чтобъ онъ не спотыкался!

Говоря это, онъ показывалъ, какъ надо «держать» человѣка: одной рукой натягивалъ воображаемыя вожжи, другою—стискивалъ воображаемый бичъ.

Передъ обѣдомъ въ ушахъ моихъ раздавалось:

— Подобно древнимъ римлянамъ, русскіе временъ возрожденія усвоили себѣ кличъ: panem et circenses! И притомъ чтобы даромъ. Но circenses у васъ отродясь никогда не бывало (кромѣ сѣкуцій при волостныхъ правленіяхъ), а panem началъ поѣдать жучокъ. Поэтому-то, мнѣ кажется, старый князь Букиазбà былъ правъ, говоря: «во избѣжаніе затрудненій, необходимо въ нихъ сію прихоть истреблять».

А послѣ обѣда (три рюмки gorki и двѣ бутылки «ординера») я слышалъ слѣдующее:

— Тѣмъ не менѣе скажу вамъ откровенно: тридцать лѣтъ сряду стараюсь я отличить русскія язвы отъ русскихъ доблестей—и, убей меня Богъ, ничего понять не могу!

Выговоривши это коснѣющимъ языкомъ, онъ повалился на диванъ и заснулъ. Я же отправился въ «Variétés» и въ третій разъ съ возрастающимъ удовольствіемъ прослушалъ «La femme à papa». Но какъ однако-жъ заматерѣла Жюдикъ!

— А какъ любитъ русскихъ, если-бъ вы знали!—разсказывалъ мнѣ сосѣдъ по креслу:—представьте себѣ, прихожу я на-дняхъ къ ней. «Такъ и такъ, говорю, позвольте поблагодарить за наслажденіе... въ Петербургѣ, говорю, изволили въ 74 году побывать»... «Такъ вы, говоритъ, русскій? Скажите, говоритъ, русскимъ, что они — душки! Всѣ, всѣ русскіе—душки! а нѣмцы—фи! И еще скажите русскимъ, что они (сосѣдъ наклонился къ моему уху и шепнулъ что-то,

чего я, признаюсь, не разобралъ)... Это, говоритъ, меня одинъ кирасиръ научилъ!»

Второй день мы съ Капоттомъ посвятили доблестямъ. До завтрака, впрочемъ, дѣло шло довольно вяло, но за завтракомъ Капоттъ постепенно разогрѣлся.

— Нигдѣ я не ѣдалъ такихъ прекрасныхъ рыбъ, какъ въ Россіи! — ораторствовалъ онъ. — Oukha au sterlet—ah! c'est quelque chose d'ineffable! Однако-жъ, когда я поступилъ воспитателемъ къ молодому графу Мамелфину, то мнѣ долгое время не давали этого божественнаго кушанья. Всѣмъ, бывало, подаютъ уху стерляжью, а мнѣ—изъ окуней. Но когда графиня ближе ознакомилась съ моими нравственными качествами, то мнѣ стали давать двѣ тарелки съ лучшими кусками, а стараго графа перевели на уху изъ окуней. Вотъ тогда я узналъ... Да, впрочемъ, одна ли уха?! а осетровый янтарный балыкъ? а тающая провѣсная бѣлорыбица? а икра банкетная, салфеточная и зернистая? Я долгое время не могъ разобрать, что̀ это такое, но когда понялъ... о!!!

За обѣдомъ Капоттъ вспомнилъ:

— Тѣмъ не менѣе рыбами далеко не исчерпываются дары, которыми надѣлилъ Россію ея національный геній. Вспомнимъ о румяной кулебякѣ съ угремъ, о сдобномъ пирогѣ-курникѣ, объ этомъ единственномъ въ своемъ родѣ поросенкѣ съ кашей, съ которымъ можетъ соперничать только гусь съ капустой,—и не будемъ удивляться, что подъ воспитательнымъ дѣйствіемъ этой снѣди умолкаютъ всѣ вопросы внутренней политики. Самыхъ лучшихъ поросятъ я ѣлъ у маркизы де-Сангло̀, самыя лучшія кулебяки—у генеральши Бѣдокуровой. Что же касается до княгини Букиазба̀, то она приготовляла для меня особый напитокъ, называемый «лампопо̀». Ah, c'est bien, bien barbare, cette boisson-là! Въ первое время я подумалъ, что это одна изъ тѣхъ жестокихъ мистификацій, которымъ такъ охотно предаются русскіе «бояре» относительно беззащитныхъ иностранцевъ; но когда я понялъ... о!!!

Наконецъ послѣ ужина, передъ отходомъ на сонъ грядущій, онъ сказалъ:

— Есть у васъ и еще одна доблесть: вы тверды въ бѣдствіяхъ. Ежели есть у васъ поросенокъ — вы ѣдите поросенка; ежели нѣтъ ничего—вы довольствуетесь хлѣбомъ, смѣшаннымъ съ лебедой... C'est ça! Никто этого не ѣстъ... ну, вотъ ей-и Богу никто! ха-ха!

Послѣднія слова онъ произнесъ заплетающимся языкомъ и затѣмъ, взглянувъ на меня съ какой-то неисповѣдимой ироніей, дико захохоталъ. Увы! то были естественныя послѣдствія полубутылки fine champagne, выпитой на ночь!

Третій день былъ посвященъ нами чертамъ изъ жизни достопримѣчательныхъ дѣятелей.

По словамъ Капотта, оказывалось, что русскіе вельможи давно уже сомнѣвались въ непререкаемости основъ, на которыхъ покоилось крѣпостное право. Такъ, напримѣръ, однажды, за обѣдомъ, маркизъ де-Сангло выразился такъ: «Хотя крѣпостное право и похваляется многими, яко согласное съ требованіями здравой внутренней политики, но при семъ необходимо имѣть въ виду, что и оные люди, Провидѣніемъ въ наше распоряженіе для услугъ предоставленные, суть, подобно намъ, по образу и подобію Божію созданы!» А присутствовавшій при этомъ генералъ Бѣдокуровъ присовокупилъ: «Сіе есть несомнѣнно, хотя съ нѣкоторымъ въ физіономіяхъ поврежденіемъ!» Въ другой разъ князь Букиазбà высказалъ такое мнѣніе: «Сія мысль, что Иванъ (камердинеръ князя) служитъ мнѣ токмо за страхъ, весьма для меня прискорбна, хотя не могу скрыть, что и за симъ я пользуюсь его услугами съ удовольствіемъ». Наконецъ старый графъ Мамелфинъ чуть было совсѣмъ не проговорился. «Тогда лишь я счастливымъ почитать себя буду...—началъ онъ, но, вспомнивъ, что за сіе не похвалятъ, продолжалъ:—а впрочемъ, если-бъ и впредь оное продолжать за нужное было сочтено, то мы и за сіе должны благодарить и онымъ безъ критики пользоваться».

— И эти люди назывались либералами и состояли въ подозрѣніи!—присовокупилъ въ заключеніе Капоттъ.

Нѣкоторые изъ этихъ достопримѣчательныхъ людей не были чужды и литературнымъ занятіямъ. Такъ, князь Урюпинскій-Доѣзжай написалъ сочиненіе: «О чаѣ и сахарѣ и удовольствіяхъ, ими доставляемыхъ», а князь Серпуховскій-Догоняй, въ отвѣтъ на это, выпустилъ брошюру: «Но наипаче сивухой». Графъ Пустомысловъ печатно предложилъ вопросъ: «Куда дѣвался нашъ рубль?» а графъ Твэрдоонтò тоже печатно отвѣтилъ: «Много будешь знать—скоро состаришься». Наконецъ генералъ-майоръ Отчаянный вопрошалъ такo: «Слѣдуетъ ли ввести кобылу въ ряды кавалеріи?»—и отвѣчалъ на вопросъ утвердительно: «Слѣдуетъ, ибо черезъ сіе былъ бы достигнутъ естественный коневой ремонтъ». А генералъ Правдинъ-Маткинъ на это возра-

жалъ: «Сіе столь же разумно, какъ если-бъ кто утверждалъ, что необходимо въ ряды арміи допустить генералъ-майоршъ, дабы черезъ сіе достигнуть естественнаго ремонта генералъ-майоровъ». Однимъ словомъ, шла безпрерывная и живая полемика по всѣмъ отраслямъ государствовѣдѣнія, но полемика серьезная, при равномъ оружіи: князь съ княземъ, графъ съ графомъ, генаралъ-майоръ съ генералъ-майоромъ. Буде же въ полемику впутывался коллежскій регистраторъ, то на таковой дѣлалась надпись: «Печатать *не* дозволяется. Цензоръ Красовскій-Бируковъ-Фрейгангъ. При семъ съ духовной стороны депутатомъ былъ и такожде къ печатанію не одобрилъ смиренный Іона Вочревѣбывшій».

— Однажды военный совѣтникъ (былъ въ древности такой чинъ) Сдаточный насъ всѣхъ перепугалъ,—разсказывалъ Капоттъ.—Совсѣмъ неожиданно написалъ проектъ: «о необходимости устроенія фаланстеровъ изъ солдатъ, съ припущеніемъ въ оныхъ, для приплода, женскаго пола по пристойности», и, никому не сказавъ ни слова, подалъ его по командѣ. Къ счастью, дѣло разрѣшилось тѣмъ, что проектъ на другой день былъ возвращенъ съ надписью: «дуракъ!»

Но съ особеннымъ сочувствіемъ, какъ и слѣдовало ожидать, Капоттъ относился къ своимъ бывшимъ питомцамъ, относительно которыхъ онъ былъ неистощимъ, хотя и довольно однообразенъ. Такъ, молодой князь Букиазба, уже въ четырнадцатилѣтнемъ возрастѣ, безъ промаху сажалъ желтаго въ среднюю лузу и однажды, тайно отъ родителей, поступилъ маркеромъ въ Малоярославскій трактиръ, за что былъ высѣченъ; молодой графъ Мамелфинъ столь былъ склоненъ къ философскимъ упражненіямъ, что, имѣя отъ роду тринадцать лѣтъ, усомнился въ безсмертіи души, за что былъ высѣченъ; молодой графъ Твэрдоонто тайкомъ отъ родителей изучалъ латинскую грамматику, за что былъ высѣченъ; молодой подпрапорщикъ Бѣдокуровъ, въ предвидѣніи финансовой карьеры, съ юныхъ лѣтъ заключалъ займы, за что былъ высѣченъ. Что же касается до молодого маркиза де-Сангло, то онъ съ семилѣтняго возраста готовилъ себя по духовному вѣдомству.

— Теперь эта бодрая молодежь въ цвѣтѣ силъ и надеждъ!—восторженно прибавилъ Капоттъ:—и любо посмотрѣть, какъ она поворачиваетъ и подтягиваетъ! Одинъ только де-Сангло сплоховалъ: поѣхалъ на Аѳонъ; думалъ, что его оттуда призовутъ (какихъ, молъ, еще доказательствъ нужно!), анъ его не призвали! Теперь онъ сидитъ на Аѳонѣ,

поетъ на крылосѣ и бьетъ въ било. Такъ-то, mon cher monsieur! и Богу молиться надо умѣючи! Чтобъ видѣли и знали, что хотя духъ бодръ, но плоть отъ пристойныхъ окладовъ не отказывается!

На четвертый день мы занялись дѣлами Франціи, при чемъ я предлагалъ вопросы, а Капоттъ давалъ отвѣты.

Вопросъ первый. Возсіяетъ ли Бурбонъ на престолѣ предковъ или не возсіяетъ? Ежели возсіяетъ, то будетъ ли поступлено съ Греви и Гамбеттой по всей строгости законовъ, или, напротивъ, имъ будетъ объявлена благодарность за найденный во всѣхъ частяхъ управленія образцовый порядокъ? Буде же *не* возсіяетъ, то неужели тѣмъ только дѣло и кончится, что не возсіяетъ?

Отвѣтъ Капотта. Виды на возсіяніе слабы. Главная причина: ничего не приготовлено. Ни золотыхъ каретъ, ни бѣлаго коня, ни хоругвей, ни приличной квартиры. Къ тому же безплоденъ. Относительно того, какъ было бы поступлено, въ случаѣ возсіянія, съ Греви и Гамбеттой, то въ легитимистскихъ кругахъ существуетъ такое предположеніе: обоихъ выслать на жительство въ дальнія вотчины, а Гамбетту, кромѣ того, съ воспрещеніемъ баллотироваться на службу по дворянскимъ выборамъ.

Вопросъ второй. Не возсіяетъ ли кто-либо изъ Наполеонидовъ?

Отвѣтъ. Трудно. Но буде представится случай пустить въ ходъ обманъ, коварство и насиліе, а въ особенности въ ночное время, то могутъ возсіять. Въ настоящее время эти претенденты главнымъ образомъ опираются на кокотокъ, которыя и донынѣ не могутъ забыть, какъ весело имъ жилось при Монтихиномъ управленіи. Однако-жъ республика, повидимому, уже предусмотрѣла этотъ случай и въ видахъ умиротворенія кокотокъ установила такое декольтѐ, передъ которымъ цѣпенѣла даже смѣлая «наполеоновская идея».

Вопросъ третій. Не возсіяютъ ли Орлеаны?

Отвѣтъ. Не возсіяютъ.

Вопросъ четвертый. Но что вы скажете о Гамбеттѣ и о рара Trinquet? не возсіяютъ ли они? Или, быть-можетъ, придетъ когда-нибудь Иванъ Непомнящій и скажетъ: а дайте-ка, братцы, и я возсіяю?

Отвѣтъ. О первыхъ двухъ могу сказать: ихъ возсіяніе сомнительно, потому что ни одинъ gavroche не согласится кричать: vive l'empereur Gambetta! а тѣмъ менѣе: vive l'empereur Trinquet! Правда, были времена, когда кричали:

да здравствуетъ царь Горохъ!—но, кажется, эти времена ужъ не возвратятся. Что же касается до Ивана Непомнящаго, то онъ не возсіяетъ... навѣрное! Хотя же у васъ въ Москвѣ идетъ сильная агитація въ пользу его, но я полагаю, что это только до поры до времени. Обыкновенно принято съ Иванами поступать такъ: ты, дескать, намъ теперь помоги, а потомъ мы тебѣ носъ утремъ! И точно: не успѣетъ Иванъ порядкомъ возвеселиться, какъ его ужъ опять гонятъ: ступай свойственныя тебѣ тѣлесныя упражненія производить. Такъ-то, mon cher monsieur!

Вопросъ пятый, дополнительный. И вы полагаете, что правильно такъ съ Иванами поступать?

Отвѣтъ. На это могу вамъ сказать слѣдующее. Когда старому князю Букиазбѣ предлагали вопросъ: правильно ли такой-то награжденъ, а такой-то обойденъ?—то онъ неизмѣнно давалъ одинъ и тотъ же отвѣтъ: «о семъ умолчу». Съ этимъ отвѣтомъ онъ прожилъ до глубокой старости и пріобрѣлъ репутацію человѣка, которому пальца въ ротъ не клади.

Прослушавъ эти отвѣты, я почувствовалъ себя словно въ туманѣ. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, никто? Ни Бурбонъ, ни Тренкѣ... никто!!

— Послушайте, Капоттъ! — воскликнулъ я въ смущеніи:— но подумали ли вы о будущемъ? Будущее! вѣдь это цѣлая вѣчность, Капоттъ! Что ждетъ васъ впереди? Какую участь готовите для себя?

Я говорилъ такъ горячо, съ такимъ серьезнымъ и страстнымъ убѣжденіемъ, что даже кровожадный отпрыскъ Марата—и тотъ, повидимому, восчувствовалъ.

— Вѣроятно, придется прожить безъ возсіянія,—сказалъ онъ уныло:—конечно, быть-можетъ, будетъ темненько; но...

Голосъ его дрогнулъ, и на глазахъ показались слезы.

— Ainsi soit-il!—произнесъ онъ торжественно и, хлопнувъ себя по ляжкѣ (онъ всегда это дѣлалъ, когда находился въ волненіи), разомъ выпилъ на сонъ грядущій двѣ рюмки gorki.

. . . . . .

На пятый день Капоттъ не пришелъ. Я побѣжалъ въ кафѣ, при которомъ онъ состоялъ въ качествѣ завсегдатая, и узналъ, что въ то же утро приходилъ къ нему un jeune seigneur russe и, предложивъ десять франковъ пятьдесятъ сантимовъ, увлекъ стараго профессора съ собою. Такимъ образомъ, за лишнюю полтину мѣди, Капоттъ предалъ меня...

Медлить было нечего. Я сейчасъ же направилъ шаги свои въ русскій ресторанъ, въ увѣренности найти тамъ хоть одного безшабашнаго совѣтника. И на мое счастье нашелъ ту самую пару, съ которой не очень давно познакомился на обѣдѣ у Влохиныхъ. Они сидѣли у самаго окошка, за столикомъ другъ противъ друга, и, повидимому, подсчитывали прохожихъ, останавливавшихся у писсуара Комической Оперы. Передъ ними стояли неубранныя тарелки, съ которыхъ только-что исчезли битки au smétane. Не спрашивая ихъ дозволенія, я тотчасъ же заказалъ еще три порціи зразъ и три рюмки очищенной; затѣмъ мы поздоровались, усѣлись и замолчали. Нѣсколько разъ старики взглядывали на меня, разѣвали рты, чтобъ сказать нѣчто, но ничего не говорили. Но отъ времени до времени то тотъ, то другой поворачивался по направленію къ улицѣ и произносилъ:

— Сто двадцать седьмой!

На что другой кратко отзывался:

— Однако! сегодня что-то ужъ не на шутку...

Наконецъ подали водку и зразы; и то и другое мы мгновенно проглотили и вновь замолчали. Я даже удивился: точно всѣ слова у меня пропали. Навѣрное я хотѣлъ что-то сказать, объ чемъ-то спросить, и вдругъ все забылъ. Но наконецъ одинъ изъ стариковъ возгласилъ: «Сто сорокъ третій!» и, повернувшись ко мнѣ, присовокупилъ:

— Вотъ у насъ этихъ удобствъ нѣтъ.

Тогда и другой почувствовалъ себя свободнѣе и тоже высказался:

— Здѣсь насчетъ этого превосходно. Сошелъ съ тротуара, завернулъ въ будочку и правъ.

— И, надо сказать правду, здѣшнее населеніе пользуется этимъ удобствомъ съ полнымъ сознаніемъ своего права на него. Представьте себѣ, невступно часъ мы здѣсь сидимъ, а ужъ сто сорокъ три человѣка насчитали. Семенъ Иванычъ! смотрите-ка, смотрите-ка! Сто сорокъ четвертый! Сто сорокъ пятый!

— А вонъ и сто сорокъ шестой бѣжитъ!

Я сейчасъ же догадался, что это статистики. Съ юныхъ лѣтъ обуреваемые писсуарной идеей, они три года сряду изучаютъ этотъ вопросъ, разъѣзжая по всѣмъ городамъ Европы. Но нигдѣ они не нашли такой обильной пищи для наблюденій, какъ въ Парижѣ. Еще годъ или два подробныхъ изслѣдованій—и они воротятся въ Петербургъ.

издадутъ томъ или два статистическихъ таблицъ и, чего добраго, получатъ премію и будутъ избраны въ де-сіянсъ академію.

Но такъ какъ это были только догадки съ моей стороны, то, конечно, я поспѣшилъ провѣрить ихъ.

— Изслѣдованіями занимаетесь?—спросилъ я.

— Да, изслѣдуемъ,—отвѣтили они въ одинъ голосъ.

Изъ дальнѣйшихъ разспросовъ оказалось, что въ этомъ дѣлѣ заинтересованъ, въ качествѣ мецената, капиталистъ Губошлеповъ, который на приведеніе его въ ясность пожертвовалъ милліонъ рублей. Изъ нихъ по пяти тысячъ выдалъ каждому статистику впередъ, а остальныя девятьсотъ девяносто тысячъ спряталъ въ свой письменный столъ и заперъ на ключъ, сказавъ:

— По окончаніи видно будетъ...

— А ключъ онъ вамъ отдалъ?

— Нѣтъ, въ карманъ положилъ.

— Ахъ, братцы!

Старики тревожно переглянулись и даже поблѣднѣли. Но, къ счастію, они до того прониклись своею идеей и принесли ей столько жертвъ, что никакія опасенія уже не могли сбить ихъ съ истиннаго пути. Не успѣли они надлежащимъ образомъ сосредоточиться на моей догадкѣ, какъ ужъ одинъ изъ нихъ радостно воскликнулъ:

— Николай Петровичъ! ваше превосходительство! Сто сорокъ седьмой, сто сорокъ восьмой, сто сорокъ девятый!

Затѣмъ они подробно изложили мнѣ планъ работъ. Прежде всего они приступили къ изслѣдованію Парижа по сю сторону Сены, раздѣливъ ее на двѣ равныя половины. Вставши рано утромъ, каждый отправляется въ свою сторону и наблюдаетъ, а около двухъ часовъ они сходятся въ русскомъ ресторанѣ и ужъ совмѣстно наблюдаютъ за стѣною Комической Оперы. Потомъ опять расходятся и, поздно ночью, возвратясь домой, провѣряютъ другъ друга.

— И много беретъ это у васъ времени?—полюбопытствовалъ я.

— Да какъ вамъ сказать! вотъ пять мѣсяцевъ живемъ въ Парижѣ, съ утра до ночи только этимъ вопросомъ и заняты, а между тѣмъ и десятой части еще не высмотрѣли.

— И любопытныхъ результатовъ достигли?

— Да вотъ какъ-съ. Теперь я, напримѣръ, Монмартрскимъ бульваромъ совсѣмъ овладѣлъ, такъ вѣрьте или не

вѣрьте, а даже сію минуту могу сказать, въ какой будкѣ есть гость и въ какой—нѣтъ!

— Чортъ побери!

— Это такъ точно,—подтвердилъ и Семенъ Иванычъ:—то же самое и я могу сказать о бульварѣ Боннъ-Нувелль...

— Законы статистики вездѣ одинаковы,—продолжалъ Николай Петровичъ солидно.—Утромъ, напримѣръ, гостей бываетъ меньше, потому что публика еще исправна; но чѣмъ больше солнце поднимается къ зениту, тѣмъ наплывъ дѣлается сильнѣе. И наконецъ ночью, по выходѣ изъ театровъ—это почти цѣлая оргія!

— И замѣтьте,—пояснилъ Семенъ Иванычъ:—каждый день, въ одни и тѣ же промежутки времени, цифры всегда одинаковыя. Колебаній—никакихъ! Такова незыблемость законовъ статистики!

— Безподобно. Но что же вы, кромѣ наблюденій, въ Парижѣ дѣлаете? Въ театрахъ бывали?

— Собираемся, да все недосугъ...

— Въ Луврѣ, въ Люксенбургскомъ дворцѣ, на выставкѣ художественныхъ произведеній были? Венеру Милосскую видѣли? Съ Гамбеттой бесѣдовали? Въ ресторанѣ Фуа turbot sauce Mornay ѣли? Въ Jardin d'acclimatation на верблюдахъ ѣздили?—сыпалъ я одинъ вопросъ за другимъ.

— То-то, что недосугъ еще...

— Стало-быть, только съ предметомъ своихъ изслѣдованій и познакомились?

Собесѣдники мои поникли головами.

— Ну, а насчетъ республики какъ? Понравилась?

Но и на этотъ вопросъ отвѣта не послѣдовало.

Я взглянулъ на этихъ трудолюбивыхъ и скромныхъ стариковъ, и сердце мое вдругъ умилилось. «Вотъ люди!—воскликнулъ я мысленно:—которые навѣрное не знаютъ ни унынія, ни вопросовъ, кромѣ того, который заданъ имъ Губошлеповымъ! Живутъ они себѣ въ Парижѣ и, не засматриваясь по сторонамъ, выполняютъ полегоньку провиденціальное свое назначеніе. И благо имъ! Именно только такъ и можно жить въ наше смутное время! И если бы мы всѣ слѣдовали ихъ примѣру, если-бъ всякій изъ насъ глядѣлъ только въ ту точку, которая у него передъ носомъ,—насколько человѣчество было бы счастливѣе! Насколько самая жизнь была бы удобнѣе и пріятнѣе! Устройте, напримѣръ, писсуары, удовлетворите хоть въ этомъ отношеніи справедливыя требованія публики—какъ вдругъ полу-

чится переворотъ въ жизни цѣлой массы пѣшеходовъ! Какъ всѣ будутъ довольны! Какъ повеселѣютъ и расцвѣтутъ лица! Какая появится въ движеніяхъ свобода и увѣренность!»

— Господа, да не возьмете ли вы и меня...

Къ счастію, я не успѣлъ договорить, потому что въ эту минуту Николай Петровичъ въ какомъ-то неистовомъ восторгѣ закричалъ:

— Семенъ Иванычъ! смотрите! цѣлая компанія! Сто пятьдесятъ девятый! сто шестидесятый! сто шестьдесятъ первый... ахъ!

Я поспѣшилъ уплатить за зразы и водку и воспользовался восторженнымъ состояніемъ безшабашныхъ совѣтниковъ, чтобъ улизнуть изъ ресторана.

Весь вечеръ я просидѣлъ одинъ и потому ночью опять видѣлъ во снѣ свинью.

На другой день я уже мчался на всѣхъ парахъ въ Петербургъ.

Глава VII.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Октябрь ужъ начался, и признаки осени выказывались довольно явственно. Нѣсколько дней сряду стояла перемѣнная погода; солнце показывалось на-короткѣ, и ежели не наступили настоящіе холода, то въ воздухѣ уже чувствовалась порядочная сырость. Тянуло на сѣверъ, въ печное тепло, за двойныя рамы, въ страну пироговъ съ грибами и держанія языковъ за зубами... Хорошо тамъ.

Я собрался мигомъ, но моментъ отъѣзда былъ выбранъ не совсѣмъ удачно. Кёльнскій поѣздъ выходилъ изъ Парижа вечеромъ; сверху сыпалось что-то похожее на нашу петербургскую изморозь; туманъ стлался по бульварамъ и улицамъ, и въ довершеніе всего платформа желѣзнодорожной станціи была до крайности скудно освѣщена. Все это, вмѣстѣ взятое и осложненное перспективами дорожныхъ неудобствъ, наводило уныніе и тоску!

Вообще русскій культурный человѣкъ не имѣетъ особенной склонности къ передвиженіямъ, а за границей онъ, сверхъ того, встрѣчаетъ при переѣздахъ множество неудобствъ, которыя положительно застаютъ его врасплохъ. Главное неудобство — недостатокъ желѣзнодорожной прислуги. Приходится не только самому нести свой ручной

багажъ, но самому отыскать свой вагонъ, самому сѣсть на мѣсто и самому сказать: ну, сѣли—теперь съ Богомъ! У тамошнихъ людей все это не считается неудобствомъ. Не потому, что тамъ нѣтъ охотниковъ получать пятиалтынные за мелкія услуги по переноскѣ коробокъ, чтобъ эта монета утратила свой престижъ въ глазахъ кабальнаго большинства, а потому, что нѣтъ охотниковъ давать эти пятиалтынные. Предполагается, что всякій самъ сумѣетъ найти свое мѣсто и устроить себя. Все равно какъ въ жизни вообще. Бываютъ обстановки, при которыхъ можно получить слѣдуемое даромъ, а бываютъ и такія, при которыхъ слѣдуемое можно получить, только сунувъ въ руку желтенькую и зелененькую бумажку. И когда люди привыкаютъ къ этимъ послѣднимъ обстановкамъ, то всегда держатъ подачки наготовѣ и только тогда чувствуютъ себя обнадеженными, когда все, что слѣдуетъ, отдадутъ.

Заграничный человѣкъ идетъ и прямо садится на мѣсто, какъ будто оно и въ самомъ дѣлѣ его. А мы, русскіе, въ этомъ не увѣрены. Все думается: сѣсть-то я сяду, да усидѣть-то придется ли? А вдругъ генералъ Отчаянный крикнетъ (да еще въ темнотѣ!): «знай сверчокъ свой шестокъ!»—ну, и снимайся съ мѣста, разыскивай, гдѣ онъ, этотъ «свой» шестокъ, обрѣтается! Поэтому мы, какъ и во всѣхъ случаяхъ жизни, прежде всего суемъ въ руку двугривенный и спрашиваемъ, можно ли сѣсть? Русскіе кондукторы знаютъ это и снисходятъ, а заграничные кондукторы не понимаютъ и только покрикиваютъ: «en voitures, les voyageurs, en voitures!» Какъ будто это такъ ужъ легко: взялъ да и сѣлъ!

Но сверхъ того большинство изъ насъ еще помнитъ золотыя времена, когда по всей Руси, изъ края въ край, раздавалось: «Эй, Иванъ, платокъ носовой! Эй, Прохоръ, трубку!»—и хотя, въ теченіе послѣднихъ двадцати лѣтъ, можно бы, кажется, ужъ сродниться съ мыслью, что сапоги приходится надѣвать самолично, а все-таки эта перспектива приводитъ насъ въ смущеніе и порождаетъ въ нашихъ сердцахъ ропотъ. Единственный ропотъ, который, не будучи предусмотрѣнъ въ регламентахъ, пользуется привилегіей: роптать дозволяется.

Именно это чувство неизвѣстности овладѣло мной, покуда я, неся подъ мышками и въ рукахъ какія-то совсѣмъ ненужныя коробки, слонялся въ полумракѣ платформы. Собственно говоря, я не искалъ, а въ глубокомъ унынiи спра-

шивалъ себя: «гдѣ-то онъ, мой шестокъ («идѣ домувъ мой?» какъ пѣвали братья-славяне на «Минерашкахъ» у Излера), обрѣтается?» Не знаю, долго ли бы я такимъ манеромъ прослонялся, если-бъ въ ушахъ моихъ не раздался, на чистѣйшемъ русскомъ діалектѣ, призывъ:

— Вы русскій, и я русскій; давайте вмѣстѣ искать!

И дѣйствительно, ободряя другъ друга и напоминая, что на Парижъ дѣйствіе регламентовъ не распространяется, мы вдвоемъ нашли довольно скоро и такъ ловко усѣлись на мѣстахъ, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ эти мѣста были наши собственныя. Да и пора было, потому что, едва я успѣлъ сказать: «теперь—съ Богомъ!» какъ паровозъ засвистѣлъ, запыхтѣлъ, и мы покатили.

Насъ ѣхало въ купе всего четыре человѣка, по одному въ каждомъ углу. Можетъ-быть, это были все соотечественники, но знакомиться намъ не приходилось, потому что наступала ночь, а утромъ въ Кёльнѣ предстояло опять мѣнять вагоны. Часа съ полтора шла обычная дорожная возня, при чемъ мой vis-à-vis не утерпѣлъ-таки сказать: «а у насъ-то что дѣлается—чудеса!»—фразу, какъ будто сдѣлавшуюся форменнымъ привѣтствіемъ при встрѣчѣ русскихъ въ послѣднее время. И затѣмъ все окунулось въ безмолвіе.

Но мнѣ не спалось. Какъ только я созналъ себя одинокимъ, такъ тотчасъ навстрѣчу поплыли «мысли». Вспомнилось тоскливое, безцѣльное заграничное шатаніе, въ сопровожденіи потухшей любознательности и отсутствія интереса ко всему, исключая трактировъ; вспомнилось и сѣрое житьишко дома, полное безпредметныхъ и неосмысленныхъ тревогъ... И какъ-то невольно, само собою сказалось: «Ахъ, какая это ужасная вещь—жизнь!»

Въ конечныхъ результатахъ жизненныя тревоги послѣдняго времени настолько ужъ развратили насъ, что каждый въ своихъ дѣйствіяхъ и сужденіяхъ почти исключительно выходитъ изъ представленія о «шкурѣ». Боязнь за «шкуру», за завтрашній день—вотъ основной тезисъ, изъ котораго отправляется современный русскій человѣкъ, и это смутное ожиданіе вѣчно-грозящей опасности уничтожаетъ въ немъ не только позывъ къ дѣятельности, но и къ самой жизни. На первый взглядъ тутъ кроется какъ бы противорѣчіе. Ежели человѣкъ тревожно цѣпляется за свой завтрашній день—стало-быть, онъ жаждетъ жить. Ничуть не бывало. Не жажда жизни заставляетъ трепетать, а просто

инстинктивная сердечная смута, которая, помимо сознанія, каждоминутно сосетъ и терзаетъ. Сама по себѣ, жизнь и ненавистна, и постыла; но такъ какъ она привязалась, то приходится ее выносить. Да объ ней какъ-то и не думается, а думается только объ этой несносной смутѣ, которая до такой степени всѣмъ завладѣла, все заслонила, что уничтожила даже силу взглянуть смѣло въ глаза смерти. Не завтрашняго дня жаль, а жутко при мысли, что, можетъ-быть, онъ будетъ, а можетъ-быть, и не будетъ.

«Шкурный» инстинктъ грозитъ погубить, если ужъ не погубилъ, всѣ прочіе жизненные инстинкты. Ужасно подумать, что возможны общества, возможны времена, въ которыхъ только проповѣдь надругательства надъ человѣческимъ образомъ пользуется правомъ гражданственности. Уши слышатъ, очи видятъ—и вѣры не имутъ. Невольно вырывается крикъ: неужто все это есть, неужто ничего другого и не будетъ? Неужто все пропало, все? Вѣдь было же когда-то время, когда твердили, что безъ идеаловъ шагу ступить нельзя! Были великіе поэты, великіе мыслители, и ни одинъ изъ нихъ не упоминалъ о «шкурѣ», ни одинъ не указывалъ на принципъ самосохраненія, какъ на окончательную цѣль человѣческихъ стремленій. Да, все это несомнѣнно было. Такъ неужто же и эти поэты, мыслители, Шекспиры, Байроны, Сервантесы, Данты, были люди опасные, подлежащіе упраздненію?

Въ смыслѣ свободы мышленія мы, конечно, не можемъ похвастаться, чтобъ наше прошлое было изобильно благопріятными днями. Но даже въ самыя трудныя времена злобная ограниченность, пошлость и приниженность стремленій не выступали такъ нагло впередъ, не выказывали такъ явно своей властности. Чувствовалась общая суровость жизненныхъ тоновъ, но не было подлаго ликованія съ поддразниваніями, науськиваніями и проч. Правда, дѣйствующая въ кварталахъ, представлялась обязательною, но никому не приходило въ голову утверждать, что нѣтъ солнца, кромѣ сіяющаго изъ будки, и что правду высшую, человѣческую, слѣдуетъ заковать въ кандалы. Полезность Псоя Стахича Замухрышкина рекомендовалась къ непремѣнному признанію, но никто не позволялъ себѣ сказать, что Пушкинъ—разбойникъ, а Псой Стахичъ — идеалъ человѣковъ. Право, мнѣ кажется, что даже цензура того времени не пропустила бы ничего подобнаго. Потому что вѣдь проповѣдь всеобщаго одичанія, по малой мѣрѣ, столь же

опасна, какъ и проповѣдь всеобщаго равенства передъ домашнимъ обыскомъ.

А нынче послушайте, какая трель всенародно раздается изъ любого литературнаго клоповника! Мыслить не полагается! добрый же сынъ отечества обязывается предаваться установленнымъ тѣлеснымъ упражненіямъ и затѣмъ насыщаться, перевариватъ и извергать. Всякій же, кто обнаружитъ попытку мышленія, будетъ яко пособникъ, укрыватель и соучастникъ злодѣйскихъ замысловъ. Неужто же мы такъ и останемся при этихъ хлѣвныхъ идеалахъ?

Неужто это будетъ?...

Всякій, конечно, совершенно ясно понимаетъ практическую несостоятельность подобныхъ опасеній, и всякому въ то же время становится жутко, потому что хлѣвные идеалы формулируются уже черезчуръ рѣшительною и беззастѣнчивою рукой. Страшно подумать, что можетъ выдаться хоть одна минута подобнаго торжества, что возможны даже сомнѣнія въ этомъ смыслѣ. Помилуйте! вѣдь насъ наконецъ всѣхъ, отъ мала до велика, вша заѣстъ! Мы разучимся говорить и начнемъ мычать! Мы будемъ въ состояніи только совершать обрядныя тѣлесныя упражненія, не понимая ихъ значенія, не умѣя ни направлять ихъ, ни пользоваться какими-нибудь результатами! Мы будемъ хлѣбъ сѣять на камнѣ, а навозъ валить въ щи...

Да, это тоже своего рода крамола. Это крамола противъ человѣчества, противъ Божьяго образа, воплотившагося въ человѣкѣ, противъ всего, что человѣчеству дорого, чѣмъ оно живетъ и развивается. И, къ ужасу, это крамола не подпольная, а явно и вслухъ проповѣдуемая. Обитательница хлѣвовъ не знаетъ солнца — и отрицаетъ его; не знаетъ вольнаго воздуха—и удостовѣряетъ, что это выдумка злонамѣренныхъ людей. А Правда слушаетъ это безсмысленное бормотаніе и пожимается. Она ощупываетъ свою «шкуру» и боится, какъ бы до нея дѣло не дошло! Какъ тутъ не воскликнуть: вша источитъ насъ, вша! мычать будемъ! щи съ навозомъ будемъ хлебать!

Я помню, покойница бабушка говаривала: «и мужичка, мой другъ, безъ ума пугать не надо: запугаешь его—онъ и будетъ сохой вавилоны по пашнѣ водить; и самъ-то изъ силъ выбьется, да и пользы отъ этого никакой!» Милая бабушка! точно она провидѣла!

Вотъ тутъ и разсуждай, утѣшаетъ ли исторія. Несомнѣнно, такія личности бываютъ, для которыхъ исторія служитъ

только свидѣтельствомъ неуклоннаго нарастанія добра въ мірѣ, но вѣдь эти личности исключительныя, насквозь проникнутыя свѣтомъ. Ихъ точно такъ же подавляютъ идеалы будущаго, какъ другихъ пригнетаетъ прахъ прошедшаго. Эти личности до того вѣрующія, что для нихъ осуществленіе идеаловъ не составляетъ даже вопроса времени. Они уже осуществились, эти идеалы, они носятся передъ глазами, ихъ можно осязать руками, и никакіе уколы неумолимой дѣйствительности не въ силахъ поколебать въ нихъ эту блаженную увѣренность... Конечно, тутъ не можетъ быть даже вопроса о томъ, утѣшаетъ ли исторія.

Этотъ изумительный типъ глубоко вѣрующаго человѣка нерѣдко смущалъ мое воображеніе, и я не разъ пытался воспроизвести его. Но задача оказывалась непосильною. Нужно имѣть и громадную подготовку, и почти сверхъестественное художническое чутье, чтобъ отыскать неисчерпаемое богатство содержанія въ этомъ внѣшнемъ однообразіи вѣры. Часто представлялъ я себѣ человѣка забытаго, затерянnаго и все-таки обращающаго глаза къ востоку. Онъ ясно видитъ, какъ горитъ и пламенѣетъ этотъ востокъ, и совсѣмъ не замѣчаетъ, что на самомъ дѣлѣ и востокъ и западъ, и сѣверъ и югъ—все кругомъ охвачено непроглядной тьмою. Но вѣдь это картина—и только; картина, характеризующая лишь моментъ извѣстнаго душевнаго настроенія. Повторите этотъ моментъ хотя безчисленное множество разъ—вы не выйдете изъ предѣловъ однообразія, не получите ничего, кромѣ утомительныхъ перифразъ. Чтобы выйти изъ этого однообразія, необходимо прежде всего понять, что тутъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ является «вѣра», и что представленіе о «вѣрѣ» объемлетъ собой не только всего человѣка, но весь міръ, всю область знанія. И вотъ тотъ, кто сумѣетъ раскрыть всю безпредѣльность этого содержанія, кто найдетъ въ себѣ мощь воспроизвести все разнообразіе идеаловъ, которое составляетъ естественный выводъ этого содержанія — тотъ, несомнѣнно, напишетъ картину, безконечное разнообразіе и яркость которой зажжетъ всѣ сердца. Слово утратитъ вялость, образы будутъ полны жизни и огня. Но спрашиваю по совѣсти: гдѣ тотъ художникъ, которому были бы подъ силу такія глубины?

Повторяю: не объ этихъ исключительныхъ натурахъ можетъ идти здѣсь рѣчь, а о простой злобѣ дня. Герой этой злобы — заурядный дѣятель современности, устроитель ея

будничныхъ отношеній, человѣкъ относительной правды, относительнаго добра, относительнаго счастья. Онъ живетъ, потому что схваченъ тисками жизни; но разъ онъ живетъ, лукавыя мудрствованія уже не смущаютъ его. Онъ вникаетъ въ обстановку современности и дѣлаетъ всѣ усилія, чтобъ примѣниться къ ней; онъ ищетъ не абсолютной правды, а *возможной*, и примиряется съ нею; наконецъ онъ охотно признаётъ «удобство» за синонимъ счастья и подчиняется этому опредѣленію. Вообще это человѣкъ не сложныхъ требованій, не выспреннихъ идеаловъ, который въ случаѣ нужды пойдетъ на компромиссъ: только не добивай до конца! Понятно, что для этого человѣка утѣшенія, преподаваемыя исторіей, составляютъ не вопросъ экзальтированной вѣры, а конкретнѣйшую задачу самаго обыкновеннаго будничнаго обихода.

Несомнѣнно, что и между этими средними дѣятелями современности встрѣчается очень много честныхъ людей, которые совершенно искренно вѣрятъ, что исторія представляетъ неистощимый источникъ утѣшеній. Но средній человѣкъ всегда инстинктивно отличаетъ теорію отъ практики. Не будучи даже малодушнымъ, онъ отводитъ для историческихъ утѣшеній скорѣе отдаленное будущее, нежели ближайшее настоящее. Въ настоящемъ процессъ нарастанія правды нерѣдко кажется ему равносильнымъ процессу сдиранія кожи съ живого организма. Туго приходитъ въ міръ правда, и притомъ цѣною неслыханныхъ жертвъ. Самоотверженность не въ нравахъ средняго человѣка, да вѣдь она и не обязательна. Средній человѣкъ не прочь даже, въ видахъ самооправданія, сослаться на ненормальность самоотверженности вообще и въ принципѣ будетъ, пожалуй, правъ. И хотя ему можно возразить на это: такъ-то такъ, да вѣдь въ ненормальной обстановкѣ только ненормальныя явленія и могутъ быть нормальными, — но вѣдь это ужъ будетъ порочный кругъ, вращаться въ которомъ можно до безконечности, не придя ни къ какому выводу.

Поэтому, ежели въ глазахъ человѣка вѣры безразличны всѣ виды и степени относительной правды, оспаривающіе другъ у друга верхъ, то для человѣка средняго борьба этихъ правдъ составляетъ источникъ глубокихъ и мучительныхъ опасеній. Онъ не подавленъ ни будущимъ, ни прошедшимъ; онъ всѣми своими помыслами прикованъ къ настоящему и отъ него одного ждетъ охраннаго листа на

среднее, не очень свѣтлое, но и не черезчуръ мрачное существованіе. Программа его скромна и имѣетъ очень мало соприкосновенія съ блескомъ и полнотою историческихъ утѣшеній...

И вотъ, когда у него оспаривается право на осуществленіе даже этой скромной программы, онъ, конечно, получаетъ полное основаніе сказать: «Я охотно вѣрю, что исторія *должна* утѣшать, но не могу указать на людей, которыхъ имѣютъ коснуться ея утѣшенія. Что касается до меня лично, то я чувствую только одно: что исторія сдираетъ съ меня кожу».

А между тѣмъ этотъ средній человѣкъ именно и есть дѣйствительный объектъ исторіи. Для него пишетъ исторія свои сказанія о старой неправдѣ; для него происходитъ процессъ нарастанія правды новой. Ради него созидаются религіи, философскія системы, утопіи; ради него самоотвергаются тѣ исключительныя натуры, которыя носятъ въ себѣ зиждительное начало исторіи. Какимъ же образомъ ему примириться съ утѣшеніями исторіи, какимъ образомъ увѣровать въ нихъ, когда онъ ежеминутно встрѣчаетъ осязательныя доказательства, что эта самая исторія на каждомъ шагу въ кровь разбиваетъ своего собственнаго героя?

Дѣло въ томъ, что исторія даетъ пріютъ въ нѣдрахъ своихъ не только прогрессивному нарастанію правды и свѣта, но и необычайной живучести лжи и тьмы. Правда и ложь живутъ одновременно и рядомъ, но при этомъ первая является нарождающеюся и слабо защищенною, тогда какъ вторая представляетъ собой крѣпкое мѣсто, снабженное всѣми средствами самозащиты. Легко понять, какого рода результаты могутъ произойти изъ подобнаго взаимнаго отношенія сторонъ.

Вообще ложь имѣетъ за собою цѣлую свиту преимуществъ... Во-первыхъ, она знаетъ, что торжество правды не влечетъ для нея за собой никакихъ отмщеній. Правдѣ чужда месть; она приноситъ за собой прощеніе, и даже не прощеніе, а просто только возстановленіе дѣйствительнаго смысла явленія. Во-вторыхъ, циклъ правды до сихъ поръ никогда не представлялся завершившимся, и даже сомнительно, можно ли ждать, чтобъ онъ когда-нибудь завершился. Правда способна развиваться до безконечности, открывая новые и новые горизонты и облекаясь въ новыя, болѣе совершенныя формы. Эта растяжимость правды и

на человѣка дѣйствуетъ возбуждающимъ образомъ. Онъ не прекращаетъ своихъ поисковъ не потому, чтобъ это была прихоть его бунтующей природы, какъ утверждаютъ литературные клоповники, а потому, что исканія эти столь же естественны, какъ естественъ и самый законъ прогрессивнаго нарастанія правды. Ложь знаетъ неизбѣжность этихъ исканій, но знаетъ также и неизбѣжность сопровождающихъ эти исканія недоумѣній и ошибокъ. И, на минуту посрамленная въ лицемѣрномъ спокойствіи, ждетъ очереди для отмщеній.

Среднему человѣку приходится считаться со всѣми этими привилегіями лжи. Повторяю: его искъ къ жизни и ея благамъ до крайности скроменъ. До такой степени скроменъ, что онъ самъ всегда признаётъ за ложью право защищаться до послѣдней крайности. Быть-можетъ, онъ даже отказалъ бы себѣ въ правѣ идти навстрѣчу искомой правдѣ (эту осторожность подсказываетъ ему «шкура»), но онъ не можетъ сдѣлать это, потому что всѣ инстинкты тянутъ его въ сторону. И вотъ для него наступаетъ моментъ ожесточенной свалки. Это — свалка жизни, въ которой нѣтъ свидѣтелей, а всѣ сплошь — дѣйствующія лица. И въ этой свалкѣ его бьютъ, бьютъ, бьютъ безъ конца.

Ибо ежели и не его лично бьютъ, такъ нельзя же вѣдь сказать: тебя не бьютъ, а до прочихъ тебѣ нѣтъ дѣла! Это будетъ разсужденье каплунье, а не человѣческое.

А такъ какъ процессъ нарастанія правды трудный и медлительный, то встрѣчаются поколѣнія, которыя нарождаются при началѣ битья, а сходятъ со сцены, когда битье подходитъ къ концу. Даже передышкой не пользуются. Какой горькой ироніей долженъ звучать для этихъ поколѣній вопросъ объ историческихъ утѣшеніяхъ!

Утѣшайся исторіей и живи одной мыслью съ народомъ— вотъ обязательныя условія существованія современнаго человѣка. И точно: когда жизнь кидаетъ вмѣсто хлѣба камень, тогда поневолѣ приходится искать утѣшеній въ исторіи; но вѣдь, по правдѣ-то говоря, не исторія должна утѣшать, а сама жизнь. Во всякомъ случаѣ средній человѣкъ имѣетъ право такъ думать, этого желать. Да если-бъ онъ думалъ иначе, если-бъ онъ не ждалъ, что жизнь поступится чѣмъ-нибудь въ пользу его, то онъ и не добывалъ бы, цѣною смертнаго боя, матеріалы, изъ которыхъ созидаются

историческія утѣшенія. И тогда исторія едва ли имѣла бы возможность занести на свои страницы достаточное число фактовъ нарастанія добра, которые можно бы принять за отправный пунктъ для утѣшеній.

Что же касается до единенія съ народомъ, то это вопросъ едва ли еще не болѣе жестокій, нежели вопросъ объ историческихъ утѣшеніяхъ. Конечно, достигнуть или, точнѣе, представить себѣ это единеніе на манеръ тѣхъ испускателей трубныхъ звуковъ, у которыхъ нѣтъ ничего за душой, кромѣ высокомѣрнаго и суетнаго празднословія, очень легко; но дѣйствительное единеніе съ народомъ по малой мѣрѣ столь же мучительно, какъ и сдираніе съ живого организма кожи, ради осуществленія историческихъ утѣшеній. Не призыва требуетъ народъ, а подчиненія, не руководительства и ласки, а самоотреченія. Вы задаете себѣ задачу: міръ, валяющійся во тьмѣ, призвать къ свѣту; на массы, болящія и негодующія, пролить исцѣленіе. Но бываютъ историческія минуты, когда и этотъ міръ, и эти массы преисполняются угрюмостью и недовѣріемъ, когда они сами непостижимо упорствуютъ, оставаясь во тьмѣ и въ недугахъ. Не потому упорствуютъ, чтобъ не понимали свѣта и исцѣленій, а потому, что источникъ этихъ благъ заподозрѣнъ ими. Въ такія минуты къ этому валяющемуся во тьмѣ и недугахъ міру нельзя подойти иначе, какъ предварительно погрузившись въ ту же самую тьму и болѣя тою же самою ироказой, которая грозитъ ее истребить.

Вотъ какія изумительныя задачи выпали на долю средняго человѣка. Съ одной стороны онъ обязывается завоевать для исторіи утѣшенія, а съ другой—погружаться въ тьму и примиряться съ проказой. Добавьте къ этому смертный бой ликующей современности, которая какъ-то особенно злобно привязывается именно къ среднему человѣку,—и картина душевнаго благополучія будетъ полная. Я не говорю, что онъ преднамѣренно и тщеславно беретъ на себя выполненіе этихъ непосильныхъ задачъ; напротивъ, онѣ тяготѣютъ надъ нимъ фаталистически, и онъ, даже при желаніи, не можетъ ускользнуть отъ нихъ. Съ каждымъ шагомъ впередъ онъ идетъ навстрѣчу ликующей современности и не только не можетъ защититься отъ нея, но не можетъ и отступить. Жизнь защемила его въ свои тиски и не выпуститъ до тѣхъ поръ, пока не высосетъ всей его крови до послѣдней капли. А затѣмъ выбро-

сить въ общую яму его трупъ и будетъ туда валить новые и новые трупы, изъ массы которыхъ исторія со временемъ выработаетъ свои «утѣшенія».

Положа руку на сердце, говорю: меня морозъ подиралъ по кожѣ отъ этихъ мрачныхъ думъ. Отъ времени до времени я заглядывалъ въ окно и сквозь окрестную тьму различалъ вдали цѣлые свѣтящіеся города. То былъ промышленный уголокъ Бельгіи съ его неусыпающими фабриками и заводами. Вотъ-то гдѣ доподлинно добываются историческія утѣшенія! думалось мнѣ, и воображеніе рисовало цѣлыя картины процесса этого добыванія. Да и единеніе съ народомъ тутъ же кстати пристегнулось. Съ народомъ, повиннымъ вѣчной работѣ и изнемогающимъ подъ игомъ тьмы и проказы! Поди-ка, подступись къ этому народу! Ты думаешь о наслажденіяхъ мысли, чувства и вкуса, о свободѣ, объ искусствѣ, о литературѣ, а онъ свое твердитъ: жрать! Не разнообразно, но зато какъ опредѣленно! Вотъ онъ говоритъ, что книги истребить надо,—войди-ка съ нимъ въ единеніе во имя истребленія книгъ! А можетъ-быть, ему и фабрика съ заводомъ не въ утѣшеніе, а въ тягость—что жъ, и эта почва для единенія не дурна! Какъ бы то ни было, но ужъ онъ не уступитъ! Кто въ проказѣ—тотъ съ нимъ, у кого нѣтъ проказы—тотъ противъ него! Коротко и ясно.

Ты хочешь единенія съ народомъ?—прекрасно!—выбирай проказу, ложись на навозъ, ѣшь хлѣбъ, сдобренный лебедой, надѣвай рваный понитокъ и жги книгу. Но не труби въ трубу, не заражай воздуха запахомъ трубныхъ огрѣховъ! Трубные звуки могутъ только раздражать, а съ такимъ непочатымъ организмомъ, какъ народъ, дѣло кончается не раздраженіями, а представленіемъ доказательствъ.

Но всероссійскіе клоповники не думаютъ объ этомъ. У нихъ на первомъ планѣ личные счеты и личныя отмщенія. Посѣвая смуту, они едва ли даже предусматриваютъ, сколько жертвъ она увлечетъ за собой: у нихъ нѣтъ соотвѣтствующаго органа, чтобъ понять это. Они знаютъ только одно: что лично они непремѣнно вывернутся. Сегодня они злобно сѣютъ смуту, а завтра, ежели смута приметъ безпокойные для нихъ размѣры, они будутъ, съ тою же холодною злобой, кричать: пали!

Очевидно, тутъ рѣчь идетъ совсѣмъ не объ единеніи, а о томъ, чтобъ сдѣлать изъ народа орудіе извѣстныхъ мѣръ

ныхъ разсчетовъ. А сверхъ того, можетъ-быть, и розничная продажа играетъ извѣстную роль. Потому что, сообразите на самомъ дѣлѣ, для чего этимъ людямъ вдругъ понадобилось это единеніе? Съ чего они такъ внезапно заговорили о немъ?

Я помню еще отъ лѣтъ дѣтства, какъ нашъ сельскій батюшка говаривалъ: «Всегда бывали господа, и всегда бывали рабы, и впредь уповательно такъ же будетъ». Говорилъ-говорилъ батюшка, да вдругъ пришелъ Царь-Освободитель и снялъ съ рабовъ узы. И остался батюшка съ носомъ. Но онъ не обидѣлся этимъ и, вынувъ изъ-за пазухи предику на тему: «любите други своя», воскликнулъ: «Совершилось дѣло прелюбезное и для всѣхъ сердецъ равно благопотребное! Съ горнихъ высотъ раздался гласъ: рабы да возвеселятся, помѣщики же да радуются! Размыслимъ же о семъ, любезные слушатели, и для сего предложимъ себѣ два вопроса: первое, что сіе означаетъ? и второе, что симъ достигается?» и т. д.

Въ сущности, наши консервативные клоповники твердо помнятъ только дореформенный батюшкинъ афоризмъ и хлопочутъ только объ одномъ: о дѣйствительнѣйшихъ средствахъ народнаго порабощенія. Но они понимаютъ, что коль скоро разъ сказано: «рабы да возвеселятся», то упрощенныя батюшкины предики уже недостаточны, а главное, они знаютъ, что встрѣтятъ на пути противниковъ, которымъ дѣйствительно ненавистно народное порабощеніе. Стало-быть, прежде всего нужно упразднить этихъ людей, стереть ихъ съ лица земли, обрызгать «слюною бѣшеной собаки». А для этого необходимо сдѣлать ихъ подозрительными, дать имъ кличку, воспользоваться всѣми неясностями и недоразумѣніями жизни, чтобъ наплодить массу новыхъ неясностей и недоразумѣній. И когда травля будетъ надлежащимъ образомъ организована, когда пробудившееся чувство исторической розни будетъ доведено до степени неразличенія враговъ отъ друзей, тогда...

Что будетъ тогда—клоповники сами не уясняютъ себѣ. Они не прозираютъ въ будущее, а преслѣдуютъ лишь ближайшія и непосредственныя цѣли! Поэтому ихъ даже не пугаетъ мысль, что «тогда» они должны будутъ очутиться лицомъ къ лицу съ пустотой и безсиліемъ. Покамѣстъ они удовлетворены уже тѣмъ, что ненавидятъ все, за исключеніемъ своей ненависти. Ненавидятъ завтрашній день, потому что тайна, которую онъ хранитъ въ нѣдрахъ сво-

ихъ, мѣшаетъ имъ бездумно предаваться удовлетворенію инстинктовъ человѣконенавистничества; ненавидятъ своихъ собственныхъ дѣтей, потому что видятъ въ нихъ пособниковъ и соучастниковъ завтрашняго дня. Собственно говоря, нельзя представить положенія болѣе ужаснаго. Быть осужденному на вѣчное омертвѣніе и знать, что тутъ же рядомъ нѣчто страдаетъ, изнываетъ, стонетъ, но все-таки живетъ—развѣ можно представить себѣ казнь болѣе жестокую, нежели это пустоутробное, пустомысленное и клокочущее самодовлѣющей злобой существованіе?

Но для живущихъ дѣло не въ томъ, чего достигаютъ граждане клоповниковъ, а въ томъ, что бываютъ историческія минуты, когда ихъ клеветы производятъ извѣстный переполохъ въ обществѣ. Міръ, конечно, не погибнетъ отъ этихъ клеветъ, и исторія не перестанетъ созидать утѣшенія; но отдѣльные индивидуумы могутъ погибнуть. Вотъ это-то именно и составляетъ ахиллесову пяту средняго человѣка. Видя, съ какою безнаказанностью дѣйствуетъ клевета, онъ начинаетъ бояться, и въ умѣ у него постепенно созрѣваетъ деморализирующее «ученіе о шкурѣ». Но, разъ деморализированъ средній человѣкъ, деморализація уже дѣлается достояніемъ всего общества. Всѣ поголовно начинаютъ усчитывать себя и припоминать; у всѣхъ опускаются руки, у всѣхъ начинаютъ биться сердца безпредметной тревогой. Работа мысли перестаетъ быть плодотворною и сосредоточивается исключительно на одномъ: на спасеніи «шкуры».

По совѣсти говорю: общество, въ которомъ «ученіе о шкурѣ» утвердилось на прочныхъ основаніяхъ,—общество, котораго творческія силы всецѣло подавлены однимъ словомъ: «случайность»—такое общество, какія бы внѣшнія усилія оно ни дѣлало, не можетъ придти ни къ безопасности, ни къ спокойствію, ни даже къ простому благочинію. Ни къ чему, кромѣ безсрочнаго вращенія въ порочномъ кругѣ тревогъ и въ концѣ концовъ... самоумерщвленія.

. . . . . .

Было уже около шести часовъ утра, когда я вышелъ изъ состоянія полудремоты, въ которой на короткое время забылся: въ окна проникалъ бѣлесоватый свѣтъ, и облака густыми массами неслись въ вышинѣ, суля впереди цѣлую перспективу ненастныхъ дней. Мой vis-à-vis тоже проснулся, и я не безъ смущенія замѣтилъ, что глаза его были пристально устремлены на меня. Это былъ человѣкъ

среднихъ лѣтъ, скорѣе молодой, нежели старый, подвижной и худощавый, не безобразный, но и съ сильнымъ выраженіемъ приказной каверзности въ лицѣ, такъ что я тотчасъ же мысленно надѣлъ ему на голову фуражку съ кокардой и форменное пальто. Такое выраженіе лица нерѣдко встрѣчается у земцевъ (онъ и дѣйствительно оказался таковымъ), которые когда-то служили въ столоначальникахъ и ошиблись въ надеждахъ на дальнѣйшую бюрократическую карьеру. Люди эти слывутъ въ земствѣ дѣльцами, сочиняютъ формочки съ безчисленнымъ множествомъ графъ, называютъ себя консерваторами, хвастаются связью съ землею, утверждаютъ, что «русскій мужичокъ не выдастъ», и приходятъ въ умиленіе отъ «Московскихъ Вѣдомостей». Нельзя сказать, чтобъ они были положительно противны, но извѣстная ограниченность мѣшаетъ имъ различить добро отъ зла. Потому они всегда смотрятъ въ одну точку, говорятъ однимъ и тѣмъ же тономъ одни и тѣ же слова, мыслятъ азбучно, но съ сознаніемъ благонадежности своихъ мыслей, и безконечно надоѣдаютъ всѣмъ авторитетностью и изобиліемъ пустяковъ. Повидимому, этотъ человѣкъ узналъ меня.

— Въ Парижѣ побывали?—спросилъ онъ меня съ напускною развязностью земскаго человѣка, который, памятуя, что онъ въ нѣкоторомъ родѣ исполняетъ должность пятаго колеса въ колесницѣ государственнаго механизма, не хочетъ, чтобъ его заподозрѣли, что онъ чѣмъ-нибудь стѣсняется.

— Въ Парижѣ,—отвѣчалъ я.

— Поѣздили? погуляли?

— Такъ же, какъ и вы.

— Вернетесь домой, что-нибудь въ смѣшномъ родѣ напишете?

— Можетъ-быть, и въ смѣшномъ...

Онъ съ минуту помолчалъ. Отвѣты мои не удовлетворяли его: почему-то онъ ждалъ, что я передъ нимъ, земцемъ, откроюсь. Потому онъ упершся руками въ колѣни и опять въ упоръ посмотрѣлъ на меня. Именно тѣмъ взглядомъ посмотрѣлъ, который говоритъ: а вотъ я смотрю на тебя—и шабашъ!

— Однако вы любите-таки посмѣяться...

Онъ откинулся спиной къ стѣнѣ купе и ждалъ. Но я молчалъ.

— А пора бы наконецъ и трезвенное слово сказать,—

продолжалъ онъ, все пристальнѣе и пристальнѣе вглядываясь въ меня, какъ будто поставивъ себѣ задачею запечатлѣть въ своей памяти не только слова мои, но и выраженіе лица.

— Рады стараться!

— Вотъ видите, вы и теперь шутите. А вѣдь я, право, не шутя говорю: пора.

— Да, сколько помнится, я никогда пьяныхъ словъ и не говорилъ.

— И опять шутите! Я вамъ говорю, что пора трезвенное слово сказать, а вы о какихъ-то пьяныхъ словахъ...

— Въ такомъ случаѣ отвѣчу вамъ яснѣе: по крайнему моему убѣжденію, всѣ слова, которыя я когда-нибудь говорилъ, были трезвенныя.

— Будто?

— Именно. Только надо знать грамотѣ и понимать, что̀ читаешь—вотъ что̀ прежде всего.

— Гм!..

Онъ на минуту смолкъ, однако-жъ не сконфузился.

— Я, знаете, тамбовецъ; земецъ я...—началъ онъ, какъ бы желая этимъ сказать, что стоитъ выше грамотности.

— Отлично.

— Вамъ, можетъ-быть, страннымъ кажется, что я такъ прямо съ вами заговорилъ?

— Да, странно.

— Но мы живемъ въ такое время, когда церемоніи-то приходится сдать въ архивъ.

— Не вижу надобности.

— Право, такъ... а?

— Повторяю вамъ: не вижу надобности.

Но, повидимому, и эти отвѣты не удовлетворили его, потому что онъ довольно-таки строго покачалъ головой и съ разстановкою произнесъ:

— Однако вы... не патріотъ!

Земцы вообще прилипчивы и самодовольны, но они рѣдко бываютъ недоброжелательны. Дома, въ своихъ захолустьяхъ, они съ утра до вечера суетятся и хлопочутъ: покупаютъ новые умывальники для больницъ, чинятъ паромы, откладываютъ до будущей сессіи вопросъ о мелкомъ поземельномъ кредитѣ, о прекращеніи эпизоотій, объ оздоровленіи крестьянскихъ жилищъ и проч., и такъ какъ все это имъ удается, то они чувствуютъ себя совершенно довольными. Набѣгаются день-денской, у всѣхъ побываютъ, со всѣми

поговорятъ, вездѣ закусятъ, а къ ночи, усталые, воротятся домой и засыпаютъ до слѣдующаго утра. Понятно, что при такихъ условіяхъ не можетъ быть рѣчи о недоброжелательномъ отношеніи къ ближнему. Вѣруя искренно въ свой жизненный подвигъ, земецъ и ближняго своего не рѣшается заподозрѣть въ невѣріи. Потому что тутъ дѣло ясное: вотъ онъ рукомойникъ—смотри!

Но послѣднее трудное время, повидимому, тронуло даже эту душевную ясность. Земцы начинаютъ подозрѣвать и озираться. Рукомойники остаются нелуженными; паромы даютъ течь, потому что земецъ рѣшилъ, что это дѣло второстепенное, и что прежде всего слѣдуетъ смотрѣть вглубь. Вотъ онъ и смотритъ: смотритъ да смотритъ и вдругъ фигу увидитъ. Взволнуется, побѣжитъ и начинаетъ шевелить бровями. И всѣ разомъ бровями зашевелятъ—ужасно у нихъ это серьезно выходитъ. Пошевелятъ и порознь—и опять фигу увидятъ... Нельзя сказать, чтобъ это было страшно, но какъ-то безтолково и неполезно. По крайней мѣрѣ, я лично очень жалѣю, что на нашихъ глазахъ переводится наивная и добродушная порода людей, вполнѣ довольныхъ получаемымъ ими содержаніемъ.

Сидѣвшій передо мною экземпляръ земца, вѣроятно, и прежде уже таилъ въ себѣ сѣмена недоброжелательства, но событія послѣдняго времени еще болѣе обострили въ немъ это качество. Онъ не просто смотрѣлъ вглубь, но потщился укрѣпить свой умъ чтеніемъ передовыхъ статей. Представленіе о рукомойникахъ и паромахъ онъ, повидимому, совсѣмъ ужъ утратилъ и весь погрузился въ дѣла внутренней политики. При этомъ, вѣроятно, вновь зароились въ его мозгу и прерванныя честолюбивыя мечты столоначальника-неудачника. Представилась возможность не только наверстать потерянное, но и получить рубль на рубль. Творчество — не въ ходу; зато на подозрительность—требованіе. Въ прежнее время онъ былъ бы радъ-радёхонекъ, если-бъ его почтили хоть мѣстомъ начальника отдѣленія; теперь онъ смотритъ ужъ выше. Даже исконную земскую неряшливость онъ уже успѣлъ стряхнуть съ себя. Прежде онъ ѣздилъ въ третьемъ классѣ и комкалъ свои пожитки въ узелъ, нынче онъ въ первомъ классѣ ѣдетъ, и въ рукахъ его блеститъ лакированный мѣшокъ; прежде онъ умывался только черезъ день, нынче онъ даже поясницу каждодневно моетъ казанскимъ мыломъ. Вообще при взглядѣ на этого человѣка впечатлѣніе получалось колючее. До та-

кой степени колючее, что когда онъ усомнился въ моемъ патріотизмѣ, то мнѣ какъ-то невольно пришло на мысль: а вѣдь онъ, пожалуй, возьметъ да вдругъ...

— Вы, можетъ-быть, опасаетесь, что я закричу караулъ?—продолжалъ онъ, прозорливо комментируя мысленныя тревоги, отражавшіяся въ моемъ лицѣ.

— Здѣсь я не опасаюсь этого, потому что за такой подвигъ васъ навѣрное высадятъ на станціи.

— А въ Вержболовѣ, напримѣръ?

Я долженъ былъ ожидать этого вопроса; но есть вопросы, которыхъ всегда ожидаешь и которые всегда же застаютъ врасплохъ. Я спасовалъ и сдался на капитуляцію.

— Спрашивайте,—сказалъ я.

— Прежде всего разувѣрьтесь,—началъ онъ:—я человѣкъ правды—и больше ничего. И я полагаю, что если мы всѣ, люди правды, столкуемся, то весь этотъ дурной сонъ исчезнетъ самъ собою. Не претендуйте же на меня, если я повторяю, что въ такое время, какое мы переживаемъ, церемоніи нужно сдать въ архивъ.

— Ахъ, что вы! да развѣ я думалъ?

— То-то-съ. По моему мнѣнію, мы всѣ, люди добра, должны исповѣдаться другъ передъ другомъ и простить другъ друга. Да-съ, и простить-съ. У всякаго человѣка какой-нибудь грѣхъ найдется—вотъ и надобно этотъ грѣхъ ему простить.

— Ахъ, Боже мой! да вѣдь это и есть моя мысль.

— Ну-съ, такъ это исходный пунктъ. Простить—это первое условіе; но съ тѣмъ, чтобы впредь въ тотъ же грѣхъ не впадать—это второе условіе. Итакъ, будемъ говорить откровенно. Начнемъ съ народа. Какъ земецъ, я живу съ народомъ, наблюдаю за нимъ и знаю его. И убѣжденіе, которое я вынесъ изъ моихъ наблюденій, таково: народъ нашъ представляетъ собой образецъ здороваго организма, который никакія обольщенія не заставятъ сойти съ прямого пути. Согласны?

— Но развѣ можно сомнѣваться въ томъ?

— Прекрасно. Несмотря, однако-жъ, на это, несмотря на то, что у насъ подъ ногами столь твердая почва, мы не можемъ не признать, что наше положеніе все-таки въ высшей степени тяжелое. Мы живемъ, не зная, что ждетъ насъ завтра и какіе новые сюрпризы готовитъ намъ жизнь. И все это, повторяю, несмотря на то, что нашъ народъ здоровъ и спокоенъ. Спрашивается: въ чемъ же тутъ суть?

Я ничего не отвѣтилъ на этотъ вопросъ (нельзя же было отвѣтить: «прежде всего, въ твоихъ безумныхъ подстрекательствахъ!»), но, грѣшный человѣкъ, подмигнулъ-таки глазкомъ, какъ бы говоря: вотъ именно это самое и есть!

— Въ томъ суть-съ, что наша интеллигенція не имѣетъ ничего общаго съ народомъ, что она жила и живетъ изолированно отъ народа, питаясь иностранными образцами и проводя въ жизнь чуждыя народу идеи и представленія,— однимъ словомъ, вливая отраву и разложеніе въ нашъ свѣжій и непочатой организмъ. Спрашивается: на какомъ же основаніи и по какому праву эта лишенная почвы интеллигенція приняла на себя непринадлежащую ей роль руководительницы?

Я опять хотѣлъ-было подмигнуть глазкомъ; но на этотъ разъ онъ смотрѣлъ на меня въ упоръ и ждалъ. Поэтому я рѣшился отвѣтить ни да, ни нѣтъ.

— Удивительно, какъ вы плавно говорите!—польстилъ я ему.

— Прекрасно,—отвѣчалъ онъ.—А теперь спрашивается: что̀ необходимо предпринять, чтобъ устранить это растлѣвающее вліяніе? чтобъ вновь вдвинуть жизнь въ ту здоровую колею, съ которой ее насильственно свела ложь, насквозь пропитавшая нашу интеллигенцію?

Онъ опять остановился, но на этотъ разъ уже не для того, чтобъ выждать отъ меня отвѣта, а для того, чтобы дать, такъ-сказать, вылежаться фигурѣ вопрошенія, которую онъ такъ искусно пустилъ въ ходъ. Онъ даже губы сложилъ сердечкомъ, словно самъ себѣ подсвистать хотѣлъ.

— Отвѣтъ на этотъ вопросъ простой,—продолжалъ онъ:— необходимо вырвать съ корнемъ злое начало... Коль скоро мы знаемъ, что нашъ врагъ—интеллигенція, стало-быть, съ нея и начать нужно. Согласны?

Признаюсь откровенно: какъ я ни былъ перепуганъ, но при этомъ вопросѣ испугался вдвое («шкура» заговорила). И такъ какъ трусость, помноженная на трусость, даетъ въ результатѣ храбрость, то я даже довольно явственно пробормоталъ:

— Прекрасно. Но, помнится, въ девяностыхъ годахъ прошлаго столѣтія нѣкто Маратъ именно такого рода цѣлебныя средства предлагалъ...

— То-то вотъ и есть, что вы все иностранныхъ образцовъ ищете!—нимало не смущаясь, прервалъ онъ меня:—

Маратъ! что̀ такое Маратъ?! И какое значеніе можетъ имѣть Маратъ... для насъ?

Тогда я опять понялъ, что въ извѣстныхъ случаяхъ прежде всего необходимо соглашаться, и, разумѣется, поспѣшилъ исправить свою ошибку.

— Еще бы!—сказалъ я съ увлеченіемъ:—Маратъ! что̀ такое Маратъ?! тамъ, у себя, онъ былъ Маратъ, а у насъ, вѣроятно, былъ бы коллежскимъ асессоромъ!

— То-то вотъ и есть. Надо говорить дѣло, а вы... Маратъ!! Насъ, батюшка, Маратами-то не удивишь! Итакъ, первое дѣло—по-боку интеллигенцію; второе дѣло—по-боку печать!

Но при словѣ «печать» мнѣ опять сдѣлалось тяжко, и я ужъ совсѣмъ безсознательно проговорилъ:

— Но Гутенбергъ...

— Что̀ такое Гутенбергъ?

— То-есть, не Гутенбергъ... а собственно говоря... Позвольте! не лучше ли было бы печать-то простить, а вотъ, напримѣръ, суды, земство... ихъ бы вотъ...

— Суды — всенепремѣнно-съ. Но земство — земля-съ. Земли касаться не слѣдуетъ-съ.

— Ну, да, земство—это такъ,—оправдывался я:—здоровое земство и за нимъ здоровый народъ... И затѣмъ, ежели принять въ соображеніе присвоенные земскимъ дѣятелямъ оклады...

Я хотѣлъ-было развить мою мысль, какъ вдругъ случился совершенно неожиданный скандалъ. Одинъ изъ нашихъ спутниковъ, вѣроятно, увидѣлъ отличнѣйшій сонъ и на чистѣйшемъ русскомъ діалектѣ закричалъ: «Ай люли! ай люли!»

Это восклицаніе разомъ перерѣзало нашъ разговоръ. Собесѣдникъ мой обидѣлся и проворчалъ:

— Нарѣзался... свинтусъ!

Но я, признаюсь, былъ обрадованъ, потому что съ этими земцами, какъ ни будь остороженъ и консервативенъ, навѣрное, въ концѣ концовъ въ чемъ-нибудь да проштрафишься. Сверхъ того мы подъѣзжали къ Кёльну, и въ головѣ моей созрѣлъ предательскій проектъ: при перемѣнѣ вагоновъ засѣсть на нѣсколько станцій въ третій классъ, чтобъ избѣжать дальнѣйшихъ собесѣдованій по дѣламъ внутренней политики.

— Въ Кёльнѣ сядемте опять вмѣстѣ,—обольщалъ меня между тѣмъ мой vis-à-vis:—я увѣренъ, что мы навѣрное

столкуемся. Слушайте!—прибавилъ онъ съ увлеченіемъ:—вы должны! вы непремѣнно должны трезвенное слово сказать! это ваша нравственная обязанность.

— Ай люли! ай люли!—опять запѣлъ безпокойный сосѣдъ и на этотъ разъ самъ проснулся отъ звуковъ собственнаго голоса.

— Фляжку-то не стибрили у тебя?—продолжалъ онъ, обращаясь къ своему vis-à-vis, тоже проснувшемуся:—а я, братъ, должно-быть, переспалъ... инда очумѣлъ!

Черезъ десятъ минутъ мы были въ Кёльнѣ.

Я выполнилъ въ Кёльнѣ свой планъ довольно ловко. Не успѣлъ мой ночной товарищъ оглянуться, какъ я затесался въ толпу и по первому звонку ужъ сидѣлъ въ вагонѣ третьяго класса. Но я имѣлъ неосторожность выглянуть въ окно, и онъ замѣтилъ меня. Я видѣлъ, какъ легкая тѣнь пробѣжала у него по лицу; однако-жъ на этотъ разъ онъ поступилъ уже съ меньшею развязностью, нежели прежде. Подошелъ ко мнѣ и довольно благосклонно сказалъ:

— Въ народъ идти пожелали?.. Ну, и прекрасно! Только попомните мое слово: необходимо, чтобъ вы трезвенное слово сказали! Увидимся... въ Вержболовѣ!

Онъ удалился скорымъ шагомъ по направленію къ своему вагону, но слова его остались при мнѣ и заставили меня задуматься. За минуту передъ тѣмъ я готовъ былъ похвастаться, что ловко отдѣлался отъ назойливаго собесѣдника, но теперь эта ловкость почему-то представилась мнѣ уже сомнительною. А ну, какъ вмѣсто ловкости-то я собственными руками устроилъ себѣ западню?—смутно мелькало у меня въ головѣ.

Земецъ, коль скоро ему разъ вступило въ голову, что онъ консерваторъ, дѣлается строгъ до непреклонности. На всякое возраженіе онъ смотритъ, какъ на противодѣйствіе, и ежели, на бѣду, заподозритъ при этомъ еще иронію, то готовъ мстить до седьмого колѣна. Говоря безотносительно, эта мстительность была бы не очень-то страшна; но то-то вотъ и есть, что времена-то нынче переходчивыя: не знаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь. Смотришь на него, какъ онъ усами шевелитъ, думаешь, что онъ въ какомъ-нибудь Цивильскѣ на вѣчныя времена погрузнулъ, а на повѣрку окажется, что онъ только нырнулъ тамъ, а вынырнулъ-то вонъ гдѣ! Ты ему *тамъ* не потрафилъ, а онъ тебя *тутъ* учтетъ, да еще такъ учтетъ, что небу жарко будетъ.

Разумѣется, при помощи смѣтки и очень большого запаса осторожности можно и это дѣло обладить. А именно: всякому встрѣчному стараться попасть въ тонъ, польстить, оказать услугу, сказать при случаѣ: «какъ это вы съ такими способностями да въ чортовой дырѣ засѣли!» Только черезчуръ ужъ много хлопотъ это требуетъ. Вѣдь нынче и не сочтешь, сколько этихъ «встрѣчныхъ» развелось. Всѣхъ не переслушаешь, всякому не накланяешься. Поди, угадай, котораго полезно очаровать и про котораго можно сказать: «а ты попрежнему продолжай въ Пирятинѣ смердѣть!»

Часто сижу я въ своей квартирѣ у окна, смотрю на прохожихъ и все думаю: который изъ нихъ суженый мой? котораго мнѣ умницей и красавчикомъ назвать? Если-бъ можно было всѣмъ огуломъ крикнуть: здорово, молодцы!— это было бы сейчасъ готово; но вѣдь они самолюбивы, и каждый непремѣнно требуетъ, чтобъ его назвали «молодцомъ» особо. Смѣшай-ка его съ массой другихъ «молодцовъ»—онъ обидится, будетъ мстить; а попробуй каждаго останавливать, передъ каждымъ изъясняться—ей-Богу, спина переломится, языкъ перемелется. Да, пожалуй, еще скажутъ: вотъ, молъ, сума переметная, ко всякому лѣзетъ, у всѣхъ ручку цѣлуетъ! должно-быть, въ умѣ какое-нибудь предательство засѣло, коли онъ такъ лебезитъ!

Но все-таки, если разъ судьба уже свела съ прохожимъ или проѣзжимъ—держи его крѣпче за фалды! Нужды нѣтъ, что онъ прямо изъ-подъ Наровчата выскочилъ—все-таки слушай его и удивляйся мудрости его соображеній. Самое лучшее: слушай и не возражай—прохожіе это любятъ. Можно однако-жъ и возразить, но такъ, чтобъ, благодаря возраженію, мудрость еще рельефнѣе выступила—это они тоже любятъ. А всего больше любятъ раскаяніе. Они будутъ на бобахъ разводить, а ты сиди и раскаивайся. Можешь даже слегка наклепать на себя—и это въ заслугу сочтется. Былъ, дескать, я разбойникомъ печати, неповинныя души погублялъ, а теперь съ тобой, наровчатскимъ мудрецомъ, посидѣлъ—и вотъ я весь тутъ. Никогда они этихъ ласковыхъ твоихъ словъ не забудутъ. Потому что, въ сущности, они добрые, исключая, разумѣется, тѣхъ минутъ, когда задыхаются отъ злобы. И вотъ, когда ты подмѣтишь, что онъ въ твою пользу размякъ, тогда ужъ не плошай. Слѣди за нимъ, гдѣ онъ нырнулъ, въ которую сторону побѣжала струя, и гдѣ можно предположить, что онъ вынырнетъ. Но при этомъ имѣй въ виду и слѣдую-

щее: если онъ слишкомъ долго ныряетъ, то легко можетъ случиться, что теченіе вновь прибьетъ его къ наровчатскимъ трясинамъ, а тамъ онъ ужъ окончательно пойдетъ ко дну. Тогда, дѣлать нечего, лови другого прохожаго мудреца, къ другому примазывайся.

«А что если мой недавній собесѣдникъ возьметъ да вынырнетъ?»—думалось мнѣ. Вѣдь онъ меня тогда съ кашей съѣстъ! Что я такое? много ли нужно, чтобъ превратить мое бытіе въ небытіе? Хотя, съ другой стороны, на какую потребу мнѣ бытіе? вотъ такъ бытіе! Такъ не лучше ли сразу погрузиться въ небытіе, нежели остаться при бытіи, съ тѣмъ, чтобъ смотрѣть въ окошко да улыбаться прохожимъ?

И вѣдь какую задачу мнѣ задалъ этотъ проѣзжій мудрецъ! скажи ему трезвенное слово—шутка! Онъ будетъ закусывать да усы въ очищенной мочить,—а я передъ нимъ на вытяжкѣ стой и трезвенныя слова говори... шутники!

Право, мнѣ до сихъ поръ совсѣмъ искренно казалось, что я никогда никакихъ другихъ словъ, кромѣ трезвенныхъ, не говорилъ; а вотъ отыскался же мудрецъ, который въ глаза мнѣ говоритъ: нѣтъ, совсѣмъ не того отъ тебя нужно. Но что-нибудь одно: или я былъ постоянно пьянъ, и въ такомъ случаѣ отъ пьянаго человѣка нечего и ждать трезвеннаго слова; или я былъ трезвъ, а тѣ, которые слушали меня, были пьяны. А можетъ-быть, они и теперь пьяны.

Ужасно мудрено имѣть дѣло съ пьяными цѣнителями. Говори ему, вразумляй, взывай къ его совѣсти, пробуждай въ немъ самосознаніе, кричи ему: проснись, пьяница!—а его только тошнитъ въ отвѣтъ. А именно это-то и случается сплошь и рядомъ. Пьяный не возражаетъ и не опровергаетъ, а выражается афоризмами. Ни начала, ни конца у этихъ афоризмовъ услѣдить невозможно, а между тѣмъ онъ такъ самодовольно долбитъ ими, точно въ нихъ и только въ нихъ однихъ заключается патентъ на дальнѣйшее существованіе. «Нѣтъ, вы не патріотъ!»—поди, разгрызи этотъ камень! Спроси его, что онъ разумѣетъ подъ словомъ «патріотъ»?—онъ, вмѣсто отвѣта, повторитъ: «нѣтъ, вы не патріотъ!» Спроси, почему онъ именно въ данномъ случаѣ формулируетъ упрекъ въ недостаткѣ патріотизма?—онъ и опять повторитъ: «нѣтъ, вы не патріотъ!» Да, пожалуй, еще глазкомъ подмигнетъ, бездѣльникъ. Ужасно

очутиться лицомъ къ лицу съ этой глухой стѣной. Сама по себѣ стѣна есть только стѣна; но сознаніе, что нельзя отъ нея отойти, дѣйствуетъ на человѣка необыкновенно мучительно. Весь дрожишь отъ боли и все-таки стоишь.

Вотъ если-бъ онъ сказалъ: не нужно, молъ, никакихъ вашихъ словъ, ни пьяныхъ, ни трезвенныхъ—это, по крайней мѣрѣ, было бы складно. Да, пожалуй, оно къ тому и придетъ. Общество погрузилось съ нѣкоторыхъ поръ въ такую смуту, что и само не разберетъ, пьяно оно или трезво. Къ кому обращаться съ словомъ-то? — вотъ вѣдь къ какому мы вопросу пришли. Будь слово самое трезвенное—все-таки найдутся пьяницы, которые перетолкуютъ его въ пьяномъ смыслѣ; будь слово самое пьянственное—тѣ же пьяницы будутъ плескать руками. Велика должна быть сладкая привычка говорить, если даже такая дремучая смута не въ силахъ заставить человѣка добровольно погрузиться въ тину молчанія Но откуда взялась эта привычка? зачѣмъ?

Поймите же, пьяницы, сколько нечеловѣчески-горькаго заключается въ этихъ вопросахъ, и какъ долженъ быть измученъ человѣкъ, который предлагаетъ ихъ себѣ! Вѣдь слово-то даръ Божій — неужто же такъ-таки и затоптать его? Вѣдь оно задушить можетъ, если его не выговорить!.. Но разъ подобные вопросы возникли, никакого другого отвѣта на нихъ нельзя ожидать, кромѣ безповоротнаго осужденія. И небо, и земля, и движеніе, и жизнь—все исчезаетъ; впереди усматривается только скелетъ смерти, въ пустой черепъ которой наровчатскій проѣзжій, для страха, вставилъ горящую стеариновую свѣчку.

Я невольно вспомнилъ: не дальше, какъ въ іюлѣ, три мѣсяца тому назадъ, я ѣхалъ за границу, и спутниками моими были Удавъ и Дыба. Не скрою, не понравились мнѣ тогда эти люди. Городятъ какія-то двусмысленности, не то либеральничаютъ, не то «жамкнуть» собираются. Наслушаешься ихъ—точно пустую бочку то вкатишь на гору, то опять съ горы спустишь. А теперь съ какою благодарностью, можно сказать, даже съ любовью я помянулъ ихъ! Такъ бы, кажется, и не наслушался музыки ихъ рѣчей, какъ Богъ привелъ опять на распутіи встрѣтиться! Даже объ Твэрдоонтѣ всплакнулъ—и у того нѣкоторыя словечки были...

Сравните ихъ съ этимъ непомнящимъ родства Маратомъ, котораго я только-что оставилъ, — и вы сразу почув-

ствуете, какъ изъ области не особенно блестящей, но все-таки человѣческой, переноситесь въ область чистѣйшаго истуканства. Интеллигенцію — по-боку, печать — по-боку; съ чѣмъ же жить-то останетесь? Земство покуда еще пощадилъ — жалованье ему оттуда выдаютъ; но дай срокъ! когда онъ вынырнетъ, онъ и земству кòпоти задастъ. Онъ въ солнце кишку пожарной трубы направитъ, чтобъ свѣтило умѣреннѣе. И все-таки мнѣ не столько солнца жалко, сколько печати. Солнца-то, я знаю, не усмирить, а печать... чикъ! и нѣтъ ея!

Удавъ и Дыба были довольно разнообразны въ выборѣ сюжетовъ для собесѣдованія и сверхъ того обладали кой-какою фантазіей. Напротивъ того, проѣзжій Маратъ однообразенъ до утомительности и бѣденъ фантазіей до нищенства. За душой у него всего одинъ мѣдный грошъ, и онъ даже не старается ввести насчетъ его въ заблужденіе. Онъ прямо и всенародно ставитъ его ребромъ, какъ бы говоря: вотъ вамъ грошъ, и знайте, что другого у меня нѣтъ.

Удавъ и Дыба охотно склонялись на сторону «подтягиванья», но, отстаивая это міровоззрѣніе, они отчасти обставляли его теоретическими соображеніями, отчасти ссылались на обстоятельства и вообще какъ бы слегка стыдились. Грустно, молъ, но дѣлать нечего. Проѣзжій Маратъ хотя тоже до краевъ преисполненъ «подтягиванья», но уже у него нѣтъ ни обстановокъ, ни ссылокъ, ни стыда, такъ что «подтягиванье» является совершенно самостоятельной безсмыслицей, не имѣющей ни причинъ, ни предмета.

Склоняясь на сторону «подтягиванья», Удавъ и Дыба тѣмъ не менѣе не отрицали, что можно отъ времени до времени и «поотпустить». Проѣзжій Маратъ не только ничего подобнаго не допускаетъ, но просто не понимаетъ, о чемъ тутъ рѣчь. Да онъ и вообще ни о чемъ понятія не имѣетъ: ни о предѣлахъ власти, ни о предметѣ ея, ни о сложности механизма, приводящаго ее въ дѣйствіе. Онъ бьетъ въ одну точку, преслѣдуетъ одну цѣль и знать не хочетъ, что это однопредметное преслѣдованіе можетъ произвести общую чахлость и омертвѣніе.

Все въ мірѣ выясняется только при посредствѣ сравнительнаго метода. Часто мы бываемъ несправедливы къ людямъ потому только, что полагаемъ, что хуже ихъ не можетъ ужъ быть. А на повѣрку оказывается, что природа въ этомъ смыслѣ неистощима. Съ какимъ бы удо-

вольствіемъ я побесѣдовалъ теперь съ Удавомъ! съ какимъ наслажденіемъ выслушалъ бы безконечные разсказы Дыбы о мудрости князя Михаила Семеныча и прозорливости графа Алексѣя Андреича! По крайней мѣрѣ въ этихъ собесѣдованіяхъ я могъ бы уловить образъ, слово... Конечно, возражать было и тогда неудобно; но неужто-жъ непремѣнно надобно возражать?

А теперь вотъ гляди на картонное лицо непомнящаго родства прохожаго и слушай его азбучное гудѣніе! И не моргни.

Наконецъ мы и въ Вержболовѣ. Все, о чемъ въ теченіе праздная скитанія по заграничнымъ палестинамъ томилось и тосковало сердце,—все теперь тутъ, налицо. Осмотръ вещамъ совершился; «отмѣтка о возвращеніи» оторвана. Тихо, смирно, благородно. Кто-то въ толпѣ крикнулъ: «теперь, братъ, ау!» Крикнулъ и собственнаго голоса не узналъ. Въ станціонномъ ресторанѣ подаютъ сосиски съ капустой и предупреждаютъ: «это у нѣмцевъ, въ Эйдткуненѣ, съ трихинами, а у насъ и заведенія этого нѣтъ». Всѣ крестятся, всѣ довольны: слава Богу! пріѣхали! Какой-то земецъ — но не мой (я нарочно три дня въ Берлинѣ прожилъ, чтобы «мой» схлынулъ)—надѣваетъ на шею аннинскій крестъ. Барыни спрашиваютъ другъ у друга: «ну, что? провезли?»— и отъ радостнаго волненія тыкаютъ вилкой и не могутъ попасть въ тарелку.

При входѣ въ спальный вагонъ меня принялъ молодой малый въ ловко сшитомъ казакинѣ и въ барашковой шапкѣ съ бляхой на лбу, на которой было вырѣзано: *Артельщикъ*. Въ суматохѣ я не успѣлъ вглядѣться въ его лицо, однако-жъ оно съ перваго же взгляда показалось мнѣ ужасно знакомымъ. Наконецъ, когда все понемногу угомонилось, всматриваюсь вновь и кого же узнаю:—того самаго «мальчика безъ штановъ», котораго я, четыре мѣсяца тому назадъ, видѣлъ во снѣ, ѣдучи въ Берлинъ!

— Слушайте-ка,—сказалъ я, улучивъ минуту, когда онъ проходилъ мимо меня:—помните, между Бромбергомъ и Берлиномъ, въ какой-то нѣмецкой деревнѣ, я васъ безъ штановъ видѣлъ?

Однако онъ прошелъ, сдѣлавъ видъ, что не разслышалъ моего вопроса. Мнѣ даже показалось, что какая-то тѣнь пробѣжала по его лицу. Минуту передъ тѣмъ онъ мелькалъ по коридору, и на лицѣ его, казалось, было напи-

сано: ужъ ежели ты *мнѣ* на водку не дашь, такъ ужъ послѣ этого я и не знаю... Теперь же, благодаря моему напоминанію, онъ вдругъ словно остепенился.

Разумѣется, я не настаивалъ; но явленіе это не могло однако-жъ не заинтересовать меня. Что собственно не понравилось ему въ моемъ напоминаніи? То ли, что я когда-то зналъ его въ угнетенномъ видѣ, котораго онъ теперь, одѣвшись въ штаны, стыдится, или то, что я былъ однажды свидѣтелемъ, какъ онъ хвастался передъ «мальчикомъ въ штанахъ», что онъ хоть и безъ штановъ, да зато Разуваеву души не продалъ,—«а ты, нѣмецъ, контрактомъ господину Гехту обвязался, душу ему заложилъ...» И вотъ теперь, послѣ такого рѣшительнаго бахвальства, я же встрѣчаю его не только въ штанахъ, но и въ суконной поддёвкѣ, въ барашковой шапкѣ, форма и качество которыхъ несомнѣнно свидѣтельствуютъ о прикосновенности къ этой метаморфозѣ господина Разуваева.

Подобныя неясности въ жизни встрѣчаются довольно нерѣдко. Я лично знаю довольно много тайныхъ совѣтниковъ (въ Петербургѣ они меня игнорируютъ, но за границей по временамъ еще узнаютъ), которые въ свое время были губернскими секретарями и въ этомъ чинѣ не отрицали, что подлинный источникъ свѣта—солнце, а не стеариновая свѣчка. И представьте себѣ, ужасно они не любятъ, когда имъ про это губернское секретарство напоминаютъ. И тоже трудно разобрать, почему.

Въ надеждѣ уяснить себѣ этотъ вопросъ, я нѣсколько разъ, даже по пустякамъ, зазывалъ «мальчика безъ штановъ» въ свой купе, но какіе вопросы я ни предлагалъ, онъ на всѣ отвѣчалъ однословно и угрюмо. Наконецъ я рѣшился дать ему двугривенный. Принялъ.

— Это на первый разъ, — поощрительно присовокупилъ я, не вступая, впрочемъ, въ дальнѣйшій допросъ.

Поклонился, но промолчалъ.

Миновали Ковно. Пришла ночь, а съ нею пора дѣлать постели. Я и еще двугривенный далъ. Опять принялъ и даже какъ будто повеселѣлъ.

— Отъ Разуваева штаны получили? — спросилъ я какъ бы мимоходомъ.

— Отъ него.

— А помните ли вы...

Притворился, что какіе-то пассажиры его требуютъ, и ушелъ, не давши мнѣ договорить.

Ночь я провелъ совершенно спокойно и видѣлъ веселые сны. Я будто бы пишу, а меня будто бы хвалятъ, находятъ, что я трезвенныя слова говорю. Вообще я давно замѣтилъ: воротишься домой, ляжешь въ постельку, и начнетъ тебя укачивать и напѣвать: «спи, ангелъ мой! спи, Богъ съ тобой!»

Утромъ проснулся, еще семи часовъ не было. Выхожу въ коридоръ—«мальчикъ» сидитъ и папироску куритъ. Вынимаю третій двугривенный.

— По контракту?—спрашиваю.

— Не инàче, что такъ.

— Крѣпче?

— Для господина Разуваева крѣпче, а для насъ и по контракту все одно, что безъ контракта.

— Значитъ, даже надежнѣе, нежели у «мальчика въ штанахъ»?

— Пожалуй, что такъ.

— А какъ же теперь насчетъ Разуваева? помните, хвастались?

Заторопился, сталъ къ чему-то прислушиваться, сдѣлалъ видъ, что нѣчто услышалъ, и скрылся.

Вплоть до самой Луги я не могъ его уловить. Нѣсколько разъ онъ пробѣгалъ мимо, хотя я держалъ наготовѣ четвертый двугривенный,—и даже съ такимъ разсчетомъ держалъ, чтобъ онъ непремѣнно замѣтилъ его,—но онъ, очевидно, рѣшился преодолѣть себя и навстрѣчу ласкѣ моей не пошелъ.

Разумѣется, это меня возмутило. Вотъ, думалось мнѣ, какъ Разуваевъ «обязалъ» тебя контрактомъ, такъ ты и заочно ему служишь все равно, какъ бы онъ всеминутно у тебя передъ глазами стоялъ, а я тебѣ ужъ три двугривенныхъ сряду безъ контракта отдалъ, и ты хоть бы ухомъ повелъ! Нѣтъ, надобно это дѣло такъ устроить, чтобъ на каждый двугривенный—контрактъ. Коротенькій, но точный, и душа чтобъ тутъ же значилась. И непремѣнно въ Разуваевскомъ вкусѣ. Чтобъ для тебя, «мальчика безъ штановъ», это былъ контрактъ, а для меня чтобъ все одно, что есть контрактъ, что его нѣтъ.

Наконецъ, въ Лугѣ, всѣ пассажиры разошлись обѣдать, и я поймалъ-таки его.

— Вотъ вамъ рубль,—говорю.

Принялъ.

— Слышалъ я за границей, что покуда я ѣздилъ, а на васъ мода пошла?—продолжалъ я.

Усмѣхнулся и хотѣлъ-было увильнуть; но потомъ вспомнилъ, что я за свой рубль имѣлъ хоть на отвѣтъ-то право,— и посовѣстился.

— На насъ, сударь, завсегда мода. Потому господину Разуваеву безъ насъ невозможно.

Проговоривъ это, онъ скорымъ шагомъ удалился къ выходу и черезъ минуту ужъ сновалъ взадъ и впередъ по платформѣ, отрывая зубами куски булки, которая замѣняла ему обѣдъ.

Черезъ два часа мы были дома.

ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ.

КАРТИНЫ НРАВОВЪ.

(1869—1872 гг.).

ОТЪ АВТОРА.

Изслѣдованіе о «Ташкентцахъ» распадается на двѣ части: «Ташкентцы приготовительнаго класса» и «Ташкентцы въ дѣйствіи». Настоящимъ томомъ оканчивается первая часть, составляющая сама по себѣ отдѣльное цѣлое. Я отнюдь не имѣю претензіи утверждать, что въ представляемыхъ здѣсь вниманію читателя параллеляхъ исчерпывается все, что могло бы подойти подъ эту рубрику, но ежели бы я пошелъ еще далѣе въ воспроизведеніи различныхъ типовъ «ташкентства», то работѣ моей, пожалуй, не было бы конца. Притомъ же въ намѣреніяхъ моихъ было написать ежели не романъ въ собственномъ значеніи этого слова, то болѣе или менѣе законченную картину нравовъ, въ которой читатель могъ бы видѣть какъ источники «ташкентства», такъ и выраженіе этого явленія въ дѣйствительности. Поэтому первую часть я посвящаю біографическимъ подробностямъ героевъ ташкентства, а во второй — на сцену явится самое «ташкентское дѣло», въ созданіи котораго примутъ участіе дѣйствующія лица первой части. Въ виду этого я нашелъ, что привлеченіе слишкомъ большого количества элементовъ, хотя и однородныхъ по своимъ цѣлямъ, но крайне разнообразныхъ въ своихъ проявленіяхъ, могло бы загромоздить мой трудъ множествомъ лицъ, связь между которыми, быть-можетъ, представилась бы читателю не вполнѣ ясною. Тѣмъ не менѣе я сознаю, что отсутствіе нѣкоторыхъ типовъ (какъ, напримѣръ, ташкентца-педагога, ташкентца-благотворителя и т. п.) составляетъ пропускъ очень замѣтный. Но я постараюсь познакомить читателя съ этими типами во второй части, выводя ихъ постепенно, въ роли эпизодическихъ лицъ.

ВВЕДЕНІЕ.

Въ разсказахъ Глинки (композитора) занесенъ слѣдующій фактъ. Однажды покойный литераторъ Кукольникъ, безъ приготовленій, «необыкновенно ясно и дѣльно» изложилъ передъ Глинкой исторію Литвы, и когда послѣдній, не подозрѣвая за авторомъ «Торквато Тассо» столь разнообразныхъ познаній, выразилъ свое удивленіе по этому поводу, то Кукольникъ отвѣчалъ: «прикажутъ — завтра же буду акушеромъ».

Отвѣтъ этотъ драгоцѣненъ, ибо даетъ мѣру талантливости русскаго человѣка. Но онъ еще болѣе драгоцѣненъ въ томъ смыслѣ, что раскрываетъ нѣкоторую тайну, свидѣтельствующую, что упомянутая выше талантливость находится въ тѣснѣйшей зависимости отъ «приказанія». Ежели мы не изобрѣли пороха, то это значитъ, что намъ не было это приказано; ежели мы не опередили Европу на поприщѣ общественнаго и политическаго устройства, то это означаетъ, что и по сему предмету никакихъ распоряженій не послѣдовало. Мы не виноваты. Прикажутъ—и Россія завтра же покроется школами и университетами; прикажутъ—и просвѣщеніе, вмѣсто школъ, сосредоточится въ полицейскихъ управленіяхъ. Куда угодно, когда угодно и все, что̀ угодно. Литераторы ждутъ манія, чтобъ сдѣлаться акушерами; повивальныя бабки стоятъ во всеоружіи, чтобъ по первому знаку положить начало родовспомогательной литературѣ. Все на чеку, все готово устремиться, куда глаза глядятъ.

Повидимому, такая всеобщая готовность должна бы произвести въ обществѣ суматоху и толкотню. Однако-жъ ничего подобнаго не усматривается. Вездѣ порядки, вездѣ

твердое сознаніе, что толкаться не велѣно. Но прикажите— и мы изумимъ міръ дерзостными поступками!

Увѣренность въ нашей талантливости такъ велика, что для насъ не полагается даже никакой профессіональной подготовки. Всякая профессія доступна намъ, ибо ко всякой профессіи мы отъ рожденія вкусъ получили. Свобода отъ наукъ не только не мѣшаетъ, но служитъ рекомендаціей, потому что сообщаетъ человѣку букетъ «свѣжести». «Свѣжесть», въ свою очередь, даетъ талантливости характеръ неудержимой и ни передъ чѣмъ не останавливающейся похотливости. Человѣкъ постоянно готовый и постоянно вожделѣющій—это своего рода нерушимая стѣна. Это развязный малый, передъ которымъ всякая спеціальность немедленно сдается на капитуляцію. Назовите рядомъ съ «свѣжимъ» человѣкомъ какого-нибудь «умника»,— и всякій сразу пойметъ, сколько горечи и презрѣнія слышится въ этомъ послѣднемъ названіи. «Умникъ»! — вѣдь это засоренная голова! это человѣкъ, изнемогающій подъ бременемъ собственнаго безсилія! это опасный мечтатель, способный только разрушать, а не созидать!

А мы именно хотимъ только созидать и потому блюдемъ нашу «свѣжесть» паче зѣницы ока. Мы твердо помнимъ, что отъ насъ ожидается какое-то «новое слово», а для того, чтобы оно сказалось, мы не полагаемъ никакихъ другихъ условій, кромѣ чистоты сердца и не вполнѣ поврежденнаго ума. Это условіе потому хорошо, что оно общедоступно, а сверхъ того, благодаря ему, всѣ профессіи дѣлаются безразличными. Человѣкъ, видѣвшій въ шкапу сводъ законовъ, считаетъ себя юристомъ; человѣкъ, изучившій форму кредитныхъ билетовъ, называетъ себя финансистомъ; человѣкъ, усмотрѣвшій нагую женщину, изъявляетъ желаніе быть акушеромъ. Все это люди, не обремененные знаніями, которые въ «свѣжести» почерпнутъ рѣшимость для исполненія какихъ угодно приказаній, а въ практикѣ отыщутъ и средства для ихъ осуществленія.

Практика—это тоже своего рода божество, которое выведетъ ихъ изъ умственнаго оцѣпенѣнія и дастъ смыслъ ихъ невнятному бормотанію. Тамъ, въ этой насыщенной азбучными испареніями атмосферѣ, среди недомолвокъ, справокъ, противорѣчій и колебаній, они, кроха по крохѣ, соберутъ себѣ сокровище гораздо болѣе прочное, нежели то, которое могла бы дать наука. Тамъ, на бокахъ Петровъ и Ивановъ, юристъ уяснитъ себѣ понятіе о мѣрѣ

наказаній; тамъ финансистъ воочію убѣдится, что кредитные билеты сами хорошо знаютъ карманы, въ которыхъ имъ быть надлежитъ. И не утратятъ они при этомъ ни единой капли «свѣжести», ибо при концѣ профессіональнаго поприща пребудутъ столь же свободны отъ наукъ, какъ и при началѣ онаго.

И надо сказать правду, еще очень недалеко то время, когда вѣра въ силу прирожденной талантливости дѣйствительно дѣлала чудеса. Приходилъ человѣкъ совершенно свѣжій и начиналъ орудовать. Писалъ законы, устанавливалъ порядки и даже доводилъ «ввѣренную» часть до идеальнаго совершенства. Не только подчиненные, но люди совсѣмъ посторонніе—и тѣ говорили: «да, этотъ человѣкъ не то, что X. или Z. Этотъ человѣкъ — *подтянетъ*!» Гдѣ тайна этого волшебства? Очевидно, ее слѣдуетъ искать или въ неизреченной наглости «свѣжихъ людей», или же въ томъ, что самыя «ввѣренныя» части столь уже просты, что разступаются даже передъ людьми, совсѣмъ не поврежденными науками.

Первое предположеніе, очевидно, не выдерживаетъ никакой критики. Наглость, выступающая впередъ только по приказанію — вещь, конечно, очень любопытная, но не настолько естественная, чтобы служить объясненіемъ для жизненныхъ явленій. Гораздо правильнѣе остановиться на простотѣ «ввѣренныхъ частей», тѣмъ больше, что здѣсь приходитъ къ намъ на помощь и практика съ своими истинно-поразительными подтвержденіями.

Одинъ знатный иностранецъ, посѣщавшій Россію во времена Петра Великаго (предоставляю любителямъ отечественной старины догадаться, кто этотъ путешественникъ), разсказываетъ слѣдующее: «Несмотря на совершенныя симъ государемъ преобразованія, процессъ, посредствомъ коего управляется здѣшній народъ, столь простъ, что не требуетъ со стороны администратора ни высокаго ума, ни познаній. Я, по крайней мѣрѣ, лично зналъ одного намѣстника, который былъ до такой степени простодушенъ, что однажды, по недоразумѣнію, откусилъ свой собственный палецъ, но и за всѣмъ тѣмъ оказывался вполнѣ удовлетворительнымъ для выполненія тѣхъ задачъ, которыя ему предстояли. Каждый день передъ нимъ клали извѣстную порцію бумагъ, и ежели эта порція случайно уменьшалась, то онъ примѣтно начиналъ безпокоиться, упрекалъ подчиненныхъ въ нерадѣніи и требовалъ усугубленія

рвенія. Съ теченіемъ времени онъ до того вошелъ въ свою роль, что сдѣлался даже прихотливымъ. Замѣтилъ, что ему подаютъ только коротенькія бумаги, и сталъ требовать длинныхъ; потомъ и симъ не удовлетворился, но велѣлъ сочинить статистику, которую, по изготовленіи, подписалъ и отправилъ. Такимъ образомъ, съ помощью одного очень простого пріема, называемаго по-здѣшнему *подтягиваніемъ*, этотъ плохой и даже глупый человѣкъ прожилъ нѣсколько лѣтъ и умеръ въ званіи намѣстника естественною смертію».

Повѣрить этому разсказу очень возможно. Всякій изъ насъ зналъ на своемъ вѣку и неутомимыхъ статистиковъ, и прободрыхъ финансистовъ, которые ничего не имѣли за душою, кромѣ чистаго сердца и не вполнѣ поврежденнаго ума — и за всѣмъ тѣмъ дѣйствовали. Какимъ образомъ могли дѣйствовать эти чистосердечные люди? Какимъ образомъ могло случиться, что только естественная смерть освобождала ихъ отъ тягостей лежавшаго на нихъ бремени? Что означаетъ этотъ фактъ?

По моему мнѣнію, онъ можетъ означать одно: простоту задачъ. Очень долгое время область профессій представляла у насъ сферу совершенно отвлеченную, основу которой составляли не люди, а тѣни. X. взывалъ объ удовлетвореніи, но въ глазахъ людей профессіи онъ не существовалъ, какъ живое лицо, а существовало лишь «дѣло объ X., ищущемъ удовлетворенія». Z. томился въ тюрьмѣ, но и онъ, какъ живое лицо, былъ неизвѣстенъ, а извѣстно было только «дѣло объ Z., томящемся въ тюрьмѣ». Рѣчь шла не о дѣйствительной участи людей, а о рѣшеніи уравненій съ однимъ или нѣсколькими неизвѣстными. Но когда живые люди постепенно доводятся до состоянія тѣней, то они и сами начинаютъ сознавать себя тѣнями и въ этомъ качествѣ дѣлаются вполнѣ равнодушны къ тому, какія рѣшаются объ нихъ уравненія, и какія пишутся статистики. Вотъ тутъ-то и настигаютъ ихъ «свѣжіе» люди. Сначала они совѣстятся и довольствуются только простыми уравненіями; потомъ дѣлаются дерзкими и начинаютъ требовать статистикъ. Какіе плоды приноситъ ихъ подтягивательная дѣятельность—они не знаютъ, да и знать, по правдѣ, не нужно, потому что навѣрное она никакихъ плодовъ не принесетъ. «Все равно, братцы, помирать!» говорятъ люди и дѣйствительно начинаютъ помирать, какъ будто и нѣвѣсть какое мудрое дѣло дѣлаютъ.

И что всего удивительнѣе—эта «свѣжесть» допускалась

не только въ области дѣятельности спекулятивной, но и въ области ремеслъ, гдѣ, повидимому, прежде всего требуется если не искусство, то навыкъ. И тутъ люди, по приказанію, дѣлались и портными, и сапожниками, и музыкантами. Почему дѣлались? — а потому, очевидно, что требовались только *простые* сапоги, *простое* платье, *простая* музыка, то-есть такія именно вещи, для выполненія которыхъ совершенно достаточно двухъ элементовъ: приказанія и готовности. Кукольникъ зналъ, что̀ говорилъ, когда вызывался хоть сейчасъ быть акушеромъ. Онъ понималъ, что тутъ предстоитъ акушерство самое упрощенное, или, лучше сказать, не столько акушерство, сколько выраженіе готовности.

Такимъ образомъ оказывается, что, какъ ни велика наша талантливость, все-таки она можетъ считаться дѣйствительною лишь до тѣхъ поръ, пока существуетъ безпредметность профессій, или, говоря другими словами, покуда можно всѣ сапоги шить на одну ногу. Какъ скоро давальцы начнутъ требовать сапоговъ, шитыхъ по мѣркѣ, никакія приказанія не помогутъ нашей готовности. Еще Петръ Великій изволилъ приказать намъ быть европейцами, а мы только въ недавнее время попытались примѣрить на себя заправское европейское платье, да и тутъ все раздумываемъ: не рано ли? да впору ли будетъ?— Какъ хотите, а горше этой формулы самоуничиженія даже выдумать трудно.

Отъ чего же мы отбояриваемся? что̀ защищаемъ? Очевидно, мы защищаемъ то выморочное пространство, которое, послѣ приказанія Петра Великаго: быть всѣмъ россіянамъ европейцами,—такъ и остались ненаполненнымъ. Нѣтъ у насъ ничего, кромѣ пресловутой талантливости, то-есть пустого мѣста, на которомъ могутъ произрастать и пшеница, и чертополохъ. Но именно это-то пустое мѣсто и дорого намъ. Раскольники, современные Петру — и тѣ лучше были, ибо говорили: «мы хотимъ пахнуть по-своему». Мы же ничего не говоримъ, а просто-на-просто съ пустомъ въ пусто лѣземъ. И выходитъ, что мы тоже пахнемъ, только пахнемъ нежилымъ мѣстомъ.

И вотъ недалеко отъ насъ глухая стѣна. Сапожникъ начинаетъ смутно понимать, что сколько есть на свѣтѣ ногъ, столько же должно быть и сапоговъ; администраторъ, судья, финансистъ догадываются, что сзади ихъ профессій есть нѣчто, что̀ движется и заявляетъ о своей конкретно-

сти, что̀ требуетъ, чтобъ къ нему, а не его примѣривали. Въ хаосѣ безразличія, въ которомъ еще такъ недавно виталъ нѣкоторый самъ себѣ довлѣющій духъ, начинаютъ выясняться отдѣльные образы, которые съ изумленіемъ смотрятъ на стѣну, воздвигнутую вѣковою русскою готовностью. И вспоминается имъ многострадальная исторія этой готовности. Вспоминается, какъ они, бія себя въ перси, на цѣлый міръ возглашали: «мы люди сѣрые, привычные! насъ хоть на куски рѣжь, хоть огнемъ пали, мы на все готовы! «Вспоминается, какъ они суетились, разоряли, громили, жгли—и все это безъ ненависти, безъ злобы, даже безъ мысли, единственно ради похотливаго желанія доказать, сколь талантливъ можетъ быть человѣкъ, когда знаетъ, что его за талантливость не подвергнутъ тѣлесному наказанію. «Многое мы совершили, многое претерпѣли,—говорятъ они:—а въ рѣзультатѣ все-таки стѣна— и ничего болѣе!»

Эта стѣна однако-жъ не съ неба свалилась и не изъ земли выросла. Мы имѣли свою интеллигенцію, она заявляла лишь о готовности слѣдовать приказаніямъ. Мы имѣли такъ-называемую меньшую братію, но и она тоже заявляла о готовности слѣдовать приказаніямъ. Никто не предвидѣлъ, что наступитъ моментъ, когда каждому придется жить за собственный счетъ. И когда этотъ моментъ наступилъ, никто не вѣритъ глазамъ своимъ; всякій ощупываетъ себя словно съ перепоя и, не находя ничего въ запасѣ, кромѣ талантливости, кричитъ: «измѣна, бунтъ!»

Есть три способа избавиться отъ глухой стѣны. Первый заключается въ томъ, чтобы признать прихотливыми всѣ требованія жизни, которыя почему-нибудь намъ не понутру. Эта задача очень трудная (едва ли можно отыскать человѣка, который далъ бы увѣрить себя, что ощущаемыя имъ потребности прихотливы); но если-бъ даже мы рѣшились поддерживать ее, то и тутъ необходимо, прежде всего, понимать, въ чемъ заключаются приводящія въ затрудненіе потребности, откуда они пришли и почему могутъ быть сочтены прихотливыми. Однимъ словомъ, необходимы умъ и знаніе. Другой способъ (тоже не весьма надежный) заключается въ томъ, чтобъ увѣрить общество, что положеніе у глухой стѣны есть самое выгодное для него положеніе. Этотъ тезисъ еще труднѣе, но и его защитить невозможно, если есть знаніе объекта бесѣды и подготовленность къ принятію возраженій. Опять-таки знаніе и умъ.

Наконецъ, третій способъ представляется въ откровенномъ признаніи законности вновь народившихся потребностей и въ пріисканіи для нихъ правильнаго исхода. Этотъ способъ самый надежный, но тутъ уже просто-на-просто требуется ума палата.

Какой бы изъ этихъ трехъ путей ни былъ избранъ, во всякомъ случаѣ талантливость играетъ здѣсь роль далеко не первостепенную. Ни предложить что-нибудь прочное, ни даже помочь обмануть—ничего она собственною силою не можетъ. Вездѣ на первомъ планѣ требуются знаніе, примѣръ, навыкъ. Они одни могутъ дать содержаніе талантливости и въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже обуздать ея стремительность. Человѣкъ, который на одной талантливости созидаетъ зданіе своего будущаго благополучія—это человѣкъ, у котораго есть пламенное сердце, но въ этомъ сердцѣ нѣтъ ничего, кромѣ погадки готовности. Съ этой погадкой ему предстоитъ одно изъ двухъ: или удивить міръ продерзостью, или наполнить вселенную зловоніемъ. Повидимому, это очень большой рискъ. Но мы убѣдимся, что тутъ даже риска никакого нѣтъ, если примемъ въ соображеніе, что сневѣжничать во всякомъ случаѣ легче, нежели совершить подвигъ. А талантливость именно тѣмъ и отличается, что всегда имѣетъ въ виду дѣла самыя блестящія, то-есть самыя легкія. Бо̀жку съѣсть, вавилонскую башню проектировать—вотъ задачи, которыя ей льстятъ, на которыя она обращаетъ всю свою похотливость. И посмотрите, съ какою легкостью выступаютъ эти люди впередъ! Какъ они заранѣе трубятъ о побѣдѣ, какъ клянутся голыми руками потушить пылающій костеръ!

И чѣмъ больше предвкушеніе торжества, тѣмъ больше малодушія, ненависти и подозрительности при первомъ неуспѣхѣ. Эта послѣдняя черта очень опасна, потому что почва бунтовъ и измѣны, на которую вступаетъ потерпѣвшая неудачу талантливость, есть единственная, доступная ея уровню. Ни измѣны, ни бунты, по нашему извѣстному обычаю, не требуютъ опредѣленій. Оба эти слова для каждаго ясны сами по себѣ, то-есть ясны именно въ томъ смыслѣ, какой тотъ или другой талантливый субъектъ желаетъ имъ сообщить. Съ произнесеніемъ краткаго и въ то же время совершенно неопредѣленнаго звука пріобрѣтается и исходный пунктъ, и матеріалъ для наполненія всей послѣдующей карьеры. Затѣмъ уже слѣдуютъ обузданія...

А что же, кромѣ обузданій, произвела на свѣтъ наша талантливость за все время ея вѣкового и притомъ вполнѣ безпрепятственнаго существованія!

Представьте себѣ такой случай: директоръ департамента призываетъ къ себѣ столоначальника и говоритъ ему: «Любезный другъ! я желалъ бы, чтобъ вы открыли Америку!»

Я не берусь утверждать, чтобъ столоначальникъ осмѣлился возразить, но онъ все-таки поймета, что открытіе Америки совсѣмъ не его ума дѣло. Поэтому, всего вѣроятнѣе, онъ поступитъ такъ: разошлетъ во всѣ мѣста запросы и затѣмъ постарается кончить дѣло изморомъ.

Но пускай тотъ же директоръ тому же столоначальнику скажетъ: «Любезный другъ! я желалъ бы, чтобъ вы всѣхъ этихъ Колумбовъ привели въ одному знаменателю!»

Вы не успѣете оглянуться, какъ Колумбы подлинно будутъ обузданы, а Америка такъ и останется неоткрытою.

Митрофаны не измѣнились. Какъ и во время Фонъ-Визина, они не хотятъ знать ариѳметики, потому что приходъ и расходъ сосчитаетъ за нихъ приказчикъ; они презираютъ географію, потому что кучеръ довезетъ ихъ, куда будетъ приказано; они небрегутъ исторіей, потому что старая нянька всякія исторіи на сонъ грядущій разскажетъ. Одно право они упорно отстаиваютъ — это право обуздывать, право простирать руками впередъ.

Митрофанъ на все способенъ, потому что на все готовъ.

Онъ спеціалистъ по части гражданскаго судопроизводства, потому что занималъ деньги и не отдавалъ оныхъ.

Онъ спеціалистъ по части уголовнаго судопроизводства, потому что давалъ затрещины и получалъ оныя.

Онъ спеціалистъ по части администраціи, потому что знаетъ такія ругательства, которыя могутъ въ одно мгновеніе опалить человѣка.

Онъ спеціалистъ по части финансовъ, потому что всѣ трактиры были свидѣтелями его финансовыхъ операцій.

Онъ медикъ, потому что страдалъ секретными болѣзнями.

Онъ акушеръ, потому что видалъ нагихъ женщинъ.

Всѣ профессіи онъ изучилъ на своихъ собственныхъ бокахъ съ такой основательностью, что даже получилъ названіе «выжиги».

«Выжига»—это совсѣмъ не ругательный, а скорѣе дѣловой терминъ, означающій мужа совѣта. «Ужъ коли этакая выжига не поможетъ,—говорятъ вамъ, указывая на

X. или Z.: — то дѣло твое пропащее». Вы обращаетесь къ «выжигѣ», и, къ изумленію вашему, онъ дѣйствительно помогаетъ вамъ. Это до того удивительно, что вамъ непремѣнно приходитъ на мысль, что и этотъ «выжига», и средства, которыя онъ употребляетъ, и ваше дѣло, и вы сами— все это, взятое вмѣстѣ, не стоитъ ломанаго гроша. Все это какой-то безобразный миражъ, способный поселить въ душѣ не то отчаяніе, не то презрѣніе ко всему: къ жизни, къ себѣ самому...

Дайте «выжигѣ» рубль серебра — онъ заложитъ душу чорту; дайте пять рублей — онъ самъ сдѣлается чортомъ. Ему и это сдѣлать легко, потому что онъ одинъ въ цѣломъ мірѣ знаетъ, гдѣ найти чорта и что у него просить.

Это ходячій кошмаръ, который прокрадывается во всѣ закоулки жизни и умѣетъ до такой степени прочно внѣдриться всюду, что, несмотря на свою безазбучность, успѣваетъ сдѣлаться необходимымъ человѣкомъ и подлиннымъ мужемъ совѣта.

И все благодаря лишь тому, что простота задачъ продолжаетъ привлекать всѣ сердца.

Намъ все еще чудится, что надо нѣчто разорить, чему-то положить предѣлъ, что-то стереть съ лица земли. Не полезное что-нибудь сдѣлать, а именно только разорить. Ежели признаться по совѣсти, то это собственно мы и разумѣемъ, говоря о процессѣ созиданія. Наши такъ-называемые консерваторы суть расточители по преимуществу. Вселенная кажется имъ наполненною скоро-воспламеняющимися элементами, состоящими изъ козней, крамолъ и измѣны. Со всѣмъ этимъ надо, конечно, покончить. Но къ кому же обратиться? Кто возьметъ на себя трудное обязательство сражаться противъ козней некознедѣйствующихъ и крамолъ некрамольствующихъ? Кто, кромѣ Митрофана, этого вѣчно-талантливаго и вѣчно-готоваго человѣка, для котораго не существуетъ даже объекта движеній и исполнительности, а существуетъ только самое движеніе и самая исполнительность? Налетѣлъ, нагрянулъ, ушибъ—а что ушибъ?— онъ даже не интересуется и узнавать объ этомъ...

Времена усложняются. Съ каждымъ годомъ борьба съ жизнью дѣлается труднѣе для эмпириковъ и невѣждъ. Но Митрофаны не унываютъ. Они продолжаютъ думать, что карьера ихъ только-что началась, и вселенная есть не что иное, какъ выморочное пространство, которое имъ еще

долго придется наполнять своими подвигами. Какимъ образомъ могли зародиться всѣ эти смѣлыя надежды? гдѣ ихъ отправной пунктъ? Увы! услѣдить за этимъ не только трудно, но даже совсѣмъ невозможно.

Митрофанъ—плохой теоретикъ: онъ не любитъ ни анализировать, ни обобщать, и упорнѣе всего отворачивается отъ самого себя. Если-бъ вчерашній день былъ въ свѣжей памяти, онъ, быть-можетъ, стоялъ бы укоромъ или, по малой мѣрѣ, поученіемъ. Но такъ какъ вчерашняго дня нѣтъ, такъ какъ послѣдовавшая за нимъ ночь принесла за собой хмельное забвеніе всего прошлаго, то нѣтъ мѣста ни для поученій, ни для уроковъ. Представьте себѣ пропойца, который встаетъ съ постели съ разбитымъ лицомъ, съ угнетенною винными парами головой, весь подавленный чувствомъ тупого самоотсутствія, которое не даетъ ему возможности не только что-нибудь ощущать, но просто даже разобрать, гдѣ онъ и кто онъ. Если-бъ этотъ человѣкъ могъ понимать, если-бъ онъ могъ ясно представить себѣ всѣ подробности безобразій прошедшаго дня, быть-можетъ, тутъ произошла бы потрясающая драма. Но такъ какъ онъ ничего не помнитъ, ничего себѣ не представляетъ, то чувствуетъ только одно: гнетущую потребность опохмелиться. Удовлетворивши этой потребности, онъ снова возвращается къ вчерашнему дню, но не для того, чтобъ анализировать, а для того, чтобъ воспроизвести его съ буквальною точностью. Въ этой безнадежной картинѣ заключается единственновозможное объясненіе всего Митрофанова существованія.

Для Митрофана не существуетъ ни опыта, ни преданія, ни возможности дѣлать какія-либо умозаключенія, потому что всякая настоящая минута его жизни безъ остатка вытѣсняется слѣдующею минутою. Его наглость не есть наглость, легкомысліе не есть легкомысліе. Это сейчасъ родившійся и притомъ совершенно порожній человѣкъ, о котораго, какъ о каменную скалу, разбивается принципъ вмѣняемости. Его дѣйствія можно было бы сравнить съ проявленіемъ стихійной силы, но даже и это сравненіе оказывается неумѣстнымъ, потому что задача стихіи—безсознательное разрушеніе рядомъ съ безсознательнымъ творчествомъ, а задача Митрофана—одно безсознательное разрушеніе. Вотъ почему до сихъ поръ не существуетъ ни одной сколько-нибудь ясной теоріи митрофанства, которая могла бы оправдать его существованіе и указать на перспективы, ожидающія это явленіе въ будущемъ.

Въ XVIII вѣкѣ Митрофанъ впервые выступилъ на дорогу дѣятельности во всемъ блескѣ своей талантливости. Въ эту достопамятную эпоху со всѣхъ сторонъ сыпались на него стрѣлы просвѣщенія, и онъ съ какою-то ребяческою отвагой подставлялъ имъ свое рыхлое тѣло. Но въ дѣйствительности онъ облюбовалъ только одну изъ нихъ, а именно ту, которая называется табелью о рангахъ, и въ ней замкнулъ весь смыслъ своего существованія. Все, что̀ стояло рядомъ съ этой табелью, всѣ математики, химіи, механики, фортификаціи и проч., о насажденіи которыхъ, съ жезломъ въ рукахъ, хлопоталъ Петръ Великій—все это только внѣшнимъ образомъ окатило Митрофана, оставивъ въ его тѣлѣ лишь легкій ознобъ. Но табель о рангахъ внѣдрилась, вошла въ плоть и кровь. Съ этою табелью въ рукахъ, хмельной отъ приливовъ талантливости, онъ рыскалъ по доламъ и горамъ, внося въ самые глухіе закоулки смѣлую проповѣдь о чиноначаліи и заражая самыя убогія хижины своею просвѣтительною дѣятельностью. Передъ немеркнущимъ блескомъ табели о рангахъ тускло, почти призрѣнно свѣтились прочіе вопросы жизни, то-есть все то, что̀ составляетъ дѣйствительную силу страны. Жизнь остановилась, охваченная со всѣхъ сторонъ безнадежнѣйшимъ эмпиризмомъ: источники воочію изсякли подъ игомъ расточительности и хищничества; стихіи безконтрольно господствовали надъ трудомъ и жизнью человѣка, а Митрофанъ ничего не замѣчалъ, ни передъ чѣмъ не останавливался и упорно отстаивалъ убѣжденіе, что табель о рангахъ дастъ все: и славу, и богатство, и рѣшительный голосъ въ дѣлѣ устройства судебъ человѣчества.

Только полуторавѣковой искусъ могъ пошатнуть это убѣжденіе и возбудить сомнѣніе насчетъ живописныхъ свойствъ табели о рангахъ. Но такъ какъ это была единственная форма западно-европейской жизни, которая не только привилась, но даже значительно усовершенствовалась, и такъ какъ съ нею отожествилась идея о просвѣщеніи, то весьма естественно, что сомнѣніе въ ея доброкачественности распространилось огуломъ и на всѣ прочіе результаты, выработанные цивилизаціей Запада. Мнѣнія, что Западъ разлагается, что та или другая раса обветшала и сдѣлалась неспособною для пользованія свободой, что западная наука поражена безплодіемъ, что общественныя и политическія формы Запада представляютъ безконечную цѣпь лжей, въ которой одна ложь исчезаетъ, чтобъ дать мѣсто другой—

вотъ мнѣнія, наиболѣе любезныя Митрофану. И все потому только, что онъ смѣшалъ цивилизацію съ табелью о рангахъ. Благодаря гг. Бартеневу и Семевскому, онъ знаетъ не мало анекдотовъ изъ исторіи просвѣтительной дѣятельности XVIII вѣка и, заручившись ими, считаетъ себя уже совершенно свободнымъ отъ церемонныхъ отношеній къ цивилизаціи вообще. Заговорите съ Митрофаномъ о какихъ угодно открытіяхъ или порядкахъ, которыхъ польза ясна и несомнѣнна даже для неразвитого человѣка,—онъ оскалитъ зубы и, вмѣсто опроверженія, ушибетъ васъ такимъ анекдотомъ изъ «Русскаго Архива», что вамъ сдѣлается неловко. Напрасно вы будете доказывать, что просвѣтительная дѣятельность, на которую онъ ссылается, не есть просвѣтительная дѣятельность, а пародія на нее; что онъ же, Митрофанъ, долженъ быть обвиненъ въ томъ, что изъ всѣхъ плодовъ западной цивилизаціи успѣлъ вкусить только отъ самаго гнилого и притомъ давно брошеннаго подъ столъ—онъ отвѣтитъ на ваши доказательства другимъ анекдотомъ, еще болѣе пахучимъ, и будетъ дѣйствовать такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока вы не убѣдитесь въ совершенномъ безсиліи какихъ бы то ни было доказательствъ передъ силою анекдота и уподобленія.

Но ежели нѣтъ ясныхъ фактовъ (нельзя же принимать за фактъ одну голую готовность), на основаніи которыхъ можно было бы создать теорію митрофанства, то-есть упованія и прозрѣнія. Извѣстно, что ничто такъ не окрыляетъ фантазію, какъ отсутствіе фактовъ. Нѣтъ фактовъ—значитъ, есть пустое пространство, не ограниченное никакими межевыми признаками, которое можно населить какими угодно привидѣніями. Поэтому, какъ только Митрофанъ вступаетъ на почву упованій, онъ дѣлается смѣлъ до дерзости, необузданъ до самозабвенія. Онъ говоритъ — и съ восхищеніемъ слушаетъ самого себя; и чѣмъ больше говоритъ, тѣмъ больше чувствуетъ потребность говорить,—говорить безъ конца. И всегда для своихъ разговоровъ выберетъ тезисъ самый неожиданный, самый блестящій: либо пятую стихію, либо новое слово. «Будетъ носить чужое заношенное бѣлье,— скажетъ онъ:—пора произнести и свое собственное *новое* слово». И, конечно, надежду на произнесеніе этого новаго слова возложитъ на самого себя.

Что носить чужое заношенное бѣлье не лестно — это истина для всѣхъ непререкаемая. Но Митрофанъ упускаетъ изъ вида, что онъ носилъ это заношенное бѣлье добровольно,

не замѣчая, что оно давно уже брошено за негодностью, и радуясь только тому, что оно досталось ему съ барскаго плеча. Цивилизованные народы всегда имѣютъ полный комплектъ бѣлья и потому мѣняютъ его такъ часто, что обладателю рубища это можетъ показаться даже прихотью. Стало-быть, въ томъ нѣтъ ничего удивительнаго, что рядомъ съ чистымъ бѣльемъ имѣется порядочная куча и заношеннаго; скорѣе же удивительно то душевное настроеніе, которое заставляетъ останавливаться именно на заношенномъ бѣльѣ предпочтительно передъ чистымъ. Кто-жъ виноватъ въ существованіи такого настроенія?

Тайна этой переимчивости заднимъ числомъ опять-таки объясняется слишкомъ большою талантливостью Митрофана. Ему некогда слѣдить за быстро смѣняющимися явленіями жизни, потому что онъ, уловивши одну какую-нибудь крупицу, уже не можетъ отвязаться отъ нея, не натѣшившись всласть, не выжавши изъ нея сока, не доведя факта до абсурда. Изъ фрака онъ сдѣлаетъ мундиръ и напишетъ цѣлый трактатъ о ношеніи его; изъ бритья бороды онъ создастъ себѣ кумиръ и будетъ носиться съ этимъ кумиромъ до изнеможенія. Воспріимчивость угнетаетъ его и нерѣдко даже дѣлаетъ опаснымъ утопистомъ и безпардоннѣйшимъ регламентаторомъ. Покуда онъ носится съ своимъ «живымъ вопросомъ» и старается внѣдрить его въ себя на вѣки-вѣчные, живой вопросъ давно уже оказывается сданнымъ въ архивъ и замѣненнымъ другими, болѣе подходящими вопросами. Что въ результатѣ такой упорной воспріимчивости можетъ быть только глухая стѣна,—это очевидно; но Митрофанъ слишкомъ самолюбивъ, чтобы обвинить себя въ такомъ неудачномъ результатѣ. «Сколько лѣтъ мы носимъ фраки, сколько крови изъ-за одной бороды пролито, а все толку нѣтъ!» говоритъ онъ и принимаетъ твердое намѣреніе навсегда отвернуться отъ затѣй разлагающагося Запада, которыя, на его взглядъ, до того уже тощи, что и натѣшиться-то ими вдоволь нельзя.

Никто, конечно, не споритъ, что политическія и общественныя формы, выработанныя Западной Европой, далеко не совершенны. Но здѣсь важна не та или другая степень несовершенства, а то, что Европа не примирилась съ этимъ несовершенствомъ, не покончила съ процессомъ созданія и не сложила рукъ, въ чаяніи, что счастіе само свалится когда-нибудь съ неба. Митрофанъ же смотритъ на это дѣло совершенно иначе. Заявляя о неудовлетвори-

тельности упомянутыхъ формъ, и въ особенности напирая на то, что у насъ онѣ (являясь въ видѣ заношеннаго чужого бѣлья) всегда претерпѣвали полнѣйшее фіаско, онъ въ то же время завиняетъ и самый процессъ творчества, называетъ его безплоднымъ метаніемъ изъ угла въ уголъ, анархіей, бунтомъ. По обыкновенію больше всего достается тутъ Франціи, которая, какъ извѣстно, выдумала двѣ вещи: ширину взглядовъ и канканъ. Изъ того числа — канканъ принятъ Митрофаномъ съ благодарностью, а отъ ширины взглядовъ онъ отплевывается и доднесь со всею страстностью своей воспріимчивой натуры.

Увы! Митрофанъ не знаетъ, какъ трудно положеніе человѣка, который обязывается жить своимъ умомъ. Нѣтъ у послѣдняго ничего готоваго, кромѣ того, что онъ приготовилъ своими собственными руками и до чего додумался силою собственной мыслительной способности. У него, конечно, имѣется въ запасѣ большое подспорье—наука, которую онъ самъ же выдумалъ и вывелъ въ люди; но наука еще не настолько полна, чтобъ отвѣчать на всѣ запросы жизни. Желанія человѣка опережаютъ науку, и вотъ онъ дѣлаетъ все новыя попытки, впадаетъ въ заблужденія, поправляетъ себя и опять заблуждается. Все это обходится очень дорого, но человѣкъ, живущій своимъ умомъ, не можетъ устранить опытовъ, достающихся даже дорогою цѣной. Онъ знаетъ, во-первыхъ, что въ ширинѣ его запросовъ заключается залогъ непрерывающагося развитія жизни, да сверхъ того не можетъ отказаться отъ попытокъ уже и потому, что одна удовлетворенная потребность рождаетъ въ немъ другую, которая тоже требуетъ удовлетворенія. Поэтому, быть-можетъ, онъ копошится нѣсколько болѣе, нежели тотъ солидный человѣкъ, который знаетъ, что кучеръ навѣрное привезетъ его туда, куда приказано, и не столь мудръ, какъ тотъ мудрецъ, который стоитъ, уставясь глазами въ стѣну, и твердо уповаетъ, что стѣна сама собой разступится передъ нимъ. Часто намъ случается слышать, какъ говорятъ: «вотъ дрянные людишки! что ни человѣкъ—то мнѣніе; что ни вопросъ—то споръ!» Но это только издали кажется, что эти людишки дрянные; въ сущности, это люди, живущіе своимъ умомъ и понимающіе всю трудность подобнаго положенія. Простимъ ихъ, ибо они все-таки болѣе самихъ себя безпокоятъ, нежели насъ.

Митрофанъ съ особеннымъ удовольствіемъ останавливается на политическихъ и общественныхъ формахъ, по-

тому что видитъ ихъ внѣшнюю измѣнчивость и отъ этого признака приходитъ къ заключенію о негодности самаго процесса созданія этихъ формъ. По его мнѣнію, капризъ и чудачество обуреваютъ вселенную; люди не по необходимости мѣняютъ старыя формы общежитія на новыя, а потому только, что такъ вздумалось. То внутреннее содержаніе, отъ котораго зависитъ то или другое устройство обществъ, тѣ открытія и изобрѣтенія человѣческаго ума, которыя такъ рѣзко опредѣляютъ характеръ того или другого періода исторіи человѣчества, совершенно закрыты для него. Однако же пропускъ очень важный..

Историческая наука недаромъ отдѣлила послѣднія четыре столѣтія и существеннымъ признакомъ этого отграниченія признала великія изобрѣтенія и открытія XV вѣка. Здѣсь проявленія усилій человѣческой мысли дали жизни человѣчества совсѣмъ иное содержаніе и разъ навсегда доказали, что общественныя и политическія формы имѣютъ только кажущуюся самостоятельность, что онѣ дѣлаются шире и растяжимѣе по мѣрѣ того, какъ пополняется и осложняется матеріалъ, составляющій ихъ содержаніе.

Митрофанъ ничего этого не знаетъ и не хочетъ знать. Онъ живетъ въ вѣкъ открытій и изобрѣтеній и думаетъ, что между ними и тою или другою формою жизни нѣтъ ничего общаго. Въ его глазахъ передвигаются центры человѣческой индустріи, въ его глазахъ матеріальныя и умственныя богатства перемѣщаются изъ однѣхъ рукъ въ другія, а онъ продолжаетъ думать, что все это не болѣе, какъ случайность, и спѣшитъ заткнуть ту или другую дыру и сдѣлать нѣкоторыя ничтожныя поправки въ обветшавшемъ зданіи табели о рангахъ. Да, — только въ табели о рангахъ, ибо какъ ни глумится надъ ней Митрофанъ подъ веселую руку, а она все-таки и доднесь составляетъ единственный обрывокъ цивилизаціи, дѣйствительно дорогой его сердцу.

И вотъ такимъ-то образомъ проводится время въ ожиданіи «новаго слова» и открытія пятой стихіи. Самонадѣянность и хвастовство растутъ, а житье наступаетъ трудное, трудное даже для Митрофановъ. Нелѣпостно перенимаютъ они всякую новую штуку; но такъ какъ эта штука является независимо отъ общихъ формъ жизни, то весьма естественно, что она ихъ же бьетъ въ лобъ. Міръ открытій и изобрѣтеній, въ глазахъ Митрофановъ, есть міръ подробностей, существующій an sich und für sich и не

имѣющій внутренней связи съ общимъ строемъ жизни. Понятно, какое должно выйти столпотвореніе, сколько заплатъ, пятенъ и брызговъ грязи должно быть на той ризѣ, которую сооружаетъ себѣ Митрофанъ и къ которой онъ каждый день прибавляетъ по новой заплатѣ, по новому грязному пятну.

Но кромѣ путаницы Митрофану угрожаетъ еще другая бѣда: отчаяніе. Онъ можетъ очутиться въ положеніи раскольника, съ часу на часъ ожидающаго антихриста. Если антихристъ въ виду, если черезъ минуту все должно кончиться, то понятно, что не нужно ни жать, ни сѣять, ни собирать въ житницы, а нужно заботиться только о саванѣ и гробѣ. Подобно сему, если каждое новое открытіе или усовершенствованіе приводитъ лишь къ тому, что бьетъ въ лобъ, и ежели при этомъ нѣтъ даже поползновенія опредѣлить причину такого страннаго дѣйствія открытій и усовершенствованій, то остается одно изъ двухъ: или закутаться въ саванъ, или обратиться въ дикое состояніе.

И за всѣмъ тѣмъ насъ ждетъ еще «новое слово»... но, Боже мой! сколько же есть прекрасныхъ и вполнѣ испытанныхъ старыхъ словъ, которыхъ мы даже не пытались произнести, какъ уже хвастливо выступаемъ впередъ съ чѣмъ-то новымъ, которое мы однако-жъ не можемъ даже опредѣлить! Есть ли разсчетъ предпочесть неизвѣстное извѣстному? и честно ли наконецъ угрожать вселенной «новымъ словомъ», когда намъ самимъ небезызвѣстно, что матеріалъ для этого «новаго слова» состоитъ исключительно изъ «краткихъ начатковъ» да изъ первыхъ четырехъ правилъ ариѳметики?

Гдѣ-жъ элементы будущаго? вотъ вопросъ.

Въ теченіе послѣднихъ пятнадцати лѣтъ у насъ выступило впередъ многое, о чемъ никому и не снилось до того времени. На недостатокъ приказаній мы пожаловаться не можемъ, ибо ими наполнены всѣ страницы нашей новѣйшей исторіи,—какимъ же образомъ отвѣчала на нихъ наша талантливость?

Всюду, куда мы ни обратимся, встрѣчаемъ одинъ отвѣтъ: погодите! еще время не ушло!

У насъ есть сословіе адвокатовъ... погодите! еще время не ушло!

У насъ есть гласный и устный судъ... погодите! еще время не ушло!

У насъ есть земскіе дѣятели... погодите! еще время не ушло!

У насъ есть опыты крестьянскаго самоуправленія... погодите! еще время не ушло!

Погодите! не торопитесь! куда спѣшить!—въ одинъ голосъ вопіютъ всѣ Митрофаны, и вопіютъ такъ громко, что посторонній человѣкъ останавливается въ какомъ-то странномъ недоумѣніи. Съ одной стороны, судя по непрерывности предостерегающихъ криковъ, ему кажется, что въ сей пространной веси происходитъ либеральное столпотвореніе; съ другой стороны, онъ видитъ, ясно видитъ, что вся поспѣшность здѣсь заключается въ томъ, чтобы не спѣшить.

А этимъ временемъ, помаленьку да потихоньку, адвокаты превращаются въ «аблакатовъ», а земскіе дѣятели—въ устроителей пикниковъ, закусокъ и обѣдовъ.

Подготовки нѣтъ, а ремесленность уже проникаетъ всюду. Ремесленность самаго низшаго сорта, ремесленность, ничего иного не вожделѣющая, кромѣ гроша. Надулъ, сосводничалъ, получилъ грошъ, изъ онаго копейку пропилъ, другую спряталъ — въ этомъ весь интересъ настоящаго. Когда грошей накопится достаточно, можно будетъ задрать ноги на столъ и начать пить безъ просыпу: въ этомъ весь идеалъ будущаго.

И съ такимъ-то запасомъ, съ такими-то идеалами Митрофанъ сбирается въ дальній путь и надѣется сказать свое новое слово! Въ ожиданіи же минуты, когда «слово» назрѣетъ, онъ не на шутку мечтаетъ быть просвѣтителемъ.

Просвѣтительная миссія — это идеалъ Митрофана, это провиденціальное его назначеніе. Со штофомъ въ рукѣ, съ непреоборимымъ аппетитомъ въ желудкѣ, онъ мечется изъ угла въ уголъ, обѣщая все привести къ одному знаменателю (къ какому—онъ самъ того не знаетъ) и забывая, что прежде всего ему необходимо себя самого привести къ знаменателю просвѣщенія...

Молчаніе — вотъ единственный ясный результатъ, который покуда выработала наша такъ-называемая талантливость. Затѣмъ, въ ожиданіи того таинственнаго «новаго слова», которому предстоитъ обновить міръ, все-таки остается во всей своей неприкосновенности очень серьезный вопросъ:

Гдѣ-жъ элементы будущаго?

I.—Что такое «ташкентцы»?

«Ташкентцы»—имя собирательное.

Тѣ, которые думаютъ, что это только люди, желающіе воспользоваться прогонными деньгами въ Ташкентъ, ошибаются самымъ грубымъ образомъ.

«Ташкентецъ»—это просвѣтитель. Просвѣтитель вообще, просвѣтитель на всякомъ мѣстѣ и во что бы то ни стало; и притомъ просвѣтитель, свободный отъ наукъ, не смущающійся этимъ, ибо наука, по мнѣнію его, создана не для распространенія, а для стѣсненія просвѣщенія. Человѣкъ науки прежде всего требуетъ азбуки, потомъ складовъ, четырехъ правилъ ариѳметики, таблички умноженія и т. д. «Ташкентецъ» во всемъ этомъ видитъ неумѣстную придирку и прямо говоритъ, что останавливаться на подобныхъ мелочахъ—значитъ спотыкаться и напрасно тратить золотое время. Онъ создалъ особенный родъ просвѣтительной дѣятельности—просвѣщенія безазбучнаго, которое не обогащаетъ просвѣщаемаго знаніями, не дастъ ему болѣе удобныхъ общежительныхъ формъ, а только снабжаетъ извѣстнымъ запахомъ. Тотъ, кто пьетъ хересъ très vieux, считаетъ себя просвѣтителемъ относительно того, кто пьетъ хересъ просто vieux; тотъ, кто пьетъ хересъ vieux, считается просвѣтителемъ всѣхъ, пьющихъ настойку и водку. Разумѣется, это только примѣръ, но я привожу его для того, чтобы дать читателю понятіе о градаціи. Градацію эту онъ можетъ перенести во всякую другую сферу (напримѣръ, въ сравнительную сферу сюртуковъ и поддёвокъ, ресторановъ и харчевенъ, кокотокъ, имѣющихъ ложу въ бель-этажѣ, и кокотокъ, безнадежно пристающихъ къ прохожему въ Большой Мѣщанской, и т. п.), лишь бы она кончалась человѣкомъ, «который ѣстъ лебеду». Это тотъ самый человѣкъ, на которомъ окончательно обрушивается ташкентство всевозможныхъ родовъ и видовъ.

Но и здѣсь не слѣдуетъ понимать буквально, что «человѣкъ, питающійся лебедою», долженъ непремѣнно наполнять свой желудокъ этимъ суррогатомъ. «Лебеда», какъ и «голодъ», суть выраженія фигуральныя, дающія мѣсто для великаго множества представленій. Есть лебеда натуральная, которая слыветъ въ мірѣ подъ названіемъ подспорья и отъ которой, во всякомъ случаѣ, хоть животъ у человѣка пучитъ; и есть лебеда абстрактная, которая даже

подспорьемъ ничему не служитъ. Человѣкъ, который питается этою послѣднею лебедою, есть именно тотъ человѣкъ, котораго голоду нѣтъ предѣловъ. Онъ со всѣхъ сторонъ открытъ для дѣйствія безазбучнаго. Онъ не можетъ дать отпора, потому что у него самого нѣтъ единственнаго орудія, съ помощью котораго можно отражать безазбучное просвѣтительство — нѣтъ азбуки. Какимъ образомъ ея не оказывается налицо—отъ рожденія ли онъ не имѣлъ ея, или утратилъ вслѣдствіе разныхъ историческихъ обстоятельствъ—дѣло не въ томъ; во всякомъ случаѣ онъ стоитъ со всѣхъ сторонъ открытый, и любому охочему человѣку нѣтъ никакой трудности приложить къ нему какія угодно просвѣтительныя задачи.

Однажды я собственными ушами слышалъ слѣдующій разговоръ:

— Дайте срокъ!—говорилъ нѣкто:—вотъ тамъ-то (имя рекъ) должны произойти на-дняхъ серьезныя замѣшательства—безъ насъ дѣло не обойдется!

— Шагу безъ насъ не сдѣлаютъ!—ораторствовалъ другой:—только зѣвать въ этомъ дѣлѣ не слѣдуетъ, не то какъ разъ перебьютъ дорогу!

Я полюбопытствовалъ взглянуть: мимо меня проходили не люди, а нѣчто въ родѣ гориллъ, способныхъ раздробить зубами дуло ружья. У каждаго изъ нихъ навѣрное воспріемницей была управа благочинія, — не та, которая имѣетъ мѣстопребываніе на Садовой улицѣ, а та, которая издревле подстерегаетъ рожденіе охочаго русскаго человѣка и тотчасъ же принимаетъ его въ свои нѣдра, чтобъ не выпустить оттуда никогда.

Въ другой разъ я слышалъ другой разговоръ:

— Слышали? нигилисты-то!.. вѣдь это, батюшка, кладъ!

— Кладъ-то кладъ; только зѣвать въ томъ дѣлѣ не нужно, а слѣдуетъ разъ-разъ-разъ... вашему превосходительству имѣю честь явиться!

Я взглянулъ: передо мною были тѣ же гориллы.

Въ третій разъ:

— Взялъ и ухватилъ! Потому, сударь, что въ этомъ дѣлѣ главное — ухватить! Даже ума не требуется! Кому слѣдуетъ вручилъ, съ кого слѣдуетъ получилъ! Ухватилъ— и баста!

— Ухватить-то ухватилъ; только зѣвать тоже не слѣдуетъ, потому что нашего брата нынче ой-ой какъ расплодилось!

Опять гориллы...

Чего хотѣли эти человѣкообразные? чему они радовались? Съ чѣмъ, съ какими орудіями они приступили къ дѣйствію? Вотъ эти-то вопросы и слѣдуетъ предлагать себѣ всякій разъ, когда присутствуешь при подобнаго рода разсужденіяхъ и разговорахъ. Если этихъ вопросовъ не будетъ, вся соль разсужденій утратится, а вмѣстѣ съ тѣмъ утратится и смыслъ общаго теченія жизни. Очень часто мы проходимъ, слышимъ, смотримъ и нимало не вдумываемся въ то, мимо чего проходимъ, что слышимъ, на что смотримъ. Въ бо̀льшей части случаевъ конкретность поражаетъ наши чувства скорѣе машинально, нежели сознательно, и вслѣдствіе этого явленія, по малой мѣрѣ сомнительныя, кажутся обыкновенными, чуть не доблестными. Обнажимъ ихъ отъ покрововъ обыденности, дадимъ мѣсто сомнѣніямъ, поставимъ въ упоръ вопросъ: кто вы такіе? откуда? — и мы можемъ заранѣе сказать себѣ, что наше сердце замретъ отъ ужаса при видѣ праха, который поднимется отъ одного сознательнаго прикосновенія къ нимъ...

Вопрошать всегда слѣдуетъ, хотя бы проходящее передъ нашими глазами явленіе представлялось обыденнымъ или даже совсѣмъ постороннимъ. Говорятъ, что излишніе вопросы прибавляютъ излишнюю горечь въ жизни, что отсутствіе вопросовъ предохраняетъ отъ состоянія безсмѣннаго страха, въ которомъ очутился бы человѣкъ, если-бъ онъ всегда видѣлъ вещи въ ихъ дѣйствительномъ, безпокровномъ видѣ. Это правда; но правда и то, что вѣдь вслѣдъ за страхомъ само собою приходитъ и охота освободиться отъ него; а это уже выигрышъ несомнѣнный. Поэтому слѣдуетъ разъ навсегда сказать себѣ, что въ мірѣ общественныхъ отношеній нѣтъ ничего обыденнаго, а тѣмъ менѣе посторонняго. Все насъ касается, касается не косвенно, а прямо, и только тогда мы успѣемъ покорить свои страхи, когда уловимъ интимный тонъ жизни, или, иначе, когда мы вполнѣ усвоимъ себѣ обычай вопрошать всѣ безъ изъятія явленія, которыя она производитъ.

Чего хотѣли упомянутые выше люди? — этотъ вопросъ разрѣшается однимъ словомъ:

Жрать!!

Жрать что̀ бы то ни было, цѣною чего бы то ни было!

Жгучая мысль объ ѣдѣ не даетъ покоя безазбучнымъ; она день и ночь грызетъ ихъ существованіе. Какъ добыть ѣду?—въ этомъ весь вопросъ. Къ счастію, есть шутка,

называемая безазбучнымъ просвѣщеніемъ, которая ничего не требуетъ, кромѣ цѣпкихъ рукъ и хорошо развитыхъ инстинктовъ плотоядности; вотъ въ эту-то штуку они и вгрызаются всею силою своихъ здоровыхъ зубовъ...

Отрицать чье бы то ни было право на ѣду невозможно. Но нужно сознаться, что иногда это право разрастается до такихъ размѣровъ, за которыми уже слѣдуетъ опасность. Дѣло въ томъ, что безазбучный ташкентецъ требуетъ ѣды не только некупленной, но и безпрерывно возобновляющейся; онъ никогда не довольствуется однимъ кускомъ, но, проглатывая этотъ кусокъ, уже усматриваетъ другой. Чѣмъ больше онъ ѣстъ, тѣмъ больше онъ голоденъ, и это объясняется тѣмъ естественнѣе, что онъ даже утратилъ привычку утолять свой голодъ порядочнымъ образомъ. Онъ не ѣстъ, а закусываетъ, хватая урывками, налету; вотъ почему безпрерывное его закусыванье не бросается въ глаза. Ѣда падаетъ словно въ пропасть. Закусывая и перехватывая, ташкентецъ непримѣтно истребляетъ цѣлыя массы всякаго рода тушъ, и, къ удивленію, это нимало не утучняетъ его. Въ томъ-то и заключается ужасъ, который возбуждаетъ этотъ человѣкъ, что онъ никогда не скажетъ: «я сытъ!»

Если намъ не кажутся странными нѣкоторыя радости, если мы не останавливаемся въ оцѣненіи передъ нѣкоторыми надеждами, то это потому только, что мы не даемъ себѣ труда анализировать ихъ внутреннее содержаніе. А между тѣмъ въ этихъ случаяхъ чье-то счастье всегда основано на чьемъ-то несчастіи, чья-то надежда всегда равносильна чьему-то отчаянію. Сомнѣніе здѣсь тѣмъ болѣе непростительно, что достаточно самаго поверхностнаго обзора подобныхъ личностей, чтобы почувствовать себя неспокойно. Одни идутъ медленно, глядятъ угрюмо и строго, шевелятъ челюстями, скрипятъ зубами, какъ будто говорятъ: дай срокъ! перекушу я тебѣ когда-нибудь горло! Другіе виляютъ, поражаютъ свою юркостью и самымъ наивнымъ образомъ изыскиваютъ способы снять съ васъ сюртукъ, а въ случаѣ надобности и лишить васъ мимоходомъ жизни. Смотрите внимательнѣе—и навѣрное вы сдѣлаете такія открытія, которыя непремѣнно принесутъ пользу. Отъ васъ не ускользнутъ ни судорожныя подергиванья рукъ, ни блудящіе огоньки, которыми по временамъ искрятся мутные глаза, ни мгновенные перекаты голоса; однимъ словомъ, ничего изъ того, что вы до сей минуты считали мелочью. Этого достаточно будетъ, чтобъ обога-

тить вашъ умъ познаніями и раскрыть сущность явленія, дотолѣ загадочнаго. Вы пріучитесь наблюдать за собою, вы не дадите подкупать себя простодушною обыденностью. Въ вашу душу проникнетъ страхъ, но повторяю: это здоровый страхъ, потому что приводитъ за собой рѣшимость во что бы то ни стало освободиться отъ него.

Нѣтъ ничего опаснѣе обыденности, именно потому, что она примелькивается нашему взору. Мотается передъ нами дрянной человѣчишко, и мы не спрашиваемъ даже себя: кого-то онъ оборвалъ? Кого-то заживо освѣжевалъ? Кого-то проглотилъ? Мы ждемъ, чтобъ намъ объявили объ этомъ съ церемоніей, то-есть, чтобъ тутъ былъ и приговоръ суда, и эшафотъ, и заплечный мастеръ. Только тогда, на мѣстѣ казни, всматриваясь въ эту несытую фигуру, мы говоримъ себѣ: «каковъ! а я еще вчера видѣлъ, какъ онъ шнырилъ по улицамъ!» Но даже и это не всегда вразумляетъ насъ, ибо, сказавши себѣ такое назиданіе, мы тутъ же опять вступаемъ на торную дорогу, опять завязываемъ себѣ глаза и не разстаемся съ нашей повязкой до тѣхъ поръ, покуда новая церемонія съ эшафотомъ и заплечнымъ мастеромъ насильно не сорветъ ея.

Понять извѣстное явленіе значитъ уже обобщить его, значитъ осуществить его для себя не въ одной какой-нибудь частности, а въ цѣломъ рядѣ таковыхъ, хотя бы онѣ, на поверхностный взглядъ, имѣли между собой мало общаго. Понять же явленіе вредное, порочное — значитъ наполовину предостеречь себя отъ него. Вотъ почему я прошу читателя убѣдиться, что названіе «ташкентцы» отнюдь не слѣдуетъ принимать въ буквальномъ смыслѣ. О! если-бъ всѣ ташкентцы нашли себѣ убѣжище въ Ташкентѣ! Вы могли бы сказать тогда: «Ташкентъ есть страна, населенная вышедшими изъ Россіи, за ненадобностью, ташкентцами». Но теперь—развѣ мы можемъ указать навѣрное, гдѣ начинаются границы нашего Ташкента и гдѣ онѣ кончаются? не живутъ ли господа ташкентцы посреди насъ? не рыскаютъ ли стадами по весямъ и градамъ нашимъ?

И вѣдь никто-то, никто не признаетъ ихъ за ташкентцевъ, а всѣ видятъ лишь добродушныхъ малыхъ, которымъ до смерти хочется ѣсть...

Ташкентъ, какъ терминъ географическій, есть страна, лежащая на юго-востокъ отъ Оренбургской губерніи. Это классическая страна барановъ, которые замѣчательны тѣмъ,

что къ стрижкѣ ласковы и послѣ оголѣнія вновь обрастаютъ съ изумительной быстротой. Кто будетъ ихъ стричь—къ этому вопросу они, повидимому, равнодушны, ибо знаютъ, что стрижка есть нѣчто неизбѣжное въ ихъ жизни. Какъ только они завидятъ, что вдали грядетъ человѣкъ стригущій и бреющій, то подгибаютъ подъ себя ноги и ждутъ...

Какъ терминъ отвлеченный, Ташкентъ есть страна, лежащая всюду, гдѣ бьютъ по зубамъ, и гдѣ имѣетъ право гражданственности преданіе о Макарѣ, телятъ не гоняющемъ. Если вы находитесь въ городѣ, о которомъ въ статистическихъ таблицахъ сказано: жителей столько-то, приходскихъ церквей столько-то, училищъ нѣтъ, библіотекъ нѣтъ, богоугодныхъ заведеній нѣтъ, острогъ одинъ и т. п.— вы можете сказать безъ ошибки, что находитесь въ самомъ сердцѣ Ташкента. Навѣрное вы найдете тутъ и просвѣтителей и просвѣщаемыхъ, услышите крики: «ай! ай!»— свидѣтельствующіе о томъ, что корни ученія горьки, а плоды его сладки, и усмотрите того классическаго, въ потѣ лица снискивающаго свою лебеду, человѣка, около котораго, вѣчно его облюбовывая, похаживаетъ вѣчно несытый, но вѣчно жрущій ташкентецъ. Но училищъ и библіотекъ все-таки не найдете.

Нашъ Ташкентъ, о которомъ мы ведемъ здѣсь рѣчь, находится тамъ, гдѣ дерутся и бьютъ.

Вчера я былъ въ театрѣ, въ самомъ аристократическомъ изъ всѣхъ — въ итальянской оперѣ — и вдругъ увидѣлъ ташкентца, и что всего удивительнѣе—ташкентца-француза (оказалось, что это былъ генералъ Флёри). Скулы его были развиты необычайно, носъ орлиный, зубы стиснуты, глаза— искали. Что-то безнадежное сказывалось въ этой сухой и мускулистой фигурѣ, какъ будто тамъ, внутри, все давно застыло и умерло. Разумѣется, кромѣ чувства плотоядности. Я инстинктивно обратился къ моему сосѣду и съ волненіемъ, какъ будто хотѣлъ его предостеречь, сказалъ:

— Посмотрите, какой ташкентецъ!

Сосѣдъ съ удивленіемъ взглянулъ сначала на меня, потомъ въ ту сторону, въ которую я указывалъ; затѣмъ началъ всматриваться-всматриваться и наконецъ пожалъ мнѣ руку, какъ будто въ самомъ дѣлѣ я избавилъ его отъ бѣды.

Изъ этого я заключилъ, что кромѣ тѣхъ границъ, которыхъ невозможно опредѣлить, Ташкентъ существуетъ еще и за границею (каламбуръ плохой, но пускай онъ останется, благо понятенъ).

Переходя отъ одного умозаключенія къ другому, я пришелъ къ догадкѣ, что даже такія формы, которыя, повидимому, свидѣтельствуютъ о присутствіи цивилизаціи, не всегда могутъ служить ручательствомъ, что Ташкентъ изгибъ. Ташкентъ удобно мирится съ желѣзными дорогами, съ устностью, гласностью, однимъ словомъ, со всѣми выгодами, которыми, по всей справедливости, гордится такъ-называемая цивилизація. Прибавьте только къ этимъ выгодамъ самое маленькое слово: фюить!—и вы получите такой Ташкентъ, лучше котораго желать не надо.

Истинный Ташкентъ устраиваетъ свою храмину въ нравахъ и въ сердцѣ человѣка. Всякій, кто видитъ въ семейномъ очагѣ своего ближняго не огражденное мѣсто, а арену для веселонравныхъ похожденій, есть ташкентецъ; всякій, кто въ физіономіи своего ближняго видитъ не образъ Божій, а токъ, на которомъ можетъ во всякое время молотить кулаками, есть ташкентецъ; всякій, кто, не стѣсняясь, швыряетъ своимъ ближнимъ, какъ неодушевленною вещью, кто видитъ въ немъ лишь матеріалъ, на которомъ можно удовлетворять всевозможнымъ проказливымъ движеніямъ, есть ташкентецъ. Человѣкъ, разсуждающій, что вселенная есть не что иное, какъ выморочное пространство, существующее для того, чтобъ на немъ можно было плевать во всѣ стороны, есть ташкентецъ...

Нравы создаютъ Ташкентъ на всякомъ мѣстѣ; бываютъ въ жизни обществъ минуты, когда Ташкентъ насильно стучится въ каждую дверь и становится на неизбѣжную очередь для всякаго существованія. Это въ особенности чувствуется въ эпохи, которыя условлено называть переходными. Можетъ-быть, именно чувствуется потому, что въ подобныя минуты рядомъ съ Ташкентомъ уже зарождается нѣчто похожее на гражданственность, нѣчто напоминающее человѣку на возможность располагать своими движеніями... потихоньку, милостивые государи! потихоньку! Можетъ-быть, это «нѣчто зарождающееся», «нѣчто намекающее» и дѣлаетъ особенно нестерпимою боль при видѣ все-таки прямо стоящаго Ташкента? Дѣйствительно, все это очень возможно; но что же кому за дѣло до этого! Развѣ объясненія утѣшаютъ кого-нибудь? развѣ они умаляютъ хоть на каплю переполняющую сердце горечь? Я знаю одно: что никогда, даже въ самыя глухія, печальныя историческія эпохи нельзя себѣ представить такого количества людей отчаявшихся, людей махнувшихъ рукою, сколько ихъ видится въ

эпохи переходныя. И рядомъ съ этими отчаявшимися— сколько людей, все позабывшихъ, все въ себѣ умертвившихъ... все, кромѣ безконечнаго аппетита!

Я, конечно, былъ бы очень радъ, если-бъ могъ, начиная этотъ рядъ характеристикъ, сказать: читатель! смотри—вонъ издыхающій Ташкентъ! но—увы!—я не имѣю въ запасѣ даже этого утѣшенія! Конечно, я знаю, что есть какой-то Ташкентъ, который умираетъ, но въ то же время знаю, что есть и Ташкентъ, который нарождается вновь. Эта преемственность Ташкентовъ поистинѣ пугаетъ меня. Вездѣ шаткость, вездѣ сюрпризъ. Я вижу людей, работающихъ въ пользу идей несомнѣнно скверныхъ и опасныхъ и сопровождающихъ свою работу возгласомъ: «пади! задавлю!» и вижу людей, работающихъ въ пользу идей справедливыхъ и полезныхъ, но тоже сопровождающихъ свою работу возгласомъ: «пади! задавлю!» Я не вижу рамокъ, тѣхъ драгоцѣнныхъ рамокъ, въ которыхъ хорошее могло бы упразднять дурное безъ заушеній, безъ возгласовъ, обѣщающихъ задавить. Мнѣ скажутъ на это: всему причиной Ташкентъ древній, Ташкентъ установившійся и окрѣпшій. Пожалуй, я и на это согласенъ. Что Ташкентъ порождаетъ Ташкентъ—въ этомъ нѣтъ ничего невѣроятнаго, но вѣдь это только доказываетъ, что и пессимисты, усматривающіе въ будущемъ достаточно длинный рядъ Ташкентовъ, тоже не совсѣмъ неправы въ своей безнадежности. Утѣшительнаго въ этомъ объясненіи немного.

Этотъ порочный кругъ не можетъ не огорчать. Когда видишь такое общественное положеніе, въ которомъ одинъ Ташкентъ упраздняется только по милости возникновенія другого Ташкента, то сердце невольно сжимается и дѣлается вѣщуномъ чего-то недобраго. Говорятъ: новый Ташкентъ необходимъ только для того, чтобы стереть слѣды стараго; какъ скоро онъ выполнитъ эту задачу, то перестанетъ быть Ташкентомъ. На это я могу отвѣтить только: да, это разсужденіе очень ободрительное; но и за всѣмъ тѣмъ я ни на іоту не усилю моего легковѣрія и не надѣну узды на мои сомнѣнія. Всюду, куда я ни обращаю мои взоры, я вижу: съ одной стороны — упорствующую безазбучность; съ другой—увеличивающійся аппетитъ и возрастающую затѣйливость требованій для удовлетворенія его. Ничто такъ не прихотливо, какъ Ташкентъ, твердо рѣшившійся не выходить изъ безазбучности и въ то же время уже порастлившійся тонкою примѣсью цивилизаціи. Пирогъ,

начиненный устностью и гласностью — помилуйте! да это такое объяденье, что вѣкъ его ѣшь—и вѣкъ сытъ не будешь! Тутъ-то и лестно размахнуться, когда размахъ сопровождается какими-то пикантными видимостями, какъ будто препятствующими, а въ сущности едва ли не способствующими. Вѣдь и изъ опыта извѣстно, что нарѣзное ружье стрѣляетъ дальше, нежели ружье, у котораго дуло имѣетъ внутренность гладкую...

Милостивые государи! если вы не вѣрите въ существованіе господъ ташкентцевъ, я попросилъ бы васъ выйти на минуту на улицу. Тамъ вы навѣрное и на каждомъ шагу насладитесь такого рода разговорами:

— Я бы его, каналью, въ бараній рогъ согнулъ,—говоритъ одинъ:—да и жаловаться бы не велѣлъ!

— Этого человѣка четвертовать мало! — восклицаетъ другой.

— На необитаемый островъ-съ! пускай тамъ морошку сбираетъ-съ!—вопіетъ третій.

Не думайте, чтобъ это были приговоры какого-то жестокаго, но все-таки установленнаго и всѣми признаннаго судилища; нѣтъ, это приговоры простыхъ охочихъ русскихъ людей. Они ходятъ себѣ гуляючи по улицѣ и мимоходомъ ввертываютъ въ свою безазбучную рѣчь словцо о четвертованіи. Иногда они даже не понимаютъ и содержанія своихъ приговоровъ и измышляютъ всевозможныя казни единственно по простосердечію... Да, читатель, по простосердечію! и ежели ты сомнѣвался, что даже въ слово «четвертованіе» можетъ вкрасться простосердечіе, то взгляни на эти самодовольныя фигуры, устремляющіяся въ клубъ обѣдать—и убѣдись!

Меня нерѣдко занимаетъ вопросъ: можетъ ли палачъ обѣдать? можетъ ли онъ быть отцомъ семейства? какую картину долженъ представлять его семейный бытъ? ласкаетъ ли онъ жену свою? гладитъ ли по головѣ ребенка? Помнитъ ли онъ? то-есть, помнитъ ли, что онъ—заплечный мастеръ.

Признаюсь, я долгое время не могъ даже представить себѣ, чтобъ палачъ имѣлъ надобность насыщаться; мнѣ казалось, что онъ долженъ быть всегда сытъ. Но съ тѣхъ поръ, какъ я увидѣлъ ташкентцевъ, которые, посуливъ кому-то четвертованіе и голодную смерть на необитаемомъ островѣ, тутъ же сряду устремились обѣдать—мои сомнѣнія сразу покончились. Да, сказалъ я себѣ:—это вѣрно; палачъ

можетъ обѣдать, можетъ имѣть семейство, ласкать жену, гладить по головѣ ребенка. Что нужды, что онъ сегодня же утромъ гладилъ кого-то по спинѣ?—былъ часъ и было дѣло; насталъ другой часъ—настало другое дѣло; въ такомъ-то часу онъ заплечный мастеръ, въ такомъ-то—отецъ семейства, въ такомъ-то—полезный гражданинъ... Всѣ часы распредѣлены, и у всякаго часа есть особенная клѣтка. Все имѣетъ свою очередь, все идетъ своимъ порядкомъ, и слѣдовательно все обстоитъ благополучно...

Но оставимъ заплечнаго мастера и займемся нашими ташкентцами, изъ разряда простодушныхъ.

«Согнуть въ бараній рогъ»—ясно, что эти люди не понимаютъ, какъ это больно, если они не теряютъ даже аппетита, выразивши своему ближнему такое странное пожеланіе. Ясно также, что они и о «необитаемомъ островѣ» имѣютъ понятіе только по слышанной ими въ дѣтствѣ исторіи о Робинзонѣ Крузоэ. Можетъ-быть, имъ думается, что вотъ, дескать, Робинзонъ и въ пустынѣ нашелъ средства приготовить себѣ обѣдъ и прикрыть свою наготу... Невѣжды! они не знаютъ даже того, что эта исторія вымышленная! Но въ томъ-то и дѣло, что есть случаи, когда невѣжество не только не вредитъ, но помогаетъ. Во-первыхъ, оно освобождаетъ человѣка отъ множества представленій, передъ которыми онъ отступилъ бы въ ужасѣ, если бы имѣлъ отчетливое понятіе о ихъ внутренней сущности; во-вторыхъ, оно дозволяетъ содержать аппетитъ въ постоянно-достаточной степени возбужденности. Защищенный бронею невѣжества, чего можетъ устыдиться гуляющій русскій человѣкъ?—того ли, что въ произнесенныхъ имъ сейчасъ угрозахъ нельзя усмотрѣть ничего другого, кромѣ безсмысленнаго бреха? но почемъ же вы знаете, что онъ и самъ не смотритъ на всѣ свои дѣйствія, на всѣ свои слова, какъ на сплошной брехъ? Онъ ходитъ—брешетъ, ѣстъ—брешетъ. И знаетъ это, и нимало ему не стыдно.

Что тутъ есть брехъ—это несомнѣнно. Но дѣло въ томъ, что насъ настигаетъ не одиночный какой-нибудь брехъ, а цѣлая совокупность броховъ. И вдругъ вамъ объявляютъ, что эта-то совокупность именно и составляетъ общественное мнѣніе. Сначала вы не вѣрите и усиливаете ваши наблюденія; но мало-по-малу сомнѣнія слабѣютъ. Проходитъ немного времени, и вы уже восклицаете: какъ это странно однако-жъ!.. всѣ брешутъ!

Всѣ не всѣ, но это не мѣшаетъ предполагать, что если-бъ

при употребленіи нѣкоторыхъ выраженій мы давали мѣсто элементу сознательности, то дѣло отъ этого едва ли бы проиграло.

Возьмемъ для примѣра хоть одно такое выраженіе: «согнуть въ бараній рогъ». Что нужно сдѣлать, чтобы выполнить эту угрозу? нужно перетянуть человѣка почти вчетверо, и притомъ такъ, чтобъ головой онъ упирался въ животъ, и чтобъ потомъ ноги черезъ голову перекинулись бы на спину. Тогда только образуется довольно правильное кольцо, обвившееся само около себя и представляющее подобіе бараньяго рога. Возможно ли подобное предпріятіе?—по совѣсти, это сказать нельзя. Я увѣренъ, что человѣкъ умретъ немедленно, какъ только начнутъ пригибать его голову съ тѣми усиліями, какія необходимы для подобной операціи. Когда онъ умретъ, конечно, уже можно будетъ и пригибать и наматывать какъ угодно, но удовольствія въ этомъ занятіи не будетъ. Какая польза оперировать надъ трупомъ, который не можетъ даже выразить, что онъ цѣнитъ дѣлаемыя по поводу его усилія? По-моему, если ужъ оперировать, такъ оперировать надъ живымъ человѣкомъ, который можетъ и чувствовать, и слегка нагрубить, и въ то же время не лишенъ способности произвести правильную оцѣнку...

Но—скажутъ мнѣ—какъ же вы не понимаете, что выраженіе «въ бараній рогъ согнуть» есть выраженіе фигуральное? Знаю я это, милостивые государи! знаю, что это даже просто брехъ. Но не могу не огорчаться, что въ нашу и безъ того не очень богатую рѣчь постепенно вкрадывается такое ужасное множество бреховъ самыхъ пошлыхъ, самыхъ вредныхъ. По моему мнѣнію, не мѣшало бы подумать и о томъ, чтобы освободиться отъ нихъ.

Итакъ, Ташкентъ можетъ существовать во всякое время и на всякомъ мѣстѣ. Не знаю, убѣдился ли въ этомъ читатель мой, но я убѣжденъ настолько, что считаю себя даже вполнѣ компетентнымъ, чтобы написать довольно подробную картину нравовъ, господствующую въ этой отвлеченной странѣ. Такимъ образомъ я нахожу возможнымъ изобразить:

ташкентца, цивилизующаго in partibus;

ташкентца, цивилизующаго внутренности;

ташкентца, разрабатывающаго собственность казенную (въ просторѣчіи—казнокрадъ);

ташкентца, разрабатывающаго собственность частную (въ просторѣчіи—воръ);

ташкентца промышленнаго;

ташкентца, разрабатывающаго смуту внѣшнюю;

ташкентца, разрабатывающаго смуту внутреннюю;—и такъ далѣе, почти до безконечности.

Очень часто эти люди весьма различны по виду; но у всѣхъ имѣется одинъ соединительный крикъ:

Жрать!!

Я не предполагаю писать романъ, хотя похожденія любого изъ ташкентцевъ могутъ представлять много запутаннаго, сложнаго и даже поразительнаго. Мнѣ кажется, что романъ утратилъ свою прежнюю почву съ тѣхъ поръ, какъ семейственность и все, что̀ принадлежитъ къ ней, начинаетъ измѣнять свой характеръ. Романъ (по крайней мѣрѣ, въ томъ видѣ, какимъ онъ являлся до сихъ поръ) есть по преимуществу произведеніе семейственности. Драма его зачинается въ семействѣ, не выходитъ оттуда и тамъ же заканчивается. Въ положительномъ смыслѣ (романъ англійскій), или въ отрицательномъ (романъ французскій), но семейство всегда играетъ въ романѣ первую роль.

Этотъ теплый, уютный, хорошо обозначившійся элементъ, который давалъ содержаніе роману, улетучивается на глазахъ у всѣхъ. Драма начинаетъ требовать другихъ мотивовъ; она зарождается гдѣ-то въ пространствѣ и тамъ кончается. Покуда это пространство не освѣщено, все въ немъ будетъ казаться и холодно, и темно, и безпріютно. Перспективъ не видно; драма кажется отданною въ жертву случайности. Того пришибло, тотъ умеръ съ голоду—развѣ такое разрѣшеніе можетъ быть названо разрѣшеніемъ? Конечно, можетъ; и мы не признаемъ его таковымъ единственно потому, что оно предлагается намъ обрубленное, обнаженное отъ тѣхъ предшествующихъ звеньевъ, въ которыхъ собственно и заключалась никѣмъ не замѣченная драма. Но эта драма существовала несомнѣнно и заключала въ себѣ образцы борьбы гораздо болѣе замѣчательной, нежели та, которую представлялъ намъ прежній романъ. Борьба за неудовлетворенное самолюбіе, борьба за оскорбленное и униженное человѣчество, наконецъ борьба за существованіе—все это такіе мотивы, которые имѣютъ полное право на разрѣшеніе посредствомъ смерти. Вѣдь умиралъ же человѣкъ изъ-за того, что его милая поцѣловала своего милаго, и никто не находилъ дикимъ, что эта смерть называлась разрѣшеніемъ драмы. Почему?—а потому именно,

что этому разрѣшенію предшествовалъ самый процессъ цѣлованія, то-есть драма. Тѣмъ съ бо́льшимъ основаніемъ позволительно думать, что и другія, отнюдь не менѣе сложныя, опредѣленія человѣка тоже могутъ дать содержаніе для драмы весьма обстоятельной. Если ими до сихъ поръ пользуются недостаточно и неувѣренно, то это потому только, что арена, на которой происходитъ борьба ихъ, слишкомъ скудно освѣщена. Но она есть, существуетъ и даже очень настоятельно стучится въ двери литературы. Въ этомъ случаѣ я могу сослаться на величайшаго изъ русскихъ художниковъ, Гоголя, который давно провидѣлъ, что роману предстоитъ выйти изъ рамокъ семейственности.

Романъ современнаго человѣка разрѣшается на улицѣ, въ публичномъ мѣстѣ—вездѣ, только не дома; и притомъ разрѣшается самымъ разнообразнымъ, почти непредвидѣннымъ образомъ. Вы видите: драма начиналась среди уютной обстановки семейства, а кончилась Богъ знаетъ гдѣ; началась поцѣлуями двухъ любящихъ сердецъ, а кончилась полученіемъ прекраснаго мѣста, Сибирью и т. п. Эти рѣзкіе перерывы и переходы кажутся намъ неожиданными, но между тѣмъ въ нихъ несомнѣнно есть своя строгая послѣдовательность, только усложнившаяся множествомъ разнаго рода мотивовъ, которые и до сихъ поръ еще ускользаютъ отъ нашего вниманія или неправильно признаются нами не-драматическими. Прослѣдить эту неожиданность такъ, чтобъ она перестала быть неожиданностью—вотъ, по моему мнѣнію, задача, которая предстоитъ геніальному писателю, имѣющему создать новый романъ.

Само собою разумѣется, что я не пытаюсь даже подойти къ подобной задачѣ; я сознаю, что она мнѣ не по силамъ. Но такъ какъ я все-таки понимаю ее довольно ясно, то беру на себя роль собирателя матеріаловъ для нея. Есть типы, которые объяснить небезполезно, въ особенности въ тѣхъ вліяніяхъ, которыя они имѣютъ на современность. Если справедливо, что во всякомъ положеніи вещей главнымъ зодчимъ является исторія, то не менѣе справедливо и то, что вездѣ можно встрѣтить отдѣльныхъ индивидуумовъ, которые служатъ воплощеніемъ «положенія» и представляютъ собой какъ бы отвѣтъ на потребность минуты. Понять и разъяснить эти типы—значитъ понять и разъяснить типическія черты самого положенія, которое ими не только не заслоняется, но, напротивъ того, съ ихъ помощью дѣлается болѣе наглядными и рельефными. И мнѣ кажется,

что такого рода разъяснительная работа хотя и не представляетъ условій совершенной цѣльности, но можетъ внести въ общую сокровищницу общественной физіологіи матеріалъ довольно цѣнный.

Но тутъ является еще одно условіе—это отношеніе писателя къ типамъ, имъ изображаемымъ. Всякая данная историческая минута, несмотря на то, что ее можно охарактеризовать однимъ выраженіемъ (такъ, напримѣръ, объ извѣстныхъ эпохахъ говорятъ, что это эпохи, когда «злое начало въ человѣкѣ пришло къ спокойному и полному сознанію самого себя» (Нибуръ, «Чт. о др. ист.»), представляетъ однако-жъ довольно много мотивовъ, очень разнообразныхъ, изъ которыхъ одни вызываютъ типы, возбуждающіе негодованіе, другіе—типы, возбуждающіе сочувствіе. Казалось бы, что нѣтъ повода ни для негодованія, ни для сочувствія, если ужъ разъ признано, что во всякомъ положеніи главнымъ зодчимъ является исторія. Между тѣмъ мы не можемъ воздержаться, чтобы однихъ не обвинить, а другихъ не ставить на пьедесталъ, и чувствуемъ, что, поступая такимъ образомъ, мы поступаемъ совершенно законно и разумно. Мнѣ кажется, явленіе это объясняется тѣмъ, что въ этомъ случаѣ и сочувствіе, и негодованіе устремляются не столько на самые типы, сколько на то или иное воздѣйствіе ихъ на общество. Кромѣ дѣйствующихъ силъ добра и зла, въ обществѣ есть еще извѣстная страдательная среда, которая преимущественно служитъ ареной для всякаго воздѣйствія. Упускать эту среду изъ вида невозможно, если-бъ даже писатель не имѣлъ другихъ претензій, кромѣ собиранія матеріаловъ. Очень часто объ ней ни слова не упоминается, и оттого она кажется какъ бы вычеркнутою; но эта вычеркнутость мнимая, въ сущности же представленіе объ этой страдательной средѣ никогда не покидаетъ мысли писателя. Это та самая среда, въ которой прячется «человѣкъ, питающійся лебедою». Живетъ ли онъ или только прячется? Мнѣ кажется, что хотя онъ по преимуществу прячется, но все-таки и живетъ немного.

Спрашивается: можетъ ли писатель оставаться совершенно безучастнымъ къ тому или иному способу воздѣйствія на эту страдательную среду?

Какъ бы то ни было, но покуда арена, на которую, видимо, выходитъ новый романъ, остается неосвѣщенною, скромность и сознаніе пользы заставляютъ вступать на нее

не въ качествѣ художника, а въ качествѣ собирателя матеріаловъ. Это развязываетъ писателю руки, это ставитъ его въ прямыя отношенія къ читателю. Собиратель матеріаловъ можетъ дозволить себѣ внѣшнія противорѣчія—и читатель не замѣтитъ ихъ; онъ можетъ навязать своимъ героямъ сколько угодно должностей, званій, ремеслъ; онъ можетъ сегодня уморить своего героя, а завтра опять возродить его. Смерть въ этомъ случаѣ—смерть примѣрная; въ сущности, герой живъ до тѣхъ поръ, покуда живо положеніе вещей, его вызвавшее.

Но я чувствую, что уже достаточно распространился о томъ, какую цѣль имѣютъ въ виду предлагаемые этюды.

Нѣтъ ничего легче, какъ составить краткое извѣстіе о родопроисхожденіи любого «ташкентца».

Въ большинствѣ случаевъ, это дворянскій сынъ, не потому, чтобы въ дворянствѣ фаталистически скоплялись элементы всевозможнаго ташкентства, а потому, что сословіе это до сихъ поръ было единымъ дѣйствующимъ и слѣдовательно невольно представляло собой разсадникъ всего, что̀ такъ или иначе имѣло возможность проявлять себя. Кромѣ пороковъ, тутъ были, конечно, и добродѣтели. Затѣмъ «ташкентецъ» непремѣнно получилъ такъ-называемое классическое образованіе, т.-е. такое, которое имѣло свойствомъ испаряться немедленно по оставленіи паціентомъ школьной скамьи. Еще Грановскій подмѣтилъ это странное свойство россійскаго классицизма. «Студенты,—пишетъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ («Біографич. очеркъ» А. Станкевича): — занимаются хорошо, пока не кончили курса», или, другими словами, до тѣхъ поръ, покуда можетъ потребоваться сдача экзамена. Послѣ сего, какъ и слѣдуетъ ожидать, наступаетъ полнѣйшая «свобода отъ наукъ».

И въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ молодого человѣка, который выходитъ изъ школы, предварительно сдавши свои экзамены. Приготовленіе къ нимъ стоило ему нѣсколькихъ недѣль самаго усидчиваго и назойливаго труда и не мало безсонныхъ ночей. Въ теченіе курса онъ занимался всѣмъ, чѣмъ хотите, только не пріобрѣтеніемъ знанія. Инстинктъ подсказывалъ ему, что даровая жизнь не требуетъ знанія, и что знаніе, въ свою очередь, не можетъ даже имѣть никакихъ примѣненій къ даровой жизни. При такомъ положеніи вещей можетъ существовать только одинъ стимулъ

для пріобрѣтенія знанія (въ особенности знанія съ точки зрѣнія классицизма, знанія, не имѣющаго немедленнаго и непосредственнаго приложенія)—это любознательность. Но развѣ можно обвинять кого бы то ни было за то, что онъ мало любознателенъ? развѣ любознательность обязательна? Нашъ юноша очень хорошо понимаетъ это и убѣждается въ необходимости знанія только въ ту минуту, когда приходится сдавать экзамены. Нѣсколько недѣль сряду онъ находится въ возбужденномъ. почти восторженномъ состояніи. Въ теченіе этого времени онъ окачиваетъ себя множествомъ разнообразнѣйшихъ знаній, но понимаетъ только одно: что знанія служатъ отвѣтомъ на печатные билеты, которые онъ долженъ будетъ брать наудачу со стола экзаменатора. Увы! этихъ билетиковъ такъ много, что на нѣкоторые изъ нихъ онъ даже не успѣлъ приготовить отвѣтовъ...

Но судьба видимо покровительствуетъ ему: онъ вынимаетъ именно тотъ билетикъ, который всего тверже вызубрилъ. Ура! онъ оставляетъ школу и получаетъ дипломъ!

Онъ во всеоружіи является на ту самую арену исторіи, на которой, по выраженію Гра овскаго, онъ долженъ быть и матеріаломъ и зодчимъ («зачѣмъ же матеріаломъ?—недоумѣваетъ онъ про себя:—не лучше ли прямо зодчимъ?»).

Нимало не медля, отправляется онъ въ трактиръ и этимъ открываетъ свое вступленіе на арену исторіи. Черезъ полчаса онъ уже смѣшиваетъ Ликурга съ Солономъ, а Мильтіада дружески называетъ Маравономъ. Проходитъ еще полчаса—и вотъ даже этотъ маскарадный разговоръ начинаетъ тяготить его. Изъ устъ его вылетаютъ какія-то имена, но не Агриппины Старшей и даже не Мессалины, а какой-то совсѣмъ не классической Машки...

Знаніе, которымъ онъ окатилъ себя, уже соскользнуло. Онъ помнитъ только одно: что онъ получилъ дипломъ и имѣетъ право, отпраздновавши какъ слѣдуетъ освобожденіе отъ наукъ, быть «зодчимъ».

Гдѣ и въ какомъ смыслѣ зодчимъ?

Онъ устремляется подъ кровлю родительскаго дома, чтобъ отдохнуть послѣ неумѣреннаго окачиванья. Разумѣется, къ нему простираются всѣ объятія; его осматриваютъ, облюбовываютъ, говорятъ: «ну, вотъ, молодецъ!» Но никто не спрашиваетъ, чѣмъ онъ заручился и съ какимъ запасомъ пріѣхалъ. Среди восторговъ, увеселеній и ласкъ незамѣтно проходитъ нѣсколько мѣсяцевъ; наконецъ семейный празд-

никъ пріѣдается, наступаетъ забота объ устройствѣ праздника болѣе солиднаго и на иной манеръ.

— Надо, мой другъ, подумать о будущемъ,—говорятъ дворянскому сыну родители:—вѣдь ты не объѣдокъ какой-нибудь, чтобы голубей гонять!

— Да, надо подумать о будущемъ!—повторяетъ дворянскій сынъ и, пользуясь этимъ случаемъ, вновь припоминаетъ, что имѣетъ право быть зодчимъ...

Или голубей гонять, или быть зодчимъ—средины нѣтъ. Сомнѣнія, къ которой изъ этихъ двухъ должностей примкнетъ выборъ, нельзя допустить; колебанію можетъ подлежать только одинъ вопросъ: гдѣ и въ какомъ смыслѣ быть зодчимъ?

Нѣкоторое время юноша колеблется между гражданской палатой и земскимъ судомъ. Въ гражданской палатѣ существуютъ крѣпостныя дѣла («прекраснѣйшія, мой другъ, эти мѣста!» говорятъ растроганные родители), но тамъ «зодчество» ограничивается только устройствомъ и пріумноженіемъ собственнаго благосостоянія. Въ земскомъ судѣ менѣе шансовъ для зодчества имущественнаго, зато большой просторъ для зодчества историческаго. Историческое зодчество прельщаетъ юношу своимъ размахомъ, своею красивостью.

«Съ чѣмъ же я однако явлюсь на арену зодчества что̀ предстоитъ мнѣ созидать? что̀ я знаю?»—спрашиваетъ онъ себя, и съ непривычки ему дѣлается какъ будто совѣстно.

«Я знаю, что я ничего не знаю!» — мелькаетъ въ его умѣ единственный афоризмъ, который онъ изучилъ вполнѣ твердо.

«Э, не боги горшки обжигали!»—мелькаетъ однако-жъ и другой афоризмъ, тоже достаточно твердо заученный.

Какъ всегда водится, истина позднѣйшая вытѣсняетъ истину предшествовавшую. Позднѣйшій афоризмъ даетъ молодому человѣку возможность позабыть объ афоризмѣ прежде явившемся.

Рѣшено; онъ начинаетъ обжигать горшки и вскорѣ убѣждается, что нимало не ошибся, сочтя себя способнымъ и достойнымъ. Не только онъ самъ, но все, что̀ его окружаетъ: товарищество, въ которое онъ вступаетъ, и даже масса, которую онъ предпринимаетъ обжигать,—все въ одинъ голосъ удостовѣряетъ его, что онъ поистинѣ способенъ и достоинъ. Никто не спрашиваетъ его, что̀ онъ

знаетъ, что онъ умѣетъ дѣлать: такъ натуральнымъ кажется всѣмъ и каждому, что для обжиганія горшковъ совсѣмъ не требуются божественныя качества. Каково зодчество, таковы и зодчіе — это безспорно. Каково зодчество?—странный вопросъ!—ухватилъ, смялъ, поволокъ...

И дѣйствительно, за что бы онъ ни взялся, все въ его рукахъ спорится, все выходитъ оттуда въ лучшемъ видѣ. Онъ удивляется только одному: отчего въ школѣ его учили какъ будто чему-то другому?

— А чему, бишь, учили меня въ школѣ? — инстинктивно спрашиваетъ онъ самого себя: — ахъ, да! res nullius cedit primo occupanti! вѣрно! — Затѣмъ онъ успокоивается и окончательно рѣшаетъ въ умѣ, что нѣтъ въ мірѣ ничего столь безполезнаго, какъ нескромные вопросы.

Ворота Ташкента отворены настежъ. Молодой человѣкъ влетаетъ въ нихъ съ гиканьемъ, съ свистомъ, съ малиновымъ звономъ, надвинувши шапку набекрень... Онъ чувствуетъ, что надоѣдливая опека школы навсегда канула въ область прошлаго. Стыдиться нечего, да и некогда. Съ этой минуты онъ полноправный гражданинъ своей новой родины.

Съ той же минуты онъ окончательно дѣлается продуктомъ принявшей его среды. Являются особенные обряды, своеобразные обычаи и еще болѣе своеобразныя понятія, которыя закрываютъ плотною завѣсой остальные обрывки воспоминаній скуднаго школьнаго прошлаго. Безазбучность становится единственною творческою силой, которая должна водворить въ мірѣ порядокъ и всеобщее безмолвіе.

Я долженъ, впрочемъ, сознаться, что ташкентство плѣняетъ меня не столько богатствомъ внутренняго своего содержанія, сколько тѣмъ, что за нимъ неизбѣжно скрывается «человѣкъ, питающійся лебедою».

Этотъ человѣкъ — явленіе очень любопытное въ томъ отношеніи, что онъ не только не знаетъ, но, повидимому и не желаетъ сытости.

Стоитъ онъ, скучившись въ какомъ-то безобразномъ муравейникѣ, и до того съёжился и присмирѣлъ тамъ, что никто даже не интересуется знать, что это за масса такая, которая какъ будто колышется и живетъ, но изъ которой въ то же время не выходитъ ни единаго живого звука. Членораздѣльна ли она? способна ли выдѣлить изъ себя

какія-нибудь особи? или же до того сплотилась и склеилась, что даже мысль не въ силахъ разложить ее?

Мракъ, окружающій эти вопросы, до такой степени густъ, что многіе воспользовались имъ, чтобъ утверждать, что всякій муравейникъ есть соединеніе безличныхъ Ивановъ, которые всѣ одинаково снабжены толоконными животами и всѣ одинаково ни на что не скалятъ зубы, ничего не просятъ, кромѣ лебеды. Это просто безшумное стадо, пасущееся среди всевозможныхъ недоразумѣній и недомыслій, питающееся паскуднѣйшими злаками, встающее съ восходомъ солнца, засыпающее съ закатомъ его, не покорившее себѣ природу, но само покорившееся ей.

«Покуда существовало крѣпостное право,—прибавляютъ защитники этого мнѣнія: — стадо, по крайней мѣрѣ, было сыто и прилежно къ воздѣлыванью; теперь оно и голодно, и вмѣсто воздѣлыванья поетъ по кабакамъ безобразныя пѣсни». Такимъ образомъ оказывается, что трудъ, какъ результатъ принужденія, и кабакъ, какъ результатъ естественнаго влеченія, — вотъ два полюса, между которыми осужденъ метаться человѣкъ, питающійся лебедою.

Другихъ опредѣленій не существуетъ; по крайней мѣрѣ Ташкентъ цивилизованный, Ташкентъ интеллигентный не сумѣлъ отыскать ихъ.

Какъ ни авторитетны подобныя показанія, однако-жъ, когда подумаешь, что они даются ташкентцами, то-есть тоже жертвами всевозможныхъ недоразумѣній и недомыслій, то въ душу невольно закрадывается сомнѣніе.

Если муравейникъ, имѣя передъ собой два пути — путь трудолюбія и путь праздности, предпочелъ послѣдній первому, то, стало-быть, это все-таки не просто инстинктивно копошащійся муравейникъ, но муравейникъ, имѣющій способность выбирать. Предположимъ, что въ данную минуту онъ сдѣлалъ свой выборъ въ явный ущербъ самому себѣ, но если уже однажды признается за нимъ способность выбирать, то необходимо признать и другую способность — способность руководиться при этомъ какими-нибудь соображеніями. Очень можетъ быть, что праздность показалась ему выгоднѣе, или, по крайней мѣрѣ, пріятнѣе, нежели трудолюбіе. Я напередъ соглашаюсь, что это самое грубое и даже горькое заблужденіе; но есть же какая-нибудь причина, вслѣдствіе которой и грубыя заблужденія въ иныя минуты принимаютъ видъ истины. Одну изъ такихъ причинъ, между прочимъ, представляетъ то разнорѣчіе, кото-

рое возникаетъ въ умѣ, когда начинаешь примѣнять слово «выгода» къ слову «трудъ». Трудъ выгоденъ — это афоризмъ очень основательный, но нельзя же принимать всякій афоризмъ буквально. Афоризмы самые крѣпкіе подвергаются разложенію; люди самые простые становятся иногда любознательными. Какая это выгода, о которой идетъ рѣчь? общая или частная? Если это общая выгода, то не слишкомъ ли понятіе объ ней отвлеченно для такого простого и неразвитаго ума, какимъ представляется умъ муравейника? Если же это выгода частная, то чья именно?

Не могу не повторить здѣсь того, что̀ уже сказано было однажды въ началѣ этого этюда: никогда не лишнее дѣлать себѣ вопросы; это привычка спасительная, ибо она отрезвляетъ человѣка и всѣмъ явленіямъ сообщаетъ ихъ истинные, дѣйствительные размѣры.

Но, оставивъ въ сторонѣ несостоятельное мнѣніе о безличности «человѣка, питающагося лебедою», я все-таки долженъ сказать, что мракъ, окружающій его, густъ очень достаточно. Дойти до этого секретно-мыслящаго, секретно-вздыхающаго и секретно-вожделѣющаго субъекта, увидѣть его лицомъ къ лицу—до такой степени трудно, что задача такого рода кажется почти неразрѣшимою. Можетъ-быть, это происходитъ отъ того, что пріемы, употреблявшіеся доселѣ съ этою цѣлью, были или слишкомъ грубы, или слишкомъ наивны. Эти пріемы состояли, съ одной стороны, въ ташкентскомъ воздѣйствіи, съ другой — въ томъ, что мы сами (и притомъ очень неискусно) притворялись людьми, питающимися лебедою. И то и другое никуда не годится. Ташкентство ошеломляетъ, но не изслѣдуетъ; притворство выглядываетъ наружу изъ-подъ самой искусной гримировки и при частомъ повтореніи обращается въ привычку, которая всѣ дѣйствія человѣка держитъ въ какомъ-то искусственномъ плѣну. Нужно найти какой-нибудь средній путь, на которомъ наблюдатель могъ бы обозрѣвать человѣка, питающагося лебедою, оставаясь самимъ собой, то-есть не ташкентствуя, но и не лебезя.

Говоря по совѣсти, этого средняго пути я еще не знаю, но кажется, что 19 февраля 1861 года онъ уже начинаетъ понемногу освѣщаться. Массы выясняются; показываются очертанія отдѣльныхъ особей; наблюдательныя средства получаютъ возможность дѣйствовать успѣшнѣе не потому, чтобы они сами по себѣ дошли до совершенства, а потому,

что уничтожилось нѣсколько лишнихъ преградъ, стоявшихъ между предметомъ и предметнымъ стекломъ. Очень возможно, что упадутъ и другія послѣднія преграды.

Что̀ тогда откроется?—вотъ въ чемъ весь вопросъ.

II.—Ташкентцы-цивилизаторы.

Цивилизующее значеніе Россіи въ исторіи развитія человѣчества всѣми учебниками статистики поставлено на такомъ незыблемомъ основаніи, что самое щекотливое самолюбіе должно успокоиться и сказать себѣ, что далѣе этого идти невозможно. Я узналъ объ этомъ назначеніи очень рано. Тому назадъ давно — я воспитывался въ то время въ одномъ изъ военно-учебныхъ заведеній, и какъ сейчасъ помню, что̀ это было на слѣдующее утро послѣ какого-то великолѣпно удавшагося торжественнаго дня — мы слушали первую лекцію статистики. Профессоръ вошелъ на каѳедру и слѣдующимъ образомъ началъ свою бесѣду о цивилизующемъ значеніи Россіи: «А замѣтили ли вы, господа,—сказалъ онъ:—что у насъ въ высокоторжественные дни всегда играетъ ясное солнце на ясномъ и безоблачномъ небѣ? что ежели, по временамъ, погода съ утра и не обѣщаетъ быть хорошею, то къ вечеру она постепенно исправляется, и правило о предоставленіи обывателямъ зажечь иллюминацію никогда не встрѣчаетъ препонъ въ своемъ исполненіи?» Затѣмъ онъ вздохнулъ, сосредоточился на минуту въ самомъ себѣ и продолжалъ: «Стоя на рубежѣ отдаленнаго Запада и не менѣе отдаленнаго Востока, Россія призвана Провидѣніемъ» и т. д., и т. д.

Слова эти тогда же поразили мое впечатлительное воображеніе. Для меня сдѣлалось яснымъ, что задача Россіи двойственна: во-первыхъ, установить на прочномъ основаніи принципъ безпрепятственности иллюминацій (политика внутренняя) и, во-вторыхъ, откуда-то нѣчто брать и куда-то нѣчто передавать (политика внѣшняя)! Если вѣрить московскимъ публицистамъ, то первая задача уже давнымъ-давно рѣшена. Несмотря на то, что торжества имѣютъ характеръ праздниковъ переходящихъ, наше солнце настолько дисциплинировано, что зараньше справляется съ календаремъ, когда ему слѣдуетъ играть. Тогда и играетъ. Но

вторая задача, уже во времена моей юности, причиняла мнѣ не мало безпокойствъ. Я слышалъ и понималъ, что тутъ есть какіе-то «плоды», которые слѣдуетъ гдѣ-то принимать и куда-то передавать; но что̀ это за «плоды», въ какихъ лѣсахъ они растутъ и какимъ порядкомъ ихъ передавать, то-есть справа ли налѣво, или слѣва направо — этого никакъ не могъ взять себѣ въ толкъ. «Налѣво кругомъ!» — раздавалось въ моихъ ушахъ; но и этотъ воинственный кличъ какъ-то не утѣшалъ, а еще пуще раздражалъ меня.

— Иванъ Петровичъ!—спрашивалъ я почтеннаго нашего профессора:—зачѣмъ же намъ передавать чужіе плоды, если у насъ есть свои собственные?

— Коли у тебя есть, такъ никто тебѣ не препятствуетъ!—отвѣчалъ Иванъ Петровичъ съ тѣмъ равнодушіемъ, которое въ то время одно только и одушевляло нашихъ педагоговъ и которое, казалось, такъ и говорило: «что̀ ты пристаешь ко мнѣ за разъясненіями? Я свое дѣло сдѣлалъ: отзвонилъ—и съ колокольни долой!»

— Но откуда брать? Куда передавать? — продолжалъ я настаивать.

— Придетъ пора да время — все узнаешь. Скажутъ: «спасибо»—значитъ, потрафилъ; надерутъ вихоръ—значитъ, проштрафился, надо начинать сызнова.—Итакъ, милостивые государи! находясь на рубежѣ отдаленнаго Запада и не менѣе отдаленнаго Востока, Россія самимъ Провидѣніемъ призвана...

Я страдалъ невыносимо. Систематизируя все слышанное мною, я приходилъ къ слѣдующимъ выводамъ:

1) что у насъ своихъ плодовъ нѣтъ;

2) что мы должны только передавать, даже не заглядываясь на то, что̀ передаемъ: руками взялъ, руками и отдалъ—вотъ и все;

и 3) что мы рискуемъ при этомъ быть выдранными за вихоръ.

Результаты неясные, не удовлетворявшіе даже тогдашнихъ моихъ дѣтскихъ требованій.

Но съ теченіемъ времени самыя трудныя загадки разгадываются. Не буду подробно разсказывать здѣсь печальную исторію моихъ колебаній; но сознаюсь, что она была обильна всякаго рода разочарованіями. Была, напримѣръ, одна минута, когда, руководствуясь законами аналогіи и видя, что солнце каждый день встаетъ на востокѣ, я за-

ключилъ изъ этого, что восточные плоды суть тѣ самые, которые наиболѣе пригодны для запада, и что стоитъ только насадить ихъ, чтобы положить конецъ всѣмъ гніеніямъ, броженіямъ и недоразумѣніямъ. Я ободрился. Нарѣзавши цѣлую рощу цивилизующихъ орудій и воскликнувъ: а ну-те, господа картофельники! посмотримъ, какъ-то вы тамъ гніете!—я устремился впередъ, и что-жъ оказалось? — что мои цивилизующія орудія всѣ сразу заглохли! что пересаженныя съ почвы дѣвственной, но сравнительно тощей, они не только никого не плѣнили, но даже сами не выдержали изобилія туковъ, представляемаго западнымъ гніеніемъ!

Всякій пойметъ, какъ былъ непріятенъ для меня этотъ опытъ; но такъ какъ я все-таки твердо зналъ, что «стою на рубежѣ», то цивилизаціонное мое назначеніе нимало не затемнилось первою неудачею. Если попытка моя на западѣ не принесла желаемыхъ результатовъ,—разсуждалъ я самъ съ собою:—то это значитъ только, что я не потрафилъ, и что нужно потрафлять гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ. Меня начала интересовать мысль: не съѣздить ли, для начала, поцивилизовать слегка, напримѣръ, въ Рязанскую или Тамбовскую губерніи? И, не задумываясь долго, я набралъ съ десятокъ здоровыхъ, хотя и довольно голодныхъ ребятъ, хватилъ для храбрости очищенной и, крикнувъ: «ребята! съ нами Богъ!» ринулся...

Могу сказать смѣло: я дѣйствовалъ по всѣмъ правиламъ искусства, то-есть цивилизовалъ все, что попадалось мнѣ по пути. Но и тутъ неудача не переставала меня преслѣдовать. Оказалось, что въ этихъ благодатныхъ краяхъ все уже до такой степени процивилизовано, что мнѣ оставалось только преклониться ницъ передъ такими памятниками, какъ акведуки (пожарные бассейны), пирамиды (каланчи), термы (народныя бани), величественныя зданія волостныхъ и сельскихъ расправъ, вымощенныя известковымъ камнемъ улицы и проч., и проч. Однажды, видя, какъ на базарной площади безпомощно утопали возы съ крестьянскою жалкою кладью, я невольно воскликнулъ: — да чего же имъ, мерзавцамъ, еще нужно?—и долженъ былъ отступить. Очевидно, тутъ сталкивались двѣ цивилизаціи совершенно равноправныя: одна, которую хотѣлъ насадить я съ своими «ребятами», и другая, которую постепенно насаждалъ цѣлый рядъ «ребятъ», начиная отъ знаменитаго своими проказами Ударъ-Ерыгина и кончая Колькой Шелопаевымъ.

Признаюсь, эта вторая неудача еще больше озадачила меня, хотя я и скрывалъ мое огорченіе. Но товарищи мои крѣпко пріуныли. И не мудрено: весь запасъ очищенной былъ выпитъ безъ остатка, а за минуту передъ тѣмъ мы съѣли послѣдній кусокъ колбасы. Въ долгъ никто не вѣрилъ... Куда дѣвать никому не нужную силу? Гдѣ найти секретъ, который давалъ бы возможность просвѣщать безъ просвѣщенія, палить безъ пороху, сѣчь безъ розогъ? Какое употребленіе сдѣлать изъ рукъ, которыя такъ и цѣпляются, такъ и хватаютъ? А главное: какъ добыть очищенной, не имѣя гроша за душой, спустивши все до послѣдней нитки, не зная никакого ремесла, никакихъ даже словъ, кромѣ: «рады стараться!» и—«съ нами Богъ!»? Всякій согласится, что положеніе болѣе безвыходное, болѣе трагическое—трудно себѣ представить!

По временамъ мною овладѣвали движенія совершенно безсознательныя. Я вскакивалъ съ мѣста и бѣжалъ впередъ, самъ не зная куда. Будь у меня въ рукахъ штофъ водки, я былъ бы способенъ въ одну минуту процивилизовать насквозь цѣлую палестину! Я бросался и на западъ, и внутрь, все въ надеждѣ что-нибудь зацѣпить, что-нибудь ущемить... Тщетно! Я чувствовалъ, что во мнѣ сидитъ что-то такое, чему нѣтъ имени... или нѣтъ! это ужасное имя есть, и называется оно—разоренье! Неоткуда ничѣмъ раздобыться, некуда ничего нести... Все вздоръ, все обольщеніе и прахъ! Ничего у меня не осталось, кромѣ ужаснаго аппетита!

Жррррать!!

И вдругъ я услышалъ слово, которое сразу заставило забиться мое сердце. Я остановился и притаилъ дыханіе.

— Таш-кентъ! Таш-кентъ! — слаще всякой музыки раздавалось въ ушахъ моихъ.

Жррррать!!

Сенька Броненосный! Ты, который выдумалъ это слово, ты не понималъ и самъ, какіе новые пути оно открываетъ твоимъ добрымъ товарищамъ! Ты произнесъ его безсознательно, въ порывѣ отчаянія, но услуга, которую оказала твоя безсознательность, останется навсегда незабвенною. Покуда я размышлялъ и соображалъ, товарищи шумѣли и спорили; слово «Ташкентъ» было у всѣхъ на языкѣ.

— Ташкентъ!—ораторствовалъ другъ мой, Аркашка Пустолюбовъ: — но поймите же, messieurs, вѣдь это только географическій терминъ, вѣдь это просто пустое мѣсто, въ

которомъ не только удобствъ, но даже ѣды никакой, кромѣ баранины, нѣтъ!

— Жррррать!—какъ-то особенно звонко раздавалось въ ушахъ.

— Однако, mon cher,—возражалъ Сеня Броненосный:— баранина... c'est très succulant! on en fait du schischlik... qui n'est pas du tout à mépriser! Я нахожу, что это вещь очень почтенная, а въ нашемъ положеніи даже далеко не лишняя.

— Жррррать!

— Позвольте! ну, положимъ — баранина! но общество женщинъ? гдѣ, я васъ спрашиваю, найдемъ мы общество женщинъ?

Но я уже не слушалъ; уста мои шептали: стоя на рубежѣ...

Господи! ужели же наконецъ тѣ цѣли, о которыхъ говорилъ учебникъ статистики, будутъ достигнуты!

Я прогорѣлъ, какъ говорится, до тла. На плечахъ у меня была довольно ветхая ополченка (воспоминаніе севастопольской брани, которой я, впрочемъ, не видалъ, такъ какъ извѣстіе о мирѣ застало насъ въ одинъ переходъ отъ Тулы; впослѣдствіи эта самая ополченка была свидѣтельницей моихъ усилій по водворенію началъ восточной цивилизаціи въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ), на ногахъ—соотвѣтствующія брюки. Затѣмъ, кромѣ голода и жажды — ничего!

Въ такомъ положеніи я на послѣднія деньги взялъ себѣ мѣсто въ вагонѣ третьяго класса, чтобы искать счастья въ Петербургѣ.

Я еще прежде замѣчалъ, что по какой-то странной случайности составъ путешественниковъ, наполняющихъ вагоны, почти всегда бываетъ однородный. Такъ, напримѣръ, бываютъ вагоны совершенно глупые, что въ особенности часто случалось вскорѣ послѣ заведенія спальныхъ вагоновъ. Однажды, помѣстившись въ спальномъ вагонѣ второго класса, я былъ лично свидѣтелемъ, какъ одинъ путешественникъ, не успѣвши еще осмотрѣться, сказалъ:

— Ну, теперича намъ здѣсь преотлично! ежели мы теперича даже совсѣмъ раздѣнемся, такъ тутъ никто ничего намъ сказать не можетъ!

И дѣйствительно, онъ скинулъ съ себя все, даже сапоги, и въ одномъ бѣльѣ началъ ходить взадъ и впередъ по отдѣленіямъ. Эта глупость до того заразила весь вагонъ, что

черезъ минуту уже всѣ путешественники были въ одномъ бѣльѣ и радостно приговаривали:

— Ну, теперь намъ здѣсь преотлично! теперь ежели мы и совсѣмъ раздѣнемся, такъ никто ничего сказать намъ не смѣетъ!

И такимъ образомъ ѣхали всѣ вплоть до Петербурга, то раздѣваясь, то одѣваясь и выказывая радость неслыханную.

Точно такъ же было и въ настоящемъ случаѣ; вагонъ, въ которомъ я помѣстился, можно было назвать по преимуществу ташкентскимъ. Казалось, люди, собравшіеся тутъ, были не отъ міра сего, но принадлежали къ числу выходцевъ какой-то отдаленной эпохи. Большинство состояло изъ отставныхъ служакъ, уже порядочно обколоченныхъ жизнью, хотя тамъ и сямъ виднѣлось и нѣсколько молодыхъ людей, жертвъ преждевременной страсти къ табаку и водкѣ. Никакимъ другимъ цивилизующимъ орудіемъ они не обладали, кромѣ сухихъ, мускулистыхъ и чрезвычайно цѣпкихъ рукъ, которыми они по временамъ какъ будто загребали. На многихъ были одѣты такія же ополченки, какъ и на мнѣ; отъ многихъ отдавало запахомъ овчины и водки. Но всѣ говорили безъ устали, въ душѣ у всякаго жила надежда. Надо было видѣть, съ какою поспѣшностью проглатывали они на станціяхъ стаканы очищенной, съ какими судорожными движеніями отдирали зубами куски зачерствѣлой колбасы! Казалось, земля горѣла подъ ихъ ногами, и они опасались только одного: какъ бы не упустить времени!

— Да-съ, — говоритъ кто-то въ одномъ углу: — это, я вамъ доложу, сторонка! сверху палитъ, кругомъ песокъ... воды — ни капли! Ну, да вѣдь мы люди привышные!

— Такъ-то такъ, только насчетъ ѣды... ну, и тово-воно какъ оно—и этого тоже нѣту.

— Помилуйте! да какой вамъ ѣды лучше! баранина есть, водка есть... выпилъ рюмку, выпилъ другую, съѣлъ кусокъ...

— То-то, что водка-то тамъ кусается; а хлѣбнаго такъ, сказываютъ, и въ заводѣ нѣтъ!

— Такъ что-жъ! еще лучше — изъ рису ее тамъ дѣлаютъ! Отъ этой, отъ рисовой-то, и голова никогда не болитъ.

Въ другомъ углу:

— Въ этихъ-то обстоятельствахъ, доложу вамъ, я уже не въ первый разъ нахожусь...

— Ссс!..

— Да-съ, вотъ тоже въ шестьдесятъ третьемъ году, сижу, знаете, слышу: шумятъ! Ну, думаю, люди нужны! Надѣваю вотъ эту самую дубленку и прямо къ покойному генералу! Вышелъ... хрипитъ! — «Ну?» говоритъ. — Такъ и такъ, говорю, — готовъ! — «Хорошо, говоритъ, мнѣ люди нужны»... Только и словъ у насъ съ нимъ было. Налѣво кругомъ... Качай! И какую я, сударь, тамъ по̀лечку подцѣпилъ—масло!

— Д-да... а теперь, пожалуй, объ по̀лечкахъ-то надо будетъ забыть! Это такой край, что тутъ не то чтобы что̀, а какъ бы только перехватить что-нибудь!

— Что̀ вы! да развѣ вы не слышали, какая у нихъ тамъ баранина?..

Въ третьемъ углу:

— Мнѣ бы, знаете, годикъ-другой, — а потомъ урвалъ свое и на боковую!

— Что̀ вы! что̀ вы! да вы не разстанетесь! тамъ, я вамъ доложу, такая баранина...

Въ четвертомъ углу:

— Такъ вы изволите говорить, что тринадцать дѣлъ за собой имѣете?

— Тринадцать разъ, шельма, подъ судъ отдавалъ! двѣнадцать разъ изъ уголовной чистъ выходилъ—ну, на тринадцатомъ скапутился!

— Однако теперь Богъ милостивъ!

— Теперь, батюшка, наше дѣло вѣрное! — завтра къ вечеру пріѣдемъ, послѣзавтра чѣмъ свѣтъ въ канцелярію... Отрапортовалъ... сейчасъ тебѣ въ зубы подорожную, прогоны и прочее... А ужъ тамъ-то, на мѣстѣ-то, какое житье! баранина, я вамъ скажу...

Въ пятомъ углу:

— Не посчастливилось мнѣ, mon cher!—говоритъ одинъ молодой человѣкъ другому (у обоихъ надъ губой едва пробивается пушокъ):—изъ школы выгнали... ну, и рѣшился!

— А я такъ долговъ надѣлалъ, вотъ отецъ и говоритъ: «ступай, говоритъ, мерзавецъ, въ Ташкентъ!»

— Однако вашъ родитель нельзя сказать, чтобы былъ очень учтивъ!

— Какое учтивъ! Такими словами ругается, что хоть любому вахмистру... Ну, да, впрочемъ, это все пустяки! а

меня вотъ что̀ пугаетъ: какъ-то тамъ будетъ насчетъ лакомства?!

— Говорятъ, будто ташкентскія принцессы очень недурны...

— Гм... вѣдь мы въ полку-то разбаловались. Вотъ тоже и объ ѣдѣ не совсѣмъ одобрительные слухи ходятъ!

— Однако я слышалъ, что баранину можно достать отличную...

Въ шестомъ углу:

— Такъ вы и съ супругой туда отправляться изволите?

— Конечно! нельзя же!—она у меня баба походная!

Молодые люди прислушиваются, улыбаются и подмигиваютъ другъ другу. Одинъ изъ нихъ шопотомъ говоритъ:— Ну, вотъ! значитъ, и насчетъ лакомства сомнѣваться нечего!

— Только тяжеленько имъ будетъ, супругѣ-то вашей!— продолжаетъ одинъ изъ прежнихъ голосовъ:—вѣдь тамъ ни съѣсть, ни испить сладенько...

— И! что̀ вы—да тамъ, говорятъ, такая баранина...

Въ седьмомъ углу:

— Откровенно вамъ доложу: я ужъ маленько отъ медицины-то поотсталъ, потому что и выпущенъ-то я изъ академіи почесть-что при царѣ Горохѣ. Однако травки нѣкоторыя еще знаю.

— Конечно! конечно! съ нихъ и этого будетъ!

— Народъ простой, непорченный-съ. Опять, сказываютъ, что у нихъ даже простая баранина отъ многихъ недуговъ исцѣляетъ!

Въ восьмомъ углу:

— Проповѣдывать — можно! Только вотъ сказываютъ, что они по постамъ баранину лопаютъ, — ну, это истребимо съ трудомъ!

Однимъ словомъ, всѣ заканчиваютъ свои рѣчи бараниной, всѣ надѣются на баранину, какъ на каменную гору. Такъ что мой другъ Сеня Броненосный слушалъ-слушалъ, но наконецъ не вытерпѣлъ и сказалъ:

— Если эта баранина хоть въ сотую долю такъ вкусна, какъ объ ней говорятъ, то я увѣренъ, что черезъ полгода въ странѣ не останется ни одного барана!

Увы! такова судьба цивилизующаго начала! Оно истребляетъ туземныхъ барановъ и взамѣнъ того научаетъ обывателей удовлетворяться духовною пищею! Кто въ выиг-

рышѣ? кто въ проигрышѣ?—тѣ ли, которые удѣляютъ пришельцу частицу стадъ своихъ, или тѣ, которые, въ возвратъ за это, приносятъ съ собой драгоцѣннѣйшій изъ всѣхъ плодовъ земныхъ—просвѣщеніе?

Но здѣсь я долженъ сдѣлать довольно горькое для моего самолюбія признаніе. Я чувствую, что въ жизни моей готовится что-то рѣшительное, а это невольно заставляетъ меня чаще и чаще обращаться къ самому себѣ. Бываютъ минуты, когда откровенная оцѣнка пройденнаго пути становится настоятельнѣйшею потребностью всего человѣческаго существа. Повидимому, одна изъ такихъ минутъ наступаетъ теперь для меня...

Сознаюсь безъ оговорокъ: я не имѣю права быть очень высокаго о себѣ мнѣнія. Лучшее изъ качествъ, которыми я обладаю, есть нѣчто въ родѣ Сократовскаго: «я знаю, что ничего не знаю». Несмотря на свою незамысловатость, это свойство значительно помогло мнѣ въ жизни, такъ какъ оно дѣлало изъ меня во всякое время и во всякомъ мѣстѣ лихого исполнителя. Я никогда не изобрѣту пороха (даже если мнѣ формально *прикажутъ* изобрѣсти — я и тогда какъ-нибудь отшучусь); но если его изобрѣтутъ другіе — я очень радъ. Палить я тоже готовъ во всякое время, и ежели не встрѣчу слишкомъ серьезныхъ препятствій, то могу выказать храбрость несомнѣнную. Не помню, въ какой именно изъ шекспировскихъ комедій герой пьесы задаетъ себѣ вопросъ: что такое невинность? — и весьма резонно отвѣчаетъ: невинность есть пустая бутылка, которую можно наполнить какимъ угодно содержаніемъ. Хотя съ точки зрѣнія моралистовъ это сравненіе для меня не совсѣмъ выгодно, но я долженъ сказать правду (разумѣется, по секрету), что оно подходитъ ко мнѣ довольно близко. Пустая бутылка! — лестнаго, конечно, немного для меня въ этомъ сравненіи — но для чего-жъ бы однако-жъ я сталъ отрекаться отъ этого званія? Развѣ міръ не наполненъ сплошь такими же точно пустыми бутылками, какъ и я? и развѣ сущность дѣла можетъ измѣниться отъ того, что нѣкоторыя изъ этихъ бутылокъ высокомѣрно называютъ себя «сосудами»?

Я тѣмъ меньше имѣю основанія конфузиться этого названія, что сдѣлался пустою посудой далеко не произвольно. Тутъ, задолго до меня, ужъ были цѣлыя поколѣнія пустыхъ посудинъ, которыя, дребезжа и звеня, такъ много о себѣ надребезжали и назвенѣли, что, казалось, и впрямь нѣтъ

званія болѣе почетнаго, болѣе счастливаго и спокойнаго, какъ званіе пустой бутылки. Званіе это не только насижено, но и по штатамъ значится подлежащимъ немедленному замѣщенію, какъ только открывается свободная вакансія. Тутъ нѣтъ мѣста ни для размышленій, ни для колебаній. Вы являетесь въ жизнь, объявляете имя и фамилію. «Записать его въ званіе пустой бутылки»—и вы записаны...

Съ моей стороны уже и то значительный шагъ впередъ, что я начинаю смутно сознавать, что ничто не способно такъ скоро дать трещину, какъ посудина, которую слишкомъ часто то наполняютъ, то опоражниваютъ. Я чувствую, что уже недалекъ моментъ разложенія, тотъ моментъ, когда навсегда долженъ быть поколебленъ авторитетъ балалаекъ, пустыхъ бутылокъ, упраздненныхъ головъ и т. п. Но, если я сознаю, что такой результатъ неизбѣженъ, это нимало не обязываетъ меня стараться о приближеніи минуты, которая должна превратить бутылки въ черепки. Совсѣмъ напротивъ. Я думаю даже, что если-бъ я дѣйствовалъ въ смыслѣ приближенія этой минуты, то такая дѣятельность была бы противна и здравому смыслу, и чувству самосохраненія. Что̀ говоритъ мнѣ здравый смыслъ? — онъ говоритъ: какъ ты ни бейся, но кромѣ пустой бутылки ничего изъ тебя не выйдетъ. Что̀ говоритъ чувство самосохраненія? — оно говоритъ: неужели же погибать изъ-за того только, что явился въ свѣтъ пустою посудиной? и явился непроизвольно, нимало не участвуя въ этомъ актѣ ни сознаніемъ, ни волею?.. Что̀ остается мнѣ дѣлать послѣ такихъ отвѣтовъ? Измѣниться — я не могу; погибнуть — не имѣю ни малѣйшей охоты. Остается, стало-быть, откровенно стать въ ряду пустыхъ бутылокъ и этимъ дѣйствіемъ окончательно закрѣпить законность моего присутствія на аренѣ всероссійской цивилизующей дѣятельности.

Какъ бы то ни было, но я живу; а если живу, то, стало-быть, имѣю и право отстаивать свое существованіе. Но отстаивать его я не могу иначе, какъ продолжая быть той самой пустой бутылкою, какою сдѣлали меня обстоятельства. Иначе я буду исключенъ изъ жизни. Покуда порожняя посуда имѣетъ возможность дребезжать и звенѣть, моя обязанность—тоже дребезжать и звенѣть и время отъ времени наполняться тою жидкостью, которая наиболѣе подходитъ ко вкусамъ минуты. Какая это жидкость — до этого мнѣ нѣтъ дѣла, ибо я не просто бутылка, а бутылка, относящаяся съ полнымъ равнодушіемъ къ тому, что̀ ее

наполняетъ. Зная, что я ничего не знаю, я обязываюсь чѣмъ-нибудь замѣнить эту пустоту и замѣняю ее готовностью. Поэтому я переимчивъ, вертлявъ, дерзокъ на услугу и ни передъ какой профессіей не задумываюсь. Никто не засталъ меня ни въ какихъ подвигахъ, которые могли бы свидѣтельствовать, что̀ я такое, и это въ совершенствѣ обезпечиваетъ мою свободу. Я публицистъ, метафизикъ, реалистъ, моралистъ, финансистъ, экономистъ, администраторъ. По нуждѣ, я могу быть даже другомъ народа. Вчера существовало крѣпостное право — я былъ крѣпостникомъ; сегодня крѣпостное право отмѣнено — я удивляюсь, какъ можно было дожить до настоящей вожделѣнной минуты и не задохнуться. Всякая минута застаетъ меня врасплохъ и всякая же минута находитъ меня готовымъ. Сколь разнообразны вольныя художества въ Россійской имперіи, столь же разнообразны и роды моей готовной дѣятельности. Надъ всѣми ими паритъ одно: моя всегдашняя непоколебимая готовность слѣдовать указанію всякаго одареннаго способностью указывать перста, хотя бы этотъ перстъ былъ и запачканъ. Не ужасайтесь этой способности, не клеймите его именемъ разврата; это дѣйствительно развратъ, но развратъ добросовѣстный (бываетъ же добросовѣстное воровство!), развратъ лишь *до нѣкоторой степени*, точно такъ, какъ и все прочее, что̀ во мнѣ ни есть,—все добросовѣстно и все развратно лишь *до нѣкоторой степени*.

Иногда мнѣ случается накуралесить серьезно: обрушить какой-нибудь монументъ, передавить при этомъ цѣлую уйму людей. Изъ этого одни заключаютъ, что я имѣю злое сердце и дѣлаю вредъ преднамѣренно; другіе—что я человѣкъ рѣшительный, дѣйствующій во имя какихъ-то сознанныхъ мною идей. Я вслушиваюсь въ эти толки и смѣюсь себѣ втихомолку; ибо я очень хорошо понимаю, что въ дѣйствительности я только веселонравный мужчина, которому хочется удивить вселенную своею стремительностью. Я могу сколько угодно бить, давить, неистовствовать, ходить колесомъ — и никто не имѣетъ права вмѣнить мнѣ это ни въ злодѣяніе, ни даже въ озорство. Помилуйте! я самъ къ своимъ дѣяніямъ отношусь совершенно объективно, то-есть исключительно съ точки зрѣнія чистоты отдѣлки. Я лечу, стремлюсь, хватаю, ловлю, мало того: я радуюсь, трепещу, страдаю, скрежещу зубами... о, если-бъ знали, что все это не болѣе, какъ угаръ! если-бъ могли видѣть, какъ разрывается послѣ этого угара голова, какъ болѣзненно бьется и сжимается сердце!..

Многіе спрашиваютъ меня: чего-жъ я достигъ? Но развѣ на этотъ вопросъ я, съ своей стороны, не могу отвѣтить другимъ вопросомъ: а чего же, милостивые государи, можетъ достигнуть человѣкъ, прогорѣвшій до тла? человѣкъ, который не имѣетъ ни воспоминаній, ни надеждъ, у котораго нѣтъ ничего внутри, кромѣ разоренія?—Конечно, ничего другого, кромѣ того, чтобы какъ-нибудь не пропасть, чтобъ не быть въ концѣ искалѣченнымъ и хоть изрѣдка да возобновлять въ себѣ вкусъ тѣхъ благъ, которыя *теперь* выбрасываются ему въ видѣ обглоданной кости, но которыя *нѣкогда* составляли фондъ его существованія. Если я достигаю всего этого—я считаю себя вполнѣ удовлетвореннымъ. Воспоминаніе о потерянныхъ благахъ жизни переносится совсѣмъ не такъ легко, какъ это можетъ казаться съ перваго взгляда. Оно до послѣдней минуты волнуетъ и раздражаетъ плѣнное воображеніе; оно преслѣдуетъ, жжетъ, оно медленно, всечасно отравляетъ. Въ настоящемъ—воздержаніе и тоска; впереди—вино, игра, женщины... а въ промежуткѣ—лишь небольшой океанъ грязи, который необходимо переплыть... Ужели же найдется глупецъ, который, благословясь, не бросится вплавь?

Грязи! какой грязи? въ этомъ весь вопросъ!

Если-бъ эта грязь пачкала наглядно, осязательно, если-бъ она измѣняла наружность человѣка, уничтожала ея элегантность, дѣйствовала тлетворнымъ образомъ на зрѣніе и обоняніе сосѣдей — тогда такъ! Тогда, конечно, и самый отчаянный человѣкъ задумался бы прежде, чѣмъ окунуться въ нее. Но вѣдь это грязь отвлеченная, метафизическая,—грязь, о которой ces dames даже понятія никакого не имѣютъ!

Переплывите этотъ грязный океанъ, окунитесь въ него съ головою, ныряйте, шалите сколько угодно — и вы все-таки выйдете на берегъ, словно изъ душистой ванны! Ни одного брызга! ни одного пятнышка! Мало того, ваши одежды получаютъ даже какой-то особенный, не лишенный пикантности, блескъ!

Мнѣ во сто кратъ болѣе досадна моя ветхая ополченская поддевка, нежели та незримая одежда пороковъ, которую такъ охотно навязываютъ всѣмъ и каждому особаго рода цеховые, именующіе себя моралистами. Неприличіе и безконечную ядовитость моей поддевки я понимаю сразу. Ея появленіе вноситъ конфузъ въ порядочныя семейства, заставляетъ умолкнуть самые оживленные разговоры, рас-

ширяетъ изумленіемъ глаза; однимъ словомъ, уничтожаетъ веселость, гармонію, движеніе и жизнь. Какъ бы я ни былъ самостоятеленъ, я не могу не сказать внутренно: «да, твое мѣсто не здѣсь; не среди этихъ цвѣтущихъ силою и увѣренностью людей, а тамъ, въ вагонѣ третьяго класса, въ кругѣ людей надломленныхъ, потухшихъ и полинявшихъ, людей съ завистливыми взорами, людей, торопливо проглатывающихъ очищенную и раздирающихъ зубами окаменѣлую колбасу!» Въ эти горькія минуты я явственно слышу, какъ внутренности мои колышутся подъ наплывомъ ненависти — ненависти къ кому? Къ тѣмъ ли, которые меня презираютъ? Нѣтъ, не къ нимъ, ибо они представляютъ идеалъ, къ которому стремятся всѣ мои помыслы и которому я могу завидовать, но ненавидѣть не могу. Къ кому же? — а именно къ тѣмъ, кого я самъ презираю, къ тѣмъ моимъ собесѣдникамъ по вагону третьяго класса, которые вчера простодушно сообщали мнѣ о своихъ видахъ на ташкентскую баранину!

Эти ужасные люди своимъ участіемъ, своимъ панибратствомъ каждую минуту уничтожаютъ меня. Они напоминаютъ мнѣ, что я не что иное, какъ un homme perdu de dettes, что я такой же проходимецъ, пропойца, прощалыга, какъ они всѣ, что я одинъ изъ тѣхъ любопытныхъ субъектовъ, которые растратили молодость, силу, таланты и состояніе — на что? — на лестное знакомство съ половыми московскихъ трактировъ! Какъ же мнѣ не ненавидѣть ихъ! Какъ не броситься мнѣ въ какой угодно омутъ, лишь бы освободиться изъ плѣна ихъ ужаснаго панибратства!

И я достигну этого! Въ Ташкентѣ ли, или въ другомъ мѣстѣ, но я дойму этихъ людей, пятнающихъ меня своимъ прикосновеніемъ!

Да, если ужъ заводить рѣчь о какихъ-то метафизическихъ пятнахъ, незримо ложащихся на какую-то не менѣе метафизическую совѣсть, то прежде надлежитъ изобрѣсти средство, которое выгоняло бы эти пятна наружу и заставляло бы ихъ горѣть на лбу и щекахъ человѣка неизгладимымъ свидѣтельствомъ того праха, которымъ преисполнено въ немъ все, за исключеніемъ сюртука и штановъ, всегда находящихся въ безукоризненной исправности! А такъ какъ этого средства, по счастью, не изобрѣтено, то стало-быть...

Но довольно морализировать.

Я зналъ, что главнымъ двигателемъ по части ташкентской цивилизаціи состоитъ нѣкто Пьеръ Накатниковъ, мой старый товарищъ по школѣ. Онъ занимался организаціей арміи цивилизаторовъ; онъ кликалъ кличъ и вербовалъ охочихъ людей; онъ отправлялъ ихъ цѣлыми транспортами къ мѣсту назначенія, распоряжался перевозочными средствами и т. д., и т. д.

Каждаго человѣка судьба снабжаетъ какою-нибудь спеціальностью. Однихъ она дѣлаетъ спеціалистами по части юридическихъ вопросовъ, другихъ—спеціалистами по части вопросовъ педагогическихъ, третьихъ (большинство)—спеціалистами по части «очищенной» и т. п. Спеціальность Накатникова заключалась въ распространеніи цивилизаціи. Никто не имѣлъ права съ бо́льшимъ основаніемъ сказать: «сто́я на рубежѣ», какъ Накатниковъ. Въ немъ это была страсть до того живая и безпокойная, что онъ ни минуты не могъ посидѣть на мѣстѣ, чтобъ не озаботиться насчетъ того или другого темнаго уголка, какимъ-нибудь чудомъ ускользнувшаго отъ его цивилизующаго вліянія! Онъ неоднократно уже дѣлывалъ весьма замѣчательные въ этомъ смыслѣ походы и потому былъ чрезвычайно опытенъ. Мало того, что онъ могъ заранѣе опредѣлить всѣ матеріальныя подробности похода (заготовленіе цивилизующихъ орудій, количество ихъ и т. д.), но инстинктивно угадывалъ, что́ кому требуется. Разумѣется, всего нужнѣе оказывались разные принципы. Такъ, напримѣръ, направляя стопы свои на западъ, онъ напередъ говорилъ, что первый принципъ, съ которымъ надлежитъ ближе познакомить обывателей — это le principe du stanovoy russe. Устремляясь внутрь, онъ знакомилъ невѣждъ съ принципомъ строгости и скорости во взысканіи податей. Теперь, когда дѣло шло объ отдаленномъ востокѣ, онъ, разумѣется, прежде всего задалъ себѣ вопросъ: чего имъ нужно? — и тотчасъ же, съ свойственною ему проницательностью, рѣшилъ, что прежде всего необходимо познакомить ташкентцевъ съ principe du télègue russe. Я это зналъ и, разумѣется, приготовилъ нѣсколько нелишнихъ соображеній въ этомъ смыслѣ.

Признаюсь, я не безъ волненія переступилъ порогъ канцеляріи, въ которой должна была рѣшиться моя участь. Накатниковъ былъ нѣкогда моимъ другомъ — это правда, но въ то же время я зналъ, что ему небезызвѣстна была моя цивилизующая дѣятельность въ одной изъ западныхъ

губерній... Это меня смущало, потому что я велъ себя тогда... ахъ, какъ я себя тогда велъ! Къ счастію, я могъ утѣшить себя тою мыслью, что современный контингентъ нашихъ цивилизующихъ силъ все тотъ же, который дѣйствовалъ и на западѣ, и внутри, и что, слѣдовательно, какъ ни бейся, а обойти насъ ни подъ какимъ видомъ нельзя.

Когда я вошелъ въ пріемную, всѣ мои вчерашніе спутники по вагону были уже налицо. Многіе изъ нихъ почистились; всѣ были положительно трезвы. Такія физіономіи встрѣчаешь только въ пріемные дни въ канцеляріяхъ да въ церквахъ передъ причастіемъ. Кромѣ ихъ, набралось еще много другого народа, столь же рѣшительнаго и столь же скудно, но чистенько одѣтаго. Пьеръ онрашивалъ каждаго по одиночкѣ и главное вниманіе обращалъ на спеціальности, могущія служить подспорьемъ въ дѣлѣ цивилизаціи. Въ большей части случаевъ онъ встрѣчалъ просителей какъ старыхъ знакомыхъ, ужъ извѣстныхъ ему по цивилизующей дѣятельности на западѣ и внутри. По движенію его лица я убѣдился, что и мой приходъ не остался имъ незамѣченнымъ.

Странно играетъ судьба людьми. Я зналъ Пьера въ школѣ и зналъ, что тамъ онъ игралъ довольно незавидную роль. Какъ сейчасъ вижу его: сидитъ передъ складнымъ зеркальцемъ и вѣчно причесываетъ волосы. На губахъ улыбка, и около верхней губы, въ углу, шевелится кончикъ языка: изнутри слышится какое-то неопредѣленное мурлыканье. Чешется-чешется, потомъ нагнется, заглянетъ въ зеркальце, помурлычитъ, что-то поправитъ — и опять начнетъ мѣрно водить щеткой по головѣ. Никто не зналъ, о чемъ онъ думалъ, и даже думалъ ли о чемъ-нибудь. Въ тѣ минуты, когда онъ бывалъ свободенъ отъ туалета, мы хотя и видали его движущимся, но всегда поневолѣ и всегда съ опредѣленною цѣлью: что-нибудь взять, исполнить какое-нибудь правило, предписываемое уставомъ заведенія. И всегда при этомъ кончикъ языка прилизывалъ зачинающійся надъ верхнею губою усъ. Казалось, въ немъ происходила какая-то работа, только нельзя сказать, чтобъ очень умная. Въ улыбкѣ его (а онъ улыбался постоянно) видѣлось что-то сардоническое, вопросительное, какъ будто онъ самъ себя спрашивалъ: «чему же я однако улыбаюсь?» Говорилъ онъ рѣдко, да и то односложными словами, и ежели бы не обязательная сдача уроковъ, которая

все-таки требовала нѣкоторой связности рѣчи, едва ли кто-нибудь изъ насъ имѣлъ бы возможность утверждать, въ состояніи ли онъ сказать кряду два слова. Онъ никогда не дрался, никогда ни къ кому не приставалъ; его можно было дразнить и даже щипать — онъ только пожимался и изрѣдка произносилъ единственное, завѣтное слово: «шутъ!» Когда же случалось, что его раздражали свыше всякой мѣры, то онъ молча вскакивалъ изъ-за туалета, молча схватывалъ первый попавшійся подъ руку предметъ: книгу, чернильницу, линейку, и молча же швырялъ ею въ обидчика. Такимъ образомъ, молча, улыбаясь и какъ-то машинально слѣдуя за всѣми товарищескими движеніями, прожилъ онъ съ нами шесть лѣтъ. Никто не могъ назвать его своимъ другомъ, но всѣ видѣли въ немъ добраго товарища. Въ курсѣ онъ вышелъ послѣднимъ.

И вдругъ мы узнаемъ, что нашъ Петя трется около какого-то генерала, и что тотъ употребляетъ его въ качествѣ цивилизатора!..

Но счастье ужасно измѣняетъ человѣка. Въ ту минуту, какъ я пишу эти строки, Накатниковъ уже состоитъ въ чинѣ штатскаго генерала, имѣетъ на груди очень почтенное украшеніе... и говоритъ! Я не могу утверждать, что онъ говоритъ разумно, но онъ говоритъ, и этого уже для меня достаточно. Слова слѣдуютъ другъ за другомъ въ порядкѣ; по временамъ можно даже различить мысленное присутствіе знаковъ препинанія. Чего больше нужно? Прежняя бродячая улыбка еще мелькаетъ на губахъ, но теперь она уже имѣетъ характеръ благосклонности; кончикъ языка попрежнему безпокойно прилизываетъ искусно заправленные концы усовъ, но теперь это движеніе уже не кажется просто инстинктивнымъ, а выражаетъ какую-то озабоченность. Голова его причесана еще тщательнѣе; безукоризненные бакенбарды обрамливаютъ блистающее свѣжестью лицо; но ничто не напоминаетъ ни о долгихъ часахъ туалета, ни о томительныхъ совѣщаніяхъ по поводу какого-нибудь непокорнаго волоска. Напротивъ того, кажется, что Пьеръ исключительно поглощенъ заботами своей миссіи, а прическа тутъ такъ-себѣ... пришла сама собою.

Какъ произошла эта метаморфоза—я съ точностью объяснить не могу, но несомнѣнно, что тутъ большую роль играло то случайное положеніе, которое Пьеръ умѣлъ занять. Положенія обязываютъ. Съ расширеніемъ горизонтовъ, явленія самыя общеизвѣстныя и безспорныя утрачи-

ваютъ свою рѣзкость и даже измѣняютъ свои первоначальныя названія. Глупость начинаетъ называться благодушіемъ, коварство—дипломатіей, мошенничество—искусствомъ жить на свѣтѣ. Въ чинѣ коллежскаго регистратора Пьеръ былъ глупъ; теперь, въ чинѣ штатскаго генерала, онъ сдѣлался благодушенъ. Глупость непріятна, и ежели не представляетъ положительнаго порока, то во всякомъ случаѣ никого не украшаетъ; напротивъ того, благодушіе есть качество очень положительное и по преимуществу украшающее...

Пьеръ обошелъ всѣхъ по очереди, всѣмъ сказалъ слово ободренія и надежды, и когда приблизился къ моему сосѣду, то я совершенно явственно услышалъ какъ бы случайно оброненное имъ слово: «шутъ!»

Я понялъ, что это слово было пущено по моему адресу, и, признаюсь откровенно, весь вспыхнулъ отъ удовольствія. Это слово разомъ перенесло меня къ милой односложности нашего школьнаго прошлаго. Мало того, оно заключало въ себѣ отпущеніе всѣхъ моихъ недавнихъ проказъ. Я просвѣтлѣлъ и переминался съ ноги на ногу, въ ожиданіи аудіенціи. Я видѣлъ въ немъ уже не товарища и не глупца, незаслуженно занявшаго завидное положеніе, а какое-то высшее существо, которому я обязанъ былъ принести въ жертву все. «До послѣдней капли крови!» «не щадя живота!» «не токмо за страхъ, но и за совѣсть!»—вотъ единственныя формулы, которыя безсознательно вырабатывали мои мозги подъ вліяніемъ внезапнаго прилива преданности. Наконецъ просители были удовлетворены, и мы остались вдвоемъ.

— Шутъ! — повторилъ онъ, но такъ мило, такъ безконечно-благосклонно, что я могъ только произнести:

— Ради стараться, ваше превосходительство!

— Шутъ!

Онъ съ «небесною» улыбкой оглядѣлъ меня съ головы до ногъ и, остановившись на моемъ ополченскомъ казакинѣ, продолжалъ:

— Ба! и старый другъ на плечахъ!

Я былъ побѣжденъ и уничтоженъ. Со слезами на глазахъ я разсказалъ печальную повѣсть моихъ грѣхопаденій; признался ему во всемъ, даже...

— Ваше превосходительство! Я здѣсь передъ вами... какъ передъ отцомъ! казните, но не отнимайте отъ меня вашего расположенія!—заключилъ я прерывающимся отъ волненія голосомъ.

Такая довѣренность видимо польстила ему; онъ былъ тронутъ и съ чувствомъ пожалъ мою руку. Прошедшее было забыто; будущее открывалось, полное надеждъ и загадочныхъ предпріятій. Онъ объяснилъ мнѣ всю важность предстоящихъ задачъ и, постепенно развивая свои мысли, de fil en aiguille, пришелъ наконецъ къ тому, что онъ называлъ «la question du télègue russe». Этотъ вопросъ, по его мнѣнію, долженъ былъ явиться отправнымъ пунктомъ нашей будущей цивилизующей дѣятельности.

— Первоначальный способъ передвиженія, — говорилъ онъ: — несомнѣнно представляется намъ въ собственныхъ ногахъ человѣка. Неоспоримо, что прародители наши двигались именно этимъ способомъ, удовлетворяя своимъ немногочисленнымъ нуждамъ. Тѣмъ же способомъ двигаемся и мы, когда находимся внутри жилищъ нашихъ...

— Въ недавнее время заведены «посыльные», которые тоже...—осмѣлился вставить я отъ себя.

— Ну да, мы, наши прародители и «посыльные»—все это пользуется первоначальными способами передвиженія. Но не прерывай меня, mon cher, потому что мнѣ нужно высказать мою мысль вполнѣ. Итакъ, я сказалъ, что первоначальный способъ передвиженія заключается въ пѣшковой ходьбѣ. Но по мѣрѣ того, какъ человѣкъ порабощаетъ природу и укрощаетъ звѣрей, способы передвиженія усложняются; на смѣну пѣшковой ходьбы является ѣзда верхомъ на четвероногихъ. Выступаетъ понятіе о собственности, которая, на основаніи правила: omnia mea mecum porto, навьючивается, вмѣстѣ съ всадникомъ, на одно и то же животное. Это уже шагъ впередъ, но согласись со мной, что шагъ очень ограниченный (я сдѣлалъ знакъ головой и нѣсколько подкатилъ глаза, какъ будто хотѣлъ сказать: oh, comme je vous comprends, mon général!)... Собственность ничтожна, перевозочныя средства тоже—вотъ ключъ для объясненія существованія народовъ пастушескихъ, кочевыхъ. Они бродятъ, кочуютъ, не могутъ усидѣть на мѣстѣ... enfin, tout s'éxplique! Наконецъ появляется телѣга—этотъ неудобный и тряскій экипажъ! — но посмотри, какую онъ революцію произведетъ! Своею неудобностью онъ заставитъ обывателя остеречься излишнихъ передвиженій и тѣмъ самымъ привяжетъ его къ землѣ. Эта привязанность, съ своей стороны, породитъ понятіе о навозѣ. Видя постепенное накопленіе этого удобрительнаго матеріала, простодушный пастухъ спроситъ себя: что такое навозъ? и въ пер-

вый разъ задумается, въ первый разъ осѣнится мыслью, что навозъ, какъ и все въ природѣ, существуетъ не безъ цѣли. Онъ начинаетъ дорожить навозомъ, онъ видитъ въ немъ ses pénates et ses lares—и вотъ устраиваетъ около него свое жилище и незамѣтно для самого себя вступаетъ въ періодъ осѣдлости (oh! comme je vous comprends! comme je vous comprends, mon général!). Понимаешь? Человѣкъ заводитъ телѣгу, и этого простого факта, который чуть ли не каждый день проходитъ передъ нашими глазами незамѣченнымъ, совершенно достаточно, чтобъ онъ пріобрѣлъ элементарныя понятія о навозѣ и навсегда оставилъ кочевыя привычки! Но этого мало: имѣя телѣгу, онъ полагаетъ основаніе прочной цивилизаціи (oh, comme je vous comprends!). Понимаешь ли ты, какую радикальную реформу мы можемъ сразу произвести въ бытѣ этихъ несчастныхъ бродягъ, ничѣмъ не рискуя, ничего даже съ собою не принося... кромѣ телѣги! кромѣ простой русской телѣги! Aussi, je leur en donnerai... du télègue! Га!

Онъ кончилъ, а я стоялъ и все слушалъ. Я удивлялся только тому, какъ это мнѣ самому сто разъ не пришли въ голову мысли столь простыя и естественныя. Каждый день я вижу сотни телѣгъ, а никогда-таки не приходило на мысль, что тутъ-то именно и сидитъ вся суть цивилизующаго русскаго дѣла. Повидимому, и Пьеръ убѣдился, что я понялъ его намѣренія, потому что прервалъ свои объясненія и ласково сказалъ мнѣ:

— Ну, на первый разъ довольно! Я сегодня же доложу о тебѣ нашему генералу, и мы запишемъ тебя въ гвардію. Да, mon cher, и у насъ, ташкентцевъ, есть свои черноробочіе и свои гвардейцы. Que veux-tu! Первые—это такъ-называемые: les pion niers de la civilisation; они идутъ впередъ, прорубаютъ просѣки, пускаютъ кровь и такъ далѣе. Всѣ эти люди, которыхъ ты сейчасъ у меня видѣлъ,—все это кровопускатели. Если они погибаютъ, то въ общемъ ходѣ дѣла это почти остается незамѣченнымъ. Этихъ кровопускателей каждую минуту нарождается такое множество, что они такъ и лѣзутъ изъ всѣхъ щелей на смѣну другъ другу. Совсѣмъ другое дѣло—наша цивилизаціонная гвардія. Люди гвардіи не прорубаютъ сами просѣкъ, а только указываютъ и дирижируютъ работами. Имъ не позволяется погибать, потому что имъ ведется подробный счетъ. Сверхъ того, они получаютъ двойныя прогонныя и порціонныя деньги!

Должно-быть, впечатлѣніе, произведенное на меня по-

слѣдними словами, было особенно сильно, потому что Накатниковъ благосклонно улыбнулся и сказалъ:

— Понимаю! соловья баснями не кормятъ! C'est juste! Желаніе скорѣе разрѣшить вопросъ «о полученіи» съ твоей стороны совершенно естественно, особливо если принять во вниманіе, что «старый другъ», котораго ты такъ добросовѣстно хранишь на плечахъ, долженъ какъ можно скорѣе уступить мѣсто новому другу, болѣе приличной наружности. Завтра это дѣло будетъ покончено, а покамѣстъ...

Онъ далъ мнѣ некрупную ассигнацію и отпустилъ отъ себя, потому что новыя толпы просителей ожидали его. Я не шелъ домой, а летѣлъ, точно у меня выросли сзади крылья. По дорогѣ я забѣжалъ въ Палкинъ трактиръ и разомъ съѣлъ двѣ порціи бифштекса.

Цѣлый день я получалъ деньги.

Когда я пришелъ въ главное казначейство и явился къ тамошнему генералу (на всякомъ мѣстѣ есть свой генералъ), то даже этотъ, повидимому, нечувствительный человѣкъ изумился разнообразію параграфовъ и статей, которые я сразу предъявилъ. А что всего важнѣе, денегъ потребовалось куча неслыханная, ибо я, въ качествѣ ташкентскаго гвардейца, кромѣ собственныхъ подъемныхъ, порціонныхъ и проч., получалъ еще и другія суммы, потребныя преимущественно на заведеніе цивилизующихъ средствъ...

§ 15. Цивилизующія средства.

Ст. 20. Заготовленіе телѣгъ.

§ 26. Береговое довольствіе.

Ст. 14. Призрѣніе шлющихся и охочихъ людей. И т. д., и т. д.

Я считалъ деньги съ утра и до пяти часовъ. Сеня Броненосный, который получалъ при этомъ свои тощіе *ординарные* порціоны и прогоны, только облизывался.

Я помню, что въ этотъ день я все помнилъ.

Я помню, что на другой день отправился на желѣзную дорогу и взялъ мѣсто въ спальномъ вагонѣ второго класса.

Я помню, что былъ одѣтъ въ *хорошее* платье, что ѣлъ *хорошее* кушанье, что старая ополченка была спрятана въ чемоданъ. Черезъ плечо у меня висѣла дорожная сумка, въ которой хранились казенныя деньги.

Вотъ это я помню...

Но какимъ образомъ я очутился въ Ростовѣ-на-Дону?!! И не въ хорошемъ платьѣ, а въ моей старой ополченской поддевкѣ?!! Гдѣ моя сумка?!!

Ужели я пріѣхалъ сюда единственно для того, чтобъ познакомиться съ градскимъ головою Байковымъ, котораго я, впрочемъ, не видалъ?!!

Не можетъ быть!

Я помню: я ѣхалъ...

Я ѣхалъ, я ѣхалъ, я ѣхалъ...

Я ѣхалъ.

Вѣроятно, по дорогѣ я засмотрѣлся на какую-нибудь постороннюю губернію и...

Господи!

Тутъ есть какое-то волшебство. Злой волшебникъ превратилъ въ Ташкентъ Рязанскую губернію. Рязанскую или Тульскую?!

Я помню: я пилъ...

Въ Таганрогѣ меня арестовали.

— Откуда? куда?—спрашивали меня.

— Я помню: я ѣхалъ...

— Гдѣ казенная сумка?

— Я помню: я пилъ...

Что случилось? гдѣ я нахожусь?

Кругомъ меня ходятъ какія-то тѣни и говорятъ: «стоя на рубежѣ»... Потомъ приходятъ другія тѣни и говорятъ: «le principe du télègue russe»...

§ 15. Ст. 20. Заготовленіе телѣгъ!!

Но вѣдь надобны же средства, mon cher! Телѣга... конечно, это не Богъ знаетъ драгоцѣнность какая, но вѣдь надо построить ее! Гдѣ же средства... коли я ихъ всѣ пропилъ... mon cher!

III.—Они же.

Ахъ! какъ я тогда себя велъ!

Ташкентъ еще завоеванъ не былъ; на западѣ дѣло было покончено; мы были свободны, но страсть къ завоеваніямъ не умирала.

Ничего другого не оставалось, какъ обратиться внутрь...

Я помню, это было лѣтомъ. Петербургъ погибалъ, стихіи смѣшались. Наводненіе слѣдовало за наводненіемъ; адмиралтейство уже уплыло; съ часу на часъ ожидали, что поплыветъ Петропавловская крѣпость. Публицисты гремѣли; общественное мнѣніе требовало быстрой и дѣйствительной немезиды. Образовались, какъ водится, подъ предводительствомъ отставныхъ генераловъ, нѣсколько частныхъ компаній «для искорененія зла»; акціи разбирались нарасхватъ, тѣмъ болѣе, что цѣна имъ была назначена копейка серебромъ. Какъ въ 1612 году, общество пыталось спасти себя само, безъ разрѣшенія начальства. Объявленъ былъ походъ противъ неблагонадежныхъ элементовъ; крестоносцевъ потребовалось множество. Къ одной изъ такихъ компаній, подъ названіемъ: «Робкое усиліе благонамѣренности», приступилъ и я.

Какъ только кто-нибудь кликнетъ кличъ — я тутъ. Не успѣетъ еще генералъ (не знаю почему, но мнѣ всегда представляется, что кличетъ кличъ всегда генералъ) ротъ разинуть, какъ уже я вырастаю изъ-подъ земли и трепещу предъ его превосходительствомъ. Гдѣ бы я ни былъ, въ какомъ бы углу ни скитался—я чувствую. Сначала меня мутитъ, потомъ начинаютъ вытягиваться ноги,—вытягиваются, вытягиваются, бѣгутъ, бѣгутъ, и едва успѣетъ вылетѣть звукъ: «Ребята! съ нами Богъ!»—я тутъ.

— Куда прикажете, ваше-ство?

— А! ты опять здѣсь!

— Точно такъ, ваше-ство!

— Благодарю, мнѣ люди нужны!

Такъ именно было и тогда. Не помню, въ какой губерніи я скитался, но, помню, въ карманѣ не было ни гроша. И еще помню: мѣра беззаконій исполнилась... Взять тройку, подтянуться кушакомъ, подкрѣпиться тремя-четырьмя рюмками очищенной, сѣсть въ телѣгу, перекреститься—все это было дѣломъ одной минуты. Затѣмъ скакать, скакать и скакать... И дѣйствительно, я прискакалъ въ тотъ моментъ, когда генералъ произносилъ возмутительную рѣчь. Эта рѣчь произвела на меня такое глубокое впечатлѣніе, что я теперь помню ее отъ слова до слова. «Господа!—сказалъ онъ:—не посрамимся, но ляжемъ костьми. Такъ, мм. гг., говорилъ блаженной памяти его высочество великій князь Святославъ Игоревичъ, намѣреваясь вступить въ сокрушительный бой съ Іоанномъ Цимисхіемъ...» Генералъ

остановился, покраснѣлъ и прибавилъ: «Господа! я не ораторъ, но, какъ человѣкъ русскій, могу сказать: ребята, наша взяла!..»

Въ это самое время я вошелъ. Къ удивленію, пріемная зала была уже полна соискателей всѣхъ возрастовъ, состояній и націй. Очевидно, мутило меня не одного. Фонды компаніи въ одну минуту возвысились съ копейки до ломанаго гроша. Сочувствующіе, желающіе поживиться, тѣснились, толкали другъ друга, бросали кругомъ завистливые взгляды, такъ что генералъ, чтобы предотвратить несчастіе, долженъ былъ сказать: «Господа! не торопитесь! всѣмъ будетъ мѣсто! мнѣ люди нужны!» И затѣмъ, обращаясь къ одному изъ приближенныхъ, продолжалъ: «Какой однако прекрасный наплывъ чувствъ!»

Насъ тутъ же всѣхъ поголовно переписали и велѣли немедленно явиться въ правленіе для окончательнаго распредѣленія по отрядамъ (par escouades). Я помню, въ числѣ соискателей меня въ особенности поразилъ одинъ инородецъ: при трехаршинномъ ростѣ и соразмѣрной тучности онъ выражалъ такую угрюмую рѣшительность, что самые невинные люди немедленно во всемъ сознавались при одномъ его приближеніи.

Генералъ нашъ долго любовался имъ, но, замѣтивъ, что это предпочтеніе во многихъ начинаетъ возбуждать чувство патріотической ревности, тотчасъ же поспѣшилъ разувѣрить насъ. «Господа!—сказалъ онъ:—не думайте, прошу васъ, чтобы у насъ требовались исключительно люди сверхъестественнаго роста! Нѣтъ!—въ нашемъ предпріятіи найдется мѣсто для людей всякаго роста, всякой комплекціи. Одно *непремѣнное* условіе—это русская душа!» Слово «непремѣнное» генералъ произнесъ съ особымъ удареніемъ.

— Нѣмцу можно?—раздался въ толпѣ чей-то голосъ. Небесная улыбка озарила лицо генерала.

— Нѣмцу—можно! нѣмцу всегда можно! потому что у нѣмца всегда русская душа!—сказалъ онъ съ энтузіазмомъ и, обращаясь вновь къ своему приближенному, прибавилъ:—о, если бы всѣ русскіе обладали такими русскими душами, какія обыкновенно бываютъ у нѣмцевъ!

Генералъ на минуту задумался и пожевалъ губами.

— Наполеонъ III сказалъ правду,—произнесъ онъ какъ бы въ раздумьѣ:—«что такое истинный французъ?» спросилъ онъ себя въ одну изъ трудныхъ минутъ и отвѣчалъ: «истинный французъ есть тотъ, который исполняетъ при-

казанія генерала Пьетри!» И съ этихъ поръ, какъ онъ сказалъ себѣ это, все у него пошло хорошо!

— Такъ точно, ваше пр-ство!—прогремѣли мы хоромъ.

Инородецъ шевелилъ глазами и простиралъ руки. Наконецъ перепись кончилась. Оказалось 666 соискателей, изъ нихъ 400 (все-таки большинство!) русскихъ, 200 нѣмцевъ съ русскими душами, тридцать три инородца безъ души, но съ развитыми мускулами, и 33 поляка. Послѣднихъ генералъ тотчасъ же вычеркнулъ изъ списка. Но едва онъ успѣлъ отдать соотвѣтствующее приказаніе, какъ «безмозглые» обнаружили строптивость, свойственную этой легко воспламеняющейся націи.

— Мы тоже русскіе!—съ наглостью говорили они. — У насъ тоже русскія души!

— Но вы католики, господа!—усовѣщивалъ генералъ:— а этого я ни въ какомъ случаѣ потерпѣть не могу!

— Какіе мы католики—мы и въ церкви никогда не бываемъ!

— А! если такъ—это другое дѣло! но, предваряю, худо будетъ тому, кто солгалъ...

И затѣмъ, приказавъ возстановить поляковъ въ правахъ и обращаясь къ намъ, прибавилъ:

— Ну, теперь съ Богомъ, господа!

Съ этими словами предсѣдатель компаніи «Робкое усиліе благонамѣренности» удалился въ кабинетъ, оставивъ всѣхъ очарованными...

Счастливые, обласканные, мы гурьбой выходили отъ него и весело разговаривали.

— Ангелъ!—говорили одни.

— Какое знаніе человѣческаго сердца! — разсуждали другіе.

Я лично былъ въ такомъ энтузіазмѣ, что, подходя къ Палкину трактиру и встрѣтивши «стриженую», которая шла по Невскому, притоптывая каблучками и держа подъ мышкой книгу, не воздержался, чтобы не сказать:

— Тише! Ммерзавка!

Почему я это сказалъ, я до сихъ поръ объяснить себѣ не могу. Но оказалось, что я попалъ мѣтко, потому что негодная поблѣднѣла какъ полотно и поскорѣе сѣла на извозчика, чтобъ избѣжать народной немезиды. Есть какой-то инстинктъ, который въ важныхъ случаяхъ подсказываетъ человѣку его дѣйствія, и я никогда не раскаи-

вался, повинуясь этому инстинкту. Такъ, напримѣръ, когда я цивилизовалъ на западѣ, то не иначе входилъ въ домъ пана, какъ восклицая:—А ну-те вы, такіе-сякіе, «кши, пши, вши», разсказывайте! думаете ли вы, что «надзея» еще съ вами?

Я очень хорошо понималъ, что остроумнаго тутъ нѣтъ ничего. «Надзея»—надежда, «смѣтанка»—сливки, «до зобаченья»—до свиданія: конечно, все это слова очень обыкновенныя, но — странное дѣло! — мы, просвѣтители, не могли выносить ихъ. Намъ казалось — ну, какъ не бить людей, которые произносятъ такія слова? Но въ то же время я былъ убѣжденъ, что паны найдутъ мою шутку необыкновенно веселою. И дѣйствительно, они просто надрывали животы отъ смѣха, когда я произносилъ свое привѣтствіе (каюсь, этому смѣху многіе даже были обязаны своимъ спасеніемъ).

— О! какой панъ милій!—восклицали они хоромъ. Милій, замѣтьте, «милій», а не «милый»! Ахъ, прахъ васъ побери!

Точно такъ было и теперь.

Повидимому, я не сказалъ ничего, а вышло, что сказалъ очень многое. Къ несчастью, я былъ голоденъ и къ тому не имѣлъ свободнаго времени слѣдить за негодяйкой. Однако я все-таки былъ доволенъ, что успѣлъ изубытчить ее на четвертакъ, который она должна была заплатить извозчику.

У Палкина была почти такая же давка, какъ и въ генеральской пріемной, такъ какъ всѣ мы на первый случай получили по нѣсколько монетъ и спѣшили вознаградить себя за дни недобровольнаго воздержанія, которое каждый изъ насъ передъ тѣмъ вытерпѣлъ. Но замѣчательно, что никто не спрашивалъ себѣ горячаго, а всѣ насыщались какъ-то непослѣдовательно, урывками, бо́льшею частью солеными и копченными закусками, заѣдая ими водку. Трехаршинный инородецъ былъ тоже здѣсь, но водки не пилъ, а выпилъ жбанъ кислыхъ щей и съѣлъ четверть жеребенка. Проглотивъ послѣдній кусокъ, онъ отяжелѣлъ и долгое время не могъ даже моргнуть глазами. Многіе пользовались этимъ и безнаказанно показывали ему свиное ухо.

На всѣхъ пунктахъ шли оживленные разговоры.

— Нужно думать, что намъ придется дѣйствовать по ночамъ,—догадывались одни.

— Еще бы! Днемъ-то «его» съ собаками не сыщешь, а ночью—динь, динь! Команъ ву порте ву? Wie viel haben

sie gewesen? Сейчасъ же, ракалію, за волостное правленіе—не угодно ли прогуляться? Да не топыриться, сударь мой! Н-н-е-то-пы-рить-ся!

— А если же онъ уфъ спальни?—спросилъ тотъ самый нѣмецъ, который сомнѣвался, какая у него душа.

— А если же онъ уфъ спальни?—поддразнилъ его одинъ изъ собесѣдниковъ:—такъ что же, что уфъ спальни! Тебѣ же, нѣмцу, лучше—прямо туда и при! Можетъ, на стрижечку интересненькую набредешь!

Нѣмчикъ покраснѣлъ.

— Что? Побагровѣлъ? Ахъ, нѣмецъ, нѣмецъ! чувствуетъ мое сердце, что добра отъ тебя не будетъ. Ты пойми: тутъ каждая минута милліонъ триста тысячъ червонцевъ стоитъ, а ты ломаешься: «уфъ спальни»!

— О, нѣтъ! я ничего! мнѣ очень пріятно!

— То-то «ничего»! Ты иди прямо, потому дохнуть тутъ некогда!

— Это дѣло нужно умненько вести,—разсуждали въ другомъ мѣстѣ:—потому тутъ какъ разъ наскочишь!

— Не можетъ этого быть!

— Что вы говорите: «не можетъ быть»! Я самъ, сударь, на собственной своей персонѣ испыталъ! Видите это пятно? Вотъ это!... Ну? Вы думаете, что это родимое! нѣтъ, государь мой, это...

— Я полагаю, надо сначала вызвать дворника,—ораторствовали въ третьемъ мѣстѣ:—а когда онъ обробѣетъ, то потребовать, чтобъ указалъ путь... Когда же такимъ образомъ настоящая берлога будетъ приведена въ извѣстность, то изловить «его» не будетъ составлять никакой трудности... Нужно только, знаете, съ шумомъ, съ трескомъ, чтобъ впечатлѣніе было полное...

— Но если, заслышавъ шумъ, «онъ» уйдетъ?

— Куда уйдетъ, подъ столъ, что ли, спрячется? или въ щель заползетъ? Такъ за волосы оттуда вытащимъ, государь мой, за волосы!..

— Но если «онъ» вдругъ лишитъ себя жизни?

— Те-те-те, это волосатый-то! онъ-то лишитъ себя жизни? Да вы, сударь, стало-быть, не знаете ихъ! Это благородный человѣкъ... ну, тотъ, конечно... для благороднаго человѣка жизнь что? тьфу!.. А то кого нашли! волосатаго!

Словомъ сказать, всѣ шумѣли, всѣ волновались. Одинъ инородецъ былъ исключительно преданъ варенію принятой имъ пищи. Вскорѣ, впрочемъ, и онъ получилъ способность

моргать глазами и поворачивать головой. Тогда онъ повернулся всѣмъ корпусомъ къ Невскому и, увидѣвъ на улицѣ жалкую собачонку, которая на трехъ ногахъ жалась около тротуара, отперъ окно, вынулъ изъ кармана небольшой камень и пустилъ имъ въ собаку. Послѣдовалъ визгъ, и на губахъ его показалась улыбка. Только тогда мы поняли, какую роль долженъ былъ играть этотъ человѣкъ въ предстоящемъ походѣ. Всѣ на мгновеніе притихли.

Я вслушивался въ эти разговоры, и желчь все сильнѣе и сильнѣе во мнѣ кипѣла. Я не знаю, испытывалъ ли читатель это странное чувство самораздраженія, когда въ человѣкѣ первоначально зарождается ничтожнѣйшая точка, и вдругъ эта точка начинаетъ разрастаться, разрастаться, и наконецъ охватываетъ всѣ помыслы, преслѣдуетъ, не даетъ ни минуты покоя. Однажды вспыхнувъ, страсть подстрекаетъ сама и не удовлетворяется до тѣхъ поръ, пока не исчерпаетъ всего своего содержанія.

Что до меня, то я ощущалъ это чувство неоднократно. Обстановка, совѣщанія, ожиданіе предстоящихъ подвиговъ— все это дѣйствуетъ опьяняющимъ образомъ. Такъ было и теперь. Чѣмъ болѣе я слушалъ, тѣмъ болѣе напрягались мои душевныя силы, тѣмъ болѣе я ненавидѣлъ. Ночь, робѣющій дворникъ, бряцанія о тротуары и черныя лѣстницы, **remue ménage** въ бумагахъ и письмахъ—таково начало! Потомъ: краткое мерцаніе утренней зари, медленный благовѣстъ къ заутренямъ, дрожь на проникнутомъ ночною свѣжестью воздухѣ, рюмка водки въ ближайшей харчевнѣ, шумъ, смѣхъ, изумленіе раннихъ прохожихъ... стой! слу-шай! Въ комъ не произведетъ опьяненія подобная перспектива?

Въ такомъ-то возбужденномъ состояніи я вышелъ изъ Палкина трактира и уже хотѣлъ направить шаги въ свою квартиру, какъ вдругъ увидѣлъ идущаго навстрѣчу товарища по школѣ. Натурально, бросились другъ къ другу; изліянія, воспоминанія, вопросы... Радость была взаимная, потому что въ школѣ мы были очень дружны, а послѣ того потеряли другъ друга изъ вида, и слѣдовательно ни онъ обо мнѣ, ни я объ немъ не имѣли рѣшительно никакихъ свѣдѣній... И вдругъ, послѣ нѣсколькихъ минутъ задушевной бесѣды, онъ говоритъ мнѣ:

— Ахъ, какое время, мой другъ! Какое ужасное время!

Я инстинктивно взглянулъ на него; онъ уловилъ этотъ взглядъ и вдругъ... все понялъ!

— То-есть, ты понимаешь меня,—заспѣшилъ онъ, какъ-то странно смѣясь мнѣ въ лицо:—не въ томъ смыслѣ ужасное... пожалуйста, ты не подумай... Однако прощай! Мнѣ надо по одному дѣлу!

И онъ удалился, постепенно ускоряя свои шаги. Я нѣсколько минутъ, какъ статуя, стоялъ на одномъ мѣстѣ и безмолвно кусалъ усы. Если бы въ эту минуту возлѣ меня разверзнулась пропасть, я навѣрное бросился бы въ нее!...

Мерзавецъ!

Pardon! Вѣдь было однако время... когда я былъ либераломъ!

Не удивляйся, читатель, и не гляди на меня съ недовѣріемъ: да, было время, когда я не только былъ либераломъ, но былъ близокъ къ нѣкоторымъ знаменитымъ и уважаемымъ личностямъ (увы! теперь уже умершимъ!). Мы составляли тогда тѣсную, дружескую семью; у всѣхъ насъ былъ одинъ девизъ: «добро, красота, истина».

Мы не только горячо говорили, но горячо чувствовали. Борьба романтизма съ классицизмомъ, движеніе, возбужденное Бѣлинскимъ, Луи-Бланъ, Жоржъ-Зандъ—все это увлекало насъ и увлекало совершенно искренно. Насъ трогали идеи 48-го года; конечно, не сущность ихъ, а женерозность, гуманность... «Alea jacta est! la grandeur d'âme est à l'ordre du jour!»—восклицали мы вслухъ съ Ламартиномъ.

Какимъ образомъ все это примирилось съ уставомъ благоустройства и благочинія?

Это сдѣлалось очень странно, но, я помню, тутъ произошелъ какой-то сумбуръ.

Была одна минута, единственная минута, когда вдругъ все перемѣнилось, когда выползли изъ норъ какіе-то волосатые люди и начали доказывать, что «добро», «красота», «истина» — все это только слова, которыя непремѣнно нужно наполнить содержаніемъ, чтобы они получили значеніе.

— Что разумѣете вы, напримѣръ, подъ «добромъ»?—спрашивали насъ эти люди и спрашивали такъ дерзко, такъ самоувѣренно, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ возможность «распорядиться» исчезла навсегда изъ всѣхъ кодексовъ.

Однако мы были настолько любезны (замѣтьте: мы могли и не быть такими!), что отвѣчали.

Я помню, я въ первый разъ тогда покраснѣлъ. До тѣхъ поръ все это было мнѣ такъ ясно, такъ безспорно—и вдругъ... призываютъ къ допросу!

— Добро!—говорили мы:—но развѣ каждому изъ насъ не присуще это чувство? Развѣ каждый изъ насъ не трепещетъ при одномъ его имени? Развѣ не страшенъ самый вопросъ: что̀ такое добро?

Сказавъ это, мы сѣли, ибо были увѣрены, что отвѣтили.

— Ну-съ?—услышали мы вмѣсто возраженія.

— Наконецъ,—продолжали мы:—если въ трудныя минуты жизни мы жаждемъ утѣшенія, то гдѣ же мы ищемъ его, какъ не въ высокихъ идеяхъ добра, красоты и истины? Ужели и это не объясняетъ достаточно, какое значеніе, какую цѣну имѣетъ добро?

Мы кончили и опять сѣли, ожидая, что «они» поймутъ. Но въ отвѣтъ на наши слова послышался холодный, какъ бы беззвучный смѣхъ. Я понялъ, что этотъ смѣхъ называется «отрицаніемъ», и впервые тогда произнесъ:—Мерзавцы!

Послѣ этого пошло дальше и дальше; послѣ «отрицанія» пришло «неуваженіе авторитетовъ», потомъ «безвѣріе», потомъ «посягательство на чужую собственность», затѣмъ еще и еще... Теперь я чувствую, что я пришелъ, что я у пристани...

Иногда меня интересуетъ вопросъ: что̀ было бы, если-бъ былъ живъ Грановскій? Остался ли бы я его другомъ? Я понимаю, что самъ по себѣ этотъ вопросъ праздный; но, сознаюсь, въ первое время моего вступленія на арену благочинія онъ волновалъ меня довольно сильно. Бывали минуты, когда я предлагалъ этотъ вопросъ на разрѣшеніе компетентнымъ людямъ. Многіе изъ нихъ уклонялись, многіе не отвѣчали ни да, ни нѣтъ; но одинъ просто-на-просто сразилъ меня.

— Вы!—почти крикнулъ онъ на меня:—вы... другъ Грановскаго? Вы!.. Да онъ бы на порогъ квартиры своей васъ не пустилъ!

Мерзавецъ!

Я уже сказалъ, что мы дѣйствовали отрядами, par escouades.

Несмотря на позднее время, «онъ» сидѣлъ и читалъ книгу; подруга его беззаконій спала. Когда мы позвонили, «онъ» самъ отворилъ намъ дверь. «Онъ» не казался испу-

ганнымъ, ни даже изумленнымъ, но какъ будто старался понять... Наконецъ «онъ» понялъ.

Первымъ моимъ движеніемъ было овладѣть книгой.

Содержаніе ея было физіологическое.

— Вотъ эти-то книги и доводятъ васъ, милостивый государь, до всего!—сказалъ я и ужъ не помню, какъ это случилось, но бросилъ книгу на полъ и началъ топтать ее ногами.

«Онъ» съ любопытствомъ и даже какъ бы съ жалостью слѣдилъ за моими непроизвольными движеніями, однако не протестовалъ.

Изъ другой комнаты выглянуло испуганное лицо женщины.

— Это кто?—спросилъ я, указывая на нее.

— Это... моя жена.

— Около ракитоваго куста вѣнчаны?

— Къ сожалѣнію, я не настолько знакомъ съ отечественными былинами, чтобы отвѣчать на вашъ вопросъ.

Это была уже дерзость.

— Я заставлю васъ понимать себя!—вспылилъ я.

— Извините, но я не могу понимать больше того, сколько понимаю. Потрудитесь выражаться яснѣе.

— Гражданскимъ бракомъ? проклятымъ гражданскимъ бракомъ?—говорилъ я, выходя изъ себя.

— Теперь понимаю... Да, гражданскимъ бракомъ!

— Такъ вотъ для нея... Сударыня... какъ васъ? Извольте получить... билетъ!

«Она» наскоро одѣлась и вышла къ намъ.

Повидимому, она еще не понимала.

— Что же! возьми!—сказалъ «онъ».

Но она все еще не рѣшалась брать и взорами спрашивала у него, у меня, у всѣхъ—разъясненія этой загадки... Вдругъ черты ея лица начали искажаться, искажаться... «Она» поняла... И что-жъ? Оказалось, что это была дочь почтеннаго дѣйствительнаго статскаго совѣтника, увлеченная хитростью въ сонмище неблагонамѣренныхъ...

Маршъ!

Было еще позднѣе, и «онъ» уже спалъ. Сдѣлавши нѣсколько сильныхъ ударовъ звонкомъ, мы долго ждали на площадкѣ, прислушиваясь, какъ за дверью возились и ходили взадъ и впередъ. Вознѣ этой, казалось, не будетъ конца.

— Да куда же однако дѣвались мои носки?—долетаетъ до насъ «его» голосъ.

Наконецъ носки были отысканы и дверь отперта. «Онъ» узналъ насъ сразу и не только не показалъ никакого изумленія, но даже принялъ гостей съ нѣкоторою развязностью.

Впослѣдствіи открылось, что «онъ» уже «травленый».

— Ба! Гости!—сказалъ «онъ» довольно весело:—да ужъ нѣтъ ли тутъ старыхъ знакомыхъ? нѣтъ? Ну, и съ новыми познакомимся! Marie! вставай: гости пришли!

Оказалось, что «онъ» былъ веселый малый и даже отчасти жуиръ. На столѣ, въ кабинетѣ, стояли неубранные остатки довольно обильной закуски: ветчина, сыръ, балыкъ, куски холоднаго пирога... Нѣсколько початыхъ бутылокъ вина и наполовину выпитый графинъ съ водкой довершали картину.

— Господа! не угодно ли?—сказалъ «онъ», указывая на закуски:—отъ меня, съ часъ тому назадъ, ушли пріятели, такъ вотъ кстати и закуска осталась. А я покамѣстъ одѣнусь: вѣдь мнѣ придется сопровождать васъ? или, лучше, вамъ придется сопровождать меня—такъ?

— Точно такъ-съ!—отвѣчалъ я, увлеченный его добродушіемъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ не могъ не подумать:—«Если бы всѣ «они» были таковы! Гостепріименъ, ласковъ, словоохотливъ!»

Это былъ единственный случай, когда меня угостили закуской. Я уже начиналъ думать, что «они» не ѣдятъ и не пьютъ, и вдругъ... встрѣчаюсь съ картиной стариннаго дворянскаго хлѣбосольства! И гдѣ же встрѣчаюсь!

Что̀ привело этого человѣка въ бездну вольномыслія? Непостижимо!!

Мы послѣдовали приглашенію радушнаго хозяина и, признаюсь, даже не замѣтили, какъ прошло время въ любезной бесѣдѣ.

Говорили обо всемъ, о соціализмѣ, о коммунизмѣ, но безъ раздраженія, безъ задора и даже съ видимымъ удовольствіемъ. Одинъ только разъ я принужденъ былъ выразиться довольно строго и именно по поводу той самой Marie, которую онъ уже вызывалъ въ началѣ нашего прихода и которая теперь съ самой изысканной любезностью потчевала насъ пирогомъ и закуской.

— Эта особа... какъ вамъ приходится?—спросилъ я его.

— А! это... моя жена! Вамъ, можетъ-быть, нужно въ спальную войти? Сдѣлайте одолженіе—не стѣсняйтесь. Я самъ вамъ все покажу.

— Нѣтъ-съ, покуда мы еще не имѣемъ въ этомъ нужды... Но жена... т.-е. какъ жена?—прибавилъ я, шутливо подмигнувъ однимъ глазомъ:—вокругъ ракитоваго куста?

— Если вы подъ ракитовымъ кустомъ разумѣете...

Но онъ не успѣлъ докончить.

— Довольно, государь мой!—сказалъ я строго, чтобы дать ему почувствовать, что вѣжливое обращеніе еще не даетъ права на дерзость.

Затѣмъ, когда мы закусили и выпили, онъ самъ намъ показалъ все. Въ цѣлой квартирѣ не было ни одной книги, ни одного клочка бумаги, такъ что я даже изумился.

— Васъ изумляетъ отсутствіе книгъ и бумагъ?—поспѣшилъ онъ объяснить, замѣтивъ на моемъ лицѣ недовольное движеніе:—но поймите же наконецъ, что, начиная съ 48-го года, я періодически подвергаюсь точно такимъ посѣщеніямъ, какъ въ настоящую минуту. Кажется, этого достаточно, чтобы получить нѣкоторую опытность.

Признаюсь, во всякомъ другомъ случаѣ подобная предусмотрительность огорчила бы меня, но на этотъ разъ она даже обрадовала: такъ мнѣ пріятно было за нашего добраго, радушнаго... и, вѣроятно, не по своей винѣ увлеченнаго хозяина!

Подъ вліяніемъ этого чувства я совершенно раскисъ.

— Вы не сердитесь, пожалуйста, Павелъ Ивановичъ (такъ «его» звали),—сказалъ я:—но я считаю своимъ долгомъ вамъ выразить, что давно не проводилъ такъ пріятно время, какъ въ вашемъ миломъ, образованномъ семействѣ.

— За что же тутъ сердиться?

— Да съ! Но за всѣмъ тѣмъ... моя обязанность... мой, если можно такъ выразиться, священный долгъ...

— Повелѣваетъ вамъ пригласить меня съ собою? Что-жъ, вѣдь я съ перваго же раза сказалъ вамъ, что на всякомъ ѣстѣ и во всякое время готовъ!

— Да-съ; но могу васъ увѣрить, что съ своей стороны... все, что зависитъ...

— Ну, отъ такихъ курицыныхъ дѣтей, какъ вы, тутъ, пожалуй, ровно ничего зависѣть не можетъ. Однако довольно разговаривать: идемъ!

Тутъ только я замѣтилъ, что ему все-таки не совсѣмъ пріятно было наше посѣщеніе.

Марршъ!

Петербургъ погибалъ! Петропавловская крѣпость уже уплыла... Послѣдній оплотъ! Это было зрѣлище ужасное: куда ни оглянись—вездѣ дыра... Публицисты гремѣли, благонамѣренные... радовались!

Всѣ чувствовали, что надо вырвать «зло» съ корнемъ, всѣ издавали дикіе вопли... Въ чемъ заключалось зло? Какое оно отношеніе имѣло къ данной минутѣ? Объ этомъ никто себя не спрашивалъ, не разсуждалъ, не говорилъ. Чувствовалось одно: что минута благопріятна, что это одна изъ тѣхъ минутъ, къ которымъ можно пріурочить какую угодно обиду, и никто въ суматохѣ ничего не разберетъ и не отличитъ. Если *теперь* упустить минуту, то кто можетъ поручиться, поймаешь ли ее когда-нибудь за хвостъ?

Нѣтъ зрѣлища болѣе поразительнаго, какъ зрѣлище радости благонамѣренныхъ! это какой-то гулъ: у-у! а-а! го-го. Повидимому, тутъ нѣтъ даже необходимой, для вразумительности, членораздѣльности, а за всѣмъ тѣмъ нельзя не чувствовать, что это единственные «передовые» звуки, возможные въ извѣстныя минуты!

Еще вчера благонамѣренный жался къ сторонкѣ, ходилъ съ понурою головой, съ блѣдными щеками и потухшими взорами; еще вчера онъ клялся и божился, что отнынѣ подло быть негодяемъ,—и вдругъ какая метаморфоза! Сегодня онъ цвѣтетъ; походка у него увѣренная, авторитетная; глаза блещутъ молніями; уста извергаютъ побѣдный вопль. Вы не можете объяснить, какъ совершилась побѣда, но чувствуете, что она совершилась, и что вчерашній день утонулъ навсегда. Vae victis! Горе тому, кто попадается въ эту минуту на глаза «благонамѣренному»! Онъ въ одно мгновеніе будетъ съ ногъ до головы обрызганъ ядовитою слюной ябеды и клеветы!

Сильныя общественныя пертурбаціи необходимы для «благонамѣреннаго»: онѣ даютъ ему возможность окрѣпнуть. Пожаръ поселяетъ въ его сердцѣ радостный трепетъ; наводненіе, голодъ—приводятъ въ восхищеніе!

Въ обыкновенное время, когда теченіе дѣлъ не представляетъ угрозъ, когда окрестъ царствуетъ тишина, когда въ обществѣ расцвѣтаетъ надежда на лучшее будущее—«благонамѣренный» увядаетъ, ибо сознаетъ себя ненужнымъ.

Самолюбіе его страдаетъ безмѣрно; онъ мечется и ищетъ исхода для своей дѣятельности и вездѣ приходитъ не во-время, вездѣ видитъ себя лишнимъ... Тишина тре-

творнымъ образомъ дѣйствуетъ на его фонды, почти-что исключаетъ его изъ жизни. Притомъ это явленіе до такой степени для него ново и необычайно, что невольно возбуждаетъ въ немъ подозрительность, населяетъ его воображеніе всевозможными страхами. «Тихо—стало-быть, я пропалъ»,—говоритъ себѣ благонамѣренный, и нѣтъ мѣры его злополучію. Чтобы пищевареніе совершалось въ немъ безпрепятственно, нужно, чтобы цѣлыя массы изнемогали подъ игомъ нравственныхъ и физическихъ истязаній, или, по крайней мѣрѣ, чтобы кто-нибудь да стоналъ.

Если этого нѣтъ, онъ чувствуетъ себя неловко и, чтобы смягчить свое горе, начинаетъ предсказывать, накликать.

И вотъ, какъ бы въ отвѣтъ на его предсказанія, на горизонтѣ появляется облако, въ воздухѣ чувствуется удушливость, вдалекѣ слышатся раскаты грома...

Посмотрите, какъ постепенно онъ воскресаетъ, какъ загорается румянецъ на его блѣдныхъ щекахъ, какою страшною пастью разверзаются нѣмотствующія дотолѣ уста!

«Я говорилъ, я предсказывалъ, я зналъ впередъ, что это будетъ такъ!»—хохочетъ онъ на всѣ стороны. И льется этотъ зловѣщій перекатистый хохотъ изъ края въ край, вызывая къ жизни давно уснувшія ненависти, давая плоть и форму тому, что̀ смутно шипѣло и безсмысленно бормотало, не сознавая самого себя, не умѣя найти для себя яснаго выраженія...

Наступаетъ минута какого-то адскаго откровенія. «Либералы!»—раздается побѣдный кличъ, и все, что̀ чувствуетъ себя бодрымъ,—все складывается въ одну яму и немедленно отдается на поруганіе.

Въ такомъ положеніи дѣлъ очень естественно, что какъ бы человѣкъ ни старался попасть въ тонъ минуты, онъ всегда чувствуетъ себя опереженнымъ.

Такъ было и съ нами, членами общества «Робкаго усилія благонамѣренности». Какъ мы ни бодрились, какъ ни старались сослужить службу общественную—возрастающій спросъ на благонамѣренность съ каждымъ часомъ больше и больше затоплялъ насъ. Мы уже не удовлетворяли потребности минуты; мы оказывались слабыми и неумѣлыми; насъ открыто называли колпаками!! Въ концѣ концовъ мы сдѣлались страдательнымъ орудіемъ, которое направляло свои удары почти механически.

Надо было видѣть, какіе люди встали тогда изъ могилъ!

Надо было слышать, что̀ тогда припоминалось, отомщалось и вымещалось!

Если вы имѣли съ вашимъ сосѣдомъ процессъ; если вы дали взаймы денегъ и имѣли неосторожность напомнить объ этомъ; если вы имѣли несчастіе доказать дураку, что онъ дуракъ, подлецу—что онъ подлецъ, взяточнику—что онъ взяточникъ; если вы отняли у плута случай сплутовать; если вы вырвали изъ когтей хищника добычу—это просто-на̀-просто означало, что вы сами вырыли себѣ подъ ногами бездну. Вы припоминали объ этихъ вашихъ преступленіяхъ—и съ ужасомъ ожидали. Не было закоулка, куда бы не проникла «благонамѣренность»...

Провинція колыхалась и извергала изъ себя цѣлые легіоны чудовищъ ябеды и клеветы—

От Перми до Тавриды,
От хладныхъ финскихъ скалъ
До пламенной Колхиды...

Отовсюду устремлялись стада «благонамѣренныхъ», чтобы выместить накипѣвшія въ сердцахъ обиды...

Они рыскали по стогнамъ, становились на распутьяхъ и вопили. Обвиняется всякій: отъ коллежскаго регистратора до тайнаго совѣтника включительно. Вся табель о рангахъ была заподозрѣна. Сводились счеты; все прошлое ликвидировалось сразу... Дѣлалось яснымъ, что, какъ бы ни тщился человѣкъ быть «благонамѣреннымъ», не было убѣжища, въ которомъ бы не настигала его «благонамѣренность» еще болѣе благонамѣренная.

Самые «благонамѣренные» наконецъ спутались и испугались—не за общество, а за самихъ себя и за дѣтей своихъ.

Человѣкъ старался угадать не то, въ чемъ онъ когда-нибудь преступилъ противъ ходячей политической морали, а то, существовали ли какіе-нибудь пункты этой морали, въ которыхъ нельзя было бы совершенно свободно обвинить кого угодно и какъ угодно, и на которомъ изъ этихъ пунктовъ обрушится обвиненіе именно на него? Тотъ, кого въ этомъ обвинительномъ омутѣ постигало забвеніе, могъ считать себя счастливымъ. Тотъ, кого не обвиняли прямо и кому только издали грозили пальцемъ, долженъ былъ спѣшить исчезнуть, чтобы не раздражать своимъ видомъ торжествующей «благонамѣренности». Исчезнуть, провалиться сквозь землю, быть забытымъ—вотъ лучшій удѣлъ, котораго могъ желать человѣкъ...

Читатель! ты, который, пробѣгая настоящее признаніе, быть-можетъ, обвиняешь меня въ развратѣ, размысли надъ правдивой картиной, которую сейчасъ нарисовало перо мое; провѣрь ее съ твоими воспоминаніями и скажи по совѣсти: гдѣ находятся дѣйствительныя, крайнія границы нравственной распущенности—во мнѣ... или, можетъ-быть, въ другомъ какомъ-нибудь мѣстѣ?

На этотъ разъ было почти утро... Цѣлую ночь мы не смыкали глазъ и уже начали дѣйствовать нерѣшительно и вяло. Это былъ тотъ моментъ, когда на улицахъ начинаетъ показываться какое-то колеблющееся, словно приготовительное движеніе: дворники метутъ мостовую, открываются двери булочныхъ, съѣзжаются возы съ овощами и зеленью, но настоящая толпа, настоящее движеніе еще не показываются. Въ такія минуты всего сильнѣе чувствуется цѣна теплой кровати. Самый безпріютный человѣкъ ищетъ себѣ уголка, къ которому можно прислонить уставшую голову. Бодрственное состояніе дѣлается почти непереносимымъ и можетъ быть поддержано лишь искусственнымъ образомъ.

Мы спѣшили.

«Онъ» былъ уже однако одѣтъ. Онъ отворилъ намъ дверь, держа въ рукахъ книгу, и, не отрывая отъ нея глазъ, пошелъ передъ нами, какъ будто наше появленіе не составляло для него ничего непредвидѣннаго и, пожалуй, даже не относилось къ нему.

Равнодушіе уже перестало удивлять насъ. Однако это было уже не равнодушіе, но что-то такое, чему нельзя подыскать имени. Мы всегда примѣчали, что какъ бы ни старался человѣкъ взглянуть въ глаза бѣдѣ, какъ бы ни примирялся онъ съ неизбѣжностью и непоправимостью положенія, въ которое ставила его сила обстоятельствъ, но такое философское настроеніе никогда не оказывается вполнѣ цѣльнымъ. Всегда въ него примѣшивалась хоть тѣнь горечи, иронiи или, по крайней мѣрѣ, изумленія. Человѣкъ не протестуетъ, не жалуется, но восклицаніе: «какіе жалкіе люди!»—такъ и свѣтится во всѣхъ движеніяхъ, такъ и бьетъ всюду: и въ интонаціи голоса, и въ выраженіи глазъ... всюду.

Читатель! какъ ни обидна подобная оцѣнка, но даже и она можетъ примирить. Чувствуется, что эту фразу говоритъ человѣкъ не совсѣмъ еще закоснѣлый, что вы не

ничто въ его глазахъ, что у него могутъ быть такія же уязвимыя мѣста, какъ и у васъ, и у всякаго; однимъ словомъ, что это слабый смертный, которому можно сдѣлать больно, который имѣетъ хоть какія-нибудь точки соприкосновенія съ вами. Какъ хотите, а это сознаніе успокоиваетъ. Напротивъ того, тутъ, въ этомъ разсѣянномъ и сосредоточенномъ молодомъ человѣкѣ, не виднѣлось ничего подобнаго. Какъ будто все давно имъ понято, рѣшено и забыто.

Мы вошли въ кабинетъ.

«Онъ» молча сѣлъ около окна и углубился въ чтеніе. Натурально, это меня взорвало.

— Извольте стоять!—крикнулъ я на него.

Онъ всталъ и продолжалъ читать.

— Извольте оставить книгу!

Онъ положилъ книгу на столъ.

— Мерзавецъ!—произнесъ я сквозь зубы, но такъ, что онъ навѣрное слышалъ мое восклицаніе; тѣмъ не менѣе ни малѣйшаго движенія не показалось на лицѣ его.

— Съ вами живетъ какая-нибудь женщина?

— Смотрите! — сказалъ онъ, какъ будто отгоняя отъ себя что-то назойливое, прервавшее нить его мыслей.

Разсуждая хладнокровно, я долженъ сознаться, что при тогдашнемъ моемъ утомленіи только такое адское равнодушіе и могло обновить мои заснувшія силы. Я съ яростью выбрасывалъ книги, швырялъ бумаги. Но онъ попрежнему продолжалъ стоять у окна и безъ малѣйшаго признака изумленія смотрѣлъ на картину разрушенія, которая быстро созидалась передъ его глазами.

— Кто вы такой?—наконецъ бросился я къ нему.

Онъ назвалъ себя. Онъ даже не сказалъ, что я самъ долженъ знать, у кого я нахожусь. Повидимому, ему не приходило въ голову, что можно иронизировать, удивляться, негодовать.

Это было до такой степени ново, что въ головѣ у меня блеснула мысль: не подступиться ли къ нему посредствомъ великодушія?

— Общественное мнѣніе указываетъ на васъ, какъ на причину зла, — сказалъ я. — Опровергните это! Постарайтесь снять съ себя столь ужасное обвиненіе! Я изъ участія къ вамъ говорю это: мнѣ жаль васъ! Наконецъ я прошу васъ: спасите себя и дайте мнѣ возможность участвовать въ этомъ спасеніи!

— Идемте! — произнесъ онъ съ такимъ видомъ, какъ

будто ему безконечно надоѣло мое кроткое изліяніе чувствъ...

Марршъ!

Дальше! дальше!

«Онъ», очевидно, былъ философъ и принялъ на себя трудъ убѣждать насъ.

— Мнѣ кажется, господа, — говорилъ онъ: — что вы бьете совсѣмъ не туда, куда слѣдуетъ, и что, видя въ занятіяхъ умственными интересами что-то враждебное обществу, вы кидаете послѣднему упрекъ, котораго оно даже не заслуживаетъ!.. Ужели оно и въ самомъ дѣлѣ такъ разслаблено, что не можетъ выдержать напора мысли, и первая вещь, отъ которой прежде всего необходимо остеречь его,—это преданность интересамъ мысли? Почему вы думаете, что для общества всего необходимѣе невѣжество? Почему, когда въ обществѣ возникаетъ какое-нибудь замѣшательство, первые люди, которые дѣлаются жертвами подозрительности, суть именно люди мысли, люди изслѣдованія? Согласитесь, что такое странное явленіе нельзя даже объяснить иначе, какъ глубокимъ презрѣніемъ, которое вы питаете не только къ обществу, но и къ самимъ себѣ?

Я слушалъ его съ удовольствіемъ, да и нельзя было иначе, потому что au fond il y a du vrai dans tout cecі!.. Иногда мы дѣйствительно пересаливаемъ и какъ будто черезчуръ охотно доказываемъ міру, что знаменитое хрестоматическое двустишіе: «Науки юношей питаютъ» и пр. улетучивается изъ насъ немедленно, какъ только мы покидаемъ школьныя скамьи.

Я невольно вздохнулъ при этомъ соображеніи.

«Онъ» продолжалъ:

— Допустимъ однако же, что наука вредитъ; но вѣдь, во всякомъ случаѣ, это такой вредъ, который доступенъ только немногимъ, большинству же не можетъ при этомъ угрожать ни малѣйшею опасностью. Вы говорите: общество лишь тогда можетъ быть счастливо, когда оно невѣжественно. Прекрасно! Но съ чего же вы берете, что эта невѣжественность такъ легко доступна для посягательства науки? И ежели общество дѣйствительно такъ невѣжественно, что считаетъ состояніе невѣжества лучшимъ залогомъ своего спокойствія, то какъ же допустить въ немъ *ту легкомысленную* жажду къ знанію, которая будто бы

до того сильна, что требуетъ какихъ-то экстраординарныхъ мѣръ для предупрежденія увлеченія ею?

Удовольствіе мое возрастало. Онъ продолжалъ:

— Одно что-нибудь: или общество желаетъ знанія и слѣдовательно можетъ безопасно выдержать его; или оно не терпитъ знанія — и въ такомъ случаѣ, конечно, само постоитъ за свою святыню, само отобьется отъ нападеній и защититъ свое право на свободу отъ наукъ. Бояться за общество, столь крѣпко убѣжденное, предпринимать искусственныя и не всегда ловкія мѣры для огражденія его — не значитъ ли это безъ надобности волновать его и даже указывать такіе просвѣты, которыхъ оно никогда не увидало бы, не будь вашей безсознательной услуги?

Удовольствіе возрастало съ каждой минутой. Я думалъ: «ахъ, если бы такъ всѣ разсуждали! если бы всѣ понимали, что вмѣсто того, чтобы преслѣдовать науку, лучше всего поступать такъ, какъ бы ея совсѣмъ не было... Наука! Что такое наука? Parlez-moi de ça! Qu'est-ce que c'est que cette «наука», et où avez-vous été pêcher cet animal là?»

Вотъ, по моему мнѣнію, единственный разговоръ, который можетъ допустить по этому поводу истинно прозорливая внутренняя политика!

Но «онъ» продолжалъ:

— Но вѣдь придется же наконецъ понять — хоть въ этомъ и тяжело сознаться,—что совсѣмъ безъ наукъ тоже обойтись нельзя; что народы, которые питаютъ къ наукамъ презрѣніе...

«Онъ» остановился, точно обрѣзалъ: очевидно, онъ понялъ, что я слушалъ его съ удовольствіемъ.

— Идемте!—сказалъ онъ, надѣвая на голову картузъ.

Марршъ!

Замѣчательно, что женщины никогда не бываютъ такъ тверды въ бѣдствіяхъ, какъ мужчины: онѣ непремѣнно или въ слезы ударятся, или слегкомысленничаютъ. Обыкновенно онѣ очень хвастливы и даже нагло отстаиваютъ убѣжденія, имъ искусственно привитыя; напротивъ того, становятся очень робки, когда дѣло коснется ихъ убѣжденій настоящихъ, жизненныхъ. Сейчасъ норовятъ шмыгнуть въ сторону. Такъ, напримѣръ, онѣ выходятъ изъ себя, разговаривая о собственности, о семействѣ, какъ основѣ государственнаго и гражданскаго союза, — однимъ словомъ, объ

всемъ, что ни прямо, ни косвенно не касается ихъ, заговорите-ка объ «амурахъ»...

— Вы, душенька, либералка?—спрашивалъ я на-дня одну «милушку», зачитывавшуюся Боклемъ до чортико

— А вы, душенька, негодяй?—отвѣчала она, вѣроят думая, чѣмъ уколоть меня этимъ названіемъ.

Вотъ одинъ изъ тысячи примѣровъ женскаго легкомысл Я обращаюсь съ словомъ: «либералка», а она отвѣчае мнѣ: «негодяй!» и не понимаетъ, что въ этомъ наивно сопоставленіи заключается все мое торжество; что она со ственными своими милыми устами подтверждаетъ, что «л бералъ» и «негодяй»—понятія однозначащія...

Я хотя указалъ ей на этотъ естественный выводъ, хотя она пыталась объяснить свою фразу, но въ эти объясненіяхъ еще болѣе запутывалась...

— Нѣтъ, я этого не говорила!—горячилась она: — «л берализмъ» это само по себѣ, а «негодяй»—самъ по се негодяй — это вы!

И она такъ уморительно сердилась, что я готовъ бы расцѣловать ее...

— Ну, а насчетъ браковъ какъ?—спросилъ я.

Она вышла изъ себя... Вообще я замѣтилъ, что «он не любятъ этого вопроса и перестаютъ быть любезны когда имъ предлагаютъ его.

— Ну-съ, хорошо-съ! Скажите, по крайней мѣрѣ, ч называется коммунизмомъ?

— Коммунизмъ,—заговорила она бойко: — это так форма общежитія, при которой ни одинъ изъ члено общества не имѣетъ отдѣльной собственности, въ котор всѣ члены приносятъ одинаковую долю труда, необход маго для производства цѣнностей, и всѣ же пол чаютъ одинаковую долю въ пользованіи произведенны цѣнностями.

— Всѣ: и лѣнивые, и прилежные?

— Лѣнивыхъ не должно быть. Лѣнивые—это изобрѣт ніе вашего историческаго общества.

— Прекрасно-съ! Ну, а насчетъ браковъ—такъ-та ничего не скажете?

— Я сказала уже, что вы негодяй!

Ужели это не легкомысліе? Готовы всѣмъ рискова страдать, перенести всякую невзгоду изъ-за какихъ-то вѣтныхъ принциповъ, а какъ только начнешь сводить это ный принципъ съ маленькаго пьедестальчика, на

торый онъ взобрался, какъ только назовешь этотъ принципъ по имени—сейчасъ или сердятся, или плачутъ!

Маршъ!

Въ другой разъ дѣло было еще горячѣе.

Я сидѣлъ съ одной «душкой» (и какъ идутъ къ нимъ эти распущенные волосы, эти короткія платьица, какой онѣ имѣютъ шикарный видъ!) и, побрякивая саблей, доказывалъ ей, что занятіе анатоміей отнюдь не должно входить въ кругъ воспитанія благородныхъ дѣвицъ.

— Почему такъ?—спросила она меня довольно нахально.

— А потому, душенька, — отвѣчалъ я: — что анатомія можетъ волновать нѣжныя, легко воспламеняющіяся чувства...

— Лучше скажите, что она можетъ волновать чувства у тѣхъ, кто не помышляетъ ни о чемъ, кромѣ гадостей...

— Ужъ будто и «гадостей»? А небось, какъ дойдетъ до «амуровъ»...

Я каюсь: я увлекся! Раздражаемый содержаніемъ разговора, миловидностью паціентки, коротенькой юбочкой, которая позволяла видѣть прекраснѣйшую въ мірѣ ножку, я, можетъ-быть, ужъ слишкомъ близко подсѣлъ къ ней...

Я хотѣлъ уже взять ее за талію... Хлопъ!.. Ужели и это не легкомысліе? Проповѣдуютъ свободу любви, а какъ только предлагаютъ имъ запечатлѣть эту свободу... Хлопъ!

Маршъ!

Ахъ, какъ я себя велъ!

«Онѣ» сидѣли и клеили картонки. Не знаю, почему мнѣ это показалось возмутительнымъ. Но этого мало! мнѣ показалось, что слѣдуетъ ихъ обыскать...

Ахъ, какъ я себя велъ!

Читатель можетъ спросить меня: кто допустилъ насъ такимъ образомъ нахальничать? чего смотрѣло начальство?

На это я могу отвѣчать одно: медвѣдь проснулся... Покуда медвѣдь лежитъ въ берлогѣ и сосетъ лапу, начальству легко. Съ помощью куска мяса, его можно даже выманить изъ берлоги и заставить танцовать; но Боже упаси, если онъ начнетъ рычать! Нѣтъ той силы, которая могла бы усмирить его!

Слава о моихъ подвигахъ росла... Одинъ, безъ всякаго уполномочія, кромѣ частной инициативы... Это было изумительно! *Это* даже было не просто изумительно, но почти

всемъ, что̀ ни прямо, ни косвенно не касается ихъ, а заговорите-ка объ «амурахъ»...

— Вы, душенька, либералка?—спрашивалъ я на-дняхъ одну «милушку», зачитывавшуюся Боклемъ до чортиковъ.

— А вы, душенька, негодяй?—отвѣчала она, вѣроятно, думая очень уколоть меня этимъ названіемъ.

Вотъ одинъ изъ тысячи примѣровъ женскаго легкомыслія! Я обращаюсь съ словомъ: «либералка», а она отвѣчаетъ мнѣ: «негодяй!» и не понимаетъ, что въ этомъ наивномъ сопоставленіи заключается все мое торжество; что она собственными своими милыми устами подтверждаетъ, что «либералъ» и «негодяй»—понятія однозначащія...

Я охотно указалъ ей на этотъ естественный выводъ, и хотя она пыталась объяснить свою фразу, но въ этихъ объясненіяхъ еще болѣе запутывалась...

— Нѣтъ, я этого не говорила!—горячилась она: — «либерализмъ»—это само по себѣ, а «негодяй»—самъ по себѣ: негодяй—это вы!

И она такъ уморительно сердилась, что я готовъ былъ расцѣловать ее...

— Ну, а насчетъ браковъ какъ?—спросилъ я.

Она вышла изъ себя... Вообще я замѣтилъ, что «онѣ» не любятъ этого вопроса и перестаютъ быть любезными, когда имъ предлагаютъ его.

— Ну-съ, хорошо-съ! Скажите, по крайней мѣрѣ, что̀ называется коммунизмомъ?

— Коммунизмъ, — заговорила она бойко: — это такая форма общежитія, при которой ни одинъ изъ членовъ общества не имѣетъ отдѣльной собственности, въ которую всѣ члены приносятъ одинаковую долю труда, необходимаго для производства цѣнностей, и всѣ же получаютъ одинаковую долю въ пользованіи произведенными цѣнностями.

— Всѣ: и лѣнивые, и прилежные?

— Лѣнивыхъ не должно быть. Лѣнивые—это изобрѣтеніе вашего историческаго общества.

— Прекрасно-съ! Ну, а насчетъ браковъ— такъ-таки ничего не скажете?

— Я сказала уже, что вы негодяй!

Ужели это не легкомысліе? Готовы всѣмъ рисковать, страдать, перенести всякую невзгоду изъ-за какихъ-то завѣтныхъ принциповъ, а какъ только начнешь сводить этотъ любезный принципъ съ маленькаго пьедестальчика, на ко-

торый онъ взобрался, какъ только назовешь этотъ принципъ по имени—сейчасъ или сердятся, или плачутъ!

Маршъ!

Въ другой разъ дѣло было еще горячѣе.

Я сидѣлъ съ одной «душкой» (и какъ идутъ къ нимъ эти распущенные волосы, эти короткія платьица, какой онѣ имѣютъ шикарный видъ!) и, побрякивая саблей, доказывалъ ей, что занятіе анатоміей отнюдь не должно входить въ кругъ воспитанія благородныхъ дѣвицъ.

— Почему такъ?—спросила она меня довольно нахально.

— А потому, душенька, — отвѣчалъ я: — что анатомія можетъ волновать нѣжныя, легко воспламеняющіяся чувства...

— Лучше скажите, что она можетъ волновать чувства у тѣхъ, кто не помышляетъ ни о чемъ, кромѣ гадостей...

— Ужъ будто и «гадостей»? А небось, какъ дойдетъ до «амуровъ»...

Я каюсь: я увлекся! Раздражаемый содержаніемъ разговора, миловидностью паціентки, коротенькой юбочкой, которая позволяла видѣть прекраснѣйшую въ мірѣ ножку, я, можетъ-быть, ужъ слишкомъ близко подсѣлъ къ ней...

Я хотѣлъ уже взять ее за талію... Хлопъ!.. Ужели и это не легкомысліе? Проповѣдуютъ свободу любви, а какъ только предлагаютъ имъ запечатлѣть эту свободу... Хлопъ!

Маршъ!

Ахъ, какъ я себя велъ!

«Онѣ» сидѣли и клеили картонки. Не знаю, почему мнѣ это показалось возмутительнымъ. Но этого мало! мнѣ показалось, что слѣдуетъ ихъ обыскать...

Ахъ, какъ я себя велъ!

Читатель можетъ спросить меня: кто допустилъ насъ такимъ образомъ нахальничать? чего смотрѣло начальство?

На это я могу отвѣчать одно: медвѣдь проснулся... Покуда медвѣдь лежитъ въ берлогѣ и сосетъ лапу, начальству легко. Съ помощью куска мяса, его можно даже выманить изъ берлоги и заставить танцовать; но Боже упаси, если онъ начнетъ рычать! Нѣтъ той силы, которая могла бы усмирить его!

Слава о моихъ подвигахъ росла... Одинъ, безъ всякаго уполномочія, кромѣ частной иниціативы... Это было изумительно! Это даже было не просто изумительно, но

волшебно! Но таково могущество охранительной идеи! Она простого, слабаго смертнаго, съ желѣзомъ въ сердцѣ, съ кремнемъ въ душѣ, вооружаетъ когтями льва! Невольнымъ образомъ голова моя закружилась. Я видѣлъ себя предметомъ восторженнѣйшихъ овацій. Въ похвалу мнѣ произносились спичи; во всѣхъ трактирахъ имперіи лилось шампанское, съ пожеланіемъ новыхъ и новыхъ подвиговъ; со всѣхъ концовъ сыпались поздравительныя телеграммы... Я пламенѣлъ, я жаждалъ, я устремлялся, я былъ готовъ! Я нѣсколько дней сряду кутилъ; ночи проводилъ безъ сна и почти не ѣлъ ничего. Глаза воспалились, ненависть разгоралась все больше и больше, такъ что можно почти сказать, что она одна поддерживала мои силы... Но цементъ былъ крѣпокъ! Я дошелъ почти до ясновидѣнія и угадывалъ «негодяевъ» тамъ, гдѣ другіе усматривали только дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ. Но, съ другой стороны, эта же возбужденность чувства мѣшала мнѣ ясно понимать, что въ числѣ множества прихотливыхъ формъ, которыми облекается либерализмъ, есть нѣкоторыя, прикасаться къ которымъ не всегда безопасно... Особенныя трудности въ этомъ смыслѣ представляютъ формы, называемыя дѣйствительными статскими совѣтниками.

Овацiи продолжались, шампанское лилось, шарманки въ трактирахъ играли. Но были уже сферы, въ которыя проникала измѣна. Поговаривали кой-гдѣ que je suis trop entier, что у меня начинаютъ обрисовываться слишкомъ яркія убѣжденія, что это тоже нехорошо, потому что, становясь на почву убѣжденій (даже самыхъ, что называется, пасквильныхъ), человѣкъ самый враждебный либерализму постепенно совращается, совращается и наконецъ, ничего не подозрѣвая, оказывается на самомъ днѣ онаго...

Какія-то странныя предчувствія тяготили меня. Я смутно подозрѣвалъ, что эти слухи недаромъ, что откуда-то грозитъ опасность, долженствующая положить конецъ моей дѣятельности. Я старался исправиться, старался стать выше убѣжденій; но безсонница и искусственныя средства для подкрѣпленія слабѣющаго организма разрушали всѣ усилія, дѣлаемыя въ этомъ смыслѣ. Едва я приступалъ къ «работѣ», какъ мною овладѣвалъ всецѣло демонъ ненависти. Глаза наливаются кровью, въ ушахъ шумитъ, руки безпокойно подергиваются, лицо искажается судорогою.

Вотъ инородецъ, такъ тѣмъ нахвалиться не могутъ. Ему

что!—онъ пришелъ, ни слова не сказалъ, пошевелилъ глазами, забралъ въ охапку и ушелъ... Днемъ спитъ, ночью работаетъ, и никогда ни капли! А я?!

Сегодня призывали меня къ генералу, — не къ тому отставному, который вручилъ мнѣ жезлъ просвѣщенія, а къ другому, настоящему, котораго я, по несчастію, совсѣмъ упустилъ изъ вида. Генералъ былъ сердитъ.

— Правда ли,—сказалъ онъ мнѣ:—что вы дошли до такой степени гнусности, что позволили себѣ потерять всякое уваженіе даже къ женской стыдливости?

Очевидно, что клевета начинала уже поднимать голову.

Я хотѣлъ оправдываться; говорилъ, что это только такъ... немного... Я заикался, переминался съ одной ноги на другую и былъ дѣйствительно жалокъ.

— Прошу отвѣчать на вопросъ!—прервалъ генералъ.

— Точно такъ, ваше пр-ство!—вышалилъ я словно изъ пушки.

— Меррзавецъ!

Странное дѣло! Сколько разъ имѣлъ я случай испытывать на себѣ дѣйствіе этого слова, сколько разъ самъ примѣнялъ его къ другимъ,—и все не могу привыкнуть къ нему! Всегда оно кажется мнѣ чѣмъ-то неожиданнымъ, совсѣмъ новымъ.

Однако растолковать это все-таки довольно трудно. «Меррзавецъ!»—ну, прекрасно! Но отчего же одинъ генералъ говоритъ: «молодецъ!»—а другой, при тѣхъ же точно обстоятельствахъ, кричитъ: «меррзавецъ!»?

Но какимъ образомъ я «его» высѣкъ?!

Дѣло было такъ.

Мы закусывали въ «Старомъ Пекинѣ». Выпито было изрядно, потому что стеченіе патріотовъ было неслыханное. Я разсказывалъ о подвигахъ послѣдней ночи; другіе—также. Соревнованіе было общее. Не знаю, какимъ образомъ разговоръ принялъ такой странный оборотъ, но помню, что я сталъ хвастаться. Я говорилъ, что и не такъ еще поступлю и что въ будущую же ночь непремѣнно «его» высѣку.

Каналья-нѣмецъ (тотъ самый, который не могъ сразу опредѣлить, какая у него душа) еще больше раззудилъ меня, выразивши сомнѣніе насчетъ исполнимости моего намѣренія. Слово за слово, состоялось пари...

— Сто противъ одного!—бѣсновался я:—я ставлю сто рюмокъ, ты — одну! Принимаешь, скорлупная голова? (У нѣмцевъ—я это замѣтилъ—головы всегда нѣсколько прозрачны на свѣтъ).

— О, я съ удовольствіемъ!—зудилъ проклятый нѣмецъ:— но ви можете сичасъ же начайть плятить, потому что это никакъ невозможно... ви дольженъ «его» взять... вести... смотрѣть... но висѣчь!—это невозможно! О, нѣтъ... это другой, а не ви!

И, словно бѣсъ-соблазнитель, онъ ежеминутно сновалъ мимо меня, моталъ своей бараньей головой и повторялъ:

— Висѣчь—нѣтъ! не ви!

Наступила ночь. По обыкновенію, я отправился въ походъ. Для крѣпости выпилъ. Какъ теперь помню, мы подошли къ громадному дому, вызвали дворника и назвали фамилію. Онъ со двора указалъ намъ квартиру въ самомъ верху.

Сначала, когда мы были еще неопытны, мы всегда брали съ собой дворника до самой двери квартиры. Но впослѣдствіи стали неглижировать этою предосторожностью.

Мы что-то долго поднимались по лѣстницѣ, которая вдобавокъ была темна, черна и скользка. Наконецъ, порядочно утомившись, пришли къ цѣли.

Едва успѣли мы одинъ разъ дернуть за ручку звонка, какъ «онъ» уже прибѣжалъ къ двери и поспѣшно отворилъ ее...

Повидимому, это былъ человѣкъ не первой молодости. Лицо его было блѣдно и разстроено. Свѣча дрожала въ рукѣ. Распахнувшіяся полы стараго, истрепаннаго халата обнаруживали нару трясущихся ногъ. Никогда я не видалъ человѣка въ такой степени виноватаго...

— Всыпьте-ка ему десятка два дѣтскихъ!—сказалъ я съ перваго абцуга, обращаясь къ своимъ товарищамъ.

Нѣмецъ былъ тутъ же и только взмахнулъ на меня глазами.

«Онъ» былъ до того виноватъ, что даже не возражалъ. «Онъ» кротко легъ и кротко же всталъ, не испустивши ни стона ни жалобы.

— Ваша фамилія, ваши занятія?—сурово спросилъ я.

— Начальникъ отдѣленія NN департамента, статскій совѣтникъ Перемоловъ!—отвѣчалъ онъ, упираясь глазами внизъ (очевидно, ему было стыдно).

Представьте мое изумленіе! это былъ... не «онъ»!!

Я пытался какъ-нибудь выпутаться и запутался еще больше. Мнѣ слѣдовало просто-на-просто уйти, показавъ *видъ*, что общественная немезида удовлетворена. Вмѣсто

того я уперся, перерылъ всю его скаредную квартиру, думая найти хоть что-нибудь, хоть букву какую-нибудь, которая могла бы мнѣ послужить оправданіемъ. Разумѣется, я ничего не нашелъ, кромѣ доказательствъ его душевной невинности... Тогда я сталъ придираться...

— Но какъ же осмѣлились вы, милостивый государь, вводить меня въ заблужденіе?—накинулся я на него.

Но онъ уже понялъ и, убѣдившись въ своей невинности, началъ обнаруживать твердость души.

— Нѣтъ, это вамъ такъ не пройдетъ! — говорилъ онъ, постепенно приходя въ раздраженіе и какъ бы ободряя себя своимъ собственнымъ крикомъ. — Нѣтъ! это что же? Этакъ всякій съ улицы пришелъ, распорядился и ушелъ!.. Нѣтъ! это не такъ!... Въ этихъ дѣлахъ надо глядѣть да и глядѣть...

— Но поймите, что тутъ вашей вины гораздо больше, нежели моей...

— Ничего я не хочу понимать! Я слишкомъ хорошо понимаю! Это чортъ знаетъ что! Пришелъ, распорядился и ушелъ! Н-н-н-ѣ-ѣтъ!

Онъ вдругъ остервенился, началъ скакать на меня, подставлять къ моему лицу кулаки... Такъ что даже наконецъ я оскорбился.

— Понимаете ли вы, милостивый государь, что вы меня оскорбляете?—сказалъ я съ достоинствомъ.

— Я его оскорбляю! Милости просимъ! я! Онъ со мной — какъ съ младенцемъ... и я его оскорбляю! Я... его!... Ахъ!

Словомъ сказать, загородилъ такую чепуху, что хоть святыхъ вонъ выноси! Одно мгновеніе въ моей головѣ мелькнуло: не попросить ли прощенія? Но странное дѣло! я вдругъ какъ-то понялъ, что это послѣдній мой подвигъ, и покорился...

Онъ не простилъ.

На другой день меня опять призвали къ настоящему генералу.

— Правда ли, что вы статскаго совѣтника Перемолова подвергли наказанію на тѣлѣ?—спросилъ онъ у меня.

— Точно такъ, ваше пр-ство!

Онъ взглянулъ на меня съ любопытствомъ.

— Мерзавецъ!—произнесъ онъ тихо...

Опять это слово!!

которые опять-таки дали Ольгѣ Сергѣевнѣ возможность être bien mise, causer, plaire и ни въ чемъ себѣ не отказывать. Въ теченіе шести недѣль послѣ родовъ она неутомимо снаряжала своего маленькаго Nicolas и наконецъ достигла-таки того, что онъ въ свою очередь сдѣлался точно куколка.

— Онъ у меня совсѣмъ, совсѣмъ куколка!—говорила она, показывая Nicolas кавалеристамъ, товарищамъ ея мужа:— Куколка! засмѣйся!

Кавалеристы хвалили «куколку» и въ то же время искоса посматривали на другую куколку, на молодую мать.

По прошествіи шести недѣль начались визиты. Ma tante, mon oncle, mon cousin, la princesse Simborska, la comtesse Romanzoff, la baronne de Fok, всѣхъ надо было обрадовать, всѣмъ сообщить, какой у насъ родился «куколка».

— Ma tante, если-бъ вы знали, какой онъ у меня куколка! C'est un petit charme! И какъ все понимаетъ! Представьте себѣ, на-дняхъ я одѣваюсь, а онъ лежитъ у меня на колѣняхъ и вдругъ (слѣдуетъ нѣсколько словъ на ухо)... mais imaginez-vous cela!

— Ты сама еще куколка! — улыбаясь, отвѣчаетъ ma tante:—но чувство матери, мой другъ, — священное чувство! Ты никогда не должна забывать этого!

— Ахъ, какъ я это понимаю, ma tante! Съ той минуты, какъ у меня родился мой куколка, я точно преобразилась вся! C'est toute une révélation. Этого противнаго Петьку я даже не пускаю къ себѣ... et vous savez si je l'aime! Все думаю о томъ, какъ бы мнѣ нарядить моего милаго куколку! И если-бъ вы знали, сколько платьицъ ему сшила... tout un trousseau!

— Все это очень хорошо, мой другъ, но не забудь, что для мальчика главное не въ платьицахъ, а въ религіозномъ чувствѣ и въ твердыхъ нравственныхъ правилахъ.

— О! я не забуду! я никогда этого не забуду, ma tante! И даже вотъ теперь, когда Петька вздумалъ въ прошлый постъ ѣсть скоромное, я ему очень твердо объявила: mon cher! теперь не прежнее время! теперь у насъ есть сынъ, которому мы должны подавать примѣръ! si vous faites gras à table, vous ferez maigre ailleurs... И при этомъ такъ ему погрозила, что онъ со страху (vous savez, ma

tante, comme c'est une grande privation pour lui) съѣлъ цѣлую тарелку супу *безъ всего!!*

— Ну, Христосъ съ тобой, куколка! Поѣзжай, подѣлись своей радостью съ дядей Павломъ Борисычемъ!

У дяди Павла Борисыча повторилась та же сцена, что у ma tante, съ тою разницей, что вмѣсто нравоученій о религіозномъ чувствѣ и твердыхъ правилахъ нравственности дядя сказалъ слѣдующее наставленіе:

— Ты дѣлаешь очень мило, мой другъ, что заботишься о своемъ куколкѣ. Que ton marmot soit bien lavé, bien vêtu, qu'il soit présentable, enfin,—все это прекрасно, похвально и необходимо. Но помни, душа моя, что и для него настанетъ время, когда онъ будетъ думать не объ атласныхъ одѣяльцахъ и кружевныхъ чепчикахъ, а о другомъ атласѣ, о другихъ кружевахъ. Vous savez, ma chère, de quoi il s'agit. Надобно, чтобъ онъ встрѣтилъ эту минуту съ честью. Il faut que ce soit un galant homme. Чтобъ онъ не обращался съ женщиной, какъ извозчикъ или какъ нынѣшніе національгарды, которые, отправляясь въ общество порядочныхъ женщинъ, предварительно ищутъ себѣ вдохновенья въ манежахъ, кафе-шантанахъ и циркахъ! Чтобъ женщина была для него святыня! Чтобъ онъ любилъ покорять, но при этомъ умѣлъ всегда сохранять видъ побѣжденнаго!

На что Ольга Сергѣевна отвѣчала:

— Mon oncle! ужели вы во мнѣ сомнѣваетесь! Mais le culte de la beauté... c'est tout ce qu'il y a de plus sacré! Я теперь совершенно переродилась! Я даже Петьку къ себѣ не пускаю — et vous savez, comme c'est une grande privation pour lui! — только потому, что онъ рѣзокъ немного.

— Ну, Христосъ съ тобой, куколка! Я съ своей стороны высказался, а теперь ужъ отъ тебя будетъ зависѣть сдѣлать изъ твоего «куколки» un homme bien élevé. Поѣзжай и подѣлись твоею радостью съ братомъ Никитой Кирилычемъ.

И такъ далѣе, то-есть того же содержанія и съ тѣми же оттѣнками сцены у братца Никиты Кирилыча, у comtesse Romanzoff и проч., и проч.

Такимъ образомъ прошли два года, въ продолженіе которыхъ судьба то покровительствовала «куколкѣ», то измѣняла ему. Maman относилась къ нему какъ-то капризно: то запоемъ показывала его всякому пріѣзжающему гостю,

то запоемъ оставляла въ дѣтской на рукахъ нянекъ и бонны. Мало-по-малу послѣдняя система превозмогла, такъ что только въ званые обѣды и вечера куколку на минуту вызывали въ гостиную, вмѣстѣ съ хорошенькой швейцаркой-бонной, и раскладывали передъ гостями, всего въ батистѣ и кружевахъ, на атласной подушкѣ. Гости подходили, щекотали у «куколки» подъ брюшкомъ, произносили: «брякишь!» или: «диковинное произведеніе природы!» и при этомъ такъ жадно посматривали на maman, что ей становилось жутко.

На двадцать первомъ году («куколкѣ» тогда не было еще трехъ лѣтъ) Ольгу Сергѣевну постигло горе; у нея скончался мужъ. Въ первыя минуты она была какъ безумная. Просиживала по нѣскольку минутъ лицомъ къ стѣнѣ, потомъ подходила къ роялю и разсѣянно брала нѣсколько аккордовъ, потомъ подбѣгала къ гробу и утомленно-капризнымъ голосомъ вскрикивала:

— Петька! глупый! ты какъ смѣешь умирать! Ты лжешь! ты притворяешься! Дурной! противный! Ты никогда... слышишь, никогда! — не смѣешь бросить твою Ольку!

И слезы, какъ перлы, сыпались (именно сыпались, а не лились) изъ ея темно-синихъ глазъ, и — о диво! — не производили въ нихъ ни красноты, ни опухлости.

Но черезъ шесть недѣль опять наступила пора визитовъ, и плакать стало некогда. Надо было ѣхать къ ma tante, къ mon oncle, къ comtesse Romanzoff и со всѣми подѣлиться своимъ горемъ. Вся въ черномъ, немного блѣдная, съ опущенными глазами, Ольга Сергѣевна была такъ интересна, такъ скромно и плавно скользила по паркету гостиныхъ, что всѣ въ почтительномъ безмолвіи разступались передъ нею и въ одинъ голосъ рѣшили: «c'est une sainte!»

— Ma tante!—говорила между тѣмъ Ольга Сергѣевна:— я потеряла свое сокровище! Но я счастлива тѣмъ, что у меня осталось другое сокровище—мой «куколка»!

— Другъ мой, — отвѣчала ma tante: — я знаю, потеря твоя велика. Но даже и въ самомъ страшномъ горѣ у насъ есть всегда вѣрное пристанище—это религія!

— Ахъ, какъ я это понимаю, ma tante! какъ я это понимаю! Съ тѣхъ поръ, какъ я лишилась моего сокровища, я вся преобразилась! La religion! mais savez-vous, ma tante, qu'il y a des moments, où j'ai envie d'avoir des ailes! И

если-бъ у меня не было моего другого сокровища, моего «куколки»...

— Ну, Христосъ съ тобой, сама ты куколка!.. Поѣзжай и подѣлись своимъ горемъ съ дядей Павломъ Борисычемъ. Ты знаешь, какъ старикъ тебя жалуетъ.

У дяди Павла Борисыча тѣ же жалобы и то же сочувствіе.

— Я потеряла моего благодѣтеля, мое сокровище, mon oncle! — говорила Ольга Сергѣевна: — вы знали, какъ онъ былъ добръ ко мнѣ! какъ онъ любилъ меня! какъ исполнялъ всѣ мои прихоти! А я... я была глупенькая тогда! я была недостойна его благодѣяній! Я... я не понимала тогда, какъ дорого ему все это стоило!

— Мой другъ, я очень понимаю всю важность твоей потери, — отвѣчалъ «mon oncle»: — mais ce n'est pas une raison pour maigrir, mon enfant. Вспомни, что ты женщина, и что у тебя есть обязанности передъ свѣтомъ. Смотри же у меня, не худѣй, а не то я разсержусь и не буду любить мою куколку!

— Ахъ, mon oncle! вы одинъ добрый, одинъ великодушный. Vous pénétrez si bien dans le coeur d'une femme! Нѣтъ, я не буду худѣть, я буду много-много кушать, чтобы вы всегда-всегда могли любить вашу маленькую, несчастную куколку!

— То-то! ты не очень слушайся тетку Надежду Борисовну! Она тамъ постнымъ масломъ да изреченіями аббата Гэтѣ кормитъ, а я этого не люблю! Ну, теперь Христосъ съ тобой! Поѣзжай и подѣлись твоимъ горемъ съ братомъ Никитой Кирилычемъ!

И т. д., и т. д.

Затѣмъ все впало въ обычную колею. Въ теченіе четырехъ лѣтъ Ольга Сергѣевна являла собой примѣръ скромности и материнской нѣжности. «Куколка», временно пренебреженный, вновь выступилъ на первый планъ и сдѣлался предметомъ всевозможныхъ восхищеній. Его одѣвали утромъ, одѣвали въ полдень, одѣвали къ обѣду, одѣвали къ вечеру. Утромъ къ нему пріѣзжалъ спеціальный дѣтскій докторъ, осматривалъ, ощупывалъ, присутствовалъ при его купаньѣ и всякій разъ неизмѣнно повторялъ одну и ту же фразу:

— О! этотъ молодой человѣкъ будетъ имѣть успѣхъ.

На что Ольга Сергѣевна столь же неизмѣнно отвѣчала:

— Ah, mais savez-vous, docteur, qu'il devient déjà polisson!

Передъ обѣдомъ «куколку» прогуливали на рысакахъ по Невскому и по набережной; вечеромъ его приводили въ гостиную, всегда полную гостей, и заставляли расшаркиваться и говорить des amabilités. У «куколки» были двѣ бонны: англичанка и нѣмка, и одна institutrice — француженка. Сверхъ того, по распоряженію ma tante, его посѣщалъ отецъ Антоній, le père Antoine, молодой и благообразный священникъ, который отличался отъ своихъ собратій тѣмъ, что говорилъ по-французски безъ латинскаго акцента, ходилъ въ муаръ-антиковой рясѣ и съ такою непринужденностью сѣялъ сѣмена религіи и нравственности, какъ будто ему это ровно ничего не стоило... Идетъ и сѣетъ, и, повидимому, даже не замѣчаетъ, что сѣмена такъ и сыплются изъ всѣхъ поръ его существа. При такой обстановкѣ относительно «куколки» разомъ достигались всѣ цѣли хорошаго воспитанія: и тѣлесная крѣпость, и привычка къ обществу, и прекрасныя манеры, и такъ-называемые краткіе начатки вѣры и нравственности.

Не одинъ изъ лихихъ кавалеристовъ, посѣщавшихъ по вечерамъ салонъ Ольги Сергѣевны, заглядывался на нее и покушался нарушить миръ ея души. Это казалось тѣмъ менѣе труднымъ, что два года счастливаго супружества должны были порядкомъ-таки избаловать хорошенькую молодку, и слѣдовательно, при такой избалованности, ей не легко было разомъ покончить съ утѣхами прошлаго. Сама ma tante выражала по секрету свои опасенія на этотъ счетъ, а mon oncle даже прямо выражался: «pourvu que ça soit une bonne petite intrigue bien comme il faut — le reste ne me regarde pas!» Но, къ общему удивленію, Ольга Сергѣевна закалилась какъ адамантъ. По временамъ она, конечно, вспыхивала, щеки ея слегка алѣли, глаза туманились, грудь поднималась и не умѣла сдержать затаеннаго вздоха; но какъ-то всегда, въ эти тяжкія минуты, подоспѣвалъ къ ней на выручку «куколка». Онъ бурей влеталъ въ гостиную и такъ уморительно расшаркивался, что Ольга Сергѣевна мгновенно отрезвлялась. Отецъ Антоній, которому были извѣстны всѣ перипетіи этой борьбы слабой женщины съ цѣлымъ корпусомъ кавалерійскихъ офицеровъ, сравнивалъ ее съ египетскими пустынножителями и для пріобрѣтенія большей крѣпости въ брани совѣтовалъ соблюдать посты. Но даже и съ этой стороны интересная вдова не могла считать себя совсѣмъ безопасною, потому что самъ отецъ Антоній выслушивалъ ее «смущенный и

очи опустя, какъ передъ матерью виновное дитя», и Ольга Сергѣевна такъ и ожидала, что онъ нѣтъ-нѣтъ да и начнетъ вращать зрачками, какъ любой кавалерійскій корнетъ. Ma tante была такъ поражена этой неслыханной твердостью, что называла свою племянницу не иначе, какъ «ma sainte». Одинъ mon oncle все еще надѣялся, что когда-нибудь cela viendra, и продолжалъ предостерегать Ольгу Сергѣевну насчетъ національгардовъ.

И вдругъ, черезъ четыре года, Ольга Сергѣевна является къ ma tante и объявляетъ, что ей скучно.

— Но что же съ тобой, мой другъ?—спросила ma tante, пораженная этой неожиданностью.

— Je ne sais, je sens quelque chose là,—отвѣтила Ольга Сергѣевна, указывая на грудь: — однимъ словомъ, доктора въ одинъ голосъ приказываютъ мнѣ ѣхать за границу!

— Но какъ же быть съ «куколкой»?

— Я все обдумала, ma tante; я знаю, что я дурная... что, можетъ-быть, я даже преступная мать! — воскликнула Ольга Сергѣевна и вдругъ встала передъ ma tante на колѣни: — ma tante! вы не оставите его! вы замѣните ему мать!

Жребій «куколки» былъ брошенъ. Ma tante согласилась замѣнить ему мать и взяла на себя насажденіе въ его сердцѣ правилъ нравственности и религіи. Mon oncle поручился за другую сторону воспитанія, то-есть за хорошія манеры и искусство побѣждать, сохраняя видъ побѣжденнаго. Въ результатѣ этихъ соединенныхъ усилій долженъ былъ выйти un jeune homme accompli, рыцарь вѣжливости и преданности, молодой человѣкъ, преисполненный всевозможныхъ bons principes, preux chevalier, готовый во всякое время объявить крестовый походъ противъ mahans et mécréans. Ольга Сергѣевна уѣхала вполнѣ успокоенная.

Годы шли, а интересная вдова, какъ канула за границу, такъ и исчезла тамъ. Слухъ былъ, что она на короткое время блеснула на водахъ, въ сопровожденіи какого-то національгарда (отъ судьбы, видно, не убѣжишь!), но потомъ скоро уѣхала въ Парижъ и тамъ поселилась на житье. Потомъ прошелъ и еще слухъ: въ Парижѣ Ольга Сергѣевна произвела фуроръ и имѣла нѣсколько шикарныхъ приключеній, которыя сдѣлали имя ея очень громкимъ. La belle princesse Persianoff сдѣлалась предметомъ газетныхъ фельетоновъ и устныхъ скандалёзныхъ хроникъ.

Называли двухъ-трехъ литераторовъ, одного министра (de l'Empire), одного сенатора и даже одного акробата (неизбѣжное слѣдствіе чтенія романа «L'homme qui rit»). Доходы съ пензенскихъ, тамбовскихъ и воронежскихъ имѣній проматывались съ быстротою неимовѣрною. Система залоговъ и перезалоговъ, продажа лѣсныхъ и другихъ угодій, находившая при покойномъ Петькѣ лишь робкое себѣ примѣненіе, сдѣлалась основаніемъ всѣхъ финансовыхъ операцій Ольги Сергѣевны. «Mais vendez donc cette maudite Tarakanikha, qui ne vaut rien et qui ne nous est qu'à charge!» безпрерывно писала она къ одному изъ своихъ cousins, наблюдавшему «изъ прекраснаго далека» за имѣніемъ ея и ея покойнаго мужа. И одна за другой полетѣли Тараканихи, Опалихи, Бычихи, Коняихи, все, что служило обремененіемъ, что вдругъ оказалось лишнимъ. Наконецъ репутація Ольги Сергѣевны достигла тѣхъ предѣловъ, далѣе которыхъ идти было ужъ некуда. Въ газетахъ разсказывали подробности одной дуэли, въ которой интересная вдова играла очень видную, хотя не совсѣмъ лестную для нея роль. Повѣствовалось о какомъ-то butor изъ молдаванъ, о какихъ-то mauvais traitements, жертвою которыхъ была la belle princesse russe de P***, и наконецъ о какомъ-то preux chevalier, который явился защитникомъ мальтретированной красавицы. Тогда петербургскіе родные встревожились.

— Et dire que c'était une sainte!—восклицала ma tante.

— Я предсказывалъ, что знакомство съ національгардами не доведетъ до добра!—зловѣще каркалъ mon oncle.

На семейномъ совѣтѣ рѣшено было просить... Разрѣшеніе не замедлило, и въ силу его Ольга Сергѣевна вынуждена была оставить очаровательный Парижъ и поселиться въ деревнѣ, для поправленія разстроенныхъ семейныхъ дѣлъ. Въ это время ей минуло тридцать четыре года.

А «куколка» тѣмъ временемъ процвѣталъ въ одномъ «высшемъ учебномъ заведеніи», куда былъ помѣщенъ стараніями ma tante. Это былъ юноша въ полномъ смыслѣ слова многообѣщающій: красивый, свѣжій, краснощекій, вполнѣ увѣренный въ своей дипломатической будущности и въ то же время съ завистью посматривающій на брящающихъ палашами юнкеровъ. По части священной исторіи онъ зналъ, что «царь Давидъ на лирѣ играетъ во псалтырѣ», и что у законоучителя ихъ «лимонная борода». *По части всеобщей исторіи* онъ былъ твердо убѣжденъ,

что Римъ палъ жертвою своевольной черни. По части этнографіи и статистики ему небезызвѣстно было, что человѣчество раздѣляется на двѣ отдѣльныхъ породы: chevaliers и manans, изъ коихъ первые храбры, великодушны, преданны и вѣрны данному слову; торые же малодушны, трусливы, лукавы и никогда даннаго слова не выполняютъ. Онъ зналъ также, что народы, которые не роптали, были счастливы; а народы, которые роптали, были несчастливы, ибо подвергались усмиренію посредствомъ экзекуцій. Сверхъ того, онъ курилъ табакъ, охотно пилъ шампанское и еще охотнѣе посѣщалъ театръ Берга по воскреснымъ и табельнымъ днямъ. О maman своей онъ имѣлъ самое смутное понятіе, то-есть зналъ, que c'est une sainte и что она живетъ за границей для поправленія разстроеннаго здоровья. Ольга Сергѣевна раза два въ годъ писала къ нему коротенькія, но чрезвычайно милыя письма, въ которыхъ умоляла его воспитывать въ себѣ сѣмена религіи и нравственности, запасъ которыхъ всегда хранился въ готовности у ma tante. Онъ съ своей стороны писалъ къ maman чаще и довольно пространно описывалъ свои занятія у профессоровъ, такъ что въ одномъ письмѣ подробно изобразилъ первый крестовый походъ. «Представьте себѣ, милая maman, ихъ гнали отовсюду, на нихъ плевали, ихъ травили собаками, однако-жъ они, предводимые пламеннымъ Петромъ Пикарскимъ, все шли, все шли». Но такъ какъ во время этого описанія (онъ самъ впослѣдствіи признавался въ этомъ maman) его тайно преслѣдовалъ образъ нѣкоторой Альфонсинки и ея куплетъ:

A Provins
On récolte des roses
Et du jasmin,
Et beaucoup d'autres choses...

то весьма естественно, что реляція о крестовомъ походѣ заканчивалась слѣдующими словами: «въ особенности же съ героической стороны выказалъ себя при этомъ небольшой французскій городокъ Provins (allez-y, bonne maman, c'est si près de Paris!), который въ настоящее время, какъ видно изъ географіи, отличается изобиліемъ жасминовъ и розъ самыхъ лучшихъ сортовъ».

Таковъ былъ этотъ юноша, когда ему минуло шестнадцать лѣтъ, и когда съ Ольгой Сергѣевной случилась катастрофа. Пріѣхавши въ Петербургъ, интересная вдова, разумѣется, расплакалась и прикинулась до того наивною,

что когда «куколка» въ первое воскресенье явился въ отпускъ, то она, увидѣвъ его, притворилась испуганною и съ крикомъ: — Ахъ! это не «куколка»! это какой-то большой! — выбѣжала изъ комнаты. «Куколка», съ своей стороны, услышавъ такое привѣтствіе, пріосанился и покрутилъ зачатокъ уса.

Тѣмъ не менѣе болѣе близкое знакомство между матерью и сыномъ все-таки было неизбѣжно. Какъ ни дичилась на первыхъ порахъ Ольга Сергѣевна своего бывшаго «куколки», но мало-по-малу робость прошла, и началось сближеніе. Оказалось, что Nicolas—прелестный малый, почти мужчина, qu'il est au courant de bien des choses и даже совсѣмъ, совсѣмъ не сынъ, а просто братъ. Онъ такъ мило бралъ свою конфетку-maman за талію, такъ нѣжно цѣловалъ ее въ щечку, рекулировалъ ей на ухо de si jolies choses, что не было даже резона дичиться его. Поэтому минута обязательнаго отъѣзда въ деревню показалась для Ольги Сергѣевны особенно тяжкою, и только надежда на предстоящія каникулы нѣсколько смягчала ея горе.

— Надѣюсь, что ты будешь откровененъ со мною?—говорила она, трепля «куколку» по щекѣ.

— Maman!

— Нѣтъ, ты совсѣмъ, совсѣмъ будешь откровененъ со мной! ты разскажешь мнѣ всѣ твои prouesses, tu me feras un récit détaillé sur ces dames, qui ont fait battre ton jeune coeur... Ну, однимъ словомъ, ты забудешь, что я твоя maman, и будешь думать... ну, что бы такое ты могъ думать?.. ну, положимъ, что я твоя сестра!..

— И, чортъ возьми, прехорошенькая! — прокартавилъ Nicolas (въ экстренныхъ случаяхъ онъ всегда для шика картавилъ), обнимая и цѣлуя свою maman.

И maman уѣхала и стала считать дни, часы и минуты.

Село Перкали, съ каменнымъ господскимъ домомъ, съ огромнымъ, прекрасно содержимымъ господскимъ садомъ, съ многоводною рѣкою, прудами, тѣнистыми аллеями—вотъ мѣсто успокоенія Ольги Сергѣевны отъ парижскихъ треволненій. Комната Nicolas убрана съ тою разсчитанною простотою, которая на первомъ планѣ ставитъ комфортъ и допускаетъ изящество лишь какъ необходимое подспорье къ нему. Ковры на полу и на стѣнахъ; простая, но чрезвычайно покойная постель; мебель, обитая сафьяномъ; массивный письменный столъ, уставленный столь же массив-

ными принадлежностями письма и куренья; небольшая библіотека, составленная изъ избраннѣйшихъ романовъ Габоріо, Монтепена, Фейдѳ, Понсонъ-дю-Терайля и проч., и наконецъ по стѣнамъ цѣлая коллекція ружей, ятагановъ и кинжаловъ — вотъ обстановка, среди которой предстояло Nicolas провести цѣлое лѣто.

Первая минута свиданія была очень торжественна.

— Voici la demeure de vos ancêtres, mon fils!—сказала Ольга Сергѣевна:—можетъ-быть, въ эту самую минуту они благословляютъ тебя là haut!

Nicolas, какъ благовоспитанный юноша, поникъ на минуту головой, потомъ поднялъ глаза къ небу и какъ-то порывисто поцѣловалъ руку матери. При этомъ ему очень кстати вспомнились стихи изъ хрестоматіи:

И изъ его суровыхъ глазъ
Слеза невольная скатилась...

И онъ вдругъ вообразилъ себѣ, что онъ сѣдой, что у него суровые глаза, и изъ нихъ катится слеза.

— А вотъ и твоя комната, Nicolas,—продолжала maman:—я сама уставляла здѣсь все до послѣдней вещицы; надѣюсь, что ты будешь доволенъ мною, мой другъ!

Глаза Nicolas прежде всего впились въ стѣну, увѣшанную оружіемъ. Онъ ринулся впередъ и сталъ одинъ за другимъ вынимать изъ ноженъ кинжалы и ятаганы.

— Mais regardez, regardez, comme c'est beau! oh, maman! merçi! vous êtes la plus généreuse des mères!—восклицалъ онъ въ ребяческомъ восторгѣ, показывая свои сокровища:—этотъ ятаганъ... чортъ возьми!

— Этотъ ятаганъ—святыня, мой другъ: его отнялъ твой дѣдушка Николай Ларіоновичъ — c'était le bienfaiteur de toute la famille! — à je ne sais plus quel Turc, и съ тѣхъ поръ онъ переходитъ въ нашемъ семействѣ изъ рода въ родъ! Здѣсь все, что ты ни видишь, полно воспоминаній... de nobles souvenirs, mon fils!

Nicolas вновь поникъ головой, подавленный благородствомъ своего прошлаго.

— Вотъ этотъ кинжалъ,—продолжала Ольга Сергѣевна:—его вывезла изъ Турціи твоя grande tante, которую вся Москва звала la belle odalisque. Она была плѣнная турчанка, но твой grand oncle Constantin такъ увлекся ея глазами (elle avait de grands-grands yeux noirs!), что не только обратилъ ее въ нашу святую православную вѣру,

notre sainte religion orthodoxe, но впослѣдствіи даже женился на ней. И представь себѣ, mon ami, всѣ, кто ни зналъ ее потомъ въ Москвѣ... никто не могъ найти въ ней даже тѣни турецкаго! Она принимала у себя всю Москву, давала балы, говорила по-французски... mais tout-à-fait comme une femme bien élevée! По временамъ даже журила самого свѣтлѣйшаго!

Nicolas поникъ опять.

— А вотъ это ружье—ты видишь, оно украшено серебряными насѣчками—его подарилъ твоему другому grand oncle, Ипполиту, самъ свѣтлѣйшій князь Таврическій—tu sais? l'homme du destin! Покойный Pierre разсказывалъ, что «баловень фортуны» очень любилъ твоего grand oncle и даже готовилъ ему блестящую карьеру, mais il parait que le cher homme était toujours d'une très petite santé— и это мѣсто досталось Мамонову!

— Fichtre! c'est le grand oncle surnommé le Bourru bienfaisant? Такъ вотъ онъ былъ какой!

— Онъ самый! Depuis lors il n'a pas pu se consoler. Онъ поселился въ деревнѣ, здѣсь по близости, и все жертвуетъ, все строитъ монастыри. C'est un saint, и тебѣ непремѣнно нужно у него погостить. Что онъ вытерпѣлъ— ты не можешь себѣ представить, мой другъ! Десять лѣтъ онъ былъ подъ опекой по доносу своего дворецкаго (un homme, dont il a fait la fortune!) за то, что будто бы засѣкъ его жену... lui! un saint! И это послѣ того, какъ онъ былъ наканунѣ такой блестящей карьеры! Но и за тѣмъ онъ никогда не позволялъ себѣ роптать... напротивъ, и до сихъ поръ благословляетъ то имя... mais tu me comprends, mon ami?

Nicolas въ четвертый разъ поникъ головой.

— Но разсказывать исторію всего, что ты здѣсь видишь, слишкомъ долго, и потому мы возвратимся къ ней въ другой разъ. Во всякомъ случаѣ, ты видишь, что твои предки и твой отецъ — oui, et ton père aussi, quoiqu'il soit mort bien jeune!—всегда и прежде всего помнили, что они всѣмъ сердцемъ своимъ принадлежатъ нашему милому, доброму, прекрасному отечеству!

— Oh, maman! la patrie!

— Oui, mon ami, la patrie — vous devez la porter dans votre coeur! А прежде всего—дворянскій долгъ, а потомъ нашу прекрасную православную религію (si tu veux, je te donnerai une lettre pour l'excellent abbé Guété). Безъ этихъ

трехъ вещей—что мы такое? Мы путники, или, лучше сказать, пловцы...

— «Безъ кормила, безъ весла», — вставилъ свое слово Nicolas, припомнивъ нѣчто подобное изъ хрестоматіи.

— Ну да, c'est juste, ты прекрасно выразилъ мою мысль. Я сама была молода, душа моя, сама заблуждалась, ѣздила даже съ визитомъ къ Прудону, но, къ счастью, все это прошло, какъ больной сонъ... et me voilà!

— Oh, maman! le devoir! la patrie! et notre sainte religion!

Ольга Сергѣевна, въ свою очередь, поникла головой и даже умилилась.

— Ты не повѣришь, мой другъ, какъ я счастлива!— сказала она:—я вижу въ тебѣ это благородство чувства, это je ne sais quoi! Mais sens donc, comme mon coeur bondit et trépigne! Нѣтъ, ты не поймешь меня! ты не знаешь чувствъ матери! Mais c'est quelque chose d'ineffable, mon enfant, mon noble enfant adoré!

Этимъ торжество пріема кончилось. За обѣдомъ и мать и сынъ уже болтали, смѣялись и весело чокались бокалами, при чемъ Ольга Сергѣевна не безъ лукавства говорила Nicolas:

— А помнишь, душа моя, ты писалъ мнѣ объ одномъ городкѣ Provins, который изобилуетъ жасминами и розами; признайся, откуда ты взялъ это свѣдѣніе?

— Maman! я получилъ его въ театрѣ Берга! Parbleu! on enseigne très bien la géographie dans ce pays-là!

Первое время мать и сынъ не могли насмотрѣться другъ на друга. Ольга Сергѣевна какъ институтка бѣгала по тѣнистымъ аллеямъ, прыгала на pas de géant; Nicolas ловилъ ее и, поймавши, крѣпко-крѣпко цѣловалъ.

— Maman! разскажи, какъ вы познакомились съ papà?

— Папа былъ немного грубъ... но тогда это какъ-то нравилось,—слегка заалѣвшись, отвѣчаетъ Ольга Сергѣевна.

— Еще бы! Sacré nom! vous autres femmes: c'est votre idéal d'être maltraitées! Ну-съ! какъ же ты съ нимъ познакомилась?

— Мы встрѣтились въ первый разъ на балѣ, и онъ танцовалъ со мной сначала кадриль, потомъ мазурку... Тогда лифы носили очень короткіе — c'était presqu'aussi ouvert qu'à présent—и онъ все смотрѣлъ... это было очень смѣшно!

— Еще бы не смотрѣть! est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'un joli sein de femme! Ну-съ, дальше-съ.

— Потомъ онъ сдѣлалъ предложеніе, а черезъ мѣсяцъ насъ обвѣнчали. Mais comme j'avais peur, si tu savais!

— Еще бы! Кувыркомъ!

— Колька! негодный! развѣ ты знаешь?

— Гм!..

— Вѣдь тебѣ еще только шестнадцать лѣтъ!

— Семнадцатый-съ... Я, maman, революцій не дѣлаю, заговоровъ не составляю, въ тайныя общества не вступаю... laissez-moi au moins les femmes, sapristi! Затѣмъ продолжайте.

— Et puis!.. c'était comme une épopée! c'était tout un chant d'amour.

— Да-съ, тутъ запоешь, какъ выражается мой другъ, Петя Накатниковъ!

— Et puis!.. il est mort! Я была какъ безумная. Я звала его, я не хотѣла вѣрить...

— Еще бы! сразу на сухояденіе!

— Ахъ, Nicolas, ты шутишь съ самымъ священнымъ чувствомъ! Говорю тебѣ, что я была совершенно какъ въ хаосѣ, и если бы у меня не остался мой «куколка»...

— «Куколка»—это я-съ. Стало-быть, вы мнѣ одолжены, такъ сказать, жизнью. Parbleu! хоть одно доброе дѣло на своемъ вѣку сдѣлалъ! Но затѣмъ прошли цѣлыя двѣнадцать лѣтъ, maman... ужели же вы?.. Но это невѣроятно! si jeune, si fraîche, si pimpante, si jolie! Я сужу наконецъ по себѣ... Jamais on ne fera de moi un moine!

Ольга Сергѣевна алѣетъ еще больше и какъ-то стыдливо поникаетъ головой, но въ это же время исподлобья взглядываетъ на Nicolas, какъ будто говоритъ: «какой же ты однако простой: непремѣнно хочешь «mettre les points sur les i!»

— Trèves de fausse honte!—картавитъ между тѣмъ Коля:— у насъ условлено разсказать другъ другу всѣ наши prouesses! Слѣдовательно извольте сейчасъ же исповѣдываться передо мной, какъ передъ духовникомъ!

Ольга Сергѣевна на мгновеніе заминается, но потомъ вдругъ бросается къ сыну и прячетъ у него на груди свое лицо.

— Nicolas! Я очень, очень виновата передъ тобой, мой другъ!—шепчетъ она.

— Еще бы! такая хорошенькая! Mais sais-tu, petite mère, que même à présent tu es joile à croquer... parole!

— Ah! tu viens de m'absoudre! mon généreux fils!

— Не только абсудирую, но и хвалю! Итакъ...

— Ахъ, «онъ» такъ любилъ меня, а я была такъ молода... Ты знаешь, Pierre, онъ былъ очень грубъ, и хотя въ то время это мнѣ нравилось... mais «lui»! C'était tout un poème! Il avait de ces délicatesses! de ces attentions!

— Та-та-та! Вы, кажется, изволили пропустить цѣлую главу! а этотъ кавалеристъ, который сопровождалъ васъ за границу? Тотъ, который такъ пугалъ mon grand oncle Paul своими усами и своими jurons??

— C'était un butor!

— Passons. Но кто же былъ этотъ «онъ», celui qui avait des délicatesses?

— Онъ писалъ сначала въ «Journal pour rire», потомъ въ «Charivari», потомъ въ «Figaro»... Ахъ, если-бъ ты зналъ, какъ онъ смѣшно писалъ! И все такъ мило! И мило, и смѣшно! И какъ онъ умѣлъ оскорблять! Et avec cela brave, maniant à merveille l'épée, le sabre et le pistolet! Всѣ журналисты его боялись, потому что онъ могъ всѣхъ ихъ убить!

— Et joli garçon?

— Beau... mais d'une beauté!.. Повторяю тебѣ, это была цѣлая поэма! Et avec ça, adorant le trône, la patrie et la sainte église catholique!

Ольга Сергѣевна вздыхаетъ и какъ-то сосредоточенно мнетъ въ своей рукѣ вѣтку цвѣтущей сирени. Мысли ея витаютъ тамъ, на далекомъ западѣ, au coin du boulevard des Capucines, № 1, тамъ, гдѣ она однажды позабыла свой bonnet de nuit, гдѣ Anatole, который тогда писалъ въ «Figaro», на ея глазахъ сочинялъ свои милѣйшія blagues (oh, comme il savait blaguer, celui-là) и откуда ее навсегда вырвалъ семейный деспотизмъ! Въ эту минуту она забываетъ и о сынѣ, и о его prouesses, да и хорошо дѣлаетъ, потому что, вспомни она объ немъ, кто знаетъ—не возненавидѣла ли бы она его, какъ первую, хотя и невольную, причину своего заточенія?

— Ну, а насчетъ Прудона какъ?—пробуждаетъ ее голосъ Nicolas.

— N'en parlons pas!

Ольга Сергѣевна говоритъ это уже съ оттѣнкомъ гнѣва и начинаетъ быстро ходить взадъ и впередъ по кругу, обрамленному густыми липами.

— Вообще будетъ обо всемъ этомъ!—продолжаетъ она съ волненіемъ:—все это прошло, умерло и забыто! Que la

— Parbleu! je voudrais bien voir!

— Не шути этимъ, Nicolas! Люди вообще коварны, а нигилисты—это даже не люди... это... это злые духи,—et tu sais d'après la bible ce que peut un esprit malfaisant. А потому, если они будутъ тебя искушать, вспомни обо мнѣ... вспомни, мой другъ!... и помолись! La prière—c'est tout. Она дастъ тебѣ крылья и мигомъ прогонитъ весь этотъ cauchemar de moujik. Дай мнѣ слово, что ты исполнишь это?

— Maman! вы странная!

— Нѣтъ, дай мнѣ слово, успокой меня!

— Даю вамъ милліонъ триста тысячъ словъ, что каждый изъ этихъ злыхъ духовъ, при первомъ свиданіи, получитъ отъ меня такую taloche, что забудетъ въ другой разъ являться съ предложеніями! О! я эти революціи изъ нихъ выбью! Я ихъ подтяну!

Nicolas надувается и вскакиваетъ; глаза его искрятся; лицо принимаетъ торжественное выраженіе. Онъ такимъ орломъ прохаживается по залѣ, какъ будто на него возложили священную обязанность разыскать корни и нити, и онъ, во исполненіе, напалъ на свѣжій и совершенно несомнѣнный слѣдъ.

— Maman!—произнесъ онъ важно: — желаете ли вы, чтобъ я открылъ передъ вами мою profession de foi?

— Mon fils!

— Alors écoutez bien ceci. Я консерваторъ; я человѣкъ порядка. Et en outre je suis légitimiste! L'ordre, la patrie et notre religion orthodoxe—voici mon programme à moi. Что касается до нигилистовъ, то я думаю объ нихъ такъ: это люди самые пустые и даже—passez-moi le mot — негодяи. Ils n'ont pas de fond, ces gens-là! ils tournent dans un cercle vicieux! Надѣюсь, что теперь вы меня понимаете?

— Какой ты однако-жъ...

«Умный»—хотѣла сказать Ольга Сергѣевна, но вдругъ остановилась. Она совсѣмъ некстати вспомнила, что даже ея покойный Пьеръ («le pauvre ami—онъ никогда ничего не зналъ, кромѣ тѣлесныхъ упражненій!»)—и тотъ однажды вдругъ заговорилъ, когда зашла рѣчь о нигилистахъ. «И, право, говорилъ не очень глупо!» — разсказывала она потомъ объ этомъ диковинномъ случаѣ его товарищамъ-кавалеристамъ.

A Nicolas между тѣмъ надувается все больше и больше.

— Благодаря моему воспитанію,—ораторствуетъ онъ:— благодаря вамъ, ma noble et sainte mère, la ligne de conduite que j'ai à suivre est toute tracée. Cette ligne— la voici: желай въ предѣлахъ возможнаго, безпрекословно исполняй приказанія начальства, будь готовъ et ne te mêle pas de politique. Одинъ изъ нашихъ гувернеровъ сказалъ святую истину: nul part, a-t-il dit, on n'est aussi tranquille qu'en Russie! pourvu qu'on ne fasse rien, personne ne vous inquiète!! А въ переводѣ это значитъ: не возносись, не пари въ облакахъ — и никто тебя не тронетъ. Но если ты желаешь парить—что-жъ, милости просимъ. Только ужъ не прогнѣвайся, mon cher, если съ облаковъ ты упадешь гдѣ-нибудь... où cela ne sent pas la rose!

— Merçi! merçi, mon fils!—страстно произноситъ Ольга Сергѣевна.

Но Nicolas не слушаетъ и, постепенно разгорячаясь, нѣсколько разъ сряду повторяетъ:

— Oui, dans cet endroit-là cela ne sentira pas rose... ja le garantie!

Мало-по-малу, раздражаясь собственною фантазіей, онъ вступаетъ въ тотъ фазисъ, когда человѣкомъ вдругъ овладѣваетъ какая-то нестерпимая потребность лгать. Онъ останавливается противъ maman, нѣсколько времени смотритъ на нее въ упоръ, какъ будто приготовляетъ къ чему-то необычайному.

— Вы знаете ли, maman, что это за ужасный народъ!— восклицаетъ онъ:—они требуютъ милліонъ четыреста тысячъ головъ! Je vous demande, si c'est pratique!

Съ минуту и мать, и сынъ, оба молчатъ, подавленные.

— Они говорятъ, что наука — вздоръ... la science! что искусство—напрасная потеря времени... les arts! что всякій сапожникъ во сто разъ полезнѣе Пушкина... Pouschkine!

Новая минута молчанія.

— Они отвергаютъ бракъ, ils vivent comme des chiens avec leurs chiennes! Они не признаютъ таинствъ, религіи, церкви... notre sainte église orthodoxe! Et vous me demandez, si je suis nihiliste!!

Ольга Сергѣевна не можетъ больше владѣть собой и бросается къ Nicolas.

— Nicolas! Я вижу! я все теперь вижу! Tu es un noble et saint enfant! но скажи, ты зналъ? ты зналъ кого-ни-

будь изъ этихъ страшныхъ людей?—съ какимъ-то ужасомъ спрашиваетъ она.

— Maman! Я видѣлъ одного изъ нихъ на Невскомъ: il était mal peigné, pas du tout lavé... и отъ него пахло!

— L'horreur!

Политическая программа Nicolas не только успокоиваетъ Ольгу Сергѣевну, но даже внушаетъ ей уваженіе къ сыну.

— До сихъ поръ я только любила тебя, — говоритъ она:—теперь я тебя уважаю!

На что Nicolas со всѣмъ энтузіазмомъ пламенной души отвѣчаетъ:

— Oh! ma noble et sainte mère! mais sentez donc! sentez, comme mon coeur bondit et trépigne!

Вообще «куколка» доволенъ собой выше всякой мѣры. Во-первыхъ, благодаря maman, онъ узнаётъ, что онъ консерваторъ (до сихъ поръ всѣ его политическія убѣжденія заключались въ томъ, чтобы не пропустить ни одного праздничнаго дня, не посѣтивши театра Берга), и что ему предстоитъ въ будущемъ какая-то роль; во-вторыхъ, слова Ольги Сергѣевны объ уваженіи окончательно возносятъ его на недосягаемую высоту. Онъ цѣлые дни ходитъ въ забытьѣ, цѣлые дни строитъ планы за планами и наконецъ дѣлается до того подозрительнымъ, что впадаетъ почти въ ясновидѣніе.

— Aujourd'hui j'ai rêvé! — говоритъ онъ однажды.— Мнѣ снилось, что я сдѣлался невидимкой и присутствую при ихъ совѣщаніяхъ! Можете себѣ представить, maman, какія я при этомъ сдѣлалъ открытія!

Въ другой разъ онъ обращалъ вниманіе maman на вредное направленіе умовъ, замѣченное имъ между поселянами.

— Какъ хотите, maman,—ораторствуетъ онъ: — а чувство уваженія къ священному принципу собственности такъ мало въ нихъ развито, что я почти прихожу въ отчаяніе. Вчера изъ парка выгнали крестьянскую корову; сегодня на господскомъ овсѣ застали цѣлое стадо гусей. Я думаю, что система штрафовъ была бы въ этомъ случаѣ очень-очень дѣйствительна!

Наконецъ въ третій разъ онъ объявляетъ, что видѣлъ на селѣ настоящаго нигилиста.

— Но кого же, мой другъ? — изумленно спрашиваетъ Ольга Сергѣевна.

— Tu sais... ce séminariste... сынъ нашего священника. Представь себѣ, встрѣчается давеча со мной и пренагло-нагло подаетъ мнѣ руку... canaille!

Открытіе это нѣсколько смущаетъ Ольгу Сергѣевну. Она съ своей стороны ужъ замѣтила Аргентова (фамилія заподозрѣннаго семинариста), и ей даже показалось, что онъ не только не нигилистъ, но даже «благонамѣренный». Именно «благонамѣренный», не «консерваторъ» — «консерваторами» могутъ быть только les gens comme il faut,— а «благонамѣренный», то-есть смирный, послушный, преданный. Аргентовъ былъ высокій и плотный молодой человѣкъ; голова у него была большая и кудрявая; черты лица нѣсколько крупны, но не безъ привлекательности; вся фигура дышала силой и непочатостью. Все это Ольга Сергѣевна замѣтила. «Il est du peuple, c'est vrai,— думала она про себя:—mais quelquefois ces gens-là ont du bon». И она до такой степени прониклась убѣжденіемъ, что Аргентовъ «благонамѣренный», что однажды, выходя изъ церкви, даже просила отца Карпа когда-нибудь привести его.

— Послѣ,—прибавила она: — теперь дайте мнѣ насмотрѣться на моего «куколку»! Онъ у меня такой серьезный, непремѣнно хочетъ оставаться со мной одинъ! Вѣдь вы еще не скоро уѣзжаете отсюда, мсьё Аргентовъ?

— Все зависитъ отъ мѣстовъ-съ,—отвѣчалъ молодой человѣкъ:—какъ скоро откроется вакансія, тогда ужъ будетъ не до знакомствъ-съ, надо будетъ думать о пріисканіи невѣсты-съ!

— Ну, будетъ время, еще познакомимся!—сказала Ольга Сергѣевна, садясь въ экипажъ; между тѣмъ какъ Аргентовъ удалялся во-свояси, напѣвая звучнымъ басомъ: «тѣлеснаго озлобленія терпѣти не могу».

Съ тѣхъ поръ мысль объ Аргентовѣ посѣщала ее довольно настойчиво. Въ головѣ ея даже завязались по этому случаю цѣлые романы съ длинными зимними вечерами, съ таинственнымъ мерцаньемъ луннаго луча и съ этою страстною, курчавою головой, si pleine de sève et de vigueur! Она полулежитъ на диванѣ, глаза ея зажмурены, а его голосъ гремитъ и дрожитъ, и въ ушахъ ея безсвязно раздаются какія-то страстныя, пламенныя слова. Ей сладко мечтать подъ эти страстные звуки: она не знаетъ даже содержанія ихъ, а только тихо-тихо поддается имъ, побѣжденная ихъ страстностью... И какъ онъ мило брюзжитъ,

когда она, въ самомъ разгарѣ его діатрибъ, вдругъ, выйдя изъ забытья, «совсѣмъ-совсѣмъ некстати» обращается къ нему съ вопросомъ:

— А вы читали Оссіана, Аргентовъ?

— Не объ Оссіанѣ идетъ теперь рѣчь! — кричитъ онъ на нее, вскакивая, какъ ужаленный:—а о народныхъ страданіяхъ-съ! Поймете ли вы это когда-нибудь, барыня?

«Странное дѣло!—думается ей:—сколько разъ я предлагала этотъ вопросъ... тамъ... à Paris... и всѣ «они» отвѣчали мнѣ такимъ же образомъ! Всѣ, всѣ сердились».

И вдругъ «куколка» разрушаетъ весь этотъ rêve, объявляя, что Аргентовъ—нигилистъ! Un homme qui n'a pas de religion!! человѣкъ, который выдумалъ гражданскій бракъ!!

— Но не ошибаешься ли ты, мой другъ? — говоритъ она какъ-то робко. — Мнѣ кажется... онъ благонамѣренный!

— Нѣтъ, нѣтъ, у меня это ужъ инстинктъ, и онъ меня никогда-никогда не обманывалъ! Всѣ эти fils de pope нарочно говорятъ глупыя слова, чтобъ скрыть, что они дѣлаютъ революціи! А что у нихъ на умѣ однѣ революціи—c'est un fait avéré! И не меня они обманутъ своимъ смиреніемъ!

Однимъ словомъ, восторженность Nicolas растетъ до того, что онъ начинаетъ вскакивать по ночамъ, кричать, кого-то требовать къ отвѣту, что̀ причиняетъ Ольгѣ Сергѣевнѣ не мало тревоги.

— Maman! — восклицаетъ онъ однажды: — je sens que je mourrai, mais au moins je mourrai à mon poste! Touchez ma tête—elle est toute en feu!

— Но ты бы чѣмъ-нибудь разсѣялъ себя, — испуганно говоритъ она:—посмотрѣлъ бы на наше хозяйство, позвалъ бы управляющаго!

— Oh, maman! все это кажется мнѣ теперь такъ ничтожнымъ... si petit, si mesquin!

— Но подумай, мой другъ, у тебя будутъ дѣти; это твой долгъ, c'est ton devoir de leur transmettre intacts tes droits, tes biens, ton beau nom.

— Encore un devoir! quel fardeau! et quelle triste chose que la vie, maman!

Но Ольга Сергѣевна уже не слушаетъ и посылаетъ къ Nicolas управляющаго. Nicolas, съ свойственною ему стремительностью, излагаетъ передъ управляющимъ пѣлый рядъ

проектовъ, отъ которыхъ тотъ только таращитъ глаза. Такъ, напримѣръ, онъ предлагаетъ устроить на селѣ кафе-ресторанъ, въ которомъ крестьяне могли бы имѣть чисто приготовленный, дешевый и притомъ сытный обѣдъ («и Бога бы за меня молили!» мелькаетъ при этомъ у него въ головѣ).

— Понимаешь? понимаешь?—толкуетъ онъ:—я не того требую, чтобъ были у нихъ голландскія скатерти, а чтобъ было все чисто, мило, просто!—понимаешь?

Потомъ, не давши этой идеѣ дальнѣйшаго развитія, онъ переходитъ къ пчеловодству и доказываетъ, что при современномъ состояніи науки («la science!») можно заставить пчелъ дѣлать какой угодно медъ—липовый, розовый, резедовый и т. д.

— Понимаешь? понимаешь? я люблю липовый медъ, ты—резедовый... и мы оба... понимаешь?

Наконецъ бросаетъ и эту матерію, грозитъ управляющему пальцемъ и съ восклицаніемъ: «я васъ подтяну!»—убѣгаетъ къ maman.

— Maman! да тутъ у васъ какіе-то Каракозовы завелись!—разражается онъ.

Съ этихъ поръ кличка «Каракозовъ» остается за управляющимъ навсегда.

Наконецъ Ольга Сергѣевна вспоминаетъ, что въ сосѣдствѣ съ ними живетъ молодой человѣкъ, Павелъ Денисычъ Мангушевъ, и предлагаетъ Nicolas познакомиться съ нимъ.

— Опять какой-нибудь Каракозовъ!—остритъ Nicolas.

— Нѣтъ, мой другъ, это молодой человѣкъ—совсѣмъ-совсѣмъ однѣхъ мыслей съ тобою. Онъ консерваторъ; il est connu comme tel, хотя всего только два года тому назадъ вышелъ изъ своего заведенія. Вы понравитесь другъ другу.

— Гм!.. можно!

Павелъ Денисычъ Мангушевъ живетъ всего въ десяти верстахъ отъ Персіановыхъ, въ прекраснѣйшей усадьбѣ, ни въ чемъ не уступающей Перкалямъ. Въ ней все тѣнисто, прохладно, изобильно и привольно. Обширный каменный домъ; густой, старинный садъ, спускающійся террасой къ рѣкѣ; оранжереи, каменныя службы, большой конный заводъ и кругомъ—поля, поля и поля. Самъ Мангушевъ—совершенно исковерканный молодой человѣкъ,

какого только возможно представить себѣ въ наше исковерканное всякими bons и mauvais principes время. Воспитаніе онъ получилъ то же самое, что и Nicolas, то-есть тѣ же «краткіе начатки» нравственности и религіи и то же безсознательно сложившееся убѣжденіе; что человѣческая раса раздѣляется на chevaliers и manans. Хотя между ними шесть лѣтъ разницы, но мысли у Мангушева такія же дѣтскія, какъ у Nicolas, и также подернуты легкимъ слоемъ разврата. Ни тотъ, ни другой не подозрѣваютъ, что оба они—шалопаи; ни тотъ, ни другой не видятъ ничего внѣ того круга, котораго содержаніе исчерпывается чищеніемъ ногтей, анализомъ покроя галстуковъ, пиджаковъ и брюкъ, оцѣнкою кокотокъ, рысаковъ и т. д. Единственная разница между ними заключалась въ томъ, что Nicolas готовилъ себя къ дипломатической карьерѣ, а Мангушевъ, par principe, всему на свѣтѣ предпочиталъ la vie de château. Въ послѣднее время у насъ это уже не рѣдкость. Прежде помѣщики поселялись въ деревняхъ, потому что тамъ дешевле и привольнѣе жить, потому что ни Катька, ни Машка, ни Палашка не смѣютъ ни въ чемъ отказать, потому что въ полѣ есть заяцъ, въ лѣсу—медвѣдь и т. д. Теперь поселяются въ деревняхъ par principe, для того, чтобъ сѣять какія-то сѣмена и поддерживать какія-то якобы права... Такимъ образомъ, если для Nicolas предстояло проводить въ жизни шалопайство дипломатическое, то Мангушевъ уже два года сряду проводилъ шалопайство de la vie de château...

— Vous autres, gens de l'épée et de robe,—обыкновенно выражался Мангушевъ:—вы должны администрировать, заботиться о казнѣ, защищать государство отъ внѣшнихъ враговъ... que sais-je! Nous autres, châtelains, nous devons rester à notre poste! Мы должны наблюдать, чтобъ здѣсь, на мѣстахъ, взошли эти сѣмена... Однимъ словомъ, чтобъ эти краеугольные камни... vous concevez?

Выраженіе «краеугольные камни» онъ какъ-то особенно подчеркивалъ и всегда останавливался на немъ. Онъ покручивалъ свои усики, пристально поглядывалъ на своего собесѣдника и умолкалъ, вполнѣ увѣренный, что все, что надлежало сказать, уже высказано. Въ сущности же, «краеугольные камни», о которыхъ здѣсь упоминалось, состояли въ томъ, что Мангушевъ по утрамъ чистилъ себѣ ногти и примѣривалъ галстуки, потомъ—ѣздилъ по сосѣдямъ или принималъ таковыхъ у себя и наконецъ, на ночь, зѣвая,

выслушивалъ рапорты своихъ: chef de l'administration и chef de harras.

— Я, messieurs, не знаю, что̀ такое скука,—выражался онъ, разсказывая объ употребленіи своего дня: — моя жизнь—это жизнь труда, заботъ и распоряженій. Nous autres, simples travailleurs de la civilisation, nous devons à nos descendants de leur transmettre intacts nos fortunes, nos droits et nos noms (Ольга Сергѣевна отъ него заразилась этой фразой, когда рекомендовала «куколкѣ» заняться хозяйствомъ). Поэтому наше мѣсто—на нашемъ посту. Вы, господа военные и господа дипломаты,—вы защищайте отечество и ведите переговоры. А nous—le rôle modeste des civilisateurs. Мы сѣемъ и способствуемъ прозябанію посѣяннаго. Я съ утра ужъ принимаю рапорты, дѣлаю распоряженія, осматриваю постройки, mes bâtisses, хожу на работы... И такимъ образомъ проходитъ цѣлый трудовой день! У меня даже свой судъ... Я здѣсь верховный судья! Всѣ эти люди, которымъ нечего ѣсть—всѣ они приходятъ *ко мнѣ* и *у меня* просятъ работы. Я могу дать, могу и отказать,—стало-быть, я правъ, говоря, что судъ принадлежитъ *мнѣ*. У меня нѣтъ ни одного безнравственнаго человѣка въ услуженіи... parce que la morale, mon cher,—c'est mon cheval de bataille. Я каждому приходящему ко мнѣ наниматься говорю: хорошо, но ты долженъ быть почтителенъ! И они почтительны. Всѣ эти краеугольные камни... вы меня понимаете?

Дошедши до «краеугольныхъ камней», Мангушевъ опять умолкалъ, считая свою миссію совершенно исполненною.

Nicolas и Мангушевъ сразу поняли другъ друга, хотя послѣдній принялъ перваго съ оттѣнкомъ нѣкотораго покровительства.

— Soyez le bienvenu! — сказалъ онъ ему: — le descendant des Persianoffs всегда будетъ желаннымъ гостемъ въ домѣ Мангушевыхъ. Мы, сельскіе дворяне, конечно, не можемъ доставить вамъ тѣхъ высокихъ наслажденій, къ которымъ привыкли люди столицъ; но и у насъ найдется для Персіанова и чарка добраго стараго вина и хорошій кусокъ дымящагося ростбифа. Entrez, je vous prie.

Мангушевъ высказалъ это такъ серьезно, что Nicolas сразу почувствовалъ безпредѣльное благоговѣніе къ нему. Онъ былъ такъ щегольски и въ то же время такъ просто одѣтъ, что Nicolas въ своемъ мундирчикѣ почувствовалъ себя какъ-то неловко (онъ въ первый разъ упрекнулъ

себя, зачѣмъ падѣлъ мундиръ и не послушался maman, которая совѣтовала надѣть легкій палевый костюмъ). Въ его воображеніи вставалъ совсѣмъ не тотъ золотушный, вертлявый и исковерканный Мангушевъ, который дѣйствительно ломался передъ его глазами, а подлинный представитель той vie de château, о которой онъ вычиталъ когда-то dans ces bons petits romans, воспитывавшихъ его юность. Цѣлая картина быстро пронеслась въ его воображеніи. Молодой лордъ, разсѣвающій сѣмена консерватизма, религіи и нравственности; семейный очагъ; длинные зимніе вечера въ старомъ, величественномъ замкѣ; подъемные мосты; поля, занесенныя снѣгомъ; охота на кабановъ и сернъ; триктракъ съ сельскимъ кюрѐ; бесѣда за ужиномъ съ обильными возліяніями; общія молитвы съ преданными сѣдыми слугами, и затѣмъ крѣпкій, здоровый и безмятежный сонъ до утра... Однимъ словомъ, онъ совершенно позабылъ, что находится въ Глуповской губерніи, гдѣ нѣтъ ни шатò, ни кюрѐ, играющихъ въ триктракъ, ни кабановъ, ни консерватизма, ни религіи, ни нравственности, а есть только высь и ширь да безконечно праздные и безпредѣльно болтающіе Мангушевы.

— Et la santé de madame? — освѣдомился между тѣмъ Мангушевъ.

— Merçi. Maman se porte très bien.

— Oh! vorte mère est une noble et sainte femme!

Молодые люди вошли въ кабинетъ и усѣлись на какой-то чрезвычайно мягкой и удобной мебели.

— Et maintenant causons. Charles! vite un déjeuner et une bouteille de notre meilleur — обратился Мангушевъ къ расторопному малому, почтительно ожидавшему приказаній: — Мсьѐ де Персіановъ! вы какое вино предпочитаете?

Nicolas вспыхнулъ, потому что до сихъ поръ онъ самъ еще не давалъ себѣ отчета относительно вина. Онъ неизмѣнно душилъ шампанское, полагая, что дорогая его цѣна вполнѣ достаточна, чтобъ оправдать это предпочтеніе.

— Mais... le champagne! — смущенно пролепеталъ онъ, все больше и больше краснѣя.

— Pardon! мы будемъ пить шампанское en son temps et lieu — надѣюсь, что вы у меня обѣдаете? — а теперь... Charles! vous nous apporterez de ce petit Bordeaux... «Retour des Indes»... C'est tout ce qu'il faut pour le moment... n'est-ce pas, mon cher monsieur de Persianoff?

Nicolas промычалъ въ знакъ согласія.

— У меня въ услуженіи все французы, — продолжалъ Мангушевъ, когда Шарль удалился: — и вамъ рекомендую то же сдѣлать. Il n'y a rien comme un français pour servir. Наши русскіе болѣе къ полевымъ работамъ склонность чувствуютъ. Ils sont sales. Но зато въ полѣ за сохой... c'est un charme!

Затѣмъ уже начинается собственно causerie.

— Ну-съ, что новаго въ Петербургѣ?

— Mais... nous folichonons, nous aimons, nous buvons sec!

— Oh! cette bonne, brave jennesse! Мы, сельскіе дворяне, любуемся вами изъ нашего далёка и шлемъ вамъ отсюда наши скромныя пожеланія. Вамъ трудно въ настоящую минуту, messieurs, и мы понимаемъ это очень хорошо; но повѣрьте, что и наша задача тоже не легка!

Мангушевъ останавливается, какъ будто собирается съ мыслями.

— У насъ нѣтъ поддержки!—наконецъ говоритъ онъ и опять умолкаетъ.

Nicolas дѣлаетъ видъ, что умѣетъ, такъ сказать, читать между строкъ.

— On est trop bon là-bas! — продолжаетъ Мангушевъ: — нѣтъ спора, намѣренія прекрасны, но нѣтъ этой пылкости, этого натиска, чтобы разомъ покончить съ гидрою! А мы... что же мы можемъ сдѣлать съ нашими маленькими, разрозненными усиліями? Мы можемъ только помогать по мѣрѣ нашихъ слабыхъ силъ и сожалѣть!

— N'est-ce pas? mais n'est-ce pas?—радуется Nicolas:— je le dis mille fois par jour qu'on est trop bon pour cette canaille-là!

— Et vous avez raison. Я день и ночь борюсь съ этимъ зломъ... je ne fais que cela... И что-жъ! Я долженъ сознаться, что до сихъ поръ всѣ мои усилія были совершенно напрасны. Они проникаютъ всюду: и въ наши школы, и въ наши молодыя земскія учрежденія!

— Я увѣренъ, что еще на-дняхъ видѣлъ здѣсь одного нигилиста!—восклицаетъ Nicolas:—и если-бъ не maman...

— Ah! nos dames! ce sont des anges de bonté et de douceur! Но надо сознаться, что онѣ намъ много портятъ въ нашей святой миссіи!

— Но я былъ неумолимъ,—лжетъ Nicolas:—я прямо сказалъ maman, что не желаю, чтобъ въ нашемъ селѣ процвѣтали Каракозовы! И его ужъ нѣтъ!

— И хорошо сдѣлали. Votre mère est une sainte, но потому-то именно она и не можетъ судить этихъ людей, какъ они того заслуживаютъ! Но, дастъ Богъ, классическое образованіе превозможетъ, и тогда... Надѣюсь, monsieur de Persianoff, что вы за классическое образованіе?

Nicolas надувается, какъ бы нѣчто соображая

— Классицизмъ — этимъ все сказано, — продолжаетъ между тѣмъ Мангушевъ: — utile dulce, l'utile et le doux нашего добраго стараго Горація. Скажу вамъ откровенно, m-r de Persianoff, я никогда-никогда не скучаю. Какъ только я замѣчаю, что мнѣ грустно, я сейчасъ же беру моего старика Гомера и забываю все... Съ этой точки зрѣнія иногда у меня даже нѣтъ силъ ненавидѣть этихъ нигилистовъ: я просто сожалѣю объ нихъ. У нихъ нѣтъ этого наслажденія, которымъ пользуемся, напримѣръ, мы съ вами; ils ne comprennent pas la poésie du cœur!

Nicolas глядитъ на Мангушева во всѣ глаза и все больше проникается благоговѣніемъ къ нему. А вмѣстѣ съ благоговѣніемъ онъ проникается потребностью лгать во что бы ни стало, лгать, не оставляя за собой ни прикрытія, ни возможности для отступленія.

— Я самъ... я очень люблю Гомера, но, признаюсь, впрочемъ, предпочитаю ему Виргилія. «Les Boucoliques»— tout est là! Этимъ все сказано! — картавитъ онъ, самодовольно поворачиваясь въ креслѣ и покручивая зачатокъ уса.

— Vraiment? вы любитель? Очень радъ! очень радъ! потому что въ такомъ случаѣ мы навѣрное сойдемся!

— Я еще въ младшемъ курсѣ прочиталъ всего Корнелія Непота... Fichtre, quel style!

— Oh, quant au style—c'est Eutrope qu'il faut lire! Эта деликатность, эта тонкость, эта законченность... и наконецъ эта возвышенность... Надо прочесть самому, чтобъ убѣдиться, что это такое!

Бесѣдуя такимъ образомъ, новые друзья доврались наконецъ до того, что вытаращили глаза и стали втупикъ. «Et Esope donc!»—началъ-было Nicolas, но остановился, потому что рѣшительно позабылъ, кто такой былъ Эзопъ и къ какой онъ принадлежалъ націи.

— Ну-съ, теперь мы позавтракаемъ! А послѣ завтрака я вамъ покажу мой harras. Заранѣе предупреждаю, что ежели вы любитель, то увидите нѣчто весьма замѣчательное.

За завтракомъ Мангушевъ пытался-было продолжать «серьезный» разговоръ и сталъ развивать свои идеи насчетъ «правъ» вообще и въ особенности насчетъ тѣхъ изъ нихъ, которыя онъ называлъ «священными»; но когда дошла очередь до знаменитаго «Retour des Indes», серьезность измѣнила характеръ и сосредоточилась исключительно на достоинствѣ вина. Мангушевъ велъ себя въ этомъ случаѣ какъ совершеннѣйшій знатокъ, съ отличіемъ прошедшій весь курсъ наукъ у Дюсо, Бореля и Донона. Онъ слѣдилъ глазами за движеніями Шарля, разливавшаго вино въ стаканы, вертѣлъ свой стаканъ въ обѣихъ рукахъ, какъ бы слегка согрѣвая его, пилъ благородный напитокъ небольшими глотками и т. п. Nicolas, съ своей стороны, старался ни въ чемъ не отставать отъ своего друга: нюхалъ, смаковалъ губами, поднималъ стаканъ къ свѣту и проч.

— Mais savez-vous que c'est parfait! on sent le goût du raisin à un tel point, que c'est inconcevable!—наконецъ произнесъ онъ восторженно.

— N'est-ce pas?—не менѣе восторженно отозвался Мангушевъ: — ah! attendez! à dîner je vais vous régaler d'un certain vin, dont vous me direz des nouvelles!

Затѣмъ разговоръ полился ужъ рѣкой.

— Я только разъ въ жизни пилъ подобное вино, —повѣствовалъ Мангушевъ:—c'était à Bordeaux, chez un nommé comte de Rubempré—un comte de l'Empire, s'il vous plait—га! это было винцо! И хоть я не очень-то долюбливаю этихъ comtes de l'Empire, но это вино! Ah! ce vin!

Мангушевъ развелъ руками, какъ бы давая понять, что дальше объяснять безполезно. Nicolas сидѣлъ противъ него и завидовалъ.

— Я долженъ вамъ сказать, что судьба вообще баловала меня на этотъ счетъ. Въ другой разъ, это было въ Италіи... въ Сорренто, въ Сполето—je ne sais plus lequel.. Приходимъ мы въ какую-то остерію. Ну, просто въ грязную остерію, въ родѣ нашей харчевни... vous pouvez vous imaginer ce que c'est! Жарко, устали, хочется пить. Разумѣется, сейчасъ: una fiasca dal vino!—«Si, signor!»и т. д. И что-жъ бы вы думали! Мнѣ, именно мнѣ, подаютъ бутылку d'un certain lacryma christi... ah! mais c'était quelque chose! Представьте себѣ, что это была *одна* бутылка, хранившаяся у хозяина въ погребѣ нѣсколько десятковъ лѣтъ! Et puis, c'était fini. Ни прежде, ни послѣ я подобнаго вина не пивалъ!

Nicolas завидуетъ еще больше, но въ то же время чувствуетъ, что и ему слѣдуетъ вставить свое слово въ разговоръ.

— On dit que ce sont les oranges qui sont excellentes en Italie?—картавитъ онъ съ важностью.

— Oh! quant aux oranges, il faut aller les manger à Messine. Это все равно, что груши, которыя можно ѣсть только на сѣверѣ Франціи. Вездѣ—это груши, тамъ—это божество!

— Et Naples! frutti del mare!—восклицаетъ Nicolas.

— Я ѣлъ ихъ съ утра до вечера и никогда не могъ довольно насытиться. C'est tout dire. Mais vous n'avez pas l'idée de ce qu'on trouve à l'étranger en fait de vins et de comestibles! On y devient glouton sans y penser — parole d'honneur! Перигоръ, Бордо, Марсель,—все это усѣяно! Тюрбо, тонъ, pâté de foie gras—c'est à n'y pas croire! Et puis, les huîtres, и эта безподобная, ни съ чѣмъ не сравнимая bouille-abesse!

— Et les femmes donc!

— A qui le dites-vous! Ah, il y avait une certaine donna Ineza... Впослѣдствіи она была въ Петербургѣ у одного адвоката.. les gueux! ils nous arrachent nos meilleurs morceaux! Но я... я встрѣтился съ нею въ Севильѣ. Представьте себѣ теплую южную ночь... надъ нами темное синее небо... кругомъ все благоухаетъ... и тамъ вдали, comme dit Pouschkine:

Бѣжитъ, шумитъ
Гвадалквивиръ...

Мы идемъ, впиваемъ въ себя этотъ волшебный воздухъ и чувствуемъ—mais à la lettre чувствуемъ!—какъ вся кровь приливаетъ къ сердцу! И вдругъ... ОНА! въ легкой мантильѣ... на головѣ черный кружевной капюшонъ, и изъподъ него... два черныхъ, какъ уголь, глаза!.. Oh! mais si vous allez un jour à Séville, vous m'en direz des nouvelles!

У Nicolas захватываетъ дыханіе. Потребность лгать саднитъ ему грудь, катится по всѣмъ его жиламъ и наконецъ захлестываетъ все его существо.

— Je vous dirai qu'une fois il m'est arrivé à Pétersbourg...—начинаетъ онъ, но Мангушевъ, съ своей стороны, такъ ужъ разолгался, что не хочетъ дать ему кончить.

— О! наши сѣверныя женщины! c'est pauvre, c'est mesquin, cela n'a pas de sève! Надобно видѣть ихъ *тамъ!*

Тамъ — это зной, это адъ, это что-то такое, что мы, люди сѣвера, даже понять не можемъ, не испытавши лично тамъ, на мѣстѣ! Но зато, разъ на мѣстѣ, мы одни только и можемъ оцѣнить южную женщину! Знаете ли вы, что только южная женщина умѣетъ цѣловать какъ слѣдуетъ?

Nicolas окончательно багровѣетъ.

— Вы не вѣрите? — а между тѣмъ нѣтъ ничего святѣе этой истины. Она не цѣлуетъ—она пьетъ... elle boit! вотъ поцѣлуй южной женщины! Я помню, это было однажды въ Венеціи, la bella Venezia... Мы плыли въ гондолѣ... вдоль береговъ дворцы... въ окнахъ огни... вдали звучатъ баркароллы... надъ нами ночь... mais de ces nuits, qu'on ne trouve qu'en Italie! И вдругъ она меня поцѣловала... oh! mais ce baiser! c'était quelque chose d'ineffable! c'était tout un poème! Увы! это былъ послѣдній ея поцѣлуй!

Мангушевъ потупился. Nicolas впился въ него глазами.

— Elle est morte le lendemain. Она, женщина юга, не могла выдержать всей полноты этого блаженства. Она выпила залпомъ всю чашу — и умерла! Вы можете себѣ представить мое положеніе. J'ai été comme fou... Parole d'honneur!

Nicolas хочетъ сказать un compliment de condoléance, но, благодаря «Retour des Indes», слова какъ-то путаются у него на языкѣ.

— Certainement... si la personne est jolie... c'est bien désagréable!—бормочетъ онъ.

— Parbleu! si la personne est jolie! allez-y, et vous m'en direz des nouvelles!—восклицаетъ Мангушевъ, и такъ какъ завтракъ конченъ и лгать больше нечего, то предлагаетъ своему новому другу отправиться вмѣстѣ на конный заводъ.

— Vous verrez mon royaume!—говоритъ онъ:—тамъ я отдыхаю и чувствую себя джентльменомъ!

Начинается выводка; у Мангушева въ рукахъ бичъ, которымъ онъ изрѣдка пощелкиваетъ въ воздухѣ. Жеребцы и кобылы выводятся одни за другими, одни другихъ красивѣе и породистѣе. Но Мангушевъ уже не довольствуется тѣмъ, что его «производители» дѣйствительно безподобны, и начинаетъ лгать. Всѣ они взяли ему по нѣскольку призовъ, опередили «Чародѣя», «Бычка» и т. д.

— Вотъ,—говоритъ онъ:—этотъ самый «Зябликъ» (c'est le doyen du harras) двадцать два приза взялъ—parole!

— Quel producteur!—восторженно восклицаетъ Nicolas.

За «Зябликомъ» слѣдуетъ кобыла «Эмансипація», за «Эмансипаціей»—жеребецъ «Консерваторъ» и проч. У Nicolas искрятся глаза и захватываетъ духъ, тѣмъ болѣе, что Мангушевъ каждую выводку непремѣнно сопровождаетъ исторіей, которая неизмѣнно начинается словами: «представьте себѣ, съ этою лошадью какой случай у меня былъ». «Куколка» выражаетъ свой восторгъ ужъ не восклицаніями, а взвизгиваніемъ и захлебываньемъ. Мало того, онъ чувствуетъ себя жалкимъ и ничтожнымъ, сравнивая этихъ благородныхъ животныхъ съ скромными «Васьками» и «Горностаями», украшающими конюшню села Перкалей.

«Et dire que cet homme a tout cela!»—думаетъ онъ, поглядывая съ завистью на торжествующаго Мангушева.

За обѣдомъ «куколка» словно въ чаду. Онъ слабо пьетъ и почти совсѣмъ не притрогивается къ кушаньямъ.

— Этотъ «Зябликъ» не выходитъ у меня изъ головы. А «Консерваторъ»! А эта «Ласточка»... quelles hanches!— взвизгиваетъ онъ поминутно.

Мангушевъ видитъ восторженность пламеннаго молодого человѣка и удостовѣряется, что въ немъ будетъ прокъ. На этомъ основаніи онъ предлагаетъ Nicolas выпить на «ты» и беретъ съ него слово видѣться какъ можно чаще. Новые восторги, новыя восклицанія, новое лганье, сопровождаемое заклинаніями.

— Слушай! когда ты поѣдешь въ Парижъ, — говоритъ Мангушевъ: — ты меня предупреди. Я тебѣ дамъ письмо къ нѣкоторой Florence—et vous m'en direz des nouvelles, mon cher monsieur!

Отъ Florence разговоръ переходитъ къ Emilie, отъ Emilie — къ Ernestine, и такъ какъ въ продолженіе его слѣдуетъ бутылка за бутылкой, то лганье кончается только за полночь.

А въ Перкаляхъ еще не спятъ. Ольга Сергѣевна стоитъ на террасѣ, вглядывается въ темноту ночи и ждетъ своего «куколку» («Oh, les sentiments d'une mère!» — говоритъ она себѣ мысленно).

— Maman! quel homme! quel homme! — восклицаетъ Nicolas, выскакивая изъ коляски и бросаясь въ объятія матери.

Каникулы кончились; Nicolas возвращается въ «заведеніе». Онъ скучаетъ, потому что чадъ только-что пережитыхъ воспоминаній еще туманитъ его голову. Да и всѣ вообще воспитанники глядятъ какъ-то вяло. Они рука-объ-

руку лѣниво бродятъ по заламъ заведенія, передаютъ другъ другу вынесенныя впечатлѣнія и не то иронически, не то съ нетерпѣніемъ относятся къ ожидающей ихъ завтра наукѣ.

— Ты что-нибудь знаешь изъ «свинства» (подъ этимъ именемъ между воспитанниками слыветъ одна изъ «наукъ»)?

— Ты прочиталъ «Черты»?

— Messieurs! на завтра «Чучело» задалъ сочиненіе на тему: сравнить романтизмъ «Бѣдной Лизы» Карамзина съ романтизмомъ «Марьиной Рощи» Жуковскаго — каковъ «Чучело»!

Въ такомъ родѣ идетъ перекрестный разговоръ, относящійся до наукъ. Въ залахъ и классахъ непріятно, голо и даже какъ будто холодно; лампы горятъ по обыкновенію свѣтло, но кажется, что въ этомъ свѣтѣ чего-то недостаетъ, что онъ какой-то казенный; хочется спать, и между тѣмъ рано. Раздается звонокъ, призывающій къ ужину; но воспитанники не глядятъ ни на крутоны съ чечевицей, ни на «суконные» пироги. Менѣе благовоспитанные (плебеи) съ негодованіемъ отодвигаютъ отъ себя «cette mangeaille de pourceau» и грозятся сдѣлать «исторію»; болѣе благовоспитанные (аристократы) ограничиваются тѣмъ, что не прикасаются къ кушанью и презрительно пожимаютъ плечами, слушая нетерпѣливые возгласы плебеевъ. Увы! въ «заведеніи» уже есть «свои» аристократы и «свои» плебеи, и эта демаркаціонная черта не исчезнетъ въ стѣнахъ его, но отзовется и дальше, когда и тѣ и другіе выступятъ на широкую арену жизни. И тѣ и другіе выйдутъ на нее съ убѣжденіемъ, что человѣческая раса раздѣляется на chevaliers и manans; но одни выйдутъ съ правомъ поддерживать это убѣжденіе путемъ практики, другіе — лишь съ правомъ облизываться на него и поддерживать его только въ теоріи. Первые будутъ стараться не замѣчать послѣднихъ, будутъ называть ихъ «amis cochons»; вторые будутъ ненавидѣть первыхъ, будутъ сгорать завистью къ нимъ и за всѣмъ тѣмъ полѣзутъ въ грязь, чтобъ попасться имъ на глаза и заслужить ихъ улыбку!

— Pierre! съ какимъ я познакомился консерваторомъ! — сообщаетъ «куколка» другу своему, Петѣ Накатникову: — quel homme!

— Шутъ!

Этотъ Петя отличается тѣмъ, что настоящаго разговора вести не можетъ и выражаетъ свои мысли по возможности

короткими словами. Только въ минуты сильнаго душевнаго потрясенія онъ позволяетъ себѣ проговориться какою-нибудь пословицей въ родѣ: «на томъ стоимъ-съ!» или: «бей сороку и ворону!» Тѣмъ не менѣе между товарищами онъ слыветъ типомъ истиннаго chevalier.

— Самъ ты шутъ! Слушай! Мы видѣлись съ нимъ чуть не каждый день и наконецъ такъ сошлись въ убѣжденіяхъ, что поклялись другъ другу составить общество «избавителей».

— J'en suis!

— Ты понимаешь, что это никакъ не будетъ «тайное» общество... напротивъ того, совсѣмъ-совсѣмъ явное! Il s'agit des nihilistes, vois-tu!

— Topez-là, monseigneur!

— Какимъ онъ угощалъ меня виномъ... «Retour des Indes...» га! это было винцо!

— Jus divin! du raisin!—мурлыкаетъ Петя.—На минералкахъ я познакомился съ Joyeux!

— Ты глупъ, Петя. Надобно было съ Альфонсинкой познакомиться, а ты все къ мужчинамъ лѣзешь!

— A bas! ça viendra!

— А еще я у него пилъ другое вино... Представь себѣ, эту бутылку подарилъ его дѣдушкѣ Потемкинъ... Tu sais, l'homme du destin!

Петя, вмѣсто отвѣта, облизываетъ свои усики.

— Она лежала сто лѣтъ въ какомъ-то углу, въ подвалѣ... и я первый, первый открылъ это чудо! Однажды мы сидимъ вдвоемъ и пьемъ... oh! nous avons joliment trinqué ce soir-là! И вдругъ я ему говорю: Мангушевъ, я увѣренъ, что у тебя въ подвалѣ хранится какое-нибудь чудо! Натурально, онъ тотчасъ же далъ мнѣ pleins pouvoirs (oh! c'est un vrai chevalier celui-là), и не прошло минуты, какъ ужъ она была въ моихъ рукахъ!

— Выпили?

— Еще бы! Потомъ онъ разсказывалъ мнѣ свое путешествіе за границей. Oh! maintenant je suis au courant de tout! Я знаю, гдѣ найти лучшее вино, лучшій обѣдъ, устрицы, однимъ словомъ, все! Ensuite, il m'a donné des détails sur une certaine signora italienne... oh quels détails!

— Sapristi!

— Представь себѣ, онѣ, эти южныя женщины, не цѣлуютъ, а пьютъ!

— A bas!

— А въ довершеніе всего онъ далъ мнѣ письмо къ здѣшней Бертѣ... en attendant le moment, où je pourrai aller en Italie. Но ты понимаешь, какъ это съ его стороны мило!

— Былъ?

— Еще бы! Сейчасъ съ машины заѣхалъ къ Огюсту, pour me faire décrotter, и оттуда прямо къ ней. Mais quelle adorable créature! Все слѣдующее воскресенье я съ нею. C'est convenu.

Въ этомъ родѣ разговоръ ведется за полночь. На другое утро Nicolas встаетъ съ головною болью и употребляетъ тщетныя усилія, чтобъ сравнить романтизмъ «Бѣдной Лизы» съ романтизмомъ «Марьиной Рощи». Онъ подбѣгаетъ къ Петѣ и спрашиваетъ его:

— Ты сравнилъ?

Петя молча показываетъ листъ бумаги, на которомъ размашистымъ почеркомъ изображено:

«Романтизмъ «Бѣдной Лизы» настолько же выше романтизма «Марьиной Рощи», насколько сѣдая и мудрая старость выше рѣзвой и неопытной юности. Но должно сказать, что оба автора находились долгое время при дворѣ и пользовались милостями монарховъ».

«*П. Накатниковъ*».

— Шутъ!

Такъ проходитъ недѣля «наукъ». Въ воскресенье Nicolas бѣжитъ къ Бертѣ и тамъ отдыхаетъ отъ всей абракадабры, которую принято называть ученьемъ.

— Vous n'avez pas l'idée, ma chère, comme ils nous bourrent de sciences, ces bourreaux!

— Les barbares!

Дни проходятъ за днями; воспитаніе идетъ своимъ чередомъ между будничными «науками» и праздничною Бертой. Но вотъ истекаютъ и послѣдніе два года, и зданіе окончательно увѣнчивается. За два мѣсяца до выпуска Nicolas находится какъ въ чаду. Онъ освѣдомляется о лучшемъ портномъ, лучшемъ bottier, лучшемъ confectionneur de linge и допускаетъ по этимъ предметамъ une analyse détaillée et raisonnée. Наконецъ останавливается на Жоржѣ, Лепретрѣ и Léon. По воскресеньямъ онъ разрывается между ними, тогда какъ maman, пріѣхавшая нарочно по этому случаю изъ Перкалей, покупаетъ экипажи, мебель, устраиваетъ квартиру—un vrai nid d'oiseau!

— Mais regarde donc, comme ça sera joli!—говоритъ она ему, водя по комнатамъ ихъ будущаго жилища:—tu seras là comme dans un petit nid.

— Maman! vous êtes la meilleure des mères. Jamais! non, jamais je ne saurai...

Nicolas закусываетъ губу и умолкаетъ, потому что наплывъ чувствъ мѣшаетъ ему говорить. Какъ бы послѣ нѣкотораго колебанья, онъ бросается къ maman и крѣпко-крѣпко обнимаетъ ее. Ma tante, свидѣтельница этой сцены, приходитъ въ умиленіе.

— Nicolas, tu es un noble enfant!—говоритъ она со слезами на глазахъ.

— Ma tante, c'est à vous que je dois ce que je suis!—восклицаетъ Nicolas и отъ maman съ тою же стремительностью бросается къ ma tante и также обнимаетъ ее.

Наступаютъ экзамены, на которыхъ «куколка» отвѣчаетъ довольно разсѣянно. Но начальство знаетъ причину этой разсѣянности и снисходитъ къ ней. Сверхъ того, оно знаетъ, что всѣ эти благородные молодые люди, la fleur de notre jeunesse, завтра же начнутъ свое служеніе обществу и никогда не измѣнятъ ни долгу, ни именамъ, которыя они носятъ. Слѣдовательно, если они и не вполнѣ твердо знаютъ, въ которомъ году произошло паденіе Западной Римской имперіи, то это еще небольшая бѣда.

Наконецъ бьетъ и минута освобожденія. Nicolas выходитъ изъ стѣнъ заведенія, восторженно простираетъ впередъ правую руку и, какъ бы обращаясь къ невидимому врагу, торжественно произноситъ:

— А теперь, messieurs... поборемся!

ПАРАЛЛЕЛЬ ВТОРАЯ.

Просимъ читателя послѣдовать за нами въ одно изъ закрытыхъ заведеній конца тридцатыхъ годовъ, въ которыхъ воспитывались дѣти дворянъ преимущественно небогатаго состоянія. Тамъ воспитывается «палачъ», герой настоящаго разсказа.

«Палачъ» уже шестой годъ выживаетъ въ «заведеніи»; четыре года провелъ онъ въ первомъ классѣ и теперь доживаетъ второй годъ во второмъ. Настоящая его фамилія Хмыловъ, но товарищи называютъ его «палачомъ», и эта кличка, повидимому, утвердилась за нимъ навсегда.

Хмыловъ принадлежитъ къ числу тѣхъ легендарныхъ юношей, о которыхъ въ школахъ складываются разсказы самаго чудеснаго свойства. Такъ, напримѣръ, разсказывали, будто бы онъ, узнавъ однажды, что начальство рѣшилось исключить его за лѣность изъ заведенія, подавалъ въ губернское правленіе просьбу объ опредѣленіи его въ палачи, «куда угодно, по усмотрѣнію вышняго начальства». Еще говорили, будто на душѣ его лежитъ сто одно убійство, и что мать его та самая Танька, ростокинская разбойница, которая впослѣдствіи сдѣлалась героиней романа того же имени. Одинъ ученикъ даже увѣрялъ, что видѣлъ у «палача» разрывъ-траву и какую-то «мертвую воду», съ помощью которой онъ будто бы могъ весь классъ сначала повергнуть въ сонъ, а потомъ всѣхъ до-чиста обобрать. И какъ ни фантастичны были эти разсказы, но «палачъ» отчасти оправдывалъ ихъ своимъ хищнымъ видомъ и какою-то таинственною отчужденностью, съ которою онъ держался въ кругу товарищей и которая, быть-можетъ, зависѣла не столько отъ него самого, сколько отъ случайно сложившихся, при поступленіи его въ заведеніе, обстоятельствъ.

«Палачу» было невступно осьмнадцать лѣтъ; роста онъ былъ не громаднаго, но внушительнаго, сухощавъ, но сложенъ крѣпко и мускулистъ; брилъ бороду и обладалъ необычайною физическою силою. Среди прочей мелюзги товарищей онъ казался Голіаѳомъ. Въ минуту добраго расположенія духа онъ сажалъ на каждую руку по ученику, а третьяго ученика помѣщалъ у себя верхомъ на плечахъ, и съ такою ношей дѣлалъ два-три конца бѣгомъ по огромной рекреаціонной залѣ. Но подобныя добрыя минуты были рѣдкими проблесками въ его школьной жизни; вообще же «палачъ» былъ угрюмъ и наводилъ своей силой паническій страхъ на товарищей. Особенность наружнаго вида породила взаимную отчужденность; отчужденность, въ свою очередь, привела къ озлобленію съ одной стороны и къ безпрерывнымъ приставаньямъ—съ другой. «Палачъ» *любилъ бить* и притомъ билъ почти всегда безъ причины, то-есть подстерегалъ перваго попавшагося мальчугана и съ наслажденіемъ тузилъ его, допуская при этомъ пытку и калѣченье.

Но въ то же время онъ былъ трусъ и въ особенности боялся начальства, о которомъ, повидимому, съ дѣтства составилъ себѣ понятіе, какъ о чемъ-то неотразимомъ. Товарищи знали это и, ненавидя «палача», устраивали, отъ времени до времени, на него облавы и травли, съ такимъ

разсчетомъ, чтобы въ рѣшительную минуту можно было прибѣгнуть къ защитѣ начальства. Въ коридорѣ, въ рекреаціонной залѣ, въ саду, всегда невдалекѣ отъ дремлющаго надзирателя, мелюзга собиралась толпой и съ крикомъ: «палачъ! палачъ!» приближалась къ нему. Заслышавъ этотъ крикъ, «палачъ» вздрагивалъ и бѣжалъ впередъ, сложивъ руки крестомъ на груди, выгнувъ шею и стараясь увлечь толпу подальше. Но навстрѣчу ему бѣжала другая толпа такой же мелюзги и съ тѣмъ же крикомъ: «палачъ, палачъ!» Тогда онъ останавливался, съ проворствомъ кошки оборачивался назадъ и выхватывалъ изъ толпы перваго попавшагося подъ руку мальчугана. Начиналась расправа; весь дрожа и тяжело поводя ноздрями, «палачъ» выворачивалъ своему паціенту руку и, шипя, произносилъ:

— Забью!

И Богъ знаетъ, чѣмъ могли бы оканчиваться эти пароксизмы бѣшенства, если-бъ обезумѣвшаго отъ ужаса мальчугана не выручалъ надзиратель.

— A genoux, Khmiloff! à genoux, tête remplie d'immondices!—гремѣлъ голосъ надзирателя, и «палачъ» съ какою-то горькой усмѣшкой отрывался отъ своей жертвы и угрюмо, но безпрекословно становился на колѣни.

Невѣжественность «палача» была изумительная; лѣность—выше всего, что можно представить себѣ въ этомъ родѣ. И ко всему этому — какое-то неизреченное презрѣніе къ чему бы то ни было, что упоминало объ ученьи, о книгѣ. Вообразить себѣ этого атлета-юношу, съ его запасомъ рѣшимости и свирѣпости, встрѣчающагося гдѣ-нибудь въ глухомъ переулкѣ одинъ-на-одинъ съ «наукою», значило заранѣе опредѣлить участь послѣдней. Навѣрное онъ обратитъ въ пепелъ бумажныя фабрики, взорветъ на воздухъ университеты и гимназіи и подвергнетъ человѣческую мысль разстрѣлянію. Онъ самъ удивлялся, какимъ образомъ онъ могъ научиться грамотѣ. «Сама пришла»,—говорилъ онъ, тщетно пытаясь разрѣшить этотъ вопросъ сколько-нибудь удовлетворительнымъ образомъ. И дѣйствительно, правильнѣе этого рѣшенія нельзя было придумать. Никто не видалъ, чтобы онъ что-нибудь училъ или читалъ, и вся дѣятельность его, въ смыслѣ образованія ума и сердца, ограничивалась перепискою переводовъ и сочиненій на заданную тему съ черняковъ, которые обыкновенно писались для него другими. Узнавши, что учитель словесности задалъ, напримѣръ, переложеніе въ прозу басни «Дубъ и Трость»,

онъ, незадолго до класса, подходилъ къ коиу-нибудь изъ товарищей, клалъ передъ нимъ чистый листъ бумаги, на которомъ, въ видѣ заголовка, собственной его рукой было написано:—«Дубъ и Трость», переложеніе въ прозѣ, которое «такой-то» обязанъ составить для Максима Хмылова,— и спокойно при этомъ произносилъ:

— Черезъ полчаса!

И черезъ полчаса его дѣйствительно уже видѣли сидящимъ на задней скамейкѣ и переписывающимъ готовое переложеніе. Вся фигура его какъ-то неестественно при этомъ натуживалась и скашивалась въ одну сторону, языкъ высовывался изъ угла рта, и крупныя капли пота выступали на лбу.

Родись этотъ юноша нѣсколько позже, то-есть въ то время, когда вредъ, отъ наукъ происходящій, былъ приведенъ россійскими романистами и публицистами въ достаточную ясность, ему не было бы цѣны. Но, къ несчастію для него, онъ началъ учебное поприще въ то наивное время, когда «наука» (быть-можетъ, по новости ея) казалась еще чѣмъ-то цѣннымъ, когда никто не понималъ ясно, что̀ значитъ это слово, но всякій былъ убѣжденъ, что «науки юношей питаютъ», и что человѣку, не знающему ариѳметики, грозитъ въ жизни какая-то бѣда. Поэтому не менѣе товарищей не любили «палача» и учителя и надзиратели. У каждаго изъ нихъ Хмыловъ имѣлъ свое прозвище. Французъ-учитель называлъ его «animal» и «tête remplie de foin»; учитель-нѣмецъ обращался къ нему не иначе, какъ «o, du, ungeschikter unnützer Khmiloff»; латинскій учитель именовалъ его «canis rabiosus» и «pecus campi». Съ какимъ-то злорадствомъ заставляли они его позировать на потѣху цѣлому классу. Входитъ, напримѣръ, на каѳедру monsieur Menuet, маленькій, поджарый французикъ, скорѣе похожій на извозчика, нежели на учителя, и первымъ долгомъ считаетъ немедленно заполучить Хмылова.

— Eh bien, animal de Khmiloff, lisons! § 44. Imparfait de l'indicatif!

Хмыловъ читаетъ:

«Лорске жетѐ петитъ, ме метръ ете контанъ де моа».

— Être content de toi, crétin! de toi, qui es le bourreau de tes maîtres! Animal, va!

— Господинъ Менуетъ! не извольте ругаться!

— Ah! tu raisonne encore! Voyons, archi-imbécile, continuons: § 49. Imparfait et passé défini!

Хмыловъ читаетъ:

«Пьеръ леграндъ деженѣ а сенкъ еръ дю матенъ, иль динѣ а миди е не супѣ па»... Е иль бувѣ,—вставляетъ онъ неожиданно.

— Où as-tu lu cela? réponds, triple animal! où as-tu lu, que Pierre-le-Grand, ce monarque des monarques, buvait?

— Се листоаръ, господинъ Менуетъ.

— «Се листоаръ»?—передразниваетъ monsieur Menuet:— et si par extraordinaire l'on te donnait la verge aujourd'hui, au lieu de samedi, ça serait une autre histoire, triste idiot, va! Eh bien, voyons! cite-moi les exemples du § 52! «Que prenez vous le matin?»

«Палачъ» оживляется; онъ почти не смотритъ въ книгу и довольно правильно рапортуетъ:

— «Же пранъ юнъ тассъ де тѣ у де кафѣ авекъ дю пенъ бланъ; ле суаръ же манжъ юнъ траншъ де вò у де бефъ у де мутонъ!»

— Comme il y va! il sent bien qu'il s'agit de manger, l'animal! Mais achève donc, achève, imbècile infect et vénimeux! Dis: «je vous remercie, madame, j'ai tant mangé que je n'ai plus faim!»

— Же фенъ.

— Ah, tu as faim, vieux tonneau fêlé, impossible à emplir! tu as faim, hyppopothâme plain d'âge! Va donc te mettre à genoux, exécrable ganâche! Nous verrons, si de cette manière-la tu parviendras à te rassasier!

«Палачъ», не торопясь, встаетъ съ мѣста, проходитъ мимо скамей, при общемъ смѣхѣ товарищей, и становится на колѣни, ворча сквозь зубы:

— Вы всегда меня, господинъ Менуетъ, притѣсняете!

Даже законоучитель-батюшка, и тотъ считаетъ своимъ долгомъ слегка поковырять въ Хмыловѣ, или, какъ онъ выражался: «измѣрить глубины сего океана праздно-любія». А потому, обладая особливымъ даромъ прозорливства, онъ всегда огорашивалъ «палача» слѣдующимъ вопросомъ:

— А ну-те, кто изъ васъ здѣсь дубиной прозывается? Вставай, дубъ младый, сказывай, что̀ есть адъ?

Хмыловъ вставалъ и безъ запинки отчеканивалъ:

— Карцеръ есть слово греческое и означаетъ мѣсто темное, преисполненное клопами, у дверей коего дремлетъ сторожъ Мазилка!

— Такъ, младый дубъ, такъ. Спасибо, хоть самъ себѣ резолюцію прочиталъ...

Иди-жъ, душа, во адъ и буди вѣчно плѣнна...

сирѣчь, изволь идти въ карцеръ.

И «палачъ», нимало не прекословя, складывалъ тетрадки, дабы благополучно прослѣдовать въ карцеръ.

Только однажды, когда учитель-нѣмецъ, по обыкновенію, обратился къ нему:

— Also doch, unnützer palatsch Khmiloff...

«Палачъ» вдругъ пустилъ ему въ упоръ:

— Колбаса!

Но и тутъ сейчасъ же струсилъ и безусловно сдался въ плѣнъ надзирателю, заточившему его на недѣлю въ карцеръ.

Даже дядьки — и тѣ терпѣть не могли «палача», такъ что, когда онъ, послѣ обѣда или ужина, приходилъ въ буфетную, чтобы поживиться остатками отъ общей трапезы, то они всегда гнали его отъ себя, говоря: «Видно, мало награбилъ у учениковъ? къ дядькамъ грабить пришелъ!»

Родомъ «палачъ» былъ изъ Орловской губерніи и не безъ гордости говаривалъ: «Мы, орловцы — проломленныя головы», или: «Орелъ да Кромы — первые воры!» Отецъ его считался въ числѣ лицъ, «почтенныхъ довѣріемъ господъ дворянъ», то-есть служилъ исправникомъ и, вслѣдствіе непреоборимой горячности своего нрава, почти никогда не выходилъ изъ-подъ суда. Но даже и для этого закаленнаго въ суровой школѣ уголовной палаты человѣка Максимка представлялъ что-то феноменальное. Поэтому, когда онъ привезъ «палача» въ заведеніе, то слѣдующимъ образомъ отрекомендовалъ его инспектору классовъ:

— Откровенно вамъ доложу, Василій Ипатычъ, это такой негодяй... такой негодяй... ну, знаете, такой негодяй, какихъ днемъ съ огнемъ поискать! Бился я съ нимъ, хотѣлъ отдать въ пудретное заведеніе, да по дворянству стыдно! Дворянинъ-съ. А потому, ежели желаете оказать ему благодѣяніе—дерите! Спорить и прекословить не буду. Мало одной шкуры, спустите двѣ. А въ удостовѣреніе представляю при семъ въ презентъ сто рублей.

— Я учиться не стану! воля ваша! — угрюмо проговорилъ «палачъ», стоявшій тутъ же въ сторонкѣ и вслушивавшійся въ рекомендацію отца.

— Слышали-съ? Изволили слышать, какое это золото!

Дерите-съ, сдѣлайте милость, дерите-съ! — убѣждалъ отецъ инспектора и затѣмъ, обращаясь къ сыну, присовокупилъ:— А тебѣ, балбесъ, повторяю: если ты сто лѣтъ въ первомъ классѣ просидишь—я и тогда не возьму тебя изъ заведенія! Сто лѣтъ буду за тебя деньги платить, а домой—нини! Такъ тутъ и околѣвай!

Хмыловъ былъ принятъ и, быть-можетъ, благодаря сторублевой рекомендаціи и ежегоднымъ присылкамъ живностью и домашними припасами, не былъ изгоняемъ изъ заведенія (въ то время еще не существовало правила, въ силу котораго больше двухъ лѣтъ въ одномъ и томъ же классѣ оставаться нельзя). Но съ тѣхъ поръ, какъ «палачъ» поступилъ въ заведеніе, никто изъ родныхъ никогда не посѣтилъ его, такъ что онъ казался совсѣмъ забытымъ. Денегъ ему тоже никогда не присылали, а такъ какъ казенная пища была совершенно недостаточна для питанія его мощнаго организма, то онъ всегда былъ голоденъ.

Чтобы наполнить желудокъ, онъ прибѣгалъ или къ обложенію товарищей произвольными данями, или къ грабежу. Система даней заключалась въ томъ, что онъ заказывалъ тремъ-четыремъ ученикамъ (обыкновенно выбирая самыхъ робкихъ): кому полбулки, кому бутербродъ съ мясомъ.

— Слыхалъ я,—говорилъ онъ:—что бутерброды дѣлаются такимъ образомъ: взявъ два куска хлѣба, положить ихъ одинъ на другой, а посредине помѣстить кусокъ жареной говядины...

Или:

— Другіе за булку даютъ два листа бумаги, а я беру только полбулки и не даю ничего...

И былъ увѣренъ, что у него будетъ столько полбулокъ и бутербродовъ, сколько онъ пожелаетъ.

Система грабежа заключалась въ томъ, что въ пріемные дни, когда воспитанниковъ посѣщали родные, «палачъ» становился у дверей пріемной комнаты и съ волненіемъ прислушивался и приглядывался въ замочную скважину. По формѣ передаваемыхъ пакетовъ онъ угадывалъ о ихъ содержаніи и затѣмъ, какъ хищный звѣрь въ клѣткѣ, начиналъ безпокойно метаться по коридору, ведущему изъ пріемной въ классъ. Ученики знали этотъ обычай и безъ прекословія вынимали—кто пирогъ, кто яблоко, кто горсть орѣховъ—и отдавали «палачу». Въ эти минуты онъ былъ почти ласковъ. Онъ обиралъ дани въ громадный бумажный тюрикъ и по окончаніи грабежа отправлялся въ классъ на

заднюю скамейку, гдѣ онъ имѣлъ постоянное пребываніе и которая поэтому называлась «палачевскою». Тамъ онъ раскладывалъ награбленное добро, разсортировывалъ его и затѣмъ начиналъ истреблять.

— Господа! «Палачъ» жретъ!—раздавалось по классу.

Это былъ самый ненавистный для него крикъ, потому что вслѣдъ за тѣмъ мальчишки, какъ бѣсенята, вскарабкивались на скамейки, подбѣгали къ «палачевской», бросали въ «палача» пескомъ и книгами и вообще старались всячески портить «палачовъ кормъ». «Палачъ» огрызался и рычалъ, но не рѣшался оставить мѣсто, потому что по опыту зналъ, что если онъ хоть на минуту погонится за кѣмъ-нибудь изъ своихъ мучителей, то кормъ его будетъ мгновенно расхищенъ. Поэтому онъ старался какъ можно скорѣе уничтожить награбленное и, когда процессъ истребленія приходилъ къ концу—отяжелѣвалъ. Въ такихъ случаяхъ онъ бокомъ садился на лавкѣ и посоловѣлыми глазами смотрѣлъ въ упоръ на разсѣявшуюся мелюзгу, улыбаясь, барабаня пальцами по конторкѣ и какъ бы говоря: а ну-те, не угодно ли будетъ пристать ко мнѣ теперь!

По субботамъ «палача» сѣкли. Въ заведеніи, гдѣ онъ воспитывался, существовало насчетъ этого очень своеобразное обыкновеніе. Каждую субботу, послѣ всенощной, учениковъ строили въ два ряда по бокамъ рекреаціонной залы, и затѣмъ, по воцареніи гробовой тишины, инспекторъ классовъ громкимъ и яснымъ голосомъ вызывалъ на середину тѣхъ, которые получили въ теченіе недѣли извѣстное число нулей.

— Господинъ Хмыловъ! — обыкновенно начиналъ инспекторъ.

Хмыловъ выходилъ и исподлобья высматривалъ, какой урядникъ будетъ сѣчь, Кочуринъ или Купцовъ, такъ какъ Кочуринъ сѣкъ больно, а Купцовъ—нестерпимо. Сообразно съ этимъ онъ возвышалъ или понижалъ температуру своего духа и затѣмъ, молча перекрестясь, ложился на скамейку.

— Шестьдесятъ!—командовалъ инспекторъ.

— Василій Ипатычъ, не приказывайте держать! — уже лежа, обращался къ нему Хмыловъ.

— Дядьки! оставить господина Хмылова лежать свободно!

— Ж-ж-ж-и-и!—раздавалось въ воздухѣ.

Хмыловъ лежалъ вольно и не испускалъ ни единаго стона. Иногда онъ закусывалъ губу и съ ожесточеніемъ царапалъ себѣ грудь, чтобы нейтрализировать одну боль посредствомъ

другой. Когда отсчитывали послѣдній, шестидесятый ударъ, онъ проворно соскакивалъ со скамейки и, какъ ни въ чемъ не бывало, принимался натаскивать на себя нижнее платье.

Между учениками ходила легенда, будто «Танька, ростокинская разбойница», еще въ дѣтствѣ выкупала «палача» въ какомъ-то болотѣ, въ мертвой водѣ, и съ тѣхъ поръ палачово тѣло сдѣлалось твердо, какъ чугунъ.

Но въ одну изъ субботъ совершилось нѣчто совсѣмъ непредвидѣнное. Инспекторъ классовъ, сдѣлавъ обычный парадъ, вдругъ, сверхъ всякаго чаянія, объявилъ:

— Въ теченіе цѣлой недѣли господинъ Хмыловъ получилъ только одинъ пуль и потому сѣченъ сегодня не будетъ. Во вниманіе къ столь очевидному знаку милосердія Божія, всѣмъ лѣнтяямъ, съ разрѣшенія господина директора, объявляется на сей разъ прощеніе! Господа! будьте признательны господину Хмылову.

«Палачъ» вдругъ сдѣлался героемъ дня. Его окружили и поздравляли со всѣхъ сторонъ, но онъ оказался скорѣе сконфуженнымъ, нежели обрадованнымъ. Удивленно озирался онъ по сторонамъ и, очевидно, недоумѣвалъ, серьезно ли его поздравляютъ, или нѣтъ. И сомнѣнія его были далеко не безосновательны, потому что поздравленія съ каждой минутой дѣлались шумнѣе и шумнѣе, и наконецъ превратились въ явное приставанье.

— Палачъ! палачъ!—раздавалось со всѣхъ сторонъ.

И черезъ минуту Хмыловъ, съ налитыми кровью глазами, уже бѣжалъ безъ памяти по коридору, преслѣдуемый криками безпощадной мелюзги.

У «палача» былъ только одинъ другъ—«Агашка».

Судя по кличкѣ, можно было предположить въ этомъ юношѣ что-нибудь женственное, но въ дѣйствительности было совершенно противное. «Агашка» былъ рослый дѣтина, столь же сильный, какъ «палачъ», и въ то же время безусловно безобразный. Круглое, плоское и скуластое лицо его, снабженное маленькими глазками, широкимъ ртомъ и мясистымъ носомъ съ раздувающимися ноздрями и почти безъ переносицы, было до такой степени оригинально, что сразу вызывало потребность окрестить обладателя этихъ сокровищъ какимъ-нибудь прозвищемъ. И вотъ, когда онъ въ первый разъ вошелъ новичкомъ въ классъ, одинъ изъ учениковъ, взглянувъ на него, крикнулъ: «Господа! Агашка пришла!» И, должно-быть, прозвище попало мѣтко, потому

что съ тѣхъ поръ новичокъ такъ и пошелъ гулять съ нимъ по заведенію.

Настоящая фамилія «Агашки» была Голопятовъ, а родомъ онъ былъ изъ мелкопомѣстныхъ дворянъ той же Орловской губерніи, откуда происходилъ и «палачъ». Это было первымъ поводомъ для сближенія между ними.

Однажды, по окончаніи классовъ, встрѣтившись съ Голопятовымъ въ коридорѣ, «палачъ» первый подошелъ къ нему.

— Вы откуда?—спросилъ онъ его.

— Орловской губерніи, Мценскаго уѣзда.

— Значитъ, Амченина къ намъ на дворъ... такъ?

— Пожалуй.

— Ну, а я Кромской. Орелъ да Кромы—первые воры. Будемъ знакомы.

Вторымъ поводомъ къ дружбѣ была физическая сила, которою несомнѣнно обладалъ «Агашка». До поступленія его, «палачъ» чувствовалъ себя одинокимъ; теперь онъ получилъ возможность тягаться, бороться и вообще производить всяческіе эксперименты силы. Какъ только звонокъ возвѣщалъ рекреацію, оба спѣшили въ залъ и вступали въ единоборство. «Агашка» былъ простъ и потому бился чисто, такъ сказать, первобытно; «палачъ» былъ лукавъ и потому увертывался, извивался, пользовался слабыми сторонами противника и прибѣгалъ къ подножкамъ. Поэтому первый былъ почти всегда побѣждаемъ, но второй все-таки понималъ, что, неровенъ случай, и «Агашка» можетъ искалѣчить его. Уставши бороться, они ходили взадъ и впередъ по коридору, разговаривая о силѣ, приводя примѣры силы и предаваясь самому фантастическому лганью по поводу силы.

— У меня дядя телѣгу за колесо на всемъ скаку останавливаетъ!—хвастался «Агашка».

— А у меня былъ прадѣдушка, такъ тотъ однажды у черкасскаго быка рогъ изо лба вывернулъ!—отзывался «палачъ».—Да онъ и фальшивую монету дѣлалъ,—прибавлялъ онъ совсѣмъ неожиданно.

Когда и этотъ разговоръ истощался, они молча сравнивали свои кулаки: и тотъ и другой выставитъ кулакъ, и мѣряются.

— Только у меня, братъ, костистѣе,—молвитъ «палачъ»:—мой кулакъ настоящій... сухой!

— Ну, братъ, и моимъ можно душу изъ оглоблей вышибить!—возразитъ «Агашка».

И опять начнутъ молча ходить, покуда опять придетъ охота мѣрять кулаки.

Иногда разговоръ разнообразился.

— Ты какъ полагаешь, Хмыловъ,—спроситъ Агашка:— кто шибче деретъ, Кочуринъ или Кущовъ?

— Кочуринъ шибче, Кущовъ больнѣй. У Кочурина рука вольная, и сердце играетъ; у Кущова рука словно какъ не своя, да и деретъ онъ словно какъ не самъ. Кочуринъ до тридцати ударовъ рубцы только кладетъ, а Кущовъ съ перваго удара кожу просѣкаетъ. Кущова я боюсь.

— Да, это такъ; Кущовъ—это я тебѣ скажу...

— Нѣтъ, прошлаго года, какъ-то разъ оба урядника больны или въ отлучкѣ были, такъ меня, вмѣсто нихъ, ламповщикъ дралъ... вотъ, я тебѣ скажу, дралъ!

— Больно?

— Шкуру спустилъ! Довольно тебѣ сказать, что даже я обезумѣлъ! Какъ только это шестьдесятъ сосчитали, такъ я, самъ уже не помню какъ, при всѣхъ и при инспекторѣ, сейчасъ ему въ зубы!

Молчаніе.

— Гм!.. Нѣтъ, вотъ на площади, должно-быть, дерутъ!— задумчиво молвитъ «Агашка».

Опять молчаніе.

— Слыхалъ я, что средство есть, — опять молвитъ «Агашка».

— Это масломъ натираться? Пробовалъ я.

— Лучше?

— Оно, конечно... какъ не лучше! Скользитъ! Да только инспекторъ-шельма сейчасъ же разсмотрѣлъ—такъ и сыгралъ я въ ничью. Нѣтъ, да это что! хорошо бы вотъ въ юнкера поступить!

— Да, дранья-то бы не было!

— Въ юнкерахъ-то! Что ты! опомнись! да тамъ такъ дерутъ... такъ дерутъ! А ужъ какъ бы начальство осталось довольно! То-есть, скажи только: жги! рви! ну, то-есть, такъ бы...

По временамъ друзья подходили къ уряднику Кочурину, который черезъ день дежурилъ въ коридорѣ.

— А что, Кочуринъ, твоя, что ли, очередь драть въ слѣдующую субботу?—интересовался «палачъ».

— Моя.

— То-то; ты, братъ, не очень!

— Распишу—ничего!

— Нѣтъ, братъ, я тебѣ говорю, ты не очень! потому, братъ, я и самъ... я, братъ, и въ зубы...

По воскресеньямъ друзья чувствовали какую-то особливую, бѣшеную скуку. Оба были забыты родственниками, оба никуда не выходили изъ стѣнъ заведенія. Наборовшись до-сыта, пересказавши другъ другу всевозможные анекдоты о силѣ, они начали придумывать, какъ бы уразнообразить день.

— Косушку надо,—рѣшалъ «палачъ».

— Можно бы и полштофъ, только деньги какъ? Слимонить нынче трудно; начали, подлецы, запирать.

— Вотъ я намеднись грамматику Цумпа нашелъ—развѣ ее въ мытье снести?

— Ладно. Валяй, Хмыловъ, къ Кольчугину! А коли еще Евтропія на придачу захватишь—два двугривенныхъ... это какъ калачъ!

«Палачъ» перелѣзаетъ черезъ ограду сада и въ одной курткѣ, безъ шапки, бѣжитъ вонъ изъ заведенія. Черезъ часъ друзья уже пріютились гдѣ-нибудь въ темномъ углу, распиваютъ сивуху и заѣдаютъ ее колбасой.

— Ты больше ѣшь, Голопятовъ, — уговариваетъ «палачъ»:—потому ежели теперича пить да не ѣсть—бѣда!

— Да, это такъ, при винѣ безъ ѣды нельзя!—отвѣчаетъ «Агашка».—У меня тоже дядя былъ, такъ тотъ ничего не ѣлъ, только развѣ маленькій кусочекъ хлѣба съ солью, а все пилъ, все пилъ, такъ повѣришь ли, подъ конецъ онъ словно ртутью налитой сдѣлался! Руки дрожатъ, голова мотается... страсть!

Черезъ два часа оба спятъ какъ убитые, растянувшись на лавкѣ.

Однажды въ годъ, передъ каникулами, за «палачомъ» пріѣзжалъ разсыльный изъ земскаго суда, въ кибиткѣ, запряженной парою тощихъ обывательскихъ лошадей. Ученики чутьемъ угадывали этотъ пріѣздъ, и черезъ минуту разсыльнаго уже со всѣхъ сторонъ обступала мелюзга.

— За «палачомъ» пріѣхалъ?

— Тонька, растокинская разбойница, жива?

— Въ какомъ лѣсу вы нынче на промыселъ выходите?

Разсыльный таращилъ глаза, не понимая сыплющихся на него вопросовъ.

— За кѣмъ ты пріѣхалъ?—переспрашивалъ его кто-нибудь вновь.

— За барчонкомъ, за Максимомъ Петровичемъ.

— Ну, онъ самый—палачъ и есть. А отецъ у него тоже палачъ? И мать—палачиха?

Такого рода сцены повергали Хмылова въ неописанное волненіе. Онъ за нѣсколько недѣль начиналъ готовиться къ нимъ и старался устроить какъ-нибудь такъ, чтобы выскользнуть изъ заведенія незамѣченнымъ. Но это никогда ему не удавалось, благодаря неповоротливости разсыльнаго и прозорливости учениковъ. Сконфуженный, выходилъ онъ въ швейцарскую и, бросая направо и налѣво тревожные взоры, спѣшилъ какъ можно скорѣе юркнуть на улицу.

— Палачъ!—кричали ему вслѣдъ.

Кибитка, покачиваясь и подскакивая по мостовой, трускомъ удаляется отъ стѣнъ заведенія и наконецъ совсѣмъ выѣзжаетъ изъ Москвы. Очутившись за городомъ, Хмыловъ поспѣшно снимаетъ съ себя куртку, съ наслажденіемъ вдыхаетъ зараженный воздухъ заставы и жадно вглядывается въ безконечно вьющуюся впереди ленту большой дороги.

— Ишь ты, дорога-то!—говоритъ онъ.

— Да... большая!—отзывается съ облучка разсыльный:— а позволь, Максимъ Петровичъ, узнать, за что они тебя палачомъ обзываютъ?

— Такъ... подлецы... не знаютъ сами... Жрать хочу... денегъ нѣтъ... грабить долженъ! — безсвязно бормочетъ «палачъ», и въ голосѣ его слышится несвойственное ему дрожаніе.

«Палачъ» отворачивается и глядитъ въ сторону. Въ эту минуту его ненавистное прозвище жжетъ его.

— Какой я палачъ, Сергѣичъ!—наконецъ произноситъ онъ:—я волкъ—вотъ что!

— Ужъ будто и волкъ?

— Да, волкъ. Голоденъ... всегда... вотъ какъ волкъ... ну, и травятъ!

Сергѣичъ задумчиво покачиваетъ головой.

— А ты бы, сударь, не все грабежомъ,—говоритъ онъ:— а иногда и лаской. Вотъ папеньку-то за грабежъ нонѣ подъ судъ отдали!

— Врешь?

— Всѣхъ отдали подъ судъ: и папеньку, и дяденьку Софрона Матвѣича. Софронъ-то Матвѣичъ, сказываютъ, такихъ дѣловъ надѣлалъ, что и каторги-то ему, слышь, мало.

— Вре-ешь?

Лицо Хмылова оживляется и свѣтлѣетъ. Выраженіе этого лица какъ будто говоритъ: ай-да молодцы... Хмыловскіе!

— Вѣрно говорю,—продолжаетъ Сергѣичъ. — Теперича изъ губерніи цѣлый кагалъ пріѣхалъ Софрона-то Матвѣича судить. Такъ онъ передъ ними, передъ чиновниками-то, словно вьюнъ на сковородѣ—такъ и пляшетъ!

— Врешь! Не станетъ дядя подличать! На каторгу, такъ на каторгу! Развѣ на каторгѣ не тѣ же люди живутъ? Вотъ я хоть сейчасъ... что же!

«Палачъ» задумывается; въ воображеніи его рисуется «нижегородка», этапная тюрьма, конвой, угрюмыя лица арестантовъ, и среди нихъ онъ, звенящій кандалами и наручниками...

— Ну, что, а Маришка какъ?—спрашиваетъ онъ, выходя изъ задумчивости.

— Маришку бросить надо—вотъ что. Она нынче и легла и встала—все съ Ѳедькой-поваромъ!

— Ишь подлая!.. А Микешка-фалетуръ?

— Микешкѣ баринъ намеднись сказалъ, что только ему озоровать, что до перваго набора!

— Вре-ешь?

Черезъ шесть часовъ обывательскія лошаденки кой-какъ дотаскиваютъ путешественниковъ до Подольска, гдѣ назначенъ первый роздыхъ. Сергѣичъ суетится около кибитки, вытаскивая изъ-подъ сѣна кулекъ съ залежавшеюся домашней провизіей. «Палачъ» усматриваетъ между тѣмъ висящій на гвоздикѣ у облучка сергѣичевъ кисетъ съ махоркой и потихоньку высыпаетъ изъ него трубки на двѣ табаку.

— Что-жъ ты не спросишь, здоровы ли папенька съ маменькой?—укоризненно говоритъ ему Сергѣичъ на постояломъ дворѣ, гдѣ Хмыловъ успѣлъ ужъ расположиться подъ образами и съ жадностью оплетаетъ жареную курицу.

— А ну ихъ! денегъ не даютъ!

Черезъ четверть часа онъ стоитъ подъ навѣсомъ постоялаго двора и цѣлится камнемъ въ курицу, копающуюся въ навозѣ. Курица испускаетъ неистовое кудахтанье и, отчаянно хлопая крыльями, убѣгаетъ.

Въ прежнія времена небогатые помѣщики, при выборѣ усадебной осѣдлости, руководствовались слѣдующими соображеніями: во-первыхъ, чтобы церковь стояла передъ глазами, а во-вторыхъ, чтобы мужикъ всегда подъ руками

былъ. Отгородитъ помѣщикъ попросторнѣе мѣстечко въ ряду съ крестьянскими избами (большей частью въ низинкѣ, чтобъ зимой теплѣе было) и складетъ тамъ домъ не домъ, берлогу не берлогу, вообще что-то такое, что̀ зимой заноситъ снѣгомъ, а лѣтомъ чуть-чуть виднѣется изъ-за тына. Потомъ спереди разведетъ палисадникъ, въ которомъ не то что гулять, а повернуться негдѣ, а сзади и по бокамъ настроитъ людскихъ, да застольныхъ, да амбарушекъ, да клѣтушекъ—и пойдетъ этотъ нескладный сбродъ строеній чернѣть и ветшать, подъ вліяніемъ времени и непогодъ, да наполняться грязью, навозомъ и вонью. Ни сада, ни воды, ни даже просто дали передъ глазами. Только и вида, что церковь, сиротливо стоящая посреди площади, да направо и налѣво рядъ покосившихся крестьянскихъ избъ, раздѣляемыхъ улицей, на которой отъ навоза и грязи проѣзда нѣтъ. За то баринъ знаетъ, что̀ въ какой избѣ дѣлается, что̀ говорится, какой мужикъ по болѣзни не выходитъ на барщину, какой отлыниваетъ, у кого отелилась корова, что̀ принесла и т. д.

Такого именно сорта была усадьба Петра Матвѣича Хмылова, стоявшая на самой серединѣ небольшого села Вавилова. Тутъ все было пригнано къ общему типу помѣщичьихъ усадьбъ средней руки: и почернѣвшій одноэтажный домъ съ подслѣповатыми окнами и ветхою крышей, и классическій палисадникъ, и великое множество клѣтушекъ, въ которыхъ десятками лѣтъ скоплялся и сберегался никому ненужный хламъ. Внутри дома—дрожащія половицы, стѣны, оклеенныя побѣленой газетной бумагой, мебель, на которой жутко сидѣть, и великое изобиліе бутылей съ настойками и наливками, разставленныхъ по окнамъ. Внѣ дома—отсутствіе воды, тѣни, всего, на чемъ могъ бы отдохнуть глазъ. Куда ни взглянешь—вездѣ навозъ и грязь. Даже прудъ, выкопанный въ сторонѣ на площади,—и тотъ покрытъ плѣсенью и пухомъ домашней птицы, а по берегамъ до безобразія изрытъ и загаженъ.

Въ усадьбѣ Петра Матвѣича живутъ три поколѣнія. Онъ самъ съ женою Ариной Тимоѳеевной, два сына подростка (независимо отъ «палача», съ которымъ мы ужъ познакомились) и старый дѣдушка Матвѣй Никанорычъ. Братецъ Софронъ Матвѣичъ владѣетъ собственной усадьбой, стоящей на той же площади, въ нѣсколькихъ десяткахъ саженей отъ главной усадьбы.

Дѣдушкѣ за восемьдесятъ лѣтъ: онъ совсѣмъ выжилъ изъ

ума и помнитъ одно слово «рви!» Лѣтъ двадцать назадъ (въ концѣ двадцатыхъ годовъ) онъ сотворилъ какую-то совершенно неслыханную штуку, за которую быть бы ему на каторгѣ, если-бъ добрые люди не надоумили его сказаться умершимъ. Вздумано-сдѣлано; добыли форменное свидѣтельство, что такого-то числа и года бояринъ Матвѣй Никаноровъ Хмыловъ волею Божіей помре, представили документъ въ уголовную палату—и живетъ съ тѣхъ поръ старикъ, въ видѣ контрабанды, на усадьбѣ у старшаго сына Петра Матвѣича.

Дѣдушка, несмотря на преклонныя лѣта, старикъ бодрый и блажной. Взамѣнъ потухшаго ума, въ немъ развилась назойливая проказливость, которая никому не даетъ покоя. Съ утра до вечера онъ неутомимо шныритъ изъ комнаты въ комнату, тутъ отдеретъ отъ стѣны кусокъ обоевъ, тамъ—обмажетъ мебель грязью или жованнымъ хлѣбомъ. И все время неумолкаемо бормочетъ и свиститъ. «Согрѣшили мы!»—говоритъ, глядя на него, Арина Тимоѳеевна и съ какою-то безнадежностью ждетъ, что вотъ-вотъ онъ или домъ подожжетъ, или битаго стекла въ наливку насыплетъ, или дѣвкѣ Маришкѣ глаза пескомъ засоритъ. Но домашніе не рѣшаются поступать съ нимъ круто, потому что подозрѣваютъ, что у него есть значительный кушъ, который онъ припряталъ въ то время, когда рѣшился сказаться умершимъ. Куда онъ спряталъ свое имущество—этого, несмотря на всѣ старанія, никто доискаться не можетъ, но загадочность нѣкоторыхъ поступковъ полупомѣшаннаго старика даетъ полный поводъ предполагать, что дѣйствительно старикъ что-то скрываетъ. По временамъ онъ исчезаетъ куда-то, словно сквозь землю проваливается, и всегда неожиданно, сюрпризомъ. Едва успѣютъ хватиться старика, а онъ ужъ опять тутъ какъ тутъ, откуда-то возвращается и знай себѣ бормочетъ да посвистываетъ. Все это, разумѣется, интриговало и даже мучило домашнихъ, и Петръ Матвѣичъ, который даже въ пьяномъ видѣ не переставалъ быть почтительнымъ сыномъ, не разъ приступалъ къ отцу съ объясненіями по этому предмету.

— Откройтесь! — говорилъ онъ: — откройтесь, добрый другъ папенька! снимите съ души вашей тяжкій грѣхъ!

Но старикъ безсмысленно смотрѣлъ на него и бормоталъ:

— Рви... самъ... самъ... самъ рви!

Пробовалъ заводить рѣчь объ этой матеріи и Софронъ

Матвѣичъ: этотъ старался подѣйствовать на воображеніе старика не столько попечительностью, сколько угрозою.

— Папенька!—говорилъ онъ:—вѣдь ежели теперича допросить васъ какъ слѣдуетъ—вѣдь вы скажете-съ! какъ святъ Богъ, скажете-съ!

Но на это увѣщаніе старикъ даже не произносилъ своего любимаго слова «рви», а только слегка вздрагивалъ и измѣнялся въ лицѣ. Быть-можетъ, онъ смутно догадывался, что Софронъ Матвѣичъ принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, которые, разъ рѣшивъ въ умѣ своемъ предпріятіе, ни надъ чѣмъ не задумываются, чтобы достигнуть его осуществленія.

Наконецъ прибѣгали и къ третьему способу: заставляли дѣтей слѣдить за старикомъ. И дѣйствительно, младшему сыну, Ванѣ, чуть-чуть не удалось напасть на слѣдъ. Однажды онъ подсмотрѣлъ, какъ дѣдушка вышелъ изъ дома, какъ онъ перешелъ черезъ дворъ и потомъ, согнувшись и подобравши полы халата, сталъ куда-то прокрадываться позади скотныхъ избъ. Но покуда маленькій шпіонъ раздумывалъ, не лечь ли ему на брюхо, чтобъ ловчѣе подползти къ старику, послѣдній точно чутьемъ догадался, что за нимъ слѣдятъ. Онъ внезапно выпрямился во весь ростъ, какъ ни въ чемъ не бывало повернулъ назадъ и, поровнявшись съ внукомъ, поднялъ его за плечи на воздухъ...

Съ тѣхъ поръ дѣдушку оставили въ покоѣ и съ какимъ-то тупымъ недоумѣніемъ ожидали, что вотъ-вотъ или умретъ старикъ, или перемѣнятъ форму ассигнацій—и тогда пиши пропало. Софронъ Матвѣичъ съ особенной настойчивостью указывалъ брату на эти случайности.

— Покаетесь, братецъ, да поздно будетъ!—говорилъ онъ своимъ хнычущимъ, вкрадчивымъ голосомъ, звукъ котораго былъ до такой степени мучителенъ, что Арина Тимоѳеевна, несмотря на двадцать пять лѣтъ жизни въ семействѣ Хмыловыхъ, не могла его слышать безъ того, чтобъ въ ней не упало сердце.

Петръ Матвѣичъ, вмѣсто отвѣта, какъ-то алчно вздрагивалъ и дико вращалъ глазами.

— Я самъ родителя моего чту,—продолжалъ между тѣмъ Софронъ Матвѣичъ:—каждый день, утромъ и вечеромъ, возношу сердце объ ихъ долголѣтіи. Однако, и за всѣмъ тѣмъ, съ своей стороны мнѣніемъ полагалъ бы, что ежели теперича, безъ ущерба для ихъ здравія, на время ихъ въ чуланъ запереть или, напримѣръ, въ пищѣ сокращеніе допустить...

Петръ Матвѣичъ, не дослушавъ до конца, вскакивалъ какъ ужаленный и съ простертыми дланями устремлялся впередъ, самъ не зная куда.

— Куда ты? куда? на убивство собрался?—кричала ему вслѣдъ Анна Тимоѳеевна.—Ишь тебя «зуда»-то раззудилъ! И глаза, какъ у быка, кровью налились!

Но старикъ и самъ предупреждалъ возможность «убивства». Почуявъ, что объ немъ идетъ рѣчь, онъ скрывался въ чуланъ, или на сѣновалъ, или въ другое неприступное мѣсто, и оставался тутъ до тѣхъ поръ, пока наступившая въ домѣ тишина не удостовѣряла, что Софронъ Матвѣичъ ушелъ во-свояси, а Петръ Матвѣичъ, окончательно ошалѣлый отъ водки, заснулъ гдѣ-нибудь богатырскимъ сномъ.

Такъ шли дни за днями, и старикъ продолжалъ жить, оставаясь загадкой для цѣлаго семейства. Никто не могъ сказать навѣрное, въ умѣ ли онъ, или не въ разумѣ, а также при чемъ онъ состоитъ: при настоящемъ ли капиталѣ, заключающемся въ ассигнаціяхъ, или при кипѣ старой газетной бумаги, которую онъ, быть-можетъ, и самъ принималъ за кипу ассигнацій.

Петра Матвѣича многіе разумѣли злымъ человѣкомъ, но, говоря по правдѣ, онъ былъ ни добръ, ни золъ, а только черезъ мѣру лихъ. Разсудка онъ не имѣлъ, но, несмотря на свои слишкомъ пятьдесятъ лѣтъ, обладалъ замѣчательно горячимъ темпераментомъ, которымъ и руководствовался во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ. Это была, такъ сказать, талантливая скотина, готовая бѣжать, лѣтѣть въ огонь, въ воду, въ преисподнюю, бить, сокрушать, вездѣ, всегда, во всякое время, на всякомъ мѣстѣ. Только на небо влѣзть онъ не могъ, да и то потому, что, читая каждый день «иже еси на небеси», полагалъ, что тамъ живетъ какое-то особенное, ужъ совсѣмъ высшее начальство, контролировать которое ему, исправнику, не по чину. Мѣстные помѣщики знали эту всегдашнюю готовность Хмылова и, говоря объ немъ, выражались такъ: «у насъ исправникъ лихой! онъ подтянетъ!» И онъ дѣйствительно съ такою любовью предавался подтягиванью, что даже постояннаго мѣстожительства нигдѣ, кромѣ тарантаса, указать не могъ. Подобно буйному вихрю, рыскалъ онъ день и ночь по угламъ и закоулкамъ уѣзда, издалека грозясь нагайкою и собственноручно творя судъ и расправу. Онъ налеталъ, какъ орелъ изъ-за сизыхъ тучъ, и сѣкъ. Затѣмъ летѣлъ дальше, опять сѣкъ и опять летѣлъ дальше. Что такое сѣ-

ченіе? Какое ощущеніе вызываетъ оно въ истязуемомъ субъектѣ? Эти вопросы никогда не являлись его уму, потому что и самое сѣченіе было въ его глазахъ только обрядомъ, входящимъ въ кругъ его обязанностей, какъ исправника. Онъ зналъ, что въ однихъ случаяхъ нужно надѣть мундиръ, въ другихъ—сѣчь, и согласно съ этимъ располагалъ своими поступками. «Запорю!» «въ гробъ заколочу!» «въ бараній рогъ согну!»—таковъ былъ обычный способъ его собесѣдованія, и онъ произносилъ эти слова безъ сознательной злобы, хотя голосъ его гремѣлъ какъ труба, глаза таращились, и у рта показывалась пѣна. Онъ не понималъ, чтобъ исправникъ могъ говорить, не обрывая, не простирая рукъ и не сквернословя. Въ сквернословіи видѣлъ онъ почти обязательную формальность, соблюденіе которой влекло за собой для него названія: «молодецъ» и «лихой», несоблюденіе—названія: «мямля», «тряпка» и «баба».

— Ужъ это, батюшка, должность такая, — объяснялъ онъ:—повѣсь-ка я на стѣну вотъ этотъ инструментъ (онъ указывалъ на нагайку)—голову на отсѣченіе отдаю, что черезъ два дня весь уѣздъ вверхъ ногами пойдетъ!

И дѣйствительно, никогда, даже дома, не выпускалъ нагайки изъ рукъ.

Взятку онъ любилъ, но никогда не подбирался къ ней, какъ тать въ нощи, не сочинялъ предварительныхъ проектовъ насчетъ ея обрѣтенія, не каверзничалъ, а бралъ съ маху. И притомъ бралъ исключительно съ имущихъ, а неимущихъ только сѣкъ. Сѣченіе представляло, въ его глазахъ, прерогативу; взятка была лишь уступкой мамонѣ, дѣлаемой даже нерѣдко въ ущербъ прерогативѣ. Поэтому онъ и взятку старался облечь въ форму грабежа. Нужно денегъ—летитъ на гуртовщика, потомъ летитъ на лѣсопромышленника, потомъ на содержателя крупчатой мельницы, и всегда беретъ безъ дѣла, безъ повода, здорово-живешь. Нѣтъ нужды въ деньгахъ—оставляетъ толстосумовъ въ покоѣ, а неимущихъ продолжаетъ сѣчь. Иногда онъ выказывалъ даже замѣчательное безкорыстіе и дѣлалъ въ назначенныхъ къ полученію кушахъ значительныя и ничѣмъ не мотивируемыя сбавки. Но это допускалось лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда паціенты льстили его самолюбію, то-есть говорили ему въ глаза, что онъ лихой, что онъ въ одномъ своемъ кулакѣ держитъ цѣлый уѣздъ, и что не будь его—имъ пришлось бы тошно. Толстосумы знали эту слабую струну исправника и пользовались ею.

— А я, сударь, былъ намеднись въ Латышовѣ,—говоритъ, напримѣръ, промышленникъ, на котораго наложена сторублевая дань:—ну, и подивился-таки!

— А что?

— Шелковые стали съ тѣхъ поръ, какъ ручки-то вашей отвѣдали.

— То-то; васъ не подтяни—вы всѣ разбойниками будете!

— Что говорить! по нашемъ братѣ палка плачетъ—это вѣрно!

— Ну, чортъ съ тобой, давай пятидесятную... живо!

Благодаря этому обстоятельству, у него никогда не было лишнихъ денегъ, да и тѣ, которыя были, онъ любилъ пропить, прогулять и вообще разсорить болѣе или менѣе непроизводительнымъ образомъ.

— Я,—говорилъ онъ:—не то, что другіе; я съ народа беру да въ народъ же и пущаю.

Водку онъ пилъ не запоемъ, но во всякое время и столь же много, какъ бы запоемъ. Поэтому, хотя онъ никогда не бывалъ окончательно и безобразно пьянъ, но постоянно находился въ туманѣ и никогда отчетливо не понималъ, куда тычетъ руками. Тамъ, гдѣ онъ «раскидывалъ свой шатеръ», происходило одно изъ двухъ: либо сѣченье, либо гульба. Поэтому господа дворяне выражались, что онъ проживаетъ свои доходы какъ благородный человѣкъ, а толстосумы даже называли его душевнымъ человѣкомъ.

— У насъ исправникъ — душа человѣкъ, — говорили они:—онъ съ тебя возьметъ, да онъ же и за столъ рядомъ съ собою посадитъ!

Передъ начальствомъ Петръ Матвѣичъ трепеталъ. Но не просто трепеталъ, а любилъ трепетать, трепеталъ не только за страхъ, но и за совѣсть. Онъ страстно любилъ встрѣчать, провожать, устремляться, застывать на мѣстѣ, рапортовать, а потому всякій проѣздъ начальства, хотя бы и не совсѣмъ того вѣдомства, къ которому онъ принадлежалъ, былъ для него торжествомъ. Познавъ о предстоящемъ «прослѣдованіи» черезъ его уѣздъ, онъ загодя приходилъ въ волненіе, заготовлялъ квартиры, сѣялъ направо и налѣво мужицкіе зубы и даже прекращалъ на время употребленіе водки, такъ что самое лицо дѣлалось у него бѣлое. Подстерегши начальство, подъ дождемъ и морозомъ, на границѣ уѣзда, онъ вытягивался въ струну, замиралъ и рапортовалъ; потомъ кидался въ телѣгу и, какъ бѣшеный, скакалъ впередъ, оглашая воздухъ гиканьемъ.

— Мы, батюшка, передъ начальствомъ—все одно, что борзыя-съ,—говорилъ онъ:—прикажутъ: разорви!—и разорвемъ-съ!

И точно, слушая, какъ онъ говорилъ это, видя, какъ онъ вращалъ при этомъ глазами, и какъ лицо его становилось изъ краснаго фіолетовымъ и даже синеватымъ, невозможно было усомниться ни на минуту. Разорветъ.

Начальство знало это и хвалило Хмылова.

— Хмыловъ,—выражалось оно:—это лихой! этотъ подтянетъ!

Даже крестьянскіе мальчики, и тѣ, наслушавшись расточаемыхъ со всѣхъ сторонъ Хмылову похвальныхъ аттестацій, говорили:

— Вотъ погоди! уже проѣдетъ исправникъ—онъ те подтянетъ!

Дома Петръ Матвѣичъ былъ только наѣздами, на сутки, на двое, не больше. Налетитъ, перевернетъ все и всѣхъ вверхъ дномъ—и опять исчезнетъ недѣли на двѣ. Онъ самъ охотно сознавался, что ничего не смыслитъ въ деревенскомъ хозяйствѣ, и ставилъ это себѣ не въ порокъ, а въ достоинство.

— Какой я деревенскій хозяинъ!—выражался онъ:—я хозяинъ уѣзда—вотъ я кто!

Поэтому, какъ бразды хозяйственнаго управленія, такъ и воспитаніе дѣтей онъ вполнѣ предоставилъ женѣ, требуя только, чтобы въ случаяхъ тѣлесной расправы съ дѣтьми она не сама распоряжалась, а доводила о томъ до его свѣдѣнія.

— Вы, бабы,—говорилъ онъ:—не сѣчете, а только мажете. А ихъ, разбойниковъ, надо такимъ манеромъ допросить, чтобы они всю жизнь намятовали.

И такъ какъ дѣти дѣйствительно росли разбойниками, то каждый налетъ Петра Матвѣича въ деревню неизмѣнно сопровождался экзекуціей. «Въ гробъ ракалій заколочу!» «Запорю мерзавцевъ!»—вотъ единственныя проявленія родственныхъ отношеній, которыя были обычными въ этой семьѣ. Но опять-таки и здѣсь на первомъ планѣ стояла не сознательная жестокость, а обрядъ. Петръ Матвѣичъ помнилъ, что онъ и самъ росъ разбойникомъ, что его самого и запарывали, и въ гробъ заколачивали, и что все это однако-жъ не помѣшало ему сдѣлаться «молодцомъ». А слѣдовательно и дѣтямъ тѣ же пути не заказаны. Растутъ, растутъ разбойниками, а потомъ, глядишь, и сдѣлаются *вдругъ «молодцами»*.

Къ отцу Петръ Матвѣичъ относился довольно равнодушно. Хотя предположеніе о таинственномъ капиталѣ и волновало его, но волновало лишь потому, что этимъ капиталомъ всѣ домашніе мозолили ему глаза. Но старикъ былъ къ нему почти ласковъ и, повидимому, даже искалъ у него защиты противъ ехидства Софрона Матвѣича. Въ присутствіи старшаго сына дѣдушка прекращалъ свои проказы, переставалъ бормотать, свистать и наполнять домъ гамомъ. По временамъ онъ даже останавливался передъ Петромъ Матвѣичемъ и съ какою-то непривычною ему задушевностью въ голосѣ произносилъ:

— Рви!

— Помилуйте, папенька, я свои обязанности очень знаю!— возражалъ на это Петръ Матвѣичъ.

Но старикъ оставался непреклоненъ и повторялъ:

— Рви! рви! рви!

Петръ Матвѣичъ на минуту задумывался, потомъ внезапно приказывалъ запрягать тарантасъ и летѣлъ навстрѣчу гурту.

Въ эти дни исправникъ былъ неумолимъ и грабилъ все, что положено, не поддаваясь ни резонамъ, ни лести.

Арина Тимоѳеевна была женщина смирная, но отличалась тѣмъ, что даже въ домашнемъ обиходѣ никогда не могла съ точностью опредѣлить, чего ей хочется. Можетъ-быть, поѣсть, можетъ-быть, испить, а можетъ-быть, и просто по двору побродить. Случилось это съ нею съ тѣхъ поръ, какъ Петръ Матвѣичъ (молодые еще они тогда были) однажды ударилъ ее подъ пьяную руку по темени.

— Какъ ударилъ онъ это меня по темю, — разсказывала она всегдашней своей собесѣдницѣ, попадьѣ: — такъ съ тѣхъ поръ и нѣтъ у меня понятія. Хочется чего-то, и сама вижу, что хочется, а чего хочется — не разберу.

Уже смолоду она была рохлей, а съ годами свойство это возросло въ ней до геркулесовыхъ столповъ. День-денской она слоняется то по дому, то по двору, то по деревнѣ; тамъ побредетъ, тутъ погрозитъ, и все какъ-то безъ толку, словно въ просоньѣ. Идетъ невѣдомо куда и такъ безнадежно смотритъ, какъ будто говоритъ: да уйдите вы, распостылые, съ моихъ глазъ долой! Потомъ на минуту встрепенется и примется «настоящимъ манеромъ» хозяйничать. Старосту назоветъ кровопивцемъ, повара—воромъ, кухарку *Маришку*—паскудою. Совершивши этотъ подвигъ, опять

притихнетъ, сядетъ у окна, разстегнетъ у блузы воротъ и высматриваетъ, не прошмыгнетъ ли черезъ дворъ Маришка-поганка на кухню къ подлецу Ѳедькѣ.

— И то бѣжитъ! бѣжитъ!—вдругъ восклицаетъ она, стремительно вскакивая съ мѣста и съ какимъ-то жаднымъ любопытствомъ приглядываясь, какъ Маришка съ быстротою ящерицы скользитъ по двору, скользитъ и наконецъ проскальзываетъ въ отворенную дверь кухни.

Или вдругъ встревожится, отчего дѣтей долго не видать, а они ужъ тутъ какъ тутъ. Одного ведутъ за ухо, потому что у пѣтуха крыло камнемъ перешибъ; другой самъ бѣжитъ съ расквашеннымъ носомъ.

— Смерти на васъ нѣтъ! — крикомъ-крикнетъ Арина Тимоѳеевна и тотчасъ же распорядится: одному дастъ щелчокъ въ лобъ, другому вихоръ надеретъ.

Такого рода хозяйственныя и воспитательныя распоряженія исчерпывали собой весь день. Затѣмъ вечера Арина Тимоѳеевна проводила въ обществѣ попадьи и жаловалась ей на судьбу.

— Нѣтъ моей жизни каторжнѣе! — говорила она: — всѣмъ-то я припаси! всѣмъ-то я приготовь! И курочку-то подай! и супцу-то свари! все я! все я!

Попадья покачивала головой и бросала кругомъ суровые взгляды, какъ бы выражая неодобреніе домашнимъ, причиняющимъ столько тревоги Аринѣ Тимоѳеевнѣ.

— Сколько старикъ одинъ слопаетъ, такъ это Богъ только видитъ! Богъ только видитъ!—продолжала хозяйка, ударяя себя кулакомъ въ грудь:—словно у него не брюхо, а прорва! Такъ и кладетъ! такъ и кладетъ! Набѣгается это день-денской по угламъ-то, да пуще, да пуще!

— Слыхала я, сударыня, насчетъ крестовъ, которые каждому человѣку при рожденіи назначаются... — вставляла свое слово попадья. Но Арина Тимоѳеевна не слушала ее и продолжала:

— И все-то мнѣ тошно! и все-то мнѣ постыло! Вотъ хоть бы Маришка-поганка. Такъ хвостомъ и вертитъ, такъ и вертитъ! Каково мнѣ это видѣть-то!

Жалобы лились, какъ рѣка, до тѣхъ поръ, пока самъ собою не истощался несложный репертуаръ ихъ. Тогда Арина Тимоѳеевна прощалась съ попадьей, удалялась въ спальню и приносила Маришкѣ окончательную жалобу.

— Измучилась я съ вами, словно день-то кули ворочала. Теперь бы вотъ Богу помолиться—анъ у меня и словъ ни-

какихъ на языкѣ нѣтъ. А завтра опять вставай! опять на муку мученическую выходи!

Если-бъ у Арины Тимоѳеевны спросили, любитъ ли она мужа, она навѣрное отвѣтила бы: «какъ не любить! вѣдь онъ мужъ!» Если-бъ спросили, любитъ ли она дѣтей, она отвѣтила бы: «какъ не любить! вѣдь они дѣти!»

— Щемитъ мое сердце по нихъ!—говорила она:—такъ-то щемитъ! такъ-то ноетъ!

Но въ чемъ именно проявлялось это материнское щемленіе сердца—этого, конечно, не могъ бы опредѣлить мудрѣйшій изъ мудрецовъ. Иной разъ щемитъ сердце отъ того, что севрюжинки солененькой захотѣлось; иной разъ отъ того, что квасу хорошо бы испить; иной разъ отъ того, что вдругъ объ дѣтяхъ дума въ голову западетъ.

— Это у тебя все отъ праздности да отъ жиру! — молвитъ ей въ упоръ Петръ Матвѣичъ, когда она черезчуръ разохается.

— Какъ же, съ жиру! дѣти-то, чай, мои!—огрызнется она. Потомъ на минуту смолкнетъ, и опять начнетъ у ней сердце щемить.

— Вотъ,—скажетъ:—хорошо, кабы у насъ домъ полная чаша былъ!

— Это еще что?

— Да такъ... все, чего ни потребуй, все бы сейчасъ... Яичка бы захотѣлось—яичко бы на столѣ! Говядинки... супцу... все бы сейчасъ, въ секундъ!

— Вотъ дуру-то Богъ послалъ!

— По-твоему, я дура, а по-моему, ты дуракъ. Чѣмъ ругаться-то, лучше бы отца допросилъ, куда онъ милліонъ свой спряталъ?

Среди фантазій, безпорядочно бродившихъ въ головѣ Арины Тимоѳеевны, мысль о томъ, что у дѣдушки есть какой-то кушъ, который онъ неизвѣстно куда запряталъ, въ особенности угнетала ее. Она носилась съ этой мыслью съ утра до вечера, ложилась съ нею спать и наконецъ даже бредила ею во снѣ. Начавъ съ одной тысячи, воображеніе постепенно увеличивало и увеличивало вожделѣнную сумму и наконецъ остановилось на милліонномъ размѣрѣ. Дальше Арина Тимоѳеевна не умѣла считать.

— А ты вѣрно знаешь, что милліонъ?—спрашиваетъ ее Петръ Матвѣичъ.

— Какъ же не вѣрно! Сколько лѣтъ жилъ! сколько грабилъ!

— Ахъ, дура, дура!

— Ты уменъ! Другіе на такихъ мѣстахъ, поди, какіе капиталы наживаютъ, а онъ, блаженный, все двугривенничками да пятиалтынничками, да и тѣ деревенскимъ дѣвкамъ просоритъ!

Разговоры эти обыкновенно кончались тѣмъ, что Петръ Матвѣичъ выскакивалъ изъ-за стола и приказывалъ закладывать тарантасъ.

Что могло сдѣлаться изъ дѣтей въ подобномъ семействѣ—это понятно само собой. Ужъ въ силу утвердившейся семейной номенклатуры, это были «пащенки», «выродки», «балбесы»—и ничего больше. Росли они по-спартански, то-есть кувыркались по двору, лазили по деревьямъ, разоряли птичьи гнѣзда, дразнили козла, науськивали собакъ на кошку и по временамъ даже воровали. Съ малыхъ лѣтъ ихъ головы задумывались надъ тѣмъ, что хорошо бы въ кучера или въ разсыльные идти да имѣть въ рукахъ нагайку ременную и хлестать ею направо и налѣво, «вотъ какъ ваненька хлещетъ».

— Какого имъ дьявола воспитанія!—говорила Арина Тимоѳеевна:—и такъ, балбесы, походя жуютъ!

— Я ихъ воспитаю... а-р-р-р-апникомъ! — прибавлялъ съ своей стороны Петръ Матвѣичъ.

На десятомъ году старшаго сына, Максимку (онъ же и «палачъ»), засадили за грамоту. Призвали сельскаго попа, дали мальчугану въ руки указку и положили передъ нимъ азбуку съ громаднѣйшими азами.

— Ты его, отецъ Василій, дери!—рекомендовалъ при этомъ Петръ Матвѣичъ:—вѣдь онъ у насъ идолъ!

И дѣйствительно, Максимка оправдывалъ это прозвище. Исподлобья смотрѣлъ онъ на классный столъ, словно упирающійся быкъ, котораго ведутъ подъ обухъ.

— Ищь вѣдь какъ смотритъ! чуетъ, пащенокъ, чѣмъ пахнетъ. Я тебя... воспитаю!

И началась для Максима та ежедневная мука, которая называется грамотою.

— Азъ-буки-вѣди, бря, вря, дря, жря,—мрачно твердилъ онъ по цѣлымъ часамъ, ковыряя въ носу и безцѣльно озираясь по сторонамъ.

— Ты въ книгу-то носъ уткни! по сторонамъ-то не глазѣй!—внушалъ отецъ Василій.

Максимка съ какимъ-то безконечно-скорбнымъ выраженіемъ въ лицѣ устремлялъ глаза въ книгу, какъ будто говорилъ: вотъ вещь, постылѣе которой нѣтъ ничего на свѣтѣ!

— Я, отецъ Василій, въ кучера хочу!—вдругъ произносилъ онъ.

— Вотъ вырастешь—можетъ, и въ пастухи опредѣлятъ!

— А по-мнѣ, хоть въ пастухи! у меня тогда большой-большой кнутъ будетъ!

— Ладно. Это когда-то еще будетъ. А теперь тверди: ля, мя, ня... ну, что еще въ носу нашелъ?

— Ля, мя, ня,—угрюмо повторялъ Максимка: — а ежели я буду пастухомъ, зачѣмъ же мнѣ грамота?

— И пастуху нужна грамота. Грамотный-то и кнутомъ съ пониманіемъ хлещетъ.

— Врете вы все. Вонъ Антипка, у него болона на лбу, а какъ онъ кнутомъ щелкаетъ! Его всѣ коровы знаютъ.

По временамъ въ «ученье» вмѣшивалась Арина Тимоѳеевна.

— Каковъ у насъ идолъ-то?—спрашивала она, зайдя въ классную комнату.

— Башка!—отвѣтствовалъ обыкновенно отецъ Василій, гладя Максимку по головѣ.

— Ну и слава-те, Господи! Можетъ, хоть одинъ съ разумомъ выйдетъ!

Въ два года Максимка выучился читать и писать, грамматику до глагола и первые четыре правила ариѳметики. Это такъ ободрило Арину Тимоѳеевну, что она начала даже заявлять желанія нѣсколько прихотливыя.

— Ты бы его, батюшка, языку-то тому выучилъ!—говорила она отцу Василію.

— Какому же, сударыня, языку?

— А вотъ тому-то, что не говоритъ-то! ну, вотъ, что мертвый-то!

— Латинскому? что-жъ... никакъ я его еще помню?

Но Петръ Матвѣичъ прямо назвалъ эти затѣи преувеличенными и объявилъ, что везетъ Максимку въ «заведеніе». Будущій «палачъ», услышавъ объ этомъ разрѣшеніи, даже повеселѣлъ.

— Да ты никакъ, балбесъ, обрадовался?—укоризненно замѣтила ему Арина Тимоѳеевна.

— Что-жъ дома-то! дома тиранятъ и тамъ будутъ тиранить! такъ лучше ужъ тамъ! Я въ кучера убѣгу.

Максимка былъ сданъ въ «заведеніе» и забытъ. Черезъ четыре года очередь «ученья» стояла ужъ за Ѳедькой-разбойникомъ, а тамъ, гляди, поспѣвалъ и Ванька-воряга.

— Всѣхъ-то всему научи! всѣмъ-то всего припаси!— жаловалась Арина Тимоѳеевна.

Такова была картина, которую представляло семейство Хмыловыхъ. Но, чтобы сдѣлать ее вполнѣ ясною, необходимо сказать хоть нѣсколько словъ о другомъ представителѣ этой фамиліи, о братцѣ Софронѣ Матвѣичѣ.

Софронъ Матвѣичъ былъ младшій братъ и представлялъ совершенную противоположность Петру Матвѣичу. Если въ основаніи всѣхъ поступковъ послѣдняго лежала необузданность темперамента, то въ характерѣ перваго преобладающей чертой являлась сознательная жестокость и какое-то неизреченное ехидство. Петръ Матвѣичъ буянилъ, дрался и шелъ напроломъ; Софронъ Матвѣичъ каверзничалъ, извивался и зудилъ. Петръ Матвѣичъ имѣлъ голосъ рѣзкій, не уступавшій протодьяконскому и способный разбудить самую сонную окрестность; Софронъ Матвѣичъ говорилъ тихо, вкрадчиво, словно хныкалъ. Когда Петръ Матвѣичъ говорилъ: «папенька! какъ почтительный сынъ убѣждаю васъ...» то исходъ рѣчи былъ неизвѣстенъ: можетъ-быть, разорветъ папеньку на части, а можетъ-быть—плюнетъ и отойдетъ; когда же Софронъ Матвѣичъ начиналъ: «позвольте мнѣ, добрый другъ, папенька...» то исходъ этой рѣчи былъ извѣстенъ заранѣе, ибо всякому было понятно, что «зуда когда-нибудь непремѣнно вызудитъ старика». По внѣшнему виду Петръ Матвѣичъ былъ высокъ, коренастъ и постоянно грозилъ испытать на себѣ дѣйствіе паралича; напротивъ того, Софронъ Матвѣичъ походилъ фигурой на отца, то-есть былъ мужчина средняго роста, юркій, сухой и несомнѣнно живучій, ходилъ неслышными шагами, крадучись, и нѣсколько пригибалъ голову, какъ будто уклонялся отъ угрожавшаго ему откуда-то удара. Петръ Матвѣичъ относился къ церкви легкомысленно и рѣдко бывалъ у службы; напротивъ того, Софронъ Матвѣичъ былъ къ церкви усерденъ, молился всегда на колѣняхъ и притомъ со слезами. Въ довершеніе всего, Петръ Матвѣичъ имѣлъ должность видную и блестящую, а иногда даже позволялъ себѣ мечтать о возможномъ преуспѣяніи на поприщѣ администраціи; напротивъ того, Софронъ Матвѣичъ занималъ не блестящее, но солидное мѣсто уѣзднаго стряпчаго и никогда ни о какомъ преуспѣяніи не мечталъ.

Несмотря на тихій, приниженный видъ, всѣ боялись Софрона Матвѣича. При взглядѣ на его задумчивое и какъ-то сомнительно-улыбающееся лицо, всякому сейчасъ

же невольно приходило на мысль: вотъ человѣкъ, который навѣрное обдумываетъ какое-нибудь злодѣйство. Съ просителями Софронъ Матвѣичъ былъ вѣжливъ необыкновенно, даже мужикамъ говорилъ не иначе, какъ «голубчикъ» и «дружокъ».

— У тебя, дружокъ, дѣльце въ судѣ?—спрашивалъ онъ такимъ голосомъ, что у просителя непремѣнно сердце ёкнетъ въ груди.

И затѣмъ, заручившись «дѣльцемъ», онъ начиналъ играть съ нимъ. То дополняетъ, то запросы дѣлаетъ, то просто скажетъ: «а ну, не трогъ, маленько поокруглится!»

— Тебѣ чего, миленькій? объ дѣльцѣ, небось, справиться пришелъ? Идетъ оно у насъ, дружокъ, живымъ манеромъ бѣжитъ! Подмазочки бы вотъ надо!

И, получивши подмазочку, кланялся, жалъ просителю руку и чувствительнѣйше благодарилъ.

Вообще онъ облюбовалъ и смаковалъ просителя, какъ артистъ, и потому не сразу обдиралъ его, а любилъ постепенно вызудить у него жизнь. Ежели читатель видалъ когда-нибудь, какъ ручная лисица поступаетъ съ подстрѣленной вороной, предназначенной ей на обѣдъ, то онъ можетъ имѣть приблизительное понятіе о томъ, что происходило между Софрономъ Матвѣичемъ и просителемъ. Лисица не набрасывается на свою жертву, не рветъ ее на куски, а долгое время полегоньку то тамъ, то тутъ покусываетъ. Куснетъ — и отскочитъ въ сторону, даже задумывается, словно забудетъ. Потомъ опять изогнется и со всѣхъ ногъ кинется къ воронѣ, но, не тронувъ ея, отпрянетъ назадъ. Даже ворона смотритъ на эти маневры съ изумленіемъ, какъ будто говоритъ: Христосъ съ тобой! вѣдь я было-испугалась! Потомъ опять скачокъ, и опять, и опять,—до тѣхъ поръ, пока не вызудитъ у вороны жизнь. Тогда потихоньку ощиплетъ и съѣстъ. Точно такъ поступалъ и Софронъ Матвѣичъ: онъ разорялъ полегоньку, со вздохами, съ перемежками, но разорялъ до тла, до тѣхъ поръ, пока послѣдній грошъ не вызудитъ. Тогда ужъ съѣстъ окончательно.

Въ усадьбу Софронъ Матвѣичъ наѣзжалъ рѣдко. Человѣкъ онъ былъ холостой и хозяйствомъ не занимался. Но всякій разъ, какъ пріѣдетъ въ Вавиловку, непремѣнно кому-нибудь что-нибудь да прокуситъ.

— Ты, Палаша, никакъ опять съ прибылью?—обращался онъ къ судомойкѣ Палашѣ, которая по своему [illegible]

вичеству каждый годъ носила ребятъ:—ахъ, дружокъ, какъ это грѣшно! знаешь, какъ Богъ-то за это наказываетъ? что̀ блудницамъ въ аду-то пріуготовано? Ахъ, другъ мой! другъ мой! Ну, нечего дѣлать, посадите ее, миленькіе, въ холодную, да кушать-то, кушать-то, дружки, не давайте!

Скажетъ—и сотворитъ при этомъ крестное знаменіе.

Старикъ-дѣдушка при одномъ упоминовеніи о Софронѣ Матвѣичѣ дрожалъ и измѣнялся въ лицѣ. Арина Тимоѳеевна тоже ненавидѣла его и увѣряла, что Максимка весь въ него уродился.

— Тѣломъ-то въ отца, а нравомъ въ Софронку. Софронка меня въ тѣ поры испугалъ, какъ я тяжела была, ну, и вышелъ Максимка въ него.

Даже Петръ Матвѣичъ крестился и вздрагивалъ, когда Софронъ Матвѣичъ, по обыкновенію своему, неслышно подкрадывался къ нему.

Одинъ «палачъ» *любилъ* дядю и говорилъ про него:

— Вотъ дядя—это человѣкъ! Этотъ не сробѣетъ, даромъ что съ виду тихенькимъ кажется!

«Палача» ждутъ дома безъ нетерпѣнія; едва ли даже не позабыли, что за нимъ послано.

Да и не до него теперь. Весь домъ въ унынiи; Арина Тимоѳеевна ходитъ изъ угла въ уголъ, какъ потерянная, и вздыхаетъ; разбойники-дѣти благонравно сидятъ по мѣстамъ; дворовые суетятся; на дворѣ то впрягаютъ, то распрягаютъ лошадей; мужики нагружаютъ у барскаго крыльца подводы. Одинъ дѣдушка свѣжъ и бодръ и пуще прежняго щелкаетъ, свиститъ и горланитъ какую-то нескладицу. Самъ Петръ Матвѣичъ каждую ночь пріѣзжаетъ въ Вавилово вмѣстѣ съ Софрономъ Матвѣичемъ. Пріѣхавши, оба брата о чемъ-то шушукаются, потомъ дѣлаютъ распоряженія, вслѣдствіе которыхъ на другой день опять нагружаются подводы, а къ утру обоихъ и слѣдъ простылъ.

Разсыльный говорилъ правду: въ городъ одновременно наѣхали двѣ комиссіи, изъ которыхъ одна занималась изслѣдованіемъ дѣйствій исправника, другая выворачивала наизнанку уѣздный судъ. И такъ какъ члены комиссіи нуждались въ пищѣ и питіи, то вавиловскіе запасы, видимо, истощались. И вдругъ, въ такую критическую минуту, когда дома каждая ложка супа, такъ сказать, на счету, наѣзжаетъ откуда-то совсѣмъ забытый сынъ.

— Вотъ ужъ правду-то говорятъ: гость не во-время хуже татарина!—встрѣчаетъ Арина Тимоѳеевна «палача».

— Вы, маменька, только ротъ разинете, такъ ужъ и сморозите!—отвѣчаетъ «палачъ», цѣлуя у матери руки.

— Безчувственный ты балбесъ! слышалъ ли, по крайности, что съ отцомъ-то дѣлается?

— Какъ не слыхать! объ немъ по всей дорогѣ отъ самой Москвы въ рога трубятъ!

«Палачъ» отворачивается отъ матери и идетъ въ залу. Но тамъ дѣдушка, подкравшись на цыпочкахъ къ двери, уже сторожитъ внучка и въ одно мгновеніе ока мажетъ его по губамъ какою-то дрянью.

— Убью!—пускаетъ «палачъ» въ догонку старику, который, учинивъ проказу и подобравъ халатъ, бѣжитъ во всѣ лопатки въ другія комнаты.

— А папеньку-то судить будутъ!—докладываетъ «палачу» Ѳедька-разбойникъ.

— И дяденьку тоже!—присовокупляетъ Ванька-воряга.

— Цыцъ, бѣсенята! Жрать хочу! живо!—командуетъ «палачъ» и въ ожиданіи ѣды направляетъ стопы въ дѣвичью.

Тамъ стоитъ дѣвка Маришка, нагнувшись къ сундуку, наполненному полотнами, и отбираетъ изъ нихъ тѣ, которыя потоньше.

— Маришка! жрать... смерть моя!—говоритъ онъ, придавая своему голосу почти мягкій оттѣнокъ.

— Не до васъ теперь, баринъ! видите, дѣло дѣлаю!—отвѣчаетъ Маришка и еще ниже нагибается къ сундуку, чтобы не встрѣтиться взорами съ «палачомъ».

— Ты, подлая, съ Ѳедькой связалась?

— Еще съ кѣмъ?

— Тебѣ говорятъ: съ Ѳедькой! Да ты не верти хвостомъ, а гляди на меня!

— Не образъ!

— Говорятъ, гляди!

Маришка, все еще нагнувшись къ сундуку, неохотно поворачиваетъ къ нему голову и, взглянувши, восклицаетъ:

— Ахъ, да какіе вы, баринъ, большіе!

— То-то большой! ты смѣй только!

— Что смѣть-то! сами-то, чай, давнымъ-давно меня на какую-нибудь кузнечиху *) смѣняли!

*) Магазинная дѣвушка съ Кузнецкаго Моста, въ Москвѣ. Въ сороковыхъ годахъ дѣвицы эти не отличались особенной строгостью поведенія.

— Ну, тамъ на кого бы ни смѣнялъ! Тò я, а тò ты! Тебѣ и по закону такъ слѣдуетъ. Да брось ты полотна-то, гляди на меня!

Маришка выпрямляется и сконфуженно становится передъ нимъ.

— Чтò тутъ у васъ дѣлается? взбѣсились, что ли? даже поѣсть не допросишься!

— Ахъ, баринъ, столько у насъ здѣсь напастей! столько напастей! Цѣлая орава папеньку-то судить наѣхала; и всѣ-то жрутъ, всѣ-то пьютъ! Кажется, чтò только добра папенька нажили—все туда, въ эту прорву, пойдетъ.

— А ты... съ Ѳедькой?

«Палачъ» рычитъ, но рычитъ не опасно. Маришка понимаетъ это.

— Вы, баринъ, всегда...—говоритъ она:—и чтò только вамъ этотъ Ѳедька поперекъ всталъ—диковина!

— Верти хвостомъ-то! Отецъ золъ?

— И не подступайся! Намеднись Никешку чуть-чуть подъ красную шапку не отдали.

«Палачъ» крутитъ зачатокъ уса и сурово произноситъ:

— Ну, и чортъ съ нимъ! я самъ въ солдаты уйду!

Въ эту минуту Арина Тимоѳеевна, какъ буря, влетаетъ въ дѣвичью и разстраиваетъ интересный tête-à-tête.

— Выросъ, батюшка!—язвитъ она:—ума не вынесъ, а не хуже стоялаго жеребца ржетъ! Смотри, какъ бы Ѳедька-подлецъ ни приревновалъ!

— Да и у васъ, маменька, ума немного!—огрызается «палачъ»:—вотъ покормить, небось, не догадаетесь!

— Надоѣло!—вдругъ прибавляетъ онъ, зѣвая и потягиваясь, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ онъ Богъ вѣсть сколько времени толчется въ этомъ домѣ, и все ему безмѣрно въ немъ опостылѣло.

Въ залѣ, на столѣ «палача» ждутъ холодные объѣдки.

— Ишь вѣдь! куска живого нѣтъ!—озлобленно произноситъ онъ, жадно обгладывая кость:—Ѳедька! нельзя ли, братецъ, цопнуть! спроворь!

Ѳедька устремляется со всѣхъ ногъ въ пространство; минуты черезъ три онъ возвращается назадъ, бережно неся что-то подъ полой халата.

— Гдѣ Богъ послалъ?—спрашиваетъ «палачъ», принимая *изъ рукъ* брата пузырекъ съ водкой.

— *У Михея-кучера* изъ полштофа вылилъ.

— *Ну, это, братъ*, не порядки. Кучеръ—онъ человѣкъ

дорожный, ему безъ водки нельзя. Ты бы по окнамъ у родительницы пошарилъ.

— Смотритъ... нельзя!

— Смотритъ! а ты такъ воруй, чтобъ смотрѣла, да не видала. А на будущее время, чтобъ не были вы безъ дѣла, вотъ вамъ урокъ: каждый день мнѣ чтобы косушка была!

Насытившись и въ пропорцію выпивши, «палачъ» отправляется на конный дворъ и встрѣчается тамъ съ форейторомъ Никешкою.

Никешка вытягивается во фронтъ и на солдатскій манеръ произноситъ:

— Здравія желаю, ваше благородіе-е-е!

— Въ солдаты?

— Точно такъ, ваше благородіе-е-е!

— И я въ солдаты уйду! надоѣло!

— Это точно, ваше благородіе... прискучило!

— Хорошо, Никешка, въ солдатахъ! Всталъ утромъ... лошадь вычистилъ... ранецъ... Щи, каша... ходи, вытягивайся! Ну, да вѣдь солдатъ работы не боится!

— Зачѣмъ, ваше благородіе, работы бояться! Я теперича такъ себѣ сердце настроилъ, что заставь меня сейчасъ цѣлому полку аммуницію вычистить — такъ вотъ сейчасъ и-и!

— Солдатъ человѣкъ привышный! Солдатъ, ежели начальство прикажетъ: жги! рви!—онъ и сожжетъ и разорветъ, все какъ слѣдуетъ! Потому онъ человѣкъ подначальный!

«Палачъ» входитъ въ конюшню и осматриваетъ стойла.

— Трезорка живъ?

— Точно такъ, ваше благородіе!

— И Полканка живъ?

— Живъ, ваше благородіе!

— Какъ бы, братецъ, ихъ на кошку науськать!

На зовъ Никешки, держа хвостъ по вѣтру, какъ бѣшеные, прискакиваютъ два пса. «Палачъ» и Никешка становятся въ углу коннаго двора и замираютъ въ ожиданіи; псы, раскрывъ пасти, нетерпѣливо стоятъ около нихъ, вертятъ хвостами и потихоньку взвизгиваютъ. Наконецъ на заборѣ появляется кошка. Озираясь, крадется она по верхней перекладинкѣ, поползетъ и остановится; потомъ почешетъ задней лапой за ухомъ, зѣвнетъ, оглянется, нѣтъ ли кого, и опять поползетъ. Наконецъ, не видя ниоткуда опасности, соскакиваетъ на землю внутрь двора.

— Ату! ату его!—вдругъ, какъ безумные, подхватываютъ «палачъ» и Никешка.

Псы летятъ; кошка сначала заминается, но черезъ мгновеніе тоже летитъ, задеря хвостъ, къ забору, цѣпляется когтями за столбъ, съ быстротою молніи вспалзываетъ наверхъ и, какъ окаменѣлая, становится тамъ, ощетинившись и выгнувши спину. Псы стоятъ у подошвы забора и, не сводя съ кошки глазъ, виляютъ хвостами и жалобно взвизгиваютъ.

— Стиксовали, подлецы!—гремитъ «палачъ»:—Никешка! учить ихъ!

Начинается ученіе: собакъ дерутъ за уши, бьютъ чѣмъ попало; воздухъ наполняется тѣмъ особеннымъ собачьимъ визгомъ, которому въ цѣломъ мірѣ звуковъ нѣтъ ничего подобнаго. На шумъ прибѣгаютъ братишки и старый дѣдушка. Послѣдній стоитъ въ воротахъ, подобравъ полы халата, и самъ, въ какомъ-то ребяческомъ экстазѣ, визжитъ и лаетъ.

— Ты чего прибѣжалъ?—обращается «палачъ» къ старику:—старые годы вспомнилъ?

— Онъ такъ-то людей въ старые годы собаками травилъ!—вставляетъ свое слово Никешка.

— Рви!—огрызается дѣдушка и, видимо сконфуженный, удаляется во-свояси, при общемъ грохотѣ веселящихся.

— Маришку-то, ваше благородіе, оставить надо!—докладываетъ Никешка, когда гвалтъ унялся.

«Палачъ» злобно фыркаетъ

— Она теперича у Ѳедьки-повара и легла и встала! А я вамъ, ваше благородіе, другую ягоду припасъ!.. такая-то ягода! вотъ такъ ужъ ягода!

— Потрафляй, Никешка, потрафляй!

День кончился; «палачъ» окончательно вступилъ въ свою домашнюю колею, то-есть побывалъ и на конномъ, и на скотномъ, и на огородѣ. Въ десять часовъ вечера онъ ужинаетъ вмѣстѣ со всѣмъ семействомъ и на всѣ вопросы матери угрюмо отмалчивается.

— Да отвѣчай, идолъ, произвели ли тебя въ классы-то!?—чуть ли не въ десятый разъ спрашиваетъ его Арина Тимоѳеевна.

— Завтра отцу все скажу,—отвѣчалъ «палачъ», выходя изъ-за стола и, ни съ кѣмъ не простясь, удаляется въ боковушку, гдѣ ему постлали постель.

Около полуночи онъ слышитъ въ просонкахъ звонъ ко-

локольцевъ, стукъ подъѣзжающаго экипажа, хлопанье воротъ и дверей и наконецъ шаги отца въ передней.

— Балбесъ пріѣхалъ?—раздается голосъ Петра Матвѣича.

— Ну, пошла пильня въ ходъ!—мысленно произноситъ «палачъ», переворачиваясь на другой бокъ.

Отцу однако-жъ не до Максимки. На другой день, часовъ въ шесть утра, онъ уже собрался въ городъ и только мимоходомъ успѣлъ взглянуть на сына.

— Ну, что, олухъ Царя Небеснаго, экзамена не выдержалъ?—поздоровался онъ съ нимъ.

— Не выдержалъ-съ.

— Повѣсить тебя мало, ракалья!

— Я, папенька, въ юнкера желаю-съ.

— Сказалъ: сгною подлеца въ заведеніи! и сгною!

— Воля ваша-съ.

Приеутствовавшій при этомъ Софронъ Матвѣичъ тоже счелъ долгомъ вступиться въ разговоръ.

— Что-жъ ты, душенька, у папеньки-то ручки не цѣлуешь? а-а-ахъ, милый другъ! у родителя-то! Да ты знаешь ли, миленькій, какъ родителей-то утѣшать надобно?

— Я, дяденька, въ военную службу желаю-съ!

— И что это у васъ, други милые, за болѣзнь такая: все въ военную да въ военную! все бы вамъ убивать! все бы убивать! А знаешь ли ты, голубчикъ, что штатскій-то слово иногда пуститъ, такъ словомъ-то этимъ убьетъ вѣрнѣе, чѣмъ изъ ружья! Вотъ она, гражданская-то часть, какова!

Что съ нимъ, съ оболтусомъ, разговаривать!—прерываетъ Петръ Матвѣичъ медоточивую рѣчь брата: — вотъ ужъ свалимъ съ рукъ губернскую саранчу — я съ тобой раздѣлаюсь!

Дни идутъ за днями во всемъ ихъ суровомъ однообразіи, закаляя характеръ «палача». Онъ совсѣмъ не видитъ отца и, пользуясь этимъ обстоятельствомъ, даетъ полный просторъ своимъ вкусамъ и наклонностямъ. Съ ранняго утра онъ уже на конюшнѣ, травитъ собаками кошку или козла, хлопаетъ арапникомъ, разсѣкаетъ кнутомъ лубья, куритъ махорку, сплевываетъ въ сторону и по временамъ устраиваетъ, съ цѣлью грабежа, экспедиціи на погребъ, въ кладовую и даже на крестьянскіе огороды.

— Скучно у васъ, Никешка!—говоритъ онъ своему камердинеру.

— Супротивъ Москвы какъ же можно!

— Я, братъ, въ Москвѣ такія штуки удиралъ, такія удиралъ! съ Голопятовымъ черезъ заборъ въ питейный бѣгали. Голопятова знаешь?

— Нѣтъ, такихъ не слыхали.

— Амченина-то Голопятова не знаешь? Вѣдь онъ тутъ по близости, въ Амченскѣ живетъ!

— Слыхали, что баринъ хорошій,—лжетъ Никешка.

— Ужъ такой, братъ, это человѣкъ! Мы съ нимъ однажды Кубарихинъ домъ вдвоемъ разнесли!

— Ишь ты! да ужъ гдѣ намъ супротивъ Москвы!

— У васъ даже питейнаго нѣтъ. Я со скуки хочу научиться табакъ нюхать.

— И отъ табаку тоже большого способья нѣтъ. Тошнитъ отъ него спервоначалу. А мы, баринъ, вотъ что: давайте въ церковь ходить да на крылосѣ пѣть.

— Чудесно. Вотъ это, братъ, отлично ты вздумалъ!

«Палачу» такъ скучно, что онъ съ жаромъ хватается за поданную Никешкой идею и немедленно приводитъ ее въ исполненіе. Онъ вербуетъ въ пѣвчіе младшихъ братьевъ, дворовыхъ и деревенскихъ мальчишекъ, собираетъ ихъ на задворкахъ и производитъ спѣвки.

— Эхъ, Голопятова нѣтъ! вотъ бы рявкнулъ! — жалуется онъ.

Мало-по-малу, вмѣсто лая и визга собакъ, воздухъ оглашается стихирами и прокимнами. Двѣ недѣли кряду продолжается это новое столпотвореніе, и «палачъ» до того предается своей забавѣ, что дѣлается почти неузнаваемъ. Только встанетъ утромъ — уже бѣжитъ на спѣвку; пообѣдаетъ, напьется чаю на скорую руку—и опять на спѣвку. Онъ похудѣлъ, сдѣлался богомоленъ и богобоязненъ, а мальчишекъ совсѣмъ смучилъ. По временамъ онъ даже помышляетъ, не пойти ли ему въ монахи.

— Жрутъ эти монахи... страсть!—рѣшаетъ онъ и тотчасъ сообщаетъ о своемъ рѣшеніи Никешкѣ.

— Что-жъ, въ монахи — такъ въ монахи! я къ вамъ служкой!—отвѣчаетъ Никешка.

— Заживемъ мы съ тобой... лихо!

Однако и эта затѣя недолго гнѣздится въ умѣ его, потому что Арина Тимоѳеевна, узнавъ о его планахъ, считаетъ долгомъ объяснить ему, что монахамъ не даютъ мяса.

— Что лопать-то будешь?—спрашиваетъ она его

«Палачъ» смущается, ибо совершенно опредѣленно сознаётъ, что безъ мяса ему жить невозможно.

— Знаешь ли ты, балбесъ, какъ настоящіе-то угодники живутъ? Одну просвирку на цѣлую недѣлю запасетъ, голубчикъ, да и кушаетъ! А въ Свѣтло-Христово воскресенье яичко-то облупитъ, поцѣлуетъ, да и опять на блюдо положитъ! А вѣдь тебѣ, олуху, мясища надобно!

— Врете вы все! не можетъ человѣкъ безъ мяса жить!

— Еще какъ живетъ-то! живетъ да еще работаетъ! Ты спроси вотъ у мужичка, когда онъ мясо-то видитъ! И какъ только Богъ его поддерживаетъ! все-то онъ безъ мяса! Ни у него говядинки, ни у него курочки! Ничего.

Арина Тимоѳеевна впадаетъ въ чувствительность. Она готова разглагольствовать на эту тему хоть цѣлый день, готова даже погоревать и поплакать, но «палачъ» сразу осаживаетъ ее.

— Ну, распустили нюни!—восклицаетъ онъ и, не дожидаясь дальнѣйшихъ разглагольствованій, уходитъ изъ дома.

Какъ ни огорчительно открытіе, сдѣланное Ариной Тимоѳеевной, но оно западаетъ въ душу «палача» и производитъ переломъ въ его образѣ мыслей.

— Ну ихъ къ шуту!—говоритъ онъ Никешкѣ: — мать говоритъ, что монахамъ мяса не даютъ!

— Что-жъ, можно и оставить!

Идея о монашествѣ предается забвенію, спѣвки прекращаются, и на мѣсто ихъ лай и визгъ собакъ опять вступаютъ въ права свои.

Среди этого содома Арина Тимоѳеевна ходитъ, какъ потерянная, и безъ перемежки вздыхаетъ.

«И отчего онъ такой кровопивецъ?—думается ей:—нѣтъ-чтобы книжку почитать или въ уголку тихонько посидѣть, какъ другія дѣти! Все бы ему разорвать, да перервать, да разбить, да проломить!»

Бродитъ Арина Тимоѳеевна по комнатамъ и все думаетъ, все думаетъ. А на дворѣ гвалтъ, гиканье, свистъ, ревъ.

— Лаской, что ли, съ нимъ какъ-нибудь!—наконецъ додумывается она и немедленно рѣшается воспользоваться этою мыслью.

— Хоть бы ты, Макся, поговорилъ съ матерью-то.— обращается она къ сыну.

— Объ чемъ мнѣ съ вами говорить!

— Ну, все же, хоть бы утѣшилъ!

— Горе, что ли, у васъ?

— Какъ не быть горю! у меня, Макся, всегда горе! нѣтъ моему горю скончанья! вотъ хоть бы объ васъ, объ дѣточкахъ... ну, щемитъ у меня сердце, щемитъ да и вся недолга!

— Ну, и пущай щемитъ!

— Или вотъ теперича кровопивцы изъ губерніи налетѣли! что они пропили! что проѣли! Что было добра нажито—все повытаскали!

— И опять это дѣло не мое.

— Какъ же не твое, Макся!.. Ты хоть бы пожалѣлъ, мой другъ!

— Меня, маменька, не разжалобите!

Арина Тимоѳеевна на минуту умолкаетъ, видимо, обиженная равнодушіемъ сына.

— И что это за народъ нынче растетъ... безчувственный!—наконецъ произноситъ она, посматривая въ окошко.

— Вы, маменька, про чувства не говорите со мною. Я даже когда меня дерутъ—и то стараюсь не чувствовать. У насъ урядникъ Купцовъ, прямо скажу, шкуру съ живого спущаетъ, такъ если бы тутъ еще чувствовать...

«Палачъ» постепенно одушевляется; онъ ощущаетъ твердую почву подъ ногами.

— Одинъ разъ, — говоритъ онъ: — я товарища искалѣчилъ, такъ меня самъ инспекторъ билъ. Бьетъ это смаху, словно у него бревно подъ руками, бьетъ да тоже вотъ, какъ вы, приговариваетъ: «безчувственный!» Такъ я ему прямо такъ-таки въ лицо и сказалъ: ежели, говорю, Василій Ипатычъ, такъ бьютъ, да еще чувствовать...

«Палачъ» отъ волненія задыхается, словно пойманная крыса; лицо его вспыхиваетъ, ноздри раздуваются, и самъ онъ отъ времени до времени вздрагиваетъ.

— Меня вотъ товарищи словно волка травятъ,—продолжаетъ онъ: — соберутся всей ватагой да и травятъ. Такъ если-бъ я чувствовалъ, что бы я долженъ былъ съ ними сдѣлать?

Онъ смотритъ на мать въ упоръ; глаза его сверкаютъ такимъ блескомъ, что Арина Тимоѳеевна, не понявшая ни одного слова изъ всего, что говорилъ сынъ, пугается.

— Да ты обалдѣлъ, что ли: какъ на мать-то смотришь!— начинаетъ она, но «палачъ» уже ничего не слышитъ.

— Теперича, къ примѣру, я хочу въ юнкера поступить,—гремитъ онъ:—такъ ежели начальство мнѣ скажетъ:—

Хмыловъ! разорви! — какъ по-вашему? я и въ то время долженъ какія-нибудь чувства имѣть? Извините-съ!

«Палачъ» быстро поворачивается, и черезъ минуту сугубый гвалтъ возвѣщаетъ о благополучномъ прибытіи его на конный дворъ.

Арина Тимоѳеевна опять задумывается, или, лучше сказать, въ голову ея опять начинаютъ заглядывать какіе-то обрывки мыслей, которые она тщетно старается съютить. То вдругъ заглянетъ слово: «убьетъ!» — то вдругъ мелькнетъ: «это онъ съ матерью-то такъ разговариваетъ!...» Наконецъ она вскакиваетъ съ мѣста и разражается.

— Желала бы я!—восклицаетъ она иронически: — ну, вотъ хоть бы глазкомъ посмотрѣла бы, что изъ этого урода выйдетъ!

Но вотъ и губернская саранча уѣхала во-свояси; Петръ Матвѣичъ свободенъ и пріѣзжаетъ въ Вавиловку отдохнуть.

— Теперь я съ тобой, мерзавецъ, раздѣлаюсь! — говоритъ онъ сыну, располагаясь въ креслѣ съ такимъ спокойнымъ видомъ, какъ будто собрался пріятно провести время.

— Вся ваша воля-съ.

— Сказывай, ракалья, будешь ли ты учиться?

— Я, папенька, въ полкъ желаю-съ.

— Будешь ли учиться?

— Я, папенька, ежели вы меня въ полкъ не отдадите, убѣгу-съ!

— К-к-кан-налллья!

Петръ Матвѣичъ вытягивается во весь ростъ, простираетъ руки и до такой степени таращитъ глаза, что, кажется, вотъ-вотъ они выскочатъ. «Палачъ» закусываетъ губу и ждетъ.

— Нагаекъ! — кричитъ Петръ Матвѣичъ задавленнымъ голосомъ.

Экзекуція начинается; ударъ сыплется за ударомъ. Петръ Матвѣичъ блѣденъ; въ глазахъ его блуждаетъ огонь, горло пересохло, губы горятъ.

— Убью! въ гробъ заколочу!—уже не кричитъ, а шипитъ онъ тѣмъ же задавленнымъ голосомъ.

«Палачъ» словно замеръ, ни стона, ни звука.

— Убить, что ли, сына-то хочешь! — вдругъ раздается испуганный голосъ Арины Тимоѳеевны.

Она блѣдна и дрожитъ. Какъ кошка, вцѣпляется она въ полы мужнина сюртука и силится его оттащить.

— Да оттащите! оттащите, ради Христа! Убьетъ... ахъ, убьетъ!

Петра Матвѣича съ трудомъ оттаскиваютъ. Онъ шатается словно пьяный и смотритъ на всѣхъ потухшими глазами, какъ будто не сознаётъ, гдѣ онъ и что тутъ случилось. «Палачъ» страдаетъ, но, видно, перемогаетъ себя. Онъ встряхиваетъ волосами, на губахъ его блуждаетъ вызывающая и вмѣстѣ съ тѣмъ исполненная инстинктивнаго страха улыбка. Но нервы его, очевидно, не могутъ выдерживать долѣе. Не проходитъ минуты, какъ лицо его начинаетъ искажаться, и наконецъ какое-то ужасное рычаніе вылетаетъ изъ его груди, рычаніе, сопровождаемое цѣлымъ ливнемъ слезъ.

— Плачь, батюшка, плачь! — увѣщаваетъ его Арина Тимоѳеевна:—плачь! легче будетъ!

Но онъ ничего не слышитъ и стремглавъ убѣгаетъ изъ комнаты.

Сцена сѣченія произвела на весь домъ подавляющее дѣйствіе. Всѣ какъ будто опомнились и въ то же время были до того поражены, что боялись словомъ или даже неосторожнымъ движеніемъ напомнить о происшедшемъ. Прислуга ходитъ на цыпочкахъ, словно чувствуетъ за собою вину; Арина Тимоѳеевна потихоньку плачетъ, но, заслышавъ шаги мужа, поспѣшно утираетъ слезы и старается казаться веселою; дѣдушка мелькаетъ тамъ и сямъ, но безшумно и испуганно, какъ будто тоже понимаетъ, что теперь не то время, чтобы озоровать; младшія дѣти сидятъ смирно и разсматриваютъ книжку съ картинками. Въ самомъ Петрѣ Матвѣичѣ замѣтна перемѣна; онъ похудѣлъ, осунулся, мало ѣстъ и совсѣмъ не пьетъ. «Палачъ» примѣчаетъ это общее уныніе и всячески старается эксплоатировать его въ свою пользу. Онъ цѣлые дни гдѣ-то скрывается; приходитъ домой только обѣдать, молча ѣстъ, выбирая самые лучшіе куски, послѣ обѣда цѣлуетъ у родителей ручки и тотчасъ же опять уходитъ вплоть до ужина.

— Здоровъ?—какъ-то не удержался однажды спросить его Петръ Матвѣичъ.

— Слава Богу-съ; гной теперича въ ранахъ показался-съ,—отвѣтилъ «палачъ», но съ такою язвительною почтительностью, что Петръ Матвѣичъ весь вспыхнулъ и чуть-было опять не потребовалъ нагаекъ.

На самомъ же дѣлѣ «палачъ» уже почти позабылъ объ

экзекуціи и проводитъ время на обычной аренѣ своихъ подвиговъ, то-есть на конномъ дворѣ. Но онъ сдѣлался какъ-то солиднѣе въ своихъ поступкахъ, не бурлитъ, не хлопаетъ арапникомъ, не дразнитъ козла, а или заваливается спать на сѣновалъ, или бесѣдуетъ съ кучерами. Станетъ гдѣ-нибудь въ углу, куритъ махорку, сплевываетъ и ведетъ разумную рѣчь о коренникахъ, объ иноходцахъ, о томъ, какія должны быть у «настоящей» лошади копыта, какой задъ и т. д.

— У «настоящей» лошади задъ долженъ быть широкій... какъ печка! потому у «ей» вся сила въ заду!—утвердительно говоритъ «палачъ».

— Нѣтъ, вотъ я у одного троечника коренника зналъ, такъ у того былъ задъ... страсть!—разсказываетъ кучеръ Михей:—это подъ гору по полтораста пудовъ спустить—ни почемъ!

— По «саше»?—вопрошаетъ «палачъ», поддѣлываясь подъ тонъ своей аудиторіи.

— По саше и по простой дорогѣ—какъ хошь! И сколько разъ у него эту лошадь торговали, тысячи давали...

— Не продалъ?

— Ни въ жисть. «Дай ты мнѣ сто пудовъ золота,—говоритъ,—умру, а лошади не отдамъ!»

— И что̀ за житье, ваше благородіе, этимъ извозчикамъ—умирать не надо!—вступается Никешка.

— На что̀ лучше!—восклицаетъ Михей:—ѣда одна что̀ сто̀итъ! Щи подадутъ—не продуешь! Иному барину въ праздникъ такихъ не ѣсть.

«Палачъ» задумывается и полегоньку посасываетъ трубочку. Воображеніе его играетъ; онъ видитъ передъ собой большую дорогу, коренника, переступающаго съ ноги на ногу и упирающагося широкимъ задомъ въ громадный возъ; офицеровъ, скачущихъ мимо; постоялый дворъ и на столѣ щи, подернутыя толстымъ слоемъ растопившагося свиного сала.

— Папушникъ съ медомъ ѣсть будете?—слышится ему словно въ просонкахъ.

— Вы бы вотъ что̀, ваше благородіе,—прерываетъ его мечты Никешка:—поклонились бы вы папенькѣ-то: наградите, молъ, папенька, меня тройкой лошадей... Я бы вамъ, ваше благородіе, въ работникахъ послужилъ!

— Что-жъ, Никешка — парень ловкій! Онъ это дѣло управитъ!—подтверждаетъ Михей.

— А ужъ какую бы мы тройку подобрали—на удивленіе!—продолжаетъ Никешка: — ну, просто, то-есть, и въ гору и подъ гору—какъ хошь!

— А ты это видѣлъ?—осаживаетъ его «палачъ», снимая куртку и показывая спину, усѣянную подживающими рубцами:—такъ вотъ ты пойди да и поклонись папенькѣ-то, а онъ тебѣ еще вдвое засыплетъ!

Или:

— Кучеръ, коли ежели онъ настоящій ѣздокъ, непремѣнно долженъ особенное такое «слово» знать! — повѣствуетъ Михей.

— Да, безъ этого нельзя!—подтверждаетъ и «палачъ».

— Теперича ежели ты въ грязи завязъ или въ гору сталъ—только скажи это самое «слово»,—хошь изъ какой хошь трущобы тебя лошадь вывезетъ! а не скажешь «слова»—хоть до завтрева бейся, на вершокъ не подвинешься!

И т. д., и т. д.

Однимъ словомъ, «палачъ» благодушествуетъ и, зная, что отцу до поры до времени совѣстно смотрѣть ему въ глаза, пользуется своимъ положеніемъ самой широкой рукой.

Иногда, наскучивши анекдотами о коренникахъ, о томъ, какъ однажды Никешка на ровномъ мѣстѣ пять часовъ бился, «хоть ты что̀ хошь», о томъ, какъ одинъ ямщикъ въ одну пряжку сто верстъ сдѣлалъ и только на половинѣ дороги лошадей попоилъ, «палачъ» отправляется къ дяденькѣ Софрону Матвѣичу, который тоже отдыхалъ въ Вавиловкѣ послѣ ревизорскаго погрома, и слушаетъ разсказы этого новаго Одиссея.

— Я, дяденька, въ полкъ уйду!—обыкновенно начинаетъ «палачъ».

— И что̀ ты это заладилъ одно: въ полкъ да въ полкъ! На войну хочешь? такъ на войнѣ-то, братъ, бабушка еще на-двое сказала: либо ты убьешь, либо тебя убьютъ!

И затѣмъ начинался безконечный рядъ разсказовъ о преимуществахъ гражданской службы.

— Гражданская-то служба развѣ не то же страженіе?—повѣствуетъ дяденька:—только всего и разницы, что по военной части двое стражаются, а по гражданской части одинъ стражается, а другой претерпѣваетъ страженіе. И сколько я этихъ гражданскихъ страженіевъ въ своей жизни выигралъ, такъ ежели бы все счесть, кажется, и фельдмаршаломъ-то меня сдѣлать мало!

«Палачъ» оглядываетъ мизерную, словно объѣденную фигуру дяденьки и улыбается.

— А ты не гляди, миленькій, что я ростомъ не вышелъ; я, душа моя, такія дѣла дѣлывалъ, что другому даже въ генеральскихъ чинахъ во снѣ не приснится.

Дяденька выпрямляется во весь ростъ и, тыкая себя перстомъ въ грудь, продолжаетъ:

— Я только говорить о себѣ не люблю, а многимъ, даже очень многимъ въ жизни своей такія права предоставилъ, что ежели они послѣ того рукъ на себя не наложили, такъ именно только по христіанству, какъ христіанскій законъ вообще запрещаетъ роптать! Насѣкина, напримѣръ, Павла Ивановича, знаешь?

— Это пьяненькаго-то?

— Это теперь онъ пьяненькій, а прежде былъ онъ у насъ предводителемъ, тузъ козырный былъ! Гордый человѣкъ былъ, тиранилъ, жегъ, сѣкъ. Дворянинъ ли, мужикъ ли—всѣ, говоритъ, передо мной равны! Вотъ онъ каковъ, «пьяненькій»-то, въ старые годы былъ! А кто гордыню-то эту изъ него извлекъ? Я, Софронъ Матвѣевъ Хмыловъ, ее извлекъ! Походилъ около него, распланировалъ все, какъ слѣдуетъ, потомъ далъ страженіе—и извлекъ.

— Да я, дяденька, помилуйте...

— Погоди, мой другъ, дай сказать! Или возьмемъ теперича хоть Палагинское дѣло. Убили рабы своего господина, имѣніемъ его воспользовались—однѣми деньгами, душа моя, сто тысячъ было!—бѣжали, пойманы, уличены. По-твоему, какъ надлежитъ въ этомъ случаѣ поступить? Отдуть душегубовъ кнутомъ, сослать куда Макаръ телятъ не гонялъ—и дѣло съ концомъ?—Ну, нѣтъ, не будетъ ли этакъ-то очень ужъ просто! Съ имѣніемъ-то, скажи ты мнѣ, какъ поступить? Да опять же и гдѣ это имѣніе взять? Потому эти самые душегубы во всемъ прочемъ чистосердечно повинились, а насчетъ имѣнія такую аллегорію, такую аллегорію поютъ, что и Боже ты мой! Ну, думаю, други милые, не хотите волей сказывать—придется страженіе вамъ дать. И какъ бы ты полагалъ?—не успѣлъ я это страженіе до половины довести, какъ они ужъ все до полушки отдали!

— Да вѣдь я, дяденька, не о васъ. Вы, извѣстно...

— Нѣтъ, да ты слушай, что потомъ будетъ! Отдавши все до полушки, сидятъ они въ острогѣ годъ, сидятъ другой—и вдругъ возгордились! Мы-ста! да вы-ста! изъ насъ

говорятъ, жилы вытянули, а резону намъ не даютъ! И даже очень громко этакъ-то побалтываютъ. Что-жъ, дѣлать нечего, пришлось и въ другой разъ страженіе дать... только ужъ послѣ этого другого-то страженія...

Софронъ Матвѣичъ внезапно останавливается и, вмѣсто продолженія прерваннаго разговора, присовокупляетъ:

— Такъ вотъ они каковы, гражданскія-то страженія! Коли ежели да съ умѣніемъ да съ сноровочкой—большую можно пользу для себя получить!

«Палачъ» смотритъ на дядю съ благоговѣніемъ, почти съ алчностью. Глаза его такъ и бѣгаютъ.

— Я десять губернаторовъ претерпѣлъ!—продолжаетъ Софронъ Матвѣичъ хныкающимъ голосомъ:—я пятнадцати ревизорамъ очки вставилъ! И всякій-то на меня съ наскоку наѣзжалъ!—«я, дескать, этого разбойника Хмылова въ бараній рогъ согну!» Анъ дашь ему страженіе—онъ и притихъ! Статскій совѣтникъ Ноздревъ у насъ былъ, такъ тотъ, какъ пріѣхалъ въ городъ, такъ и рычитъ: «подайте мнѣ его! разорву!» Каково мнѣ это слушать-то? каково? Однако я выслушалъ, доложилъ, опять выслушалъ, опять доложилъ—и сталъ онъ у меня послѣ того шелковый... Даже поноску носить выучился и такъ это привыкъ, что въ глаза, бывало, мнѣ смотритъ—когда же, молъ, ты скажешь: пиль!?

— Да вѣдь то вы, дяденька! вы, дяденька, умный!

— Не то чтобы слишкомъ уменъ, а человѣческое сердце, душа моя, знаю. Другой смотритъ на человѣка и ничего въ немъ не видитъ, а я проникаю. Я даже когда не нужно—и тогда проникаю. Идешь это по улицѣ, видишь человѣка и все думаешь: а кто знаетъ, можетъ-быть, этому человѣку со временемъ придется страженіе дать!

Но какъ ни привлекательны рисуемыя дядей картины гражданскихъ сраженій, «палачъ» не поддается соблазну. Онъ понимаетъ, что ему тутъ дѣлать нечего. Въ немъ, если хотите, имѣется достаточный запасъ той одеревенѣлой жестокости, которая на самыя большія мученія позволяетъ смотрѣть хладнокровно, но нѣтъ ни настойчивости, ни остроты ума, ни прозорливости. Ни къ какимъ комбинаціямъ онъ не способенъ и потому даже въ шашки порядкомъ не могъ научиться играть.

— Нѣтъ, дяденька,—говоритъ онъ:—я ужъ въ полкъ!

— Что-жъ, въ полкъ, такъ въ полкъ! Коли нѣтъ призванія, такъ и соваться нечего. А вѣдь и я, душа моя, не сразу тоже въ чувство пришелъ. Съ мужика съ простого

началъ, а потомъ, постепенно, и губернаторовъ постигъ. Бывало, папенька приведетъ мужика-то и скажетъ: «Софронъ, учись!» Ну, и начнешь его узнавать. Ходишь около него, всякій суставчикъ попытаешь, все ищешь, гдѣ у него струна-то играетъ. Нашелъ струну—и ликуй, потому тутъ онъ ужъ и самъ передъ тобой, словно клубокъ, развертываться начнетъ. Ты только дергай, дергай его за нитку-то, а онъ—что больше дергаешь, то ходчѣй да ходчѣй все развертывается. И такой вдругъ понятный сдѣлается, что даже вчужѣ удивительно, какъ это сразу ты его не постигъ!

. . . . . .

И живетъ такимъ родомъ «палачъ» подъ сѣнью родительскаго крова, живетъ изо-дня-въ-день и не видитъ исхода своему страстному желанію оставить науку и поступить въ полкъ. Эта мысль преслѣдуетъ его день и ночь. Ни разсказы дяди, ни бесѣды на конномъ дворѣ не могутъ заставить ее позабыть. Вотъ и каникулы подходятъ къ концу, а онъ все при томъ же, при чемъ былъ и въ началѣ своего пріѣзда въ деревню.

Порой онъ рѣшается бѣжать, но куда? съ чѣмъ? При всей неразвитости, онъ понимаетъ непрактичность этой мысли и потому не безъ удовольствія ожидаетъ момента, когда его опять повезутъ въ Москву, и опять очутится онъ въ стѣнахъ «заведенія». Тамъ онъ по крайней мѣрѣ увидится съ «Агашкой», а это свиданіе возбуждаетъ въ немъ какія-то смутныя надежды. Что будетъ?—онъ самъ еще не можетъ опредѣлить, но что нѣчто, навѣрное, будетъ—въ этомъ онъ не сомнѣвается.

— Голопятовъ выручитъ!—говоритъ онъ себѣ и съ этою сладкою мыслью засыпаетъ въ послѣдній разъ подъ кровлей скромнаго вавиловскаго дома.

И дѣйствительно, «Агашка»—первое лицо, съ которымъ «палачъ» встрѣчается въ «заведеніи».

— Хмыловъ! меня опекунъ въ полкъ отдаетъ!—объявляетъ онъ сразу.

«Палачъ» блѣднѣетъ.

— Такъ это... вѣрно?—спрашиваетъ онъ потухшимъ голосомъ.

— Черезъ мѣсяцъ, какъ дважды два. А ты какъ?

«Палачъ», вмѣсто отвѣта, снимаетъ съ себя куртку и показываетъ слѣды рубцовъ, оставшіеся на спинѣ.

— Это... за полкъ!—говоритъ онъ.

«Агашка» вдругъ проникается великодушіемъ.

— Уйдемъ вмѣстѣ!—говоритъ онъ:—вмѣстѣ горе тяпали, вмѣстѣ и уйдемъ!

— Да вѣдь ты... самъ собою... и безъ того...—заикается «палачъ».

— Не хочу просто выходить... уйду! Или вотъ что: удеремъ, Хмыловъ, какую-нибудь такую штуку, чтобъ насъ обоихъ разомъ выгнали!

«Палачъ» съ какою-то робкою радостью смотритъ на своего друга.

— Да ты что, подлецъ? не вѣришь мнѣ?—великодушествуетъ «Агашка»:—да я теперь ни за что безъ тебя изъ заведенія не уйду!

Пріятели цѣлуются и заключаютъ наступательный союзъ. Начинается цѣлый рядъ подвиговъ, слава которыхъ, постепенно возрастая, наполняетъ наконецъ Москву. Родители съ недоумѣніемъ вопрошаютъ другъ друга, правда ли, что какіе-то ученики «заведенія» взяты будочникомъ въ кабакѣ? правда ли, что еще какіе-то ученики того же «заведенія» пойманы въ ту минуту, какъ хотѣли взломать церковную кружку? правда ли, что еще какіе-то ученики забрались ночью въ квартиру женатаго надзирателя Сенъ-Романа?.. Въ теченіе двухъ-трехъ недѣль «палачъ» и Агашка вдвоемъ совершили столько, что казалось, будто въ ихъ подвигахъ участвовало не меньше ста человѣкъ.

Черезъ мѣсяцъ оба друга сидятъ уже въ карцерѣ; еще недѣля—и за обоими пріѣхали посланные отъ родныхъ.

Друзья веселы и всецѣло поглощены ощущеніемъ испытываемаго ими счастія. Они бодро проходятъ черезъ рекреаціонную залу, мимо столпившихся товарищей, которые на этотъ разъ даже не пускаютъ въ догонку Хмылову «палача». Смутный говоръ удивленія провожаетъ ихъ до самой швейцарской.

Вотъ они на порогѣ; вотъ уже и стѣны заведенія остаются позади нихъ. «Палачъ» останавливается и въ какомъ-то неописанномъ волненіи сжимаетъ руку «Агашки».

— Не-про-па-демъ!—восторженно восклицаетъ онъ, отчетливо раздѣляя каждый слогъ своей краткой рѣчи.

— Не пропадемъ!—словно эхо, повторяетъ за нимъ «Агашка».

ПАРАЛЛЕЛЬ ТРЕТЬЯ.

У начальника отдѣленія, статскаго совѣтника Семена Прокофьича Нагорнова, родился сынъ. Это былъ плодъ пятнадцатилѣтней бездѣтной супружеской жизни, и потому естественно, что появленіе его на свѣтъ произвело на родителей впечатлѣніе не совсѣмъ обыкновенное. Миша былъ еще во чревѣ матери, а родители уже устраивали его будущее, спорили о предстоящей ему карьерѣ и ни одной минуты не сомнѣвались, что у нихъ родится именно сынъ, а не дочь. Анна Михайловна, съ легкомысліемъ женщины, пророчила, что сынъ у нея будетъ военный; напротивъ того, Семенъ Прокофьичъ изъявлялъ надежду, что Мишѣ суждено со временемъ сдѣлаться «министерскимъ перомъ».

— Ему, матушка, карьеру надобно дѣлать, а не мостовую гранить, — говорилъ будущій отецъ: — а потому мы отдадимъ его въ такое заведеніе, гдѣ больше чиновъ даютъ.

Затѣмъ, разсчитавши, что Миша, пойдя по этой дорогѣ, восемнадцати лѣтъ уже можетъ быть титулярнымъ совѣтникомъ, и что производство изъ коллежскихъ регистраторовъ въ титулярные совѣтники за выслугу лѣтъ потребуетъ не менѣе десяти лѣтъ, Нагорновъ прибавилъ:

— Даже теперь можно уже сказать, что нашъ Михайло Семеновичъ состоитъ на службѣ на правахъ канцелярскаго чиновника, кончившаго курсъ въ уѣздномъ училищѣ!

Нагорновы были люди простые и добрые, и какъ мужъ, такъ и жена принадлежали къ очень почтенному чиновничьему роду. «Мы искони крапивные!»—шутя говаривалъ Семенъ Прокофьичъ и отнюдь не скорбѣлъ о томъ, что въ ряду его предковъ не было ни князя Тарелкина, который былъ знаменитъ тѣмъ, что цѣловалъ крестъ царю Борису, потомъ цѣловалъ крестъ Лже-Димитрію, потомъ цѣловалъ крестъ Василію Ивановичу Шуйскому, и которому за всѣ эти поцѣлуи наконецъ выщипали бороду по волоску; ни маркиза Шассе-Круазе, который былъ знаменитъ тѣмъ, что въ одномъ нижнемъ бѣльѣ прибѣжалъ изъ Парижа въ Россію и потомъ, въ 1814 году, вполнѣ экипированный, бралъ Парижъ вмѣстѣ съ союзниками. Отецъ Семена Прокофьича, уже умершій, служилъ совѣтникомъ въ управѣ благочинія· отецъ Анны Михайловны, по фами-

ліи Рыбниковъ, находился еще въ живыхъ и служилъ архиваріусомъ въ одномъ изъ министерствъ, но такъ какъ имѣлъ генеральскій чинъ, то назывался не архиваріусомъ, а управляющимъ архивомъ.

Обѣ семьи жили чрезвычайно дружно и по воскресеньямъ обыкновенно собирались за обѣдомъ у Нагорновыхъ; а такъ какъ у Анны Михайловны были еще три сестры дѣвицы, то въ небольшой квартирѣ начальника отдѣленія бывало довольно людно и шумно. Это были единственные дни, когда Нагорновъ весь отдавался отдохновенію, не скребъ съ утра до ночи перомъ и даже позволялъ себѣ партикулярные разговоры. Скромный обѣдъ разнообразился праздничной кулебякой съ сигомъ, которую всѣ ѣли съ тѣмъ аппетитомъ, съ какимъ обыкновенно ѣдятъ люди очень рѣдкое и лакомое блюдо, и которая каждое воскресенье давала поводъ для одного и того же неизмѣннаго разговора.

— Я пятьдесятъ лѣтъ на свѣтѣ живу и, благодареніе моему Богу, никогда изъ Петербурга не выѣзжалъ (и батюшка и дѣдушка безвыѣздно въ Петербургѣ жили!), и за всѣмъ тѣмъ все-таки могу сказать утвердительно, что этой рыбки да еще нашей корюшки нигдѣ, кромѣ здѣшней столицы, достать нельзя. Вотъ въ Ревелѣ, говорятъ, какую-то вкусную кильку ловятъ—ну, той въ свѣжемъ видѣ никогда не видалъ, а чего не видалъ, о томъ и спорить не стану!— бесѣдовалъ Семенъ Прокофьичъ, тщательно выскребывая ножомъ съ тарелки соринки рыбы и капусты и отправляя ихъ въ ротъ.

— Въ Шлюшинѣ, сказываютъ, этого сига множество!— возражалъ Михайло Семенычъ Рыбниковъ.

— Помилуйте, батюшка! какой же въ Шлюшинѣ сигъ! Ладожскій ли сигъ, или нашъ невскій!

— Ну, да и кусается же этотъ невскій сижокъ!—вставляла свое слово Анна Михайловна.—Зина! Евлаша! Леля! сестрицы! что-жъ вы! съ сижкомъ! — обращалась она къ сестрамъ, которыя, въ качествѣ сущихъ дѣвицъ, не были свободны отъ нѣкотораго жеманства.

— Онѣ у меня скромницы! — шутилъ старикъ Рыбниковъ: — при людяхъ не ѣдятъ, а вотъ послѣ обѣда на кухню заберутся, такъ ужъ тамъ и съ сижкомъ, и съ кашкой, и съ рисцемъ... пожалуй, и платья-то разстегнутъ!

Сестрицы слегка зарумянивались, а остальные присутствующіе *заливались* добродушнымъ хохотомъ.

Затѣмъ разговоръ переходилъ къ жареному гусю, по поводу котораго тоже высказывалось мнѣніе, что противъ петербургскаго гуся никакому другому не устоять.

— Слыхалъ я,—говорилъ Нагорновъ:—будто въ Москвѣ въ Новотроицкомъ трактирѣ какихъ-то необыкновенныхъ гусей подаютъ, да вѣдь это славны бубны за горами, а мы поѣдимъ нашего петербургскаго.

— У насъ гуси лапчатые!—замѣчалъ въ свою очередь старикъ Рыбниковъ, вновь возбуждая во всей компаніи веселый смѣхъ.

Послѣ обѣда старцы уединялись въ кабинетѣ и попыхивали копеечныя сигары, прислушиваясь къ женскому стрекотанію, немолчно раздававшемуся въ спальной, и изрѣдка перебрасываясь замѣчаніями.

— Такъ такъ-то, батюшка, ваше превосходительство!—говорилъ Семенъ Прокофьичъ.

— Да, есть тово... немного!—отвѣтствовалъ, позѣвывая, Михайло Семенычъ.

И такимъ порядкомъ проходило воскресенье за воскресеньемъ, безъ всякой надежды, чтобъ въ эту жизнь когда-нибудь проникнулъ свѣжій, живой элементъ.

Только въ серединѣ пятидесятыхъ годовъ, когда русская жизнь какъ будто тронулась, воскресные обѣды Нагорновыхъ нѣсколько оживились, ибо каждую недѣлю являлась какая-нибудь новость, которая задѣвала за живое и о которой трудно было не потолковать.

— Вотъ и марки почтовыя проявились! и инспекторскій департаментъ упраздненъ! — сообщалъ Семенъ Прокофьичъ, относившійся, впрочемъ, къ реформамъ съ большою благосклонностью:—а что вѣдь, ежели теперича все сообразить, сколько въ теченіе одной прошлой недѣли переформировано, такъ я думаю, что даже самаго обширнаго ума на такую работу не достанетъ!

— Это вамъ, молодымъ людямъ, въ диковинку эти реформы-то!—возражалъ старикъ Рыбниковъ:—а у меня, братъ, въ архивѣ всѣ эти реформы какъ на ладони видны — во какъ! За какую связку ни возьмись, во всякой какую-нибудь реформу сыщешь!

— Ну нѣтъ, батюшка! Это не такъ! прежде на бумагѣ-то города брали, а теперь настоящее дѣло пошло! Я самъ въ комиссіи о распространеніи единомыслія двадцать лѣтъ членомъ состоялъ—и что-жъ! сто одинъ томъ трудовъ выдали и все-таки ни къ какому заключенію

придти не могли! Потому—рано было! А теперича разомъ весь этотъ матеріалъ и двинули! Возьмемъ хоть бы почтовые ящики — какое это для всѣхъ удобство! Написалъ письмо, пошелъ въ департаментъ, опустилъ мимоходомъ въ ящикъ—и покоенъ! Нѣтъ, какъ же можно! Только бы съ Божьею помощью, потихоньку да полегоньку, да безъ революцій!

— Давай Богъ! давай Богъ!

Но скоро и о почтовыхъ ящикахъ разговоры исчерпались, или, лучше сказать, они сдѣлались такими же скучными и вялыми, какъ и разговоры о пирогѣ съ сигомъ. И вдругъ въ это сѣренькое затишье, въ эту со всѣхъ сторонъ запертую и ничѣмъ не смущаемую среду ворвалось что-то новое, быть-можетъ, когда-то составлявшее предметъ завѣтнѣйшихъ мечтаній, но давнымъ-давно уже, за давностью лѣтъ, оставленное и позабытое... Анна Михайловна совершенно неожиданно оказалась беременною, и вотъ въ одно изъ воскресеній Семенъ Прокофьичъ слѣдующею рѣчью встрѣтилъ своего тестя:

— Подобно тому, какъ древле Захарія, священникъ Авіевой чреды, на склонѣ дней своихъ...

— Ну, братъ, исполать!—не далъ докончить ему обрадованный Рыбниковъ:—Молодецъ! гдѣ же она? гдѣ же Анюта?

— А вотъ и самая оная Елисаветъ!—какъ-то блаженно улыбаясь, отвѣтилъ Семенъ Прокофьичъ, указывая на выходящую изъ спальной Анну Михайловну, которой щеки на сей разъ алѣли уже не отъ однихъ хлопотъ по приготовленію пирога, но и отъ той сладкой застѣнчивости, которую ощущаетъ всякая женщина, готовящаяся въ первый разъ подарить своей странѣ гражданина:—сего числа особа эта утвердительно можетъ сказать: взыгра младенецъ во чревѣ моемъ!

— Ну, братъ, не ждалъ! Молодецъ! молодецъ Анюта! и ежели теперича внукъ... вы непремѣнно Михайломъ его назовите!

— Что будетъ мнѣ сынъ, а вамъ внукъ — въ этомъ я никакого сомнѣнья не имѣю, потому что въ моей фамиліи никогда женскаго пола не было, да и вообще по всему оно такъ видимо! Ну, и Михайломъ мы его также назовемъ: пускай будетъ такой же достойный Михайло Семенычъ, какъ и тезоименитый его дѣдъ!

Въ этотъ день обѣдъ былъ какъ-то особенно торжественъ

и оживленъ. Радость прокралась въ эту скромную, тѣсную столовую и освѣтила ее лучомъ своимъ. Лица расцвѣли и покрылись словно глянцемъ; груди вздымались подъ наплывомъ наполнявшаго ихъ блаженства; глаза застилались туманомъ счастія и неизреченной вѣры въ какое-то сладкое, свѣтлое, полнее всевозможныхъ благъ будущее.

— Батюшка! откушайте-ка пирожка! Сегодня мы поѣдимъ и попьемъ! У меня, батюшка, сегодня праздникамъ праздникъ, торжество изъ торжествъ! — говорилъ Семенъ Прокофьичъ:—на склонѣ дней моихъ... Анюта! другъ мой! не тревожься!

— Да, братъ, теперь надо вамъ подумать... и крѣпко подумать! Потому что, ежели ему теперича хорошее начало положить, такъ это, братъ, на всю жизнь пойдетъ!

— Я, батюшка, ужъ все обдумалъ. Анюта сначала предлагала въ конную гвардію его опредѣлить, но теперь, благодареніе Богу, мы такъ общими силами порѣшили: отдать нашего младенца въ такое заведеніе, гдѣ больше чиновъ даютъ!

— Это, братъ, правильно, потому что безъ чиновъ тоже нельзя. Хоть и поговариваютъ объ уничтоженіи, а я такъ полагаю, что никогда имъ скончанья не будетъ!

— И мы проживемъ, и дѣти наши, съ Божьею помощью, проживутъ, и никто чинамъ конца не увидитъ! А вы, сестрицы, какъ полагаете? по штатской или по военной пустить нашего Михайла Семеныча?

Сестрицы, въ качествѣ сущихъ дѣвицъ, вмѣсто отвѣта, конфузливо катали изъ хлѣба шарики.

— Онѣ, братъ, у меня штатскія! въ архивѣ воспитаніе получили!—шутилъ Рыбниковъ.

— Ну, и слава Богу! Я, батюшка, такъ думаю, что первѣе всего слѣдуетъ достигать, чтобъ перо *у него* хорошее было и чтобъ на начальство *онъ* правильный взглядъ имѣлъ. Потому что, ежели при нынѣшнемъ стремительномъ направленіи да еще хорошее перо... можно заранѣе поручиться, что онъ каждаго начальника уловить будетъ въ состояніи!

— Да, перо... хоть оно и гусиное...

— Я по себѣ, батюшка, знаю, что̀ значитъ «перо». Теперича у меня начальникъ всего только одно слово и можетъ говорить, да и то не для всѣхъ вразумительно, однако я это слово понимаю, а потому онъ мною и дорожитъ. Мало того: иное время онъ даже слово-то, которое знаетъ,

высказать тяготится, только лобъ морщитъ, а я все-таки понимаю!

— Все равно что іероглифъ!

— Іероглифъ—это такъ точно. Только надобно къ этому іероглифу ключъ имѣть; а какъ скоро его имѣешь, то прочая вся приложатся. А что бы я сдѣлалъ, кабы перомъ не владѣлъ!

Съ этихъ поръ воскресныя бесѣды получили иной характеръ. Несмотря на то, что героемъ являлся все одинъ и тотъ же нетерпѣливо ожидаемый Михайло Семенычъ, въ разговорахъ явилось какое-то неистощимое разнообразіе. Старики были рады несказанно и строили предположенія за предположеніями. Конечно, проскакивали между ними и не совсѣмъ радостныя. Припоминалась, напримѣръ, тяжелая трудная молодость, припоминались характеры начальниковъ и какъ трудно было ладить съ ними. Но эти мгновенныя тѣни тотчасъ же разсѣевались передъ твердою увѣренностью, что Миша непремѣнно будетъ скромный, работящій и въ то же время талантливый малый, который легко овладѣетъ тайнами «пера», а слѣдовательно сумѣетъ поработить всякаго начальника.

— Съ начальникомъ, батюшка, только ладить надо умѣть,—говорилъ Семенъ Прокофьичъ:—а какъ скоро его обладилъ, то поѣзжай на немъ безъ опасности!

— Я, братъ, такихъ начальниковъ видалъ, что даже поноску носить были готовы!—подтверждалъ Рыбниковъ.

— И даже съ удовольствіемъ-съ. Потому что начальникъ—онъ въ себѣ помощи не находитъ, ну и обращается къ подчиненному! и ужъ радъ-радъ, коли его кто выручить можетъ!

Однимъ словомъ, въ виду ожидаемаго новаго человѣка, допускалось даже легкое кощунство, ибо не было возможности устроить желаннымъ образомъ его судьбу безъ того, чтобы какъ-нибудь не потѣснить другихъ. Что Миша во что бы то ни стало долженъ создать себѣ карьеру — это стояло внѣ всякаго сомнѣнія; а можетъ ли онъ достигнуть этого иначе, какъ сдѣлавшись необходимымъ кому-нибудь изъ сильныхъ міра сего? Очевидно, не можетъ, потому что у него нѣтъ ни блестящихъ связей, ни знатной родни, ни денегъ. Стало-быть, онъ долженъ понравиться, а понравиться онъ можетъ лишь въ томъ случаѣ, когда сильный міра сего настолько безпомощенъ, что не можетъ безъ Миши ни шагу ступить. Тогда только этотъ сильный, но безпомощный найдется въ необходимости, въ отплату

за избавленіе его отъ безпомощности, подѣлиться съ своимъ избавителемъ хотя однимъ кускомъ того безконечнаго пирога, около котораго неотступно кишатъ миріады закусывателей и какъ ни стараются, а все не могутъ окончательно доканать его. И Миша несомнѣнно доберется до этого куска и будетъ, какъ и всѣ прочіе, глодать и сосать его, потому что было бы даже несправедливо предоставить это право людямъ, которые могутъ только «морщить лобъ», и лишить его человѣка, которому извѣстны всѣ тайны «пера...»

Подъ шумокъ этихъ мечтаній и предположеній Анна Михайловна съ своей стороны дѣятельно готовилась. Сестрицы ежедневно бѣгали въ квартиру Нагорновыхъ, гдѣ, кромѣ нихъ, появилась еще новая гостья, въ лицѣ повивальной бабки Христины Карловны Либефрау. Женщины не выходили изъ спальной и неустанно между собою шушукались, кроили, шили, перебирали старыя рубашки Семена Прокофьича и рвали ихъ. Результатомъ этой суеты было то, что еще за мѣсяцъ до родовъ въ квартирѣ начальника отдѣленія появилась дѣтская кроватка, и вездѣ лежали вороха всякаго бѣлья.

Наконецъ, въ одинъ морозный декабрьскій день, предчувствія заботливыхъ родителей насчетъ того, что у нихъ непремѣнно будетъ сынъ, а не дочь, осуществились самымъ буквальнымъ и блистательнымъ образомъ: въ этотъ день Михайло Семенычъ Нагорновъ увидѣлъ свѣтъ.

Нѣтъ надобности разсказывать, какъ шло первоначальное воспитаніе Миши. За нимъ ухаживали, его мыли и пичкали всѣ, начиная отъ Анны Михайловны съ сестрицами и кончая Семеномъ Прокофьичемъ и старикомъ Рыбниковымъ. Въ домѣ его называли не иначе, какъ Михайломъ Семенычемъ, и всѣ до единаго глядѣли ему въ глаза, хотя Семенъ Прокофьичъ по временамъ и высказывалъ какую-то особенную воспитательную теорію, которая явно клонилась къ ущербу Миши. Теорія эта была, впрочемъ, не новая и заключалась въ томъ, что всякаго младенца, для его же пользы, необходимо направлять на путь истинный посредствомъ лозы.

— Да, это такъ! — говорилъ онъ тономъ непреложнаго убѣжденія:—изстари ужъ такъ оно повелось, да и по себѣ я знаю, что человѣку безъ розги даже человѣкомъ сдѣлаться невозможно.

— Это ангела-то Божья! Это радость-то нашу! — накидывалась на него Анна Михайловна: — такъ тебѣ и дали! да ты ошалѣлъ, въ департаментѣ-то сидючи!

— Я не объ Михайлѣ Семенычѣ рѣчь веду, а вообще, съ теоретической точки зрѣнія дѣло обсуждаю! Вы, женщины, серьезнаго разговора вести не можете, потому что съ вами даже объ созданіи міра если заговоришь, такъ вы и тутъ свои тряпки и шиньоны сумѣете приплести! Объ Михайлѣ Семенычѣ—не знаю, а *вообще*—оно такъ! Даже государственные люди—и тѣ это средство на себѣ испытывали!

Но Миша, какъ бы подозрѣвая коварные подходы отца, росъ такъ тихо и благонравно, что рѣшительно не давалъ ни малѣйшаго повода къ примѣненію мѣръ строгости. Едва началъ онъ лепетать, какъ обнаружилъ необыкновенную понятливость и ласковость. Онъ такъ трогательно повторялъ утромъ и вечеромъ: «Спаси, Господи, папеньку, маменьку, дѣдушку, тетенекъ, начальниковъ, покровителей и всѣхъ православныхъ христіанъ» и такъ мило при этомъ картавилъ и сюсюкалъ, что сердца родителей таяли отъ удовольствія. Четырехъ лѣтъ онъ зналъ наизусть «Отче нашъ» и «Все упованіе мое»; аккуратно послѣ обѣда и чаю цѣловалъ ручки у папаши и мамаши и каждое воскресенье непремѣнно сопровождалъ Семена Прокофьича къ обѣднѣ. Трудно было не радоваться на этого милаго ребенка, когда онъ, совершенно готовый въ путь, вбѣгалъ въ кабинетъ отца и торопилъ его въ церковь.

— Папа! скорѣе! звонятъ! — кричалъ онъ своимъ звонкимъ дѣтскимъ голосомъ.

— Сейчасъ, душенька! трезвонить еще будутъ!

— Мнѣ, папаша, ждать нельзя! я часы слушать хочу!

Съ какимъ-то особеннымъ чувствомъ гордости и блаженства шелъ Семенъ Прокофьичъ по Малой Подьяческой, ведя за руку сына, который истово и солидно переступалъ за нимъ своими маленькими ножками.

— Вашъ-съ?—спрашивали его встрѣчавшіеся по дорогѣ другіе начальники отдѣленій, которыми особенно изобилуетъ эта мѣстность.

— Самъ дѣлалъ! — шутилъ Семенъ Прокофьичъ: — вотъ какого пузыря вырастилъ!

— По гражданской части пустить намѣрены?

— Въ департаментъ, батюшка, въ департаментъ! Сначала въ заведеніе отдадимъ (безъ этого нынче нельзя), а потомъ и на большую дорогу поставимъ!

И затѣмъ, въ теченіе цѣлаго обѣда, непремѣнно шла рѣчь о Мишѣ, о его необыкновенномъ благонравіи и набожности.

— Даже затормошилъ меня!—повѣствовалъ Семенъ Прокофьичъ:—«часы, говоритъ, слушать хочу!»

— А намеднись,—хвасталась Анна Михайловна:—просто даже удивилъ! «Мама, говоритъ, купи мнѣ ризу!» Я спрашиваю: зачѣмъ тебѣ, душенька?—«А я, говоритъ, дома каждый день обѣдню служить буду!»

— Что-жъ? Это не дорого стоитъ! — вступился старикъ Рыбниковъ:—погоди, Михайло Семенычъ, я тебѣ ужо ризу подарю, да ужъ и камилавку кстати состряпаемъ — служи себѣ да послуживай!

И дѣйствительно, къ величайшей радости Миши, у него вскорѣ явилась и риза, и камилавка, и вырѣзанное изъ бумаги кадило. Запасшись этими принадлежностями, онъ цѣлые дни расхаживалъ по комнатамъ, размахивая кадиломъ и во весь свой дѣтскій голосъ выкрикивая: «аллилуйя!»

Чѣмъ болѣе выросталъ Миша, тѣмъ благонравнѣе и понятливѣе онъ становился. Когда на восьмомъ году его усадили за грамоту, то оказалось, что онъ ловитъ азы и склады налету. И что всего важнѣе—не только съ быстротою усвоиваетъ себѣ грамоту, но въ то же время смотритъ учителю въ глаза и въ ротъ. Словомъ сказать, и въ этомъ случаѣ онъ обнаружилъ такую ласковость, что даже учитель (дешевенькій, изъ кантонистовъ) былъ уязвленъ ею до глубины души и никогда не отзывался родителямъ о Мишѣ иначе, какъ съ волненіемъ.

— Это такой,—восклицалъ онъ: — такой, доложу вамъ... ну, просто, такой-съ...

— Ну, и слава Богу! — говорила Анна Михайловна съ блаженной улыбкой.

— Нѣтъ-съ, вы себѣ представить не можете! Это такой-съ... это, можно сказать, гордость-съ... Это просто именно...

Родители радовались и приглашали учителя въ воскресенье отвѣдать кулебяки съ сигомъ.

Природа дала Мишѣ понятливость; благонравіе дала ему среда, или, лучше сказать, квартира, въ которой онъ воспитывался. Эта квартира была совершенно своеобразная, такъ сказать, не самостоятельная, а служившая продолженіемъ департамента. Обстановка, въ которой жило семей-

ство Нагорновыхъ, вовсе не говорила о томъ, что тутъ живутъ люди, которые бьются со дня на день и думаютъ только о томъ, какъ бы спастись отъ нищеты. Напротивъ, здѣсь видѣлась даже извѣстная степень изобилія и запасливости. Но за всѣмъ тѣмъ на всемъ лежала такая печать наготы, монотонности и безрадостности, что свѣжій человѣкъ, безъ всякихъ постороннихъ внушеній, понималъ, что позволь себѣ хозяинъ хотя на пядь отступить отъ самой строгой аккуратности,—и вся эта запасливость разлетится въ прахъ. Все было пригнано и урѣзано такъ, чтобы жизнь вращалась только около необходимаго, не дозволяя себѣ никакого уклоненія въ сторону, а тѣмъ менѣе баловства. Если на мебели можно сидѣть — ну, и слава Богу; если въ подсвѣчникъ можно вставить свѣчу—вотъ все, что требуется. Вся роскошь заключалась въ чистотѣ и въ той казенной симметріи, съ которою была расположена каждая вещь. Казалось, что эту квартиру когда-то обмеблировали, засадили туда какихъ-то людей, не совсѣмъ арестантовъ, но и не совсѣмъ не-арестантовъ, и потомъ закупорили со всѣхъ сторонъ, съ тѣмъ, чтобы туда никогда не проникала струя свѣжаго воздуха. Затѣмъ постепенно образовалась какая-то кисленькая атмосфера, къ которой живущіе въ ней такъ принюхались, что уже не обнаруживали ни малѣйшаго поползновенія освѣжиться. Эти люди отмѣривали время съ такою же безучастною объективностью, съ какою аршинникъ мѣряетъ матерію: вотъ отмѣрено двадцать четыре аршина, потомъ еще, а тамъ гробъ—и конецъ отмѣриванію. Внѣ стѣнъ квартиры—все было неизвѣстность и мракъ. Внѣшній міръ наполненъ подводныхъ камней, опасностей и обидъ. Попробуй-ка, сунься выйти на улицу — какъ разъ наскочишь на сорванца, который или язык тебѣ покажетъ, или архивной крысой обзоветъ, или просто до смерти замистифируетъ. А дома между тѣмъ тепло и уютно: знаешь, гдѣ какая вещь лежитъ, ни на что не наткнешься и ужъ, конечно, не поскользнешься на пространствѣ какихъ-нибудь пяти-шести сажень. Стало-быть, жить слѣдуетъ такимъ образомъ: какъ можно больше прижиматься къ сторонѣ, никого не затрогивать и твердо знать, въ какіе часы какая обязанность предстоитъ, не смѣшивая и тѣмъ болѣе не допуская легкомысленной забывчивости.

Быть-можетъ, этотъ безрадостный складъ жизни возбуждалъ когда-то въ сердцѣ смутный ропотъ, но съ теченіемъ времени онъ такъ всосался въ плоть и кровь, что сдѣлался

второю природой. Ни Семена Прокофьича, ни Анну Михайловну даже не порывало никуда: не только въ гости или въ театръ, но просто прогуляться. Они выходили изъ квартиры только по нуждѣ: онъ—въ департаментъ, она—на рынокъ, и забыли даже о возможности какихъ-либо другихъ отлучекъ. За все послѣднее время Семенъ Прокофьичъ только два раза вышелъ прогуляться, да и тутъ не обошлось безъ непріятностей. Въ первый разъ налетѣлъ на него какой-то сорванецъ, объявилъ себя старымъ знакомымъ, очень искусно выпыталъ, что у Семена Прокофьича была пріятельница, какая-то Катерина Прохоровна, увѣрилъ, что она умерла, и въ ту самую минуту, когда старикъ Нагорновъ вошелъ во вкусъ, сталъ охать и ахать—показалъ ему языкъ и убѣжалъ. Въ другой разъ налетѣлъ другой сорванецъ, снялъ шляпу, перекрестился и поцѣловалъ его прямо въ орденъ святыя Анны, который Семенъ Прокофьичъ очень тщательно и не безъ нѣкотораго хвастовства разстилалъ у себя на груди. Все это было обидно и больно, все убѣждало сидѣть дома и какъ можно рѣже переступать за порогъ его.

Въ такой атмосферѣ Миша невольно складывался благонравнымъ, аккуратнымъ, усидчивымъ и почтительнымъ ребенкомъ. Съ самой ранней юности слухъ его все чаще поражали слова: служба и департаментъ. Съ утра до вечера онъ слышалъ разговоры о департаментѣ, въ которыхъ сосредоточивалось все: и сѣтованія, и радости, и надежды, и предвидѣнія будущаго. Спрашивалъ ли онъ утромъ, куда папаша собирается,—ему отвѣчали—въ департаментъ. Кто въ передней дожидается съ портфелемъ?—курьеръ привезъ бумаги отъ директора департамента. Чему папаша радуется?—ему привезли орденъ изъ департамента. Отчего папаша встревоженъ? — онъ боится, чтобъ его не обошли въ департаментѣ наградой. Начиналъ ли онъ рѣзвиться шумливѣе обыкновеннаго—его останавливали фразой: «не шуми, не мѣшай папашѣ; у него завтра докладъ въ департаментѣ». Въ скрипѣ пера, въ щелканьи косточками счетовъ, раздававшемся по вечерамъ въ тиши отцовскаго кабинета, въ той торопливости, съ которою подавался обѣдъ по приходѣ отца, — вездѣ слышался департаментъ. Даже когда Семенъ Прокофьичъ заваливался послѣ обѣда всхрапнуть на диванѣ, и тогда невольно приходило на умъ: такъ можетъ храпѣть только человѣкъ, намаявшійся утромъ въ департаментѣ! Однимъ словомъ, было очевидно, что папаша

былъ прикрѣпленъ къ департаменту таинственною пуповиной, которую ежели разорвать, то папаша изойдетъ кровью, а за нимъ слѣдомъ изойдетъ кровью и все то, что̀ разъ навсегда заперто въ этой квартирѣ.

Правда, что представленія Миши о департаментѣ еще были довольно фантастичны. Онъ не понималъ дѣйствительной департаментской организаціи, а скорѣе представлялъ ее себѣ въ видѣ какого-то загадочнаго царства тѣней. Войдя въ это царство, папаша перестаетъ быть папашей, сохраняетъ только крестъ на шеѣ и, окруженный Васильемъ Прохорычемъ, Авдѣемъ Дмитричемъ, Алексѣемъ Иванычемъ и Владиміромъ Николаичемъ (такъ назывались столоначальники Нагорнова), витаетъ въ пространствѣ, созерцая лицо директора и непрестанно славословя предъ нимъ. Но вотъ пробило четыре часа,—и видѣнія исчезаютъ. Папаша снова дѣлается папашей, надѣваетъ пальто и вмѣстѣ съ прочими воплотившимися тѣнями, словно изъ темной трубы, выползаетъ изъ-подъ арки главнаго штаба. Черезъ минуту все пространство отъ Малой Милліонной до Подьяческихъ наполняется блѣдными, изнуренными лицами, на которыхъ читается одна настоятельная мысль: пора водку пить!

Но, какъ ни фантастичны были эти мечты, важно было то, что въ мозгу Миши уже внѣдрилась идея департамента. Департаментъ—это цѣлое будущее; департаментъ—это глухой переулокъ, изъ котораго можно выйти только назадъ по Большой Морской въ Подьяческую. Департаментъ—это сама неизбѣжность, это шхера, около которой, какъ ни лавируй, все-таки никакъ не минешь, чтобы не наткнуться на нее.

— И благодѣтельная шхера-съ! тутъ не разобьешься, а слаще, чѣмъ въ наилучшей гавани, отдохнешь! — объяснялъ Семенъ Прокофьичъ, когда кто-нибудь позволялъ себѣ выразить въ его присутствіи хоть какое-нибудь сомнѣніе насчетъ живительныхъ свойствъ департамента.

Или:

— Ты попробуй-ка, сунься въ другомъ мѣстѣ поискать—анъ тутъ оступился, въ другомъ мѣстѣ промахъ далъ, а въ третьемъ и вовсе оказался негоднымъ! А въ департаментѣ-то, какъ у Христа за пазушкой! дѣло у тебя постоянное, вѣрное... какъ калачъ! Не только никакихъ выдумокъ отъ тебя не требуютъ, но даже если бы ты и гораздъ былъ на выдумки, такъ запретъ тебѣ на нихъ положатъ!

Пиши! округляй! а выдумывать предоставь прощелыгамъ да проходимцамъ. Такъ-то-съ!

Благодаря такой обстановкѣ, Миша незамѣтно научился смотрѣть на родительскую квартиру, какъ на продолженіе департамента, на отца—какъ на ходячій осколокъ департамента, и даже на самого себя—какъ на дитя департамента.

— А скоро, папаша, я въ службу пойду?—часто приставалъ онъ къ Семену Прокофьичу.

— Вотъ, душенька, выучишься, а тамъ съ Богомъ и на службу! Вмѣстѣ будемъ лямку тянуть.

— И мундиръ мнѣ, папаша, дадутъ?

— И мундиръ дадутъ, и крестъ дадутъ... все какъ у папаши! Будь только прилеженъ и благонравенъ, а начальство ужъ наградитъ!

Слушая такія рѣчи, Миша усугублялъ рвеніе и, никогда не теряя изъ вида департамента, съ какою-то восторженностью зубрилъ: «города, стоящіе на Волгѣ, суть: Ржевъ, Зубцовъ, Старица, Тверь, Корчева» и т. д.

— А чѣмъ замѣчателенъ городъ Лаишевъ? — по временамъ испытывалъ его отецъ.

— Лаишевъ, уѣздный городъ Казанской губерніи, стоитъ при рѣкѣ Волгѣ, имѣетъ соборъ и рыбныя ловли.

— Ну, а городъ Свіяжскъ, напримѣръ?

— Свіяжскъ, уѣздный городъ Казанской губерніи, стоитъ при сліяніи рѣки Волги и Свіяги, имѣетъ соборъ и рыбныя ловли.

— Ну, а городъ Чебоксары?

— Чебоксары, уѣздный городъ Казанской губерніи, стоитъ на рѣкѣ Волгѣ, имѣетъ соборъ и рыбныя ловли.

— Да такъ ли, полно? что-то ты ужъ очень сходственно говоришь!

— Это такъ точно-съ, Семенъ Прокофьичъ,—вступился учитель:—Михайло Семенычъ нашъ не слукавитъ-съ! Это такой ребенокъ... такой, доложу вамъ, ребенокъ-съ...

И шли дни за днями, укрѣпляя въ Мишѣ вѣру въ ожидающее его департаментское будущее и обогащая его умъ познаніями. Наконецъ Ветлуги, Мценски и Новосили неизгладимыми буквами навсегда утвердились въ его памяти. Мишѣ минуло двѣнадцать лѣтъ. Это былъ срокъ, въ который заранѣе назначено было отдать его въ заведеніе.

«Заведеніе», въ которое поступилъ Миша Нагорновъ, имѣло спеціальностью воспитывать государственныхъ мла-

высказать тяготится, только лобъ морщитъ, а я все-таки понимаю!

— Все равно что іероглифъ!

— Іероглифъ—это такъ точно. Только надобно къ этому іероглифу ключъ имѣть; а какъ скоро его имѣешь, то прочая вся приложатся. А что бы я сдѣлалъ, кабы перомъ не владѣлъ!

Съ этихъ поръ воскресныя бесѣды получили иной характеръ. Несмотря на то, что героемъ являлся все одинъ и тотъ же нетерпѣливо ожидаемый Михайло Семенычъ, въ разговорахъ явилось какое-то неистощимое разнообразіе. Старики были рады несказанно и строили предположенія за предположеніями. Конечно, проскакивали между ними и не совсѣмъ радостныя. Припоминалась, напримѣръ, тяжелая трудная молодость, припоминались характеры начальниковъ и какъ трудно было ладить съ ними. Но эти мгновенныя тѣни тотчасъ же разсѣевались передъ твердою увѣренностью, что Миша непремѣнно будетъ скромный, работящій и въ то же время талантливый малый, который легко овладѣетъ тайнами «пера», а слѣдовательно сумѣетъ поработить всякаго начальника.

— Съ начальникомъ, батюшка, только ладить надо умѣть,—говорилъ Семенъ Прокофьичъ:—а какъ скоро его обладилъ, то поѣзжай на немъ безъ опасности!

— Я, братъ, такихъ начальниковъ видалъ, что даже поноску носить были готовы!—подтверждалъ Рыбниковъ.

— И даже съ удовольствіемъ-съ. Потому что начальникъ—онъ въ себѣ помощи не находитъ, ну и обращается къ подчиненному! и ужъ радъ-радъ, коли его кто выручить можетъ!

Однимъ словомъ, въ виду ожидаемаго новаго человѣка, допускалось даже легкое кощунство, ибо не было возможности устроить желаннымъ образомъ его судьбу безъ того, чтобы какъ-нибудь не потѣснить другихъ. Что Миша во что бы то ни стало долженъ создать себѣ карьеру — это стояло внѣ всякаго сомнѣнія; а можетъ ли онъ достигнуть этого иначе, какъ сдѣлавшись необходимымъ кому-нибудь изъ сильныхъ міра сего? Очевидно, не можетъ, потому что у него нѣтъ ни блестящихъ связей, ни знатной родни, ни денегъ. Стало-быть, онъ долженъ понравиться, а понравиться онъ можетъ лишь въ томъ случаѣ, когда сильный міра сего настолько безпомощенъ, что не можетъ безъ Миши ни шагу ступить. Тогда только этотъ сильный, но безпомощный найдется въ необходимости, въ отплату

за избавленіе его отъ безпомощности, подѣлиться съ своимъ избавителемъ хотя однимъ кускомъ того безконечнаго пирога, около котораго неотступно кишатъ миріады закусывателей и какъ ни стараются, а все не могутъ окончательно доканать его. И Миша несомнѣнно доберется до этого куска и будетъ, какъ и всѣ прочіе, глодать и сосать его, потому что было бы даже несправедливо предоставить это право людямъ, которые могутъ только «морщить лобъ», и лишить его человѣка, которому извѣстны всѣ тайны «пера...»

Подъ шумокъ этихъ мечтаній и предположеній Анна Михайловна съ своей стороны дѣятельно готовилась. Сестрицы ежедневно бѣгали въ квартиру Нагорновыхъ, гдѣ, кромѣ нихъ, появилась еще новая гостья, въ лицѣ повивальной бабки Христины Карловны Либефрау. Женщины не выходили изъ спальной и неустанно между собою шушукались, кроили, шили, перебирали старыя рубашки Семена Прокофьича и рвали ихъ. Результатомъ этой суеты было то, что еще за мѣсяцъ до родовъ въ квартирѣ начальника отдѣленія появилась дѣтская кроватка, и вездѣ лежали вороха всякаго бѣлья.

Наконецъ, въ одинъ морозный декабрьскій день, предчувствія заботливыхъ родителей насчетъ того, что у нихъ непремѣнно будетъ сынъ, а не дочь, осуществились самымъ буквальнымъ и блистательнымъ образомъ: въ этотъ день Михайло Семенычъ Нагорновъ увидѣлъ свѣтъ.

Нѣтъ надобности разсказывать, какъ шло первоначальное воспитаніе Миши. За нимъ ухаживали, его мыли и пичкали всѣ, начиная отъ Анны Михайловны съ сестрицами и кончая Семеномъ Прокофьичемъ и старикомъ Рыбниковымъ. Въ домѣ его называли не иначе, какъ Михайломъ Семенычемъ, и всѣ до единаго глядѣли ему въ глаза, хотя Семенъ Прокофьичъ по временамъ и высказывалъ какую-то особенную воспитательную теорію, которая явно клонилась къ ущербу Миши. Теорія эта была, впрочемъ, не новая и заключалась въ томъ, что всякаго младенца, для его же пользы, необходимо направлять на путь истинный посредствомъ лозы.

— Да, это такъ! — говорилъ онъ тономъ непреложнаго убѣжденія:—изстари ужъ такъ оно повелось, да и по себѣ я знаю, что человѣку безъ розги даже человѣкомъ сдѣлаться невозможно.

— Это ангела-то Божья! Это радость-то нашу! — накидывалась на него Анна Михайловна: — такъ тебѣ и дали! да ты ошалѣлъ, въ департаментѣ-то сидючи!

— Я не объ Михайлѣ Семенычѣ рѣчь веду, а вообще, съ теоретической точки зрѣнія дѣло обсуждаю! Вы, женщины, серьезнаго разговора вести не можете, потому что съ вами даже объ созданіи міра если заговоришь, такъ вы и тутъ свои тряпки и шиньоны сумѣете приплести! Объ Михайлѣ Семенычѣ—не знаю, а *вообще*—оно такъ! Даже государственные люди—и тѣ это средство на себѣ испытывали!

Но Миша, какъ бы подозрѣвая коварные подходы отца, росъ такъ тихо и благонравно, что рѣшительно не давалъ ни малѣйшаго повода къ примѣненію мѣръ строгости. Едва началъ онъ лепетать, какъ обнаружилъ необыкновенную понятливость и ласковость. Онъ такъ трогательно повторялъ утромъ и вечеромъ: «Спаси, Господи, папеньку, маменьку, дѣдушку, тетенекъ, начальниковъ, покровителей и всѣхъ православныхъ христіанъ» и такъ мило при этомъ картавилъ и сюсюкалъ, что сердца родителей таяли отъ удовольствія. Четырехъ лѣтъ онъ зналъ наизусть «Отче нашъ» и «Все упованіе мое»; аккуратно послѣ обѣда и чаю цѣловалъ ручки у папаши и мамаши и каждое воскресенье непремѣнно сопровождалъ Семена Прокофьича къ обѣднѣ. Трудно было не радоваться на этого милаго ребенка, когда онъ, совершенно готовый въ путь, вбѣгалъ въ кабинетъ отца и торопилъ его въ церковь.

— Папа! скорѣе! звонятъ! — кричалъ онъ своимъ звонкимъ дѣтскимъ голосомъ.

— Сейчасъ, душенька! трезвонить еще будутъ!

— Мнѣ, папаша, ждать нельзя! я часы слушать хочу!

Съ какимъ-то особеннымъ чувствомъ гордости и блаженства шелъ Семенъ Прокофьичъ по Малой Подьяческой, ведя за руку сына, который истово и солидно переступалъ за нимъ своими маленькими ножками.

— Вашъ-съ?—спрашивали его встрѣчавшіеся по дорогѣ другіе начальники отдѣленій, которыми особенно изобилуетъ эта мѣстность.

— Самъ дѣлалъ! — шутилъ Семенъ Прокофьичъ: — вотъ какого пузыря вырастилъ!

— По гражданской части пустить намѣрены?

— Въ департаментъ, батюшка, въ департаментъ! Сначала въ заведеніе отдадимъ (безъ этого нынче нельзя), а потомъ и на большую дорогу поставимъ!

И затѣмъ, въ теченіе цѣлаго обѣда, непремѣнно шла рѣчь о Мишѣ, о его необыкновенномъ благонравіи и набожности.

— Даже затормошилъ меня!—повѣствовалъ Семенъ Прокофьичъ:—«часы, говоритъ, слушать хочу!»

— А намеднись,—хвасталась Анна Михайловна:—просто даже удивилъ! «Мама, говоритъ, купи мнѣ ризу!» Я спрашиваю: зачѣмъ тебѣ, душенька?—«А я, говоритъ, дома каждый день обѣдню служить буду!»

— Что-жъ? Это не дорого стоитъ! — вступился старикъ Рыбниковъ:—погоди, Михайло Семенычъ, я тебѣ ужо ризу подарю, да ужъ и камилавку кстати состряпаемъ — служи себѣ да послуживай!

И дѣйствительно, къ величайшей радости Миши, у него вскорѣ явилась и риза, и камилавка, и вырѣзанное изъ бумаги кадило. Запасшись этими принадлежностями, онъ цѣлые дни расхаживалъ по комнатамъ, размахивая кадиломъ и во весь свой дѣтскій голосъ выкрикивая: «аллилуйя!»

Чѣмъ болѣе выросталъ Миша, тѣмъ благонравнѣе и понятливѣе онъ становился. Когда на восьмомъ году его усадили за грамоту, то оказалось, что онъ ловитъ азы и склады налету. И что всего важнѣе—не только съ быстротою усвоиваетъ себѣ грамоту, но въ то же время смотритъ учителю въ глаза и въ ротъ. Словомъ сказать, и въ этомъ случаѣ онъ обнаружилъ такую ласковость, что даже учитель (дешевенькій, изъ кантонистовъ) былъ уязвленъ ею до глубины души и никогда не отзывался родителямъ о Мишѣ иначе, какъ съ волненіемъ.

— Это такой,—восклицалъ онъ:—такой, доложу вамъ... ну, просто, такой-съ...

— Ну, и слава Богу! — говорила Анна Михайловна съ блаженной улыбкой.

— Нѣтъ-съ, вы себѣ представить не можете! Это такой-съ... это, можно сказать, гордость-съ... Это просто именно...

Родители радовались и приглашали учителя въ воскресенье отвѣдать кулебяки съ сигомъ.

Природа дала Мишѣ понятливость; благонравіе дала ему среда, или, лучше сказать, квартира, въ которой онъ воспитывался. Эта квартира была совершенно своеобразная, такъ сказать, не самостоятельная, а служившая продолженіемъ департамента. Обстановка, въ которой жило семей-

ство Нагорновыхъ, вовсе не говорила о томъ, что тутъ живутъ люди, которые бьются со дня на день и думаютъ только о томъ, какъ бы спастись отъ нищеты. Напротивъ, здѣсь видѣлась даже извѣстная степень изобилія и запасливости. Но за всѣмъ тѣмъ на всемъ лежала такая печать наготы, монотонности и безрадостности, что свѣжій человѣкъ, безъ всякихъ постороннихъ внушеній, понималъ, что позволь себѣ хозяинъ хотя на пядь отступить отъ самой строгой аккуратности,—и вся эта запасливость разлетится въ прахъ. Все было пригнано и урѣзано такъ, чтобы жизнь вращалась только около необходимаго, не дозволяя себѣ никакого уклоненія въ сторону, а тѣмъ менѣе баловства. Если на мебели можно сидѣть — ну, и слава Богу; если въ подсвѣчникъ можно вставить свѣчу—вотъ все, что требуется. Вся роскошь заключалась въ чистотѣ и въ той казенной симметріи, съ которою была расположена каждая вещь. Казалось, что эту квартиру когда-то обмеблировали, засадили туда какихъ-то людей, не совсѣмъ арестантовъ, но и не совсѣмъ не-арестантовъ, и потомъ закупорили со всѣхъ сторонъ, съ тѣмъ, чтобы туда никогда не проникала струя свѣжаго воздуха. Затѣмъ постепенно образовалась какая-то кисленькая атмосфера, къ которой живущіе въ ней такъ принюхались, что уже не обнаруживали ни малѣйшаго поползновенія освѣжиться. Эти люди отмѣривали время съ такою же безучастною объективностью, съ какою аршинникъ мѣряетъ матерію: вотъ отмѣрено двадцать четыре аршина, потомъ еще, а тамъ гробъ—и конецъ отмѣриванію. Внѣ стѣнъ квартиры—все было неизвѣстность и мракъ. Внѣшній міръ наполненъ подводныхъ камней, опасностей и обидъ. Попробуй-ка, сунься выйти на улицу — какъ разъ наскочишь на сорванца, который или языкъ тебѣ покажетъ, или архивной крысой обзоветъ, или просто до смерти замистифируетъ. А дома между тѣмъ тепло и уютно: знаешь, гдѣ какая вещь лежитъ, ни на что не наткнешься и ужъ, конечно, не поскользнешься на пространствѣ какихъ-нибудь пяти-шести сажень. Стало-быть, жить слѣдуетъ такимъ образомъ: какъ можно больше прижиматься къ сторонѣ, никого не затрогивать и твердо знать, въ какіе часы какая обязанность предстоитъ, не смѣшивая и тѣмъ болѣе не допуская легкомысленной забывчивости.

Быть-можетъ, этотъ безрадостный складъ жизни возбуждалъ когда-то въ сердцѣ смутный ропотъ, но съ теченіемъ времени онъ такъ всосался въ плоть и кровь, что сдѣлался

второю природой. Ни Семена Прокофьича, ни Анну Михайловну даже не порывало никуда: не только въ гости или въ театръ, но просто прогуляться. Они выходили изъ квартиры только по нуждѣ: онъ—въ департаментъ, она—на рынокъ, и забыли даже о возможности какихъ-либо другихъ отлучекъ. За все послѣднее время Семенъ Прокофьичъ только два раза вышелъ прогуляться, да и тутъ не обошлось безъ непріятностей. Въ первый разъ налетѣлъ на него какой-то сорванецъ, объявилъ себя старымъ знакомымъ, очень искусно выпыталъ, что у Семена Прокофьича была пріятельница, какая-то Катерина Прохоровна, увѣрилъ, что она умерла, и въ ту самую минуту, когда старикъ Нагорновъ вошелъ во вкусъ, сталъ охать и ахать—показалъ ему языкъ и убѣжалъ. Въ другой разъ налетѣлъ другой сорванецъ, снялъ шляпу, перекрестился и поцѣловалъ его прямо въ орденъ святыя Анны, который Семенъ Прокофьичъ очень тщательно и не безъ нѣкотораго хвастовства разстилалъ у себя на груди. Все это было обидно и больно, все убѣждало сидѣть дома и какъ можно рѣже переступать за порогъ его.

Въ такой атмосферѣ Миша невольно складывался благонравнымъ, аккуратнымъ, усидчивымъ и почтительнымъ ребенкомъ. Съ самой ранней юности слухъ его все чаще поражали слова: служба и департаментъ. Съ утра до вечера онъ слышалъ разговоры о департаментѣ, въ которыхъ сосредоточивалось все: и сѣтованія, и радости, и надежды, и предвидѣнія будущаго. Спрашивалъ ли онъ утромъ, куда папаша собирается,—ему отвѣчали—въ департаментъ. Кто въ передней дожидается съ портфелемъ?—курьеръ привезъ бумаги отъ директора департамента. Чему папаша радуется?—ему привезли орденъ изъ департамента. Отчего папаша встревоженъ? — онъ боится, чтобъ его не обошли въ департаментѣ наградой. Начиналъ ли онъ рѣзвиться шумливѣе обыкновеннаго—его останавливали фразой: «не шуми, не мѣшай папашѣ; у него завтра докладъ въ департаментѣ». Въ скрипѣ пера, въ щелканьи косточками счетовъ, раздававшемся по вечерамъ въ тиши отцовскаго кабинета, въ той торопливости, съ которою подавался обѣдъ по приходѣ отца, — вездѣ слышался департаментъ. Даже когда Семенъ Прокофьичъ заваливался послѣ обѣда всхрапнуть на диванѣ, и тогда невольно приходило на умъ: такъ можетъ храпѣть только человѣкъ, намаявшійся утромъ въ департаментѣ! Однимъ словомъ, было очевидно, что папаша

былъ прикрѣпленъ къ департаменту таинственною пуповиной, которую ежели разорвать, то папаша изойдетъ кровью, а за нимъ слѣдомъ изойдетъ кровью и все то, что̀ разъ навсегда заперто въ этой квартирѣ.

Правда, что представленія Миши о департаментѣ еще были довольно фантастичны. Онъ не понималъ дѣйствительной департаментской организаціи, а скорѣе представлялъ ее себѣ въ видѣ какого-то загадочнаго царства тѣней. Войдя въ это царство, папаша перестаетъ быть папашей, сохраняетъ только крестъ на шеѣ и, окруженный Васильемъ Прохорычемъ, Авдѣемъ Дмитричемъ, Алексѣемъ Иванычемъ и Владиміромъ Николаичемъ (такъ назывались столоначальники Нагорнова), витаетъ въ пространствѣ, созерцая лицо директора и непрестанно славословя предъ нимъ. Но вотъ пробило четыре часа,—и видѣнія исчезаютъ. Папаша снова дѣлается папашей, надѣваетъ пальто и вмѣстѣ съ прочими воплотившимися тѣнями, словно изъ темной трубы, выползаетъ изъ-подъ арки главнаго штаба. Черезъ минуту все пространство отъ Малой Милліонной до Подьяческихъ наполняется блѣдными, изнуренными лицами, на которыхъ читается одна настоятельная мысль: пора водку пить!

Но, какъ ни фантастичны были эти мечты, важно было то, что въ мозгу Миши уже внѣдрилась идея департамента. Департаментъ—это цѣлое будущее; департаментъ—это глухой переулокъ, изъ котораго можно выйти только назадъ по Большой Морской въ Подьяческую. Департаментъ—это сама неизбѣжность, это шхера, около которой, какъ ни лавируй, все-таки никакъ не минешь, чтобы не наткнуться на нее.

— И благодѣтельная шхера-съ! тутъ не разобьешься, а слаще, чѣмъ въ наилучшей гавани, отдохнешь! — объяснялъ Семенъ Прокофьичъ, когда кто-нибудь позволялъ себѣ выразить въ его присутствіи хоть какое-нибудь сомнѣніе насчетъ живительныхъ свойствъ департамента.

Или:

— Ты попробуй-ка, сунься въ другомъ мѣстѣ поискать—анъ тутъ оступился, въ другомъ мѣстѣ промахъ далъ, а въ третьемъ и вовсе оказался негоднымъ! А въ департаментѣ-то, какъ у Христа за пазушкой! дѣло у тебя постоянное, вѣрное... какъ калачъ! Не только никакихъ выдумокъ отъ тебя не требуютъ, но даже если бы ты и гораздъ былъ на выдумки, такъ запретъ тебѣ на нихъ положатъ!

Пиши! округляй! а выдумывать предоставь прощелыгамъ да проходимцамъ. Такъ-то-съ!

Благодаря такой обстановкѣ, Миша незамѣтно научился смотрѣть на родительскую квартиру, какъ на продолженіе департамента, на отца—какъ на ходячій осколокъ департамента, и даже на самого себя—какъ на дитя департамента.

— А скоро, папаша, я въ службу пойду?—часто приставалъ онъ къ Семену Прокофьичу.

— Вотъ, душенька, выучишься, а тамъ съ Богомъ и на службу! Вмѣстѣ будемъ лямку тянуть.

— И мундиръ мнѣ, папаша, дадутъ?

— И мундиръ дадутъ, и крестъ дадутъ... все какъ у папаши! Будь только прилеженъ и благонравенъ, а начальство ужъ наградитъ!

Слушая такія рѣчи, Миша усугублялъ рвеніе и, никогда не теряя изъ вида департамента, съ какою-то восторженностью зубрилъ: «города, стоящіе на Волгѣ, суть: Ржевъ, Зубцовъ, Старица, Тверь, Корчева» и т. д.

— А чѣмъ замѣчателенъ городъ Лаишевъ?—по временамъ испытывалъ его отецъ.

— Лаишевъ, уѣздный городъ Казанской губерніи, стоитъ при рѣкѣ Волгѣ, имѣетъ соборъ и рыбныя ловли.

— Ну, а городъ Свіяжскъ, напримѣръ?

— Свіяжскъ, уѣздный городъ Казанской губерніи, стоитъ при сліяніи рѣки Волги и Свіяги, имѣетъ соборъ и рыбныя ловли.

— Ну, а городъ Чебоксары?

— Чебоксары, уѣздный городъ Казанской губерніи, стоитъ на рѣкѣ Волгѣ, имѣетъ соборъ и рыбныя ловли.

— Да такъ ли, полно? что-то ты ужъ очень сходственно говоришь!

— Это такъ точно-съ, Семенъ Прокофьичъ,—вступился учитель:—Михайло Семенычъ нашъ не слукавитъ-съ! Это такой ребенокъ... такой, доложу вамъ, ребенокъ-съ...

И шли дни за днями, укрѣпляя въ Мишѣ вѣру въ ожидающее его департаментское будущее и обогащая его умъ познаніями. Наконецъ Ветлуги, Мценски и Новосили неизгладимыми буквами навсегда утвердились въ его памяти. Мишѣ минуло двѣнадцать лѣтъ. Это былъ срокъ, въ который заранѣе назначено было отдать его въ заведеніе.

«Заведеніе», въ которое поступилъ Миша Нагорновъ, имѣло спеціальностью воспитывать государственныхъ мла-

денцевъ. Поступитъ въ «заведеніе» партикулярный ребенокъ—сейчасъ начнутъ его со всѣхъ сторонъ обшлифовывать и обгосударствливать,—глядишь, черезъ шесть-семь лѣтъ ужъ выходитъ настоящій, заправскій государственный младенецъ.

Государственный младенецъ тѣмъ отличается отъ прочихъ людей вообще и отъ людей государственныхъ въ особенности, что даже въ преклонныхъ лѣтахъ не можетъ вырасти въ мѣру человѣка. Вглядитесь въ его жизнь и дѣйствія—и вамъ сразу будетъ ясно, что онъ совсѣмъ не живетъ и не дѣйствуетъ, въ реальномъ значеніи этихъ словъ, а все около чего-то вертится и что-то у кого-то заимствуетъ. Или около человѣка, или около теоріи, вообще около чего-то такого, что̀ съ нимъ, государственнымъ младенцемъ, не имѣетъ ничего общаго. Въ низменныхъ слояхъ общества это свойство обнаруживается съ особенною наглядностью. Очень часто вы встрѣчаете малаго лѣтъ сорока-пятидесяти, которому совершенно развязно говорятъ:

— Ѳедя! возьми, братъ, тамъ на столѣ рублевую и бѣги въ лавку за икрой!

Или:

— Ѳедя! слетай, братъ, къ Ивану Иванычу, скажи ему, что намъ безъ него жить невозможно!

Ѳедя беретъ рублевую, бѣжитъ въ лавку, приноситъ фунтъ икры и безъ утайки двадцать копеекъ сдачи. И вы чувствуете, что никому изъ здѣ предстоящихъ подобнаго приказанія отдать нельзя, а Ѳедѣ можно. Быть-можетъ, у Ѳеди сѣдина въ бородѣ пробивается, быть-можетъ, у него есть жена и дѣти, а его все-таки посылаютъ въ лавочку за икрой, и ему не приходитъ даже въ голову протестовать противъ подобнаго помыканія. Почему? — а потому просто, что онъ не выросъ и никогда не вырастетъ въ мѣру человѣческаго роста, потому что онъ не живетъ, не поступаетъ, а вертится и гоношитъ.

Въ высшихъ сферахъ это состояніе вѣчнаго младенчества выступаетъ не такъ рельефно, во-первыхъ, потому, что человѣкъ-планета, около котораго вертится человѣкъ-спутникъ, не всегда бываетъ для простого глаза видимъ, а во-вторыхъ, потому, что если человѣкъ-планета и видимъ, то онъ заявляетъ о своемъ присутствіи въ болѣе мягкихъ формахъ. Сколько спутниковъ имѣли и имѣютъ, напримѣръ, такія планеты, какъ Меттернихъ, Наполеонъ, Бисмаркъ и

другіе? Сколько спутниковъ имѣли и имѣютъ другія, еще болѣе таинственныя планеты, какъ, напримѣръ: неуклонное исполненіе обязанностей, строгость, натискъ, нелицепріятное примѣненіе правосудія и такъ далѣе?—На эти вопросы ни одинъ мудрецъ даже приблизительно не отвѣтитъ. Стоитъ начертить кругъ, дать ему названіе системы или принципа, чтобы въ этомъ кругѣ появились миріады вѣчныхъ недорослей, которые по первому манію и въ лавочку за икрой побѣгутъ и подслушать не прочь, а въ случаѣ крайности—даже изъ ружья выпалить готовы.

— Ѳедя! подслушай!

— Опасно!

— Да ты не толкуй, а пойми, что тебѣ говорятъ: надо подслушать!

А у Ѳеди тѣмъ временемъ ужъ и морду перекосило отъ усердія и натуги; онъ только для острастки, для вида протестовалъ, а на самомъ дѣлѣ ужъ даже смекнулъ, какъ эту штуку устроить.

— Надо это дѣльце умненько сдѣлать,—говоритъ онъ:—вотъ развѣ...

И начинаетъ развивать цѣлый планъ, одинъ изъ тѣхъ плановъ, которые всегда какъ-то разомъ рождаются въ головахъ недорослей, не богатыхъ иниціативой, но изобилующихъ всевозможными исполнительными каверзами. Ему и боязно, и въ то же время онъ сознаетъ, что не подслушать для него никакъ невозможно. Подобно выдрессированному зайцу, приближается вѣчный недоросль къ взведенному курку ружья, дрожа всѣмъ тѣломъ, хватается зубами за веревочку, спускаетъ курокъ... и прежде, чѣмъ ружье успѣетъ выпалить, падаетъ въ обморокъ. Кажется, тутъ есть все: и отвращеніе къ огнестрѣльному оружію, и страхъ, и даже обморокъ, а все-таки онъ спуститъ курокъ и въ этотъ, и въ другой, и въ милліонный разъ, потому что этого требуетъ отъ него система, это предписываетъ человѣкъ-планета: Меттернихъ, Наполеонъ III, Бисмаркъ...

Миша Нагорновъ съ самыхъ раннихъ лѣтъ обнаруживалъ готовность вертѣться и быть вѣчнымъ недорослемъ. Уже дома онъ умѣлъ смотрѣть старшимъ въ ротъ и въ глаза и зналъ, когда слѣдуетъ поцѣловать въ ручку и когда—въ плечо. Въ «заведеніи»—этимъ благонадежнымъ зародышамъ было суждено распуститься въ пышный цвѣтъ. Онъ не просто слушался, а слушался съ удовольствіемъ, съ радостью. Глаза его при этомъ блестѣли, ротъ улыбался,

сердце билось; однимъ словомъ, все его существо принимало благодарное участіе въ подвигѣ послушанія. Это былъ даже не подвигъ для него,—это было требованіе его натуры. Онъ понималъ надзирателя съ одного слова и всегда шелъ дальше этого слова, то-есть отгадывалъ сокровенную его мысль, доканчивалъ ее и комментировалъ въ ущербъ себѣ и на пользу послушанію. Несмотря на общій, довольно высокій уровень благонравія въ заведеніи, Миша даже между благонравными былъ благонравнѣйшимъ. Онъ вовсе не былъ смиренъ въ банальномъ значеніи этого слова; нѣтъ, онъ былъ даже рѣзовъ, но это была та милая, откровенная рѣзвость, которая такъ по сердцу воспитателямъ и которая свидѣтельствуетъ о всегда открытомъ сердцѣ воспитываемаго.

— Нагорновъ ведетъ себя и учится хорошо не потому, что этого требуютъ уставы заведенія, а потому, что ему *пріятно* учиться и вести себя хорошо,—говорили о немъ начальники и, высказывая эту истину, обнаруживали несомнѣнную проницательность и знаніе человѣческаго сердца, не всегда начальству свойственное.

— Я, мамаша, не понимаю, какъ можно быть послѣднимъ въ классѣ! — на первыхъ же порахъ сообщилъ онъ Аннѣ Михайловнѣ:—насъ въ классѣ тридцать три человѣка, а всегда какъ-то такъ случается, что я и по наукамъ, и по поведенію первый!

— Это оттого, что ты слушаешься, душенька!

— Я, мамаша, не то чтобы боялся чего-нибудь, а такъ... пріятно! Вотъ у насъ одинъ ученикъ, Погорѣловъ, есть, такъ тотъ тоже всѣ уроки знаетъ, а все-таки никогда *первымъ* не будетъ! Во-первыхъ, онъ сидитъ на задней лавкѣ, а у насъ, мамаша, кто хочетъ *первымъ* быть, долженъ сидѣть на передней лавкѣ, чтобъ его всегда видѣли... Потому что, согласитесь сами, мамаша, ежели бы я, напримѣръ, сидѣлъ на задней лавкѣ, могъ ли бы учитель видѣть, что я всегда готовъ отвѣчать?

— Само собой, мой другъ.

— Или вотъ тотъ же Погорѣловъ: ведетъ-ведетъ себя хорошо,—да вдругъ и нагрубитъ!

— Ты, душенька, съ мерзавцами-то не связывайся!

— Я, мамаша, ни съ кѣмъ не связываюсь, у кого баллы дурные. Потому я не знаю... мнѣ кажется, что съ ними мнѣ не объ чемъ говорить!

И дѣйствительно, ему не объ чемъ было говорить съ

тѣми непослушными, вѣчно глядящими въ лѣсъ дѣтьми, экземпляры которыхъ, несмотря на обшлифовываніе, все-таки нерѣдки въ заведеніяхъ. Не то чтобы онъ преднамѣренно обѣгалъ ихъ, но природѣ его былъ положительно противенъ протестъ, котораго они были вмѣстилищемъ. «Послушаніе» нашло въ немъ себѣ полнѣйшее осуществленіе. Онъ былъ рѣзвъ и смиренъ именно тогда, когда это какъ разъ сходилось съ уставами заведенія. Онъ вовсе не былъ произведеніемъ дрессировки, насильственнымъ образомъ заставляющей пригибаться подъ гнетомъ извѣстныхъ требованій: онъ представлялъ собой непосредственное олицетвореніе самого устава. Онъ инстинктомъ угадывалъ, когда слѣдуетъ быть рѣзвымъ и когда слѣдуетъ быть смирнымъ. Въ часы рѣзвости онъ былъ даже рѣзвѣе и шумливѣе другихъ, но для устава это было не только не оскорбительно, но даже очень пріятно. Что означаетъ рѣзвость ребенка?—она означаетъ, что ребенокъ доволенъ собой, своими воспитателями, «заведеніемъ», всею обстановкой. Она означаетъ, что въ ребенкѣ играетъ благодарное сердце, что онъ съ спокойной совѣстью обращается къ своему невинному вчерашнему дню и съ свѣтлымъ довѣріемъ взираетъ на свой невинный завтрашній день. Такая подкладка рѣзвости восхитительна даже въ томъ случаѣ, если она выражается нѣсколько шумно. Миша зналъ это и потому въ назначенные для рѣзвости часы бѣгалъ рысью, скакалъ галопомъ, кувыркался, оглашалъ рекреаціонную залу крикомъ, и при этомъ никогда не приходило ему въ голову скрыться изъ района гувернерскаго наблюденія. Съ своей стороны, и воспитатели любовались его рѣзвостью, ибо видѣли, что дитя не повѣсничаетъ, а рѣзвится—потому что оно довольно и исполнено довѣрія.

— Nagornoff, mon ami! vous êtes tout en nage! allons, reposons-nous, mon enfant!—говорилъ ему мосьё Петанлеръ и говорилъ такимъ голосомъ, въ которомъ явственно звучала нота безконечнаго благожелательства къ милому ребенку.

Нагорновъ хваталъ эту ноту налету и, прекративъ кувырканье, садился невдалекѣ отъ мосьё Петанлера и дѣлался смирнымъ. Но не принужденье видѣлось въ его глазахъ, а удовольствіе, внушаемое сознаніемъ, что его усадили именно въ ту самую минуту, когда ему самому приходило на мысль, что слѣдуетъ сѣсть. Пройдетъ десять минутъ, онъ простынетъ, и мосьё Петанлеръ, конечно, скажетъ ему:

— Allons, mon ami! amusez-vous donc! Que diable! à votre âge il ne faut pas rester toujours sérieux!

И Миша опять начнетъ играть въ веревочку, прыгать, скакать—и все отъ души.

Такъ шло «поведеніе» этого мальчика; такъ же шли и «науки». Онъ понималъ, когда слѣдуетъ учиться и когда слѣдуетъ слушать. Въ часы репетиціи онъ весь уходилъ въ учебникъ, зажималъ себѣ уши, мѣрно качался всѣмъ корпусомъ и, изрѣдка выпрямляясь, съ какимъ-то гордодовольнымъ видомъ произносилъ фразу изъ учебника, въ родѣ: «раздался звукъ вѣчевого колокола,—и дрогнули сердца новгородцевъ», или: «les Novogorodiens disaient oui et perdirent leur liberté».

— Филимоновъ! — обращался онъ къ своему товарищу по лавкѣ: — почему Карамзинъ сказалъ: «*раздался* звукъ вѣчевого колокола» и «*дрогнули* сердца новгородцевъ», а не «звукъ вѣчевого колокола *раздался*» и «сердца новгородцевъ *дрогнули*»?

— А почемъ я знаю! я у него въ головѣ не былъ!

— Чудакъ! потому что такъ сильнѣе! «Раздался»! «Дрогнули»!—тутъ натискъ есть. Надо, чтобы именно эти, а не другія слова сразу поразили читателя!

И затѣмъ онъ опять весь уходилъ въ учебникъ, зажималъ себѣ уши и мѣрно покачивался всѣмъ корпусомъ.

Но во время классовъ тетрадки и книги всегда лежали передъ нимъ закрытыми. Подобно фокуснику, производящему опыты магіи на ничѣмъ не покрытомъ столѣ, онъ, казалось, говорилъ учителю:—смотри! я безпомощенъ! ни подъ лавкой, ни на лавкѣ у меня ничего нѣтъ, а попробуй-ка спросить меня! И учитель понималъ это и какъ бы магнитомъ влекся къ Нагорнову.

Вызываетъ, напримѣръ, русскій учитель:

— Господинъ Осликовъ! «Оселъ и соловей»—*какая* это часть рѣчи?

— Глаголъ-съ.

Миша Нагорновъ мгновенно весь просвѣтляется и ѣстъ учителя глазами.

— Извольте спрятать.

— Я оселъ и соловей, ты оселъ и соловей, онъ...

Осликовъ умолкаетъ, замѣчая, что учитель подставилъ ему ножку. Нагорновъ просвѣтляется больше и больше.

— Господинъ Нагорновъ! объясните господину Осликову, *какая* часть рѣчи «Оселъ и Соловей».

— «Оселъ и Соловей»—это заглавіе одной изъ самыхъ нравоучительныхъ басенъ дѣдушки Крылова. Это не часть рѣчи, а соединеніе трехъ словъ, изъ которыхъ два: «оселъ», «соловей» — суть имена существительныя, а третье «и» — союзъ.

— Садитесь, господинъ Нагорновъ, а вы, господинъ Осликовъ...

И такъ далѣе.

Однимъ словомъ, между воспитателями и учителями съ одной стороны и Нагорновымъ — съ другой образовалась непрерывная симпатія, и — что всего важнѣе — образовалась совершенно естественно. Но за всѣмъ тѣмъ Миша не подольщался и не шпіонствовалъ, — качества, которыя особенно не нравятся товарищамъ. Онъ и въ этомъ смыслѣ могъ бы считаться образцомъ, потому что угадывалъ сущность устава не только по отношенію къ начальству, но и по отношенію къ товариществу. Онъ сразу поставилъ себя такимъ образомъ, что никто ни въ чемъ не могъ его обвинить. Всякій видѣлъ, что Миша чистъ какъ хрусталь, что онъ не предумышленно хорошо ведетъ себя и учится, а потому что иначе вести себя и учиться не можетъ. Часто онъ даже помогалъ лѣнивымъ и тупымъ, объясняя передъ классомъ урокъ, переводя заданный отрывокъ изъ «De viris illustribus», рѣшая математическія задачи и проч., но ни подсказывать, ни инымъ образомъ фальшивить не соглашался ни за что. Онъ даже лавку выбралъ такую, на которой сидѣли юноши разумные, не нуждающіеся въ подсказываньи, и былъ безконечно счастливъ, что можетъ безъ помѣхи всецѣло предаваться поучительному и радостному услѣживанію за выраженіемъ глазъ и рта учителя.

— Подлецъ ты, Нагорновъ! — брякнетъ отъ времени до времени Осликовъ, въ устахъ котораго слово: «подлецъ» не имѣло, впрочемъ, никакого сознательно-ругательнаго значенія: — «Солитеръ» (такъ звали въ «заведеніи» учителя русской грамматики по причинѣ неимовѣрно-длиннаго его роста) капканъ въ нѣкоторомъ родѣ человѣку ставитъ, а тебѣ и горя мало. Еще радуется, выскакиваетъ!

— Послушай, душа моя! — отвѣтитъ Нагорновъ: — не могу же я наконецъ! Чѣмъ же я виноватъ, что Амилій Васильевичъ ко мнѣ обращается!

И Осликовъ удовлетворяется этимъ объясненіемъ, ибо, въ сущности, самъ сознаетъ, что Нагорнову нельзя иначе, и что съ другой стороны и «Солитеру» тоже ничего иного

не остается, какъ обратиться за разрѣшеніемъ вопроса не къ кому другому, а къ Нагорнову, у котораго отъ природы всѣ разрѣшенія на лицѣ написаны.

Когда въ заведеніи происходили такъ-называемыя «исторіи», никто изъ товарищей никогда не могъ навѣрное опредѣлить, участвовалъ ли въ нихъ Нагорновъ, или уклонился отъ участія. Скорѣе всего, что въ такія торжественныя минуты объ немъ совсѣмъ переставали думать. Какъ-то само собой разумѣлось, что Нагорнову тутъ быть не для чего, что это совсѣмъ не его дѣло. Тѣмъ не менѣе, приготовляясь къ «исторіи», отъ него не скрывались и свободно развивали передъ нимъ проекты классныхъ возмущеній, не опасаясь, что онъ сошіонитъ. И дѣйствительно, онъ не только не шпіонилъ, но, заодно съ другими, выносилъ на себѣ послѣдствія «исторій».

— Eh bien, Nagornoff, mon ami! nous savons parfaitement que vous n'avez pas pris part dans cette vilaine histoire! Soyez donc sincère, mon enfant! Racontez-nous, comment cela s'est passé! — уговаривалъ его мосье Петанлеръ, залучивъ куда-нибудь въ уединенную комнату.

— Pardonnez-moi, monsieur, j'ai été coupable comme les autres! — отвѣчалъ Миша, то краснѣя, то блѣднѣя подъ гнетомъ насилія, которое онъ долженъ былъ сдѣлать надъ собой, чтобы наклеветать самому на себя.

— Vous mentez, mon ami, vous qui ne mentez jamais! Prenez garde, cher enfant! n'entrez pas dans cette voie pernicieuse qui a déjà gâté la carrière de maint jeune homme!

— Je vous assure, monsieur, que je ne mens pas!

Нагорнова отпускали, но онъ явственно слышалъ, какъ мосье Петанлеръ, хотя и ничего отъ него не добившись, все-таки вслѣдъ ему говорилъ: — Va, généreux jeune homme!

Такимъ образомъ даже самыя «преступленія» не только не пятнали его, но даже служили на пользу, сообщая ему, въ понятіяхъ начальства, оттѣнокъ чего-то рыцарскаго.

— Такъ какъ я не могу вѣрить, чтобъ воспитанникъ Нагорновъ участвовалъ въ вашей недостойной шалости, то, лишая весь классъ отпуска въ слѣдующее воскресенье, я для господина Нагорнова дѣлаю исключеніе! — сказалъ однажды инспекторъ послѣ одной изъ подобныхъ исторій.

Но Нагорновъ твердою стопой вышелъ изъ рядовъ и рѣшительно произнесъ:

— Позвольте и мнѣ раздѣлить участь моихъ товарищей!

Инспекторъ ласково взглянулъ на него, потрепалъ по щекѣ и, прошепталъ:

— Toujours le meme! toujours bon et généreux!—прослѣдовалъ въ свои апартаменты.

Просьба *перваго* ученика была удовлетворена, и онъ раздѣлилъ участь своихъ товарищей.

Анну Михайловну такія исторіи всегда приводили въ волненіе. Во-первыхъ, онѣ лишали ее случая видѣть Мишу въ воскресенье дома, и во-вторыхъ, она, какъ женщина, постоянно трепетала, какъ бы Миша какъ-нибудь въ солдаты не угодилъ.

— Какіе-нибудь негодяи, мерзавцы кашу заварятъ,—жаловалась она:—а нашъ терпи! Ихъ домой не пускаютъ, и нашего не пускаютъ! ихъ въ солдаты—и нашего въ солдаты?

Но защитникомъ Миши въ этихъ случаяхъ являлся самъ Семенъ Прокофьичъ.

— Что касается до солдатовъ, то ты черезчуръ хватила,—говорилъ онъ:—а относительно товарищества вотъ что̀ скажу: товарищей тоже выдавать не слѣдуетъ. Почемъ знать, кто чѣмъ въ будущемъ сдѣлается? Можетъ, прохвостомъ, а можетъ, и съ неба звѣзды хватать станетъ! Ты его теперь выдашь, а онъ въ свое время тебѣ припомнитъ: а помнишь ли, скажетъ, любезный другъ, какъ я передъ учителемъ дубина дубиной стоялъ, а ты въ ту пору надо мной фривольничалъ? Такъ-то вотъ.

— Все же таки...

— И все-таки нечего. Безъ ума головорѣзничать нашъ Михайло Семенычъ не станетъ—не таковъ онъ у насъ,—а держаться около товарищей полезно и нужно,—это я всегда скажу. Нынче такое время, что не знаешь, съ кѣмъ говоришь и къ кому завтра подъ начало попадешь. Ужъ я на что старикъ — и то берегусь. Сегодня *онъ* по тротуару гремитъ, а завтра *онъ* начальникомъ надъ тобой будетъ. Ты *ему* сегодня, покуда онъ по тротуару гремитъ, сгрубилъ, а завтра *онъ* тебя въ бараній рогъ согнетъ... Вотъ тутъ и угадывай!

Соображенія эти нѣсколько успокоивали Анну Михайловну, и едва успѣвали отобѣдать, какъ она уже летѣла въ «заведеніе», завернувъ въ салфетку пирогъ съ сигомъ, до котораго въ эти дни, разумѣется, никто не дотрогивался. И умиленіе ея возрастало до крайнихъ предѣловъ, когда самъ Петанлеръ, узнавъ о ея пріѣздѣ, подходилъ къ ней и говорилъ:

— Вашъ сынъ, сударыня,—это утѣшеніе родителей, слава заведенія и гордость товарищей!

Судебная реформа произвела въ «заведеніи» необыкновенное, почти отуманивающее дѣйствіе, особливо съ той минуты, когда на дѣлѣ послѣдовало открытіе новыхъ судовъ, и ученики увидѣли иҳъ лицомъ къ лицу. Витіи гремѣли, присяжные засѣдатели глядѣли безпомощно и метались словно въ предсмертной агоніи; судьи старались казаться безстрастными. Въ публикѣ ходили слухи о какихъ-то баснословныхъ кушахъ, о какихъ-то компаніяхъ, составляющихся съ цѣлью наипоспѣшнѣйшаго ободранія кліентовъ. Говорили, что изъ Москвы нарочно пріѣзжалъ какой-то грекъ и предлагалъ разостлать по всей Россіи такую паутину, чтобъ ни одинъ кліентъ не могъ миновать ея, а разъ попавшись—не могъ бы изъ нея выпутаться.

— Позвольте однако-жъ,—спорили въ публикѣ:—ежели всѣхъ кліентовъ сразу умертвить,—что-жъ останется въ будущемъ?! Вѣдь это значитъ подрывать будущее!

— Какое тамъ еще будущее!—отвѣчали спорщикамъ:—во-первыхъ, кліентъ безсмертенъ; сегодня умерщвленъ одинъ, завтра народится другой; во-вторыхъ, ежели переведется кліентъ, развѣ нельзя фабрикаціей гороховой колбасы заняться или по желѣзнодорожной части куски рвать? Тутъ, батюшка, каждая минута дорога!

Повѣствовали, что такой-то взялъ съ кліента тридцать процентовъ, такой-то уготовалъ себѣ мѣсто предсѣдателя конкурса съ фельдмаршальскимъ жалованьемъ, такъ что всѣ доходы съ имѣнія несостоятельнаго должника должны будутъ пойти на удовлетвореніе расходовъ по конкурсу...

Но суды открывались постепенно, потому что «людей не было»; адвокатскіе ряды пополнялись тоже медленно, тоже потому, что «людей не было». До сихъ поръ были только звѣри, а теперь понадобились *люди*. Но для *людей*, если таковые находились, ворота были отворены настежь; будь только *человѣкомъ*—и можешь быть обнадеженъ,

Что подъ каждымъ здѣсь листомъ
Ты найдешь и столъ, и домъ...

Карьера!—Это слово спирало въ зобу дыханіе. Прежде карьера была вещь относительно трудная, достижимая только для нѣкоторыхъ, «особливою знатностью отличающихся людей». Худородный человѣкъ долженъ былъ употребить неимовѣрныя усилія, чтобы добраться до пирога. Сколько

нужно было съѣсть грязи, сколько перецѣловать плечиковъ! сколько поставить банокъ къ поясницѣ, наболѣвшей и словно помертвѣвшей подъ гнетомъ ожиданій въ пріемныхъ, переднихъ и канцеляріяхъ! Алчущій пирога, предварительно допущенія къ нему, долженъ былъ проглотить шпагу, съѣсть раскаленный желѣзный орѣхъ, запить стаканомъ дегтя и т. д. Теперь—пирогъ стоялъ ничѣмъ не защищенный, при открытыхъ дверяхъ, и всѣхъ приглашалъ насладиться. «Вси пріидите! вси насладитесь! Всякій да ястъ!» И тотъ, кто пришелъ въ шестомъ часу, и тотъ, кто пришелъ въ девятомъ часу! Лишь былъ бы *человѣкъ!* Жри!

Человѣкъ! Но гдѣ же клеймо, съ помощью котораго можно было бы отличить человѣка отъ тысячеглаваго змія? На первыхъ порахъ многіе затруднялись этимъ вопросомъ и вслѣдствіе того робѣли рекомендоваться въ качествѣ *людей.* Но вскорѣ одумались и начали дѣйствовать вольнымъ духомъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто же тотъ юродивый простецъ, который, облизываясь на пирогъ, скажетъ о себѣ: хотѣлось бы мнѣ отвѣдать сего пирога, но, къ сожалѣнію, я *не человѣкъ?* Не правильнѣе ли предположить, что даже тотъ, кто воистину *не человѣкъ*, скорѣе скроетъ это печальное обстоятельство, нежели публично повѣдаетъ объ немъ, добровольно воздерживаясь отъ пирога? Въ древнія времена юродивымъ было довольно трудно скрыть свое юродство, ибо тогда люди ходили съ лампадами: погаснетъ лампада, навоняетъ—значитъ, нѣтъ тебѣ царства небеснаго. Нынче и тутъ облегченіе: юродивый безъ лампады ходитъ и слѣдовательно имѣетъ возможность напакостить съ гору, прежде нежели наполнитъ вселенную зловоніемъ...

Такимъ образомъ люди нашлись...

И что за карьера предстояла имъ! Съ одной стороны—лестная обязанность защищать общество отъ поползновеній преступной воли, обязанность, сопровождаемая прекраснѣйшимъ содержаніемъ и надеждами на блестящее будущее, въ случаѣ оправданія начальственнаго довѣрія. Съ другой—лестная обязанность ограждать невиннаго, защищать попранное право собственности, — обязанность, сопровождаемая тысячными кушами, пѣніемъ, танцами, увеселительными прогулками съ Деверіей, Шнейдершей, а, пожалуй, хоть и съ цѣлымъ персоналомъ любого кафе-шантана...

— Ты что получилъ за такое-то дѣло?

— Да что! всего пять тысячъ! не стоило руки марать!

— А я черезъ годъ думаю лавочку закрыть! Наработаю тысячъ двѣсти-триста—и на боковую!

Такого рода разговоры слышались вездѣ, да другихъ (по крайней мѣрѣ, въ теченіе перваго, горячаго времени) и не было... Рестораны переполнены; шампанское льется рѣкой; облитые потомъ татары бѣгаютъ, не слыша подъ собою ногъ; ассигнаціи мелькаютъ въ воздухѣ, какъ мухи въ жаркій лѣтній день... Кто сіи ликующіе, стремящіеся затмить своимъ ликованіемъ ликованіе желѣзнодорожныхъ дѣятелей? Это они, это вчерашніе рыбари, это сегодняшніе ловкачи ташкентцы, отвѣдывающіе отечественнаго нирога!

Спеціалисты по части убійствъ, спеціалисты по части личныхъ оскорбленій и купеческихъ самодурствъ, спеціалисты по части бракоразводныхъ дѣлъ—все посыпалось словно изъ рога изобилія. «Пальты, сапоги, сакъ-вояжи, ситцы, люстрины... пожалуйте, господинъ! къ намъ пожалуйте!»

Жрать!!!

Рубль, выглядывающій изъ кармана ближняго-простеца, мѣшаетъ спать. «Зачѣмъ тебѣ, простофиля, рубль? зачѣмъ ты зажалъ его въ рукѣ?—разожми! Я возьму этотъ рубль, зажгу его на свѣчкѣ и закурю имъ сигару!»

Дальше рубля взоръ ничего не видитъ. Ни общаго смысла жизни, ни смысла общечеловѣческихъ поступковъ, ни прошлаго, ни настоящаго, ни будущаго. Все сосредоточилось, замкнулось, заклепалось въ одномъ словѣ: жрать!

Естественно, что этотъ неистовый кличъ, немолчно раздававшійся по стогнамъ города, не могъ не взволновать воображенія птенцовъ «заведенія». Въ этомъ кличѣ открылась своего рода система, новый кругъ, въ которомъ имъ суждено было встрѣтиться, и они ринулись туда съ головой. Птенецъ, у котораго вчера другой мысли не было, кромѣ: «раздался звукъ вѣчевого колокола», сегодня, пользуясь праздничнымъ днемъ, уже намѣчаетъ на Невскомъ чистокровный рыжій экземпляръ и не безъ увѣренности говоритъ себѣ: «моя!» Слыша, что происходитъ въ мірѣ большихъ, каждый птенецъ сознаётъ себя *человѣкомъ*, ибо каждый понимаетъ, что въ немъ имѣется достаточный запасъ юркости и способности, чтобы вмѣстѣ съ другими кричать: «Лови! не задерживай таліи! слѣдующій! слѣдующій!»

Но если «птенцы» были взбудоражены, то родители, въ свою очередь, отъ полноты чувствъ, могли только произносить: «ахъ!» Они смотрѣли на своихъ подростковъ, пред-

ставляли себѣ, что̀ ждетъ ихъ въ будущемъ, и говорили: «ахъ!» Они шли по Невскому, встрѣчались съ камеліей, и ихъ осѣняла мысль, что, можетъ-быть, черезъ годъ эта самая камелія (увы! нынче родители уже и объ этихъ дѣтскихъ удобствахъ пекутся!..) «ахъ!» Проходя мимо Елисеева, Дюсо, Бореля, они восклицали: «ахъ!» Даже на художественную выставку смотрѣли какими-то плотоядными, завидущими глазами... Только бы поскорѣе, только бы курсъ кончить, а что всѣ эти Елисеевы, Борели, кокотки, художники будутъ въ *нашихъ* рукахъ—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія! За это ручается врожденная юркость «штенцовъ», ихъ способность кричать всегда и при всякомъ случаѣ: «лови! не задерживай!»

Подобно другимъ, Миша Нагорновъ ходитъ какъ отуманенный. Онъ ропщетъ на Бога и на людей за то, что ему еще два года предстоитъ маяться въ «заведеніи». Онъ чувствуетъ себя уже готовымъ, то-есть настолько же юркимъ, какъ X. или Z., давно уже пріобрѣвшіе себѣ титулъ «ловкачей». Онъ даже пробовалъ однажды свои силы: переодѣлся въ статское платье и подъ именемъ «аблаката» Иванова явился въ камеру мирового судьи защищать дѣло «о излишне затребованномъ за котлету четвертакѣ».

— И защитилъ!—говорилъ онъ, весь пылая, собравшимся вокругъ него товарищамъ.—Ахъ, господа! вы представить себѣ не можете, какое это чувство!

Въ «заведеніи», вмѣсто баровъ, игры въ веревочку и пятнашки, завелась игра въ суды. Явились судьи, прокуроры, адвокаты! Присяжные засѣдатели избирались изъ учениковъ младшаго класса на томъ основаніи, что они, какъ дѣти, должны были сохранить совѣсть во всей неприкосновенности. Обвинялся обыкновенно лѣнивѣйшій изъ учениковъ, Осликовъ, на томъ основаніи, что ему, какъ неспособному и притомъ сыну очень бѣдныхъ родителей, не предстоитъ въ будущемъ никакой блестящей карьеры, а слѣдовательно и готовиться не къ чему, кромѣ скамьи обвиняемыхъ. Обвиняли его въ самыхъ разнообразныхъ преступленіяхъ, такъ что если-бъ сложить ихъ всѣ вмѣстѣ и показать ему эту массу злодѣйствъ въ яркой картинѣ, то даже онъ, несмотря на свою непонятливость, понялъ бы и пришелъ бы въ ужасъ отъ неключимости содѣяннаго имъ.

Едва пробилъ звонокъ, возвѣщающій рекреацію, какъ уже ученики бѣгутъ въ залъ и торопливо садятся по мѣ-

стамъ. Слышится сдержанный говоръ; Осликовъ уже засѣлъ на скамью подсудимыхъ и окидываетъ товарищей безучастнымъ взглядомъ: защитникъ Тонкачевъ вбѣгаетъ запыхавшись, какъ будто сейчасъ только перехватилъ въ буфетной, и наскоро перелистовываетъ бумаги. Онъ изрѣдка обращается къ Осликову и шепчетъ ему, настолько однако-жъ громко, что передніе ряды публики слышатъ: «Смотри же, болванъ, показывай, какъ я училъ. Я тутъ за тебя распинаться буду, а ты, пожалуй, сдуру брякнешь!» По другую сторону залы сидитъ обвинитель Нагорновъ, котораго открытая физіономія блещетъ сладкою увѣренностью, что вотъ-вотъ сейчасъ этого самаго Осликова онъ безъ масла проглотитъ. Судъ намѣренно мѣшкаетъ. Присяжные засѣдатели вздыхаютъ и разсуждаютъ о томъ, нельзя ли какъ-нибудь отпроситься. Наконецъ влетаетъ судебный приставъ (тоже изъ лѣнивыхъ) и возглашаетъ: «судъ идетъ!» Всѣ встаютъ и молча ожидаютъ, покуда судьи усядутся.

Нѣкоторое время судьи шепчутся. Они понимаютъ, что судьямъ необходимо совѣщаться, хотя бы они сейчасъ только вышли изъ совѣщательной комнаты. Судья потому и судья, что онъ никогда не можетъ всего предвидѣть и потому всегда долженъ совѣщаться. Наконецъ шептанье оканчивается; предсѣдатель, ученикъ старшаго класса Кнабенвурстъ, вынимаетъ бумажки съ именами присяжныхъ. Онъ дѣлаетъ это такъ опрятно, какъ будто показываетъ фокусы. «Смотрите, господа!» такъ, кажется, и говоритъ онъ: «вотъ полтинникъ, но вы можете быть увѣрены, что, покуда онъ находится въ этихъ рукахъ, онъ никогда не превратится ни въ полуимперіалъ, ни даже въ цѣлковый!» Присяжные засѣдатели выбраны и начинаютъ отлынивать.

— Помилуйте, ваше превосходительство, я сижу въ мелочной лавочкѣ—кто же теперича за меня сидѣть будетъ?— оттоваривается одинъ.

— Я даже не понимаю, какимъ образомъ позволили себѣ привлечь меня... я въ государственной службѣ состою!— удивляется другой.

— Я и по домашности-то моей даже самаго простого обстоятельства разсудить не могу!—оправдывается третій.

Судъ шепчется и оставляетъ всѣ отговорки безъ послѣдствій. Засѣдатели вздыхаютъ и, понуривъ головы, садятся на лавкѣ вблизи прокурора. Одинъ изъ нихъ немедленно притворяется спящимъ.

На сей разъ Осликовъ является въ роли отставного солдата Дороѳеева и обвиняется въ кражѣ со взломомъ. Но онъ ни въ чемъ не сознается.

— Ничего я этого, ваше превосходительство, не знаю. Я человѣкъ слабый, пьяный,—говоритъ онъ.

— Разскажите же намъ, какъ все это было! — настаиваетъ тѣмъ не менѣе предсѣдатель.

Защитникъ Тонкачевъ вскакиваетъ какъ ужаленный.

— Въ виду такой-то статьи такого-то тома и такой-то статьи такихъ-то правилъ, запрещающихъ домогаться отъ обвиняемаго признанія,—говоритъ онъ:—я требую, чтобы мое заявленіе было записано въ протоколъ.

Судъ снова шепчется.

— Въ виду сейчасъ приведенныхъ защитникомъ законовъ,—говоритъ наконецъ предсѣдатель:—подсудимый! вы можете не сознаваться! Это ваше право! Защитникъ! настаиваете ли вы на томъ, чтобы ваше заявленіе было записано въ протоколъ?

Защитникъ расшаркивается и говоритъ, что даннымъ подсудимому правомъ не сознаваться онъ удовлетворенъ даже превыше своихъ желаній. Онъ видитъ теперь, что передъ нимъ дѣйствительно судъ скорый, милостивый и правый...

— Приступимъ же къ выслушанію свидѣтелей.

Показанія свидѣтелей отличаются сбивчивостью и неопредѣленностью. Потерпѣвшая сторона, содержатель ночлежной, Савелій Потаповъ, не можетъ утвердительно сказать, точно ли найденный у Дороѳеева грошъ принадлежитъ ему, Потапову.

— Мой будто зубомъ покусанъ былъ, а этотъ новый,— говоритъ онъ.

Прокуроръ вскакиваетъ и пронизываетъ Потапова взоромъ.

— Такъ вы точно помните, что у васъ наканунѣ грошъ былъ?

— Да, это точно... былъ! Былъ грошъ—это вѣрно.

— Этого для меня достаточно-съ!

Прокуроръ что-то отмѣчаетъ карандашомъ на бумагѣ; защитникъ, въ свою очередь, нѣчто записываетъ.

Другой свидѣтель показываетъ:

— Это точно, что онъ возлѣ меня на нарахъ лежалъ...

— Такъ вы точно помните, что онъ лежалъ? Это не показалось вамъ? вы подтверждаете это и теперь?—допѣкаетъ прокуроръ.

— Лежалъ — это вѣрно! Рядомъ легли — рядомъ и встали!

— Этого для меня совершенно достаточно!

— Если для обвинителя этого достаточно, то для меня...—встаетъ съ своего мѣста защитникъ, но предсѣдатель прерываетъ его, говоря, что онъ въ свое время можетъ сказать все, что находитъ нужнымъ, въ защиту подсудимаго.

— Я прошу занести въ протоколъ мое заявленіе, что защита не свободна!—настаиваетъ Тонкачевъ.

Предсѣдатель шепчется и объявляетъ, что защита можетъ, если желаетъ, сдѣлать нужное, по ея мнѣнію, замѣчаніе.

Тонкачевъ встаетъ, расшаркивается и заявляетъ, что онъ отлагаетъ замѣчаніе до произнесенія защитительной рѣчи. Тѣмъ не менѣе онъ считаетъ своимъ долгомъ съ гордостью заявить, что видитъ передъ собой судъ скорый, милостивый и правый, который навѣрное отнесется къ его несчастному кліенту съ тою же гуманностью, съ какою относился и къ его собственнымъ заявленіямъ...

Наконецъ перекрестный допросъ кончился. Слово за прокуроромъ. Миша Нагорновъ нѣсколько блѣденъ, но глаза его такъ и пронизываютъ. Голосъ его сначала дрожитъ, но потомъ постепенно дѣлается тверже и тверже и подъ конецъ начинаетъ словно отчеканивать.

«Господа судьи! господа присяжные засѣдатели!—говоритъ онъ.—15-го іюня, на Сѣнной площади, совершилось преступленіе, не яркое по своему внѣшнему выраженію, но яркое по своей сущности; преступленіе, доказывающее съ очевидностью, до какой степени недостаточны и слабы въ нашемъ обществѣ понятія о правѣ собственности. Я не стану, господа присяжные, доказывать вамъ, какъ необходимо, чтобы въ обществѣ существовали твердыя понятія собственности; вы сами принадлежите къ почетному сословію собственниковъ и лучше меня можете понять, какія важныя послѣдствія сопряжены для общества и для васъ съ сохраненіемъ этой твердыни, на которой зиждется благополучіе государствъ и народовъ. Криминалисты насчетъ этого единогласны; общество, не признающее собственности,—говорятъ они,—подобно стаду дикихъ звѣрей, изъ которыхъ каждый стремится растерзать другого. Этого, я полагаю, совершенно достаточно, чтобы помочь вамъ встать на ту высоту, на которой слѣдуетъ стоять при обсужденіи

предстоящаго намъ дѣла. Итакъ, въ іюнѣ 18** года, на Свиной площади, здѣсь въ С.-Петербургѣ, такъ сказать, въ центрѣ промышленнаго движенія, почти подъ глазами полицейскаго надзора, совершено дерзкое преступленіе. Въ ночь этого числа, въ одну изъ ночлежныхъ квартиръ, которыми изобилуетъ эта мрачная мѣстность, пришелъ ночевать отставной солдатъ Дороѳеевъ, а на другой день утромъ, когда хозяинъ квартиры, Савелій Потаповъ, проснулся и по своему обыкновенію пошелъ въ сундукъ, то сундукъ этотъ оказался распертымъ, замокъ у сундука сломаннымъ, пробой сорваннымъ. При этомъ считаю долгомъ обратить ваше вниманіе, господа присяжные, на слѣдующее обстоятельство, къ которому я впослѣдствіи обращусь. Обстоятельство это заключается въ томъ, что до того времени Дороѳеевъ почти каждый день посѣщалъ ночлежную Потапова, но дней за пять поссорился съ хозяиномъ и до 15-го числа ночевать къ нему не ходилъ.

«Такова, милостивые государи, фабула преступленія. Спустимся же съ факеломъ правосудія въ дебри преступленія и постараемся освѣтить ихъ. Но прежде, чѣмъ идти далѣе, я долженъ объяснить вамъ, господа присяжные, значеніе такъ-называемыхъ косвенныхъ уликъ.

«Что такое косвенная улика?—Это такой признакъ преступленія, который хотя самъ по себѣ не имѣетъ никакого значенія, но, будучи сопоставленъ съ другими, тоже не имѣющими собственнаго значенія, признаками, будучи разсматриваемъ, такъ сказать, въ связи съ цѣлымъ рядомъ такого же рода признаковъ, составляетъ совершеннѣйшее доказательство. Предположимъ, напримѣръ, что въ городѣ совершено убійство. Убитъ Z, котораго видѣли, какъ онъ вчера, въ такомъ-то часу вечера, выходилъ изъ кабака вмѣстѣ съ X и о которомъ съ тѣхъ поръ никто ничего не слыхалъ. Вотъ это-то обстоятельство, что X вышелъ изъ кабака вмѣстѣ съ Z, и есть первое звено въ цѣпи косвенныхъ уликъ, которыми впослѣдствіи пораженъ будетъ X. Взятое отдѣльно, оно, конечно, ничего не значитъ. X могъ выйти вмѣстѣ съ Z изъ дверей кабака, но, пройдя по улицѣ нѣсколько шаговъ, они могли разойтись въ разныя стороны—совершенно исключить такого рода возможность нельзя. Но тутъ начинается рядъ послѣдующихъ уликъ. Во-нервыхъ, у X найдена на рукѣ царапина. И эта улика, конечно, сама по себѣ недостаточна, ибо X могъ оцарапать руку случайно, ему могла оцарапать ее кошка

и т. д. Но вотъ является вторая улика: на ногахъ у X найдены сапоги убитаго, которые были на послѣднемъ въ то время, когда его видѣли въ кабакѣ; это уже значительная прибавка къ суммѣ уликъ, хотя сама по себѣ и она все-таки ничего не значитъ. Мало ли какимъ образомъ могъ пріобрѣсть X сапоги Z? Онъ могъ купить ихъ, могъ наконецъ выпросить! Все это далеко не невозможно. Но здѣсь на помощь является третья улика: X не можетъ объяснить употребленіе своего времени между моментомъ выхода вмѣстѣ съ Z изъ кабака и моментомъ, когда Z найденъ мертвымъ на улицѣ. Вы скажете, что и этотъ фактъ не имѣетъ рѣшительнаго значенія; вы скажете, что X, подъ вліяніемъ винныхъ паровъ, могъ забыть, гдѣ онъ былъ, что онъ могъ забыть это по разсѣянности, что онъ, можетъ-быть, провелъ это время въ предосудительномъ мѣстѣ и ему не хочется въ томъ сознаться? Я первый со всѣмъ этимъ согласенъ, господа присяжные, но потому-то и убѣждаю васъ: обращайте вниманіе не на каждую косвенную улику въ отдѣльности, а на ихъ совокупность. Совокупность—это уже не отдѣльная какая-нибудь улика, но цѣлая, такъ сказать, совокупность или, другими словами, рядъ уликъ, взаимно другъ друга провѣряющихъ и подтверждающихъ!

«Совокупность—это единственное орудіе, которое имѣетъ правосудіе для борьбы со зломъ! Зло уклончиво и лукаво, господа присяжные; оно совершаетъ свои дѣянія въ темнотѣ ночи; оно окутываетъ ихъ мракомъ, составляетъ для нихъ искусственную обстановку, обманываетъ, заметаетъ слѣды! Но здѣсь-то именно и настигаетъ его недремлющее око правосудія! Ежели ты *тамъ* не былъ, то гдѣ же ты былъ? Ежели ты не помнишь, гдѣ былъ, то почему у тебя на рукѣ царапина? Какимъ образомъ очутились на твоихъ ногахъ чужіе сапоги? И такъ далѣе—покуда наконецъ изъ всѣхъ этихъ мелкихъ и, повидимому, ничтожныхъ признаковъ не образуется *совершеннѣйшее* доказательство!

«Вотъ этою-то «совокупностью уликъ» и намѣренъ воспользоваться я относительно лица, сидящаго предъ вами на скамьѣ обвиняемыхъ.

«Первая косвенная улика—это самый сундукъ, который былъ вамъ предъявленъ. Онъ носитъ на себѣ всѣ признаки взлома, и, конечно, самъ подсудимый не будетъ столь смѣлъ, чтобъ утверждать, что онъ въ такомъ видѣ вышелъ изъ рукъ творца.

«Взломъ существуетъ—это фактъ!!

«Но взломъ сдѣланъ не просто для взлома, а съ преступною цѣлью воспользоваться чужою собственностью—это тоже фактъ!! Еще вечеромъ 15-го іюня 18** года Потаповъ считалъ себя обладателемъ двоихъ старыхъ пестрядинныхъ портовъ, одной почти новой рубашки и монеты, называемой въ простонародьѣ семишникомъ. Утромъ 16-го числа этихъ вещей у него не стало. Онѣ исчезли, испарились, улетучились—все, что̀ угодно, но только исчезли со взломомъ, съ помощью сломаннаго висячаго замка̀ и сорваннаго пробоя! Это вторая косвенная улика!

«Зачѣмъ Дороѳеевъ пришелъ къ Потапову? Защита, быть-можетъ, скажетъ, что таково было обыкновеніе Дороѳеева; что квартира Потапова была ночлежнымъ домомъ, въ которомъ каждую ночь ночевало множество лицъ. Но, во-первыхъ, господа присяжные, къ словамъ защиты вообще слѣдуетъ относиться съ нѣкоторымъ недовѣріемъ. Защита *заинтересована* въ оправданіи своего кліента *(сильное движеніе со стороны Тонкачева («ого!»); предсѣдатель съ безпокойствомъ смотритъ на Мишу, но послѣдній, не смущаясь, продолжаетъ)*; скажу болѣе: отъ этого оправданія зависитъ самое матеріальное обезпеченіе защиты *(Тонкачевъ вскакиваетъ)*... Но прекратимъ однако же этотъ разговоръ, который—я сознаю—не всѣмъ можетъ здѣсь нравиться... Итакъ, продолжаю. Во-вторыхъ, говорю я, почему же Дороѳеевъ пришелъ ночевать къ Потапову именно въ ту самую ночь, когда у послѣдняго совершена кража... кража со взломомъ, господа присяжные! Или тутъ есть игра природы? или чудесное какое-нибудь стеченіе обстоятельствъ? Мы охотно согласились бы съ этимъ предложеніемъ, если бы не жили въ просвѣщенномъ дѣвятнадцатомъ вѣкѣ, когда вѣра въ чудеса уже значительно утратила свою силу! Да, господа присяжные, тутъ нѣтъ ни игры природы, ни чуда, а просто-на-просто есть третья косвенная улика!

«Чтобъ доказать, что тутъ нѣтъ никакого чуда, намъ не нужно даже ссылаться на просвѣщенное время, среди котораго мы живемъ. Мы такъ легко, самыми обыкновенными средствами, можемъ распутать эту кажущуюся случайность, что она даже въ вашихъ глазахъ, гг. присяжные, утратитъ всякое право претендовать на названіе случайности. И дѣйствительно, слѣдствіе съ полною ясностью раскрываетъ вамъ, что передъ этимъ Дороѳеевъ кра-

пять дней не ночевалъ у Потапова, а имѣлъ пріютъ у другого ночлежника, Кузьмы Герасимова. Почему такъ?— на этотъ вопросъ слѣдствіе отвѣчаетъ прямо: Дороѳеевъ былъ во враждѣ съ Потаповымъ и именно поссорился съ нимъ за пять дней передъ кражею, и именно изъ-за той почти новой рубахи, которая, какъ я сказалъ выше, вмѣстѣ съ прочимъ имуществомъ исчезла въ ночь 15-го іюня 18** года. За пять дней передъ тѣмъ Дороѳеевъ просилъ Потапова продать ему означенную выше рубашку; Потаповъ соглашался, но просилъ 50 копеекъ; Дороѳеевъ давалъ только 40. Торгъ не состоялся, но злоба запала глубоко въ сердце Дороѳеева. Онъ уже тогда не могъ сдержать ее и при постороннихъ людяхъ сказалъ Потапову: «погоди-жъ ты!» Во сколько же разъ должна была возрасти эта злоба въ теченіе послѣдующихъ пяти дней! Не забудьте, господа присяжные, что Дороѳеевъ человѣкъ неразвитой, человѣкъ нрава грубаго, человѣкъ, котораго ежеминутно должна была точить мысль объ этой почти новой рубашкѣ, на которую онъ, повидимому, давно уже смотрѣлъ завистливыми глазами! Въ виду этого соображенія ссора Дороѳеева съ Потаповымъ является уже не просто четвертой косвенной уликой кражи со взломомъ, но и уликой *преднамѣреннаго* ея совершенія!

«Но идемъ дальше. Свидѣтель Онуфріевъ утверждаетъ, что самъ слышалъ, какъ Дороѳеевъ чиркалъ спичкою, чтобъ добыть огня, а свидѣтель Прохоровъ прямо сказалъ, что, лежа подлѣ Дороѳеева, онъ очень отчетливо слышалъ, какъ послѣдній ворочался съ боку на бокъ. Свидѣтельства подавляющія! Тѣмъ не менѣе Дороѳеевъ возражаетъ противъ нихъ и, смѣю такъ выразиться, съ невозмутимою наглостью утверждаетъ, что онъ добывалъ себѣ огня и ворочался на нарахъ, потому что хотѣлъ идти за естественной надобностью! Позволяю себѣ однако-жъ думать, гг. присяжные, что вы оцѣните это объясненіе, какъ оно того заслуживаетъ. Какъ! и здѣсь является эта всегдашняя безчестная уловка людей, промышляющихъ темнымъ и опаснымъ ремесломъ незаконнаго стяжанія! И вы повѣрите ей! Вещь неслыханная («chose inouïe»)! Этихъ людей какъ-то всегда обуреваютъ естественныя надобности именно въ тѣ минуты, когда имъ предстоитъ привести въ исполненіе ихъ темные, глубоко обдуманные замыслы! Естественная надобность! что̀ можетъ быть законнѣе этой причины?! Но спрашиваю я васъ: развѣ Дороѳеевъ былъ въ первый

разъ въ этомъ домѣ; чтобъ не имѣть полной возможности удовлетворить своей надобности безъ помощи огня? Развѣ онъ не знаетъ всѣхъ входовъ и выходовъ? не знаетъ, какъ расположена всякая нара, какъ нужно пройти, чтобъ достигнуть желаемаго?—Нѣтъ, онъ знаетъ все это; онъ не знаетъ опредѣлительно только одного: гдѣ стоитъ хозяйскій сундукъ, тотъ сундукъ, который ему предстоитъ взломать. И вотъ, пользуясь темнотою ночи, увѣренный, что ночлежники, послѣ тяжкаго трудового дня, заснули сномъ, который позволяю себѣ назвать непробуднымъ, онъ зажигаетъ спичку и идетъ. Куда идетъ? что хочетъ совершить?—онъ не сказываетъ намъ объ этомъ. Но мы... мы уже угадываемъ его преступныя намѣренія! Мы слѣдили шагъ за шагомъ за его дѣйствіями и позволяемъ себѣ думать, что у насъ прибавилась еще пятая косвенная улика, и притомъ такая, которая, кромѣ кражи со взломомъ, свидѣтельствуетъ еще и о нераскаянности обвиняемаго.

«Наконецъ и еще улика—шестая: у Дороѳеева на другой день, утромъ, при обыскѣ найденъ былъ за голенищемъ сапога семишникъ. Конечно, Дороѳеевъ утверждаетъ, что эти двѣ копейки составляютъ его собственность,—но гдѣ-жъ доказательства справедливости этого показанія? Кто видѣлъ, что у Дороѳеева вечеромъ 15-го числа 18** года были двѣ копейки? И почему у него оказалось именно двѣ, а не три, не пять, не десять, не двадцать копеекъ? Опять игра случая! Страшная эта игра, господа присяжные! выгодная для подсудимаго, но которую, благодаря вашему просвѣщенному суду, ему положительно придется на будущее время оставить! Правда, что самъ Потаповъ показываетъ, что бывшій у него семишникъ *будто* бы покусанъ зубомъ, между тѣмъ какъ монета, найденная у Дороѳеева, имѣетъ видъ совершенно новый. Но можно ли вѣрить Потапову, потерпѣвшему отъ преступленія? Почему не предположить, что имъ овладѣло состраданіе къ своему старинному квартиранту? что онъ, давая сбивчивыя показанія, дѣйствовалъ подъ вліяніемъ угрозъ, внушеній, мольбы? Но васъ, господа присяжные, подобныя колебанія въ показаніяхъ потерпѣвшей стороны не должны останавливать; или, лучше сказать, на васъ они должны имѣть силу совершенно въ обратномъ смыслѣ. Вы должны сказать себѣ: эти колебанія не больше, какъ колебанія; а за ними стоитъ неоспоримая, неопровержимая и со всѣхъ сторонъ непререкаемая истина, которую я позволяю себѣ

формулировать слѣдующимъ образомъ: вчера пропало двѣ копейки, сегодня—найдено тоже двѣ копейки. Ни больше, ни меньше.

«Вы спросите, можетъ-быть: гдѣ же другія вещественныя доказательства, исчезнувшія изъ сундука вмѣстѣ съ семишникомъ? гдѣ двое старыхъ пестрядиныхъ портовъ? гдѣ почти новая рубашка? гдѣ носовой платокъ, о которомъ, по незаявленію претензіи со стороны потерпѣвшаго лица, обвиненіе можетъ только догадываться? На это я могу отвѣчать одно: не знаю. Но въ то же время позволяю себѣ предложить слѣдующую догадку. Ежели означеннаго имущества не оказалось у Дороѳеева, то не значитъ ли это, что онъ его спряталъ? Отсутствіе вещественныхъ доказательствъ развѣ всегда равносильно несуществованію ихъ? Нѣтъ, въ бо̀льшей части случаевъ тутъ не только нѣтъ тожества, но есть даже доказательство совершенно противнаго. Поймите меня, гг. присяжные! Когда человѣкъ боится показать какую-нибудь вещь, то ему ничего другого не остается, какъ спрятать ее—это аксіома. Слѣдовательно, ежели мы не находимъ искомаго, даже послѣ самаго тщательнаго обыска, произведеннаго у преступника, то это еще не значитъ, что искомаго у него нѣтъ, а означаетъ только, что онъ имѣлъ основаніе *тщательно* отъ насъ его скрыть. Таково мое внутреннее, глубокое убѣжденіе.

«Я кончилъ, господа присяжные. Вы знаете изреченіе: да будетъ судъ правый и милостивый, и, конечно, постараетесь не односторонне, но всесторонне отнестись къ предстоящему вамъ подвигу. Пусть будетъ вашъ судъ правымъ и *милостивымъ*, но въ то же время пусть будетъ онъ милостивымъ и *правымъ*. Пусть надъ преступникомъ прострется ваше милосердіе, но въ то же время пусть кара, достойная преступленія, настигнетъ его! Тогда, и только тогда вы будете на высотѣ вашего призванія и докажете враждебнымъ элементамъ, неустанно подтачивающимъ священнѣйшія основы общества, что милосердное око правосудія не дремлетъ. Оно не дремлетъ, милостивые государи, хотя оно *око,* а не *глаза!* Единственное око—но и тому вы не дадите сомкнуть вѣжды! Какое величественное зрѣлище, милостивые государи!»

Въ залѣ проносится смутный говоръ: рѣчь обвинителя произвела эффектъ. Нагорновъ, красный и запыхавшійся, опускается на стулъ. Однако, несмотря на изнеможеніе,

онъ еще находитъ въ себѣ достаточно силы, чтобъ послать черезъ залъ вызывающій взглядъ Тонкачеву. Въ публикѣ слышится вопросъ: вывернется или провалится Тонкачевъ?

Тонкачевъ — очень чистенькій мальчикъ, похожій на jeune premier (онъ уже въ старшемъ классѣ и заранѣе усвоиваетъ себѣ всѣ замашки заправскихъ адвокатовъ изъ природы jeunes premiers). Онъ очень развязно помахиваетъ pince-nez и безъ малѣйшаго смущенія, даже съ нѣкоторою дерзостью, начинаетъ защитительную рѣчь. Ядовитость и иронія такъ и брызжутъ въ каждомъ его словѣ.

«Господа судьи! господа присяжные! Прежде всего считаю своею обязанностью отдать полную справедливость обвиненію. Старательность и усердіе, съ которымъ оно составлено, заслуживаетъ величайшей похвалы. Скажу болѣе: я совершенно увѣренъ, что никогда, ни передъ однимъ судомъ не было сказано столь усердной обвинительной рѣчи, какъ та, которую вы сейчасъ слышали. Господинъ прокуроръ знаетъ, что ежели матеріальное обезпеченіе адвоката зависитъ отъ оправданія кліента, то, съ другой стороны, почести, которыя ждутъ впереди каждаго члена прокуратуры, отчасти обусловливаются успѣхомъ...»

Миша, весь блѣдный, вскакиваетъ съ своего мѣста и дрожащимъ голосомъ произноситъ:

— Господа судьи! я протестую! я всѣми силами моей души («de toutes les forces de mon âme!» мелькаетъ у него въ головѣ) протестую противъ инсинуаціи, которую дозволяетъ себѣ защита!

Судьи шепчутся; въ залѣ обнаруживается сдержанное волненіе.

— Защитникъ! приглашаю васъ оставаться въ предѣлахъ защиты!—произноситъ наконецъ предсѣдатель.

«Господа судьи! я вовсе не имѣлъ намѣренія оскорблять кого бы то ни было; я хотѣлъ только сказать, что для защиты имѣть дѣло съ противникомъ, который такъ старательно оправдываетъ довѣріе своего начальства, — очень пріятно.

«Затѣмъ продолжаю, и ежели обвиненіе, какъ выразился г. прокуроръ, попыталось «спуститься съ факеломъ правосудія въ дебри преступленія», то я съ своей стороны постараюсь съ тѣмъ же факеломъ спуститься въ дебри обвиненія и водрузить знамя освобожденія въ развалинахъ невинности.

«Вещь замѣчательная, господа («chose remarquable, mes-

sieurs!» мелькаетъ у него въ головѣ)! Передъ вами сейчасъ говорилъ одинъ изъ лучшихъ представителей нашего обвинительнаго искусства; вы слышали рѣчь, продолжавшуюся болѣе получаса, рѣчь, старавшуюся быть убѣдительною и, повидимому, построенную очень искусно...»

Миша судорожно подскакиваетъ на стулѣ; глаза его бѣгаютъ отъ предсѣдателя къ защитнику. Наконецъ предсѣдатель вновь выходитъ изъ бездѣйствія.

— Приглашаю защитника,—говоритъ онъ:—воздержаться отъ оцѣнки талантовъ господина прокурора. Оцѣнивать эти таланты имѣетъ право лишь непосредственное его начальство.

«Но что же осталось въ вашемъ сознаніи, господа присяжные, теперь, когда рѣчь прокурора уже произнесена? Разберите внимательнѣе вынесенныя вами сейчасъ впечатлѣнія, и навѣрное вы найдетесь вынужденными отвѣтить на мой вопросъ только однимъ словомъ: ничего. Да, ничего, ничего и ничего. Это прискорбно, но это такъ. Я первый отдаю справедливость ораторскимъ средствамъ моего противника, его непреоборимому усердію, и за всѣмъ тѣмъ очень радъ за моего кліента, что единственный ясный результатъ, который вытекаетъ изъ рѣчи прокурора,—это *ничего!*»

Нагорновъ хочетъ вновь обидѣться; предсѣдатель, видя это, начинаетъ ѣсть защитника глазами; еще одно лишнее слово—и Тонкачеву угрожаетъ прекращеніе защиты.

«Вамъ говорятъ, милостивые государи, что никакихъ прямыхъ уликъ, которыя доказывали бы, что преступленіе, о которомъ идетъ рѣчь, совершено обвиняемымъ Дороѳеевымъ, въ виду обвинительной власти не имѣется. Я охотно этому вѣрю. Такъ какъ мой кліентъ невиненъ, то было бы даже странно, если бы противъ него были какія-нибудь дѣйствительныя, а не мнимыя доказательства. Что же однако привело его сюда, на скамью обвиняемыхъ? А вотъ, говорятъ вамъ: противъ него существуютъ улики косвенныя. Это очень любопытно. Что же такое эти косвенныя улики? Къ величайшему удовольствію нашему, отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ само обвиненіе. Косвенныя улики, говоритъ оно, это тѣ самыя, которыя ничего не стоятъ. Это обрывки чего-то неяснаго, неизвѣстно откуда идущаго, это подслушанныя сплетни досужихъ кумушекъ, это безпорядочная сорная куча, изъ которой торчатъ обглоданныя арбузныя корки, лоскутки бумаги, кухонные остатки, однимъ

словомъ, все, что̀ никому не нужно, чѣмъ всякій гнушается, между чѣмъ ни подъ какимъ видомъ нельзя отыскать не только внутренней, но и механической связи...

«Господа присяжные! Во всемъ этомъ скрывается цѣлое искусство, искусство не очень важное, но во всякомъ случаѣ очень замѣчательное. Искусство играть ничего незначащими объѣдками, чтобы воспользоваться ими въ интересахъ обвиненія. Чтобы показать вамъ, что игра подобнаго рода не только возможна, но легка, сейчасъ приведу вамъ нѣсколько образчиковъ.

«Слѣдствіе показываетъ, напримѣръ, что обвиняемый не былъ *тутъ;* обвиненіе хватается за этотъ фактъ и уже формулируетъ его такъ: обвиняемый не былъ *тутъ*, слѣдовательно онъ былъ *гдѣ-нибудь*, слѣдовательно, и *конечно,* онъ былъ тамъ, *гдѣ совершено преступленіе.* Вотъ одинъ образчикъ игры въ косвенныя улики. Какимъ образомъ очутилось здѣсь «конечно»—этого, *конечно,* не объяснятъ даже знаменитые духи, совѣтовавшіе г. Корбе въ такую-то ночь посильнѣе взволновать г-жу Алымову. (*Въ публикѣ раздается: «браво!» Предсѣдатель грозитъ очистить залу засѣданія).* Другой образчикъ: наканунѣ пропало двѣ копейки, сегодня найдено тоже *двѣ* копейки; *слѣдовательно* это тѣ самыя двѣ копейки, которыя пропали вчера. Откуда взялось это *слѣдовательно?* развѣ мало находится въ обращеніи двухкопеечниковъ? Пусть прокуроръ заглянетъ въ свой собственный кошелекъ! Пусть поищетъ въ немъ! Быть-можетъ, онъ найдетъ тамъ такой же семишникъ, этотъ salaire бѣднаго, къ которому онъ съ такимъ презрѣніемъ относился. (*Миша вскакиваетъ, безмолвно протестуя противъ приписываемой ему аристократической гадливости).* Почему же *этотъ* двухкопеечникъ, который въ сію минуту находится въ кошелькѣ г. прокурора,—не тотъ двухкопеечникъ, который въ ночь съ 15-го на 16-е іюня 18** года пропалъ у Потапова?

«Но я не хочу идти далѣе и не стану продолжать вопросовъ по каждой изъ указанныхъ обвиненіемъ уликъ. Это безполезно. Вѣдь это дѣло рѣшенное: само обвиненіе заранѣе объявило, что каждая изъ этихъ пресловутыхъ уликъ, взятая сама по себѣ, не стоитъ ломанаго гроша...

«Но вамъ говорятъ: важность заключается не въ каждомъ признакѣ преступленія, взятомъ въ отдѣльности, а въ ихъ совокупности! Совокупность! Какое странное, подавляющее слово! Что̀ же однако означаетъ оно? Увы! Я сей-

часъ буду имѣть честь объяснить вамъ, гг. присяжные, что оно означаетъ

«Возьмите арбузное зерно, прибавьте къ нему нѣсколько хлѣбныхъ крохъ, подсыпьте перцу, налейте уксусу, коли хотите, бросьте нѣсколько обрѣзковъ бумаги—и спросите себя, что изъ этого можетъ выйти? Обвиненіе утверждаетъ, что изъ этого выйдетъ арбузъ *(въ публикѣ смѣхъ)*, но я... я позволяю себѣ усомниться въ этомъ! Я прямо думаю, что это будетъ смѣсь предметовъ, которые, не имѣя никакой цѣнности, взятые порознь,—еще менѣе имѣютъ таковой, взятые вмѣстѣ! Это совсѣмъ не «совокупность», а именно смѣсь, жалкая, никому не надобная смѣсь...

«Тѣмъ не менѣе изобрѣтенный г. прокуроромъ арбузъ *(новый взрывъ смѣха въ публикѣ; Миша дѣлается красенъ какъ раскаленное желѣзо)*, при извѣстныхъ условіяхъ, дѣлается настолько опаснымъ, что равнодушно относиться къ нему невозможно. Такъ, напримѣръ, въ настоящемъ случаѣ, это уже не арбузъ, а разрывной снарядъ, который могъ бы убить моего кліента, если бы судьба его зависѣла отъ суда менѣе просвѣщеннаго и гуманнаго, нежели вашъ. Но вѣдь онъ могъ бы убить не одного моего кліента, а и каждаго изъ васъ, гг. присяжные. Каждый изъ васъ навѣрное гдѣ-нибудь находился во время совершенія преступленія; каждый изъ васъ можетъ найтись въ невозможности объяснить употребленіе своего времени; у каждаго изъ васъ (даже у г. прокурора!) могутъ найтись двѣ копейки; стало-быть, каждаго изъ васъ, вслѣдствіе этихъ ничтожныхъ, ничего не объясняющихъ признаковъ, можно привлечь къ суду? Подумайте, господа, что будетъ съ обществомъ, въ которомъ г. прокурору будетъ дана возможность во всякое время по своему усмотрѣнію и въ кого попало пускать изобрѣтеннымъ имъ арбузомъ!

«Намъ говорятъ: берегитесь! неблагонадежные элементы подтачиваютъ священнѣйшія основы общества! Осуждайте! ибо если преступленіе останется ненаказаннымъ, то общество превратится въ скопище дикихъ звѣрей, которые будутъ хватать другъ друга за горло! Но позвольте же, господа! Осуждайте, карайте, преслѣдуйте, будьте безпощадны, но не забудьте, что стрѣлы ваши должны попадать въ дѣйствительнаго преступника, а не въ прохожаго, который случайно очутился на пути пущеннаго прокуроромъ разрывного снаряда. Если кража, совершенная у Потапова, взываетъ къ небу о мщеніи, то почему же непремѣнно

казнить Дороѳеева, а не каждаго изъ насъ, по усмотрѣнію г. прокурора? Почему наконецъ не казнить первую попавшуюся подъ руку куклу, чтобы на ней показать примѣръ наказуемости? Я самъ не утопистъ, милостивые государи! Я далеко не принадлежу къ числу жалкихъ послѣдователей жалкой теоріи абсолютной невмѣняемости, которою гнусныя исчадія современнаго нигилизма думаютъ отвести глаза правосудію! Нѣтъ, я не нигилистъ! Напротивъ того, я глубоко убѣжденъ, что преступная воля должна быть наказана, что преступникъ, какъ говоритъ безсмертный Гегель, не только имѣетъ право на наказаніе, но можетъ даже требовать его; однако согласитесь, милостивые государи, что странно и даже несправедливо было бы ожидать, чтобы подобное требованіе исходило отъ человѣка чистаго, совсѣмъ непричастнаго содѣянному! Дороѳеевъ невиненъ—зачѣмъ же онъ будетъ требовать, чтобы его наказали?!..

«Затѣмъ, обращаясь къ случаю, по поводу котораго довѣріе начальства призвало васъ, гг. присяжные, произнести приговоръ, я просто нахожу излишнимъ говорить что-либо въ оправданіе моего кліента. Да, онъ ночевалъ у Потапова, онъ чиркалъ спичкою, онъ приторговалъ у потерпѣвшей стороны «почти новую» рубаху—я охотно допускаю все это, но ни въ чемъ, рѣшительно ни въ чемъ не вижу преступленія! Я не проникалъ въ тайники души Дороѳеева—эти тайники, господа, открыты только Богу!—но, оставаясь на почвѣ фактовъ, я могу быть совершенно покойнымъ. Господа присяжные засѣдатели! вы не захотите обмануть довѣріе начальства! вы объявите подсудимаго Дороѳеева невиннымъ!»

Эта рѣчь производитъ эффектъ потрясающій. Осликовъ будетъ оправданъ—это несомнѣнно. Тонкачевъ съ какою-то неизреченною самоувѣренностью качается на стулѣ, какъ будто хочетъ сказать: «и зачѣмъ вы меня изъ пустяковъ тревожили! зачѣмъ отняли понапрасну столько драгоцѣнныхъ минутъ!» Нагорновъ понимаетъ это; онъ догадывается, что, какъ обвинитель, онъ хватилъ нѣсколько черезъ край, и потому отказывается отъ возраженія. Въ публикѣ слышится сдержанный смѣхъ; слово: «арбузъ! нагорновскій арбузъ!»—летаетъ по рядамъ, и можно предвидѣть, что слово это не скоро забудется въ заведеніи. Но у Нагорнова есть звѣзда, и она выручаетъ его въ ту самую минуту, когда противники считаютъ его уже погибшимъ.

— Подсудимый Дороѳеевъ! что имѣете вы прибавить въ свою защиту?—обращается предсѣдатель къ Осликову.

Осликовъ лѣниво встаетъ и, ковыряя въ носу, озираетъ присутствующихъ. Тонкачевъ съ ужасомъ начинаетъ подозрѣвать, что кліентъ его позабылъ всѣ внушенія, которыя были ему даны передъ засѣданіемъ.

— Да что говорить, ваше высокородіе! — произноситъ наконецъ Осликовъ:—мой грѣхъ! я укралъ!

Тонкачевъ кидается къ Осликову; Нагорновъ поднимаетъ голову и, сложивъ на груди руки, бросаетъ своему противнику взглядъ, исполненный неизреченнаго торжества. Общій взрывъ хохота, подъ шумъ котораго никто не слышитъ рѣчи, которую предсѣдатель, въ видѣ безконечно тянущейся канители, обращаетъ къ присяжнымъ засѣдателямъ, вручая имъ листъ съ вопросными пунктами и убѣждая ихъ оправдать довѣріе начальства.

— Если вы найдете, что подсудимый виноватъ, — взываетъ предсѣдатель:—то скажете: *виновенъ*; если же найдете, что подсудимый не виноватъ, то скажете: *невиновенъ*. Идите же, и пусть Богъ просвѣтитъ сердца ваши!

Присяжные засѣдатели уходятъ и черезъ минуту выносятъ приговоръ: *виновенъ*—по всѣмъ вопросамъ. Судъ присуждаетъ Осликова къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ заключенію въ арестантскихъ ротахъ въ теченіе пяти лѣтъ.

Ученики спѣшатъ въ классы. Мосьё Петанлеръ ловитъ на дорогѣ Тонкачева.

— Ecoutez, Tonkatschoff!—говоритъ онъ:—vous avez été brillant, même éblouissant de verve et d'esprit, mais la vérité a été, comme toujours, du côté de Nagornoff! Comment ne comprenez-vous pas qu'il est impossible, qu'un nigaud comme Oslikoff ne soit pas coupable! Mais... au nom de Dieu!

По воскресеньямъ Миша разсказываетъ о своихъ подвигахъ родителямъ.

Со времени открытія новыхъ судовъ между родителями поселилось нѣкоторое разногласіе относительно будущности сына: Анна Михайловна придерживается адвокатуры; Семенъ Прокофьичъ склоняется на сторону прокурорскаго надзора.

— Да ты слышалъ ли, въ департаментѣ-то сидя, какіе *они* куски рвутъ!—убѣждаетъ Анна Михайловна мужа.

— Всѣхъ денегъ, матушка, не ограбишь. Да вѣдь если очень-то шибко по чужимъ карманамъ лазить начнешь, такъ и въ Сибирь, пожалуй, угодишь! Лавровъ-то вѣдь не далеко. Ну, и Бельмесовъ тоже. Гуляетъ онъ до поры до времени, а я все-таки надѣюсь, что Туруханска ему не миновать. Жадны. А у начальства-то подъ глазами—онъ у насъ все равно, что у Христа за пазушкой будетъ! А можетъ-быть, еще политическій процессъ — такъ ты вотъ и понимай тутъ!

Самъ Миша тоже не могъ опредѣлительно сказать, куда ему хочется: въ адвокаты или въ прокуроры. Иногда идетъ онъ мимо милютиныхъ лавокъ и думаетъ: «Непремѣнно въ адвокаты пойду! вѣдь все, все, что тутъ ни есть, — все мое будетъ! Каждый день по четыре коробки сардинокъ съѣдать буду!»

Въ другой разъ его плѣняетъ прокурорскій мундиръ и сопряженная съ нимъ неуклонность. Да это и не мудрено, потому что вѣдь тутъ все-таки не то, что жулика защитить—тутъ, съ позволенія сказать, *общество* въ опасности! Для дитяти оно даже очень лестно. Нарушенное общественное спокойствіе! попранное право собственности! низринутые въ прахъ авторитеты!—какія величественныя, повергающія въ трепетъ задачи! И какая дорога впереди! сколько поводовъ для волненій на этомъ пути, въ началѣ котораго стоитъ какой-нибудь жалкій судебный слѣдователь или секретарь суда *), а въ концѣ—министръ! А тутъ еще, чего добраго, политическій процессъ наклюнется... будущее то, будущее-то какое впереди!

— Вѣдь это, батюшка, не адвокатишка какой-нибудь, который, задеря хвостъ, по управамъ благочинія летаетъ, а въ нѣкоторомъ родѣ... гардъ-де-ссо!

Но надо сказать правду: молодость все-таки брала свое, и представленіе о четырехъ коробкахъ сардинокъ почти всегда одерживало верхъ надъ честолюбивыми мечтами. Миша не могъ пройти мимо человѣка, чтобъ не видѣть въ немъ «кліента», а разъ усмотрѣвши кліента, онъ уже невольно ѣлъ его глазами.

---

*) Авторъ оговаривается, что должности судебнаго слѣдователя и секретаря суда очень почтенныя должности — въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; слѣдовательно, ежели онѣ представляются жалкими, то не съ точки зрѣнія автора, а съ точки зрѣнія Миши Нагорнова. Для обвиненія въ диффамаціи тутъ нѣтъ повода, развѣ что кто-нибудь вздумаетъ преслѣдовать Мишу Нагорнова.—*Авт.*

— Я, маменька, Плотицына сегодня во снѣ видѣлъ! — открывался онъ Аннѣ Михайловнѣ въ минуту, когда аппетитъ ужъ очень сильно начиналъ тревожить его.

— Ужъ какъ бы хорошо! ужъ такъ бы хорошо! ахъ, какъ хорошо!—вмѣсто отвѣта восклицала Анна Михайловна и даже вся краснѣла отъ волненія.

— Да вы, маменька, попросили бы папеньку!

— Кто съ нимъ, съ упрямымъ, сговоритъ! А какіе куски-то они рвутъ! ахъ, мой другъ, какъ рвутъ!

— Да это само собой! Неужто-жъ потачку давать! Тридцать процентиковъ, батюшка! тридцать процентиковъ, милости просимъ-съ!

— Вѣдь нынче шагу безъ него, мой другъ, ступить нельзя! Дыхнуть безъ него, безъ кровопивца, возможности нѣтъ! Ты шагъ впередъ — онъ два! И все-то забѣгаетъ, все-то впередъ бѣжитъ, все-то норовитъ подножку тебѣ подставить!

— Однако-жъ какое это, маменька, величественное зданіе!

— Вѣдь ужъ коли попалъ ты *ему* въ лапы—такъ тамъ и держись! И не шевелись! Все равно, что въ капканѣ! Ужъ *онъ* тебя лущитъ-лущитъ! Онъ тебя чиститъ-чиститъ! Путаетъ-путаетъ! И до тѣхъ поръ онъ тебя на волю не выпуститъ, покуда, что называется, какъ стельку не обстрижетъ!

— Ну, маменька, не всѣ такъ! Вотъ у насъ Благолѣповъ адвокатъ есть, такъ тотъ даже самъ съ удовольствіемъ, по силѣ возможности, кліенту подаритъ! Намеднись выигралъ дѣло одной кліентки, ну, кліентка и пріѣзжаетъ къ нему. «Что, говоритъ, Василій Васильичъ, вы съ меня за труды положите?» А онъ, знаете, покраснѣлъ этакъ, да такъ прямо и брякнулъ: «я, говоритъ, сударыня, за добрыя дѣла деньгами не беру, а вотъ кабы вы просвирку за меня вынули!»

— Ну, ужъ это какой-то... необыкновенный какой-то! Однако-жъ какъ бы ты думалъ! хоть просвиркой, а все-таки взялъ. Иной разъ, душа моя, и просвирка... ахъ, какъ это иногда важно, мой другъ! Молитва-то! вѣдь она, кажется... и ничего въ ней нѣтъ... анъ, смотришь, и долетѣла! Анъ онъ въ другомъ мѣстѣ уйму денегъ урвалъ или вотъ въ лотерею двѣсти тысячъ выигралъ! за молитву-то!

— Ну, маменька, у него и билета-то, пожалуй, не сыщется!

— Не говори этого, мой другъ! ахъ, не говори! какъ знать, чего не знаешь.

— А какъ бы, маменька, хорошо-то! Вотъ, говорятъ, Отпѣтый такую «деверію» завелъ, что вся кавалерія смотритъ да зубами щелкаетъ!

— Ну, это, мой другъ, тоже опасно. По-моему, лучше копить. Вѣдь эти прорвы, душа моя... много, ахъ, много деньжищъ нужно, чтобы до сытости ихъ довести! У насъ, мой другъ, у директора такая-то была, такъ онъ не то что все состояніе свое въ нее ухлопалъ, а и казну-то, кажется, по міру бы пустилъ, кабы вò-время его за руку не ухватили! Вонъ теперича и живетъ да поживаетъ въ Архангельской губерніи, а она, рыжая прорва, и о сю пору по Невскому на рысакахъ гарцуетъ!

— А хорошо бы, маменька!

— Ужъ какъ бы не хорошо, кабы не эта ихъ жадность! Опрятны онѣ очень — вотъ чѣмъ берутъ! Нашей русской противъ нихъ—и ни Боже мой! Только и дерутъ же онѣ за эту чистоту! Годиковъ этакъ пять-шесть проформсила — глядишь, либо домину въ четыре этажа вывела, или въ ломбардъ цѣлую уйму деньжищъ спрятала! А брильянтовъ-то сколько! а кружевъ-то!

— Имъ, маменька, безъ брильянтовъ нельзя. А что касается до богатства, такъ я отъ одного адвоката за вѣрное слышалъ, что у иной, кромѣ брильянтовъ да кружевъ, ничего и нѣтъ. Да и тѣ, какъ получитъ, сейчасъ же у закладчика заложитъ, да у него же опять и беретъ на прокатъ!

— Ужъ будто бы бѣдность такая! все, чай, сколько-нибудь накопитъ!

— Ей-Богу, маменька, такъ. Вѣдь онѣ до сихъ поръ все больше между офицерами обращались. Адвокаты-то только теперь въ ходъ пошли, а прежде все съ офицерами! Ну, а возьмите сами, сколько ей сперва нужно денегъ истратить, чтобы офицера-то заманить! Первое дѣло— квартира, ковры, бѣлье, второе—экипажъ, третье—туалетъ, чтобы новый каждый день былъ...

— И за все-то, мой другъ, съ нея вдвое!.. за все-то вдвое противъ другихъ дерутъ! Потому всякій знаетъ, что она нечестная—ну, и берутъ! Она и торговаться-то даже, мой другъ, не смѣетъ, а такъ прямо и отдаетъ!

— Вотъ видите! Платье-то, можетъ-быть, на ней пятьсотъ рублей стоитъ, а офицеръ-то возьметъ да за обѣдомъ его шампанскимъ обольетъ!

— И обольетъ! Ты думаешь, не обольетъ! Да и какъ еще обольетъ-то! Офицеръ—вѣдь онъ гордъ! На, скажетъ, подлянка, понимай, каковъ я есть!

— Такъ вотъ то-то и есть! Тутъ, маменька, ужъ не о четырехэтажныхъ домахъ приходится думать, а о томъ, какъ бы самой-то лѣтъ пятокъ-другой продышать!

— Гдѣ ужъ о домахъ думать! да еще то ли съ ними дѣлаютъ! Еще нынче все-таки потише стало, а прежде, бывало, какъ поразскажетъ папенька!..

— Ужъ будто и папенька!!

— А ты какъ бы объ отцѣ-то своемъ полагалъ! Тоже, батюшка, сахаръ медовичъ былъ! Это чтобы «деверію» встрѣтить да, высуня языкъ, цѣлыя сутки за ней не пробѣгать—да упаси Богъ, чтобы онъ случай такой пропустилъ! Пытала я первое-то время плакать отъ него! Бывало, онъ рыскаетъ тамъ, по Мѣщанскимъ-то, а я лежу одна-одинёшенька на постели да все плачу! все плачу! И ни однимъ, то-есть, словомъ никогда я его не попрекнула, чтобы тамъ взглядъ какой-нибудь или жестъ недовольный... Никогда! Всегда—милости просимъ!

Анна Михайловна лжетъ, и Миша тоже очень хорошо знаетъ, что Семенъ Прокофьичъ имѣетъ о «деверіяхъ» самыя первоначальныя, такъ сказать, дѣтскія понятія. Но имъ обоимъ пріятно лгать, потому что предметъ-то лганья очень ужъ занятенъ. Они ходятъ обнявшись по комнатѣ и мечтаютъ. Анна Михайловна мечтаетъ о томъ, сколько бы у нея было изюму, чернослива, вермишели, макаронъ, однимъ словомъ—всего, чего только душа проситъ. Мечтанія Миши обращены больше въ сторону «кокотки».

— Еще бы не хорошо! ужъ такъ-то бы хорошо! — восклицаетъ Анна Михайловна.

— Ахъ, маменька! — стонущимъ голосомъ вторитъ ей Миша и ни съ того, ни съ сего цѣлуетъ ее.

Но вотъ является Семенъ Прокофьичъ, только-что совершившій утреннее воскресное поклоненіе директору. Бесѣда разомъ принимаетъ другой характеръ.

— Ну, что, молодецъ, опять кого-нибудь въ каторжныя работы сослалъ?—спрашиваетъ счастливый отецъ.

— Нѣтъ, только на пять лѣтъ въ арестантскія роты! Да и то, папенька, преступникъ ужъ самъ сознался! Чуть-чуть было Тонкачевъ не загонялъ меня!

— Какъ же это ты, братъ, маху далъ! Ай-ай-ай!

— Да вѣдь трудно, папенька!

— А ты напирай, братецъ! Онъ отъ тебя, а ты за нимъ! Онъ въ сторону, а ты обѣги кругомъ—да навстрѣчу! Вотъ, братецъ, какъ дѣла-то обдѣлывать нужно!

— Да я, папенька, и такъ...

— Ну, да вѣдь и то сказать, не все же на каторгу! Спасибо и въ арестантскія роты на пять лѣтъ! Ну, и пущай его посидитъ! За дѣло! Впередъ не блуди!

— А у насъ, папаша, на будущей недѣлѣ въ «заведеніи» политическій процессъ приготовляется!

— Ну, вотъ и дѣло! Вотъ этихъ лохматыхъ да стриженныхъ—это такъ! Катай ихъ!

— А я бы, право, Мишеньку въ адвокаты отдала! — какъ-то нерѣшительно заговариваетъ Анна Михайловна.

Этого робкаго заявленія достаточно, чтобы въ одно мгновеніе прогнать хорошее расположеніе духа Семена Прокофьича.

— И что тебѣ, матушка, за охота мнѣ передъ обѣдомъ аппетитъ портить!—брюзжитъ онъ.—Вотъ дай срокъ, умру, тогда хоть въ черти-дьяволы, хоть въ публичный домъ его отдавай!

Высказавъ это, Семенъ Прокофьичъ, огорченный и раздраженный, уходитъ къ себѣ въ кабинетъ и вплоть до самаго обѣда не показывается оттуда.

Ничто не измѣнилось въ теченіе шестнадцати лѣтъ въ воскресныхъ обѣдахъ Нагорновыхъ,—только посѣтители ихъ какъ будто повыцвѣли. Дѣдушка Михайло Семенычъ ужъ не управляетъ архивомъ и съ тѣхъ поръ, какъ находится въ отставкѣ, какъ-то опустился, пересталъ шутить и, словно мхомъ, весь обросъ волосами. Онъ худо слышитъ, глядитъ какъ-то тускло и безпомощно, и плохо ѣстъ. Сестры-дѣвицы попрежнему остаются сущими дѣвицами, но уже не краснѣютъ и не стыдятся при словѣ «мужчина», но сами охотно заговариваютъ о самопомощи, самовоспитаніи и вообще обо всемъ, что имѣетъ какое-нибудь прикосновеніе къ женскому вопросу. Самъ Семенъ Прокофьичъ, съ тѣхъ поръ, какъ его сдѣлали генераломъ, постоянно задумывается и что-то шепчетъ про себя, какъ будто разсчитываетъ, къ какому же наконецъ празднику дадутъ ему звѣзду. Пирогъ съ сигомъ подается попрежнему, но невскій сижокъ до такой степени поднялся въ цѣнѣ, что вынуждены были замѣнить его ладожскимъ и волховскимъ. Однимъ словомъ, жизнь видимо угасаетъ въ этомъ семействѣ и, можетъ-быть, даже давно угасла бы, если-бъ отъ

времени до времени не пробуждалъ ее Миша прикосновеніемъ своего скромнаго, но все-таки молодого задора.

— Нынче, батюшка, у насъ кулебяки не прежнія! — начинаетъ бесѣду Семенъ Прокофьичъ, обращаясь къ старику Рыбникову:—нынче невскими-то сижками князья да графы... да вотъ аблакаты лакомятся, а съ насъ, дѣйствительныхъ статскихъ, и ладожскаго предовольно! Да вѣдь и то сказать, чѣмъ же ладожскій сигъ—не сигъ?

Рыбниковъ мычитъ что-то въ отвѣтъ, но, очевидно, только изъ учтивости, потому что ничего не слышитъ, хотя Нагорновъ и старается говорить какъ можно отчетливѣе.

— Прежде, батюшка, ваше превосходительство, говядина-то восемь копеечекъ за фунтъ была, а нынче Богъ такъ привелъ, что за бульонную по двадцати копеечекъ платимъ. Дорогъ понастроили, думали, что хоть икра дешевле будетъ, анъ и тутъ легости нѣтъ. Вотъ я за самую эту квартиру прежде пятьсотъ на ассигнаціи платилъ, а нынче она ужъ пятьсотъ-то серебрецомъ изъ кармана стоитъ-съ! Такъ-то вотъ!

Общее молчаніе. Всѣ понимаютъ, что Семенъ Прокофьичъ къ чему-то ведетъ свою рѣчь, и ждутъ понуривши. И дѣйствительно, по тѣмъ подергиваньямъ, съ которыми онъ рѣжетъ пирогъ и посылаетъ въ ротъ куски его, видно, что на сей разъ дѣло не обойдется безъ нравоученія.

— А сыночекъ вотъ въ аблакаты устремляется!—разражается наконецъ Семенъ Прокофьичъ:—а отъ этихъ, прости Господи, сорванцовъ и бѣдствія-то всѣ на насъ пошли!

Молчаніе дѣлается еще глубже и тягостнѣе.

— У отца за душой гроша нѣтъ, а у сынка ужъ актрисы на умѣ... да какъ эти... камеліями, что ли, онѣ у васъ прозываются?

— Камеліями, папенька.

— Камеліями, батюшка,—это цвѣтокъ такой. Цвѣтками назвали! настоящимъ-то манеромъ стыдно назвать, такъ по цвѣтку названіе выдумали!

— Помилуйте, папенька, развѣ я...

— Я не объ тебѣ, мой другъ, а вообще про молодежь про нынѣшнюю... Зависть, батюшка, ваше превосходительство, у нихъ какая-то появляется, коли они у котораго человѣка въ карманѣ рубль видятъ! Мысли другой никакой нѣтъ! Такъ вотъ и говоритъ тебѣ въ самые глаза: не твой рубль, а мой! И такъ это на тебя взглянетъ, что даже сконфузитъ всего! Точно ты и въ самомъ дѣлѣ ви-

новать передъ нимъ! точно и въ самомъ дѣлѣ у тебя не свой, а его рубль-то въ карманѣ!

Миша слушаетъ, уткнувшись въ тарелку. Очевидно, онъ недоволенъ. Какъ представитель молодого поколѣнія, онъ считаетъ своимъ долгомъ хотя пассивно, но достойно протестовать противъ клеветы на него.

— Иду я это, батюшка, намеднись по Катериновкѣ,— продолжаетъ обличать Семенъ Прокофьичъ:—а передо мной два школяра идутъ. «Вотъ бы, говоритъ одинъ, кабы въ этой канавѣ разомъ всю рыбу выловить—вотъ бы денегъ-то много забрать можно!» Такъ вотъ у нихъ жадность-то какова! А того и не понимаетъ малецъ, что въ нашей Катериновкѣ, кромѣ нечистотъ изъ Зондерманландіи, и рыбы-то никакой нѣтъ!

При словѣ «Зондерманландія» старикъ Рыбниковъ обнаруживаетъ нѣкоторое оживленіе.

— Да, братъ, бывали! бывали мы тамъ!—шамкаетъ онъ.

— Вотъ онъ, аблакать-то этотъ, какъ нахватаетъ чужихъ-то денегъ, ему и не жалко! Въ лавку придетъ—всю лавку подавай! А мы терпи! Онъ чужой двугривенничекъ-то за говядину отдаетъ, а мы свой собственный, кровный, по милости его, подавай!

— Бывали! бывали!—прерываетъ старикъ Рыбниковъ, думая, что рѣчь все идетъ объ Зондерманландіи.

— Нѣтъ, да вы, батюшка, ваше превосходительство, послушали бы, какой у нихъ аукціонъ насчетъ этихъ девсрій-камелій идетъ! Офицеръ говоритъ: полторы, говоритъ. Онъ: двѣ, говоритъ! Офицеръ опять: двѣ съ половиной! Онъ: три, говоритъ! Откуда онъ деньги-то беретъ? Вы вотъ что мнѣ, батюшка, объясните!

— Да... да... въ Зондерманландіи... это точно!

— И вѣдь ничего-то у него на умѣ, кромѣ стяжанья этого, нѣтъ! Не то чтобы государству или тамъ отечеству... послужить бы тамъ, что ли... Нѣтъ, только одну мысль и держитъ въ головѣ: какъ бы мамонъ себѣ набить!

Семенъ Прокофьичъ постепенно приходитъ въ такой азартъ, что даже бросаетъ на тарелку ножъ и вилку.

— А насъ взяточниками обзываютъ!—гремитъ онъ:—мы обрѣзочки да обкусочки подбирали—мы взяточники! А онъ цѣлаго человѣка за разъ проглотитъ готовъ—онъ ничего, онъ благородный! Зачѣмъ, молъ, сей человѣкъ поздно по свѣту мыкается! Пускай, молъ, онъ у меня въ животѣ отлежится!

Гусь стоитъ посреди стола нетронутымъ. Анна Михайловна и сестрицы притихли; у Миши слегка вздрагиваютъ губы; даже старикъ Рыбниковъ начинаетъ понимать, что происходитъ нѣчто неладное.

— И вотъ тебѣ мой отцовскій завѣтъ, Михайло Семеныч! — въ упоръ обращается къ сыну старикъ Нагорновъ.—Въ аблакаты—ни-ни! Просвирками-то, братъ, не проживешь, да ты и теперь ужъ надъ просвирками-то посмѣиваешься! Ты, братъ, можетъ, на заграницу засматриваешься, что тамъ аблакатъ-то въ почетѣ? Такъ вѣдь тамъ онъ человѣкъ вольный: сегодня онъ аблакатъ, а завтра министръ—вонъ оно что! А ты здѣсь что! и сегодня мразь и завтра мразь. Мразь! мразь! мразь!

Миша убѣждается, что, благодаря отцовскому предупрежденію, двери въ адвокатуру для него закрыты. Онъ рѣшается идти въ прокуроры и въ согласность этому рѣшенію пріучаетъ себя слегка голодать. «У прокурора,—говоритъ онъ себѣ:—животъ долженъ имѣть форму вогнутаго зеркала, чтобы служилъ не къ обремененію, а чтобы всегда вездѣ... ваше превосходительство!.. готовъ-съ!»

Типъ надорваннаго, съ вогнутымъ животомъ и всегда готоваго исполнителя—типъ еще нарастающій, будущій... но онъ будетъ. Или, лучше сказать, онъ существовалъ искони, но временно какъ бы поколебался и утратилъ свою ясность. Это все тотъ же русскій Митрофанъ, готовый и просвѣщаться, и просвѣщать, сражаться и быть сражаемымъ. Въ послѣднее время онъ нѣсколько замутился благодаря новизнѣ нѣкоторыхъ положеній и неумѣнію съ желательною скоростью освоиться съ ними; но несомнѣнно, что онъ воспрянетъ, что онъ вновь сдѣлается чистымъ какъ стекло и овладѣетъ браздами...

Миша уже и ведетъ себя такъ, какъ будто онъ заправскій прокуроръ. Строго, сдержанно, немножко сурово. Изъ устъ его такъ и сыплются: «по уложенію о наказаніяхъ», «по смыслу такого-то рѣшенія кассаціоннаго департамента», «на основаніи правилъ о судопроизводствѣ», «въ сводѣ законовъ гражданскихъ, статья такая-то, раздѣлъ такой-то, изображено» и т. д. Даже въ дружеской бесѣдѣ съ товарищами онъ все какъ будто обвиняетъ и убѣждаетъ кого-то сослать въ каторгу.

— Тебя, братъ, за такія дѣла, по статьѣ такой-то слѣдовало бы, по малой мѣрѣ, въ исправительный домъ на

три года запрятать! — говоритъ онъ: — да моли еще Бога, что смягчающія обстоятельства натянуть можно!

Въ большой залѣ, въ ресторанѣ Бореля, свѣтло и людно. Говоръ, смѣхъ, остроты и шутки не умолкаютъ. Татары безшумно мелькаютъ взадъ и впередъ, перемѣняя тарелки, принимая опорожненныя бутылки и устанавливая столъ новыми. Это пируютъ за субботнимъ ужиномъ будущіе прокуроры, будущіе судьи, будущіе адвокаты.

Приближается время выпуска, и молодые люди постепенно эмансипируются. Частенько-таки собираются они то въ томъ, то въ другомъ ресторанѣ, и за бокаломъ вина обсуждаютъ ожидающія ихъ впереди карьеры. Начальство знаетъ объ этомъ, но, въ виду скораго выпуска, смотритъ на запрещенныя сходки сквозь пальцы.

Разговоръ дробится по группамъ. На одномъ концѣ стола ведутъ рѣчь о томъ, что выгоднѣе: въ столицѣ быть адвокатомъ или въ провинціи?

— Ловкачевъ! ты куда?

— Странный вопросъ! разумѣется, въ адвокаты! не въ судьяхъ же пять лѣтъ на одномъ стулѣ сидѣть!

— Я, братъ, тоже въ адвокаты, да только думаю въ провинцію. Здѣсь ужъ очень много нашего брата развелось!

— Что-жъ! это мысль!

— Я, братъ, на-дняхъ одного провинціальнаго адвоката встрѣтилъ, такъ очень хвалитъ! Такое, говоритъ, житье, что даже повѣрить трудно!

— А какъ однако?

— А тысячъ пятнадцать, двадцать въ годъ! Только, говоритъ, у насъ деликатесы-то бросить надо!

— То-есть, въ какомъ же это смыслѣ?

— А такъ, говоритъ, какая сторона больше дастъ—ту и защищай!

— Это само собой! да тамъ дѣла-то все мозглявыя!

— Это нужды нѣтъ! Мнѣ, говоритъ, хоть по зернышку, да почаще! Вѣдь онъ тамъ одинъ какъ перстъ—ну, все и захватилъ! А ежели пріѣдетъ, говоритъ, еще адвокатъ—сейчасъ, говоритъ, въ другой городъ переберусь!

— Да, двоимъ—это точно... пожалуй, и дѣлать тамъ нечего!

— А теперь, представь себѣ, какъ ему хорошо! Что ни дѣло, то вѣрный выигрышъ, потому что у него и противниковъ-то настоящихъ нѣтъ. Народъ безсловесный все:

стало-быть, истецъ ли, отвѣтчикъ ли, какъ только не успѣлъ заручиться имъ, такъ ужъ и знаетъ зараньше, что дѣло его пропало. Для меня, говоритъ, любое дѣло защитить— все одно, что въ вистъ съ тремя болванами партію сыграть!

— Да! это мысль! объ этомъ стоитъ подумать!

Въ другой группѣ, средоточіемъ которой служитъ Миша Нагорновъ, идетъ тотъ же разговоръ, но съ другими варіаціями.

— Нѣтъ, Проходимцевъ, я съ тобой не согласенъ!— ораторствуетъ Миша: — въ существованіи прокурора есть тоже свои хорошія стороны!

— Еще бы не было! даже египетскіе аскеты, когда жевали акридъ—и тѣ находили, что существованіе ихъ имѣетъ свои хорошія стороны!

— Ну, нѣтъ-съ; тутъ не акридами пахнетъ. Это не совсѣмъ такъ. Я заранѣе приглашаю тебя на прокурорскій обѣдъ, и будь увѣренъ, что ты всегда найдешь у меня и кусокъ сочнаго «бульи», и стаканъ добраго вина!

— «Бульи»!

— Что-жъ, и «бульи» не у всякаго адвоката бываетъ! Конечно, есть между ними такіе, которые изъ трюфелей не выходятъ — я заранѣе уступаю тебѣ, что въ прокуратурѣ я этого не найду!—ну, да вѣдь это изъ десятка у одного, трюфели-то! Но чего у тебя никогда не будетъ въ твоей адвокатурѣ—это возможности восходить по лѣстницѣ должностей, это возможности расширять твои горизонты и встать со временемъ на ту высоту, съ которой человѣческіе интересы кажутся какимъ-то жалкимъ миражемъ, мгновенно разлетающимся при первомъ появленіи изъ-за тучъ величественнаго свѣтила государственности.

— Ну, еще когда доползешь до этой высоты-то!

— Нѣтъ, отчего же! Я понимаю, что препятствія будутъ и даже препятствія очень серьезныя! Но мнѣ кажется, что ежели я сумѣю заслужить довѣріе моего начальства, то самыя препятствія обратятся мнѣ же на пользу! Они только закалятъ меня и въ то же время утратятъ характеръ непреодолимости!

— Вотъ закалъ-то этотъ...

— Да ты пойми, душа моя: два-три хорошихъ убійства— и у меня дѣло въ шляпѣ... Я ужъ на виду! А если тутъ не повезетъ, можно по части проектцевъ пройтись! Проектецъ, напримѣръ, по части измѣненія судебныхъ уставовъ... какіе тутъ виды-то представиться могутъ!

— Такъ, значитъ, будемъ рѣзаться другъ противъ друга?

— Значитъ, будемъ рѣзаться!

Въ другихъ пунктахъ стола идутъ разговоры болѣе отрывочные.

— Да съ этого дѣла,—выкрикиваетъ кто-то:—не то что тридцать, сто тысячъ взять мало! Это ужъ глупо! Это просто-на-просто значитъ дѣло портить!

— Ну, братъ, сто тысячъ—дудки! Кабы нашего брата поменьше было—это такъ! Я понимаю, что тогда можно было бы и сто тысячъ заполучить! А теперь... откажись-ка ты отъ тридцати-то тысячъ—десятки на твое мѣсто явятся! Нѣтъ, братъ, нынче и за тридцать тысячъ въ ножки поклонишься.

— Я навѣрное это знаю,—выкрикиваетъ другой: — что ежели ты ему впередъ тысячи рублей не выложишь, онъ пальцемъ объ палецъ для тебя не ударитъ! Намеднись въ Пензу по дѣлу о растлѣніи малолѣтней его приглашали, такъ онъ прямо наотрѣзъ потребовалъ: первое — восемь тысячъ на столъ—это ужъ безъ возврата, значитъ; второе — ежели вмѣсто каторги только на поселеніе—еще восемь тысячъ; третье — ежели совсѣмъ оправлю — двадцать тысячъ!

— Ну, это, братъ, молодецъ!

— Господа!—выкрикиваетъ третій:—я предлагаю составить компанію для отравленія этой нѣмки!

— Какой нѣмки? какой нѣмки?—сыплются со всѣхъ сторонъ вопросы.

— Да вотъ той, которая двадцать милліоновъ долларовъ въ наслѣдство получила! Боковая линія пятидесяти процентовъ не пожалѣетъ, чтобъ ее извести!

— Этотъ-то вопросъ неважный!—выкрикиваетъ четвертый: —вопросъ-то объ единоутробіи! Да ежели его какъ слѣдуетъ разработать, какой свѣтъ-то на всю судебную практику прольется! Вѣдь мы впотьмахъ, господа, бродимъ. Вѣдь это что-жъ наконецъ!

И вдругъ, среди этого хаоса восклицаній, вопросовъ и переканій, влетаетъ въ залъ цвѣтъ, слава и гордость адвокатуры—самъ господинъ Тонкачевъ.

Тонкачевъ уже два года какъ вышелъ изъ «заведенія» и съ тѣхъ поръ съ честью подвизается на поприщѣ адвокатуры. Это вообще очень изящный молодой человѣкъ; на немъ черная бархатная визитка и тончайшее ослѣпительной бѣлизны бѣлье. Претензій на щегольство—никакихъ; но

все такъ прилично и умненько пригнано, что всякій при взглядѣ на него невольно думаетъ: «какой, должно-быть, способный и основательный молодой человѣкъ!» Стулья съ шумомъ раздвигаются, чтобы дать мѣсто новому и, очевидно, дорогому гостю.

— Тонкачевъ! вотъ это мило! вотъ это сюрпризъ!—восклицаютъ молодые люди, обступая адвокатскую знаменитость.

— Извините, господа, я по-просту! Я здѣсь въ сосѣдней комнатѣ ужиналъ—вдругъ, слышу, знакомые голоса! Думаю, отчего старыхъ пріятелей не навѣстить!

— И прекрасно! выпьемъ вмѣстѣ! Человѣкъ! шампанскаго! Господа! за здоровье Владиміра Васильевича Тонкачева!

— Принимаю и благодарю. И въ свою очередь пью за васъ, господа. Пью за эту блестящую плеяду будущихъ молодыхъ дѣятелей, которымъ черезъ два мѣсяца суждено испробовать свои силы! Привѣтствую въ васъ то еще недалекое и всегда для меня незабвенное прошлое, когда и я, полный молодыхъ надеждъ, выступалъ изъ стѣнъ заведенія! Привѣтствую въ васъ то прекрасное будущее, которое, впрочемъ, прекрасно не для однихъ васъ, но съ вами и, такъ сказать, по случаю васъ—и для всей страны! Да, господа, это мое глубокое, несокрушимое убѣжденіе: вы призваны совершить перерожденіе горячо любимой нами родины и, конечно, будете стоять на высотѣ этого призванія! Съ такими бодрыми, сильными, смѣлыми дѣятелями можно смотрѣть впередъ съ довѣріемъ. Можно смѣло поднимать завѣсу будущаго—и не опасаться! Пускай подкапывается подъ насъ злоба, пускай обращаетъ она на насъ свой змѣиный шипъ—мы останемся твердыми, какъ скала! Волны клеветы будутъ лизать ноги наши, но никогда не досягнутъ до головы. Мы не утописты, господа, не идеологи—слѣдовательно у насъ даже мѣстъ такихъ не имѣется, въ которыя клевета могла бы безъ труда запустить свое жало! У насъ нѣтъ даже ахиллесовой пяты. Мы простые, честные труженики. Мы употребляемъ въ дѣло свой трудъ, свои познанія и получаемъ за это посильное вознагражденіе! вотъ наша роль, господа; роль въ высшей степени скромная, но въ высшей степени плодотворная. Итакъ, господа, повторяю: я счастливъ, поднимая за васъ этотъ бокалъ! За васъ я пью, за эту блестящую плеяду будущихъ молодыхъ дѣятелей, которымъ суждено довершить то что такъ счастливо начали ихъ предшественники!

Тонкачевъ произнесъ эту рѣчь совсѣмъ невзначай и съ такою легкостью, что, казалось, какъ будто вошелъ человѣкъ и плюнулъ. Тѣмъ неописаннѣе былъ произведенный ею въ молодежи фуроръ.

— Браво, Тонкачевъ! вотъ такъ спасибо! Это, что называется, по-товарищески! Человѣкъ! шампанскаго!—раздавалось со всѣхъ сторонъ.

Но вотъ, среди поцѣлуевъ и обниманій, къ Тонкачеву приближается Миша съ бокаломъ въ рукахъ.

— Позвольте мнѣ,—начинаетъ онъ взволнованнымъ голосомъ: — позвольте мнѣ, вашему бывшему противнику по состязательному процессу, привѣтствовать въ васъ славу, надежду и гордость нашего молодого, только-что нарождающагося сословія адвокатовъ! Изъ-за скромныхъ стѣнъ нашего заведенія мы слѣдили за вашими успѣхами и радовались имъ. Мы, смѣю такъ выразиться, гордились ими. На долю нашего заведенія выпалъ счастливый жребій, господа. Сколько дало оно странѣ высокопоставленныхъ лицъ, сколько людей, отмѣченныхъ печатью генія! Слѣдовательно, выходя изъ стѣнъ школы, мы прямо уже видимъ передъ собою примѣры, которыхъ вполнѣ достаточно, чтобъ ободрить молодой духъ и вдохнуть въ молодое сердце рѣшимость слѣдовать по стопамъ предшественниковъ. Что можетъ быть величественнѣе, поучительнѣе, благотворнѣе, какъ зрѣлище людей, неуклонно шествующихъ по стезѣ долга! А мы, мы видимъ это зрѣлище постоянно и постоянно имѣемъ возможность вдохновляться имъ! Чтобъ быть твердыми, намъ не нужно особенныхъ усилій: намъ стоитъ только взглянуть впередъ. Тамъ, въ этомъ блестящемъ сонмищѣ людей, посвятившихъ себя служенію истинѣ, мы встрѣтимъ не только полезный примѣръ, но и дѣйствительную помощь, совѣтъ и одобреніе. Намъ ли не преуспѣвать! намъ ли не подвигаться быстрымъ и твердымъ шагомъ по лѣстницѣ должностей! Черезъ два мѣсяца мы выходимъ, господа. Черезъ два мѣсяца мы предстанемъ передъ вами, Владиміръ Васильевичъ! передъ вами и вашими славными сподвижниками! Вы не отвернетесь отъ насъ, вы подадите намъ руку помощи, которая такъ необходима для нашей неопытности! Я убѣжденъ въ этомъ и въ этой сладкой увѣренности, съ чувствомъ заранѣе несущейся отъ сердца признательности, поднимаю за васъ бокалъ мой! За Владиміра Васильевича Тонкачева, господа! За красу и гордость нашего заведенія! За славу

нашего молодого, только что нарождающагося сословія адвокатовъ!

Восторгъ школяровъ не знаетъ предѣловъ. Тонкачева качаютъ, Нагорнова качаютъ, потомъ поочередно качаютъ Ловкачева, Проходимцева, даже Осликова.

— Ты, Осликовъ, какъ?—спрашиваетъ его Тонкачевъ.

— А я, братъ, кажется, на скамьѣ подсудимыхъ сидѣть буду!—отвѣчаетъ Осликовъ, залпомъ выпивая громадную рюмку коньяку и заѣдая ее булкой съ икрой.

— Ну, въ такомъ случаѣ бери меня въ защитники,— любезно предлагаетъ Тонкачевъ: — только, чуръ, не виниться, какъ, помнишь, въ тотъ разъ!

— Я, братъ, нонче твердъ. Невиновенъ—кончено дѣло!

Общій взрывъ хохота.

Тонкачевъ усаживается въ центрѣ стола и начинаетъ бесѣдовать.

— Въ нашемъ дѣлѣ, господа, больше всего смѣлость нужна!—ораторствуетъ онъ:—смѣлость и находчивость; это средство на судей безъ ошибки дѣйствуетъ!

— Да, удивительно, какъ вы зининское дѣло выиграли!— воскликнулъ Ловкачевъ.

— А почему я его выигралъ? Потому что нашелся! А не найдись я, не пусти въ ходъ того блестящаго парадокса... помните?.. противная сторона откатала бы меня!

— Ну, съ вами-то не такъ легко справиться!

— Я, господа, вотъ какъ разсуждаю: адвокатъ долженъ не просто говорить, а говорить, такъ сказать, съ картинками. Вотъ какъ книжки: и съ картинками, и безъ картинокъ издаютъ. Чуть только судъ задумываться сталъ—ну, тутъ ужъ не плошай! Всѣ картинки, какія есть—всѣ на столъ разомъ выкладывай!

— Но вѣдь для этого талантъ особенный нужно имѣть!

— Безъ таланта, батюшка, ничего нельзя. За талантъ-то собственно и деньги намъ платятъ. За талантъ, за смѣлость, за умѣнье найтись. Наше дѣло такое, что тутъ все въ соображеніе принимать слѣдуетъ: и характеръ судей, и домашнюю ихъ обстановку, и даже случайность всякую. Да, даже просто случайность. Иногда, кажется, вотъ-вотъ проигралъ дѣло, анъ подвернется подъ руку случай—и поправился! Я даже въ запасѣ всегда какую-нибудь случайность имѣю. Анекдотъ тамъ, что ли, цитату... ну, просто глупость какую-нибудь. Дамъ противнику выговориться, да тутъ его и накрою: въ нѣкоторомъ, молъ, царствѣ, въ

нѣкоторомъ государствѣ жилъ былъ истецъ... И пошелъ! и пошелъ!

— Удивительно! безподобно!

Тонкачевъ окончательно входитъ въ роль и начинаетъ, такъ сказать, прорицать...

— Мнѣ стоитъ только взглянуть на составъ суда, — говоритъ онъ: — чтобъ сейчасъ же опредѣлить, выиграю я дѣло или проиграю. Вотъ тутъ-то именно и нужна мнѣ сноровка. Ежели составъ суда благопріятный, я всѣ силы употреблю, чтобъ дѣло было разсмотрѣно въ этомъ засѣданіи; ежели составъ суда неблагопріятный—я изъ кожи лѣзу, чтобъ мое дѣло было отложено. Вы думаете, какъ я кондыревское дѣло выигралъ?—именно этотъ фортель въ ходъ пустилъ! Вижу, Левушка Сибаритовъ въ числѣ судей сидитъ—ну, думаю, плохо дѣло! И подвелъ, знаете, кулеврину! И до тѣхъ поръ откладывалъ да откладывалъ, покуда Левушку въ Чернолѣсскъ предсѣдателемъ не перевели. Тогда и покончилъ.

Въ публикѣ слышится ропотъ удивленія...

— Я не такія еще штуки выдѣлывалъ! Одинъ разъ я передъ присяжными показывалъ, какъ черезъ веревочку прыгаютъ. Всталъ по серединѣ зала и началъ прыгать. Оправдали. Другой разъ сталъ доказывать, что одинъ человѣкъ можетъ цѣлый папушникъ съѣсть—и съѣлъ. Я къ одному изъ будущихъ засѣданій такую штуку приготовляю, такую штуку! Вотъ увидите!

— Разскажите, Тонкачевъ! Ну, пожалуйста!

— Нѣтъ, господа, покуда это секретъ. Я долженъ поразить неожиданно, чтобы никто не опомнился. У меня, господа, сто пять дѣлъ въ производствѣ было—сколько отчаянныхъ между ними, ну, самыхъ, то-есть, такихъ, что даже издали взглянуть на него противно! — и девяносто семь изъ нихъ выигралъ! Замѣтьте: изъ ста пяти дѣлъ только восемь проигранныхъ! Такого tour de force даже Отпѣтый не совершалъ!

— Тонкачевъ! шампанскаго! servez-vous!

— Нѣтъ, господа, вы ужъ позвольте мнѣ самому фетировать васъ! человѣкъ, двѣнадцать бутылокъ! Вы, господа, какое предпочитаете?

— Редереръ! Редереръ!

— А я, грѣшный человѣкъ, предпочитаю Heidsick-Cabinet! Суше. А впрочемъ, можно отъ времени до времени и ледерцу пропустить. Только предварительно над-

лежитъ по коньячкамъ пройтись, чтобы приличное *осажс* сдѣлать послѣ всего этого изобилія плодовъ земныхъ!

Попойка возобновляетъ теченіе свое и принимаетъ болѣе и болѣе шумный характеръ. Черезъ часъ пирующіе уже перестаютъ понимать другъ друга. Одинъ Тонкачевъ, что̀ называется, ни въ одномъ глазѣ и только хвастаетъ въ нѣсколько болѣе усиленныхъ размѣрахъ, чѣмъ обыкновенно.

— Вотъ когда вы выйдете изъ заведенія, всѣ ко мнѣ приходите! — говоритъ онъ: — такъ прямо и приходите! Я всѣхъ въ помощники приму! Мы цѣлую фабрику заведемъ! Мы такое судоговоренье устроимъ, что небу жарко будетъ! Истецъ ли, отвѣтчикъ ли,—все будетъ одно, все въ нашихъ рукахъ. Самъ истецъ, самъ и отвѣтчикъ! Вотъ мы какую штуку удеремъ! Я, ты, онъ — все одно! все одинъ чортъ!

Наконецъ дѣло доходитъ до того, что нѣкоторые изъ бесѣдующихъ начинаютъ плакать, другіе—смѣяться, третьи—призывать небо и землю въ свидѣтели. Одинъ изъ школьниковъ подходитъ къ зеркалу и, завидѣвъ тамъ свое изображеніе, начинаетъ къ нему придираться. Опьянѣлъ наконецъ и Тонкачевъ.

— А вѣдь по правдѣ-то, — говоритъ онъ коснѣющимъ языкомъ: — какъ ежели по совѣсти... свиньи мы, господа! Ничего-то вѣдь у насъ за душой! Ну, просто, такъ сказать, въ душѣ кабакъ... Ей Богу, такъ!

Далеко за полночь молодыхъ людей не безъ труда развозятъ по домамъ татары

Наконецъ сданъ и послѣдній экзаменъ. Будущіе прокуроры и адвокаты разсыпаются по стогнамъ Петербурга.

Миша вышелъ первымъ. Въ щегольскомъ фракѣ, съ капитанскимъ чиномъ на плечахъ, онъ съ выпускного обѣда является въ отчій домъ. Но такъ какъ онъ навеселѣ, то ему кажется, что передъ нимъ не скромная квартира Семена Прокофьича Нагорнова въ Подъяческой, а величественное зданіе суда.

— Принимая во вниманіе, — говоритъ онъ, останавливаясь въ дверяхъ передней и указывая на отца:—принимая во вниманіе, что этотъ человѣкъ совершилъ преступленіе съ полнымъ сознаніемъ содѣяннаго, и притомъ безъ всякихъ уменьшающихъ вину его обстоятельствъ, а потому полагаемъ...

— Другъ ты мой! — восклицаетъ Анна Михайловна въ какомъ-то неописанномъ волненіи.

— Ну, Христосъ съ нимъ! выпилъ... Христосъ съ нимъ!—съ нѣжностью говоритъ Семенъ Прокофьичъ, крестя сына.

— И за что они меня въ прокуроры отдали! Я въ адвокаты хочу! — всхлипываетъ Миша какимъ-то наболѣвшимъ голосомъ, и слезы градомъ катятся изъ глазъ его.

Будущаго прокурора укладываютъ спать.

ПАРАЛЛЕЛЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Никто не могъ сказать опредѣлительно, какимъ образомъ Порфирій Велентьевъ сдѣлался финансистомъ. Правда, что еще въ 1853 году, пользуясь военными обстоятельствами того времени, онъ уже написалъ проектъ подъ названіемъ:

Дешевѣйшій способъ продовольствія армии и флотовъ!!

или

Колбаса изъ коровьихъ шишекъ, съ примѣсью никуда не годныхъ мясныхъ обрѣзковъ!!

— въ которомъ, описывая питательность и долгосохраняемость изобрѣтеннаго имъ продукта, требовалъ, чтобы ему отвели до ста тысячъ десятинъ земли въ плодороднѣйшей полосѣ Россіи, для устройства громадныхъ размѣровъ колбасной фабрики; взамѣнъ же того предлагалъ снабжать армію и флотъ изумительнѣйшею колбасою по баснословно-дешевымъ цѣнамъ. Но, увы! тогда время для проектовъ было тугое, и хотя нѣкоторые помощники столоначальниковъ того вѣдомства, въ которомъ служилъ Велентьевъ, соглашались, что «хорошо бы, братъ, разомъ этакой кусъ урвать», однако въ высшихъ сферахъ никто Порфирія за финансиста не призналъ и проектомъ его не соблазнился. Напротивъ того, ему было даже внушено, чтобы онъ «несвойственными дворянскому званію вымыслами впредь не занимался, подъ опасеніемъ высылки за предѣлы цивилизаціи». На томъ это дѣло и покончилось. Порфирій года четыре прожилъ смирно, состоя на службѣ въ одномъ изъ департаментовъ министерства финансовъ.

Но молчаніе его было вынужденное, и втайнѣ Велентьевъ все-таки давалъ себѣ слово во что бы ни стало возвра-

титься къ проекту о колбасѣ. Перечитывая стекающіяся отовсюду вѣдомости о положеніи въ казначействахъ суммъ и капиталовъ всевозможныхъ наименованій, онъ пускался въ вычисленія, доказывалъ недостаточность употреблявшихся въ то время способовъ для извлеченія доходовъ, требовалъ учрежденія особаго министерства подъ названіемъ «министерства дивидендовъ и раздачъ» и, указывая на неисчерпаемыя богатства Россіи, лежащія какъ на поверхности земли, такъ и въ нѣдрахъ оной, восклицалъ:

— Столько богатствъ — и втуне! Вѣдь это наконецъ свинство!

Но никто уже не вѣрилъ ему. Даже помощники столоначальниковъ—и тѣ сомнѣвались, хотя каждому изъ нихъ, конечно, было бы лестно заполучить мѣстечко въ министерствѣ дивидендовъ и раздачъ. Всѣ считали Велентьева полупомѣшанною и преисполненною финансоваго бреда головой, никакъ не подозрѣвая, что близится время, когда самый горячечный бредъ не только сравняется съ дѣйствительностью, но даже будетъ оттѣненъ послѣднею далеко на задній планъ...

Наконецъ наступилъ 1857 годъ, который всѣмъ открылъ глаза. Это былъ годъ, въ который впервые покачнулось пресловутое русское единомысліе и уступило мѣсто не менѣе пресловутому русскому галдѣнію. Это былъ годъ, когда выпорхнули цѣлые рои либераловъ-пѣнкоснимателей и принялись усиленно нюхать, чѣмъ пахнетъ. Это былъ годъ, когда не было той скорбной головы, которая не попыталась бы хоть слегка поковырять въ нѣдрахъ русской земли, добродушно смѣшивая послѣднюю съ русской казною.

Промышленная и акціонерная горячка, послѣ всеобщаго затишья, вдругъ очутилась на самомъ зенитѣ. Проекты сыпались за проектами; акціонерныя компаніи нарождались одна за другою, какъ грибы въ мочливое время. Люди, которымъ дотолѣ присвоивались презрительныя наименованія «соломенныхъ головъ», «гороховыхъ шутовъ», «проходимцевъ» и даже «подлецовъ», вдругъ оказались геніями, передъ грандіозностью соображеній которыхъ слѣпли глаза у всѣхъ непосвященныхъ въ тайны жульничества. Всѣхъ русскихъ быковъ предполагалось посолить и въ соленомъ видѣ отправить за границу. Всѣ русскія болота представлялось необходимымъ разработать и извле-

ченные изъ торфа продукты отправить за границу. X указывалъ на изобиліе грибовъ и требовалъ «устройства грибной промышленности на болѣе раціональныхъ основаніяхъ»; Z указывалъ на массы тряпья, скопляющіяся по деревнямъ, и доказывалъ, что если бы эти массы употребить на выдѣлку бумаги, то бумажныя фабрики всѣхъ странъ должны были бы объявить себя несостоятельными; У заявлялъ скромное желаніе, чтобы въ его руки отданы были всѣ русскіе кабаки, и взамѣнъ того обѣщалъ сдѣлать сивуху общедоступнымъ напиткомъ. Хмель, ленъ, пенька, сало, кожи — на все завистливымъ окомъ взглянули домашніе ловкачи-реформаторы и изъ всего изъявляли твердое намѣреніе выжать сокъ до послѣдней капли. Повсюду, даже на улицахъ, слышались возгласы:

— Ванька-то! курицынъ сынъ! скажите, какую штуку выдумалъ!

Однимъ словомъ, русскій геній воспрянулъ...

Но какъ ни грандіозны были проекты объ организаціи грибной промышленности, объ открытіи рынковъ для сбыта русскаго тряпья и проч.—они представлялись ребяческимъ лепетомъ въ сравненіи съ проектомъ, который созрѣлъ въ головѣ Велентьева. Тѣ проекты были простые, болѣе или менѣе увѣсистые булыжники. Велентьевъ же вдругъ извлекъ цѣлую глыбу и поднесъ ее изумленной публикѣ. Проектъ его былъ озаглавленъ такъ: «О предоставленіи коллежскому совѣтнику Порфиріи Менандрову Велентьеву въ товариществѣ съ вильманстрандскимъ первостатейнымъ купцомъ Василіемъ Вонифатьевымъ Поротоуховымъ въ безпошлинную двадцатилѣтнюю эксплоатацію всѣхъ принадлежащихъ казнѣ лѣсовъ для непремѣннаго оныхъ, въ теченіе двадцати лѣтъ, истребленія»... Передъ величіемъ этой концессіи всѣ сомнѣнія относительно финансовыхъ способностей Порфирія немедленно разсѣялись. Всѣ тѣ, которые дотолѣ смотрѣли на Велентьева, какъ на исполненную финансоваго бреда голову, должны были умолкнуть. Столоначальники и начальники отдѣленій, встрѣчаясь на Подъяческой, въ восторгѣ поздравляли другъ друга съ обрѣтеніемъ истиннаго финансоваго человѣка минуты. Директоры департаментовъ задумывались; но въ этой задумчивости проглядывалъ не скептицизмъ, а опасеніе, сумѣютъ ли они встать на высоту положенія, созданнаго Велентьевымъ. Словомъ сказать, репутація Велентьева, какъ финансиста, установилась на прочныхъ основаніяхъ, и ежели не на-

всегда, то, по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока не явится новый Велентьевъ, съ новымъ, еще болѣе грандіознымъ проектомъ «о повсемѣстномъ опустошеніи», и не свергнетъ своего созію съ пьедестала, на который тотъ вскарабкался.

Само собой разумѣется, что часть славы, озарившей Велентьева, должна была отразиться и на вильманстрандскомъ купцѣ Поротоуховѣ. О Поротоуховѣ еще менѣе можно было сказать, какимъ образомъ онъ сдѣлался финансистомъ. Большинство помнило его еще подъ именемъ Васьки Поротое-Ухо, сидѣльцемъ кабака въ одной изъ великорусскихъ губерній; хотя же онъ въ этомъ положеніи и успѣлъ заслужить себѣ репутацію балагура, но такъ какъ въ тѣ малопросвѣщенныя времена никто не подозрѣвалъ, что отъ балагура до финансиста рукой подать, то никто и не обращалъ на него особеннаго вниманія. Тѣмъ не менѣе должно полагать, что Васька занимался не однимъ балагурствомъ, но умѣлъ кое-что и утаить. И вотъ, въ одно прекрасное утро, онъ явился въ одно изъ присутственныхъ мѣстъ, гдѣ производились значительные торги на отдачу различныхъ поставокъ и подрядовъ, и подъ торговымъ листомъ совершенно отчетливо подписался: «вильмерстанскій первастатейнай купецъ Василей Велифантьяфъ Портаухафъ симъ патъ Писуюсь». Присутствующіе такъ и ахнули. Поротоуховъ— первостатейный купецъ? Не можетъ быть! Васька! ты ли это?! Но Поротоуховъ смотрѣлъ такъ свѣтло и ясно, какъ будто онъ такъ и родился «вильмерстанскимъ кущомъ». Повидимому, онъ расцвѣлъ въ одну ночь, расцвѣлъ тайно отъ всѣхъ глазъ, съ тѣмъ, чтобы разомъ явить міру всѣ благоуханія, которыми онъ преисполненъ. И расцвѣлъ не затѣмъ, чтобы вмалѣ завянуть, а затѣмъ, чтобы явиться финансистомъ-практикомъ, правою рукой того плодотворнаго дѣла, душою котораго суждено было сдѣлаться Велентьеву.

Такимъ образомъ на нашемъ общественномъ горизонтѣ одновременно появилось два финансовыхъ свѣтила. Другое, болѣе слабонервное общество не выдержало бы, но мы выдержали. Велентьевъ и Поротоуховъ пошли въ ходъ. Желѣзными когтями вцѣпились они въ нѣдра русской земли и копаются въ нихъ доднесь, волнуя воображеніе россіянъ перспективами неслыханныхъ барышей и обѣщаніемъ какихъ-то сокровищъ, до которыхъ нужно только докопаться, чтобы посрамить остальную Европу.

Но общественное мнѣніе, справедливо угадавъ въ Велентьевѣ и Поротоуховѣ людей, отвѣчавшихъ потребностямъ минуты, все-таки не совсѣмъ правильно взглянуло на тѣ условія, въ силу которыхъ они появились на аренѣ общественной дѣятельности не въ качествѣ прохвостовъ, какими бы имъ надлежало быть, но окруженные ореоломъ авторитетности. Оно увидѣло въ нихъ баловней фортуны, геніальныхъ самоучекъ, въ которыхъ идея о всеобщемъ ограбленіи явилась какъ плодъ внезапнаго откровенія. Это было заблужденіе. Не съ неба свалилась этимъ людямъ почетная роль финансовыхъ воротилъ русской земли, а пришла издалека. Надъ ними прошло цѣлое воспитаніе, вслѣдствіе котораго они такъ же естественно развились въ финансистовъ самоновѣйшаго фасона, какъ Миша Нагорновъ—въ неусыпнаго служителя Ѳемиды, а Коля Персіановъ—въ администратора высшей школы.

На этотъ разъ займемся собственно Порфишей Велентьевымъ, предоставляя себѣ поговорить о Васильѣ Поротоуховѣ при случаѣ.

Отецъ Порфиши, Менандръ Велентьевъ, происходилъ изъ духовнаго званія. Даже и теперь, въ одной изъ подмосковныхъ губерній, имѣется село Велентьево, въ которомъ Порфишинъ дѣдъ былъ въ теченіе сорока лѣтъ священникомъ. Благодаря существовавшему въ двадцатыхъ годахъ спросу на молодыхъ людей изъ духовнаго званія, Менандру посчастливилось, да къ тому же и способности у него были прекрасныя. Еще будучи въ семинаріи, онъ съ такою легкостью усвоивалъ себѣ всю книжную мудрость, отъ патристики до догматическаго богословія включительно, что отецъ-ректоръ не разъ рѣшался переименовать его въ Быстроумова, но, къ счастью для Менандра, а еще болѣе для Порфиши, почему-то не успѣлъ наложить на родъ Велентьевыхъ неизгладимое клеймо племени Левитова. Впослѣдствіи, какъ отличный, Менандръ былъ переведенъ въ духовную академію, въ Петербургъ, гдѣ тоже блистательно кончилъ курсъ, но, при выходѣ изъ академіи, духовной карьеры не пожелалъ, а предпочелъ ей карьеру чиновника. Обстоятельства поблагопріятствовали ему и тутъ. Въ это самое время князь Оболдуй-Щетина-Ферлакуръ искалъ для своего сына воспитателя и, по совѣту жены, обратился къ единственному въ то время надежному источнику истиннаго просвѣщенія — къ духовной

академіи. Отецъ-ректоръ порекомендовалъ князю Менандра Велентьева.

Князь Оболдуй-Щетина-Ферлакуръ былъ первый изъ русскихъ Ферлакуровъ. Княжна Оболдуй-Щетина была послѣднею представительницей знаменитаго рода князей Оболдуевъ-Щетинъ. Дабы не дать угаснуть воспоминанію объ этомъ родѣ, княжна, вышедши замужъ за французскаго эмигранта Ферлакура, исходатайствовала, чтобы къ фамиліи послѣдняго была присоединена и ея собственная. Такимъ образомъ устроился трисоставный князь Оболдуй-Щетина-Ферлакуръ. Новоиспеченный князь Россійской имперіи оказался вполнѣ достойнымъ внезапно постигшаго его счастія. Онъ сразу понялъ, что настоящее отечество для праздношатающагося—тамъ, гдѣ представляется возможность кататься какъ сыръ въ маслѣ, и затѣмъ, ни мало не колеблясь, принялъ православіе и съ этой минуты не иначе говорилъ о себѣ, какъ: «мы, русскіе». Долгихъ усилій ему стоило, чтобы *полюбить севрюжину* съ хрѣномъ; но такъ какъ онъ понялъ, что безъ этого быть истинно русскимъ нельзя, то не только полюбилъ севрюжину, но даже охотно пилъ квасъ, а о кашѣ выражался не иначе, какъ: «каша есть матерь наша». Онъ щеголялъ тѣмъ, что онъ русскій, хотя и Ферлакуръ, и предсказывалъ, что недалеко время, когда всѣ французскіе Ферлакуры будутъ русскими. Въ разговорѣ онъ любилъ вклеивать малоупотребительныя слова, въ родѣ «токмо», «вящшій», «вмалѣ», «книжица», «иждивеніе» и т. д. Но когда онъ наконецъ написалъ книжицу, въ которой изобразилъ, какими неисповѣдимыми путями онъ дошелъ до сознанія истинъ святой православной вѣры, то всѣ признали, что болѣе благонадежнаго русскаго, чѣмъ этотъ русскій Ферлакуръ,—и желать не надо. Пользуясь этимъ благопріятнымъ поворотомъ мнѣнія высшихъ административныхъ сферъ, князь достигъ того, что неторопливыми, но вѣрными шагами шелъ себѣ да шелъ по лѣстницѣ должностей и наконецъ получилъ совершенно обезпеченное положеніе въ вѣдомствѣ святѣйшаго синода.

Такимъ образомъ, когда Менандръ Велентьевъ вступилъ, въ качествѣ домашняго воспитателя, въ домъ князя Оболдуй-Щетина-Ферлакура, послѣдній былъ уже на верху почестей и славы.

Менандръ скоро и ловко освоился съ своимъ новымъ положеніемъ. Онъ понялъ, что ему слѣдуетъ быть почти-

тельнымъ безъ низкопоклонства, откровеннымъ безъ фамильярности и наконецъ, по крайней мѣрѣ, въ такой же степени русскимъ, какъ и князь Оболдуй-Щетина-Ферлакуръ! Послѣднее было для него, конечно, довольно легко, потому что онъ не только ѣлъ севрюжину съ хрѣномъ, но и гороховицу употреблялъ довольно охотно. Но найти середину между почтительностью и низкопоклонствомъ, отыскать ту ноту, которая не дозволяла бы откровенности перейти въ фамильярность, было нѣсколько труднѣе. Какъ и всѣ семинаристы, Менандръ былъ до крайности угловатъ и потому рѣшительно не владѣлъ своимъ тѣломъ. Онъ не зналъ, что̀ дѣлать съ руками (по временамъ онъ порывался ихъ прятать, какъ бы подъ гнетомъ ощущенія рясы на плечахъ), и вообще всею фигурой напоминалъ танцующаго медвѣдя. Желаніе попасть въ тонъ и показать знаніе свѣтскихъ приличій убивало его и заставляло дѣлать тысячи несообразностей. Онъ то спѣшилъ и устремлялся, то вдругъ останавливался и упирался, какъ быкъ; то чрезмѣрно улыбался, стараясь сложить губы на подобіе сердечка, то вдругъ насупливалъ брови и по цѣлымъ часамъ глядѣлъ исподлобья. По-французски онъ понималъ отлично, но разговоръ его былъ нерѣшительный, какъ будто его постоянно преслѣдовала мысль: а не по-латыни ли я говорю? Сверхъ того онъ былъ ширококостъ и говорилъ такимъ открытымъ басомъ и съ такою невозмутимою разсудительностью, какъ будто непрерывно проповѣдывалъ или вразумлялъ. Но что̀ въ особенности вредило ему, такъ это тогдашній модный костюмъ, которымъ онъ поспѣшилъ обзавестись. Вообразите вишневаго цвѣта съ искрой фракъ, совершенно облизанный спереди и съ узенькими фалдочками назади, штаны въ обтяжку, высокій галстукъ, до того туго повязанный, что всякій франтъ того времени казался всегда живущимъ подъ угрозой паралича, и наконецъ прическу, состоящую изъ кока посреди лба, гладко выстриженнаго затылка и волосъ, зачесанныхъ на виски въ видѣ толстыхъ запятыхъ,—и вы будете имѣть возможность представить, какъ долженъ былъ казаться смѣшнымъ въ такомъ видѣ этотъ плотный семинаристъ, только-что перешедшій съ академической парты въ великолѣпные салоны перваго русскаго Ферлакура.

Но Менандру, что̀ называется, везло, и потому даже нелѣпая внѣшность послужила ему въ пользу.

Княгиня была женщина еще не старая, но не очень

красивая и набожная. Въ обществѣ ее уважали за то, что она умѣла умно вести теологическіе споры; но такъ какъ даже и въ то суровое время молодые люди предпочитали амурные разговоры теологическимъ, то княгиня постоянно видѣла себя окруженною людьми, имѣвшими не менѣе статскаго совѣтника на плечахъ. Но статскіе и дѣйствительные статскіе совѣтники говорили такъ резонно, что даже на нее наводили тоску. Съ одной стороны, старый Ферлакуръ съ своими «книжицами» и «иждивеніями», съ другой—какой-нибудь генералъ-майоръ Толокопниковъ, читающій на soirée causante проектъ «немедленнаго возсоединенія уніи, буде нужно, даже съ помощью оружія»—вотъ убивающая обстановка, въ которой ей суждено было влачить изо-дня-въ-день свое существованіе. Поэтому, хотя княгиня и не сознавалась даже самой себѣ, что отсутствіе въ ея салонахъ молодого элемента раздражало ее, но по временамъ сами статскіе совѣтники замѣчали, что на нее находятъ порывы какой-то странной теологической рѣзвости. То вдругъ начнетъ цитировать Вольтера и энциклопедистовъ, то возбудитъ вопросъ о папской непогрѣшимости и окажетъ явную наклонность къ поддержанію ея (подивимся, читатель! гдѣ-то на отдаленномъ сѣверѣ слабая женщина еще въ двадцатыхъ годахъ провидѣла вопросъ, повергающій въ смущеніе современную католическую Европу!). Статскіе совѣтники слушали, хлопали глазами и расходились по домамъ «смущенные и очи опустя». А княгиня, оставшись наединѣ съ самой собою, начинала вздыхать, швыряла теологическія диссертаціи на полъ, садилась къ окну и съ какимъ-то безнадежнымъ томленіемъ устремляла вдаль глаза свои. Ждала ли она чего-нибудь? сознавала ли даже, что чего-то ждетъ?—на эти вопросы я отвѣчать не берусь. Я знаю только, что когда маленькому князенку стукнуло десять лѣтъ, она съ какимъ-то лихорадочнымъ нетерпѣніемъ начала торопить стараго Ферлакура, чтобъ онъ какъ можно скорѣе пріискивалъ сыну воспитателя.

Княгинѣ понравилась и неловкость Велентьева и даже его необыкновенный французскій языкъ. Тутъ было много пикантнаго, много такого, надъ чѣмъ можно было поработать. Она прямо взяла Менандра подъ свое покровительство и, надо сказать правду, повела дѣло приручения дикаря съ большимъ тактомъ. Прежде всего она внушила ему полное довѣріе къ себѣ своимъ ровнымъ, мягкимъ и

открытымъ обращеніемъ. Изъ своихъ отношеній къ нему она изгнала всякую подготовленность, все, что могло бы намекнуть Велентьеву, что она выдерживаетъ школу, а не свободно относится къ нему. Потомъ она предприняла внушить ему, что она «святая» (une sainte) и въ этомъ качествѣ имѣетъ нѣкоторое право снисходительно указывать людямъ на ихъ недостатки, безъ всякаго намѣренія оскорбить ихъ самолюбіе. Пользуясь тѣмъ, что Менандръ занималъ должность воспитателя ея сына, она часто и подолгу бесѣдовала съ нимъ, но никогда не давала замѣтить, что его открытый басъ по временамъ уже слишкомъ переходитъ въ порывистый вой или глубокомысленное урчаніе, а только нюхала спиртъ и противопоставляла этимъ страннымъ голосовымъ тонамъ мягкіе и ровные тоны своего собственнаго голоса.

Вслушиваясь въ ея свободно-льющуюся, хотя и нѣсколько безцвѣтную рѣчь, Велентьевъ невольнымъ образомъ сравнивалъ ее съ своими захлебываніями и начиналъ догадываться, почему княгиня ощущаетъ потребность нюхать спиртъ, когда онъ говоритъ. И вслѣдствіе этихъ сравненій его собственная рѣчь невольнымъ образомъ, хотя и не безъ нѣкоторой съ его стороны работы, становилась все болѣе и болѣе спокойною. Та же самая тактика была съ успѣхомъ примѣнена и относительно прочихъ внѣшнихъ манеръ. Княгиня начала съ того, что, идя къ обѣду, потребовала, чтобъ Велентьевъ подавалъ ей руку; но когда она сдѣлала это въ первый разъ, то Менандръ, во-первыхъ, бросился къ ней со всѣхъ ногъ и чуть не обрушился на нее всѣмъ корпусомъ, во-вторыхъ, изогнулся такимъ образомъ, что самъ князь удивился и сказалъ: «нѣтъ необходимости, другъ мой, столь вящше изломиться». Съ тѣхъ поръ княгиня всегда сама подходила къ Менандру, брала его за руку и въ качествѣ «святой» позволяла себѣ незамѣтно сообщать его корпусу надлежащее направленіе. Въ результатѣ оказалось, что черезъ какой-нибудь мѣсяцъ Велентьевъ говорилъ пріятнымъ и изъятымъ отъ всякой натуги басомъ и имѣлъ походку настолько непринужденную, что княгиня безъ всякаго риска могла даже при гостяхъ призывать его къ себѣ съ другого конца комнаты.

По вечерамъ княгиня читала съ Велентьевымъ Боссюэта и Массильона. Начинала она всегда сама, но потомъ, подъ предлогомъ утомленія, передавала книгу Менандру. Велентьевъ, путаясь и краснѣя, выводилъ латинскія фразы

и употреблялъ нечеловѣческія усилія, чтобы произносить ихъ какъ можно болѣе въ носъ. Княгиня съ ангельскимъ терпѣніемъ выносила эту тарабарщину и только тогда, когда можно было сдѣлать это безъ неприличія, вновь брала у Менандра книгу и продолжала читать сама.

— Вы читаете съ большимъ одушевленіемъ, — дружески говорила она:—я рѣдко слышала чтеніе до такой степени ясное, какъ ваше; но произношеніе у васъ еще недостаточно выработано. При вашихъ блестящихъ способностяхъ, вы, конечно, въ самое короткое время успѣете преодолѣть небольшія трудности языка.

И дѣйствительно, постепенно Менандръ до того навострился, что даже самъ старый Ферлакуръ, выслушавъ, въ одно прекрасное утро, его рапортъ о вчерашнихъ воспитательныхъ занятіяхъ юнаго князька, въ изумленіи воскликнулъ:

— Ah ça! ah mais! mais il est tout-à-fait comme il faut, ce ecquin de séminariste! Еще одно вящшее усиліе, мой юный другъ, и все будетъ къ наилучшему концу!

По временамъ княгиня посвящала его и въ тайны свѣтскаго разговора. Обыкновенно это случалось вечеромъ, когда въ домѣ не было гостей, когда старый князь уѣзжалъ въ клубъ, а маленькій князекъ уже спалъ. Начитавшись Массильона, перебравъ всѣ доводы pro и contra возсоединенія церквей, княгиня въ задумчивости полулежала на кушеткѣ, а Менандръ, сложивъ губы сердечкомъ (отъ этой скверной привычки даже она не могла его отучить), сидѣлъ противъ нея.

— Ахъ, что-то будетъ за гробомъ? — произносила княгиня, закрывая глаза.

— Я полагаю, будетъ жизнь безконечная, — отвѣчалъ Велентьевъ.

Княгиня нѣкоторое время молча вздыхала. Не особенно высокая грудь ея слегка колебалась, голова закидывалась назадъ; складки темной шелковой блузы мягко вздрагивали.

— Нѣтъ, я не объ томъ,—начинала она вновь:—я хотѣла бы знать, что такое ангелы?

— Ангелы-съ—это безплотные духи. По крайней мѣрѣ, такъ учитъ наша святая православная церковь.

— Однако многіе праведные люди ихъ видѣли. Согласитесь, что если-бъ они были совсѣмъ-совсѣмъ безплотными, развѣ можно было бы видѣть ихъ?

— Петлѣннымъ очамъ, ваше сіятельство, я полагаю..

— Ахъ, нѣтъ, опять не то! Знаете ли, я бы сама хотѣла быть ангеломъ! Только тогда, быть-можетъ, я убѣдилась бы, что̀ такое значитъ: «безплотная», и въ то же время плоть есть.

— Ваше сіятельство! Ежели судить по сердцу, то и въ настоящее время едва ли впадетъ въ ошибку тотъ, кто будетъ утверждать, что вы ангелъ!!!

— Вы думаете?.. Однако... я не безплотная...

Княгиня взглядывала на него исподлобья. Велентьевъ краснѣлъ, какъ ракъ, и начиналъ тяжело дышать.

— Я не безплотная, — тихо повторяла княгиня, снова закрывая глаза и окончательно впадая въ мечтательность.

Черезъ нѣсколько времени Менандру было объявлено, что онъ причисленъ, съ чиномъ коллежскаго секретаря, къ одной изъ канцелярій. Но какъ такъ на его рукахъ лежало болѣе важное дѣло воспитанія молодого Ферлакура, то само собой разумѣется, что всѣ его обязанности относительно государственной службы должны были ограничиваться полученіемъ за отличіе чиновъ. Это было время его перевоспитанія, то время, когда онъ долженъ былъ совлечь съ себя ветхаго семинариста и облечься въ ризу серьезнаго молодого человѣка, до тонкости понимающаго приличія свѣта. Княгиня продолжала заниматься его воспитаніемъ со всѣмъ увлеченіемъ экзальтированной женщины. Она переговорила съ нимъ всѣ разговоры того времени, но подъ конецъ какъ-то всегда сводила рѣчь къ ангеламъ и старалась допытаться, въ чемъ заключаются особенности ангельскаго житія. Онъ же съ своей стороны осмѣлился до того, что мало-по-малу сталъ заводить рѣчь «о тѣлесномъ озлобленіи» и по зрѣломъ разсмотрѣніи этого предмета приходилъ къ заключенію, что «сколь сіе ни прискорбно кажется, но надобно оное, по возможности, утишить, дабы душа могла свободнѣе воспарить».

— Какой вы однако-жъ матеріалистъ, Менандръ! — съ легкимъ укоромъ выговаривала ему княгиня.

— Невозможно, ваше сіятельство! — возражалъ онъ: — извольте разсудить сами! естественное ли дѣло, чтобы душа человѣческая чувствовала себя свободною, коль скоро сдерживающія ее узы не находятъ себѣ надлежащаго разрѣшенія?

Княгиня на минуту задумывалась и потомъ какъ бы про себя произносила:

— Au fond, peut être, vous êtes dans le vrai!

А молодой Ферлакуръ между тѣмъ подрасталъ, пріятнѣйшимъ образомъ проводя время въ дѣвичьей, въ обществѣ нянекъ и горничныхъ, и лишь по временамъ ощущая на себѣ воспитательное вліяніе Велентьева.

Года черезъ три Менандръ однако-жъ сообразилъ, что, предаваясь разговорамъ объ ангельскомъ житіи и тѣлесномъ озлобленіи, онъ не только не уйдетъ далеко, но даже можетъ скомпрометировать свое будущее. Онъ понялъ, что какъ ни ангелоподобна княгиня, но къ этой ангелоподобности уже начинаетъ примѣшиваться нѣкоторое количество «тѣлеснаго озлобленія». Затѣмъ представился вопросъ: что̀ такое княгиня и что̀ такое онъ самъ? Вопросъ этотъ Велентьевъ, нимало не обольщаясь, разъяснилъ себѣ такимъ образомъ: княгиня — женщина избалованная, капризная и притомъ властная; онъ же — червь, въ самомъ реальномъ значеніи этого слова. Поэтому онъ рѣшился оставаться, въ отношеніяхъ своихъ къ княгинѣ, на почвѣ исключительной дружбы, не увлекаясь никакими любовными фантазіями, какъ бы ни легко казалось ихъ осуществленіе...

Въ это время молодой Ферлакуръ поступилъ въ университетъ. Затѣмъ, хотя обязанности воспитателя и продолжали попрежнему лежать на Велентьевѣ, но онъ былъ уже настолько свободенъ, что могъ безъ ущерба для этихъ обязанностей искать для себя и другихъ занятій. Вслѣдствіе этого онъ началъ порываться на дѣйствительную службу и устроилъ это дѣло такъ ловко, что сама княгиня убѣдилась, что дѣйствительно государственному механизму чего-то недостаетъ, и что этотъ пропускъ можетъ быть лучше всего восполненъ Велентьевымъ, у котораго кстати была наготовѣ цѣлая законодательная система, ждавшая только удобнаго случая для своего осуществленія.

— Законы, ваше сіятельство, къ тому должны быть направлены, чтобы всѣхъ людей добродѣтельными сдѣлать!— такъ формулировалъ Менандръ свой взглядъ на законодательство.

— Странный вы человѣкъ, Велентьевъ! развѣ кто-нибудь сомнѣвался, что люди обязаны быть добродѣтельными! Но какъ этого достигнуть? — возражала княгиня.

— Достигнуть, ваше сіятельство, всего возможно, если правительствомъ будутъ допущены необходимыя въ семъ случаѣ приспособленія.

— Я понимаю: вы хотите сказать, что въ основаніе законодательства слѣдуетъ положить систему наказаній и наградъ?

— Точно такъ, ваше сіятельство. Ежели для добродѣтели будутъ ассигнуемы отъ правительства поощренія и награды, а пороку будутъ указаны въ перспективѣ арестантскія роты и смирительные дома, и ежели указанія эти будутъ выполнены неупустительно, то всякому вразумительно будетъ, по какой стезѣ ему надлежитъ идти.

— Да, но вы забываете, что смирительные дома уже существуютъ, а что касается до наградъ, то врядъ ли казна будетъ въ состояніи...

— Ваше сіятельство! Я такъ объ этомъ предметѣ думаю, что истинно-добродѣтельный человѣкъ, не обременяя казны, самъ себя сумѣетъ вознаградить, если ему будутъ преподаны надлежащія къ тому средства!

Однимъ словомъ, при содѣйствіи княгини, Менандръ въ скоромъ времени очутился въ самомъ центрѣ той кипучей дѣятельности, среди которой неслышно, но неуклонно разрабатывается общественное прокрустово ложе...

Двадцатые года были уже на исходѣ, и прежній піэтизмъ замѣнился страстью къ законодательству. Канцелярія, въ которой пріютился Велентьевъ, занималась преимущественно законами. Тамъ писались новые законы, измѣнялись, согласовались и редижировались старые. Цѣлыя полчища семинаристовъ окунали перья въ сокровищницу первозданнаго, неиспорченнаго человѣческаго мышленія и, «замаравши ихъ тамо», предавались «изобрѣтенію неослабныхъ и для всеобщаго употребленія пригодныхъ правилъ и узаконеній». Цѣлые вороха подготовительныхъ работъ валялись въ шкапахъ и по столамъ; тутъ были и предварительныя объяснительныя записки, и сравнительныя таблицы, и какіе-то громадные листы съ наклеенными на нихъ печатными вырѣзками. Слонообразные юноши-семинаристы безъ устали копались въ этихъ ворохахъ, и начальство, взирая на нихъ, съ удовольствіемъ помышляло, что существуютъ же на свѣтѣ тѣлеса, которыхъ даже подобная работа сломить не можетъ.

Здѣсь Велентьевъ встрѣтилъ товарищей по академіи, съ которыми временно разлучила его суровая обязанность воспитательства. Тутъ были они всѣ: и Гіероглифовъ, и Мудровъ, и Быстроумовъ, и Словущенскій. На нихъ лежали тогдашнія упованія Россіи и, какъ извѣстно, лежали не

напрасно. Товарищи встрѣтили Менандра не только безъ зависти, но даже съ сердечностью и радушіемъ. Вскорѣ они ввели его въ свой интимный кружокъ, который, повидимому, преслѣдовалъ какія-то особыя цѣли и потому имѣлъ внѣшніе признаки недозволеннаго правительствомъ общества.

Кружокъ этотъ назывался «Дружескимъ союзомъ для изысканія средствъ и достиженія цѣлей». Цѣль союза формулировалась такъ: произвести повсемѣстное пареніе духа, имѣя при томъ въ виду достиженіе высшихъ блаженствъ. Въ тридцатыхъ годахъ—это уже не дозволялось. Ближайшимъ средствомъ къ этой цѣли предлагалось слѣдующее: опутать Россію цѣлою сѣтью семинаристовъ-администраторовъ и семинаристовъ-законодателей, такъ какъ имъ однимъ, «яко видѣвшимъ процвѣтшій въ единую отъ нощей жезлъ Ааронов», вполнѣ доступно истинное представленіе о высшихъ блаженствахъ. Будучи введенъ въ это общество, Велентьевъ немедленно и съ полною ясностью опредѣлилъ себѣ тотъ путь, по которому ему надлежитъ идти, то-есть предпринялъ изгнать отъ него все относящееся къ паренію духа, яко противоправительственное.

Какъ и во всякомъ обществѣ людей, соединившихся съ извѣстными цѣлями, въ «союзѣ» были двѣ партіи: радикалы и умѣренные. Во главѣ радикаловъ стояли: Гіероглифовъ и Мудровъ; во главѣ умѣренныхъ (иначе «суетныхъ») находились: Быстроумовъ и Словущенскій. Какъ составители законовъ, эти молодые люди руководили всѣмъ движеніемъ; за ними уже стояли цѣлыя полчища Рождественскихъ, Спасскихъ, Неглигентовыхъ и проч., имѣвшихъ болѣе скромныя должности въ различныхъ департаментахъ.

Радикалы не только серьезно, но даже щепетильно относились къ «паренію духа»: они небрегли внѣшностью, были чрезмѣрно худы и длинны, одѣвались плохо, причесывались по принужденію и жадно глотали всякую пищу, не разбирая достоинствъ ея. Словомъ сказать, они охотно отдали бы на поруганіе тѣла свои, лишь бы достигнуть «высшихъ блаженствъ». «Я желалъ бы, чтобы псы терзали меня!»—вдохновенно говорилъ Гіероглифовъ.

Напротивъ того, «суетные» были люди слегка тронутые матеріализмомъ, и хотя признавали «пареніе духа» лучшею формою человѣческаго счастія, но признавали это подъ условіемъ укрощенія тѣлеснаго озлобленія при посредствѣ «незазорныхъ и дозволенныхъ правительствомъ лакомствъ».

Имъ улыбался суровый съ виду, но въ сущности очень покладистый правительственный матеріализмъ, въ видѣ приношеній, взятокъ, акциденцій и проч. По наружному виду это были люди кругленькіе и сытенькіе; одѣвались они не безъ семинарской щеголеватости, причесывались каждый день и не только не признавали правила: «предлагаемое да ядимъ», но, напротивъ того, всегда выбирали по возможности лучшіе куски. Тѣлъ своихъ на поруганіе они не отдавали, а, напротивъ, желали «въ полномъ спокойствіи и мирѣ душевномъ сквозь горнило испытаній пройти, дабы впослѣдствіи отъ трапезы блаженствъ благочинно и непрепятственно вкушать».

Менандръ Велентьевъ сразу сталъ на сторону «суетныхъ» и даже скоро сдѣлался руководителемъ и главой этой партіи. Случайно высказанное имъ княгинѣ убѣжденіе, относительно средствъ для укрощенія тѣлеснаго озлобленія, глубоко запало ему въ душу. Сначала укротить, а потомъ—воспарить. Немедленно по вступленіи въ союзъ, онъ напечаталъ, за подписью Z, въ одномъ изъ журналовъ того времени статью подъ названіемъ: «Что означаетъ истинное умерщвленіе человѣческой плоти?» — въ которой доказывалъ, что истинное умерщвленіе плоти есть «благопріятное и въ дозволенныхъ закономъ размѣрахъ оной удовлетвореніе». «Неспорно,—писалъ онъ: — что плоть человѣческая имѣетъ естество въ достаточной степени гнусное, но такъ какъ мы оную ни уничтожить, ниже сократить не вольны, то и вынуждаемся принять оную во вниманіе». Статья эта надѣлала большого шума; Гіероглифовъ и Мудровъ написали каждый по отвѣтной статьѣ, въ которыхъ изъяснили, что хотя г. Z имъ и неизвѣстенъ, но, должно быть, имѣетъ душу низкую, такъ какъ даже имени своего подъ статьей подписать не дерзнулъ. Тогда Велентьевъ написалъ другую статью подъ названіемъ: «Что симъ достигается?»—побѣдоноснымъ образомъ доказавъ, что симъ достигается именно то самое свободное пареніе духа, о которомъ хлопочутъ и Гіероглифовъ съ Мудровымъ. «Когда духъ нашъ свободно и бодро паритъ?» — вопрошалъ онъ себя и тутъ же отвѣтствовалъ на вопросъ: «тогда, когда плоть молчитъ; молчитъ же она не тогда, когда чувствуетъ себя угнетенною, но тогда, когда требованія ея вполнѣ и на законномъ основаніи удовлетворены».

Полемика эта, какъ и всѣ полемики, никакой пользы для науки духознанія не принесла, но для самого Ве-

лентьева имѣла результатъ очень существенный. Вопросъ о тѣлесномъ озлобленіи выяснился для него настолько ясно, что его неотступно начало преслѣдовать странное представленіе о мѣстѣ совѣтника въ одной изъ казенныхъ палатъ. Получить мѣсто совѣтника питейнаго отдѣленія и потомъ воспарить — такова была отнынѣ завѣтная мечта Велентьева,—мечта, осуществленіе которой сдѣлало его равнодушнымъ даже къ «изобрѣтенію пригодныхъ законовъ». Только въ званіи совѣтника онъ надѣялся найти для себя ту награду, которую, по его же словамъ, истинно-добродѣтельный человѣкъ, не обремсняя казны, самъ для себя получить можетъ. Получить мѣсто по питейной части и затѣмъ приличнымъ образомъ пристроиться, избрать себѣ въ подруги дѣвицу не весьма знатную, но и не низкаго рода, не весьма богатую, но и не безприданницу, не весьма красивую, но и не нарочито уродливую, таковъ былъ планъ, на которомъ остановилась мысль Менандра.

Къ счастію для Велентьева, привести въ исполненіе оба эти предположенія оказалось нетруднымъ.

Если въ синодальномъ вѣдомствѣ игралъ видную роль князь Оболдуй-Ферлакуръ, то въ финансовомъ вѣдомствѣ такую же роль игралъ эйзенахскій уроженецъ фонъ-Юнгфершафтъ, въ то время уже возведенный въ графское Россійской имперіи достоинство. Франко-германской распри еще не существовало; вопросъ о національностяхъ дремалъ подъ сѣнію вѣнскихъ трактатовъ, а потому всѣ выходцы поддерживали другъ друга безъ различія національностей. Ферлакуръ шепнетъ словечко Юнгфершафту насчетъ мѣстечка по питейной части; Юнгфершафтъ, въ свою очередь, порекомендуетъ Ферлакуру какого-нибудь архимандрита— и, благодаря взаимнымъ услугамъ, дѣла объ опредѣленіяхъ и увольненіяхъ шли какъ по маслу. Архимандриты, совѣтники, исправники—всѣ видѣли себя агентами одной и той же короны, только по разнымъ предметамъ, распредѣленіе которыхъ хранилось въ высшей регистратурѣ. Велентьеву пришлось дожидаться не долго. Княгиня такъ усердно хлопотала, что чрезъ мѣсяцъ послѣ того, какъ зародилась идея о мѣстѣ, Менандръ уже являлся къ самому Юнгфершафту и получалъ отъ него наставленіе, какимъ образомъ слѣдуетъ обращаться съ россійскими финансами. Графъ былъ сухой и безстрастный старикъ, говорившій глухимъ и однообразнымъ басомъ. Молва считала его безкорыстнымъ, и, повидимому, онъ оправдывалъ это мнѣніе; но, къ сожалѣнію,

изъ долговременной административной практики онъ вынесъ какое-то глубоко-безнадежное убѣжденіе о Россіи.

— Сей страна отъ природы таковъ,—говаривалъ онъ:— что въ немъ безъ грабежа существовать не есть возможно!

Велентьева графъ принялъ съ тою безличною, сухою благосклонностью, которая его отличала.

— Вы отправляетесь въ одну изъ наивыгоднѣйшихъ губерній Россійской имперіи,—сказалъ онъ ему:—но прошу васъ—я не приказываю, но прошу—имѣйте ротъ не столько широкій, какъ многіе изъ сослуживцевъ вашихъ!

— Помилуйте, ваше сіятельство!—заикнулся-было Менандръ, у котораго отъ этихъ словъ душа уже начала полегоньку парить.

— Я знаю, что ви хотите сказать,—невозмутимо продолжалъ старикъ:—ви хотите сказать, что ви не таковъ. Я долженъ вамъ вѣрить, хотя и думаю, что это не есть возможно. Но повторяю вамъ: сожалѣйте вашъ родной страна! Это очень добрый и хорошій страна; но нужно немного ее менажировать!

Велентьевъ продолжалъ раскрывать ротъ, видимо, порываясь разувѣрить графа; но старикъ былъ невозмутимъ.

— И еще прошу васъ,—говорилъ онъ:—не будьте нетерпѣливъ! Мы для всѣхъ предлагаемъ очень хорошій обѣдъ, но много людей имѣютъ такъ мало терпѣнья, что бросаются кушать, когда еще столъ не накрытъ. И за то попадаютъ подъ судъ.

На губахъ графа играла чуть-чуть замѣтная улыбка; глаза смотрѣли ясно, какъ будто читали насквозь въ душѣ этого вскормленника гороховицы, всѣ фибры котораго въ эту минуту свѣтились вожделѣніемъ. Подъ лучомъ этого взгляда Велентьеву сдѣлалось жутко, почти стыдно.

— И еще скажу,—продолжалъ напутствовать графъ:— не все грабить! Очень большой человѣкъ грабить не надо. Ибо ежели законъ говоритъ: дѣйствовать, не взирая на особъ, то практика говоритъ не такъ. Прощайте, г. Велентій!

Велентьевъ вышелъ отъ графа, словно изъ бани. Съ одной стороны, уста по привычкѣ шептали: «ангелъ, а не человѣкъ!»—съ другой стороны, онъ чувствовалъ, что ему неловко, что графъ угадалъ въ немъ нѣчто такое, въ чемъ даже онъ самъ не рѣшался дать себѣ отчетъ. И притомъ угадалъ съ такою чуткою проницательностью, что, говоря по совѣсти, не было возможности что-либо возразить.

Какъ бы то ни было, но предположеніе относительно

мѣста осуществилось: оставалось осуществить другое предположеніе—относительно вступленія въ законный бракъ. Фортуна и на этотъ разъ не оставила Менандра своимъ покровительствомъ.

У княгини жила въ домѣ троюродная племянница, одна изъ многочисленныхъ представительницъ захудалаго грузино-осетинскаго рода князей Крикулидзевыхъ. Княжнѣ Нинѣ Иракліевнѣ было подъ тридцать. Маленькая, худенькая, вся черненькая, съ большимъ грузинскимъ носомъ и быстрыми черными глазами, она незамѣтно копошилась въ одномъ изъ темныхъ угловъ обширнаго синодальнаго дома, не обращая на себя ничьего вниманія и, повидимому, отказавшись отъ всякой надежды на вступленіе въ брачный союзъ. Въ постоянномъ одиночествѣ она пріобрѣла одну страсть: копить деньги. Бережно прятала она небольшія подачки, которыя давала ей по праздникамъ княгиня-тетка, и была совершенно счастлива, когда ей поручали сдѣлать въ гостиномъ дворѣ или въ милютиныхъ лавкахъ закупки: тогда она уэкономливала нѣсколько рублей и присовокупляла ихъ къ прочимъ. Сверхъ того, у нея было въ Пензенской губерніи небольшое имѣніе (не болѣе тридцати душъ), доходы съ котораго она тоже прятала. Никто не зналъ, въ чемъ заключается это имѣніе и приноситъ ли оно что-нибудь, но она знала это отлично и, пользуясь въ домѣ тетки полной свободой, неслышно и незримо для всѣхъ дѣлала очень выгодныя финансовыя операціи. Операціи эти заключались въ отдачѣ крестьянъ въ солдаты «за дурное поведеніе», въ продажѣ рекрутскихъ квитанцій, въ покупкѣ на свозъ душъ, въ продажѣ дѣвокъ и проч. Операціи неблестящія, почти незамѣтныя, но вѣрныя и прочныя. Когда она хлопотала и суетилась по поводу сдачи какого-нибудь Іонки-подлеца, котораго казенная палата не соглашалась принять въ рекруты по случаю искривленія позвоночнаго столба, въ домѣ надъ нею смѣялись и говорили: «cette pauvre Nina! a-t-elle du guignon!» и затѣмъ, конечно, обхватывали дѣло такъ, что Іонку-подлеца принимали, несмотря на искривленіе позвоночнаго столба. А она прикидывалась казанской сиротой, но черезъ мѣсяцъ или черезъ два снова возбуждала вопросъ объ отдачѣ въ солдаты подлеца-Ипатки, у котораго на правой рукѣ не оказывалось указательнаго перста.

— Calmez-vous, chère enfant!—успокоивалъ ее старый князь:—j'intercederai! cela s'arrangera.

И Прошки, Ипатки, Іонки исчезали безслѣдно въ качествѣ кашеваровъ, лазаретныхъ служителей и прочихъ фурштатскихъ чиновъ великой россійской арміи.

Но подъ конецъ и въ домѣ стали догадываться, что у княжны водятся деньги. Это случилось именно въ то время, когда ей исполнилось тридцать лѣтъ, и она, постепенно чернѣя, сдѣлалась уже совсѣмъ черною. Догадался и Велентьевъ, но, прежде чѣмъ на что-нибудь окончательно рѣшиться, онъ сталъ исподволь похаживать по коридору, въ который выходила комната княжны. Княжна съ своей стороны замѣтила эти прогулки — и задумалась. Жажда жизни, долгое время заглушаемая заботливостью, одиночествомъ и страстью къ деньгамъ, вдругъ вспыхнула. Чаще и чаще начала она посматриваться въ зеркало и, незамѣтно для самой себя, ощутила потребность рядиться, прыскаться духами, взбивать волосы, порхать, подпрыгивать и проч. Глаза сдѣлались томные, голосъ зазвучалъ рѣзче, носъ еще болѣе заострился и вытянулся. Наконецъ, въ одно послѣ-обѣда, встрѣтившись съ Велентьевымъ въ коридорѣ, она пригласила его въ свою комнату и угостила прекраснѣйшимъ вареньемъ.

— Вы, можетъ-быть, думаете, что у меня денегъ нѣтъ?— сказала она, вдругъ приступая къ самому существу дѣла:— нѣтъ, у меня есть деньги!

Велентьева бросило въ жаръ при этомъ признаніи.

— Я недавно купила сто мужиковъ на свозъ,—продолжала княжна:—и ежели эта операція удастся, то я получу хорошую выгоду.

— Ваше сіятельство!—захлебнулся Велентьевъ.

— А когда я буду выходить замужъ, то ma tante дастъ мнѣ еще десять тысячъ. Эти деньги я думаю отдать въ ростъ.

— Ваше сіятельство! осмѣлюсь доложить...

— Вы думаете, можетъ-быть, что отдавать деньги въ ростъ—дѣло рискованное, но я могу сказать навѣрное, что тутъ никакого риску нѣтъ. Почти всѣ заложенныя вещи остаются невыкупленными и достаются мнѣ за безцѣнокъ. Посмотрите, сколько у меня прекраснѣйшихъ вещей!

И она выложила передъ нимъ цѣлый ворохъ табакерокъ, булавокъ и т. п.

— Всѣ эти вещи теперь мои, — сказала она: — потому что всѣ онѣ просрочены. Когда вы будете нюхать табакъ, то я вамъ подарю одну изъ этихъ табакерокъ. Скажите, вы въ какихъ отношеніяхъ къ ma tante?

— Помилуйте, ваше сіятельство!.. Княгиня—**ангелъ-съ**! смѣю ли я подумать!

— Гм!.. ангелъ! А Ѳедосѣя Семеныча вы знаете?

— Нѣть-съ, не имѣю чести...

— Ну, такъ вотъ онъ могъ бы сказать вамъ, какой она ангелъ. Теперь онъ секретаремъ въ вятской духовной консисторіи служитъ.

Это былъ единственный амурный разговоръ между Велентьевымъ и княжною. Тѣмъ не менѣе онъ заключалъ въ себѣ настолько содержательности, что участь обоихъ дѣйствующихъ лицъ была рѣшена. Черезъ мѣсяцъ княжна Нина Иракліевна Крикулидзева уже носила фамилію Велентьевой, и молодые въ великолѣпномъ іохимовскомъ дормезѣ (подарокъ ma tante) отправлялись въ губернскій городъ Семиозерскъ. Черезъ годъ у нихъ родился сынъ Порфирій.

Такимъ образомъ уже съ колыбели Порфиша очутился, такъ сказать, на самомъ лонѣ финансовыхъ операцій.

Менандръ Семеновичъ взглянулъ на свою должность съ тѣмъ невозмутимымъ практическимъ смысломъ, которымъ онъ всегда отличался. Конечно, въ качествѣ бывшаго семинариста, не отвыкшаго еще во всякомъ дѣлѣ прежде всего отыскивать его отвлеченную суть, онъ увлекся-было разъясненіемъ вопроса о правахъ и обязанностяхъ, сопряженныхъ съ званіемъ совѣтника казенной палаты, но къ чести его должно сказать, что увлеченіе это было непродолжительно. Онъ быстро понялъ современную ему дѣйствительность и съ свойственною ему проницательностью угадалъ, что отыскивать въ ней что-либо, отвѣчающее понятію, выраженному словами: права и обязанности,—было бы совершенно напраснымъ трудомъ. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, признать за нѣчто существенное такое, напримѣръ, право, какъ право носить мундиръ съ шитьемъ шестого класса, или такую обязанность, какъ обязанность являться въ соборъ и по начальству въ табельные дни. Все это не больше, какъ принадлежность чиновничьяго этикета, который, въ общемъ своемъ составѣ хотя и подраздѣляется на рубрики, носившія наименованіе «правъ и обязанностей», но очевидно, что это произошло лишь вслѣдствіе недоразумѣнія. Въ сущности, всякій, какъ чиновникъ, такъ и простой обыватель, жилъ, какъ могъ, то-есть не зналъ ни правъ, ни обязанностей, а просто-на-просто занимался пріобрѣте-

ніемъ въ свою пользу матеріальныхъ удобствъ настолько, насколько это позволяла личная возможность пріобрѣтать. И ужъ, конечно, никто не стѣснялся мыслью, что существуетъ на свѣтѣ какая-то особенная жизненная подкладка, элементы которой имѣютъ названіе правъ и обязанностей.

Итакъ, ни правъ, ни обязанностей не было, а была только возможность или невозможность получить желаемое и, кромѣ того, опасеніе не попасть подъ судъ. Но желаніе есть такая вещь, которая присуща природѣ человѣка, даже независимо отъ степени нравственнаго и умственнаго его развитія. И дикарь нѣчто желаетъ, несмотря на то, что онъ не имѣетъ понятія ни о правдѣ, ни о добрѣ, ни объ общественномъ интересѣ. Поэтому, если существуетъ общество, въ которомъ всѣ высшіе интересы сосредоточиваются исключительно около мундирнаго шитья и другихъ внѣшнихъ проявленій чиновничьяго этикета, то ясно, что въ этомъ обществѣ единственнымъ регуляторомъ человѣческихъ дѣйствій можетъ служить только личная жадность каждаго отдѣльнаго индивидуума, и притомъ жадность эгоистичная, уровень которой немногимъ превышаетъ уровень жадности дикаря. Можетъ человѣкъ унести и спрятать, или не можетъ? можетъ заглотать облюбованый кусъ, или не можетъ?—вотъ кругъ, въ которомъ вращается человѣческая жизнь, вотъ вся ея философія.

Несмотря на свою грубость, эта теорія улыбалась Велентьеву. Во-первыхъ, она не только совпадала съ его теоріей угобженія плоти (дабы духъ могъ безпрепятственнѣе воспарить), но и шла значительно дальше, предоставляя выполненіе второй половины задачи (пареніе духа) естественному ходу обстоятельствъ. Возможетъ духъ воспарить—прекрасно; не возможетъ—стало-быть, обстоятельства тому не благопріятствуютъ. И дешево и сердито.

Во-вторыхъ, ежели другой, лучшей теоріи нѣтъ, то, дѣлать нечего, надо мириться и съ тою, какая есть. Только безумцы могутъ отыскивать жемчужное зерно въ навозѣ; мудрый же довольствуется и овсянымъ зерномъ. Притомъ же и правительство одобряетъ, дабы никто жемчужнаго зерна не искалъ. Мудрый прежде всего ищетъ, чтобы у него была почва подъ ногами, и ежели эту почву составляетъ навозъ, то онъ и на навозѣ не погнушается строить зданіе своего благосостоянія. Въ-третьихъ, наконецъ,—и это самое главное,—теорія личной жадности встрѣчала на

практикѣ такія приспособленія, которыя примиряли съ нею самаго взыскательнаго и щепетильнаго моралиста.

Взятая сама по себѣ, она была безнравственна—Велентьевъ охотно допускалъ это. Если-бъ всѣмъ людямъ безъ различія была предоставлена возможность свободно проявлять стремленія своего аппетита, то послѣдствія этой свободы были бы самыя пагубныя. А именно: или всеобщая истребительная война, или всеобщее обѣднѣніе. По крайней мѣрѣ, такъ гласитъ наука не только тогдашняго, но и нашего времени. Ни того, ни другого Менандръ Семеновичъ не одобрялъ. Въ качествѣ вскормленника семинаріи, онъ ненавидѣлъ военныя упражненія и любилъ сосать свой кусъ не токмо нетревожно и несмущенно, но такъ, чтобы и сердце играло и душа непрестанно славословила Подателя всѣхъ благъ. Съ другой стороны, какъ патріотъ, онъ понималъ, что ежели всѣ куски сдѣлать равными, то человѣческая дѣятельность утратитъ главнѣйшій свой стимулъ: соревнованіе. Каждый будетъ доволенъ (или вынужденъ казаться таковымъ) своей долей и не станетъ порываться урвать долю, сосомую сосѣдомъ. Люди одичаютъ, сдѣлаются лѣнивыми и безпечными, утратятъ инстинктъ предусмотрительности и запасливости—на что похоже! Фабрики и заводы прекратятъ свое дѣйствіе; промышленность придетъ въ упадокъ, торги запустѣютъ, земледѣлію будетъ нанесенъ ударъ, отъ котораго оно никогда не оправится. Что станется съ отечествомъ?—Велентьева подиралъ морозъ по кожѣ отъ этого вопроса. Но, къ счастію, ему не представлялось даже надобности разрѣшать этотъ вопросъ, ибо само отечество позаботилось о его разрѣшеніи.

Русское общество съ самаго начала XVIII вѣка порывалось создать теорію такой регламентаціи аппетитовъ, которая приличествовала бы обществу вполнѣ цивилизованному, оберегающему себя и отъ анархіи и отъ всеобщаго обѣднѣнія. Попытки эти выразились въ формѣ очень незамысловатой, но въ то же время очень дѣйствительной, а именно—въ формѣ табели о рангахъ. Общество не лукавило; оно не прибѣгало для оправданія своихъ теорій къ помощи сложныхъ и извилистыхъ политико-экономическихъ афоризмовъ, которые, впрочемъ, не столько разрѣшаютъ вопросъ объ уравновѣшеніи человѣческихъ аппетитовъ, сколько описываютъ, какимъ образомъ въ дѣйствительности происходитъ ограниченіе однихъ частныхъ аппетитовъ въ пользу другихъ таковыхъ же. Оно поступило

проще, то-есть раздѣлило аппетиты на ранги и затѣмъ сказало, что только дѣйствительно сильный и вполнѣ сознающій себя аппетитъ можетъ выйти изъ того ранга, въ который его помѣстила судьба. Это была своего рода цѣльная и оригинальная экономическая наука, которая въ главныхъ чертахъ раздѣляла обывателей на слѣдующіе четыре разряда. Однимъ предоставлялось желать, но не получать желаемаго; другимъ — желать и получать, но не сполна; третьимъ—желать и получать сполна; четвертымъ—желать и получать въ излишествѣ.

Такимъ образомъ вопросъ о безнравственности теоріи индивидуальныхъ аппетитовъ былъ устраненъ, и это тѣмъ болѣе утѣшило Велентьева, что въ большинствѣ случаевъ съ табелью о рангахъ уходилъ на задній планъ и вопросъ о силѣ аппетита, или, лучше сказать, вопросъ этотъ ставился въ полнѣйшую зависимость отъ разрядовъ. Конечно, исключенія допускались (самъ онъ, Менандръ Велентьевъ былъ однимъ изъ такихъ исключеній), но исключенія, какъ извѣстно, только подтверждаютъ и узаконяютъ правило. По общему же правилу: будь человѣкъ хоть семи пядей во лбу, имѣй онъ хоть волчій аппетитъ, но ежели по щучьему велѣнію онъ засѣлъ въ разрядъ неполучающихъ, то и не выкарабкаться ему оттуда ни подъ какимъ видомъ.

«Да-съ, и сиди да посиживай тамъ! вотъ и хотѣлось бы тебѣ, курицыну сыну, что-нибудь стибрить — анъ врешь, руки коротки! Припасено, милый человѣкъ, да не про тебя!» — мысленно говорилъ себѣ Велентьевъ, потирая руки.

Столь прекрасныя практическія приспособленія совершенно успокоили Менандра Семеновича. Онъ чувствовалъ, что аппетитъ у него сильный, что самъ онъ, по мѣрѣ возможности, готовъ пожрать все, что̀ угодно, и что обстоятельства благопріятствуютъ не только содержанію этого аппетита въ исправности, но даже и развитію его въ будущемъ. Тѣмъ не менѣе онъ былъ настолько благоразуменъ, что на первый разъ, по собственному движенію, причислилъ себя не къ четвертому, а лишь къ третьему разряду обывателей. Четвертый разрядъ — это идеалъ, это свѣтозарный пунктъ, къ которому надлежитъ стремиться и по возможности достигать. Третій разрядъ—это «слѣдуемое», это то̀, что̀ во всякомъ случаѣ должно быть. Велентьевъ понялъ, что прежде, нежели требовать отъ судьбы излишковъ, человѣкъ долженъ достигать ««счастія», то-есть такого душевнаго равновѣсія, при которомъ онъ имѣетъ

право сказать: я мало имѣю, но за сіе малое восхвалю Господа моего въ тимпанахъ и гусляхъ! Достигнуть же этого блаженнаго состоянія можно лишь тогда, когда желанія человѣческія строго согласованы съ средствами ихъ осуществленія, и когда вслѣдствіе этого согласованія произойдетъ полученіе желаемаго сполна. Разумѣется, непріятно видѣть, какъ сосѣдъ держитъ во рту кусокъ (иной и держать-то путемъ не умѣетъ!), но на первыхъ порахъ и эту непріятность слѣдуетъ перенести стоически. Пускай цари живутъ въ позлащенныхъ дворцахъ—онъ, Велентьевъ, поживетъ и на козьей улицѣ, въ собственномъ домикѣ съ садомъ и съ палисадникомъ. Всякому свое—вотъ правило мудраго; тотъ же мудрѣйшій, который пожелаетъ возвести это правило на ту высоту, гдѣ уже теряется различіе между твоимъ и моимъ, — все-таки долженъ хотя на время притвориться лишь просто мудрымъ. Поэтому: совѣтнику ревизскаго отдѣленія—свое; губернскому контролеру—свое, поменѣе; губернскому казначею—свое, еще поменѣе; ему, Велентьеву, яко совѣтнику питейнаго отдѣленія — свое, противъ другихъ сугубо. Но до поры до времени ни ему нѣтъ дѣла до чужихъ кусковъ, ни другимъ—до его куска. Всякій да сосетъ свой кусокъ подъ смоковницею своей.

«Прибылъ я въ патріархальный нашъ Семиозерскъ, — писалъ Велентьевъ къ другу своему Словущенскому: — и изумился, до какой степени мудро наши добрые провинціалы все сіе устроили. Представь себѣ немалое зданіе, множествомъ камеръ исполненное. Одному дана камера посвѣтлѣе и пообширнѣе, другому—не столько свѣтлая и обширная; однако-жъ никто, начиная съ презуса и кончая послѣднимъ канцелярскимъ служителемъ, не забытъ. И скажу тебѣ откровенно, мой другъ! Мнится, что не тотъ счастливъ, кто имѣетъ самую свѣтлую и обширную камеру, но тотъ, кто и въ своей посредственной камерѣ умѣетъ съ чистымъ сердцемъ прожить!»

Въ тѣ времена мѣста совѣтниковъ казенныхъ палатъ (въ особенности же питейныхъ отдѣленій) считались самымъ завидными. Хотя грабежъ шелъ неусыпающій, но тако какъ онъ былъ негромкій, то со стороны казалось, что эти не грабежъ, а только полученіе желаемаго. Поэтому, кромѣ хорошихъ доходовъ, тутъ былъ и почетъ. Какой-нибудь совѣтникъ губернскаго правленія, чтобы поставить себя въ матеріальномъ отношеніи на одну высоту съ совѣтникомъ казенной палаты, обязывался совершить что-нибудь

необыкновенное: или взойти въ паи съ убійцами, или скрасть сенатскій указъ, или сдѣлать подлогъ. То-есть, говоря выраженіемъ того времени, долженъ былъ «замараться», ибо лишь за дѣла, сопряженныя съ «замараніемъ», онъ получалъ мзду настолько существенную, что «не совѣстно было ее взять». Напротивъ того, совѣтникъ казенной палаты могъ не только гнушаться убійцами, но просто имѣлъ право сидѣть сложа руки и, какъ говорится, ждать у моря погоды—и ни десница, ни шуйца его отъ того не оскудѣвали. Ему нужно было только состоять въ званіи совѣтника,—и взятка притекала къ нему сама, и притомъ взятка самая «благородная», такая, которую и «не стыдно было взять» (въ количественномъ смыслѣ), и для полученія которой не нужно было ни «мараться», ни рисковать. Немудрено, стало-быть, что мѣста эти цѣнились высоко и достигались лишь съ помощью сильной протекціи или очень значительной денежной оплаты.

Но даже и въ казенныхъ палатахъ питейныя отдѣленія казались чѣмъ-то исключительнымъ, въ родѣ рая земного. Прочіе совѣтники хоть по временамъ, но должны были красть и вымогать *); совѣтникъ питейнаго отдѣленія—никогда! Онъ могъ, никого не угнетая, а, напротивъ, всѣхъ радуя, прожить свой вѣкъ—и во всякомъ случаѣ получить желаемое сполна и въ опредѣленные сроки. Въ его завѣдываніи было самое тучное, благонравное и сговорчивое изъ всѣхъ стадъ, какія когда-либо ввѣрялись человѣческому пасенью. То было стадо откупщиковъ и винокуренныхъ заводчиковъ. Тучное и покладистое, оно привлекало къ себѣ всѣ сердца еще тѣмъ, что было немногочисленно и неразнообразно, а слѣдовательно не представляло опасностей и относительно болтовни. Въ этомъ маленькомъ, однородномъ и по природѣ податливомъ мірѣ между пасущими и пасомыми изстари завязались такія крѣпкія отношенія, которыя образовали собой цѣлое «положеніе», имѣвшее, по-

*) Такъ, напримѣръ: совѣтникъ ревизскаго отдѣленія обязанъ былъ щупать рекрутскія тѣла, выслушивать плачъ, стоны и проклятія, кривить душой при пріемѣ охотниковъ, входить въ пререканія съ лѣкарями и военными пріемщиками и т. д.; губернскій контролеръ, чтобы получить мзду, нерѣдко оставлялъ безъ утвержденія даже самые правильные отчеты, такъ что ему давали взятку только затѣмъ, чтобы развязаться съ нимъ; на мѣста губернскихъ казначеевъ попадали древніе старики, которые жили подачками при подписаніи указовъ о выдачѣ денегъ, а также подарками, получаемыми отъ уѣздныхъ казначеевъ.—*Примѣч. автора.*

жалуй, болѣе силы и обязательности, нежели положенія, освященныя закономъ. Это добровольное, выработанное самою жизнью, «положеніе» выполнялось съ точностью вѣрнѣйшаго часового механизма и притомъ самымъ «благороднымъ» образомъ. Однимъ словомъ, благодаря ему совѣтникъ питейнаго отдѣленія могъ, нимало «не мараясь», получать все то, что̀ и онъ и самъ взяткодатель считали безспорно ему принадлежащимъ.

Каждогодно, въ сентябрѣ, производились въ палатѣ торги на поставку вина, и каждый заводчикъ безропотно вносилъ «на братію» отъ шести до восьми копеекъ ассигнаціями съ ведра, смотря по тому, какое существовало въ губерніи «положеніе». Откупщикъ съ своей стороны тоже руководился «положеніемъ», внося свою дачу по третямъ года или помѣсячно, и притомъ всегда впередъ, такъ что даже въ случаѣ смерти получателя деньги эти не возвращались. Наконецъ являлись по временамъ и отдѣльные случаи: взятіе откупа въ казенное управленіе, корчемство, пререканія между откупщиками двухъ сосѣднихъ уѣздовъ и т. д. Но и эти случаи были предвидѣны «положеніемъ», и ежели не математически вѣрно, то приблизительно были имъ разрѣшены. Слѣдовательно въ виду всегда имѣлась живая и осязательная руководящая нить, которая не допускала ни споровъ, ни пререканій. Пріѣдетъ заводчикъ, скажетъ: «по «положенію» имѣю честь вручить»; совѣтникъ пожметъ ему руку и отвѣтитъ: «напрасно безпокоились, а впрочемъ...» Только всего и разговоровъ.

Затѣмъ замокъ щелкалъ, и «слѣдующее по положенію» скромно присовокуплялось къ прочимъ таковымъ.

И откупщики, и заводчики, и винные пристава — всѣ приносили отъ избытковъ своихъ, а тотъ, кто терпѣлъ — не жаловался, да врядъ ли и понималъ, что онъ терпитъ.

Столь превосходныя качества мѣстъ требовали и строгаго выбора лицъ для занятія ихъ. Лица эти были люди солидные, обладавшіе вполнѣ благонадежными качествами ума и сердца. Многіе изъ совѣтниковъ питейныхъ отдѣленій были тайные поборники масонства; многіе числились членами библейскаго общества и всѣ безъ исключенія отличались набожностью, склонностью къ созерцательности и любовью къ благолѣпію службы церковной. Епархіальные архіереи видѣли въ нихъ опору благочестія, доблестнѣйшихъ сыновъ церкви, составлявшихъ украшеніе воскресныхъ архіерейскихъ пироговъ. Центральная власть пони-

мала ихъ, какъ людей, существенно заинтересованныхъ въ сохраненіи существующихъ порядковъ, а слѣдовательно благонамѣренныхъ и нестроптивыхъ. Директоры училищъ отводили душу, бесѣдуя съ ними о Богѣ и Его величіи. Полицеймейстеры указывали на нихъ, какъ на идеалъ доблестнаго содержанія мостовыхъ и неуклонной вывозки нечистотъ. Въ заключеніе же всего, общество, убѣжденное, что изъ всего чиновничьяго сословія они одни не имѣютъ надобности «маратьсяˮ, а только получаютъ слѣдующее «по положенію», дарило ихъ своимъ довѣріемъ и выбирало старшинами въ мѣстные клубы.

Живя скромно, окруженные общей любовью, никѣмъ не огорчаемые, эти люди незамѣтно становились городскими старожилами, принимали къ сердцу мѣстные интересы, дѣлались членами холерныхъ, оспенныхъ и другихъ комитетовъ и умирали въ глубокой старости, оставляя послѣ себя вдовъ и сиротъ, которые были бы неутѣшными, если-бъ хлопоты по утвержденію въ правахъ наслѣдства давали имъ время для продолжительнаго оплакиванья. И когда печальная колесница увозила къ послѣднему жилищу гробъ, на крышкѣ котораго красовалась трехугольная шляпа, а внутри покоились бренные останки того, кто еще такъ недавно былъ добрымъ пастыремъ откупщиковъ и винокуренныхъ заводчиковъ, никто не говорилъ вслѣдъ этому гробу: «вотъ умеръ одинъ изъ грабителей русской земли!» — но всякій, сотворивъ крестное знаменіе, произносилъ: «вотъ умеръ человѣкъ, который никогда въ своей жизни не замарался, но довольствовался лишь тѣмъ, что слѣдовало ему по положенію».

Вотъ краткій, но правдивый очеркъ того положенія, въ которомъ очутился Велентьевъ въ Семиозерскѣ.

Менандръ Семеновичъ инстинктомъ угадалъ все, что въ его новой роли заключалось существеннаго, и потому, вступивъ въ должность, почувствовалъ себя въ ней точно такъ же свободно, какъ будто онъ двадцать лѣтъ сряду разрѣшалъ вопросы объ утечкѣ и усышкѣ. Еще передъ выѣздомъ изъ Петербурга онъ понялъ, что главное въ этомъ дѣлѣ—это бюджетъ доходовъ, и потому прежде всего пріобрѣлъ себѣ отлично переплетенную и разлинованную тетрадь съ вытисненною на переплетѣ надписью: «Разное». На внутреннемъ же заглавномъ листѣ тетради онъ надписалъ: «Смѣта ожидаемыхъ полученій», съ эпиграфомъ: *благословиши вѣнецъ лѣта благости Твоея, Господи!* За-

тѣмъ, съ свойственною ему проницательностью, онъ раздѣлилъ смѣту на пять слѣдующихъ параграфовъ: § 1-й. «Содержаніе, отъ казны присвоенное *(лепта вдовицы)*». § 2-й. «Положеніе отъ откупа *(всякое даяніе благо)*». § 3-й. «Положеніе отъ господъ винокуренныхъ заводчиковъ *(и всякъ даръ совершенъ)*». § 4-й. «Слѣдуемое отъ винныхъ приставовъ *(ему же дань — дань, ему же честь — честь, ему же оброкъ — оброкъ)*». § 5-й. «Разныя поступленія *(ищите и обрящете)*». Сдѣлавъ это распредѣленіе, Менандръ Семеновичъ сказалъ себѣ, что главное исполнено, что рубрики, исчерпывающія кругообращеніе совѣтника питейнаго отдѣленія, найдены, и затѣмъ остается только наблюдать, чтобъ онѣ своевременно и неупустительно наполнялись.

По соображеніямъ его, всѣ пять параграфовъ смѣты должны были доставить никакъ не менѣе тридцати тысячъ рублей на ассигнаціи въ годъ, безъ лажа. А такъ какъ, при тогдашней дешевизнѣ всѣхъ жизненныхъ потребностей и при собственной его умѣренной жизни, ему и пять тысячъ прожить за глаза, то долженъ получиться ежегодный остатокъ въ двадцать пять тысячъ рублей, который и представляетъ собой «полученіе желаемаго», или чистый доходъ. Этотъ чистый доходъ предполагалось употреблять на финансовыя операціи.

Въ тѣ времена финансовыя операціи были еще въ младенчествѣ. Никто еще не думалъ ни о желѣзныхъ дорогахъ, ни о водопроводахъ, а тѣмъ менѣе объ учрежденіи компаній для полученія отъ казны пособій. Приращеніе капитала шло медленно, но зато вѣрно. Большинство чиновниковъ клало свои лепты въ ломбардъ на имя неизвѣстнаго и предпочитало этотъ способъ приращенія всѣмъ другимъ, потому что онъ не былъ сопряженъ съ рискомъ и не допускалъ огласки.

— Ломбардъ — святое дѣло! — говорили чиновники. — Положилъ, и концы въ воду.

Другой способъ приращенія заключался въ одолженіи деньгами «вѣрнаго человѣка» за хорошіе проценты. Тутъ приращеніе шло нѣсколько быстрѣе, но и возможность огласки была настолько значительна, что только мелкіе и очень жадные чиновники рѣшались на эту операцію. Третій способъ состоялъ въ помѣщеніи денегъ въ торговыя предпріятія, которыя обыкновенно велись подъ чужимъ именемъ; но эта операція требовала такого сложнаго и бди-

тельнаго контроля, что чиновники, увлекшіеся выгодами торговыхъ барышей, нерѣдко становились въ положеніе человѣка, погнавшагося разомъ за двумя зайцами и ни одного не поймавшаго. Наконецъ существовала еще и четвертая операція—это покупка и продажа мужиковъ. Операція эта была совершенно вѣрная и выгодная, но тутъ огласка была уже полная.

Менандръ Семеновичъ, какъ человѣкъ солидный, и операцію выбралъ солидную, то-есть рѣшился класть свой чистый доходъ въ ломбардъ. Нельзя сказать, чтобы мысль о болѣе быстромъ обогащеніи не улыбалась ему, но онъ понялъ, что благосостояніе его зависитъ не столько отъ тѣхъ выгодъ, которыя можетъ доставить ему быстрое обращеніе благопріобрѣтенныхъ капиталовъ, сколько отъ ежегодныхъ и совершенно вѣрныхъ присовокупленій, которыя сулила ему должность. Эта должность представляла единственную прочную и никогда не изсякающую операцію, которую онъ могъ предпринять безъ риска, а потому онъ далъ себѣ слово оберегать ее отъ всякихъ случайностей и содержать этотъ источникъ столь чистымъ и прозрачнымъ, какъ ему въ томъ передъ начальствомъ и на страшномъ судѣ отвѣтъ дать надлежитъ.

Только два раза, въ продолженіе своей служебной карьеры, Велентьевъ отступилъ отъ этого мудраго правила: оба раза по настоянію Нины Иракліевны и оба раза съ ущербомъ. Одинъ разъ онъ «одолжилъ» за хорошій процентъ довольно значительную сумму совершенно «вѣрному» человѣку, которому при томъ нужно было «перехватить» двадцать тысячъ на самый короткій срокъ для самой надежной операціи. И что же оказалось? Едва получилъ «вѣрный человѣкъ» деньги, какъ тотчасъ же словно въ воду канулъ. Только черезъ годъ онъ вынырнулъ, но вынырнулъ тамъ, гдѣ уже не существуетъ ни возвратовъ занятыхъ суммъ, ни надеждъ на выгодныя операціи — въ семиозерскомъ острогѣ. Менандръ Семеновичъ поскорбѣлъ, упрекнулъ Нину Иракліевну въ легкомысліи, но давать дѣлу огласку и «мараться» не пожелалъ. Подобно древнему Іову, онъ сказалъ себѣ: «Богъ далъ, Богъ и взялъ»,—и затѣмъ купилъ два калача и поѣхалъ въ тюремный замокъ.

— Ты у меня двадцать тысячъ укралъ,—сказалъ онъ своему должнику:—но я тебѣ не мщу, потому что мстятъ только низкія души. Вотъ, привезъ тебѣ два калача: возьми и ѣшь.

Въ другой разъ онъ задумалъ открыть мучной лабазъ и торговать подъ чужимъ именемъ хлѣбомъ, но и эта операція убѣдила его, что одному человѣку заграбить всѣ деньги никакъ невозможно. Во-первыхъ, контроль надъ мѣщаниномъ, отъ имени котораго производилась торговля, оказался до крайности сложнымъ и даже унизительнымъ. Каждое утро Велентьевъ запирался съ своимъ агентомъ въ кабинетѣ, провѣрялъ счеты, прокладывалъ выручку, но и за всѣмъ тѣмъ никогда не могъ освободиться отъ мысли, что агентъ нѣчто укралъ. Какъ плодъ этихъ сомнѣній, въ кабинетѣ раздавались покрякиванія и еще какіе-то звуки, выражавшіе не то недовѣріе, не то недоумѣніе.

— «Со вчерашними ежели считать, то двѣсти пятьдесятъ рублей и три четверти копейки, а безъ оныхъ сто одинъ рубль двадцать двѣ копейки, итого девяносто рублей»,— читалъ Менандръ Семеновичъ отчетъ.—Чортъ тебя знаетъ, братецъ, какую ты тутъ чушь напоролъ!

Затѣмъ счеты складывались, и Велентьевъ уже безъ дальнѣйшихъ околичностей обращался къ своему агенту съ вопросомъ:

— Вѣрно?

— Помилуйте, ваше высокородіе! осмѣлюсь ли я?

— Я тебя спрашиваю: вѣрно?

— Вотъ какъ передъ Истиннымъ-съ!

— Повтори, какое ты слово сказалъ?

— Какъ передъ Истиннымъ, такъ и передъ вашимъ высокородіемъ: ни копейки не утаилъ-съ!

— Смотри же, помни это! Знаешь, что въ писаніи сказано: не человѣкомъ солгалъ еси, но Богу!

Во-вторыхъ, несмотря на клятвы, дѣло кончилось все-таки тѣмъ, что мѣщанинъ однажды совсѣмъ не явился съ отчетомъ, а вслѣдъ затѣмъ объявилъ себя отъ собственнаго имени невинно-падшимъ и исчезъ. Вторично Велентьевъ, подобно Іову, воскликнулъ: «Богъ далъ, Богъ и взялъ!»— но съ тѣхъ поръ уже далъ себѣ слово никогда не сворачивать съ пути, который указывалъ ему на ломбардъ, какъ на единственное вѣрное хранилище чиновническихъ лептъ.

Когда Порфиша началъ понимать себя, репутація Менандра Семеновича въ Семиозерскѣ уже установилась. Онъ пользовался общественнымъ уваженіемъ, состоялъ въ званіи старшины мѣстнаго клуба, имѣлъ на шеѣ орденъ св. Анны и въ довершеніе всего обладалъ дружескимъ расположеніемъ губернатора. Губернаторъ когда-то принадле-

жалъ къ сектѣ скакуновъ, былъ пойманъ на радѣніи въ инженерномъ замкѣ, затѣмъ, въ видѣ опалы, сосланъ въ Семиозерскъ на губернаторство и вслѣдствіе всего этого считалъ себя философомъ. Поэтому бесѣда съ Менандромъ была для него настоящею усладою. Но и среди этихъ благопріятныхъ условій Велентьевъ нимало не возгордился, но, напротивъ того, готовъ былъ всякому подать благой совѣтъ и даже оказать помощь,— разумѣется, если она была не денежная.

Порфиша отъ природы былъ любознателенъ, но это качество развилось въ немъ еще болѣе вслѣдствіе таинственности, которою папаша облекалъ нѣкоторыя свои дѣйствія. Ежедневно утромъ Менандръ Семеновичъ запирался у себя въ кабинетѣ и по истеченіи нѣкотораго времени выходилъ оттуда весь красный. Естественно, что обстоятельство это должно было заинтересовать Порфишу, и вотъ однажды, оторвавшись отъ рѣзвыхъ игръ юности, онъ подстерегъ моментъ, когда дверь папашина кабинета захлопнулась, подкрался къ ней неслышными шагами, приложилъ къ замочной скважинѣ глазъ и увидѣлъ слѣдующую картину.

Отецъ сидѣлъ у письменнаго стола, задомъ къ нему, слѣдилъ по толстой разграфленной книгѣ и щелкалъ на счетахъ. Потомъ началъ перебирать какія-то бумажки, смотрѣлъ нѣкоторыя изъ нихъ на свѣтъ, щелкнулъ на счетахъ, досталъ новую пачку бумажекъ, пересчиталъ и опять щелкнулъ на счетахъ, досталъ новую пачку бумажекъ, пересчиталъ и опять щелкнулъ. Сосчитавши все какъ слѣдуетъ, онъ приступилъ къ сортированію тѣхъ бумажекъ, которыя еще не были сложены въ пачки, подобралъ сѣренькія къ сѣренькимъ, красныя къ краснымъ и т. д. Подобравъ полную пачку, онъ клалъ ее на столъ, при чемъ каждый разъ хлопалъ рукою и боязливо обертывался назадъ, какъ бы опасаясь, не наблюдаетъ ли кто за нимъ. Затѣмъ онъ выдвинулъ другой ящикъ, вынулъ оттуда мѣшокъ съ полуимперіалами и разложилъ на столѣ порядочное количество блестящихъ столбиковъ. Наконецъ, сосчитавши ассигнаціи и полуимперіалы, онъ подвелъ на счетахъ общій итогъ, потянулся, крякнулъ и призвалъ имя Господне. Финансовая операція кончилась, ассигнаціи и полуимперіалы отправлены въ надлежащіе ящики; замки защелкнулись; Порфиша отпрянулъ отъ двери и поспѣшилъ въ столовую играть.

Какъ ни однообразно было это зрѣлище, но оно полюбилось Порфишѣ. Ему понравился и звонъ полуимперіа-

ловъ и шелестъ бумажекъ, тѣмъ болѣе, что папаша, въ качествѣ члена палаты, постоянно имѣлъ ассигнаціи новенькія. Каждое утро онъ съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ выжидалъ начала сеанса и, притаивъ дыханіе, выдерживалъ его до конца. Онъ научился различать интонаціи папашиныхъ покрякиваній, угадывалъ, когда папаша доволенъ результатами своего сеанса и когда недоволенъ. Мало того: никѣмъ не наставляемый, онъ въ скоромъ времени сталъ отличать сѣренькія бумажки отъ красненькихъ и синенькихъ, и, какъ ребенокъ живой и острый, угадалъ, что первымъ подлежитъ отдать предпочтеніе передъ послѣдними. Словомъ сказать, инстинктъ финансиста въ немъ заговорилъ.

Но въ особенности интересовали его два мѣсяца въ году, а именно, сентябрь, когда производились торги на вино, въ просторѣчіи называемые сѣнокосомъ, и ноябрь, когда присяжные отправлялись въ Петербургъ за гербовой бумагой, и когда папаша отсылалъ свой чистый доходъ для вклада въ ломбардъ. Въ обоихъ случаяхъ Менандръ Семеновичъ замѣтно волновался, но въ первомъ волновался сладостно и видѣлъ веселые сны, а во второмъ былъ мраченъ и видѣлъ во снѣ воровъ, мошенниковъ и грабителей. Это волненіе длилось до тѣхъ поръ, пока вино не было окончательно заподряжено, и пока довѣренный присяжный не вручалъ Велентьеву новаго ломбарднаго билета на имя неизвѣстнаго. Тогда все снова приходило въ обычный порядокъ. Вмѣстѣ съ отцомъ оживалъ и падалъ духомъ и Порфиша. Не имѣя никакихъ положительныхъ свѣдѣній ни о порядкѣ вина, ни о ломбардѣ, онъ понималъ однако-жъ, что названныя выше эпохи составляютъ вѣнецъ того процесса созиданія, которому такъ неутомимо, въ продолженіе цѣлаго года, предавался его отецъ. Онъ смутно чувствовалъ, что въ родительскомъ домѣ происходитъ нѣчто очень важное и рѣшительное, и если бы проницательный человѣкъ заглянулъ въ эти минуты въ его душу, то убѣдился бы, что хотя Порфиша еще ни разу не произнесъ слова: «капиталъ», но что слово это уже созрѣло, и недалеко то время, когда оно слетитъ съ его языка такъ свободно, какъ будто именно на этомъ языкѣ, а не въ другомъ мѣстѣ, его подлинное мѣсторожденіе.

Но чѣмъ болѣе Порфиша выказывалъ наклонности къ меркантилизму и къ счетной части, тѣмъ менѣе поощрялъ въ немъ эту наклонность Менандръ Семеновичъ.

Подобно всѣмъ людямъ, занимающимся накопленіемъ, а не распредѣленіемъ богатствъ, онъ какъ бы нѣсколько стыдился своего ремесла.

Одаренный отъ природы домовитыми инстинктами евангельской Марѳы, онъ прикидывался безпечною Маріей и ни о чемъ такъ охотно не бесѣдовалъ, какъ о маслѣ, миррѣ и благовоніяхъ. Поэтому онъ твердилъ Порфишѣ о добродѣтели и старался внушить ему чувства невинныя и въ то же время возвышенныя. Но, къ величайшему сожалѣнію, у него было такъ мало свободнаго времени, что онъ могъ дѣлать эти внушенія лишь въ самомъ краткомъ видѣ. Утро было занято службой, вечеръ—клубомъ; вполнѣ свободнымъ оказывался только небольшой послѣобѣденный промежутокъ, который и посвящался вкорененію въ ребенкѣ благородныхъ чувствъ. Отдохнувши и напившись чаю, Менандръ Семеновичъ ходилъ съ Порфишей по довольно обширному фруктовому саду, который былъ разведенъ имъ сзади дома, очищалъ яблони отъ червей и гусеницъ и собиралъ паданцы. Если яблоко упало вслѣдствіе зрѣлости, то Менандръ Семеновичъ, поднимая его, говорилъ:

— Вотъ, мой другъ, образъ жизни человѣческой! Едва созрѣлъ—и ужъ упалъ!

Ежели же яблоко упало, подточенное червемъ, то онъ говорилъ:

— И тутъ жизнь человѣческая преобразуется! Но не зрѣлостью сраженная, а подточенная завистью и клеветой!

Потомъ, указывая на небо, присовокуплялъ:

— Смотри на небо, мой другъ, и оттолѣ жди себѣ утѣшенія въ коловратностяхъ жизни! Тамъ живетъ Общій Отецъ нашъ! Люби Его, другъ мой!

И затѣмъ, повернувшись на каблукахъ, отправлялся въ клубъ.

Несмотря на краткость этихъ поученій, Порфиша не любилъ ихъ. Быть-можетъ, онъ не могъ согласить ихъ съ тѣми утренними сеансами, которыхъ онъ былъ ежедневнымъ свидѣтелемъ, или же вообще въ немъ мало развита была склонность къ риторическимъ уподобленіямъ,—какъ бы то ни было, но образъ отца представлялся ему двойственнымъ: во-первыхъ, въ видѣ солиднаго человѣка, занимающагося процессомъ созиданія, и, во-вторыхъ, въ видѣ сытаго празднолюбца, предающагося, въ ожиданіи партіи виста, разглагольствіямъ о какихъ-то совсѣмъ ненужныхъ сравненіяхъ человѣка съ яблокомъ. За дѣйствіями перваго

онъ слѣдилъ съ тревогою и любовью; предиками послѣдняго скучалъ и тяготился. Онъ не разъ даже пытался объяснить себѣ, отчего папаша утромъ такой, а послѣ обѣда другой; но такъ какъ для дѣтскаго ума разрѣшеніе этого вопроса не представляло существеннаго интереса, то вопросъ такъ и канулъ въ общей безднѣ мгновенно вспыхивающихъ и мгновенно же погибающихъ вопросовъ, которыми такъ богато дѣтское существованіе. Впослѣдствіи, въ лѣтахъ болѣе зрѣлыхъ, образъ отца разглагольствующаго окончательно стушевался, и тѣмъ рельефнѣе выступилъ образъ отца, щелкающаго на счетахъ и каждодневно созидающаго.

Гораздо цѣльнѣе и рельефнѣе представлялся Порфишѣ образъ матери.

Нина Иракліевна, вышедши замужъ и поселившись въ Семіозерскѣ, значительно измѣнилась. И прежде у нея было не много княжескихъ привычекъ, теперь же она предала забвенію и то немногое княжеское, которое сохраняла въ домѣ ma tante. Фигура ея изъ тоненькой сдѣлалась круглою и плотною; лицо, утративъ желчное выраженіе, пріобрѣло оттѣнокъ довольства и даже добродушія. Вообще устройство ея судьбы подѣйствовало на нее благотворно. Она не была обязана ни скрываться, ни пріобрѣтать исподтишка, какъ въ домѣ ma tante. Та страсть, которая была двигателемъ всей ея жизни — страсть къ пріобрѣтенію—получила себѣ вполнѣ свободный выходъ. Она могла покупать, продавать, вымѣнивать,—Менандръ Семеновичъ не только не препятствовалъ ей, но даже радовался, взирая на ея дѣятельность. У Менандра Семеновича было свое дѣло, у нея—свое. Она тоже создала себѣ своего рода палату, въ которой и копошилась съ утра до вечера.

На половинѣ у мамаши также шелъ процессъ созиданія, но шелъ не потаенно, а въ видѣ непрерывной и совершенно открытой сутолоки, такъ что Порфиша имѣлъ полную возможность слѣдить за всѣми его подробностями. Нина Иракліевна вела операцію очень сложную и замысловатую: она торговала мужикомъ. Вымѣнивала, покупала, продавала, отпускала на волю, сдавала въ солдаты и проч. Отказавшись лично отъ этой операціи, Менандръ Семеновичъ предоставилъ веденіе ея женѣ тѣмъ охотнѣе, что послѣдняя, какъ было всѣмъ извѣстно, имѣла свой приданный капиталъ и свою приданную деревню. Слѣдовательно ни

огласка, ни опасеніе клеветы—ничтѳ не препятствовало ей производить всѣ свойственныя благородному званію и дозволенныя закономъ операціи. Находились, конечно, люди, которые говорили, будто Велентьевъ удѣляетъ своей женѣ на этотъ предметъ довольно значительные куши, которые въ расходной его книгѣ записываются подъ рубрикой: «воспособленія». Но такъ какъ никто этого собственными глазами не видалъ, а самъ Велентьевъ въ томъ не сознавался, то и выходилъ одинъ пустой разговоръ. И Нина Иракліевна, не смущаясь разговорами, продолжала дѣйствовать неутомимо и ловко. Она изучала мужика подробно, хотя и довольно односторонне, а именно, только съ точки зрѣнія выжиманія такъ-называемаго мужицкаго сока. Не обращая вниманія на этнографическія и бытовыя стороны мужицкой жизни, она направила свою проницательность исключительно на изученіе стороны экономической и такъ наметалась въ этой наукѣ, что съ перваго взгляда угадывала, гдѣ и что у мужика лежитъ и какую денежную цѣнность онъ собой представляетъ. Не брезгая мужикомъ барщиннымъ, она преимущественно любила мужика оброчнаго, какъ болѣе избалованнаго свободой передвиженій и слѣдовательно болѣе чувствительнаго ко всякимъ ограниченіямъ этой свободы. Заставить мужика за хорошую плату выкупиться на волю—вотъ что стояло у нея на первомъ планѣ; затѣмъ уже слѣдовали другія мѣры: заставить откупиться отъ солдатчины, отъ барщины, отъ службы въ качествѣ бурмистра и проч. На все это оброчный мужикъ шелъ гораздо ходчѣе барщиннаго. Къ тому же и доходъ въ видѣ денегъ представлялся ея уму яснѣе, нежели доходъ въ видѣ произведеній мужицкаго труда. Послѣднія она допускала лишь между прочимъ, въ видѣ талекъ, сушеныхъ грибовъ, полотна, овчинъ и проч. Этого добра скоплялись у нея полныя кладовыя, и она охотно снабжала имъ мелкихъ семіозерскихъ торгашей.

Комната мамаши представляла цѣлый хаосъ, въ которомъ только она одна могла разобраться. Тутъ были сложены вороха талекъ, полотенъ, кожъ и другого крестьянскаго хлама, и все это съ утра до вечера перевѣшивалось, перемѣривалось, записывалось въ особыя матеріальныя книги и затѣмъ отравлялось въ кладовыя, чтобы на другой день дать мѣсто другимъ ворохамъ. Тутъ же, къ великому удовольствію Порфиши, лежали и незатѣйливыя сласти: пряники, орѣхи, леденцы и проч., приносимыя мужиками на

поклонъ. Подобно Менандру Семеновичу, Нина Иракліевна каждодневно повѣряла себя и въ это время, точно такъ же, какъ и мужъ, запиралась въ своей комнатѣ, но отъ Порфиши она не скрывалась и даже дѣлала его соучастникомъ тѣхъ наслажденій, которыя доставляла ей повѣрка. Ставши колѣнами на стулъ и навалившись всѣмъ корпусомъ на столъ, Порфиша въ какомъ-то очарованномъ забытьѣ всматривался въ ряды разложенныхъ пачекъ и слѣдилъ за движеніями рукъ мамаши. Въ комнатѣ дѣлалось тихо; слышался только шелестъ бумажекъ, сопровождаемый чуть слышнымъ бормотаніемъ, да изрѣдка раздавалось щелканье косточекъ на счетахъ, отъ котораго Порфиша каждый разъ вздрагивалъ, какъ будто въ этомъ щелканьи слышалась ему какая-то сухая, безапелляціонная резолюція. Бумажки, въ противоположность папашинымъ, были замасленныя, рваныя, вдѣланныя въ писанную бумагу, и это обстоятельство тоже обратило на себя вниманіе Порфиши.

— Мамаша! отчего у тебя бумажки рваныя, а у папаши новенькія?—спрашивалъ онъ.

— Оттого, что мои бумажки мужички принесли! Не мѣшай, мой другъ! пять, шесть, семь...

Порфиша протягивалъ руку и дотрагивался пальцемъ до одной изъ пачекъ.

— Отчего же у мужичковъ рваныя бумажки?—спрашивалъ онъ опять.

— Оттого, что у нихъ руки потныя... Не трогай, мой другъ! не сдвигай пачекъ съ мѣста! Восемь, девять, десять...

Порфиша на время умолкалъ и сидѣлъ смирно; но дѣтская подвижность понемногу брала-таки свое, и онъ снова протягивалъ руку.

— Мамаша! у Авдѣя старосты руки черныя-пречерныя!—говорилъ онъ, пытаясь отвлечь вниманіе Нины Иракліевны.

— У Авдѣя старосты... Да не тронь же, душечка, пачку! въ другой разъ запрусь и не оставлю тебя съ собой!

— Я, мамаша, только пальчикомъ!

Но вотъ и мамаша оканчивала повѣрку. «Слава Богу, все вѣрно!»—говорила она и, уложивъ пачки въ ящикъ, запирала послѣдній ключомъ. Затѣмъ она на нѣкоторое время предавалась не то что отдохновенію, а какъ бы сладкому сознанію, что все до сихъ поръ шло и идетъ хо-

рошо, а завтра, быть-можетъ, будетъ идти и еще лучше. Но отдохновеніе Нины Иракліевны не бывало продолжительно. Ее всегда ожидали нужныя дѣла, въ видѣ переговоровъ съ сводчиками, конференцій съ мужиками и старостами, пріема, оброка, талекъ, яицъ и т. п.

Всѣ сводчики ее знали и наперерывъ предлагали имѣнія. Всегда находились люди, которые, постоянно проворовываясь, въ одно прекрасное утро усматривали себя въ положеніи, о которомъ говорится: «хоть въ петлю полѣзай». Поэтому имѣній, которыя нужно было продать во что бы то ни стало и за что бы то ни стало, всегда бывало очень достаточно. Нина Иракліевна зорко слѣдила за такими оказіями, имѣла на этотъ случай «руку» въ опекунскомъ совѣтѣ и находилась въ постоянныхъ сношеніяхъ съ сводчиками, которые являлись у нея чуть не каждый Божій день.

— Дорого, — обыкновенно отрѣзывала она, выслушавъ предложеніе сводчика и зная, что послѣдній всегда запрашиваетъ если не вдвое, то въ полтора раза.

— Сударыня! строеніевъ однихъ сколько! Избы новыя, крытыя тесомъ, скотъ-съ... Опять-таки мельница, лѣсъ-съ...

— Не люблю я съ мельницами возиться... ну ихъ! мнѣ мужика дай!

— И мужики исправные; у одного въ Москвѣ на Таганкѣ заведеніе, у нѣкоторыхъ смолокурни, дегтярные заводы-съ!

— Сколько душъ-то, ты говоришь?

— Триста!

— По четыреста за душу... сколько это денегъ-то выйдетъ?

— Не по четыреста, а по двѣсти, сударыня, въ двухстахъ они въ совѣтъ заложены!

— Ну, инъ по двѣсти! Сто по двѣсти—это двадцать тысячъ... шестьдесятъ-то тысячъ! да ты, сударь, никакъ съ ума спятилъ!

Нина Иракліевна съ негодованіемъ отбрасывала счеты и отворачивалась отъ сводчика къ окну.

— За пятьдесятъ, можетъ-быть, отдадутъ!—заговаривалъ сводчикъ.

Молчаніе.

— Хоть сорокъ-то пять положьте!

— Тридцать!

— Нѣтъ, за тридцать нельзя! Однихъ строеніевъ сколько! опять же скотъ!

— Да ты скажи мнѣ, съ какихъ ты-то радостей торгуешься? Или ужъ началъ и нашимъ и вашимъ служить?

— Я, сударыня, всякому служу, кто меня проситъ! Вы попрòсите — вамъ послужу; другой попрòситъ — другому готовъ!

— То-то «готовъ»! Обѣ стороны продать готовъ! Васъ за такія дѣла знаешь какъ надо! Сказывай, народъ-то смиренъ ли?

— Самый покорный-съ. Чтобъ это возмущеніе или бунтъ—и въ заведеніи никогда не бывало!

— Сорокъ—и ни копейки больше!

Сказавши это, Нина Иракліевна уже окончательно упиралась, и результатомъ этого упорства почти всегда оказывалась купчая крѣпость, вслѣдствіе которой, черезъ мѣсяцъ или черезъ два, владѣлецъ «заведенія» на Таганкѣ продавалъ его, а самъ, съ отпускной въ рукахъ, поступалъ въ то же «заведеніе» половымъ.

Еще чаще заставалъ Порфиша у мамаши мужиковъ. Изъ комнаты несся запахъ дегтя и сермяжины, и раздавались возгласы: «гдѣ же взять-то, сударыня?» и неизбѣжный отвѣтъ на нихъ: «а мнѣ хоть роди, да подай!» Въ большей части случаевъ мужики винились, становились на колѣни и просили прощенія, изъ чего Порфиша заключилъ, что всѣ они обманщики, и что мамаша напрасно теряетъ время, разговаривая съ такими негодями. Но изрѣдка бывали и такіе случаи, что мужикъ спорилъ и доказывалъ.

— Вѣдь еще объ Рождествѣ я деньги-то отдалъ!—горячился какой-нибудь Еремка, объясняя свою правоту.

— Не получала я, никакихъ я денегъ отъ тебя не получивала!—запиралась Нина Иракліевна.

— Вотъ Владычица видѣла, какъ я на самомъ этомъ мѣстѣ всѣ деньги отдалъ!—упорствовалъ Еремка, указывая на висѣвшій въ углу приданный образъ Богоматери, передъ которымъ всегда теплилась лампадка.

— Можетъ, и видѣла Владычица, какъ ты отдавалъ, только кому-нибудь другому, а не мнѣ!

— Оборотню, что ли, я отдавалъ?

— Пошелъ вонъ, подлецъ!

Мужикъ уходилъ; Нина Иракліевна задумывалась, болтала ногами и нѣкоторое время избѣгала смотрѣть на Владычицу. Въ ней просыпалось что-то въ родѣ упрека, являлось колебаніе, не отдать ли?

— Никакъ и въ самомъ дѣлѣ онъ заплатилъ?—шептали уста ея.

Но Порфишу во всей этой сценѣ поражали лишь грубость Еремки и дерзость, съ которою онъ осмѣливается обличать мамашу свидѣтельствомъ Владычицы. Заключеніе, которое онъ выводилъ изъ этого случая, было то же самое, какъ и тогда, когда мужикъ винился и просилъ прощенія. И въ первомъ случаѣ мужикъ былъ обманщикъ и во второмъ обманщикъ. «Стало-быть, онъ обманывалъ, если прощенія запросилъ! Обманщикъ—и еще смѣетъ грубить!»—такъ говорилъ онъ себѣ, все болѣе и болѣе убѣждаясь, что формула: «какъ ты смѣешь?» есть самая удобная въ сношеніяхъ съ мужикомъ.

— Мамаша! какъ онъ смѣетъ тебѣ грубить!—воскликалъ онъ, съ воплемъ бросаясь въ объятія Нины Иракліевны.

Этотъ вопль окончательно улаживалъ всѣ сомнѣнія. Нина Иракліевна успокоивалась, и Еремка уходилъ домой, унося съ собой эпитеты нераскаяннаго и закоснѣлаго, которые не обѣщали ему ничего хорошаго въ будущемъ.

Но верхомъ торжества Нины Иракліевны были хозяйственныя распоряженія, выражавшіяся въ приказаніяхъ, отдаваемыхъ старостамъ и приказчикамъ.

— У Васьки Косого лошадь хороша, такъ ее на барскій дворъ взять, а ему похуже дать! Все равно ему пахать, что̀ на хорошей, что̀ на худой!

— Слушаю, сударыня!

— А у Матрены-бобылки избу взять и Прохору продать. А сама пусть въ людяхъ живетъ. А если хочетъ избу за собой оставить, пусть пятьдесятъ рублей отдастъ.

— Гдѣ ей эко мѣсто денегъ взять, сударыня!

— А негдѣ взять, такъ пусть не прогнѣвается! И въ людяхъ поживетъ!

— Слушаю, сударыня!

— То-то «слушаю». Ты слушай, а не разговаривай что негдѣ ей денегъ взять. Всѣ вы потатчики!

— Кажется, стараемся, матушка!

— Всѣ вы стараетесь! Ты мнѣ вотъ что̀ скажи: за Ѳедькой-то Долговязовымъ до сихъ поръ овца въ недоимкѣ числится... А! Скоро ли я дождусь?

— Одна у него, сударыня! Говоритъ: пущай прежде объяснится!

— А знаешь ли ты, что за такія слова вашего брата

въ солдаты отдаютъ! Мнѣ чтобъ была овца! У тебя со двора сведу, если черезъ недѣлю Ѳедька не приведетъ!

И такъ далѣе, и такъ далѣе.

Вслушиваясь въ эти разговоры и постоянно обращаясь среди всякаго рода полученій, Порфиша невольнымъ образомъ и самъ получилъ вкусъ къ финансамъ. Я не думаю, конечно, чтобы онъ относился къ процессу созиданія сознательно, и чтобы въ немъ уже зародилась та доза канальства, которая въ этомъ случаѣ потребна, но едва ли ошибусь, сказавъ, что какъ бы ни было поверхностно дѣйствіе получаемыхъ въ дѣтствѣ впечатлѣній на человѣческое сознаніе, все-таки они не пропадаютъ безслѣдно. Сначала эти впечатлѣнія втѣсняются въ видѣ разрозненныхъ фактовъ, но потомъ, мало-по-малу, одни отдѣльные факты начинаютъ цѣпляться за другіе и даютъ поводъ для сравненій и сопоставленій. Память хранитъ цѣлый запасъ фактовъ, которые, казалось, прошли въ свое время мимо, не возбудивъ даже вниманія, но на дѣлѣ оказывается, что они не только не исчезли, но выступаютъ во всей своей свѣжести и ясности, и выступаютъ именно въ ту самую минуту, когда всего болѣе чувствуется ихъ пригодность. Порфиша уже освоился съ формою денежныхъ знаковъ, онъ слышалъ щелканье счетовъ, видѣлъ мужика и хоть поверхностно, но все-таки пораженъ былъ энергическимъ выраженіемъ: «хоть роди, да подай!», къ которому любила прибѣгать Нина Иракліевна. Этого достаточно было, чтобы въ свое время память выдвинула всѣ эти факты и жизненный опытъ нашелъ для нихъ надлежащее мѣсто въ общей экономіи міросозерцанія.

Ни Менандръ Семеновичъ, ни Нина Иракліевна не думали сдѣлать изъ сына своего финансиста, которому впослѣдствіи суждено будетъ возвыситься до идеи о всеобщемъ ограбленіи. Да врядъ ли въ воспитательной практикѣ того времени и можно было найти примѣры подобной спеціальной подготовки. Въ то время люди воспитывались безъ всякихъ заданныхъ темъ; требовалось только, чтобъ они были понятливы, шустры и готовы на все. Что̀ выйдетъ изъ этого впослѣдствіи, то-есть въ какомъ именно видоизмѣненіи «свободы тѣлодвиженій» найдетъ себѣ выходъ эта готовность на все,—объ этомъ никто не задумывался. Всякій отецъ и всякая мать имѣли только одну заботу: чтобъ ребенку хорошо было жить на свѣтѣ. А это представлялось возможнымъ лишь тогда, когда ребенокъ

твердо усвоивалъ себѣ всѣ условія окружающей среды. Поэтому, ежели школа и обучала ребенка закону Божію, ариѳметикѣ, грамматикѣ, чистописанію, то главная воспитательная закваска лежала все-таки не въ ней, а въ той домашней обстановкѣ, которая, независимо отъ азбучныхъ прописей, сама по себѣ отчеканивала и натуральныхъ юристовъ, и натуральныхъ администраторовъ, и натуральныхъ финансистовъ.

Тѣмъ не менѣе, ежели бы Порфиша воспитывался исключительно подъ вліяніемъ отца и матери, изъ него, конечно, образовался бы только обыкновенный рутинный финансистъ, на манеръ финансистовъ добраго стараго времени. Онъ копилъ бы деньги безъ дерзости, считалъ бы ихъ, крѣпко-на-крѣпко замыкалъ бы замки въ денежныхъ помѣщеніяхъ и затѣмъ умеръ бы, пріобрѣтя на полученный въ наслѣдство милліонъ еще какой-нибудь такой же милліонъ. Но было обстоятельство, которое значительно расширило его финансовый кругозоръ и помогло ему сойти съ рутинной дороги. Этимъ возбуждающимъ стимуломъ, пролившимъ живописный свѣтъ на дальнѣйшія судьбы Порфиши, были отыскивающіе княжескаго достоинства братья Тамерланцевы.

Георгій и Иванъ Мастрюковичи Тамерланцевы приходились по матери двоюродными братьями Нинѣ Иракліевнѣ и были чистокровные осетинцы. Спеціальность ихъ заключалась въ томъ, что они не имѣли постояннаго мѣста жительства и переѣзжали съ одной ярмарки на другую. Сверхъ того, они были прекрасно обучены на бильярдѣ, отыскивали княжеское достоинство, занимались покупкой и продажей лошадей, а въ карты играли такъ чисто, что ярмарочные шулера называли ихъ не иначе, какъ «благородными людьми».

Отецъ ихъ, Мастрюкъ Булатовичъ, былъ неизвѣстнаго происхожденія осетинъ, перебѣжавшій нѣкогда къ русскимъ, поступившій въ инородческій эскадронъ въ чинѣ корнета и тотчасъ же начавшій отыскивать княжеское достоинство. Многія высокопоставленныя лица помогали ему въ этихъ домогательствахъ, но безуспѣшно. Доказательствъ у него не было никакихъ, кромѣ собственныхъ разсказовъ, изъ которыхъ явствовало, что на родинѣ, въ Осетіи, у него была сакля и двѣ козы.

— Саклемъ владалъ, пара коза кормилъ, ружьемъ хо-

дилъ, свинья убивалъ!—наивно объяснялъ онъ средства своего существованія въ состояніи дикости, но достовѣрности даже этихъ бѣдныхъ показаній ничѣмъ подтвердить не могъ.

Осетія въ то время еще не состояла во власти русскихъ, слѣдовательно не существовало ни губернскаго правленія, ни даже земскаго суда, черезъ которые можно было бы доподлинно узнать, дѣйствительно ли обладаніе двумя козами составляетъ, по мѣстнымъ законамъ, признакъ княжескаго достоинства. Поэтому герольдія медлила, затруднялась и требовала какихъ-то поколѣнныхъ росписей, а Мастрюкъ, ничему не внимая и ничего не понимая, твердилъ одно:

— Саклемъ владалъ, ружьемъ ходилъ, свинья убивалъ!

Въ такомъ положеніи находилось это дѣло въ то время, когда Мастрюкъ, дослужившійся до ротмистра и принявшій фамилію Тамерланцева, умеръ, оставивъ послѣ себя двухъ сыновей: Амалата и Азамата. Умеръ онъ вѣрнымъ мусульманиномъ, хотя самъ Ферлакуръ неоднократно убѣждалъ его, какъ дальняго родственника по женѣ (въ это время мелкопомѣстный князь Крикулидзевъ женился на Мастрюковой сестрѣ, Магуль-Мегери, во святомъ крещеніи Марьѣ Булатовнѣ), оставить заблужденія и познать свѣтъ истинной вѣры. Но Мастрюкъ, выслушавъ убѣжденія, постоянно задавалъ Ферлакуру одинъ и тотъ же вопросъ:

— У тебя, бачка, много жена?

— Одна.

— Ну, а мине двадцать одинъ жонъ довольна!

Но, когда Мастрюкъ умеръ, сыновей живо окрестили и отдали въ кадетскій корпусъ, переименовавъ старшаго изъ Амалата въ Георгія, а младшаго—изъ Азамата въ Ивана. Въ корпусѣ оба брата отличались необыкновенною ненавистью къ наукамъ и особенною страстью въ восточной магіи и къ тѣлеснымъ упражненіямъ, требовавшимъ ловкости и силы. Когда они вышли въ офицеры, то уже знали весьма значительное число фокусовъ и потому смотрѣли въ глаза будущему совершенно спокойно, почти свѣтло. Это были необыкновенно развитые въ тѣлесномъ отношеніи молодые люди, съ смуглыми, очень красивыми, хотя и совершенно безжизненными лицами, на подобіе масокъ. У обоихъ братьевъ были широкія сильныя скулы, черные какъ смоль волосы и глаза, и на правой щекѣ по боль-

шому родимому пятну, увѣнчанному волосами. Амалатъ пѣлъ очень пріятнымъ басомъ, Азаматъ—теноромъ; оба—плясали лезгинку, какъ истые горцы. Женщины вольнаго обращенія были отъ нихъ безъ ума; старушки, занимавшіяся покровительствомъ скромнымъ молодымъ людямъ, замѣтивъ ихъ въ театрѣ, интересовались узнать ихъ фамилію. Въ полку, куда они поступили, ихъ тоже полюбили, потому что они охотно принимали участіе въ такъ-называемыхъ исторіяхъ, и кромѣ того никто не могъ выпить столько, сколько выпивали братья Тамерлашевы. Словомъ сказать, молодые люди были хоть куда.

Благодаря покровительству лицъ, помнившихъ еще незабвенныя услуги, оказанныя покойнымъ Мастрюкомъ, имъ предстояла, конечно, довольно видная военная карьера въ будущемъ. Быть-можетъ, имъ суждено было даже принять когда-нибудь дѣятельное участіе въ возсоединеніи Осетіи, но они сами испортили все дѣло. Однажды Амалатъ запрегъ въ телѣгу тройку жидовъ и одного изъ нихъ загналъ, а Азаматъ въ то же время поймалъ трехъ жидовокъ, вымазалъ ихъ дегтемъ, обвалялъ въ перьяхъ и пустилъ по городу (это происходило въ одной изъ западныхъ губерній). Къ несчастію, и жиды и жидовки принадлежали къ числу упорныхъ, не шедшихъ ни на какія соглашенія, такъ что дѣло нельзя было «замять», и братья вынуждены были оставить полкъ.

Тогда братья обратились къ проворству рукъ и къ покровительству чувствительныхъ старушекъ. У нихъ появились рысаки, экипажи и на всѣхъ пальцахъ брильянтовые перстни, которые они, поносивъ немного, замѣняли очень хорошими стразовыми. Жизнь они вели бродячую, цыганскую: покупали, прогорали и опять возрождались, бывали даже биты. Во всѣхъ городахъ, гдѣ существовали маломальски значительныя ярмарки, они являлись непремѣнными посѣтителями, устраивались на постоялыхъ дворахъ, какъ у себя дома, разстилали на полу и на голыхъ скамьяхъ персидскіе ковры и на все время ярмарки заводили, какъ говорится, дымъ коромысломъ. Кончится ярмарка — исчезнутъ и они, исчезнетъ и дымъ, которымъ они наполняли свои временныя пристанища. Не успѣютъ оглянуться — они уже на другой ярмаркѣ; опять разстилаютъ ковры, покупаютъ, продаютъ, мечутъ и понтируютъ.

Иногда, впрочемъ, они засиживались и въ одномъ и

томъ же городѣ на довольно продолжительное время. Это бывало въ тѣхъ случаяхъ, когда верхнее чутье докладывало имъ, что въ такомъ-то мѣстѣ есть нѣкто, около котораго можно пощечиться. Тогда они знакомились съ помѣщиками, представлялись губернатору, называли себя политическими изгнанниками, прикидывались завидными женихами и не прочь были занять денегъ подъ залогъ осетинскихъ виноградниковъ. Въ провинціальныхъ обществахъ ихъ принимали очень радушно, во-первыхъ, потому, что они носили крупныя стразовыя запонки, а во-вторыхъ, потому, что были малые на всѣ руки. Перекинуть ли направо-налѣво, устроить ли для дѣвицъ petits-jeux, рекомендовать ли лошадку, спѣть ли модный тогда романсъ «Черную шаль», при чемъ съ особеннымъ чувствомъ проскрежетать:

Ко мнѣ постучался презрѣнный еврей...

—на все это они такъ охотно соглашались, что, гдѣ бы они ни появились, общество немедленно оживлялось. Объ Осетіи они разсказывали чудеса. Какъ злой дядя за два абаза продалъ ихъ въ Кахетію, и какъ отецъ ночью обратно ихъ оттуда укралъ; какъ у отца ихъ была неприступная крѣпость, изъ которой онъ дѣлалъ на русскихъ набѣги; какой удивительный росъ у нихъ виноградъ; какіе вкусные чуреки дѣлала ихъ мать; какъ прекрасенъ Казбекъ при восходѣ солнца и проч., и проч. Словомъ сказать, объясняли все, что можно было почерпнуть изъ производившихъ тогда фуроръ повѣстей Марлинскаго. И въ доказательство своего подлинно-осетинскаго происхожденія затягивали пѣсню, въ которой слышались только гортанные звуки: га-го-ги! но которая заставляла ихъ заливаться горькими-горькими слезами.

Вообще Тамерланцевы имѣли то свойство, что коль скоро проникали въ какой-нибудь домъ, то незамѣтно дѣлались въ немъ своими людьми. Они умѣли побалагурить съ лакеями, перемигнуться съ горничными, привлечь на свою сторону дѣтей и такъ убѣдительно просили хозяевъ не церемониться съ ними и не безпокоиться ихъ присутствіемъ, что тѣмъ оставалось только махнуть рукою. Въ самое короткое время, хотѣли или не хотѣли хозяева, они утверждались въ домѣ самымъ прочнымъ образомъ. Лакеи, чутьемъ заслышавъ приближающійся экипажъ, бросались къ подъѣзду и наперерывъ провозглашали: «пожалуйте-съ!

господа только-что за столъ сѣли-съ!» или: «пожалуйте-съ! господъ дома нѣтъ, да они сейчасъ будутъ-съ!» И начинали суетиться, готовить закуску, словно принимали самыхъ близкихъ родныхъ. Горничныя просовывали въ дверь головы, въ ожиданіи щипка или поцѣлуя. Дѣти съ гикомъ и гамомъ устремлялись навстрѣчу, вооруженные свистульками, гремушками и трещетками. Даже поваръ — и тотъ говорилъ: «сегодня у насъ молодые господа будутъ обѣдать»—и требовалъ отъ экономки усиленной пропорціи сахару, яицъ и масла. Хозяева, обольщенные пріятными манерами и услужливостью братьевъ, сначала тоже были внѣ себя; когда же потомъ начинали изыскивать способы, какимъ бы образомъ избавиться отъ ихъ вездѣсущія, то было уже поздно. Тамерланцевы уже крѣпко держались на всѣхъ пунктахъ, и едва появлялись передъ ними недоумѣвающія лица хозяевъ, какъ они самымъ любезнымъ образомъ восклицали:

— Евдокимъ Григорьичъ! Анна Павловна! не церемоньтесь съ нами! пожалуйста, занимайтесь вашими дѣлами! Мы здѣсь съ дѣтьми. Кирюша! Параша! Вѣдь мы поѣдемъ сегодня въ Москву? А? вотъ такъ: туру-ту-ту... га! въ Москву поѣхали!

И Евдокимъ Григорьичъ отправлялся въ кабинетъ, плюнувъ и говоря Аннѣ Павловнѣ:

— Нѣтъ ужъ, матушка, ты сама! Сама пріучила этихъ зеіоповъ—сама, какъ хочешь, и раздѣлывайся съ ними.

Нельзя сказать, чтобъ это было съ ихъ стороны предумышленно. Скорѣе всего, они безсознательно стремились всюду, гдѣ можно было что-нибудь урвать или урѣзать, и вообще имѣли такъ-называемый чортовъ инстинктъ. Всякій очень скоро убѣждался, что братья глупы, и что, слѣдовательно, искать въ ихъ дѣйствіяхъ какого-нибудь злого умысла — нѣтъ повода; но всякій въ то же время ощущалъ, что десятки самыхъ злыхъ озорниковъ не въ состояніи были бы привести человѣка въ такое беззащитное положеніе, въ какое приводили эти два безсознательныхъ и безконечно покладистыхъ шалопая.

Нина Иракліевна почти испугалась, когда ей доложили, что ее желаютъ видѣть князья Тамерланцевы.

— Тети-Машины дѣти! — воскликнула она въ недоумѣніи, но тутъ же, не потерявъ присутствія духа, обратилась къ Менандру Семеновичу и прибавила:—ради Христа, не давай ты имъ денегъ!

Свиданіе произошло; Велентьевы были сдержанны; кузены предупредительны и нѣжны.

— Въ государственной службѣ, господа, состоите? — спрашивалъ Менандръ Семеновичъ.

— Нѣтъ, братецъ, способностей не имѣемъ — скромно отвѣчали братья.

— Ну, способности тутъ не Богъ знаетъ какія требуются!

Братья посидѣли, раскланялись и уѣхали; затѣмъ въ теченіе недѣли они еще два раза навѣстили Велентьевыхъ и каждый разъ называли Нину Ираклiевну «belle cousine», увѣряли, что она вполнѣ сохранила тамерланцевскій типъ, и такъ крѣпко и часто цѣловали у нея ручки, что она невольно конфузилась и жалась. Порфишѣ (ему минуло въ то время одиннадцать лѣтъ) они на другой же разъ подарили книжку съ картинками, такъ что не пригласить ихъ обѣдать было уже совѣстно. Затѣмъ, хотя послѣ обѣда Тамерланцевы и попросили у Менандра Семеновича денегъ взаймы, но, получивъ отказъ, не только не обидѣлись, но очень любезно воскликнули:

— Братецъ, забудьте! пусть денежные разсчеты не разстраиваютъ нашихъ родственныхъ отношеній! Забудьте! намъ не нужно денегъ! мы не просили ихъ!

Словомъ сказать, съ Велентьевыми повторилась та же исторія, что̀ и съ другими. Какъ ни чутко держали они себя относительно братьевъ, но устоять противъ естественнаго теченія обстоятельствъ не могли. Постоянно учащая свои визиты, они каждый разъ умѣли чѣмъ-нибудь подслужиться: Нинѣ Ираклiевнѣ подарили настоящій персидскій коверъ, Порфишѣ навезли цѣлый ворохъ игрушекъ, наконецъ у Менандра Семеновича попросили позволенія осмотрѣть его лошадей, нашли у одной изъ нихъ подсѣдъ и дали такой мази, отъ которой въ два дня подсѣда какъ не бывало.

— Совсѣмъ было-думалъ продать лошадь! — говорилъ Велентьевъ:—а теперь опять хоть куда! Благодарю!

— Вы, братецъ, насчетъ лошадей, пожалуйста, ни къ кому не обращайтесь! — упрашивали Тамерланцевы: — у насъ теперь на примѣтѣ одна пара есть... ахъ, какая это пара!

И дѣйствительно, почти за безцѣнокъ сосватали Велентьеву такую пару, что самъ инспекторъ врачебной управы, вкупѣ съ отставнымъ кавалерiйскимъ полковни-

комъ, какъ ни осматривали животныхъ, не могли найти въ нихъ ни одного порока.

Но сомнѣніе уже мучило Менандра Семеновича, и по временамъ онъ выражалъ его довольно энергично.

— И чортъ ихъ знаетъ, что̀ за народъ такой!—разсуждалъ онъ самъ съ собою:—цыгане не цыгане, венгерцы не венгерцы, шулера не шулера... иностранцы какіе-то!

И онъ на всякій случай пробовалъ, достаточно ли крѣпко заперты ящики его письменнаго стола, и, удостовѣрившись, что крѣпко, отправлялся на половину къ Нинѣ Иракліевнѣ.

— Да полно, братцы ли они тебѣ?—спрашивалъ онъ ее.

— Тети-Машины дѣти-то! неужто-жъ я не знаю!

— И все-таки ты бы запирала! Эти братцы... право, ужъ и не знаю!

Мало-по-малу Тамерланцевы пріобрѣли дружбу лакеевъ и горничныхъ, а въ особенности полное довѣріе Порфиши. Тогда они ужъ безъ церемоніи стали таскаться и завтракать и обѣдать. Сидитъ Менандръ Семеновичъ въ кабинетѣ и деньги считаетъ — глядь, братцы пріѣхали! Въ залѣ бѣготня, пѣніе, стукъ, трескъ; Азаматъ учитъ Порфишу лезгинку танцовать, Амалатъ акомпанируетъ на фортепьяно и выкрикиваетъ: «га-го-ги!» Лакей бѣгаетъ изъ столовой въ буфетную и обратно, стучитъ тарелками, ножами и готовитъ закуску. Менандръ Семеновичъ нѣкоторое время терпитъ и старается разрѣшить себѣ задачу: «два да пять сколько будетъ?» — но, сколько онъ ни прокладываетъ на счетахъ—все выходитъ или однимъ рублемъ больше, или однимъ рублемъ меньше. Наконецъ онъ, какъ ужаленный, вбѣгаетъ въ буфетную.

— Тебѣ кто велѣлъ? — накидывается онъ на лакея, поспѣшающаго съ подносомъ въ рукахъ въ столовую.

— Какъ же-съ, вѣдь братцы-съ!—отвѣчаетъ лакей, очевидно, даже изумленный, что ему могъ быть предложенъ такой странный вопросъ.

Менандръ Семеновичъ краснѣетъ, покрякиваетъ и уже не настаиваетъ больше. Онъ съ грустною покорностью снимаетъ съ себя халатъ, надѣваетъ домашній казинетовый казакинъ и отправляется въ столовую, предварительно удостовѣрившись, что всѣ ящики заперты и все въ кабинетѣ цѣло.

А братцы уже спѣшатъ къ нему навстрѣчу и въ одинъ голосъ восклицаютъ:

— Братецъ, напрасно безпокоитесь! Мы здѣсь съ Порфишей!

Но Менандръ Семеновичъ уже чувствуетъ, что утро у него отравлено, и что, гдѣ бы онъ ни былъ, въ столовой ли, въ кабинетѣ ли, мысль о «братцахъ» вездѣ будетъ его преслѣдовать. Поэтому онъ усаживается за столъ и принимаетъ геройское рѣшеніе занимать братцевъ.

— Я говорю: вы бы, господа, въ государственную службу шли! — начинаетъ онъ, краснѣя и самъ не зная, о чемъ собственно онъ ведетъ рѣчь.

— Способности, братецъ, не имѣемъ.

— А вы бы принудили себя!

— Старались, братецъ, да ничего не вышло.

— Гм!.. странно это!

Молчаніе.

— Да вы, братецъ, напрасно себя безпокоите! Мы здѣсь вотъ съ Порфишей, а не то, немного погодя, къ кузинѣ Ниночкѣ пройдемъ!—опять начинаютъ братцы.

— Нина Иракліевна занята. Я тоже. Признаться, я даже не понимаю, какъ можно безъ занятій жить! — говоритъ Менандръ Семеновичъ, уже не скрывая своихъ недоумѣній.

Но братцы какъ бы забавляются этими недоумѣніями.

— Мы, братецъ, тоже занимаемся, — отвѣчаютъ они: — только занятія у насъ кратковременныя. Вотъ и сегодня утромъ пару лошадей присмотрѣли... ахъ, какая это пара!

— Какое ужъ это занятіе — лошади!

Тщетно все. Какъ ни старался Велентьевъ выжить братцевъ—они словно приросли. Въ домѣ все цѣло; денегъ въ другой разъ не просятъ,—а между тѣмъ, какъ ни посмотришь, все тутъ. Иногда онъ даже желалъ, чтобъ они что-нибудь украли (разумѣется, не весьма цѣнное), лишь бы безъ шума отдѣлаться отъ нихъ.

— Я, сударыня, съ ума скоро сойду! — жаловался онъ женѣ. — Выйти изъ кабинета нельзя: одинъ въ залѣ съ Порфишей, другой въ коридорѣ съ Агашкой шушукается. Сведетъ онъ ее у насъ!

— А коли сведетъ, такъ и купитъ. По мнѣ, ежели хорошую цѣну дастъ... и Богъ съ ними!

А братцы между тѣмъ забрали уже себѣ въ голову, что Порфиша года черезъ четыре будетъ гусарскимъ юнке-

ромъ, и что, слѣдовательно, имѣются въ перспективѣ векселя подъ вѣрное обезпеченіе смерти любезнѣйшихъ родителей. Какъ ни отдаленны были эти надежды, но какъ другого дѣла покамѣстъ у нихъ не было, то прирученіе Порфиши представлялось цѣлью очень привлекательною и даже практическою...

Съ своей стороны, Порфиша очень хорошо понялъ дяденекъ. Онъ угадалъ въ нихъ присутствіе именно того элемента легкомыслія, перемѣшаннаго съ жульничествомъ, котораго ему недоставало и безъ котораго истинный финансистъ все равно, что тѣло безъ души. Онъ видѣлъ, что дяденьки всегда свободны, беззаботны и веселы; что они ничѣмъ не занимаются, а между тѣмъ бросаютъ деньгами, какъ щепками; что у нихъ во всякое время—неистощимый запасъ игръ, выдумокъ и фокусовъ. Все это вмѣстѣ взятое произвело на него подавляющее впечатлѣніе, и въ самое короткое время онъ до такой степени страстно прилѣпился къ дяденькамъ, что даже пересталъ слѣдить за финансовыми операціями родителей.

Первый сдѣланный передъ нимъ фокусъ особенно его поразилъ. Дядя Амалатъ вынулъ изъ кармана золотой и показалъ его Порфишѣ.

— Видѣлъ?—спросилъ онъ его.

— Видѣлъ.

Амалатъ положилъ золотой на ладонь и зажалъ его въ кулакъ.

— Видѣлъ? тутъ золотой?—спросилъ онъ опять, разжимая кулакъ и вновь сжимая его.

— Тутъ.

— Ну, теперь смотри!

Амалатъ сдѣлалъ рукой движеніе, но до такой степени быстрое, что Порфиша могъ только замѣтить, что у него что-то мелькнуло въ глазахъ. Потомъ Амалатъ разжалъ кулакъ и показалъ Порфишѣ пустую ладонь.

— Клацъ! гдѣ золотой?

Порфиша вытаращилъ глаза и машинально повторилъ:

— Гдѣ золотой?

— Ну, теперь обыскивай меня: если сыщешь—твой золотой!

Но сколько Порфиша ни искалъ — золотого нигдѣ не оказалось. Тогда Амалатъ повторилъ свой фокусъ наоборотъ, то-есть показалъ, какъ въ пустыхъ рукахъ—клацъ!—вдругъ оказалось по два золотыхъ.

— Дяденька! — захлебывающимся голосомъ простоналъ Порфиша.

Въ другой разъ на сцену выступилъ Азаматъ и изобразилъ штуку еще почище, а именно: взялъ колоду картъ и показалъ ее Порфишѣ.

— Видѣлъ? Вся колода картъ тутъ?

— Вся.

— Теперь сказывай, какую ты карту хочешь?

— Двойку пикъ.

Клацъ!—Азаматъ выбросилъ двойку пикъ.

— Можетъ, ты еще двойку пикъ хочешь?

— Еще двойку пикъ хочу.

— Держись!

Клацъ!—Азаматъ опять выбросилъ двойку пикъ.

— Можетъ-быть, ты и еще двойку пикъ хочешь?

Но Порфиша уже не отвѣчалъ, а только взглядывалъ на дяденьку съ разинутымъ ртомъ.

— Ты, можетъ-быть, хочешь, чтобъ вся колода была изъ двоекъ пикъ? смотри!

И Азаматъ одну за другой сталъ кидать двойки пикъ. Это до того поразило Порфишу, что онъ заплакалъ, какъ бы обидѣвшись, что дяденьки смѣются надъ нимъ.

— Погоди, мы еще не то тебѣ покажемъ!—утѣшали его братья Тамерланцевы.

Когда дяденьки ушли, Порфиша взялъ въ руки грошъ и старался произвести съ нимъ ту же эволюцію, какую Амалатъ производилъ съ золотымъ, но ничего изъ этого не вышло. Потомъ онъ попробовалъ то же самое сдѣлать наоборотъ, то-есть сжалъ пустые кулаки, махнулъ ими крестъ-на-крестъ въ воздухѣ, сказалъ: «клацъ!»—но и тутъ ничего не вышло.

— Дяденька! — приставалъ онъ: — покажите, какъ вы дѣлаете?

— Погоди! вотъ будешь большой—до всего дойдешь!

Слова эти глубоко запали въ душу Порфиши. Онъ повторялъ ихъ и старался угадать, что такое это «все», до чего онъ со временемъ дойдетъ. Постепенно онъ сталъ задумываться и сдѣлался разсѣяннымъ. Процессъ созиданія, царствовавшій въ домѣ родителей, уже не удовлетворялъ его, тѣмъ болѣе, что дяденьки, по мѣрѣ ближайшаго знакомства, начали открыто смѣяться надъ скопидомствомъ Менандра Семеновича.

— У твоего отца много денегъ?—спрашивалъ его Амалатъ.

— Много.

— А знаешь ли ты, какъ онъ деньги копитъ?

— Какъ?

— А вотъ какъ, смотри!

И Амалатъ клалъ на столъ золотой, накладывалъ на него другой, третій и т. д., при чемъ пыхтѣлъ, покрякивалъ, пожимался и озирался кругомъ.

— Такъ?

Порфиша не отвѣчалъ, но ему и самому уже начинало казаться, что «такъ».

— Ну, а мы вотъ какъ: сколько ты хочешь, чтобъ у меня было въ горсти золотыхъ?

— Двадцать!

— Эка хватилъ! Ну, держи руки, отсчитывай!

Дяденька дѣлалъ видъ, какъ будто ловилъ что-то руками въ воздухѣ, и затѣмъ отчеканивалъ монету за монетой до двадцати.

Нина Ираклiевна первая замѣтила, что Порфиша задумывается, начинаетъ любить уединеніе, шевелитъ губами, какъ бы разговаривая самъ съ собой, дѣлаетъ какія-то странныя движенія руками, то сжимаетъ кулаки, то разжимаетъ ихъ.

— Не боленъ ли ты, мой другъ?—спросила она однажды сына.

— Нѣтъ, здоровъ.

— Что же ты ходишь точно растерянный?

Порфиша остановился и показалъ мамашѣ руки.

— Вы это видѣли?

Нина Ираклiевна съ изумленіемъ смотрѣла, какъ онъ растянулъ руки на подобіе фокусника, потомъ быстро махнулъ ими крестъ-на-крестъ и сказалъ:

— Видѣли, что ничего не было? Теперь смотрите! Клацъ! Видите?

— Что̀ видѣть-то! Разжалъ пустые кулаки—только и всего!

— Ничего вы не понимаете! Вы только и умѣете, что копейку къ копейкѣ прижимать, а я вотъ—клацъ!—сколько захочу денегъ, столько и будетъ!

Нина Ираклiевна безпокойно взглянула ему въ глаза.

— Это все Амалатка съ Азаматкой!—прошептала она.

Въ этотъ же день, послѣ обѣда, Порфиша былъ призванъ на аудiенцiю къ отцу.

— Какое ты давеча слово мамашѣ сказалъ?—спросилъ Менандръ Семеновичъ.

менѣе интересовался, а математику даже полюбилъ настолько, что съ самозабвеніемъ принялся извлекать квадратные корни, какъ только этотъ математическій пріемъ былъ ему показанъ. Но съ тѣхъ поръ, какъ явились дяденьки и на первый разъ объяснили ему задачу: «летѣло стадо гусей», онъ постепенно дѣлался все разсѣяннѣе и разсѣяннѣе. Все простое, все, что могло быть рѣшено наглядным образомъ, опротивѣло ему. Мысль неудержимо влеклась къ неизвѣстному, сложному и до такой степени необыкновенному, что только чудо, въ родѣ щучьяго велѣнія, могло освободить его отъ сѣтей, въ которыхъ путалось его воображеніе. Если-бъ въ то время кто-нибудь шепнулъ ему о квадратурѣ круга или о непрерывномъ движеніи, онъ навѣрное со всѣмъ пыломъ юношеской горячности увлекся бы этими задачами и сталъ бы съ утра до вечера вертѣться около нихъ, какъ бѣлка въ колесѣ. Но, увы! у него даже этого ограниченія не было, а было только одно магическое слово: «кацъ!», за которымъ открывалась пустая и бездонная пропасть. Въ этой безднѣ, среди цѣлаго міра чудесъ, свободно парило воображеніе, питая само себя и гадливо отвращаясь отъ всего, что напоминало о дѣйствительности. Понятно, что при такомъ болѣзненномъ настроеніи умственныхъ силъ Порфишѣ было уже не до квадратныхъ корней, которыми пичкалъ его Менандръ Семеновичъ.

На четырнадцатомъ году Порфишу отдали въ одно изъ аристократическихъ заведеній Петербурга, едва ли не въ то же самое, въ которомъ воспитывался и Коля Персіановъ. Выборъ этого заведенія Менандръ Семеновичъ слѣдующимъ образомъ формулировалъ въ письмѣ къ княгинѣ Ферлакуръ: «Вы знаете, добрѣйшая моя благодѣтельница,— писалъ онъ ей:—что я не аристократъ по происхожденію. Хотя и отецъ мой и дѣды, въ теченіе, можетъ-быть, многихъ столѣтій, возносили Подателю всѣхъ благъ молитву о *принесенныхъ честныхъ дарѣхъ*, но вѣдь молитва въ заслугу у насъ не принимается: слѣдовательно, если-бъ я даже могъ доказать, что происхожу по прямой линіи отъ Аарона, то и тогда никто бы меня за аристократа не счелъ. Но аристократія любезна моему сердцу потому, что назначеніе ея — вливать въ государственный организмъ возвышенный духъ. Аристократія полезна даже и въ томъ случаѣ, если она ничего дѣйствительно полезнаго не совершаетъ. Она полезна потому, что она есть. Вспомните,

чѣмъ я былъ до поступленія въ вашъ почтеннѣйшій домъ, и *что* сдѣлали изъ меня вы! Вотъ почему я желалъ бы, чтобъ мой Порфирій былъ съ дѣтскихъ лѣтъ окруженъ юношами благородныхъ фамилій. Черезъ сношеніе съ ними онъ получитъ возвышенныя чувства, которыя при томъ же, будучи по матери потомкомъ древняго рода князей Крикулидзевыхъ, онъ и отъ природы весьма склоненъ имѣть. Въ особенности было бы хорошо, если-бъ онъ сіи чувства могъ пріобрѣтать на казенный счетъ, къ устройству чего вы, моя незабвенная благодѣтельница, всеконечно, имѣете всѣ пути».

Порфиша былъ принятъ, но въ заведеніи участь его была не изъ завидныхъ. Во-первыхъ, товарищи скоро узнали, что отецъ его происходитъ изъ духовнаго званія и, къ довершенію всего, служитъ совѣтникомъ питейнаго отдѣленія, тогда какъ ихъ отцы были не только сами егермейстеры, но и дѣти дѣтей егермейстерскихъ. Поэтому они начали явно выказывать ему чувство гадливости, которое было тѣмъ тягостнѣе, что сопровождалось приставаніями и весьма не двусмысленною назойливостью. Одни, проходя мимо него въ саду, снимали фуражки и крестились; другіе дѣлали видъ, что кадятъ; третьи—показывали рукой хапанца, какъ эмблему питейнаго отдѣленія; четвертые наконецъ рисовали хапанца на бумагѣ и утверждали, что это гербъ рода Велентьевыхъ. Во-вторыхъ, княгиня Ферлакуръ, выхлопотавши помѣщеніе Порфиши въ заведеніе на казенный счетъ, этимъ и ограничила свои попеченія о немъ. Въ это время ей было не до Велентьевыхъ, потому что ее занималъ вопросъ о возсоединеніи латышей, съ которыми была тѣсно связана личность генерала Толоконникова.

Такимъ образомъ Порфиша росъ въ заведеніи одинокій и забытый. По праздникамъ товарищи разъѣзжались по домамъ, ѣздили на лихачахъ, лакомились въ кондитерскихъ и ресторанахъ, а онъ сидѣлъ въ заведеніи, ѣлъ говядину подъ краснымъ соусомъ, давился суконными пирогами и выслушивалъ сарказмы гувернера, которому тоже до смерти опостылѣли стѣны заведенія и который охотно промѣнялъ бы ихъ на стѣны ресторана Доминика, гдѣ есть бильярдъ, домино и т. д.

— Mais, malheureux jeune homme!—укорялъ его мосьё Петанлеръ:—vous n'avez donc ni père, ni mère, ni parents, personne qui puisse vous abriter! Ah! c'est singulier!

— Personne, monsieur,—угрюмо отвѣтствовалъ Порфиша и съ какимъ-то нервнымъ нетерпѣніемъ выслушивалъ вечеромъ разсказы товарищей о томъ, сколько они съѣли, въ теченіе дня, пирожковъ и порцій мороженаго, въ какой кондитерской дѣлаются лучшія конфеты, и у какого извозчика лучше бѣжитъ рысакъ.

Это одиночество еще сильнѣе развило въ Порфишѣ ту мечтательную сосредоточенность, начало которой было положено еще дома педагогическими откровеніями дяденекъ. Съ нетерпѣніемъ ждалъ онъ рекреаціонныхъ часовъ, которые позволяли ему быть въ сторонѣ отъ товарищеской сутолоки, и какъ только звонокъ возвѣщалъ окончаніе класса—удалялся въ садъ, бродилъ по аллеямъ или садился на дерновую скамейку и мечталъ. Передъ нимъ проносился весь процессъ созиданія, видѣнный въ дѣтствѣ: столбики золота, бумажки новыя (папашины), бумажки старыя (мамашины), мужики, запахъ дегтя, тальки, овчины, сушеные грибы... И вдругъ—клацъ!—вся эта обстановка исчезала лишь на минуту, для того, чтобы—клацъ!—появиться вновь, но уже не въ рукахъ папаши съ мамашей, а въ рукахъ дяденекъ, которыя онъ сейчасъ только видѣлъ пустыми. Вообще, какъ только появлялись на сцену дяденьки, видѣнія шли за видѣніями, цѣлыми вереницами, и принимали самый фантастическій характеръ...

Не успѣлъ совсѣмъ стихнуть звонокъ, какъ уже воображеніе Порфиши работаетъ. Онъ видитъ себя заблудившимся въ лѣсу. Онъ бродитъ, выбивается изъ силъ, молится, плачетъ—все тщетно! Вдругъ, словно изъ земли, вырастаетъ передъ нимъ старикъ и подаетъ червонецъ. Вручая червонецъ, старикъ говоритъ: «ты можешь размѣнивать его сколько угодно, онъ всегда будетъ у тебя цѣлъ». Вотъ тема, за которую хватается фантазія и по поводу которой тотчасъ же начинаетъ рисовать самыя разнообразныя практическія примѣненія. И лѣсъ и старикъ—исчезаютъ; остается только волшебный червонецъ. Порфиша мысленно отправляется съ нимъ въ кондитерскую, покупаетъ пять пирожковъ и получаетъ два рубля семьдесятъ пять копеекъ сдачи. А червонецъ тутъ-какъ-тутъ. Потомъ онъ отправляется въ овощную лавку, покупаетъ пятокъ яблокъ и получаетъ сдачи два рубля девяносто копеекъ. Червонецъ опять тутъ-какъ-тутъ. Потомъ онъ идетъ въ гостиницу, съѣдаетъ бифштексъ, оттуда *опять* въ кондитерскую, гдѣ ѣстъ порцію мороженаго, вездѣ

получаетъ сдачу и вездѣ удостовѣряется, что драгоцѣнный червонецъ неприкосновененъ. Въ этихъ мысленныхъ экскурсіяхъ застаетъ Порфишу звонокъ; онъ медленно идетъ въ классъ, но и тамъ, за урокомъ, начатая работа мысли не прекращается. Онъ складываетъ, умножаетъ, повѣряетъ и получаетъ проценты...

Тогда фантазія начинаетъ другой сонъ, другую сказочную легенду.

Передъ Порфишей — прыгающая лягушка, за которою онъ гонится и которую тщетно старается убить. Вотъ онъ уже настигаетъ ее, вотъ настигъ, какъ вдругъ — клацъ!— передъ нимъ ужъ не лягушка, а древняя сморщенная старуха, которая говоритъ ему: «тутъ, подъ этой старой липой, лежитъ несмѣтный кладъ; разбойникъ Кудеяръ зарылъ котелъ съ золотыми деньгами и посадилъ эту самую липу». Сказавши это, старуха исчезаетъ, а фантазія Порфиши цѣпко хватается за новую тему и начинаетъ по ея поводу новый процессъ созиданія. Что кладъ будетъ въ рукахъ Порфиши—это не можетъ подлежать сомнѣнію. Съ этою цѣлью онъ встаетъ по ночамъ, неслышными шагами пробирается мимо дремлющаго дядьки, отпираетъ наружную дверь и, вооруженный заступомъ, выходитъ въ садъ. Аллеи длинны и темны; кругомъ—тишина и загадочность; издали, въ формѣ неопредѣленнаго шороха, то возрастающаго, то смолкающаго, доносится шумъ неусыпающаго города. Но Порфиша не останавливается передъ приливами и отливами городского шума. Онъ спѣшитъ къ цѣли и начинаетъ рыть. Онъ одинъ выполнитъ эту трудную задачу, потому что ни съ кѣмъ не хочетъ раздѣлить свою добычу. Не то чтобы онъ былъ безгранично жаденъ, но ему улыбается мысль, что вдругъ—клацъ!—и онъ обладатель милліоновъ. Однако что-то ужъ звякнуло... это онъ! это котелъ съ имперіалами! Порфиша судорожно вскрываетъ крышку, черпаетъ, черпаетъ, но болѣе пуда золота заразъ унести не можетъ. Сколько золотыхъ въ пудѣ? Сколько составитъ это въ переводѣ на кредитные рубли? Опять звонокъ, опять классъ. Учитель латинскаго языка тщетно допрашиваетъ Порфишу объ исключеніяхъ на is. «Amnis, anguis, axis», бормочетъ Порфиша и окончательно становится втупикъ. Коли хотите, онъ знаетъ и дальше: calis, canalis и проч., но онъ не о томъ думаетъ. Онъ видитъ передъ собою другую безлунную ночь, потомъ третью, четвертую и такъ далѣе, пока воображеніе вновь не запутывается въ собственныхъ тенетахъ.

Ученье шло туго, несмотря на то, что Порфиша уже дома зналъ больше того, что требовалось въ томъ классѣ заведенія, въ который онъ поступилъ. Постоянно живя въ обществѣ призраковъ, онъ сдѣлался разсѣянъ, впалъ въ полудремотное состояніе. Это повліяло и на его поведеніе или, лучше сказать, на тѣ отмѣтки, которыми въ заведеніи выражалась степень внѣшняго благочинія воспитанниковъ. Онъ былъ тихъ и смиренъ, никогда не повѣсничалъ, не приставалъ, не грубилъ, но начальствующимъ почему-то казалось, что въ сердцѣ этого мальчика свилъ гнѣздо порокъ. Французъ-гувернеръ называлъ его не иначе, какъ «malheureux jeune homme»; гувернеръ-нѣмецъ утверждалъ, что спасти злосчастнаго юношу можетъ только одинъ педагогическій пріемъ, а именно пріемъ, носящій спеціальное наименованіе «внезапно данной пощечины».

Съ родителями Порфиша видѣлся только лѣтомъ, во время каникулъ. Но и къ нимъ онъ поставилъ себя въ какія-то странныя, натянутыя отношенія. Пріѣзжая въ Семиозерскъ, онъ заставалъ въ родительскомъ домѣ тотъ же процессъ простого созиданія, которому онъ былъ свидѣтелемъ и до поступленія въ заведеніе. По-старому отецъ запирался каждое утро въ кабинетѣ, щелкалъ на счетахъ и по истеченіи урочнаго времени выходилъ изъ своего заключенія весь красный, какъ бы стыдящійся. Попрежнему мать спекулировала мужикомъ, спорила, торговалась и въ концѣ трудового дня укладывала въ пачки замасленные кредитные билеты. Но послѣ тѣхъ сновъ наяву, которые постоянно проносились передъ Порфишей,—сновъ съ кладами, неразмѣнными червонцами, разрывъ-травами и проч.,— это кропотливое копеечное созиданіе не могло не показаться ему просто жалкимъ.

— А вы попрежнему копеечку къ копеечкѣ прижимаете-съ?—спросилъ онъ мать въ первый же разъ, какъ увидѣлся съ ней послѣ годовой разлуки.

Въ первую минуту Нина Иракліевна приняла эти слова за шутку; но тонъ, которымъ они были сказаны, дышалъ такой несомнѣнной язвительностью, что она вдругъ догадалась и словно замерла съ пачкой кредитныхъ билетовъ въ рукахъ.

— Курочки-съ! талечки-съ! грибки-съ! — продолжалъ между тѣмъ Порфиша, отчетливо отчеканивая каждое слово.

Нина Иракліевна переполошилась не на шутку.

— Да ты что это, щенокъ, говоришь?—крикнула она на него почти испуганно.

Но Порфиша не сконфузился даже передъ этимъ восклицаніемъ. Нѣкоторое время онъ исподлобья, съ идіотскою ироніей, взглядывалъ на мать, шевелилъ губами и дѣлалъ видъ, что едва удерживается отъ смѣха. Наконецъ всталъ и, удаляясь изъ комнаты, произнесъ:

— Продолжайте-съ! Что же-съ! Талечки-съ! грибочки-съ! овчинки-съ! Похвально-съ!

Вслѣдъ затѣмъ подобное же недоразумѣніе произошло у Порфиши и съ отцомъ. Однажды Менандръ Семеновичъ стоялъ въ передней и провожалъ дорогого гостя, то-есть откупщика, который только-что вручилъ «слѣдуемое по положенію».

— Напрасно безпокоились!—говорилъ Менандръ Семеновичъ.

— Помилуйте-съ! Не я, а положеніе-съ... святое дѣло!—расшаркивался откупщикъ.

— Положеніе—это такъ; а все-таки...—настаивалъ Менандръ Семеновичъ.

— Совсѣмъ не «все-таки», а просто положеніе—и больше ничего!

И т. д.

На эту-то сцену, Богъ-вѣсть откуда, нагрянулъ Порфиша. Но вмѣсто того, чтобъ расшаркаться передъ откупщикомъ и пожать ему руку, онъ пробѣжалъ мимо, какъ-то странно при этомъ хихикнувъ, и вполголоса, но такъ, что всѣ слышали, произнесъ:

— Взяточки-съ!

Словомъ сказать, и въ школѣ и дома, благодаря педагогическому вліянію дяденекъ, Порфиша поставилъ себя особнякомъ. И Богъ знаетъ, куда привелъ бы его этотъ финансовый идеализмъ, если-бъ не случилось обстоятельство, которое разомъ возвратило его къ чувству дѣйствительности.

Съ переходомъ въ старшій курсъ умственныя силы Порфиши вдругъ пробудились снова. Совершилось нѣчто чудесное, но чудо было вполнѣ достойно той науки, которая его произвела. Наука эта называлась «политической экономіей» и преподавалась воспитанникамъ заведенія, какъ вѣнецъ тѣхъ знаній, съ которыми они должны были явиться въ свѣтъ. Послѣ первыхъ же лекцій Порфиша вдругъ почувствовалъ себя свѣжимъ и бодрымъ. Ему показалось, что на него пахнуло чѣмъ-то знакомымъ, что то, о чемъ онъ когда-то мечталъ, уединившись въ саду, снова проходитъ

передъ нимъ, но подъ другими, болѣе ясными формами; что онъ вновь находится въ обществѣ дяденекъ Амалата и Азамата, и что таинственное слово: «клацъ!» постепенно утрачиваетъ свою таинственность. Міръ чудесъ, къ которому онъ такъ страстно стремился, но который до сихъ поръ представлялся его мысли смутно и безпорядочно, вдругъ пріобрѣлъ необыкновенную выпуклость, почти осязаемость. Прежде его выручали фантастическія видѣнія, въ формѣ волшебницъ, волшебниковъ, кладовъ, неразмѣнныхъ червонцевъ,—теперь ему подавала руку сама наука; прежде процессъ созиданія зависѣлъ отъ случайностей, которыя могли придти и не придти на помощь, смотря по тѣмъ рессурсамъ, которые представляла бо́льшая или мѐньшая напряженность воображенія, — теперь передъ нимъ были всегда готовые и вполнѣ солидные куншткюки, которые, вдобавокъ, носили названіе политико-экономическихъ законовъ. Бредъ наяву продолжался, но это былъ уже бредъ серьезный, могущій, пожалуй, послужить матеріаломъ для любой докладной записки или для газетной передовой статьи.

Въ заведеніи, о которомъ идетъ рѣчь, преподавалась политическая экономія коротенькая. Законы, управляющіе міромъ промышленности и труда, излагались въ видѣ отдѣльныхъ разбросанныхъ грушъ, изъ которыхъ каждая въ свою очередь представлялась уму въ формѣ дѣтской игры, эластичностью своею напоминающей пѣсню: коли любишь—прикажи, а не любишь—откажи. Вотъ, милостивые государи, «спросъ»; вотъ—«предложеніе»; вотъ—«кредитъ» и т. д. Той подкладки, сквозь которую слышался бы трепетъ дѣйствительной, конкретной жизни, съ ея ликованіями и воплями, съ ея сытостью и голодомъ, съ ея излюбленными и обойденными—не было и въ поминѣ. Откуда явились и утвердились въ жизни всѣ эти хитросплетенія, которымъ присвоилось названіе законовъ? правильно ли присвоено это названіе или неправильно? насколько они могутъ удовлетворять требованіямъ справедливости, присущей природѣ человѣка?—все это оставалось безъ разъясненія. Наука—пустой пузырь, съ наклеенными на немъ безсмысленными этикетами; жизнь—арена, въ которой регуляторомъ человѣческихъ дѣйствій является даже не борьба, а просто изворотливость, надувательство и бездѣльничество.

Порфишѣ эта коротенькая наука пришлась по нраву. Она была какъ бы продолженіемъ его дѣтскихъ сновъ, осуществленіемъ таинственнаго «клацъ!», которое такъ долго

смущало его воображеніе. Слова: «спросъ», «предложеніе», «кредитъ», «ажіотажъ», «акціонерныя компаніи»—не сходили у него съ языка. Онъ скоро сдѣлался любимѣйшимъ ученикомъ профессора и отвѣчалъ на всѣ вопросы такъ быстро и несмущенно, какъ будто отвѣты давно уже таились въ немъ, а теперь онъ отыскалъ лишь приличную форму для нихъ. Онъ понялъ науку не только въ ея общихъ законахъ и выводахъ, а въ самомъ дѣйствіи. Онъ чувствовалъ себя участникомъ этого дѣйствія и лично на самомъ дѣлѣ испытывалъ послѣдствія каждаго экономическаго закона. Игра въ «спросъ и предложеніе» представляла цѣлую повѣсть, исполненную разнообразнѣйшихъ эпизодовъ, игра въ «кредитъ» разрасталась въ романъ, игра въ «ажіотажъ» превращалась, по мѣрѣ своего развитія, въ безконечную поэму...

— Кредитъ, — толковалъ онъ Колѣ Персіанову: — это когда у тебя нѣтъ денегъ... понимаешь? Нѣтъ денегъ, вдругъ—клацъ!—онѣ есть!

— Однако, mon cher, если потребуютъ уплаты?—картавилъ Коля.

— Чудакъ! ты даже такой простой вещи не понимаешь! Надобно платить—ну, и опять кредитъ! Еще платить—еще кредитъ! Нынче всѣ государства такъ живутъ.

Коля удовлетворялся этимъ объясненіемъ, во-первыхъ, потому, что оно согласовалось съ практикой, которой слѣдовали его предки, а во-вторыхъ, и потому, что оно отвѣчало его собственнымъ видамъ и пожеланіямъ. Что предстояло Колѣ въ будущемъ?—ему предстояла жизнь праздная, легкая и удобная. На «производство богатствъ» онъ не разсчитывалъ, на «накопленіе» ихъ—и того менѣе. Изъ всѣхъ экономическихъ законовъ, о которыхъ гласила школа, на немъ отражался только законъ «распредѣленія богатствъ»—въ видѣ оброковъ, присылаемыхъ изъ деревень, да еще законъ «потребленія»—въ формѣ пріобрѣтенія рысаковъ и производства всевозможныхъ кутежей. Но, увы! дѣйствіе закона потребленія давало себя знать всегда какъ-то сильнѣе, нежели дѣйствіе закона распредѣленія, и потому онъ очень былъ радъ, когда въ формѣ «кредита» ему явился совершенно готовый исходъ изъ этого затрудненія.

И чѣмъ дальше шла впередъ наука, тѣмъ чудодѣйственнѣе и чудодѣйственнѣе становился открываемый ею міръ. Хороша была игра, въ силу которой «спросъ» съ завязан-

ными глазами бѣгалъ за «предложеніемъ», а «предложеніе», въ свою очередь, нащупывало, нѣтъ ли гдѣ «спроса»; но она уже представлялась простыми гулючками по сравненію съ игрой въ «ажіотажъ» и въ «акціонерныя компаніи», которая ждала Порфишу впереди. То былъ волшебный, жгучій бредъ, въ которомъ лились золотыя рѣки, обрамленныя сапфировыми и рубиновыми берегами. Порфиша въ какомъ-то экстатическомъ упоеніи утопалъ въ этой свѣтящейся безднѣ. Онъ былъ властелиномъ биржи; передъ нимъ преклонялись языцы въ видѣ армянъ, грековъ и жидовъ. Съ недѣтскою проницательностью угадывалъ онъ моментъ, когда нужно было купить бумагу и когда нужно было ее продать. Или, лучше сказать, не угадывалъ, а самъ устраивалъ этотъ моментъ. Онъ продавалъ, и за нимъ бросались продавать всѣ. Происходила паника, вслѣдствіе которой на сцену являлось «предложеніе», а «спросъ» былъ въ отсутствіи. Тогда онъ начиналъ покупать, и за нимъ бросались покупать всѣ. Новая паника, вслѣдствіе которой на сцену являлся «спросъ», а «предложеніе» было въ отсутствіи. И всѣ эти перевороты совершались съ быстротой изумительной, ибо онъ понималъ, что главное достоинство капитала— это его подвижность и способность обращаться быстро. Насытившись биржевой игрой, онъ придумывалъ новыя экономическія комбинаціи: отыскивалъ неслыханные дотолѣ источники богатствъ, устраивалъ акціонерныя общества и т. д. Мысленный взоръ его устремился всюду: и на Ледовитый океанъ, въ которомъ мирно плавали стада китовъ, тюленей, морскихъ коровъ и т. д., и на Скопинскій уѣздъ, въ нѣдрахъ котораго безъ вѣсти пропадали залежи каменнаго угля, и на Печорскій край, рѣки котораго кишѣли семгою, нельмою и максуномъ. Открывши новый источникъ богатствъ, онъ мысленно устраивалъ акціонерную компанію, но, выпустивъ акціи и продавъ ихъ съ преміей, не останавливался подолгу на одномъ и томъ же предпріятіи, а спѣшилъ къ другимъ источникамъ и другимъ акціонернымъ обществамъ.

Это была какая-то лихорадочная, неусыпающая дѣятельность, тѣмъ болѣе достойная удивленія, что она носила чисто отвлеченный характеръ. Процессъ накопленія доставлялъ Порфишѣ неисчерпаемый источникъ наслажденій, независимо отъ всякихъ личныхъ практическихъ примѣненій, однѣми перипетіями, которыя его сопровождали. Если Колѣ *Персіанову* былъ необходимъ «кредитъ» для того, чтобъ

позавтракать устрицами, отобѣдать съ шампанскимъ и окончить день въ домѣ терпимости, то Порфишѣ онъ нуженъ былъ совсѣмъ для другихъ цѣлей. Онъ видѣлъ въ «кредитѣ» извѣстную экономическую функцію, безъ которой нельзя было обойтись въ ряду прочихъ экономическихъ функцій. Экономическая наука представлялась ему въ видѣ шкапа съ множествомъ ящиковъ, и чѣмъ быстрѣе выдвигались и задвигались эти ящики, тѣмъ болѣе умилялась его душа.

Но, что̀ всего замѣчательнѣе, на глазахъ у Порфиши не было даже практическихъ примѣровъ, съ помощью которыхъ его мысль могла бы оріентироваться. Время тогда было самое глухое; изъ значительныхъ желѣзныхъ дорогъ существовала только одна; объ акціонерныхъ обществахъ и биржевой игрѣ не было и помину. Никому не приходила въ голову ни неистощимая печорская семга, ни безпримѣрныя въ лѣтописяхъ міра скопинскія залежи каменнаго угля. Ничѣмъ не руководимый, съ помощью одного инстинкта, Порфиша проникалъ и въ нѣдра земли, и въ глубины морскихъ хлябей—и вездѣ находилъ что-нибудь полезное. Его не смущало то, что всѣ финансовыя построенія, которымъ онъ такъ неутомимо предавался, были построеніями безплотными, разлетавшимися при первомъ прикосновеніи дѣйствительности. Онъ ничего лично для себя не желалъ, а только выполнялъ свою провиденціальную задачу. Быть-можетъ, онъ уже чувствовалъ, что тотъ моментъ недалекъ, когда онъ явится съ зажатыми горстями, торжественно разожметъ ихъ и — клацъ! — покажетъ изумленной Россіи пустыя ладони.

Былъ однако-жъ одинъ очень важный практическій результатъ, который Порфиша извлекъ лично для себя изъ своихъ финансовыхъ сновъ: къ нему съ уваженіемъ стали относиться товарищи.

— Il est par trop théoricien, ce cher Vélentieff,—выражался о немъ Коля Персіановъ:—mais c'est égal, c'est une bonne tête, et avec le temps on pourra l'utiliser.

Самъ директоръ былъ изумленъ, когда однажды при немъ Порфиша бойко и безъ запинки, въ какихъ-нибудь четверть часа, объяснилъ краткія правила къ познанію биржевой игры.

— Ну, Велентьевъ, не ожидалъ! — сказалъ онъ.—Судя по началу, я думалъ, что ты такъ и вырастешь дуракомъ, а ты вонъ какъ развернулся!

Но Порфиша не увлекался похвалами и, повидимому, даже не понималъ ихъ. Онъ разсѣянно выслушивалъ сравненія, которыя проводились между его прошлымъ и настоящимъ, и очень можетъ-быть, что въ головѣ его въ это время мелькала мысль:

«Чудаки! какъ будто что-нибудь измѣнилось! Какъ будто я не тотъ же Порфиша, которому когда-то снились клады и неразмѣнные червонцы, а теперь снятся непроглядные вятскіе лѣса и скопинскія каменноугольныя залежи!»

Одинъ Менандръ Семеновичъ съ прежнимъ недовѣріемъ относился къ сыну и, выслушивая его разсказы о самоновѣйшихъ способахъ накопленія богатствъ, невольно припоминалъ объ Амалаткѣ и Азаматкѣ. Очевидно, онъ уже подозрѣвалъ въ Порфишѣ реформатора, который придетъ, старый храмъ разрушитъ, новаго не возведетъ и, насоривши, исчезнетъ, чтобъ дать мѣсто другому реформатору, который также придетъ, насоритъ и уйдетъ...

Оглавленіе

VIII ТОМА.

стр.

За рубежомъ.

(1880—1881 гг.).

Глава I. 5
» II. 45
» III. 82
» IV. 122
» V. 176
» VI. 209
» VII. 241

Господа Ташкентцы.

Картины нравовъ (1869—1872 гг.).

Отъ автора 271
Введеніе 272
I. Что такое «ташкентцы»? 289
II. Ташкентцы-цивилизаторы 309
III. Они же 329
IV. Ташкентцы приготовительнаго класса 354
Параллель первая . . . . . —
Параллель вторая 390
Параллель третья 435
Параллель четвертая 491

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.